

Владимир Тендряков

Собрание сочинений
в пяти томах



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1989

Владимир Тендряков

Собрание сочинений
ТОМ ПЯТЫЙ

Повести
Покушение на миражи
РОМАН



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1989

ББК 84Р7

Т33

Составление, примечания и подготовка текста

Н. Асмоловой-Тендряковой

Оформление художника

В. Мирошниченко

Т $\frac{4702010201-210}{028(01)-89}$ подписное

© Состав. Примечания. Оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

ISBN 5-280-00158-9 (Т. 5)

ISBN 5-280-00155-4

Повести

Пусть разгорится сердце твое, и
тело твое, и душа твоя до меня, и до
тела моего, и до виду до моего.
*Берестяная грамота XV в. — древнейшее
русское любовное письмо, дошедшее
до нашего времени*

Затмение

Глава первая

РАССВЕТ

1

«Четвертого июня 1974 года произойдет частное лунное затмение. Оно будет доступно наблюдениям в европейской части и в западных районах азиатской части Советского Союза, кроме местностей, лежащих за Северным Полярным кругом, где Луна в этот день не восходит над горизонтом.

Лунный диск не весь покроется земной тенью — в ней окажется 83% его диаметра. Луна будет находиться в созвездии Змееносца, примерно в 6° северо-восточнее звезды Антарес (α Скорпиона), и пройдет сквозь южную область земной тени».

Она случайно наткнулась на это сообщение и загорелась: за свои неполных двадцать два года еще ни разу не видела лунного затмения. «Хочу видеть!» И она считала бы себя обворованной, если б это «хочу» исполнилось просто, без особых затруднений и препятствий — дождись часа, выйди ночью на балкон, полюбуйся через крыши соседних домов на убывающую Луну. Едва ли не каждое ее желание вырастало в сложную кампанию, требующую подготовки, расчета, самоотверженности со стороны других людей. В последнее время главным образом — моей.

Как можно наблюдать затмение в городе, где дома наполовину заслоняют небо, а уличные фонари назойливо лезут в глаза. «Это все равно что слушать музыку под железнодорожным мостом». Она умела находить обезоруживающие сравнения. Надо ехать за город, и подальше —

в самое что ни на есть необжитое место. А затмение начинается без двадцати минут двенадцать, кончится же почти в три часа ночи! Ее добропорядочные родители — единственная дочь! — должны были прийти в смятение: на всю ночь за город! Нет, нет, они нисколько не сомневались в моей высокой нравственности, но мало ли чего... Был же случай, когда парня и девушку, возвращавшихся поздно из загородной прогулки, столкнули с электрички на полном ходу.

Однако Луна не считалась с благоразумием, затемнялась тогда, когда все нормальные люди засыпают в своих постелях. Родители же, увы, должны были считаться с Майей.

Я часто наблюдал, как где-нибудь на автобусной остановке кто-то бросал скучающий взгляд на Майю — и вздрагивал, и смущался, косился исподтишка, не смея оскорбить ее откровенным, назойливым любопытством. У нее короткие густые, чуть волнистые волосы, очень темные, но не черные, на ярком свете слегка отливающие бронзой. Под ними сумрачные до суровости брови. Лицо же нежно-смуглое, беспокойное, молящее — губы в трагическом изломе, в глазах тревожное неутухающее тление. У меня она вызывала непроходящее щемящее желание успокоить, чтоб исчез трагический излом губ: до чего слабое существо! Но это слабое существо меньше всего хотело покоя. Пожилые, уравновешенные шоферы такси неслись по городу сломя голову потому только, что Майя неизменно им роняла: «Побыстрее, пожалуйста». Однажды ей пришла в голову шальная мысль — взглянуть на город с высоты старой Брандмейстерской башни, откуда в оны времена, еще до революции, дежурные пожарники высматривали городские пожары. И она полезла по отвесной ржавой лестнице вверх, мне ничего не оставалось, как последовать за пей. Появился разъяренный милиционер, согнал нас, стал грозиться, что отведет в отделение, а кончилось тем, что он сам с нами полез на башню, оставив свой пост на улице.

Она диктатор, которому даже не нужно высказывать своих желаний, о них догадывались, их услужливо исполняли.

Я скоро понял, что трагическая складка губ и непроходящая тревога в ее распахнутых глазах — вовсе не отражение ее душевных переживаний. Просто так устроено ее лицо. Как крепкая от природы нижняя челюсть вызывает часто впечатление волевого характера, как ямоч-

ки на щеках — мягкости и беспечности, так и лицо Майи без ее участия, помимо ее желания молило меня о помощи, и я не имел сил устоять. Давно понял — ничем не обижена, но оберегал от обид, во всем соглашался, был рабом.

Она пожелала видеть лунное затмение без домов и уличных фонарей.

— Знаешь что, поедем...

Я покорно ждал — сейчас оглушит чем-то невероятным.

— ...к Настину омуту!

Ну что ж, это не столь уж невообразимо, могло быть и хуже. Настин омут всего километрах в трех от окраины города, да в сторону от шоссе еще километр. Все-таки не откажешь — она временами не лишена даже какой-то практичности.

2

«Затерялась Русь в Мордве и Чудии...» Наш город на самой окраине Европы, дальше — Урал, за ним Азия. Вокруг русские деревни и села перемешаны с марийскими и татарскими. Каждое селение и до сих пор еще что-то хранит из стародавнего — язык, наряды, обычаи. Издавна здесь у всех была одинакова только нищета.

В прошлом веке наш город, тогда «уездную звериную глушь», завоевал один человек — купец-воротила Курдюков. До сих пор в центре города существуют каменные Курдюковские лабазы, а на обмелевшей реке — Курдюковская пристань.

Он, рассказывают, ходил в мужицкой поддевке, из которой выглядывали белоснежные манжеты с бриллиантовыми запонками, писал каракулями, едва разбирал по печатному, но был опорой местного просвещения — выстроил женскую гимназию, стал ее попечителем. В этой гимназии он заметил девицу редкой красоты, дочь обедневшего дворянчика с немецкой фамилией и русским именем Настасья. Курдюков купил ее у родителей, пообещал царскую жизнь. И слово свое сдержал: за городом выстроил дворец, разбил вокруг него парк, вырыл большой пруд, соединил его с рекой. Прислуга при купеческом дворце была услужлива, добывала все, что только могла пожелать курдюковская царевна. И царевна не выдержала царской жизни, весенней ночью кинулась в глу-

бокий пруд. Курдюков будто бы поджег дворец, бросил свои миллионные дела, ушел в монастырь. Пруд этот давно размыло, он стал заводью реки и называется теперь Настиным омутом. Город год от году надвигается на него, но еще не надвинулся.

Высокий речной берег развален широким оврагом. Пологие склоны этого оврага отягощены тучной черной зеленью. У самой воды в узлах и изломах толстые стволы ив. Какие-то ивы рухнули от старости прямо в омут, их сведенные судорогой ветви торчат над обмершей водой. Вода темна, незыблема, как твердь, и мрачно зеркальна. В ней опрокинутые деревья, рваные вершины уходят куда-то вглубь, в четвертое загадочное измерение. Тяжкая путаная поросль овражного склона, казалось, висит в пространстве между двумя мирами. А ее черная пучина населена — нет, набита! — лягушками, мир застойной воды и мир неба кипят от влажных картавых голосов. Воздух клокочет, трещит, стонет, и в общем вселенском хаосе выделяется один голос. Какой-то активист из активистов упоенно, въедливым сильным тенором убеждает в чем-то несметное лягушачье общество. Без устали, многословно, с напором! И в ответ одни изумленно ухают, другие до изнеможения восторженно захлебываются, третьи крикают увесисто авторитетными басами: «Да! Да! Истинно!» Чьи-то слабенькие, неустоявшиеся голосишки суетно пытаются возражать, взывают негодующим жидким хором и безжалостно давятся не знающим устали тенором. Время от времени рядом с нами — нагнись, достанешь — раздавался умудренный стон, какая-то многоопытная и многоумная лягушка изнемогала, должно быть, от тенористой непрекращающейся болтовни.

Мы стоим на дощатом настиле, обнесенном шаткими перильцами. Мы парим над потусторонним миром, над нами мрачная бездна. А на самой середине выглаженной до зеркальности водяной тверди — пролитое тело Луны. Оно дышит, нервно вздрагивает и поеживается — живет мучительно и беспокойно. Зато сверху на мучающуюся Луну смотрит другая Луна, плоская, чеканная, величаво спокойная. Ей-ей, непохоже, чтоб она собиралась затемняться. Но к ней тянется узкое отточенное, словно лезвие ножа, облако.

Завороженная Майя вполшепота, внятным дыханием произнесла:

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде...

И лягушачий хор вместе с вдохновенным тенором не заглушал ее голоса.

— Вот закроет сейчас золотую, — сказал я с тревогой, указывая на отточенное облако.

Майя подняла к Луне высвеченное, туманно-прозрачное лицо, и белки ее глаз сверкнули серебром.

— Не случится. — С тихой убежденностью.

Ее заброшенное к Луне лицо было столь зыбким — соткано из света! — что я невольно затаил дыхание: шевельнись неосторожно — и растает, исчезнет. Только неподвластное сердце набатно колотилось в ребра, да воздух кипел от влажных лягушачьих голосов, и тенор-докладчик неустанно вещал вселенские проблемы, и корчилась изнеможенно Луна посреди омута.

Глаза ее нет-нет да отсвечивали серебром. Жесткий блеск на туманном лице — даже страшно...

Такой красивой Майю я еще никогда не видел.

3

Кто-то однажды сказал: человеческие взаимоотношения начинаются с отношений между мужчиной и женщиной.

Случайно ли, что понятие «любовь» у разных народов еще в глубокой древности перестало означать изначальное соединение самца и самки, а превратилось в определение самого высокого нравственного состояния. Люблю — лучше относиться я уже не могу, на большую отзывчивость не способен, это мой духовный предел, наивысшее выражение самого себя для других.

И если в последнее время все чаще стали снисходительно сводить любовь к сексу, вновь к самцово-самочьему, то я это воспринимаю как опасный симптом человеческой деградации.

Считаю, что я, Павел Крохалев, родился двадцать девять лет тому назад в деревне Полянка для того только, чтоб предельно проявлять себя ради других, а значит, кого-то любить. И моя жизнь до сих пор не что иное, как длительный поиск — кого именно любить и через что? Блуждая среди людей, путаясь и ошибаясь, я в конце концов должен был встретиться с ней — Майей Шкановой.

В наших местах, глубинной Вологодчине, которую обошли стороной железные и шоссейные дороги, сохранился обычай: парень, уходя в армию или на заработки, срубал елочку, а «сговоренная» им девка украшала ее пестрыми лоскутками. Парень влезал на крышу дома сговоренной и прибавал елочку к коньку. Пусть она сохнет и осыпается, пусть цветут под дождем и солнцем пестрые ленты, пусть ждет и сохнет девица, он вернется к ней. Прибитая к крыше елочка — зарок и обещание перед всем деревенским миром.

Мой отец Алексей Крохалев, уходя на фронт, прибил «зажданную елку» на дом Зинаиды Решетовой. Он вернулся через три года с осколком в легком. Осыпавшаяся, с облетевшими лоскутьями елочка нищенски стояла на крыше. Но стояла, его ждали.

Я был первым послевоенным ребенком в деревне — родился через неделю после отпразднования победы.

Отца не помню. Помню только его похороны на нашем безлесом, сиротливом кладбище. Бабы причитали на разные голоса, мать плакала молча. Теперь я понимаю: она отстрадала за отца раньше, когда ждала день ото дня... Он был давно обречен.

У меня было голодное детство. В колхозе не хватало ни людей, ни лошадей. Моя мать вместе с другими бабами впрягалась в плуг, так на себе они пахали свои усадьбы, по очереди — сегодня у одной, завтра у другой. У моей матери был один сын — не пятеро! — потому-то ей и удалось поставить меня на ноги, выучить.

Удивительней всего, когда я, окончив школу, покинул ее, она не опустила, не обессилела, а на старости лет нашла вдруг потерянное житейское счастье — сошлась со вдовцом, столяром-колесником, готовившим колхозу сани, телеги, хомуты. У обоих были взрослые дети, оба почему-то считали себя виноватыми перед ними — остаток дней доживают не в сиротстве.

Я учился в первом классе, школа была в соседней деревне, весной приходилось месить грязь по проселку солдатскими башмаками сорок второго размера. Их принес из госпиталя отец и не успел износить. Мне приходилось наматывать по три пары портянок, чтоб не спадали, башмаки от этого становились тяжелыми, как пудовые гири. А уж если на них налипала грязь, то и вовсе неподъемны, через каждые десять шагов останавливался отдыхать.

И вот так я однажды остановился посреди поля, между двумя деревнями и увидел то, что видел каждый день

по несколько раз. Поле в старчески неопрятной прошлогодней стерне, отхлынувшее от меня в маревую даль, сквозной, стеснительно голый березнячок, и за ним, сквозным,— грозовая мутная синь дальних лесов. И в опрокинутом необъятном небе где-то невидимая глазу точка, из которой звенящей родниковой струей плещет вниз песня жаворонка.

Каждый день видел?.. Нет! Стояло всегда перед глазами, а увидел-то только теперь, открыл себе — они есть, это поле, березнячок, грозовые леса. И они были. Еще до того, как я родился на свет, уже стоял березнячок, висело небо и жаворонок обливал землю своей песней. Еще до того... Странно, мир без меня! Невозможно поверить, но мир без меня, наверное, хорошо помнят другие — моя мать, бабушка Хмырина, даже Венко Гузнов, которому скоро стукнет пятнадцать. Без меня цел жаворонок!

Откуда я? Зачем я?.. Извечные вопросы бытия, которые (мог ли я знать) мучают человечество с тех пор, как оно осознало себя.

Впрочем, на один из вопросов — зачем? — я без труда отвечал себе: «Чтобы вырасти большим». Для мальчишки это цель, определенная, не вызывающая сомнений.

Поле, березнячок, дальние леса — от пугающего невинного прошлого, которое легко обходилось без меня, я перебросился в будущее. Оно ясней, оно проще — без меня-то будущее уж никак не обойдется. Можно лишь гадать, кем стану, если вырасту большим. Бригадиром ли, участковым милиционером или же моряком, как Гришка Ногин из Панюкова,— синий воротник, ленточки по спине, широкие штаны, ремень с бляхой. Вот бы!..

И я представил себя таким, как Гришка из Панюкова, высоким и красивым: ленточки, ремень с бляхой, глаз не отвести! Но кто-то должен любоваться мной. Кто-то столь же красивый и загадочный.

Раз я представил себя взрослым — глаз не отвести,— то должен был представить и Ее. Она встретит, увидит меня и...

Светило солнце, весение умытое, еще не яростное, падала с неба ручейковая песня жаворонка, я стоял посреди грязного проселка в старой, свесившейся ниже колен телогрейке, в неподъемных отцовских башмаках, держа в руке узелок с букварем, и обмирал перед таинством далекой встречи.

Стать моряком — для Нее!

Вырасти большим — для Нее!

Родился на свет, выходит, тоже... для Нее! Для той встречи!

Нет, нет, столь рассудочно и логично я тогда не рассуждал. Я просто обмирал от смутного радостного ожидания...

Ожидания Ее! Еще неизвестной, еще безликой! Адам восьми лет, мечтающий о своей Еве!

Восьми лет, не рано ли?..

Но я рос полусиротой, рядом видел полусиротливую мать, удивительно ли, что — будущее возместит сиротство — стало первой моей надеждой.

Нет таких, кто, забегаая мыслью вперед по жизни, рисует себя одиноким, лишенным внимания и любви со стороны людей. Любви всех людей?.. Такую всеобщую, беспредметную любовь представить просто себе нельзя. Каждый, заглядывая вперед, верит (или хочет верить), что там, в мающем далеке, есть некто, тебя ждущий, тебе предназначенный. Он верит в Нее, она — в Него!

И вот, оказывается, среди людей, среди невообразимо великого, что называется человечеством, есть кто-то, от кого ты ждешь внимания и любви, а значит, чувствуешь, со стороны людей нет к тебе равнодушия, сам, в свою очередь, не можешь быть к ним равнодушным. Выходит, что путь к людям идет у Него через Нее, у Нее через Него, не иначе.

4

Вместе с дощатыми мостками мы висели над тем местом, где много лет назад кончила свою недолгую жизнь курдюковская царевна Настя. Кончила жизнь и начала сказку, перешедшую из прошлого столетия в наше.

А берега Настиного омута распирает от картавых, плотски нутряных звуков. Лягушки сбесились. У них уже не один пророк тенор с подпевалями, объявилась, по крайней мере, дюжина пророков-вещателей. Баритоны, басы, суетливые дисканты иступленно схлестнулись друг с другом, и каждого поддерживает хор подпевал. Пророки уже не убеждают, не внушают, а безумствуют. Бурлит и бродит вокруг нас океан неутоленных желаний. И сказка о погибшей Насте — тускла и ничтожна. Что там любая смерть, когда столь мощна страсть к продолжению жизни на земле.

Только одна Луна сверху бесстрастна и холодна. Она — иной мир, чуждый нашему. Но ее мертвый свет, попав к нам, коснувшись воды, судорожится и страдает. На нашей живой планете все должно жить и бесноваться.

У Майи размытое настороженное лицо, волосы заполнены ночью. Майя замерла — удивлена и подавлена.

Я поднял руку к глазам, уловил стрелки на часах.

— А ведь уже началось!

Майя покосилась на Луну — чекапна и величава, ни намека на затемнение.

— Мы запаздываем.

— Кто мы? — удивился я.

— Мы — женщины. И Луна в том числе.

— Представляю, как свихнутся все астрономы мира, да и физики тоже, если она запоздает хоть на минуту.

— Ничего с ними не случится. Подождут.

И я засмеялся.

Майя всегда опаздывала на свидания. Однажды, мне думается, она установила мировой рекорд, опоздав... на шесть часов!

В рабочем поселке Комплексное, километрах в сорока от города, жила Майина подруга. Майя ездила к ней не часто, но по вдохновению, охватывавшему ее внезапно, без всяких видимых причин.

— Ленку давно не видела.

И исчезала на день, иногда на два.

В тот раз была, пожалуй, некоторая побудительная причина — близкий знакомый Леночки из Комплексного, некто Боря Цветик, предложил свозить Майю туда и обратно. Почему бы и не воспользоваться.

Боря Цветик недавно приобрел «Москвич» пожарного цвета. И оба они, как Боря, так и «пожарный» «Москвич», стали источником изустного творчества в кругу Майиных приятелей. «Москвич», например, имел привычку, раз остановившись, уже не двигаться дальше, поэтому сам Боря Цветик не терпел остановок. Был случай, когда он даже предложил своим пассажирам: «Я приторможу, а вы выскакивайте на ходу».

Майя пообещала вернуться утром, назначила свидание на двенадцать часов возле кинотеатра «Радуга».

Стояли февральские морозы. Я протоптался на углу кинотеатра целый час, решил позвонить домой Майе. Мне никто не ответил. Я еще потоптался с полчаса, сно-

ва позвонил, снова не ответили. И в голову лезли картинки — перевернутый вверх колесами «пожарный» «Москвич», машины ГАИ, машины «скорой помощи», носилки... Топтаться на месте я уже не мог, домой идти тоже, я двинулся по городу от одной автоматной будки к другой, меняя на пути мелочь на двухкопеечные монеты. Мне отвечали унылые продолжительные гудки. Отец Майи был в командировке, мать, как потом я узнал, чтобы не скучать одной, уехала на весь день в гости к сестре. И слава богу, иначе я свел бы ее с ума.

Боря Цветик и «пожарный» «Москвич»... Я несколько раз оказывался перед Майиным домом и бежал от него, вливался в поток прохожих, терпеливо и отупело выстаивал в очередях к автоматам. Люди, люди — мимо меня, люди, несущие на лицах озабоченность, свою, ненужную мне, чужую мне. Тесно в городе от людей и — пустыня кругом. Нет страшнее одиночества, чем одиночество среди многолюдья. От автомата к автомату... Каждый раз я с надеждой брался за трубку — надежды рушились.

Боря Цветик со своим «пожарным» «Москвичом»...

Всплыло стихотворение, давным-давно случайно занесенное в память и забытое. Не знаю даже, кто его написал и в какие годы. Какой-то русский эмигрант.

В Константинополе у турка
Валялся пыльный и загаженный
План города Санкт-Петербурга —
В квадратном дюйме триста сажен.
И дрогнули воспоминанья,
И замер шаг, и взор мой влажен:
В моей тоске, как и на плане,—
В квадратном дюйме триста сажен.

Боря Цветик... Надо пойти в милицию, спросить: была ли авария на шоссе между городом и поселком Комплексное?.. Нет! Нет! Быть не может! Я всю жизнь шел к ней, ошибался и путался среди других людей!..

В Константинополе у турка
Валялся пыльный и загаженный
План города Санкт-Петербурга...

Сутолочный день угасал. Я оказался в районе суконной фабрики. Старая фабрика, старый район, который когда-то, во времена владычного купца Курдюкова, был в стороне от города, теперь город с ним слился.

В моей тоске, как и на плане,—
В квадратном дюйме триста сажен.

В тесном подъезде, пахнущем квашеной капустой, я очередной раз снял трубку, набрал номер...

— Алло! — беспечный альт, музыкальный звук, освежающе чистый — из иного мира, не отравленного страхом, покойного и столь далекого сейчас от меня, как город Санкт-Петербург от русского эмигранта на туретчине. — Алло! Я вас слушаю!

— Майка!.. — хриплым выдохом.

— Кто это говорит?

— Я, Майка...

— Павлик! Что у тебя такой голос?

Я уже не мог ни радоваться, ни сердиться. Я шесть часов кружил по городу, я промерз до костей, я с утра не ел — сейчас чувствовал, что с трудом держусь на ногах.

— Ты где, Павлик?

— На суконной фабрике.

— Как тебя занесло туда?

— Майка... что случилось?

— Ничего. У Ленки пришлось задержаться.

Цветик со своим «пожарным» «Москвичом» был вовсе не виноват. Я слушал далекий ясный Майкин голос и все никак не мог прийти в себя.

В Константинополе у турка
Валялся пыльный...

Тьфу! Привязалось...

Нет, Луна не запаздывала.

— Гляди! — сказал я.

Секундное молчание.

— Ничего не вижу.

— Гляди внимательней!

— Луна как Луна.

— Она не круглая.

— А-а...

Едва заметно на глаз Луна сплюснулась.

Для нетерпеливого рода людского природа слишком медлительна. Что может быть стремительнее взрывов, но звезды в галактиках взрываются многими месяцами, даже годами. И сейчас Луна с тягостной медлительностью вползала в земную тень.

Майя, навалившись на шаткие перильца, остановившимися глазами смотрела на продавливающуюся Луну. На Майю часто находили минуты заторможенности —

цепенеет, смотрит в одну точку, если спросишь, отвечает невпопад, живет в себе. И в такие моменты трагический излом ее губ становится резче, глаза расширяются и гаснут, лицо под тяжелыми волосами, ее тонкое прекрасное лицо утрачивает совершенство, становится чуть-чуть асимметричным. И кажется, от него исходит немотное страдание — за весь мир, за всю вселенную, не меньше.

В первое время нашего знакомства меня эти минуты пугали и подавляли — не смел вздохнуть, заражался вселенской скорбью, благоговел. Но каждый раз Майя обрывала их каким-нибудь простеньким, обидно житейским вопросом:

— Не слышал по радио, будет завтра дождь или нет?

Выходит, всего-навсего она думала о завтрашнем дожде. И все равно я продолжал удивляться ей, сострадать с нею, против воли каждый раз верил, что в ней теснится нешуточное — уж никак не мысли о завтрашнем дожде.

Сейчас вот она заворуженно уставилась на Луну, лицо ее купается в свете, в ее остановившихся глазах вздрагивающие блики, и волосы, откиннутые назад, открывают гладкий, бледно сияющий лоб и резкие густые брови на нем.

Кипели вокруг лягушачьи голоса. В небе совершалось таинство.

Она смахнула ресницами заворуженность, пошевелилась.

— Павел... — голос тих. — Говорят, колено мухи и колено человека похоже устроены.

Поди ж ты угадай, что она вдруг выдаст. Я не отвечал, просто глядел на нее, слушал звук ее голоса и, как всегда, не мог ни наглядеться досыта, ни послушаться.

— Господь бог не изобретателен, Павел. У него не так уж много за душой идей.

— Тебя это огорчает, Майя?

— Радует.

— Почему?

— Потому что он часто должен повторяться.

— Так какая же тебе от этого радость?

Она помолчала и заговорила:

— Вот я стояла, и мне казалось: где-то я уже вот так над рекой... И тоже глядела на Луну, и ждала от Луны чего-то... Где-то в другой жизни, Павел... И ты был рядом.

— Действительно. Он не только повторил тебя и меня, он еще раз свел нас вместе. Спасибо ему.

— Не смейся, я серьезно. Он повторил идею, Павел, старую большую идею, которых у него не так уж много. Если даже простенькую идею колена повторяет и в мухе, и в человеке...

— Пусть так, я еще и еще раз согласен повториться... Вместе с тобой, Майка, только вместе с тобой!

Она могла меня сейчас заставить верить в любое — в невероятную повторяемость жизни, наших судеб и наших встреч, в существование запредельного, в эфемерность смерти и даже в наличие самого господа бога, скудно снабженного идеями.

И сипели, стонали, горланили лягушки, возглашая торжество жизни над смертью. И внизу под нами стыл Настин омут. И мельтешилась на воде пролитая Луна. А на небе с Луной происходило чудо — она медленно, медленно опрокидывалась. Какая-то сила упрямо валила на спину выщербленный месяц.

5

Из нашей деревенской школы я перешел в десятилетку, жил в интернате, по субботам бегал домой из райцентра. Вместе с Капкой Поняевой из соседней деревни Кряковка.

Я знал ее с первого класса — тощая вертлявая девочка, жила в крайней избе, часто выскакивала мне навстречу.

— Здрав-тя! А у нас кошка котяточек народила. Слип-пы-и!

В девятом классе она как-то внезапно выросла и похорошела — бедра обрели крутизну, вместо льняных нечесаных патл, коса по крепкой спине, тугие скулы, зеленые ищущие глаза.

Дважды в неделю мы дружным шагом, плечо в плечо отмахивали по пятнадцати километров — из школы домой, из дому в школу. В сентябре на нашем пути полыхали рябины и березовое мелколесье тлело кроткой желтизной. В мае все кругом было яростно зелено, обмыто и соловьи передавали нас один другому, выламываясь в немыслимых коленцах. Со временем мы все чаще и чаще стали прерывать свой слаженный бег, садились отдыхать — как и шли, плечо в плечо. И я чувствовал ее плечо, упругое, теснящее. А однажды она привалилась ко мне, жаркая, расслабленная, я долго сидел, боялся дышать. Наконец она прошептала с дрожью:

— Обними же, глупый... Покрепче.

Я неумело обнял обжигающее, загадочное, до потери сознания страшное девичье тело.

В августе того же года я уезжал поступать в институт. Я срубил молодую елочку и принес Капе, она украсила ее пестрыми лоскутками, белыми, голубыми, красными. Среди бела дня, на глазах всей деревни Кряковки я залез на Капкину крышу и прибил разнаряженную елочку к коньку. Как отец матери — зажданную. Клятва — добыюсь своего и вернусь, жди!

Капка Поняева не прождала и года, выскочила замуж за лейтенанта, проводившего отпуск в Кряковке, уехала с ним куда-то под Читу.

А я жил в городе, который тоже был далек от моих родных мест. И моей постоянной дорогой стал старый Глуховский бульвар, соединявший наш институт с городской публичной библиотекой. Поздними вечерами я возвращался из библиотеки, ветерок блуждал в тесной листве, фонари бросали под ноги узорную тень, на скамейках, подальше от фонарей, целовались парочки, и где-то в середине бульвара заливался соловей. Его песня издалека встречала меня, а потом долго провожала. Только один соловей и жил в центре города. Один, но упрямый, неизменно провозглашавший о себе каждую весну. Я не знаю, как долгот соловьиный век, но и теперь, как много лет назад, соловьиная песня звучит на том же месте. Должно быть, внук или правнук того, кто смущал меня в студенческие годы. А две последние весны я слушал его уже вместе с Майей.

Пел соловей, напоминал мне тех, что выламывались в замысловатых коленцах для нас с Капой. «Обними же, глупый...»

Я ее не осуждал: дедовские обычаи обветшали, ждать шесть лет, когда я кончу учиться, — непосильный подвиг для девчонки, которая не представляет иного счастья, как основать семью, стать матерью. Да я и сам уж не столь был уверен — тот ли человек Капка, какой мне нужен, тоже ведь мог нарушить клятву.

Мне тогда было жаль прошлого, завидовал целующимся парочкам и чувствовал себя потерянно одиноким. Люди кругом, люди на каждом шагу, не замечающие меня. Я среди них словно человек-невидимка! А как это тяжело — невидимка! Нечто бесплотное среди нормально живых.

Нет, я не чувствовал тогда себя ненужным. Напротив,

весьма самоуверенно считал — призван совершить великое открытие, человечество ждет от меня подвига. Были наставники, которых уважал, были товарищи, в преданности которых не сомневался, но не было такого, кому мог бы сказать: люблю! Среди людей не существовало ближайшего.

И тут-то родилась вера — встречу! Я не мог бы описать, какая Она, как выглядит, но был твердо убежден — сразу узнаю Ее. Я ждал встречи и жадно приглядывался, часто видел красивых, но ни одна не походила на Ту...

Шли годы, а все не находил Ее — не встречалась. Я начал тихо отчаиваться — гонюсь за каким-то миражем, сочинил себе миф.

И было библиотечное знакомство — некая Леночка Совкина, остроносая, светлая, легко заливающаяся смущенным румянцем. Однако ее смущение не мешало нам целоваться в темных уголках Глуховского бульвара.

Потом возле меня появилась Шура Горелик, студентка с почвоведческого факультета, плотно сбитая, с бровями, сросшимися у переносицы, с чистыми, честными, широко расставленными глазами, человек твердых взглядов и целеустремленного характера. Она не позволяла мне целовать ее на бульваре, а наши встречи со свойственной ей прямоотой и серьезностью воспринимала как первый шаг к женитьбе. Право, я даже временами подумывал: это не так уж и плохо для меня. Шура — надежная опора, в минуты отчаяния ободрит, в минуты увлечения охладит, с такой не пропадешь...

Но тут наконец произошло то, чего я так долго ждал. Я встретил Ту...

В автобусной толкучке стояла женщина, я нечаянно наткнулся на нее взглядом и содрогнулся — широкие брови, дремотный взгляд из-под припущенных ресниц, четкий рисунок губ и тяжелый пучок волос на затылке. Она была меня явно старше, уже зрелая женщина, не девчонка, но все равно Та! И чем больше украдкой я приглядывался к ней, тем сильнее убеждался — Она, никаких сомнений. Меня бросило в испарину и охватило отчаяние.

Сейчас Она двинется к выходу, кинет на меня скользящий, равнодушный взгляд из-под пушистых ресниц... исчезнет. Она, о которой я впервые задумался в далеком детстве, там, на грязном проселке посреди весеннего неопрытанного поля, мальчишкой в солдатских ботинках, на изношенных отцом, Она, которую в последние годы я ждал каждый день. Казалось, стоит только встретить, и

произойдет счастье — великое и единственное в моей жизни. Я узнаю Ее, Она меня, и тут уж ничто не сможет нам помешать, никакие силы.

Я-то узнал, но Она меня узнавать не собиралась, терпеливо сносила автобусную тесноту, рассеянно глядела мимо, мимо такими знакомыми, вымечтанными глазами. И с каждой минутой, с каждой секундой, с каждым поворотом автобусного колеса приближается остановка, на которой Она сойдет. И исчезнет. И будешь ты знать — Она не миф, не мираж, созданный твоим воображением. Будешь жить и казнить, чувствовать себя вечным несчастливцем. Жить просто так, никого не любя, жить с равнодушием, по привычке, по инерции, лететь в невнятное нечто, словно пуля, миновавшая цель. Я чувствовал: в эти минуты совершается промах, обесмысливающий все мое существование.

Она двинулась к выходу, я посторонился. Она скользнула по моему лицу невидящим, далеким, направленным внутрь себя взглядом из-под пушистых ресниц.

Она сошла на Театральной площади, я выскочил следом. Среднего роста, чуточку плотная, модная дубленка обтягивает покатые плечи и крепкую тонкую талию, походка неторопливая, с горделивым достоинством, несколько тяжеловатая и медлительная. Родственно знакома!

Родственна!.. Как разъединены люди друг с другом! Какие непроходимые овраги лежат между нами. Попробуй продержись через заросли суетных понятий приличия, возведенных в законы условностей, сквозь врожденное недоверие — встречный не может быть другом, будь с ним начеку, не доверяй. Нет простой и легкой дороги от человека к человеку. Каждый из нас — крепость с поднятыми мостами.

Я шел за спиной незнакомки в десяти шагах и судорожно решал, как подступить. Надо сказать все, выплеснуть из души: «Вы та самая, какую я искал всю свою сознательную жизнь. Та единственная, неповторимая, одна из тех многих и многих тысяч, которые когда-либо встречались мне в жизни. Второй такой нет и быть не может! Встретить единственную можно лишь раз в жизни, другого случая не представится. Не смейте его пропустить! Остановитесь, не проходите мимо того счастливого чуда, которое подарено мне и Вам!..» Выплеснуть из души, а она... она примет меня за сумасшедшего.

И еще меня дико смущало житейски суетное — на ее плечах дорогая, модная дубленка, она, должно быть, из-

балована достатком, а я студент, я предстану перед ней в потасканном осеннем пальтишке. У завоевателя слишком жалкий вид, чтоб рассчитывать на победу.

Пока я панически колебался, к незнакомке подошли. Это был монументальный мужчина, вложенный в монументальное пальто, с крупным выглаженным лицом, на котором с самого рождения отпечатано выражение самоуверенности. Он небрежно тронул перчаткой шляпу и взял незнакомку под локоть. И увел ее от меня. Навсегда.

Странно, она совсем не походила на Майю. Ничего общего.

Теперь мне чуть-чуть стыдно своего мальчишества, давно уже не жалею, что встречи не получилось, больше того, считаю удачей — прошла мимо, оставила меня убитым, опустошенным, но свободным. И все-таки вспоминаю ее благодарно. Да будет счастлива она в жизни! Мне почему-то радостно, что такая женщина живет на свете. Да, да, радостно без всякой корысти. И безболезненно.

Я уже кончил аспирантуру, когда в институте появилась Зульфия Козлова. Ее экзотическое имя и посконная фамилия совмещались не случайно — кровь потомков Тамерлана была перемешана в ней с мужичьей кровью тверичей. Две темные косы, большие бархатистые глаза, смуглое, со стремительным профилем лицо, не вязавшееся с ленивой заторможенностью движений. От ее полнющей, мягкой фигуры веяло покоем. Однако этот покой обманчив. Зульфия была хронически больна неустроенностью. Она блестяще кончила один из столичных институтов, сумела быстро защитить кандидатскую, и тут началась ее невеселая одиссея — из одного учебного заведения в другое, всюду, по ее выражению, она натывалась на «замшелые авторитеты». Мимоходом она успела трижды побывать замужем и трижды развестись. Душевная неустроенность пригнала ее к нам, думается, она заставит кочевать ее до старости, искать и не находить, вечно бегать от самой себя.

Началось у нас с ее поучений. Поджав под себя ногу, выставив крепкое колено, она, обволакивая меня бархатистым взглядом, лениво рассуждала:

— Человек создан для счастья, как птица для полета. Нет ничего пошлей этой птичьей фразы. Мы разумны, значит, способны видеть впереди опасности, а значит, не можем бесечно наслаждаться настоящим. Человек, мой

милый, самой природой обречен жить в вечной тревоге, не создан для счастья. Нет...

Я оказался для нее единственно близким, мне без нее тоже было пустынно и неуютно. Пожалуй, она даже победила Ту, вымечтанную. Я все больше и больше заражался ее ленивым примиренчеством перед неизбежным. Все чаще и чаще стал задумываться: не гонялся ли я за призраками? Незнакомка — не призрак. Да, она просто красивая женщина, наверно, редкостно красивая, если так смутила тебя. Но оглянись на себя — редкостных ли ты сам качеств? Почему тебе, заурядному, судьба должна подарить из ряда вон, исключительное? Не блажи, принимай то хорошее, что есть, умей радоваться.

Я забывал, что Зульфия только проповедовала смиренность — ленивым голосом, бархатно-кротким взглядом, — а сама жила не смиренно, не могла принять, что ей предлагала судьба, предпочитала неприкаянность.

Я навряд ли бы смог сделать Зульфию счастливой. Скорей всего появилась бы другая, не схожая с Той, не мифическая — нормальная.

А невероятное было уже близко.

6

Заваливался на спину месяц. Лягушки кричали влажно-картавыми голосами — скрип, бульканье, надсадное кряканье, изнемогающие стоны. Воздух рыдающе звенит. Лягушки?.. Да они ли кричат? Не сама ли наша планета этой глухой странной ночью заговорила вдруг с прорвавшейся страстью? Гибнет в небе светило, Земля не может оставаться равнодушной. Она должна страдать и негодовать.

Моя рука лежит на прохладной руке Майи, греет ее. Рука на руке — жест доверчивости, жест достигнутой близости.

С рюкзаком за спиной и бумагой в кармане, в которой говорилось, что районные и колхозные руководители должны оказывать мне, научному сотруднику Института почвоведения и агрохимии, помощь, я время от времени бродил по полям области.

Современное земледелие, пользующееся химическими удобрениями и химической защитой от вредителей, дав-

по уже вызывало тревогу у моего научного руководителя. У меня тоже. И мы оба хотели, чтобы этой тревогой прониклись все, в том числе и руководство областью.

В тот раз пришлось выехать осенью, чтобы взять пробы воды в известном по области Чермуховском озере и втекающих в него многочисленных речках. Эти пробы должны были показать, насколько повысилось химическое загрязнение вод за один только сезон — прошедшие весну и лето.

В селе Ступнино обычно я брал для себя помощника, двенадцатилетнего смышленного парнишку Петю Бочкова, но тот уехал к старшему брату, и бригадир привел мне сразу троих девиц. Трех студенток областного пединститута, посланных сюда «на картошку».

И вот пасмурным вечером в селе Ступнино возле затопленного крыльца бригадного дома я впервые увидел Майю. Ее горький изгиб губ, ее всполошенно темные, с невинной мольбой глаза, толстый платок на голове скрывал ее волосы...

Та, исчезнувшая незнакомка, самой природой создана, должно быть, госпожой — женщиной, сознающая свою власть. Я сразу, при первом же взгляде на нее почувствовал себя рабом, безвольным и обезличенным. Сейчас передо мной стояла девочка с горестными губами, молящими, заранее благодарными глазами — воплощение слабости и доверчивости. Не мог же я знать тогда, что всего этого нет — обман природы, но беспроегрышный, покоряющий. У меня сразу же защемило в груди от самозабвенного желания помочь, защитить, совершить что-то сверхдоброе, жертвенное, что-то столь необычное, чтоб исчезла с губ горькая складка. И сразу же я почувствовал себя сильным, дерзким, способным на подвиг.

Исчезнувшая незнакомка! Да будет жизнь твоя радостна! Хорошо, что такие, как ты, живут на свете. Но как ты, госпожа, повелевающая богиня, потускнела перед Майей — груба, тяжеловесна, плотски бесхитростна. Твоя власть безобидна и бессильна по сравнению с тем, что дано Майе: видимостью беззащитности вызывать отвагу, доверчивостью — самозабвение, обманчивой горестностью — иступленную жажду добра.

С Майей были еще две девушки, Галя и Оля, одна полная, добродушная, курносая, другая — худенькая брюнеточка, остроглазая и бойкая на язычок.

Мы вчетвером три дня лазили по берегам Чермухов-

ского озера, навещали устья ручьев и маленьких речек, на ночь возвращались в Ступнино.

Была обычная осенняя погода с тусклым низким небом, временами сеявшим мелким дождем. И озеро лежало свинцовое, не улыбочливое. И каждый куст встречал нас недружелюбно — обдавал холодной водой. Но я находился в красочном, поразительном мире, где воздух, емкий и насыщенный, можно было видеть, где мокрая земля с облетающей порослью казалась просторнее и обширнее обычной, и я по ней бродил в возвышенно-тревожном настроении. Бродил и всему удивлялся: тому, что застенчивый ствол осины травянисто зелен, что тесовые крыши изб стального звонкого цвета, что тоскливое небо над нами вовсе не тоскливо — не плоско, а глубинно, созвучно с дымчатыми лесами, и переполненное свинцовой водой озеро поражало меня своей мощью. На каждом шагу ошарашивающие открытия. Я словно снова впал в детство, стал тем парнишкой, который донашивал не доношенные отцом солдатские башмаки, застывая в изумлении перед сквозным березняком и полем в неопрятной стерне.

И какие счастливые минуты наступали, когда разгорался костер, а я устилал мокрую траву лапником, усаживал своих гостей.

И разогретая на костре, пахнувшая дымом тушенка с черным хлебом была так вкусна, что судорогой сводило челюсти.

И как не хотелось нам, насквозь вымокшим, падавшим с ног от усталости, возвращаясь в село, расставаться друг с другом.

А однажды мы не нашли ни лавы, ни поваленного дерева, чтобы перебраться через очередной ручей, и я перенес по очереди всех троих на тот берег на руках. И Майю тоже. Она обняла меня за шею, я слышал на своей щеке ее дыхание. А когда я опустил ее на землю, она, сияя глазами, тронув в смущенной улыбочке изломанные губы, сказала:

— Как-кой вы сильный!

Да, я был сильным, я был добрым. И мне все нравилось. Нравились девочки, все трое, и неуклюжая Галя, и бойкая, легкая на ногу Оля. Я им тоже нравился, насколько не сомневаюсь.

Каждый человек — крепость с поднятыми мостами. Ерунда! Мосты так легко падают — входи! Таким хорошим, таким легким и свободным человеком я еще ни разу не чувствовал себя в жизни. И не моя в том вина.

Нет, я не смог добиться, чтобы с Майиных губ исчез горький излом. Я уже тогда понял — это врожденное. Никогда не добьюсь, но буду вечно желать этого. Вечно, если даже ее и не будет рядом.

На третьи сутки вечером я устроил маленький прощальный праздник — бутылка красного вина для девочек, бутылка водки для себя и для хозяина дома, где я жил. Однако девочки пили вместе с нами водку и веселились. Толстая Галя всплакнула. Майя предложила выпить за встречу в городе. Все трое тут же мне дали свои адреса и телефоны, я — свои всем троим.

На следующее утро они меня провожали. И снова толстая Галя всплакнула, а у Майи страдальчески тлели глаза, изгиб ее губ, уже до боли родной, — немотный крик.

А в городе, издалека все стало для меня выглядеть поинему. Я начал люто казнить. Эти девочки несколько месяцев тому назад сидели еще на школьной парте. А я готовился к защите кандидатской, преподавал таким вот желторотым студенткам, и женщина бальзаковского возраста — если уж выражаться и дальше по-книжному — дарит меня своей любовью, значит, признает равным себе. Я почти что другое поколение... Реакция пострадавшего от жары и замешкавшегося на берегу в испуге перед холодной водой.

Майя первая позвонила мне в институт. Раньше Оли и раньше Гали. Я еще не понял тогда, что она вовсе не беззащитна и робка, а решительный человек, куда решительней своих подруг. И меня тоже.

Мы стали часто встречаться.

И только спустя полтора года я осмелился положить свою руку на руку ее. Это случилось самым тривиальным образом — в кинотеатре «Радуга».

Сейчас моя рука греет ее прохладную руку. Лягушачьими голосами ропщет планета. В небе под незримым натиском медленно, медленно падает на горбатую спину месяц.

7

Наконец он совсем лег на горб, беспомощно, рогами вверх. В таком положении еще никогда не приходилось видеть Луну, даже на картинках.

— Вот оно... — сказал я. — Затмение.

Пришла та самая, обещанная календарями «наибольшая фаза», когда 83 процента всей Луны закрыто набе-

жавшей тенью. Календари лишь забыли предупредить, как выглядит эта фаза — рогами вверх!

Майя вздрогнула и сжала мою руку — изломаны брови и губы, глаза круглы, в них страх.

— Гляди... — срывающимся шепотом. — Он улыбается!

— Кто?

— Не знаю... Он!

И тут только я увидел — над знакомым миром, над стынувшей смолистой заводью, поигрывающей уже жалким расплавленным золотым клочком, над висящей лохматой, беспросветно черной громадой заросшего берега, где деревья растут и вверх к небесам и внутрь, в глубь земли растрепанными вершинами, над нашим мостиком, парящим над бездоньем, висела... улыбка! Просто улыбка сама по себе, без лица, без хозяина.

Казалось, даже лягушки чуть попритихли, влажные, булькающие и картавые голоса — клочьями, островками.

— Как клоун, — выдавила из себя Майя.

Улыбка на небе, улыбка мироздания или кого-то в нем, вездесущего и невидимого. Его самого нет, он послал только свою улыбку, неподвижную, плоскую, вовсе не веселящую.

— Как клоун... Только Он очень, очень устал, Павел.

— Он... Может, на колени нам опуститься, Майка?

— Нет, ты приглядиись!

Приглядываться нужды не было: плоский, словно крашеный, клоунский рот на небе, в нем и впрямь чувствовалась усталая горечь и еще, пожалуй... холодная, жуткая жалость ко всему, что внизу. К нам, стоящим на скрипучих мостках, к кричащим лягушкам... Для этой всевышней улыбки как мы с Майей, так и лягушки одинаково мелкие и ничтожны.

Майя жадно озиралась.

— Павел! — ее сдавленный голос зазвенел. — Все ненастоящее, Павел. Все, все кругом! И омут, и берега, и лес на нем! Временное, случайное!..

— И ты ненастоящая? Это уже мне обидно, — я хотел свести на шутку.

— И я, и ты! Мы, наверное, и есть самое ненастоящее. Наш миг короче всех, Павел! Он это знает. Он улыбается!

— Ну не короче же лягушачьего, Майя.

— Утешаешься? Чем? Что наш век длинней лягушачьего! — Майя тянулась вверх, к небесной застывшей улыбке, лицо бледно, кричащие брови, сведенный рот, она даже перестала быть красивой. — Во-он!.. — Она вскинула тон-

кую руку. — Вон там плывет бесконечное время, несет галактики. И в этом бесконечном крохотный просвет, волоссяной, микроскопический — это моя жизнь! Я появилась на свет, чтоб увидеть, как проблеснет падо мной мир. И снова в небытие, и снова пустота — и уже навсегда. Я пытаюсь, пытаюсь обманывать себя, выдумываю, что когда-то повторюсь, что Он не изобретателен — колено мухи и колено человека... А он смеется, Павел. Он-то знает, что у меня впереди только одно ничто. Вынырнула из этого ничто, в нем и утону. И еще радуюсь, что живу, цепляюсь за свой волоссяной век, недоумеваю, как можно с ним расстаться. Вот эта Настя... лет сто тому назад здесь... А если бы она тогда не бросилась в этот омут, что бы изменилось? Да ничего, все равно бы исчезла, как исчезли все, все без исключения, что вместе с ней жили. Не бывало еще такого удачника, который бы обманул время... И как Ему — Ему! — не жалеть нас. Не смерти боюсь, нет! Нелепости! Зачем я, к чему я? Кому нужно мое мелькание на свете? Брошусь вот сейчас в воду или не брошусь — да велика ли разница, чуть-чуть тоньше станет волосок про-света...

— Майка! — Я схватил ее за руку, рывком повернул ее к себе — искаженное лицо с налитыми страхом глазами. — Ты чем меряешь время, Майка? Секундами, минутами, веками! А они одинаковы, эти секунды и века? Улыбается, жалеет... Это Луна-то нас жалеет? Очнись, Майка! Сколько там Луна существует — четыре, пять миллиардов лет. Не волоссяной просвет — вообразить нельзя. Только что там за эту невообразимость произошло? Да ничего — чуть больше оспин стало на ее роже. Проходят миллионы лет за миллионами, а ничего не случается, ничего не меняется. А вот двадцать два года назад — только двадцать два! — тебя не было совсем. Ты появилась, выросла, в тебе каждую секунду что-то меняется, отмирают одни клетки, рождаются другие, и мысли возникают, и эвоц... страсти кипят. Твоя секунда, Майка, куда вместительней десяти лунных тысячелетий. Волоссяной век? Да ты сейчас добрых три минуты завывала на Луну — свои три минуты, сто восемьдесят секунд! Тысячу восемьсот лунных тысячелетий! Так кто из вас больше прожил — ты или Луна?..

Майя слушала — русалочьи голубой лик, обжигающие глаза. И кричали лягушки, и висела над миром приклеенная без лица улыбка.

— Вместительные секунды... — тихо произнесла Майя,

неспокойно вглядываясь в омут с опрокинутыми деревьями.— И у Насти тоже?.. Да нет, должно, так пусты были, что в воду бросились.

— А может, наоборот? — возразил я.— Чувствовала, что непрожитое время могло бы стать слишком заполненным...

— Тогда зачем же она его в омут? — удивилась Майя.

— А оно уже ей не принадлежало — купец купил за дешево. Чужое, не свое выбрасывала.

Майя с сомнением покачала головой.

— Она все равно бы кому-то подарила непрожитое время — другому человеку, детям, может, и вовсе незнакомым людям, работая на них. Значит, так и так не свое, чужое.

— Важно же не просто отдать, важно — кому и за что. Купчина, должно, не стоил Настиного.

— Кому и за что... Ты знаешь?

— В общем-то, знаю.

— А я... двадцать один год мельтешу на свете и все еще не знаю, кому нужна, на что пригодна. Одни какие-то желания, в которых и сама не разберусь.

— Ты мне нужна, Майка!

Она с горечью усмехнулась.

— Нужна... Если б тебе такое сказали, радовался бы?.. Нет, каждому хочется не одного осчастливить, а хоть какой-нибудь перпетуум-мобиле подарить людям.

— Ты и подаришь, Майка.

— Как?

— Изменив меня... Ты разве не замечала, что рядом с тобой люди меняются.

— Замечала — гарцевать вокруг начинают.

— Уж не считаешь ли, что и я гарцую?

— Ты исключение, Павел. Как раз в тебе-то я никаких перемен и не заметила.

— Я, Майка, рядом с тобой начинаю видеть сквозь стены. Рядом с тобой я уже сам страшусь своей силы, готов опрокинуть горы, сорвать Луну с неба, открыть живую воду... И перпетуум-мобиле тоже изобрести могу!

— Вот если бы меня заразил этим.

— Да как можно заразить того, от кого идет благородная зараза? Ты катализатор, Майка. Катализатор в реакциях не участвует, он их ускоряет. И не думай, что такие люди — второй сорт. Совсем наоборот! «Природа-мать! когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни!» Может, нива жизни совсем бы и не

заглохла, но то, что без людей-катализаторов мы до сих пор скребли бы свои поля сохой, передвигались бы на волах с колесным скрипом, — это уж точно.

Майя молчала, смотрела вниз, но ее голубые до прозрачности веки, таящие влажный мрак глаз, подрагивали.

— Май-ка! Если рядом тебя не будет, я увяну, усохну, стану тупым, слабым, безвольным. Меня жуть берет, Майка, если подумаю, что ты не меня, а кого-то другого — сильным и счастливым... Не я, а кто-то другой рядом с тобой — перпетуум-мобиле... Майка! Я мечтал, но не очень-то верил, что такое чудо со мной случится. Случилось. И уж без чуда я теперь жить не могу! Ты слышишь, Майка, что такое ты для меня?

Майя пошевелилась, смятенно оглянулась направо, налево, словно стараясь запомнить все, что нас окружало, решительно выдохнула:

— Пошли.

И первая двинулась с мостков на берег. Я двинулся за ней, словно на привязи.

На берегу она задержалась, повернула лицо к Луне. Окруженное впитавшими ночной мрак волосами, нежно светящееся узкое лицо с тревожной складкой рта и мерцающими глазами выражало затаенную решимость.

По-прежнему над землей, над рекой, обмершей и бурлящей лягушачьими голосами, висела вселенская улыбка, заливала всепроникающей — до дна души, под корни трав — печалью.

8

Я родился от приговоренного к смерти отца, носившего в легком осколок снаряда. Я родился на свет спустя неделю после того, как в Европе умолкли пушки. Мне было всего несколько месяцев, когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба. В нашей избе стоял тошнотно-сладковатый запах лепешек из травы. Они походили на навозные коровьи лепехи, их ела мать, для меня она правдами и неправдами сберегала чистый хлебушко. А Васька Ключин, парнишка-сосед, на год младше меня, умер с голоду на исходе зимы.

В двенадцать лет я услышал: запущен первый искусственный спутник. В четырнадцать — ракета впервые достигла Луны. В шестнадцать — Юрий Гагарин, первый из людей, побывал в космосе. К этому времени я уже глотал научно-фантастические повести и научно-популярные кни-

ги, знал, что такое «парадокс близнецов», слышал и сам произносил имя Эйнштейна.

Война и голод, космические головокружительные полеты и гуляющий по миру страх перед атомными и водородными бомбами, возможное и невозможное, перепутанное в сознании. Даже мужики на завалинке, чадя махоркой, рассуждали о гибельной сущности стронция:

— Бабы и те от него лысеют, и кровь — как моча.

Я не был самым лучшим в школе учеником, но твердо знал, что поступлю в институт, стану ученым. Я мальчишески самонадеянно верил — сделаю в жизни что-то большое, столь нужное людям, что мне будут ставить памятники после смерти, а деревня Полянка станет известна миру: здесь родился великий человек!

С годами мир вокруг меня сильно разросся, а я изрядно измельчал в своих глазах — великий, где уж! — но честолюбивое желание сделать нечто всеобщее полезное, пусть уж не такое большое, продолжало во мне жить.

Мир разросся для меня — и раскрылся. Я начал видеть в нем не только те опасности, о которых озабоченно говорили даже мужики на завалинке. Заводская труба, выплескивающая промышленные отходы, не менее страшна, чем ракеты с термоядерными боеголовками. Уже теперь раздаются голоса: «Наш воздух загрязнен, наши реки отравлены, наши земли истощены!» Зеленые луга, речные излучины, леса в голубой дымке — красив светлый мир вокруг! Его закоптят, задуют, запакосят... Кто в наш век не отравлен страхом за грядущее?..

Отравлен и я. Был! И совсем недавно.

Но вот Майя... Я люблю! А можно ли любить и не испытывать надежды? Я люблю — я надеюсь, а значит, не в состоянии жить отравленным. Я люблю, чувствую в себе взрывные силы, могу видеть сквозь стены, могу изобрести невозможное — перпетуум-мобиле, не удавшееся другим! И спасение мира мне по плечу, потому что люблю, потому что хочу столь страстно, столь неистово жить, что всякая мысль о гибели кого бы то и чего бы то ни было для меня просто неприемлема!

Майи встречаются и другим, не один я люблю, не один я чувствую — способен на невозможное! — моя животворная мощь не исключительна, не редкость, а обычна для мира сего!

Пока на свете рождаются Майи, жизнь не перестанет цвести. Несущие в себе любовь, они-то и есть истинные спасители человечества!

Мы уходим от поверженной — рогами вверх — Луны.
Майя замкнута, Майя молчит.

9

Нам везло в эту ночь — в самое глухое время суток на самой окраине города на нас выехало такси. Не надо тащиться пешком через весь город.

— На Конармейскую улицу, — сказал я шоферу, усаживаясь.

— Нет! — резко отозвалась Майя. — На Менделеева, двадцать три... Я теперь там живу.

На Менделеева, двадцать три жил я.

Сонный ночной шофер молча тронул с места машину.

Медленно и устало расстегивая плащ, она оглядывалась: железная койка, простой стол, книжная полка, пара стульев, на пустой стене одиноко небольшая репродукция — этюд Грабаря «Рябинка», кусочек пестрой, хохочущей осени.

Моя келья с выходом на балкон. Сама комната столь мала, что кажется несущественным приложением к коридорчику, прихожей, ванной и кухне. Я только год назад получил квартиру, пусть самую маленькую, какая может быть, но отдельную. Почти вся моя жизнь прошла по общежитиям — школьное общежитие при десятилетке в райцентре, студенческое общежитие на четыре койки, аспирантское... И вот четырнадцать квадратных метров, обнесенных стенами, накрытых крышей, со всеми положенными удобствами, за исключением телефона.

Майино лицо с яркими бровями не выражало ничего, кроме врожденной скорби, глаза с безразличием скользили по стенам мимо хохочущей рябинки, остановились на балконной двери, которая одновременно служила и окном.

— Задерни. Пусть даже Луна не заглядывает к нам.

Она уронила на пол плащ, ушла в ванную комнату. Со вскинутой головой, в узкой гибкой спине незнакомая мне натянутость, походка вздрагивающая, насильственная, каждый шаг — натужный толчок.

Она вышла, а я заметался: поднял плащ, кинул на стул, бросился к балконному окну, тут же сбил стул с

плащом, сел растерянно за стол, вскочил и застыл посреди комнаты.

Она здесь, она за стеной. И сейчас, сейчас вот появится. Уже не такой, какой я ее знаю, иною!.. «Можешь считать, выхожу за тебя замуж». Эти слова она произнесла с сумрачной решительностью вниз, в подъезде, повесив трубку телефона-автомата, скупое предупредив родителей, что ночевать не придет.

Я ждал, я надеялся — да, произойдет, да, будет! Но когда-то, в благословенном и еще невнятном будущем. Будущее вдруг ринулось навстречу и... застало меня врасплох. Я знал женщин, давно уже не терялся перед ними, но Майя для меня не просто женщина — неприхотливые желания и нескромные мысли несовместимы с ней, до сих пор гнал их от себя, стыдился их, боялся осквернить даже печальным помыслом. Сейчас, вот сейчас — иная Майя...

Я вспомнил, что окно так и осталось незадернутым. «Пусть даже Луна...» Я кинулся к окну, задернул. И обернулся.

Она стояла в комнате, утопая в моем купальном халате — тяжелые складки падают до самого пола. Лица нет, есть только глаза, бездонно темные, без блеска — прямо на меня! — истекающие ужасом. И не двинуть рукой, и ноги непосильно чугунны, и пересохло горло — полный столбняк. Только сердце бешено стучится в ребра.

Она чуть повела плечом — жест неловкий, с беспомощным вызовом, — и тяжело свисавший халат рухнул вниз, выплеснув из себя ее, узкую, белую, ослепительную, как всполох. И глаза, горящие черным ужасом, погасли под веками, и лицо медленно склонилось, и на выпуклый чистый лоб упала жесткая прядь волос. Глаза погасли, их сковывающая сила исчезла, я, освобождаясь от деревянности, сделал шаг к ней, робкий, виноватый, готовый оборвать движение, замереть при взмахе ее ресниц. Скованная, ожидающая, мучительно незащищенная, преодолевающая себя, решившаяся на первобытное откровение — вот она я, как есть, смотри! Острые, хрупкие, нервные плечи, потерянно уроненные тонкие руки, и упруго стекающие бедра, и недоуменные груди. Как есть — вся! Проста и чиста, доверяюсь. С колотящимся сердцем я сделал второй шаг, опустил на колени, уловил молочно-свежий запах ее кожи, лицом ощутил глубинное тепло ее тела. Она вздрогнула, когда я прикоснулся лицом, и снова замерла.

На меня с высоты глядели ее бездонные глаза...

Она уснула, и лицо ее было детски обиженным, пожалуй, капризным, но не трагичным. Вкрадчивые тени падали от опущенных ресниц, на нежной коже под тонкой ключицей была маленькая родинка, мне не знакомая. Да и вся она с растрепанными короткими густыми волосами, с кулачком, втиснутым под выпирающую скулу, с невнятной капризностью на губах нова для меня и пронизывающе родна, хоть плач от беспричинной к ней жалости.

За окном забуянили воробьи, их хлынувшие голоса можно было бы принять за обрушившийся звонкий ливень, если бы сквозь небрежно задернутую занавеску не протекал зовуще ясный розовый свет, какой может родиться лишь при безоблачном, победно широком рассвете.

Медленно и осторожно, затаив дыхание, не спуская глаз с ее ресниц, хранящих под собой дымчатую тень, я постепенно высвободил себя из-под одеяла, легко поднялся, чувствуя, как рвется из меня наружу энергия: что-то делать, двигаться, еще и еще раз перебрать, осмыслить свершившееся счастье, жить взахлеб.

Я поднял оброненный ею халат, натянул его на себя, открыл осторожно дверь на балкон, еще раз бросил взгляд на Майю — перепутанные волосы на подушке, кулачок под скулой, прочерк ресниц — вышел.

Солнце пока не взошло, пылало все небо, круто вздыбленное над городом, пылало без накала, насыщенным, обещающе прохладным сиянием. Всемирно необъятное, мощное и короткое пожарище, где нет пламени, нет лучей и нет теней, просто воздух обрел светимость, проникает в каждую пору, надышись им — и сам засветишься изнутри.

И под океаном света, на дне его — знакомый город, накрытый крышами. Знакомый, но преображенный — вымытый, снявший с себя житейскую копоть, настолько праздничный, что уже просто не представляется, как в нем теперь будут существовать обычные люди, те, кто суетно мельтешит на земле ради куска пожирней, кто способен корчиться от зависти, вынашивать ненависть, лгать другим и себе, напиваться до скотства, сквернословить бессмысленно; те люди, кого не тревожат ни собственная нечистоплотность, ни загрязненные реки, ни отравленный воздух, ни растущий шум, плодящий неврастеников. Вымытые крыши, они парадны, даже несколько крикливы сейчас, похожи на пеструю россыпь гальки, океан света

лежит на них. Праздничный город сейчас пуст, кажется, что он ждет новых жителей, не терпящих никакой грязи, чьи желания столь же лучезарны, как это кротко нылающее утро.

И я содрогнулся от простой мысли: наступающее сегодня совсем будет непохоже на все дни, оставшиеся позади. Там — зажито обычное, здесь — начало начал!

За моей спиной в нескольких шагах спала Майя. Всю жизнь шел к ней!

Единственная... Люди истерли это слово. Не я первый, не я последний нуждаюсь в нем. Единственная... Уже использовано, но другого-то нет.

Всю прошлую жизнь — к тебе, всю будущую — рядом! И стану постоянно оглядываться на себя...

Без тебя толкался бы среди людей человек, наверное, не столь уж и дурной, но прощающий себе многое. Озаренная тобой жизнь впереди — нет, не подведу, буду достоин тебя, Майя!

Буду! И это тебе подтвердят люди. Ты сделаешь счастливым меня, а я их. Отдам им себя без остатка, все силы, какие есть, всю жизнь день за днем. Клянусь, Майя, буду!..

Но люди могут и не понять, что начало начал — ты, от тебя рождается. Они не догадаются вознести тебе благодарственную молитву.

Так я за них провозглашу тебе, Майя, многие лета!

Да пусть всегда исходит на меня твой свет!

Да не иссякнет твое влияние на меня!

Да станет вечен твой светлый дух!

Да будет жить он и в поколениях после нас!

Единственная средь людей —

Жизнь дающая!

Меня окружал океан света. Отдыхал внизу чистый, праздничный город. Я молился. И мое божество лежало за моей спиной, подсунув под щеку сжатый кулачок.

Глава вторая

УТРО

1

В школе у меня было много учителей, научивших меня понимать бином Ньютона, периодическую систему Менделеева, естественный отбор Дарвина. Но, увы, ни про одного

из учителей школы я не могу сказать: это он направил, он определил мою жизнь, он изначальный творец моего будущего — Учитель с большой буквы! Настоящий Учитель всегда приспровергатель, он переворачивает с ног на голову твой привычный мир, в простом заставляет видеть сложное, сложное низводит до емкой простоты, и черное после него становится белым.

Лишь в институте я наткнулся на человека, кого смею назвать этим высоким именем.

«Он создал нас, он воспитал наш пламень!» Нас было не так уж и много, со всего курса только двое стали его аспирантами — Витька Скорников, мой приятель, и я. Витьку Скорникова он едва ли не проклинал... за излишнюю верность себе.

Борис Евгеньевич Лобанов, многолетний заведующий кафедрой прикладной химии в нашем институте, в свое время сделал открытия, которые позволили изменить технологию получения азотистых удобрений. И до сих пор в специальной литературе среди других почтенных имен постоянно упоминается его имя. Виктор загорелся примером Бориса Евгеньевича: добыть те же удобрения, но дешевым способом, из самого дешевого сырья — воздуха! Казалось бы, весьма похвально — верный ученик идет по стопам Учителя. Но Учитель сам был недоволен собой.

Он теперь постоянно приводил слова Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит». В США с 1949 года по 1968-й производство зерна на душу населения увеличилось на шесть процентов — всего лишь на шесть за девятнадцать лет! — а использование удобрений на... 648 процентов! Оказывается, химические удобрения «подобны наркотикам: чем больше их используют, тем в больших дозах они требуются». Только слепой может не видеть, что за малые победы грядет великая месть!

Борис Евгеньевич Лобанов убеждал в этом своего ученика Виктора Скорникова, но ученик остался верен старому профессору Лобанову, подарившему стране многие тысячи тонн удобрений, а вместе с ними многие тысячи тонн хлеба... Виктор, воспользовавшись случаем, перевелся в другой город, в другом институте успешно защитил свою диссертацию.

Борис Евгеньевич отзывался о нем с горечью:

— Не освободил себя от обезьяны — мастерски способен передразнивать других, а найти свое, увы, не дано.

В устах в общем-то деликатного Бориса Евгеньевича это звучало почти как проклятие.

Где-то в прошедших веках родилось убеждение: победителей не судят! В наш парадоксальный век появились победители, пристрастно судящие свои победы. Те, кто помог открыть цепную реакцию, раньше, громче, тревожней, чем кто-либо заговорили о страшной радиоактивной опасности. Лео Сциларды и Роберты Оппенгеймеры существуют и в других науках, пусть они не столь известны миру, но их нешумная тревога, право же, не менее обоснована.

Доктор химических наук Лобанов был из таких — судил свои победы, считал, что они представляют угрозу для будущего.

Должно быть, такой самосуд не проходит безнаказанно для ученого. Тот же Роберт Оппенгеймер в ядерной физике уже больше ничего не сделал, стал заниматься санскритом. Борис Евгеньевич продолжал преподавать студентам химию, следил со стороны за нашими работами, но сам уже в лабораторию не заглядывал, научных статей давно не писал, а только популярно-просветительские — о биосфере, экосфере, о глобальном равновесии. Он стал активным членом разных обществ, комитетов, комиссий по охране среды от загрязнения. Хлопотал, заседал, составлял докладные, стучался в высокие кабинеты. Он по-прежнему считался моим научным руководителем, но охотнее разговаривал со мной о проторях и убытках человеческого существования, чем об азотно-фиксирующих бактериях, которые стали предметом моего исследования.

Нет, Борис Евгеньевич не мог упрекнуть меня, как Виктора Скорникова, в «обезьянничанье». Мой учитель был «чистым» химиком, я, его ученик, стал биохимиком, и крен в эту сторону наметился у меня еще в студенческие годы.

Личная исповедь и паука — вещи, обычно не совместимые, но нельзя миновать того, что заполняло и заполняет мою жизнь, а потому придется рассказать, чем именно я занимаюсь.

И мы, и все живое, что нас окружает, собственно, состоим из азотистых соединений. Азот — это наша жизнь, наша пища, мы постоянно пуждаемся в азоте. И мы купаемся в нем, в великом океане азота — нашей атмосфере. Но только купаемся. Каждый из нас может в нем умереть

от азотного голода. Тот азот, который нам нужен, мы получаем из земли сложным путем — через растения, через мясо животных. Атомы азота в воздухе спаялись в «глухую» молекулу, ни на что не реагирующую и невероятно прочную. Чтоб расколоть ее, нужна, например, температура едва ли не выше, чем на Солнце. Такой орешек человеку раскусить не под силу.

Но каким-то чудом ее удается «раскусывать» растениям, они питаются азотом воздуха, однако и для них эта пища тяжела, от нее сыты не бывают. И тут им на помощь приходят бактерии. Есть счастливцы растения, у которых прямо на корнях проживают колонии микроспециалистов по добыванию азота из воздуха — прославленные клубеньковые бактерии. Вот если б они квартировали на корнях пшеницы или ржи, то человечество тоже было бы счастливо — с каждым урожаем наши почвы не оскудевали бы, а становились еще плодородней.

Однако существуют бактерии, которые живут в почве сами по себе, ни с какими растениями не связаны, но брать азот из воздуха способны. Их открыли еще в конце прошлого века и возликовали: стоит начать их разводить, запускать в почву — и тощие подзолы, даже песок, даже материковые глины станут обильно плодоносить. Увы, азотобактеры оказались капризны и рахитичны. Они сами еще больше растений нуждались в хороших почвах.

Где-то на четвертом курсе я загорелся — что, если посвятить жизнь этим азотобактерам?! Они же, бактерии, — не в пример людям и зверям, у них поколения сменяются поколениями в течение часов, а не десятилетий и не столетий. А потому и наследственные отклонения у них — дети не похожи на своих родителей! — должны случаться достаточно часто. Могут появляться более хилые и нежизнеспособные, а могут и стойчески выносливые, преодолевающие самые неблагоприятные условия. И мне казалось, что стоит лишь с усердием и терпением заняться разведением азотобактеров, помещая их все в более и более неблагоприятную среду, как рано или поздно в моих руках окажется пекий мутант — сверхазотобактер! Он будет чрезвычайно жизнестоек и неприхотлив, вот тогда-то и вноси его в подзолы, в пески, в материковую глину, превращая их в плодоносящие почвы!

Свои наивные мечтания я пресек сам, сам дошел до простой и обескураживающей мысли: азотобактеры существуют многие миллионы лет, природа паверняка их ста-

вила в разные условия, и если до сих пор не существует тот сказочный азотобактер, то что-то мешает, что-то столь непреодолимое, перед чем пасует даже всемогущий естественный отбор.

Совсем недавно открылось, что растения-счастливицы не только принимают помощь от бактерий, но и сами помогают им. В Москве на Долгопрудной профессор Турчин получил из сока растений таинственную пока жидкость. Волшебный эликсир, дающий чудесную силу клубеньковым бактериям. Но азотобактеры-то справляются без растений! С помощью чего? Фабрикуют ли они сами такую жидкость? Или имеют еще что-то, не менее удивительное? Словом, передо мной замаячило — открыть то непреодолимое, что мешало природе пестовать сверхазотобактеры! Открыть, найти обходной путь к тому, чтобы подзолы, пески, материковые глины плодоносили, словно тучный чернозем!

Вот эта таинственная жидкость...

Для многих моя тема казалась фантастической, но не для Бориса Евгеньевича.

— В ней есть сумасшедшинка, — говорил он, — но весьма умеренная, компромиссная... Видите ли, дорогой мой, чтоб быть вашей идее по-настоящему прозорливой, мешает одна консервативная уступка — само пахотное поле! Вы его решили улучшить, но все-таки оставить для будущих поколений, а оно, ох, накладной подарок. Рано ли, поздно население так возрастет, что придется распахивать всю свободную от застроек землю, иначе не прокормишься. Пахотные поля сожрут все леса, а значит, высушат реки, вода станет дефицитом, пустыня — повсеместным явлением. Спасительна ли по большому счету ваша идея, рассудите сами?..

Объемистый лысый череп, запавшие виски, жестковатое лицо аскета с прямым решительным носом, и нерешительные голубые рассеянные глаза, и легкое сухое тело бывшего спортсмена — когда-то давным-давно Борис Евгеньевич брал призы по лыжам. Он был старше моего отца на целых десять лет, но ни один из молодых ученых в нашем институте не мог сравниться с ним в воинственной непримиримости к общепринятому, устоявшемуся. Эка, куда хватил — корми людей и не паши землю!

Я пытался уязвить его, смиренно спрашивал:

— А какой вы представляете себе спасительную идею?

Он смеялся и обезоруживающе разводил руками.

— Не знаю.

Впрочем, я понимал: его слова прямого отношения к нашей науке не имели, просто появился повод лишний раз высказаться о трудной судьбе рода человеческого, которая не давала покоя ему в последние годы. А уж раз повод появлялся, то остановить Бориса Евгеньевича было нелезья.

— Сейчас считается высшим благом — открыть новое, никому не ведомое, тогда как куда для всех нас важнее понять простое и очевидное. Все видят — идет демографический взрыв, планета уже тесна, а станет и вовсе не хватать места под солнцем, люди начнут задыхаться в общей давке. Казалось бы, чего проще — договориться, пока не поздно, о регулируемости рождаемости. Ах договориться-то мы и не способны. Вспомните старый гоголевский конфликт Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Гоголевские Иваны глупы, необразованны, с таких, мол, и взятки гладки. Но я вот много лет слежу за теми, кто меня окружает, люди с высшим образованием, многие из них, право, по-настоящему умны, а гоголевские Иваны по сравнению с ними еще терпимые люди...

Мне хорошо было известно, о чем говорил Борис Евгеньевич. Я знал, что профессор Пискарев давно ненавидит профессора Зеневича. В оны времена, еще до моего появления в институте, Зеневич сострил о пискаревской теории теплового видоизменения растений: «За вкус не ручаюсь, а горячо подам». Сам Пискарев давно отказался от своей теории, профессора вежливо здоровались при встрече, улыбались друг другу, и... старая история Монтекки и Капулетти повторялась в наших стенах. Молодые студенты, едва оглядевшись в институте, уже начинали прикидывать, к какому клану им прислониться. Пискаревцы с зеневичевцами, Монтекки с Капулетти — в коридорах, на семинарах, на собраниях, на ученых советах мелкие стычки и крупные сражения, легкие уколы и тяжелые удары, «да» одних непременно становится «нет» для других. Слава богу, Борис Евгеньевич был слишком крупная фигура для этой междоусобицы, перед ним могли только заискивать, но втянуть не пытались. За надежной спиной своего шефа и я спокойно жил, без помех работал.

— Не найдено способа, как совместить иванов ивановичей с иванами никифоровичами. Ни о какой договоренности в масштабе всего человечества и речи быть не может. «Грустно жить на этом свете, господа!» Ой, нет, нам уже теперь не до грусти...

Все это «жомини да жомини»¹ — разговоры на отвлеченные темы, а кто-то должен был делать науку, обещающую: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Я тащил лабораторию на себе, все меньше и меньше рассчитывал на помощь своего старого Учителя. И бегал плакаться на него к Зульфие Козловой, единственному другу и поверенному, так как Витка Скорников давно уже перебрался в Новосибирск.

2

У Зульфии узкий, стиснутый с висков высокий лоб, потухше-матовый цвет лица, бархатные ласковые глаза и в черных, гладко забранных в пучок на затылке волосах робкая седина. Она всегда сидит в одной и той же позе, уютно подвернув под себя ногу, облокотившись на диванную подушку.

— Мир без праведников не живет, а праведней не становится... — Голос ее ленивый и убаюкивающий, однако им она может произносить и жестокие истины, и язвительные упреки. — Лобанов перестал быть ученым, сам знаешь, не потому что выдохся. Наоборот, у старика наступило второе дыхание, а вместе с ним и самомнение: силен, мудр, все по плечу, даже праведнические подвиги. Выжимать из бактерий крупицу пользы — уже не серьезное. Взять быка за рога, перестроить больной мир — на меньшее он не согласен. Весьма распространенная глупость беспокойных и мыслящих людей.

— Глупость мыслящих?..

— А ты считаешь, что это миленькое свойство присуще только дуракам? Какая наивность! Непреходящие глупости, милый мой, чаще совершают мыслящие, уже потому только, что они в большее вникают, глубже зарываются. Поверхностный дурак вообще не способен родить оригинальную глупость, повторяет лишь чужую, всем очевидную, значит, и не столь опасную. Возьми, к примеру, Жан-Жака Руссо, глупцом, право, не назовешь, а глупостей нагородил столько, что два века с ними носятся и износить не могут.

¹ Перефраз строк из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара»: «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова». Жомини — французский генерал, перешедший на службу в русскую армию. (Примеч. автора.)

— Ты считаешь, что желание перестроить мир — глупость?

— Да неужели ты считаешь иначе?

— Но люди тем только и занимаются, что перестраивают и подправляют доступный мир.

В ее ласковых глазах теплится снисходительная усмешка.

— Полно, мальчик, полно, не повторяй чужих заблуждений. Построить плотину, повернуть вспять реку еще не значит изменить мир.

— И все-таки от плотины, от повернутых рек мир меняется.

— Точно так же, как и от коз, которые выедают кустарник на острове, предоставляя дождям и ветру сносить почву, оставляя бесплодные скалы. Человек, по сути, поступает по-козьему, вся разница в масштабах.

Зульфия, обласкивая меня взглядом, выжидающе замолкает. Она знает не только, что возражу я, но уже заранее приготовила свой ответ.

— Ты хочешь приказать разуму, — говорю я с досадой, — на то-то дерзай, на то-то не смей замахиваться. Кто установит границу между дозволенным и недозволенным?

— Да сам же разум, золотко. Не кто другой, а разум открыл нам вселенское чудище — разбросанные по пространству несчетные галактики и нас среди них, нечто невразумительно малое, греющееся у жалкой звезды. Если ты действительно разумен, то сообрази: что можем сделать мы... мы с миром?! Перевернуть его развитие по нашему желанию — ха! Согласись, что глупо... В награду за твою милую доверчивость я сейчас постараюсь напоить тебя чаем. Сиди и жди, не смей срываться. Вот тебе твой Босх...

Она любит обрывать спор в самом накале, но уже тогда, когда, по ее мнению, противник прижат — пока не осознал поражения, пусть созревает сам с собой, почувствует свое ничтожество, постигнет ее великодушное величие. Чай появляется в каждую нашу встречу, но всегда в разное время, всегда он некая торжествующая пауза.

Как-то однажды я наткнулся в ее книгах на цветную, роскошно изданную монографию — Иероним Босх. И каждый раз, как только выдавалась свободная минута, я со странным, почти нездоровым любопытством начинал смаковать изощренные кошмары, созданные больным воображением этого средневекового художника: всадники с репейными головами на опрокинутых кувшинах, зеленые

ведьмы с чешуйчатыми хвостами, уши, отрубленные человечесьи уши, зажавшие карающий нож, умиление в соседстве с агонией, целомудренность в обнимку с развратом, наслаждение и рвотность, тошнотворнейшие химеры и лица людей тошнотнее химер. От этого необузданного безумия, от буйного до безобразия хаоса надрывных страстей я сам начинал разлаживаться — чувствовал отвращение и упивался, отдавал себе отчет, что это воспаленный бред свихнувшегося гения, и мучительно искал в нем разумную логику, настраивал себя на иронический лад и испытывал озлоб. Мне и неприятно мое нездоровое раздвоение и доставляет удовольствие, почти что мстительность, только не понять — мстительность кому?.. Зульфия не видела ничего странного в моем интересе к Босху, без задней мысли подсовывала — развлекись на досуге.

Насколько замысловато сложны бывали ее рассуждения, настолько неухищренно просто принимала она наши отношения — никаких условностей, претензий, требований, обещаний. Неприкаянная жизнь, видать, научила ее терпимой мудрости: цени любую близость, если она спасает тебя от одиночества. А в институте, да и во всем городе у нее, кроме меня, близких людей не было.

И все-таки связь наша оказалась непрочной — лопнула сразу, как только появилась Майя. Сразу же после блужданий вокруг Чермуховского озера с тремя студентками, оторванными от уборки картошки, еще до первого свидания с Майей в городе я вдруг ощутил в себе такую песокрушимость жизни, что фатальные рассуждения Зульфийи о судьбах человеческих мне стали казаться просто смехотворными. Подогнув ногу, с улыбочкой на губах, за чашкой чая — о страстях-мордастях судного дня, эва!..

Зульфия не демонстрировала переживаний, не искала случая объясниться, сама отодвинулась в сторону. А наша близость — единственное, что скрашивало ее одиночество. И я знал, Зульфия давно тяготится своим неопределенным положением в институте...

Меня несколько не удивило, когда услышал: она собирается уезжать от нас.

Она перехватила меня в коридоре. Подбородок утоплен в воротник, низко надвинутая на лоб меховая шапочка, лицо осунувшееся, тусклое, в углу сжатых губ вздрагивающий живчик и голодный, ищущий взгляд.

— У тебя сейчас ничего срочного? — вопрос в сторону. Меня ждали в отделе кадров, где я должен был офор-

мать с трудом пробитую Лобановым новую единицу для лаборатории, но понял, срочное надо забыть.

— Ничего.

Она вытащила из папки крупную книгу в цветистом глянцево-м супере.

— Вот... На память.

Иероним Босх.

— Тебе же нравился этот художник...

— Да, — солгал я. — Спасибо. Ты сейчас?..

— Такси уже ждет внизу.

Беспросветно бархатные глаза.

— Все повторяется, Павел, все повторяется: никто обо мне здесь не заплачет, и никто не встретит меня там с радостью.

И бархатность исчезла, глаза заблестели от навернувшихся слез.

В такси мы ехали замкнутые каждый в себя. Устремленный в пространство профиль, взметнутая в напряжении бровь, в углу сжатого рта неуспокаивающийся живчик.

— Я никогда не боролась за себя. Почему? — вдруг спросила она.

Не мне отвечать на этот вопрос.

— Похоже, мое появление на свет было не запрограммировано, потому-то всюду я лишняя. А лишним не только невозможно бороться за себя, хуже — неприлично!

Застывшая на взлете бровь, под жесткими ресницами подозрительный блеск, дергающийся в углу рта живчик.

3

Я посадил ее на поезд и в последний раз увидел ее лицо сквозь мутное стекло вагона — печальное и отстраненное. Поезд тронулся, и она уплыла, унося в неуютную даль свою неустроенность.

Господи! Как непрочно мы все привязаны друг к другу! Зулфия, уехавшая неоплаканной, а не потеря ли это?

Майя, счастливо найденная после долгих, долгих поисков. Но нить, соединяющая нас, еще тоньше, чем была с Зулфией. Пока мы лишь украдкой встречались, я еще не посмел выдавить из себя признания, и момент, когда в темном зале кинотеатра «Радуга» я положил свою руку на ее, был тогда впереди. Я пошел Майю, она вдруг также

найдет другого — порвет все, останусь один. Не лучше бы задержать Зульфью... Уехала неоплаканная.

Никогда я не предавал Майю, даже мысленно. Только тут — в первый и последний раз.

Стоял морозный вечер, свежевыпавший снежок хрустел под ногами. Я круто завернул в привокзальный ресторан.

В потном воздухе висит пластами табачный дым, слитно-глухой гул голосов, лязг тарелок, неистребимый запах кислых щей. Встрепанные женские прически и прически монументальные, гладкие проборы и розовые лысины, цветные мохеровые шарфы и помятые командировочные пиджаки, золотые погоны офицеров и незатейливый ситчик, обтягивающий пышные телеса. И кругом суетное шевеление, сосредоточенность над тарелками, полупьяные голоса и призывы до вопля:

— Официантка!.. Девушка! Девушка!..

Взмыленные девушки-официантки в сбившихся пахламленных кокошниках плавают над суетным многолюдьем.

Каждый привокзальный ресторан — маленький Вавилон, смещение народов, чужих друг другу, не пытающихся друг друга понять. Заблудиться в этом Вавилоне — незавидное счастье того, кто одинок.

Компания — двое краснолицых мужчин и две разомлевшие женщины — поднялись, оставляя после себя разграбленный стол, и я поспешно занял нагретый чужим задом стул.

Зульфья уже далеко за городом — кочевница двадцатого века. Ныне страждущие покоя мечутся как угорелые, а умные понимают меньше глухих.

Я сидел, задумавшись, за неприбранным столом. И вот тут-то ко мне подошел он. Из толпы, из содома бесцеремонно нырнул в мое одиночество.

— Свободно? — вежливо тронул спинку стула.

Я кивнул, он уверенно опустился, положил на стол красные руки, уставился на меня изучающе, но дружелюбно. Тощий, длинный, из ворота растянутого свитера, как квац из махотки, высывалась топкая кадыкастая шея, лицо узкое, подсушенное, разрез рта старчески аскетический, нос мелкий, точеный, мальчишески вздернутый. Он уже успел потерять признаки возраста — двадцать ли лет всего или уже за тридцать? — но явно бывалый человек. Одет бедно — поверх свитера потрепанный пиджачок, — в жизни не преуспевает, а держится свободно и независимо. Возможно, независимость наигранная, возмож-

по, он из ранних алчущих, готовых стать другом первого встречного ради стопки водки.

Он участливо спросил:

— Тоже приезжий?

— Нет, здешний.

— А я только что с поезда. Из Минска сюда.

Я сейчас нуждался в друге-собеседнике, а нет более душевного друга, чем жаждущий выпить. Уж он-то, можно не сомневаться, будет предельно внимателен, отзывчив на каждое слово, на каждый твой вздох. С такими людьми быстро устанавливается пусть мимолетная, зато горячая любовь к ближнему.

— Хотите выпить со мной? — предложил я.

Он тряхнул запущенными космами.

— Не употребляю.

Вот те раз! И я невольно устыдился своих скоропалительных подозрений.

— Учтите, — тоном завсегдатая предупредил приезжий, — водки здесь не подают, только дорогой коньяк.

— Вытерплю. Так вы отказываетесь?

— Вместо дорогого коньяка закажите мне тарелку дешевых щей. Я голоден. — Без смущения, без заискивания, глядя мне в глаза открытым светлым взглядом.

Зато смутился я, поспешно согласился:

— Да, да, закажите себе что хотите. Я понимаю, каждый может оказаться в стеснительных обстоятельствах.

Он усмехнулся.

— Это мое обычное состояние — не иметь денег на тарелку щей.

Все больше и больше он мне нравился. Откровение за откровением, я спросил:

— Кто вы, странный человек?

— Разве не иметь денег так уж странно?

— На щи, пожалуй, что да. Теперь каждый на это зарабатывает.

— А я не работаю.

— Чем же тогда занимаетесь?

— Езжу. Гляжу.

— Имея при этом какую-то цель?

— Нет.

— Но на разъезды нужны деньги.

— Мне их дают.

— Кто?

— Случайные знакомые, вроде вас.

— Дают? Добровольно?

Я, наверное, с большим, чем пужно, любовнытством по-
глядел на него, и он меня спокойно осадил:

— Успокойтесь, я не вор и не вымогатель. Впрочем,
вы не первый, кто подозревает меня в дурном.

— Да, боже унаси, в мыслях не было подозревать вас
в дурном... Но как все-таки понимать — случайные знако-
мые?

— А как объяснить, что вы предложили сейчас накор-
мить меня? Вы случайный знакомый.

— Ну, а если бы я, случайный, совершенно случайно
вдруг оказался еще и феноменально скупым?..

— Нашелся бы другой. Непременно.

— Так уж и непременно?

— Да. Вы не замечали, что добрых людей не столь уж
и мало па свете. Их куда больше, чем неотзывчивых.

Он каждым ответом клал меня на лопатки. Кажется,
мне следовало извиниться перед ним:

— Похоже, за свой жалкий хлеб-соль я бесцеремонно
выматываю вам душу. Простите, постараюсь ни о чем
больше не спрашивать.

— Спрашивайте, не стесняйтесь, вы нисколько не оби-
жаете меня.

— Мне кажется, вы достаточно образованный человек.
Вы что окончили?

— Не окончил экономический институт, бросил его на
четвертом курсе.

— Почему?

— Да потому, что понял — меня готовят к тому, что-
бы я кому-то подчинялся и кого-то подчинял. Ни того,
ни другого я делать не хочу. Решил жить свободным от
всех и от всего, обязанным лишь доброте встречаемых
людей.

— И вас не тяготит, простите, роль постоянного про-
сителя?

— Ничуть. Я прошу иногда, но никогда не выпраши-
ваю. Вы бы могли отказать мне сейчас, ни умолять, ни по-
вторять своей просьбы я бы не стал.

— Нисколько не сомневаюсь.

— А я не сомневаюсь в другом — если я вдруг отка-
жусь теперь от вашего обеда, вам будет очень неприятно.

— Вы правы.

— Вот вам пример: людям очень хочется, чтоб кто-то
принял от них то доброе, на что они способны. И пред-
ставьте, если все перестанут из ложной стеснительности
обращаться за помощью друг к другу, не будет и возмож-

пости проявлять доброту. Это качество усохнет за ненадобностью.

— Странно... И возразить тут ничего не могу.

— Почему-то всем это кажется странным. Странно обратиться к ближнему — помощи; не странно — вырвать у него ловким маневром кусок изо рта. А как часто такое делают люди, считающие себя глубоко порядочными...

Я не успел ничего ответить — над нашим столом стояла официантка в кокошнике, с вопрошающим взглядом и огрызком карандаша, нацеленным в развернутый блокнотик.

Я стал заказывать обед незнакомцу.

Его звали Гоша Чугунов. После обеда я поинтересовался:

— Где же вы будете ночевать?

— На вокзале, — ответил он. — Если, разумеется, нельзя будет переночевать у вас.

И я, не колеблясь, согласился:

— Именно у меня-то и можно. Я один как перст.

Так Гоша Чугунов впервые вошел в мой дом.

И случилось это года за полтора до лунного затмения, соединившего меня с Майей.

4

После лунного затмения прошло полмесяца, заполненного сближением с Майиными родителями и переоборудованием моей холостяцкой однокомнатной квартирки под семейное гнездо.

Впрочем, переоборудование было не суетным, не утомительным и даже не особо дорогостоящим. Железную, взятую в свое время напрокат у коменданта институтского общежития койку вынесли вон, на ее место встала тахта, просторная и зеленая, как кусок весеннего поля. Над ней в изголовье я привинтил к стене матовое бра. Сменили шторы на единственном окне (оно же и дверь на балкон). В кухне повесили белые шкафчики, а кухонное окно тоже украсили занавесочкой в пестрых цветочках.

И однажды вечером Майя привезла из дому маленький коврик, положила его на пол возле тахты, отошла к двери, постояла, склонив голову, уронив на чистый лоб прядь волос, произнесла удовлетворенно:

— Кажется, все.

Я взгляделся и поразился: вещи в комнате вдруг не-

зримо стали связаны друг с другом. Матовое бра в изголовье — с зеленым простором тахты, полки с книгами, внушительно серьезные, с письменным столиком; он, старый, несолидный, один из тех казенных столов, что украшают второразрядные учреждения, обрел неожиданно свою физиономию, и кресло, придвинутое к нему, выглядело столь значительным, что казалось, внушало: стою не просто для удобств, сиденье, рожающее глубокие мысли. Робость берет. И центром, связывающим все и вся — бра, тахту, полки, стол с глубокомысленным креслом, — был коврик, только что разостланный на полу Майей. Без него не существовала бы незримая гармония, заполняющая наше жилье.

А на стене — хохочущая осенняя рябинка Грабаря...

И я стоял, пораженный этим разлитым по знакомым вещам непривычным мне покоем. Стоял и наслаждался. Вот через это пойдет моя жизнь. Она будет, конечно, обременена заботами, суетой, часто дерганная и нервная. И ты станешь временами уставать от нее, но каждый вечер приходить сюда, в эту нехитрую гармонию бра, тахты, стола с креслом и коврика на полу и обретать силы. И здесь тебя будет всегда ждать она, созидательница гармонии, творец покоя. Что еще надо? Можно ли желать большего?

Вот оно, оказывается, как выглядит человеческое счастье!

И, должно быть, Майя переживала то же самое. Она попросила:

— Задерни шторы.

Верно! Через окно к нам рвется внешний мир — наш город, столь же шумный, как и остальные города на свете, в нем разные люди переживают разное. Потом мы вернемся к ним, станем жить среди них, вместе с ними радоваться, вместе с ними сострадать. Потом... Сейчас у нас свое, и мы им ни с кем не желаем делиться.

Мы сидели на новой тахте и пили кофе. Впервые семейному. А я думал о том, как много у нас — бесконечно много! — впереди таких вот вечеров, отгороженных от всего и от всех, глаза в глаза. Думал и обмирал: вероятно ли такое? Рядом с ней...

У Майи лучились глаза и вздрагивали губы. Она бережно взяла мою руку.

— Павел... Плохо, когда с детства веришь, что ты чем-то лучше других, необыкновеннее. А я, кажется, родилась с этой мыслью.

— Каждый мальчишка и девчонка, Майка, думают, что они пуп земли... пока не вырастут.

— У меня это затянулось... до девятого класса. И ведь училась так себе, и никаких талантов не было: стихи писала — бросила, рисовать бралась — не получалось, в кружке самодеятельности играла — как связанная на сцене и голосишко слабый. Ну ни проблеска, а так верила — лучше других, необыкновеннее! — что и все кругом тоже начали верить. Подружки завидовали, не зная чему, ребята относились с почтением. Почему?..

— Ты красива, Майка. Красота — дар божий, вроде таланта.

— Ах нет, у нас в классе Ниночка Румянцева — глазищи во, коса через всю спину. Я дурнушка рядом с ней. А ей не завидовали, только два самых тихоньких парня, Кусенков и Фунтиков, в нее влюблены были... Ну а в девятом классе я задумалась: школа-то кончается, куда дальше идти, кем быть?.. Кем, Павел? Математику и физику не любила — в технический вуз мне и соваться нечего. Куда — в театральное, в консерваторию, в художественный институт? Лучше других, особенная! Тут-то вот и очнулась — с высокой горки да в лужу!..

Лучистые глаза Майи потухли, взгляд ушел внутрь, на изогнутых губах блуждала улыбка, страдальческая и растерянная.

— Педагогический институт под боком, пошла в него... И распаляла себя — стану, мол, преподавателем литературы, не таким, как все, свой подход найду, свой метод открою. Рисовала себе, как я детишкам о Пушкине рассказываю: притихший класс, круглые глаза... Дохожу до того, как раненый Пушкин умирает в своей квартире на Мойке, прощается с женой и с друзьями, все плачут, и я вместе со всем классом... Умиление, да и только. Опять возомнила, что уж стану не иначе, как великим педагогом. Ян Коменский в юбке! Опять, Павел, опять! Тебе не смешно? Ну улыбнись, скажи, что я дура наивная. Стою того.

— Я и сам, Майка, о памятнике мечтал.

— Ты — о памятнике? Каком памятнике?

— Бронзовом, во весь рост, вроде первопечатника Ивана Федорова, только без бороды. И ставил его в мыслях посреди нашей деревни — куры порхают, козы травку щиплют, бабы с ведрами к колодцу идут, а я стою... на пьедестале.

— А за что тебе памятник, ты знал?

— Смутно, Майка. За какие-то потрясающие научные открытия, конечно... от благодарного человечества.

Она сидела передо мной, не улыбаясь серьезно, немного озадаченная, что-то соображала про себя, наконец тряхнула волосами:

— Но ты и сейчас веришь, что сделаешь открытие?

— Пожалуй... Только памятника себе, право, уже не хочу.

— А у меня от веры в себя ничего... ну, совсем ничего не осталось — пусто. Года не проучилась, как поняла — какое там, буду учительницей-словесницей в школе. «В окончаниях существительных после шипящих и «ц» под ударением пишется «о» и без ударения — «е»... Изодня в день, из года в год вдавливать в ребячьи головы такие вот правила, и горы тетрадок с орфографическими ошибками, и скучные, казенные программы, из которых не смей выскочить, и хошь не хошь, а гоняйся за процентом успеваемости, отчеты, педсоветы, методические совещания... В себя заглянешь — пусто, вперед заглянешь — не светит. И никто, никто не виноват в том, сама такая нелепая — как ни верти, а ни к чему себя не приладишь. Павел!.. — Ресницы ее взметнулись, глаза огромные, пугающе темные. — Я презирать себя стала, презирать! Со стороны посмотреть, живу как все, встречаюсь с людьми, болтаю о пустяках, смеюсь, а внутри эдакий сверчок сидит и пилит, пилит: «Пустое!.. Пустое!.. Пустое место!..» Иной раз не выдержишь, сорвешься на мать, на подруг... Главным образом матери доставалось... И по ночам в подушку плакала от тоски, от жалости к себе, такой недохтепе...

Я пошевелился, хотел негодуя возразить, но она подалась на меня — распахнутыми глазами, всем телом.

— Молчи!.. Я бы до сих пор так и барахталась в себе, если б не ты. А ты несколькими словами... Там, над Настиным омутом, под Его улыбкой... Ты сказал мне, помнишь: «Заглохнет нива жизни»... Так я поверила, Паша, поверила! В невероятное, в то, что я женщина, жизнь воскрешающая и жизнь украшающая, младшая сестра тех, кто вдохновлял Гомеров. Нет, я не брошу институт, наверно, стану учительницей. Может, и не совсем плохой. Будет у меня, как у всех, профессия, но призвание... Мое призвание, Паша, быть запалом, взрывающим силы. Да, да! Силы, которые будни сделают сказкой, из глины сотворят прекрасное! Вер-рю-ю! Вер-рю-ю! Мне выпало счастье поджигать тебя, тебе — взрываться!..

Глаза ее горели, щеки пылали — задохнись и за-
жмурься. Я сидел оглушенный.

Рядом с ней — вечность! Вероятно ли такое?

Вероятно. Не пугайся, ты не один счастливец на свете.

Да благословенны будут все, кто нашел друг друга!

Да неиссякаемо будет до конца дней раз и навсегда
обретенное счастье!

Да повторится оно в наших детях, в детях наших де-
тей и дальше, дальше, пока род людской жив на планете!
А может, еще дальше — повторится в запланетных и за-
солнечных далях, куда устремится беспокойное челове-
чество и свое человеческое унесет с собой.

Всем, всем, всем, живущим сейчас, и тем, кто будет
жить, — таких вот минут с глазу на глаз!

5

Раньше это событие именовалось торжественно — «вен-
чание». Сейчас в лучшем случае называют сухо, по-дело-
вому, без особых сантиментов — «бракосочетание». Но и
столь деловое слово кажется уже нам излишне возвышен-
ным, мы предпочитаем пользоваться канцелярским лекси-
коном — «зарегистрироваться», «расписаться». Богатый и
красочный русский язык тут оскорбительно оскудел и вы-
цвел.

Столь обидное пренебрежение к знаменательному мо-
менту, отмечающему создание новой семьи, было замече-
но даже нашими городскими властями. Нет, они, власти,
не собирались вводить в разговорный обиход высокий
стиль, зато предприняли ряд решительных мероприятий.
Для начала были выделены соответствующие сметы, и к
скучному зданию бывшего, не очень респектабельного ре-
сторана-шашлычной «Казбек» пристроили некое архитек-
турное излишество — портик с высоким крыльцом и ко-
лоннами в псевдоионическом стиле, придав тем самым
респектабельность, превратив бывшую шашлычную во
Дворец бракосочетания. Магазин готового платья рядом
обрел новую вывеску, а вместе с ней и новую специфику,
стал «Магазином для новобрачных». И хотя в нем ничего
особого не продавалось, но уже входить в него можно бы-
ло только по особым билетам.

Казалось бы, городские власти вполне преуспели в
своем усердии, однако и этого им показалось мало. Они
обязали один из комбинатов бытового обслуживания —

изготавливавший алюминиевые кастрюли — чеканить памятные медали, коими администрация Дворца бракосочетания награждала молодоженов. Похоже, не каждый-то город достиг такого.

Колонны ли в стиле древних греков, памятная ли медаль тому причина, но так или иначе, а во Дворец бракосочетания надо было записываться в длинную очередь и набираться терпения на долгие месяцы, если не на годы.

Для тех, кто этим терпением не обладал, колоннами и медалью не соблазнялся, существовали районные загсы. Они не столь торжественно, но тем не менее успешно перерабатывали холостых в молодоженов. Здесь уже не «бракосочетали», а «регистрировали» и «расписывали».

Мы с Майей предпочли районный загс.

К загсу на Конармейской улице подкатили в точно назначенное время и увидели — кучки празднично одетых людей, в каждой, как пчелиная матка среди роящихся пчел, невеста в белом одеянии.

Нас встретили перекатные разговоры ожидающих.

— Бракосочетательный затор получается.

— Теперь везде очереди, хоть газету купить, хоть жениться.

— Население выросло, то ли еще будет.

— Да не в населении дело, политика ныне другая. Раньше-то, в наши времена, весь загс — одна комнатенка, а в ней девица с завязанной щекой — зубы болят. Пять минут — все обстригает и «до свидания» не скажет. Теперь речь произнеси, и обязательно с чувством, и кольца вручи, и шампанского дай выпить, снова без речей нельзя. Культура выросла.

— Тоже работенка — зашиваются.

Боря Цветик, приятель Майиной подруги, владелец «пожарного» «Москвича», как наиболее молодой и энергичный из нашего окружения, стал решительно выяснять обстановку:

— Граждане обручающиеся, кто на какое время? Мы вот определены на три часа тридцать минут, а вы на сколько, невеста?

— За нами будете, мы на три десять.

Невеста — из белого крепа выпирают телеса, лицо плоское, широкое, прозрачная фата с жидких завитых волос падает на дюжие плечи. Она одна среди невест держится независимо, говорит громко, озирается величаво.

Остальные юны и пугливы, таращат глаза, жмутся к родителям. Окружение решительной невесты неприметное и подавленное, рядом с ней долговязый парень в новом костюме — пиджак коробом и галстук душит шею. У него правильное деревянное лицо. Жених.

— Но вы сейчас идете? — допытывается Боря Цветик.

— Перед нами оне! — указывает невеста всей дланью.

И те, на кого направлена ее длань, сильно конфузятся. Он в новенькой твердой шляпе, сухая жилистая шея торчит из накрахмаленного воротника сорочки, взрытые глубокими морщинами щеки, выцветшие глаза. Она — кургузенькая старушка, сильно робеет, смотрит в землю, не знает, куда спрятать свои натруженные руки.

— Тоже нужно! — роняет презрительно телесистая невеста. — Спыхватились.

И сконфуженный жених крутит жилистой стариковской шеей, оправдывается:

— Да коли б не нужда, зачем нам срамиться. Двадцать лет, считай, прожили вместе и не замечали, что в незаконном браке. Теперь вот я остарел, хворать сильно стал, помру, ей даже пенсии не дадут, а родня моя уж постарается — из дому живенько выживет. Она у меня видите какая, за себя не постоит, без угла и без куска хлеба останется. Конечно, совестно нам с молодыми-то вместе... Но мы вас долго, поди, не задержим. Нам торжественные речи говорить не будут и шампанское пить тоже...

— Будут! Положено! — возражает невеста и внушительно пошевеливает дюжими плечами, овечьими прозрачной фатой.

— Тогда что ж... Потерпим, не такое терпели.

Мая слушает, озирается, пугливо взмахивает ресницами. Мне она кажется особенно беззащитной в своем столь нелепом для городской улицы свадебном наряде. Смущаюсь вместе с ней, страдаю за нее, но не могу взять за локоть и увести от всех, чтоб по-прежнему — с глаз на глаз. Положено. Перетерпим, не такое терпели.

Неожиданно среди брачных групп появляется странная фигура — оплывшая лиловая небритая физиономия, выбеленные глаза, замусоленная кепка, пиджак застегнут на одну пуговицу так, что одна пола выше другой, отчего новоявленный кажется перекошенным. Он нетвердо держится на ногах, покачивается, руки глубоко запущены в карманы штанов, небритый подбородок высоко задран, вызываясь ловит направленные на него взгляды

своими бесцветными глазами. Собравшиеся, изнывающие от безделья, прекращают разговоры, поворачиваются, наступает тишина.

— Что?! — при общей тишине и внимании изрекает наконец фигура сипло и зловеще. — Чего смотрите, спрашиваю?.. Нравлюсь?.. Нет! И знаю, знаю, не могу нравиться! Безоб-разен! Да!.. А кто виноват, спросите? Кто довел Серегу Кирюхина до жизни такой?..

Перекошенная фигура, покачиваясь, выдерживает значительную паузу и патетически гроыхает:

— Жан-на!.. Слышите, братья жепихи... жан-на меня довела до безобразия, чтоб ей провалиться!.. Братья жепихи! Вот вы стоите теперь возле своих невестушек... Лебе-ди белы-я-а!.. — Тугой грязный кулак вырывается из кармана и возносится над головой. — Ведьмами станут!! Ужо вам, ужо, братья жепихи! Сбросят оне белые перья и кровь вашу будут пить! Изо дня в день, из года в год — и не устанут, ие-ет! Тошно вам будет и больно, братья жепихи! Ох, тошно! А стонать не смей! Стонать она станет! И жаловаться не смей — ни-ни! Она будет стонать и жаловаться... Спрятаться захочете, братья жепихи, не выйдет! Закон не позволит, под землей найдут!.. На казнь идете сейчас! На лютую! Нету зверя страшней, чем жан-на! Бегите, покуда не поздно, братья жепихи! Сломая голову!.. Взгляните на безобразного Серегу Кирюхина и бегите от невест, покуда не поздно...

Тяжелый кулак гулко стучал в перекошенную грудь, в оплывшей щетинистой физиономии — величавость страстотерпца, вещающего великое откровение.

— И чего это глядят?! Безобразие полное! — первой вознегодовала дюжая невеста. — Милицию сюда!

— Мил-ли-цию! — всем перекошенным телом повернулся к ней страстотерпец и на секунду остолбенел. — Эва! А за энту-то кто идет? Кто энто себя так не жалеет?.. Эпта даже лебедиными перьями не покрыта... Уж она сразу... Да!.. Живьем! С косточками!..

— Милиция! Милиция!

— Кто жених ее?.. Беги-и... Ой, беги-и!..

— Ми-ли-ци-ия-а!! — визжала невеста.

— Братья жепихи, разбегайтесь! Поздно будет!..

И вырос отдувающийся, до красноты сердитый милиционер.

— Ты опять за свое?

— Опять! — гордо ответил неуверенно стоящий на ногах страстотерпец. — За правду стою!.. Спасая!..

— Безобразие! Налил зенки и оскорбления разные... Сюда, люди, можно сказать, за счастьем пришли...

— Гражданочка новобрачная! Не надо никаких!.. Нам он уже известен!

— За правду! За святую правду готов хоть на смерть!..

— А известен, так почему мер никаких?.. Полное безобразие! Такого из тюрьмы выпускать нельзя!..

— Тихо, гражданочка новобрачная, тихо! Пошли, Кирюхин. Ну, будет теперь тебе...

— Братья женихи! За вас...

— Пошли, пошли!

— За вас страдаю!

— Давай, страдалец!

— Братья! Задумайтесь, все девки хороши...

Милиционер, ухватив страстотерпца за шиворот, тащил от брачующихся, а тот продолжал вещать:

— Все девки хороши, откуда плохие жены берутся? Задумайтесь-а-а!..

Уже издалека, уже со стороны.

У Майи бегающие глаза, затравленное лицо, она прижималась к матери, я беспомощно переминался.

— Хулиганов расплодили... Даже тут все испортят...

Негодовала только дюжая невеста, остальные неловко молчали и переглядывались.

В гостеприимно распахнутых дверях загса появилась пара — знакомые старички молодожены. Они застенчиво улыбались.

— А нас уже... Торжественных речей не говорили. Но все вежливо, с пониманием...

— Сенечка! — объявила дюжая невеста. — Наша очередь!

Долговязый парень с неподвижным, деревянным лицом, в пиджаке коробом вздрогнул, огляделся и вдруг повернулся, зашагал прочь от загса.

— Куд-ды-ы?! — вопль в спину с опозданием.

Парень не обернулся — вздернутые острые плечи, упрямый затылок, шаг с прискоком.

— Се-печ-ка-а!!

Сенечка уходил.

— Подлец!! Прохвост!! Сволочь!! Намиловался!! Отъелся у меня. И в сторону!.. Держите его! Держите-те!!

С невестой началась бурная истерика.

Боря Цветик негромко произнес у меня над ухом:

— Кажется, наша очередь подошла.

Свадебный вечер проходил в лучшем ресторане города «Золотой колос». За длинным столом в банкетном зале было тесно. Какие-то Майины тети и дяди, специально прилетевшие из Воронежа. Какая-то родня по матери из совхозного поселка Конево. Кто-то из крупных строительных воротил города — пожилые и степенные люди со снисходительно-добродушными начальственными физиономиями. Ответственные работники помельче, не слишком пожилые и степенные, с откровенным усердием налегающие на коньяк и закуску. Их жены, с умилением поглядывающие на Майю и с оценочным любопытством на меня. Несколько чопорных вытуженных офицеров. Басисто-шумный седой генерал-майор, старый приятель Майиного отца. Застенчивые Майины подружки, школьные и институтские... Из всего застолья я знал лишь Борю Цветика да бойкую Леночку из Комплексного. И еще, разумеется, Майиных родителей — Ивана Игнатьевича, сменившего почему-то внушительный военный мундир с полковничьими погонами на штатский невзрачный костюм, и Зинаиду Николаевну, потерянню улыбающуюся, с материнской тоской в глазах.

У меня же родни — одна мать, и та далеко, не осмелился вызывать. Зато друзей слишком много — все сотрудники нашей лаборатории, есть и помимо них, рассеянные по институту. Не мог же я привести на свадьбу всех скопом, а сделать выбор, кому-то отказать — значит, обидеть. Я пригласил лишь Бориса Евгеньевича с женой, которые были уже моими свидетелями при регистрации в загсе. Жениховская сторона оказалась в явном меньшинстве.

Но Борис Евгеньевич решил, однако, заявить о себе, встал с бокалом — прямой, с внушительно сияющим черепом, на аскетической физиономии привычное властно-профессорское выражение, требующее от аудитории тишины и внимания. И звон вилок о тарелки, перекатный разговор прекратились, все головы выжидательно повернулись в его сторону.

— Дорогие друзья! — начал не без важности Борис Евгеньевич. — Вот я гляжу на родителей невесты и вижу, что нет для них выше желания, чем счастье дочери. Поверьте, так же по-родительски сильно желаю и я счастья жениху. Я в него вложил свои знания, свою душу, смею считать его своим творением. Им счастья... Но его не будет, если не будет между ними уважения друг к другу.

Кто из нас, поживших и знающих, что такое семья, не сталкивался с отсутствием уважения? Кто из нас не задавался вопросом: как его обрести? И лично я осмелюсь тут дать лишь практический совет: соперничайте друг перед другом в уступках! Он уступает ей, она — ему, за счет себя, своего «хочу», «мне нужно», «мне нравится»... Павел Крохалев, мой ученик! Я пью сейчас за то, чтоб для тебя ее желание было важнее своего! В этом я вижу секрет твоего счастья!

За столом поднялся пьяный одобрителный шум, впрочем, столь же воодушевленный, как и после других тостов. Майина мать промокнула платочком слезы, а отец ее вскочил с места, чтоб чокнуться с Борисом Евгеньевичем, и не успел...

— Утопия! — раздался авторитетный бас.

И все дружно снова притихли.

Совершив некоторое усилие, поднялся седой генерал-майор, плотно-приземистый, слегка нахмуренный, уже изрядно краснолицый.

— Утопия! — решительно повторил он. — Он ей уступочки, она ему, да ведь когда-нибудь у кого-то и защежит, пойдет тогда карусель. Нет, и в семье единая воля нужна. Да! Авторитет! Без авторитета как в семье, так и в государстве кар-ру-сель! Не делу учите, профессор!

Борис Евгеньевич двинул в усмешке жесткие морщинки.

— А вы не путаете, генерал, семью или даже государство с армейским подразделением?

— И путать тут нечего. Где сходятся люди, там должен быть порядок, а не анархия. И даже если людей всего-навсего только двое, то и тут без порядка не обойтись. А где порядок — там дисциплина, где дисциплина — там старший. Элементарная логика, товарищ профессор!

— Завидую вам, генерал, так все ясно и просто у вас. И... элементарно.

— А я вам удивляюсь — предложить вместо жизненной позиции игру в поддавки.

Назревало неприятное сражение, в котором навряд ли бы Борис Евгеньевич вышел победителем, но вскочил Боря Цветик, исполнявший обязанности тамады.

— Дорогие гости! Дорогие гости! Совершенно упущение! Мы пили за родителей невесты, но сторона жениха нами обойдена. Предлагаю за здоровье, так сказать, духовного отца Павла, за профессора Лобанова!..

Все облегченно зашумели, сутолочно зашевелились,

потянулись к бутылкам. Секунду генерал стоял хмурясь, затем решительно поднял рюмку, потянулся к Борису Евгеньевичу.

— Наше несогласие на мое уважение к вам не влияет. За ваше здоровье, профессор!

Борис Евгеньевич церемонно встал, они чокнулись, мир был восстановлен.

Рядом со мной пунцовела щека Майи, настороженно блеснул глаз.

Случись схватка, я бы, конечно, не задумываясь, встал на защиту учителя грудью. Но что-то вызывало сомнение у меня в совете, что-то пока неуловимо смутное. Быть может, то, что сам Борис Евгеньевич, так хорошо знающий секрет семейного счастья, сам особо счастливым семьянином, увы, не был. Первая жена ушла от него, когда он был еще безвестным аспирантом. Второй раз он женился, уже будучи профессором. И я никогда не мог понять, доволен ли он в новом браке. Его Анастасия Андреевна была женщиной уравновешенной и домовитой, она ревниво следила, чтоб муж ходил в выглаженных сорочках, не был лишним раз потревожен телефонным звонком. Но ни разу в жизни она не перешагивала порога института, навряд ли представляла себе, чем занимается ее ученый супруг. И конечно же для Анастасии Андреевны его желание было всегда важнее своего собственного, а для Бориса Евгеньевича — как сказать. Похоже, никогда и не выдавался случай проявить благородство — уступить.

Анастасия Андреевна сидела сейчас здесь, за столом, рядом с Борисом Евгеньевичем, озиралась с тревогой и затаенным страхом.

Мы вернулись домой.

Лежал коврик на полу у тахты — центр незримой гармонии, олицетворение уюта.

Майя в пальто поверх длинного белого свадебного платья опустила на тахту и долго оглядывала потемневшими глазами комнату, наконец произнесла:

— Вот и все.

— Начнем жить, Майка,— сказал я.

Она подняла на меня провально-темные глаза.

— А как это делается?

Вот те раз! Совсем недавно с пылающим лицом — которому нельзя не верить! — Майя клятвенно возвестила мне, что ей открылись наши судьбы.

И я неуверенно решил напомнить:

— Но, Майя, ты же говорила...

— Я говорила, Павел, верю!.. Ох, как верю! Но вот как?.. Как это «верую» сотворить? С чего начать? За что зацепиться?.. Вдруг поняла, что не знаю.

Я молчал, я тоже не знал.

— Твой Борис Евгеньевич сказал хорошие слова, добрые, но... Мне иногда придется настаивать — хочу так, а не иначе. Если я стану во всем уступать, во всем с тобой соглашаться, то что я тогда?.. Твой скучный придаток, Павел, без лица, без характера.

— И прекрасно, не уступай! — согласился я. — А я попробую следовать совету Бориса Евгеньевича — твои желания дороже своих!

На этом и порешили.

Было давно за полночь, начались первые сутки нашей семейной жизни.

7

На следующий день, где-то в двенадцатом часу, в дверь раздался звонок. Первый гость в нашей семье! Я кинулся открывать.

Рыжеватая, не очень опрятная борода, брезентовая рабочая куртка, слишком просторная на узких плечах, — я сначала и не узнал: Гоша Чугунов, с которым мы не виделись больше года. Борода с сивым мужицким отливом успела вырасти за это время на его подсушенном курносом лице вечного студента.

— Проходи, — пригласил я.

В последний раз мы расстались довольно-таки прохладно, никак не друзьями, хотя и до врагов, кажется, дозреть не успели...

— Я искал тебя, старик, в институте. И вот сказали, что...

Тут вышла Майя в халатике, со всклокоченными волосами, но свежая, с утренним блеском в глазах. Впервые на Гошиной физиономии, сейчас полузакрытой бородой, я увидел растерянность.

— Это тот самый Гоша Чугунов... А это Майя... Моя жена.

Гоша склонил волосатую голову, шаркнул ногой, Майя протянула ему руку.

— Выдать секрет, как он вас мне рекомендовал?

— Наверняка нелестно.

— Почему же?.. Мирным анархистом! Вполне интригующе.

Они много слышали от меня друг о друге, но встретились впервые.

— Проходите в комнату. Я сейчас приведу себя в порядок, выйду к вам, — сказала Майя.

— Она очень красива, — объявил Гоша, когда мы вдвоем уселись на тахте.

Я промолчал, меньше всего я хотел выяснять с ним качества Майи. Гоша никогда просто не высказывал свои впечатления, за ними непременно шли обобщения и выводы, какими он украшал свою жизнь. Чтоб Майя стала поводом для подозрительных философствований — нет, не выдержу.

Однако отмалчиваний он не терпел больше, чем возражений, — пророк по призванию, живущий слушателями, мог ли он сдержаться и не выложить, что просилось наружу.

— Это сирена, топящая людей в житейском омуте.

— Как понять? — спросил я с приглушенным вызовом.

— Тебе придется ей служить.

— А если я скажу: готов это делать?

Он хмыкнул в бороду.

— Служить-то придется не самой богине. Она, право, этого достойна... Но платьям, которые она пожелает часто менять, коврам, по которым будут ступать ее ноги, картинам в золоченых багетах, которые захочет она иметь на стенах. Тобой станут повелевать вещи, старик.

— Тебе не кажется, что ты слишком мало знаешь ее, чтобы предсказывать мне, чего именно она в будущем пожелает?

— Я ее увидел, а этого вполне достаточно, чтоб представить, какая оправа нужна столь драгоценному камню.

— Записной оригинал, ты теряешь свою оригинальность, рассуждаешь самыми избитыми шаблонами.

— Я всегда говорю банальные истины, старик. И одна из таких банальностей: любая женщина — носитель рабства уже потому, что навешивает семейные кандалы.

— Интересно знать, ты сам появился на свет вне семьи? Был подзаборным подкидышем?

— Я родился в самой что ни на есть бюргерской семье, где фарфоровые слоники на комодке олицетворяли уют.

— Ну и слава богу, а то я чуть было не проникся к тебе жалостью.

Рабочая заношенная брезентовая куртка и брюки то-

же рабочие, протертые, с чужого зада, но рабочим этот человек никогда не был. Не из тех, чьим трудом пользуются, с кого много берут, мало дают, общество просто не способно обидеть его. Потому он и считает себя полностью независимым, гордится своим положением — ни пава, ни ворона, видит свой святой долг в обличении тех, кто на него не похож. А не похожи-то любой и каждый.

Первый гость в нашей семье, и, ничего не скажешь, чуткий, сразу же объявил: твое счастье — рабство! Родной брат вчерашнего пьяного страсготерпца: «Берегитесь, братья, своих жен!»

8

После встречи в привокзальном ресторане я раздобыл раскладушку, и Гоша поселился у меня.

Он был убежден, что людям, даже не очень добрым от природы, приятно тем не менее делать посильное добро, а потому ему и в голову не приходило, что он может стеснить. Впрочем, он и в самом деле не стеснял меня — уходил утром, приходил поздно ночью, сытый, довольный собой, не растративший всего запаса красноречия, готовый, если я выражу желание, наставлять меня всю ночь напролет. Это была кошка, которая гуляет сама по себе.

Насколько легко было с ним познакомиться, настолько трудно стать его товарищем, а уж другом закадычным и тем паче. Для дружбы как-никак нужна если не самоотверженность, то хотя бы какая-то отдача. Он же умел только принимать, что дают, взамен же предлагал одно и то же — свои взгляды на мир и на жизнь. Не навязывал их, нет, не хочешь, не бери, тебе же хуже.

Он быстро узнал все рестораны и забегаловки города, пропадал только в них, но ни разу не приходил навеселе, всегда лишь приподнято-трезв.

— Я люблю подвыпившего русского человека, — признавался он. — Подвыпившего, но не скотски пьяного. Подвыпивший обычно становится чутким до жертвенности, он тогда возвышенно ненавидит и возвышенно любит.

Застольные собеседники, судя по его рассказам, быстро раскрывались перед ним, искали у него сочувствия, но не находили и, странно, не только не обижались, а даже чувствовали себя виноватыми.

— Только и делают, что жалуются мне. А если разо-

братся, жалобы людей не стоят выеденного яйца — квартиру не дали, пенсию не выплачивают, на работе неприятности. Тут-то я и объясняю им, как все это ничтожно, не стоит того, чтоб портить себе кровь. Что, например, квартира, как не обворовывание себя? Еще Чехов давно сказал: человеку нужен весь земной шар. А все бьются, из кожи вон лезут, чтоб получить крохотный кусочек, в десяток-другой квадратных метров. А уж раз получил, то будь привязан к нему всю жизнь. Кош-ш-мар-р!

А потому он пользовался только чужими квартирами.

— В наши дни, учти, силой пикого не берут в рабство. Стать рабами усиленно стремятся. Да, добровольно! Рабом в наши дни быть проще и уютнее. Свобода — это открытый океан, где продувает со всех сторон, а иногда и сильно качает. Выдерживают немногие.

К числу этих немногих, для кого свобода по плечу, он относил себя. Я же в его глазах — нет, не рвач, не хапуга, обычный раб, работага с дипломом высшего образования, отравленный обывательскими предрассудками добрый малый.

Я пробовал выяснить у него, что, собственно, такое свобода. Сам я придерживался общеизвестного — осознанная необходимость, — но Гоша отвечал с обезоруживающей простотой:

— Я не теоретик, я практик. Иду туда, где ею пахнет.

Мы ночевали бок о бок, беседовали едва ли не каждый вечер, но не сближались, напротив, ночь от ночи мы становились все более чужими. Получалось, первое знакомство в привокзальном ресторане и было пределом нашего сближения, дальше нечто невразумительное. Он этого не замечал — привык жить в окружении случайных встречных.

Я провел полжизни в общежитиях и всегда там родился с людьми, неизбежно находились общие мысли, общие взгляды, одни стремления. Да и будущее, как правило, нас ждало одинаковое. Тут же мы не жили, а присутствовали друг возле друга.

А как раз в то время у меня шло быстрое сближение с Майей, и во мне бурно росло счастливое желание выглядеть в ее глазах красивым и значительным. А значительным могу выглядеть лишь тогда, когда это признают не только она одна, а все, кто окружает меня. Майя, сама того не подозревая, вызывала во мне великую ответственность перед людьми. И рядом со мной человек кичился ничем не связан, никому ничего не должен, довольствуюсь

малым, независим, свободен! Свобода, замешанная па безразличии к другим.

Рано или поздно между нами должно было произойти объяснение. И оно произошло.

Он в очередной раз объявил:

— Я не приобрел себе даже свежевывытой сорочки.

Я заметил:

— Почему ты должен иметь чьим-то трудом созданную сорочку, если сам не дашь ничего взамен — ни горсти хлеба, ни кирпича?

— Я даю нечто большее, старик.

— Что?

— Открываю людям глаза на себя.

— Для этого нужно разбираться в людях.

— Ты считаешь, что я в них не разбираюсь?

— Ты даже в самом себе не разбираешься.

Невозмутимость была его оружием.

— Во мне нет ничего сложного, старик, — ответил он с достоинством, — я весь как на ладони, ничего не спрятано.

— Спрятано.

— Например?

— Мизантропия.

Невозмутимость — его оружие, но тут оно ему изменило. Он посерел и уставился на меня.

— Таковыми словами не бросаются, — наконец выдавил он.

— А давай порассуждаем. Твой принцип: буду носить отрепья, питаться черствым куском доброжелателей, но не свяжу себя никакими обязанностями. Так?

— И где же тут мизантропия?

— Надо быть не просто равнодушным к людям, надо их глубоко презирать, чтоб отказывать — пальцем ради вас не пошевелю. Любой обыватель, заботящийся о собственном брюхе, тут отзывчивее к людям, он хоть о семье заботится, клубничку для продажи выращивает на огороде, а ты — никому ничего! Себя обделю, лишь бы другим от меня не перепало. Откуда у тебя такая фанатическая нелюбовь к людям?

Лицо Гоши стало изрытым, вздернутый нос заострился.

— Я люблю людей не меньше тебя, — сказал он глухо.

— Прикажешь верить на слово? Чем ты доказал любовь?

— Любовь не нуждается в доказательствах!

— Вот те раз! — удивился я. — Ничто так не нужда-

ется в доказательствах, как любовь. Даже простенькую симпатию, чувство по сравнению с любовью неизмеримо более мелкое, и ту докажи, хоть небольшим — добрым словом, мелкой помощью. А в любви, извини, малым не обойдешься, последнее отдай, собой жертвуй.

— Я и жертвую!

— Тепленьким местечком, квартирой, зарплатой — это ты снова хочешь выставить себе в заслугу?

— Хотя бы.

— Тепленькое местечко и зарплату надо как-то оправдать трудом, даже квартира требует забот, но для тебя и это обременительно, даже тут придется насиловать себя. Не лги, что жертвуешь, не выдавай паразитизм за жертвенность!

Он стоял посреди комнаты, долговязый, натянутый, со вздернутой головой, с серым постаревшим лицом, с виющими руками.

— Похоже, мы не можем жить вместе, — выдавил он.

— А мы вместе и не живем. Рядом — да, но не вместе.

— Спасибо за приют, я уйду.

— Разумеется, унося оскорбление?

— Разумеется.

— Что ж ты раньше-то не оскорблялся? Ты же знал, что я не разделяю ни твоих взглядов, ни твоего образа жизни. Я лишь произнес вслух, что тебе было уже известно. Выходит, откровенность оскорбляет, а неискреннее умалчивание — нет.

Он не отвечал.

— Уходи, — сказал я. — Не держу. Но не делай оскорбленных пасов.

— Прощай, — он двинулся к двери.

— Я бы на твоём месте все-таки постарался ответить на «мизантропа». Упрек страшный, с таким грузом не уходят.

Он от дверей оглянулся на меня круглыми остановившимися глазами, дернул плечом, вышел, хлопнув дверью. Благо не нужно было ему собирать чемодан — все свое ношу с собой, как говорили, древние римляне.

С тех пор у него успела отрасти борода, но улыбка осталась прежней — подкупающе открытая — и прежняя бесцеремонность: «Сирена... Навешиваешь на себя канда-

лы, старик!» Философия петуха, увидевшего жемчужное зерно.

— Тебе что-то от меня нужно? — спросил я.

— Хотелось бы вернуть тебе старый долг.

— Ты мне ничего не должен.

— Должен! Помнишь, ты мне навесил на шею «мизантропа»?

— За это время тебя что-то осенило?

— За это время многое произошло.

— Ты переменялся?

— Я переменялся, и люди вокруг меня теперь иные. По забегаловкам больше не хожу, подвыпивших не убажжаю.

— Уж не сменял ли шар земной на оседлое место?

— Нашел себе опору, помогаю другим найти ее.

— И как она выглядит, эта опора? — осведомился я.

И тут легкой поступью вошла Майя, причесанная, розовая, в белой кофточке, красной юбке, тонкая, как оса, с сияющими глазами и повинно-скорбящей улыбкой на губах. Каждый раз неожиданная для меня, ошеломляющая.

Гоша Чугунов расправил плечи, вздернул вскосмаченную бороденку, уже не мне, а Майе ответил с вызовом:

— Опора — бог!

Майя с любопытством уставилась на него, помятого, пыльного, волосатого.

— Вон куда тебя кинуло! — удивился я.

— К людям! — объявил Гоша.

— Почему вдруг таким сложным кульбитом — через небо и бога на землю, к людям? Покороче путь выбрать было нельзя?

— Короткого пути в душу человеческую нет.

Я невольно поморщился. У меня всегда возникало чувство корящей неловкости за тех, кто афиширует свое посягательство — ни меньше ни больше — на человеческую душу: познать, открыть, полюбить, найти к ней путь! Умилительная детская самоубежденность, нечто вроде: достану луну с крыши. Постигну, что на протяжении всей истории пытались совершить и отчаивались в бессилии лучшие умы человечества.

— И что ты станешь делать в этой человеческой душе? — спросил я.

— Попытаюсь ее, чужую, превратить в братски мне родственную, — ответ с ходу, не задумываясь.

— То есть перекроить на свой лад. Ты так убежден, что именно твоя душа совершенней других?

Гоша покровительственно ухмыльнулся в бороду.

— Я вовсе не предлагаю себя за образец.

— А кого? Бога-то за образец не предложишь — не постижим!

Ухмылка утонула в бороде, глаза посерьезнели, ноздри короткого носа дрогнули, Гоша заговорил:

— Мы все во что-нибудь верим. Одни во многообещающие газетные передовицы, другие, что добьются высокого кресла, третьи — в диплом института, который откроет им дорогу. У каждого своя маленькая вера. Миллионы людей — миллионы вер! И после этого мы еще удивляемся, что не можем понять друг друга: чужая душа потемки! Да иначе и быть не может. Верим в разное, ничего нет такого, что нас объединяло бы. Меня с тобой, тебя со мной!..

Убежденность со сдержанным пафосом, слова взвешены, интонации вытренированы, явно не в первый раз говорит на эту тему. И не нам первым.

— Можешь ты заставить меня верить в твое? — продолжал Гоша в мою сторону. — В агрохимию, которой ты собираешься осчастливить мир! Да нет, не получится. Во-первых, я несведущ в твоей науке, во-вторых, не универсальна, на все случаи жизни не подходит. Нам обоим надо найти универсальное, единое, одинаково приемлемое как для тебя, так и для меня!

— Бога?..

— Вот именно!

— Он давным-давно найден.

— Давно найден, да его постоянно теряли. Потерян и сейчас. Отыщи снова, вооружись верой в него, прими то божеское, которое известно уже на протяжении тысячелетий: люби ближнего, не убий, не лжесвидетельствуй... Вместе с тобой вооружимся, вместе поверим, станем следовать этому, и тебе не придется остерегаться меня. Мы верим одному, а значит, верим и друг другу. Что это, как не духовное братство? Ты хочешь его? — Гоша дернулся в мою сторону всклокоченной бороденкой, не дождался ответа, дернулся в сторону Майи. — Вы хотите братства?

— Да, — решительно произнесла Майя.

Она стояла, прислонившись к стене, не сводила глаз с вдохновенного Гоши. И в глазах тление, и в губах смятенный изгиб. Кому-кому, а мне известно, как может быть

доверчива Майя и как способен подкупать Гоша при первом знакомстве.

— Братство через бога?.. — переспросил я. — Тогда верующее в бога население, скажем, Италии должно бы быть братски сплочено более нас? Увы, там — как и всюду.

— Назови мне другое, что сплотило бы людей.

— Не много ли ты от меня хочешь? Назови универсальный рецепт спасения человечества.

Гоша холодно отвернулся от меня.

— Я и не рассчитывал, что ты мне поверишь.

— Тогда, извини, не пойму, что все-таки от меня хочешь?

— Ты назвал меня мизантропом... Не поленись прийти по адресу: Молодежная, сто двадцать семь. Мы собираемся по воскресеньям в три часа дня.

— Кто это мы?

— Единоверцы.

— Что-то вроде секты?

— Пусть будет так. Приди, послушай, реши, совместно ли с мизантропством, что я делаю.

— Мы придем, — сказала Майя. — Молодежная, сто двадцать семь. Запомнила.

Раз Майя сказала, так оно и будет. Мне осталось только согласиться.

Гоша распрощался и ушел.

Майя была тиха и озадачена.

— Он очень худ и плохо одет.

— Это предмет его гордости, — ответил я.

— Почему ты к нему так относишься?

— От досады на себя, Майка.

— Как понять?

— Думал — самородок, а оказалось — булыжник.

Майя задумалась.

— Знаешь, — проговорила она, — мне он напоминает Дон Кихота, подстричь бы его бородку клинышком да надеть на голову медный тазик.

— Пожалуй, он и внутренне похож на этого рыцаря.

— И относишься к нему с... неприязнью?

— Скорей с осуждением.

— Но Дон Кихотом-то все, все восхищаются. И вот уже несколько веков подряд!

— То-то и удивительно — все, кроме одного.

— Тебя или есть еще кто другой?
— Сервантес. Он же издевался над своим героем, и никто этого почему-то не замечает.

— Сервантес симпатизирует, не издевается!

— А давай вспомним. Дон Кихот встречает преступников в кандалах — насилие, мол! — освобождает их. А какой результат?.. Преступники избивают его и, нет сомнения, пойдут дальше грабить и насильничать. Благородный рыцарь усугубляет насилие. Или знаменитый эпизод с ветряной мельницей. Тут-то за что симпатизировать? За то, что проявил высшую степень глупости? Сервантес издевается, но с доброй иронией. Да вздумай он всерьез возмущаться своим деятельным дураком, поставил бы себя на один с ним уровень.

— Дон Кихот чистосердечен, а чистосердечие и зло несовместимы.

— Еще как совместимы. Разве не чистосердечно миллионы немцев славили Гитлера, верили ему?

Майя озадаченно помолчала, наконец подняла на меня свои глаза, губы недоуменно дрогнули.

— Одно из двух — или ты прав, или весь мир. Кому же мне из двоих верить?

— Мне, Майка, мне!

Она засмеялась.

— Какой мне муж попался — умней всего мира!

Кончилось ее смехом. Гоша был забыт.

Через полчаса мы шли по улице к ее родителям.

Мы шли по улице, а она жила дневной, шумной, карусельной жизнью. Расплавленное солнце висело над нами, утюжили мостовую тяжелые грузовики, с треском распарывая бензиновый воздух, неслись мотоциклисты, вальяжно плыли осиянные стеклом автобусы. Газетный киоск, пестро украшенный обложками неходовых журналов, как птиц, выпускал из себя в нетерпеливую очередь газеты, они всплескивали белыми просторными крыльями и исчезали.

Наш город — родина Майи. Бетонная, однообразно величавая современность, утопившая в себе незамысловатую старину, он, наш город, служит промышленности, он вечно строится, не устает кричать моторным рыком. Он не богат живописной зеленью и не славится редкостной ар-

хитектурой, в нем много труб и мало памятников, столичные моды на улицах и провинциально скудная культура — картины висят только в ресторанах и ни одного концертного зала. И центральные утренние газеты приходят к нам лишь в полдень.

Наш город — для Майи родина, для меня — доброе отечество. Этот город принял меня, выучил меня, признал меня как ученого, без нежности обласкал, без сочувствия обнадежил. И я благодарен своему городу, люблю его.

Мы шли знакомыми улицами локоть к локтю, плечо в плечо. Бывают же минуты, когда чувствуешь себя центром вселенной: грудь распирает, тело невесомо, ноги упруги, оттолкнись — полетишь! И нельзя согнать глупой, широкой до усталости улыбки с лица. А как несет голову Майю! И скорбную складку губ тоже тревожит улыбочка...

Не в первый раз удивляюсь: как в нашем суровом, бетонном, копотном городе могла родиться она? Возможно ли? Не чудо ли это?

Мы шли по улице, и у встречных менялись лица. У мужчин появлялось — у тех, кто постарше, — остолевшее выражение, помоложе — изумление: «Вот это да!» А женщины невольно начинали улыбаться, как и мы, с той же блаженной радостью. И спиной я чувствовал, как оглядываются нам вслед.

Никогда я не воображал себя красивым, лишь сейчас впервые в жизни — высок, плечист, полон сил, походка победная, под стать во всем Майе. И счастливый — всем до зависти!

Это счастье родилось невольно, оно подарено Майей. Да и бывает ли вообще счастье единорожденное, нутряное? Нет, оно приходит всегда извне — от обмытого дождем листа дерева, от глубокого неба, от содержимого чашечки Пэтри на лабораторном столе и от человека... С людьми чаще всего сталкиваешься, от людей большей частью идет к тебе и счастье и горе. А особенно от тех, кто тебе всего ближе и дороже.

На улицах мы видели лишь добрые лица, искренне изумляющиеся, искренне улыбающиеся, но в автобусе, в котором решили проехать три остановки, наткнулись неожиданно на откровенную злобу. Старик в шляпе, щеки впали, тонкие губы в ниточку, глаза мутно-зелены, долго пялился на нас и не выдержал, зашипел:

— Остолопы смазливые, жареный петух вас в зад не

клюнул. Покрасуйтесь, покрасуйтесь, покуда вам крылышки не прижгет. Закорчитесь... Хе-хе!..

Этот человек был настолько несчастен, что уже не мог без ненависти видеть чужое счастье. Усох от ненависти, источен проказой недоброжелательства, еще не так уж и стар, но долго не проживет.

Нет, ответной ненависти я не испытывал — отвращение и жалость. И еще панический страх за свое счастье. Оно слишком ярко и неправдоподобно, чтоб длиться долго. Жареный петух в зад не клюнул...

На минуту было испорчено настроение. У Майи сразу стало замороженным лицо, а губы увяли.

Испорченное настроение исчезло, как только мы вышли из автобуса под горячее солнце, на суетную доброжелательную улицу. Снова под ресницами Майи заблестели глаза.

А я вспомнил — не провожаю Майю, как было прежде, чтобы расстаться до новой встречи, не расстанемся ни сейчас, ни вечером, ни завтра, ни через год. Встреча на всю жизнь! И от этого открытия даже закружилась голова, шумно-карусельная улица вместе с многоэтажными домами, расплавленным солнцем стала подниматься и опускаться, как на волне.

Знакомый Майин двор, тенистый, прохладный, пахнущий мокрой землей, только что политой травой и... собаками. Подъезд с оскорбительно невыразительной дверью. Финиш сказочного путешествия мог бы выглядеть впечатляюще.

Мы поднялись по лестнице, на пороге нас встретили Майины родители. Они, похоже, едва ли не час толкались под дверью, прислушивались, не раздадутся ли наши шаги.

Вечером встреча с Гошей Чугуновым мне казалась далеким прошлым, почти стершимся из памяти, постороннее событие для этого бесконечного, ослепительно солнечного дня.

Но Майя, оказывается, ничуть не забыла, собираясь в ванну, спросила меня:

— Помнишь этого в автобусе?

— Охота тебе вспоминать погань.

— Мне интересно знать, почему ты тогда смолчал?

— Я богат, он обездолен. Мне с ним сражаться — да смешно.

— Он не обездолен, он испорчен. От природы, с дет-

ства — пасквиль. Скажи уж лучше, не хотел связываться, и мне будет это понятно.

— И связываться тоже. Но я... в самом деле испытывал к нему жалость.

— А почему к Гоше Дон Кихоту в тебе нет такой великодушной жалости?

— А разве ты не заметила разницы — один лежащий, другой чувствует себя на коне. И не я же, он первый мне бросил перчатку. Я просто принял вызов, Майка.

Ее темные глаза стали матовыми.

— Ты с сюрпризами, — сказала она задумчиво. — То воюешь с благородством, то прощаешь погань. И умней всего мира... без стеснения. Странно.

После такого счастливого дня! И чего это вдруг она? Ну, никак не понять.

Я почему-то в мыслях не допускал, что и сам для нее выгляжу тревожной загадкой: «Ты с сюрпризами...» Также ведь как понять?..

11

В воскресенье мы отправились к Гоше Чугунову. Мне и самому было любопытно: как чудит этот человек, вчерашний философ местных забегаловок, ныне новоявленный пророк?

Майя надела красную юбку и белую кофточку, в которых в прошлый раз встречала Гошу Чугунова. Наряд, обычный для городских улиц, но не будет ли он вызывающе кричащим среди верующих, где даже пророк-вдохновитель носит мятую рабочую куртку?

Молодежная улица начиналась в новом районе пятиэтажными, уныло стандартными домами. Они резко обрывались, и асфальтовое шоссе дальше шло мимо палисадничков с калиточками, бревенчатых стен с мелкими оконцами, крашенных наличников, кособоких сараев, тесных верандочек, крыш под ржавым железом и дырявым шифером, шестов с потемневшими скворечниками и телевизионных антенн. Тихий пригородный угол, которому осталось уже недолго жить — через несколько лет дома из бетонных плит втопчут в землю старые крыши, сарай, верандочки, встанут на их место.

Дом сто двадцать семь ничем не отличался от других домов, такая же перекошенная калиточка, такая же, как у всех, телеантенна на крыше и пыльные кусты отцветшей сирени.

Нас никто не встретил, если не считать собаки на цепи, с ленивой обязанностью тявкнувшей раз-другой из своего угла.

Длинный стол с самоваром, люди над расставленными чайными чашками в чинной посадочке только что собравшихся гостей, еще не успевших освоиться друг с другом. Всем места за столом не хватило, многие расселись по стенам.

К нам быстрым и решительным шагом подошел молодой человек — отутюженный костюм, белая сорочка, широкий цветастый галстук, лицо приятное. Он не спросил, кто мы и зачем, радушно пригласил:

— Прошу, братья... Здесь два свободных стула.

Мы уселись в простеночке между окнами, и я увидел Гошу Чугунова. Он пил чай из большой чашки и о чем-то беседовал с грузным лысым мужчиной, по-домашнему одетым, по-домашнему озабоченным. Заметив нас, Гоша коротко кивнул нечесаной головой и сразу же забыл, продолжал свой разговор.

Нет, кричаще красная юбка Майи здесь никого не привлекала. Тут были девицы и моложе Майи, в джинсах в обтяжку, со взбитыми прическами, парни в приталенных рубашках, с бачками и запущенными волосами, пожилые привычно благополучного вида, и среди благополучных несколько истощенно бледных, откровенно бедно одетых. Все держатся несколько стесненно, переговариваются между собой притушенными голосами, кидают терпеливые взгляды на конец стола — на грузного лысого хозяина, на бородатого всклокоченного Гошу Чугунова. Невольно и я себя ловлю на том, что у меня тоже постно-сосредоточенное лицо. И только Майя с откровенным нескромным любопытством озирается — жадные глаза, губы в потерянной складке. На нее уже исподтишка кое-кто косится с явным сочувствием — верят, что губы ее и в самом деле таят какую-то беду, не случайно оказалась здесь, пришла за утешением.

Наконец хозяин поднялся, навесил выпирающий животик над столом.

— Братья и сестры, — произнес он до певучего тенора проникновенно стончившимся голосом. — Не пора ли нам начать во имя господина нашего Иисуса Христа...

У него грубоватая полнокровная физиономия, в которую прочно впечатаны следы бесхитростных житейских забот. С такой физиономией подобает больше со смаком выпивать стопку водки за плотным обедом, рассуждать о

ценах на картошку и мясо, любить нескромные анекдоты, отзываться на них утробным здоровым смешком. Но те-
нористо кроткий голос и отрешенность, и непривычные
слова о господе Иисусе Христе. И общее усиленное вни-
мание, напряженные лица, ждущие чего-то особого, едва
ли не чуда.

— Все мы, братья и сестры, живем в грехах, страдаем
от грехов наших ближних. И некуда нам пойти и пока-
яться, как вот только так, собравшись вместе, поглядеть
друг другу в глаза, признаться во всем друг другу, друг
друга возлюбить, как завещал нам наш спаситель, сын бо-
жий. Братья и сестры, взгляните в себя повнимательней!
Оставили ли вы за порогом обиды на ближних? Не мучает
ли вас и сейчас зависть и корысть? Забудем их, обратимся
душой к всевышнему! Проникнемся любовью и найдем в
ней утешение...

Над головами поплыли вздохи, столь же разные, как
разнообразен был состав собравшихся людей в этой комна-
те: одни с горечью, другие с облегчением, умиленные и
стонущие, нарочито громкие и потаенные.

— Чтоб проникнуться, братья и сестры, настроиться,
так сказать, на благодать, попросим для начала сестрицу
Анфису спеть нам псалом сто четырнадцатый...

Сестрица Анфиса — явно не из преуспевающих — зеле-
ное вытянутое поношенное личико, ветхая, штопаная и
перештопанная белая кофта на хрупких косточках, встала,
кашлянула в ладошку и дребезжаще тонким, жалующимся
голоском затянула:

Господь услышал голос мой,
Мне ухо преклонил свое,
Я буду призывать его
Все дни мои, все дни мои-и...

Сообщение «господь услышал...», обещание «буду при-
зывать его...» — одинаково слезливой жалобой забитого
существа. Мне пронзительно жалко ее и коробяще стыд-
но — если не засмеют, то проникнутся про себя презрени-
ем, нельзя же столь откровенно фальшивить. Но женщины
постарше начали горестно сморкаться, а молодежь, без
того подавленно смиренная, присмирела еще больше.

Болезни объяли меня,
И муки адские грызут,
В могилу тесную зовут —
Скорбею я, скорбею я-а...

Майя не сводила замороженных глаз с жалующейся певицы, а я поражался тому сопереживанию — искреннему! — какое вызывала в людях бесхитростная, уныло исполненная песенка.

Как, оказывается, много значит игра в человеческой жизни. Из сочувствия к Отелло слез пролито наверняка куда больше, чем над любым из людей, попадавшим в несчастье. К разыгранной беде человек, право же, отзывчивее, чем к беде настоящей. Кто жалел эту женщину за стеной комнаты, кто замечал ее? А сейчас вот горестно сморкаются, вздыхают — внимание и подавленность!

Сестрица Анфиса продребезжала свою песенку до конца, опустила на место, оставив в воздухе нечто невнятное — то ли облегчение, то ли разочарование.

И в это-то время раздался голос Гоши, резкий, грубо земной, почти оскверняющий тишину:

— Зачем вы все сюда собрались?!

Собравшиеся колыхнулись, подняли головы, настороженно уставились в бороду Гоши. Никто ему не ответил.

— Вот вы, вы, например, зачем сюда пришли? — с прежней грубостью, бесцеремонно тыча пальцем в девицу с кокетливой белобрысой челкой и хвостом льняных волос, падающим с затылка на оголенную шею. Девица залилась краской до ключиц. — Любопытство вас сюда пригнало?..

— Не-не-ет, — еле слышно выдавила девица.

— Если не любопытство, тогда... тогда несчастье! Пусть даже пустяшное в глазах других, но для вас большое... Или я не прав? Может, вы совсем, совсем счастливы?..

— Н-нет, — снова выдавила из себя девица, краснея уже до мокроты в глазах.

Гоша вздернул бороду, обвел взглядом притаившихся слушателей.

— А кто здесь счастлив? А? — требовательно-командным голосом.

Все молчали.

— Нет здесь счастливых, у каждого есть что-то. Оно точит душу, как червь яблоко. И я не спрашиваю, у кого что. Но знаю, есть! И вы принесли сюда, а зачем? Разве вам кто-нибудь обещал: здесь снимут вашу беду? Кого не любят — станут любить, у кого нужда — привалит богатство, пьющий муж перестанет пить, больной выздоровеет... Кто думает, что это случится, как только вы выйдете отсюда? Есть ли среди вас такие простаки?..

Гоша вызывающе поводит бородой, длинный, пескладно костистый, узкие плечики вздернуты, ворот клетчатой рубахи расстегнут, открывает голодную ямку в основании худой шеи. И люди опускали глаза под его взглядом.

— Так я вам скажу, зачем вы пришли сюда, вы, ждущие любви, но нелюбимые, нуждающиеся, но не умеющие выкарабкаться из пужды, вы, затравленные своими близкими, больные и просто уставшие! У каждого из вас свое, но каждому не хватает одного и того же. И не столько тяжела ваша беда, сколько то, что ее не замечают, знать не хотят. А вот это уже вовсе невыносимо!

Запрокинув нечесаную голову, Гоша выдержал длинную паузу, заполненную ожиданием.

— Братья и сестры! — произнес он торжественно и размеренно. — Брат-я и сес-тры!.. Вот зачем вы сюда пришли, чтобы услышать эти слова. Их услышать и почувствовать, что ты не одинок на этом свете. Оказывается, есть кто-то, который может тебя понять, признать тебя братом. Духовным! Родство духовное куда крепче родства кровного. Сколько братьев и сестер по крови ненавидят друг друга, а разве сын не бывает чужим отцу, отец сыну? Братья и сестры, вы пришли сюда, чтобы сродниться... А как? Как это сделать?..

Гоша распалил себя, лоб и скулы его цвели пятнами, глаза горели. Новый для меня Гоша. Не просит внимания — грубо берет его, не доказывает — повелевает. И даже я забыл все, слушаю. Жадно слушает Майя, подалась вперед, озноб на лице, в изогнутых губах замороженная скорбь.

А люди, те люди, которые только что отзывались горестными вздохами на неумело разыгранную жалобу наивной песенки «Болезни объяли меня, и муки адские грызут...», сидят сейчас обмершие, почти что раздавленные. Как много значит игра в жизни! Тут разыгрывается роль властителя душ, и талантливо, нельзя не признать.

Гоша снова ткнул пальцем в девуцу с белобрысой челкой.

— Я!.. Я могу вам стать духовным братом только тогда, когда мы оба поверим в одно. Если мы будем верить в разное, каждый на свой манер думать, то какие же мы брат и сестра по духу. Мы останемся чужими и далекими. Вы никогда не поймете меня, я вас... А хочется, хочется, чтоб не только мы двое понимали друг друга! Чтобы все

люди на свете почувствовали себя братьями и сестрами! Значит, всем надо верить во что-то единое. Всем во всем мире! Во что-то... Но это не может быть маленьким, если в него должен верить весь мир. Это что-то должно быть великим, непостижимо великим! Может, мы найдем себе великого человека и станем верить ему, каждому слову, каждому жесту? Как бы ни велик был такой человек, но человек же! Он может ошибаться. Придется верить в его ошибки. Он может обижаться, озлобляться, творить несправедливости — и в это верить, это принимать?.. Нет, человеку, пусть даже самому великому, во всем верить нельзя. Что-то должно быть выше человека. Что, братья и сестры?!

— Бог... Бог... — с придыханием раздалось со всех сторон.

— Бог — да! Но многие нам скажут: как верить в бога, если его нельзя увидеть, почувствовать, нельзя понять, существует он или нет? Кто из нас не слышал таких возражений, братья и сестры?

— Слышали... Слышали... Все слышали...

— Почему я должен верить в того, кого я никак не могу определить, есть он или нет на самом деле? Не будет ли моя вера самообманом?

Майя метнула на меня изумленный взгляд, я сам поразился дерзости проповедника — рискованно играет, как же вынырнет?

Эта рискованная дерзость обеспокоила не только нас. Хозяин, сидевший рядом с Гошей, порозовел лысиной и заворочался на стуле всем своим плотным телом. Должно быть, он, истово верующий, не терпел столь прямых и острых вопросов. Остальные же братья и сестры, явившиеся за духовным родством, затаив дыхание слушали.

Гоша-проповедник продолжал спокойно и внушительно:

— А спросим себя, братья, можно ли вообще верить в то, что есть на самом деле? Я вам говорю: этот дом стоит на Молодежной улице. Вы прониклись верой? Да нет нужды проникаться, вы и без меня это знали. Оказывается, нельзя верить в то, что уже известно. Как нельзя хотеть есть, когда уже наелся. Если желание пищи при насыщении сменяется равнодушием к ней, то и вера пропадает перед очевидным фактом. Если б допустить, что мы узнали бога, то вся наша вера в него превратилась бы в утлое знание — есть такой! Быть может, мы какое-то время подивились бы его величию, а потом привыкли, стали бы от-

носиться как к нечто само собой разумеющемуся, то есть равнодушно. Бог непостижим и никогда не будет нами постигнут, а потому вера в него вечна!

— Но в этом сомнение, сомнение есть! — выкрикнул хозяин, все время беспокойно раскачивающий стул плотным задом, и розовая лысина выражала его волнение. — Бог-то, по-вашему, брат Георгий, не совсем, так сказать, несуществующее, воображаемое нечто!

Гоша с высоты снисходительно оглядел розовую лысину.

— У вас сомнение, брат Алексей. У меня его нет — верую в бога, потому что не знаю о его существовании. Верую, не допускаю сомнений.

Хозяин на секунду смутился, он был простоват, однако упрям и, должно, самолюбив, потому, цвеля лысиной, возразил:

— Я верю, верю, что он есть, так сказать, в полной личности, без всяких там...

— И прекрасно, — великодушно согласился Гоша. — Верьте как умеете. Вы верите, я тоже, в нас одно, а потому мы братья.

Хозяин покряхтел, поскрипел стулом, ничего не возразил, но был явно в некотором сомнении насчет полного братства с Гошей Чугуновым. Зато остальные в том явно не сомневались. Я видел разглаженные лица и горящие благодарные глаза, направленные на Гошу.

Далеко не все поняли его изворотливую логику, да полного понимания и не требовалось. Важно — бог был как-то объяснен, он объединял, значит, каждый чувствовал, здесь собрались не одинокие люди, а единомышленники, соглашаются друг с другом, могут рассчитывать друг на друга, а значит, друг на друга надеяться. И тот, кто рождает надежду, уже не простой смертный — вождь, пророк, а потому к нему горящие глаза, разглаженные лица...

Мы вышли, солнце скрылось за вздыбленными домами той части Молодежной улицы, которая была уже полностью отвоевана городом. Городские дома — дымчато-сумеречны и величавы. А вокруг нас нетронутая окраина встречала вечер. В воздухе висела лиловая пыль. По асфальту проносились напористые машины из города и в город. Перелбехивались по-деревенски собаки. Шли стайками парнишки и девчонки — в расклешенных брюках, буйно патлатые и развязные. Они не догадывались, что рядом объявился пророк, вопрос бытия божия не возникал в их

длинноволосых головах, да и вопросы собственного бытия их еще, видать, не особо волновали.

Вечер наваливался теплый, даже душный, но Майя зябко передергивала плечами под тонкой кофточкой и постоянно оглядывалась назад: пророк застрял в доме, а ей не хотелось так просто с ним расстаться. Да и я был не прочь перекинуться парой слов, распирали возражения, еще новорожденные, не до конца вызревшие.

— Попал в осаду,— сказал я.— Вцепились, быстро не отделается. Пошли.

И Майя послушно последовала за мной к автобусной остановке.

Я ошибся, Гоша Чугунов быстро отделался от почитателей, появился возле нас до того, как автобус подошел.

— Что вы убегаете? Поговорим...

Долговязо-тощий, штаны мешковато спадают с худого зада, борода, прячущая в лице остаток молодости,— для постороннего глаза жалкая фигура. Но мы отчетливо видели в нем следы пережитого величия — не сутулится, движения излишне размашистые, в голосе не обиженность, даже не упрек, а еле уловимая капризность: должен еще бегать за вами.

— Ждешь признания? Что ж, готов признать,— сказал я.— Ты был красноречив. До удивления!

— Я же видел, как ты выносил на физиономии эдакое: эх, приложу! Прикладывай.

И метнул взгляд на Майю, словно пообещал: вот я его! Уж не считает ли он и Майку своей единомышленницей? Больно быстро.

Я спросил:

— Неужели ты искренне думаешь, что вера в одну недоказуемую идею бога способна уничтожить все людские противоречия, какие есть и какие будут?

— Бог, старик, не одна идея, а целый комплекс сложных идей.

— А могут ли быть столь универсальные идеи, которые приложимы ко всему, что возникает и будет возникать между людьми?

— Идея «любви ближнего» разве не универсальна? Разве в благословенном будущем люди, сталкиваясь с ненавистью, не станут вспоминать ее?

— Вспомнят, и что?..

— Будем надеяться победят ненависть в себе.

— Останутся с одной лишь любовью друг к другу? А не опасно ли это?

— Любить друг друга опасно? Ну и ну, договорился!

— А сколько мамаш искалечили своих сыновей неразумной, горячей любовью. Любили в них все, даже пороки, а в результате или олухи, или преступники!

— Но, наверное, любовь, когда неразумна, перестает быть любовью.

— Вот именно. Любящим мамашам разумней было бы проникнуться ненавистью к каким-то поступкам дорогих сынков. То есть ненависть в жизни имеет такое же право на существование, как и любовь. Важно знать, что любить, а что ненавидеть. И тут вера в бога не подскажет — разумеи сам.

Гоша сердито боднул в сторону бородатой головой.

— Старик! Убеждать нам друг друга насчет бога — толочь воду в ступе. Я вовсе не рассчитывал тебя, неверующего, превратить в верующего. Не для того позвал. Хочу, чтоб ты взял обратно свое слово «мизантроп». Люди тянутся ко мне, уходят от меня ободренные и, смею думать, более счастливые, чем были до встречи. Возьми «мизантропа» обратно, и мы расстанемся.

— Я считаю, ты своим красноречием искусно — очень искусно и ловко! — обманул доверчивых. Наобещал братство, которое никогда не сбудется. Мне жаль этих обнадеженных, тебе — нет. Ну так извини, я по-прежнему считаю твоё отношение к людям дурным, безответственным.

В это время подошел автобус. Я взял под локоть Майю, не обронившую ни слова во время нашего разговора. Гоша не ответил и не сделал попытки остановить нас. Мы втиснулись в автобус.

В окно я видел его — стоит, расставив длинные ноги, сутулится, действительно похож на Дон Кихота.

Майя молчала всю дорогу, старалась не смотреть в мою сторону, задумчиво взмахивала длинными ресницами. Молчал и я, не спрашивал — пусть переваривает, сама скажет.

Дома она опустила на тахту, сжала коленями ладони, снова долго молчала, подрагивая скорбящими губами, наконец изрекла:

— Ты видел, с какой жадностью его слушали люди, Павел? А как они изменились все от его слов... Они этой встречей будут много, много дней жить. А кто-то, может, через всю жизнь ее пронесет...

— Пронесет иллюзии, Майка. С иллюзиями человек не может быть защищен, от жизни у таких одни кровоподтеки.

— Без кровоподтеков не проживешь... А тут хоть что-то имеешь, кроме кровоподтеков... Что-то хорошее, Павел!

— Я ученый, Майка, обманывать людей, выдавать желаемое за действительное считаю преступным.

— То-то и оно, что ты ученый...— Лицо ее было утомленно-серьезным.— Ученый!.. И ты прав, прав! Возразить трудно — логика железная. Но какая радость от нее, железной?.. От твоего железа холодно на душе. А этот ободранный бородач наплел им черт-те что... Ты думаешь, я не понимаю, какая это путаная чепуха? Но люди-то от нее у меня на глазах красивели! И уверена, сейчас они все тихо радуются. Кроме, конечно, того, с красной лысиной. Ему, вроде тебя, нужны доказательства. До тошноты скучный тип. Радость возьми, а доказательства дай. И слава богу, у тебя хватило ума не кинуться на пророка при людях. Конечно, ты бы его поколотил... железной логикой, штука тяжелая. И сидели бы эти люди сейчас по своим углам, думали: вот муж скоро пьяный придет, сын-балбес школу бросает, денег нет, а семью корми — и ни-ка-ких иллюзий!

Я сел рядом с ней, положил на ее колено руку.

— Майка, давай убеждать, что водородные бомбы — пустяковые игрушки, что океаны не могут превратиться в сточные лужи и что никогда больше к власти не придут новые гитлеры, не будут строиться концлагеря с колючей проволокой, не завертится мировая мясорубка... Ты думаешь, Майка, так уж и трудно людей убедить в этом? Даже особо красноречивым быть не надо, с охотой поверят уже потому, что желанное. Поверят и станут чувствовать себя счастливыми, Майка! Но опасности-то не исчезнут, наоборот, черт возьми, они станут еще грозней, потому что людей усыпили. Да за такое счастье непотревоженных идиотов человечество может поплатиться своим существованием, а уж бед страшных и крови не избежать. Счастье не иллюзиями добывается, Майка, а тяжелым трудом, заботами, страданиями. Да, и страданиями тоже!

Она плеснула мне в лицо темным взглядом.

— Труд, заботы, страдания... С тех пор как себя люди помнят — труд, труд, заботы, заботы, страдания, страдания без конца, а много ли прибавилось в мире счастья?

— Наверно, все-таки прибавилось, Майка.

— Где ты его видишь?

— Испокон веков по России-матушке ходили толпы нищих с холщовой сумой через плечо, стучали под окнами: «Христа ради, на пропитание!..» А ты в жизни хотя бы од-

ного нищего видела? А сама ты мечтала когда-нибудь о куске хлеба?.. И те, что сидели, уши развесив, перед Гошей-праведником, сыты, одеты, работают не по четырнадцать часов в сутки, два выходных в неделю имеют. Пожалуй, что это счастье, Майка. И невыдуманное. Я бы хотел сделать его еще более надежным.

Я встал, убежденный, что поставил точку. Мне уже казалось, что любые возражения тут просто бессмысленны. Но Майя подняла на меня глаза, взгляд ее был внимательным и тяжелым.

— То, что я рано или поздно умру, не иллюзия, не выдумка — голая правда. И повторяй мне ее изо дня в день, заставляй постоянно об этом думать, — да, несчастней меня не будет никого на свете. Мне забыть это нужно, больше того, мне надежда нужна — да, да, иллюзорная! — что моя жизнь будет длиться вечно. Надежда вопреки правде, Паша, вопреки здравому смыслу! Ты ее не дашь, а вот Гоша может...

Странный и неожиданный для меня взгляд — правда, от которой нужно прятаться! Я считал себя представителем объединенного во всем мире племени ученых, с разных сторон, в разных местах ищущего истину. Любое заблуждение для меня враждебно, и чем оно соблазнительней, тем опасней. Должно быть, я не мог скрыть возмущения в голосе.

— Действительность страшна? Да! Но, представь, от нее, страшной и неприглядной, отворачиваются, знать не хотят, иллюзиями ее подменяют. Можно ли после этого бороться за свое существование, Майка?

— Вера в загробную жизнь, бессмертие души, рай, справедливость... Иллюзии, иллюзии! Неужели зря к ним веками тянулось человечество? Не будь их, Павел, наших предков, наверное, такой страх, такая тоска и безнадежность охватили бы, что ни бороться за существование, ни о детях заботиться желания бы не было.

— В загробную жизнь верили, но за настоящую, однако, цеплялись. Много ли было таких, которые предпочитали добровольно переселиться в мир иной? Значит, не так уж и сильна была вера в иллюзии.

— Как ты просто считаешь — раз поверил в иную жизнь, непременно расставайся с этой! Вера в иную, дальнейшую продолжала эту жизнь, как бы поправляла ее самый существенный недостаток — кратковременность.

Майя сидела, сутулясь, упрямо хмурила свои сумрачные брови, стискивала коленями ладони...

Нет, мы так и не пришли к согласию.

Мне тогда вспомнились слова Лейбница: «...Если бы геометрия так же противоречила нашим страстям и нашим интересам, как нравственность, то мы бы также спорили против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам Эвклида и Архимеда...»

Мудрый Лейбниц считал — виноваты страсти и интересы. У меня с Майей страсти не столь уж и сильно различались, интересы у нас были в общем-то одни, но вот, поди ж ты, доказать друг другу бессильны.

Ночью полная Луна заглядывала к нам сквозь неплотно задернутую занавеску, свет ее падал на тисненные золотом корешки словаря Брокгауза — Ефрона, гордость моей скромной библиотеки. Майя спала, ровно дышала, подсунув под щеку кулачок. Я думал...

Земля — прекрасная планета, красива и удобна. Во всем бескрайнем мироздании наверняка не найдется для нас второй такой же удобной.

И нет на земле для людей врагов, побеждены все.

Нет врагов, кроме самих себя.

Понять друг друга — значит себя обезопасить.

Понять друг друга — достигнуть совершенства!

Но не странно ли, что даже я и Майя в чем-то не можем договориться, два любящих человека! А как тогда договориться между собой миллиардам?..

В те дни я был счастлив как никогда. А наверное, чем больше человек счастлив сам, тем настойчивей и беспокойней он думает о счастье других. Нет, не из альтруизма, а во имя сбережения своего собственного счастья. Только вместе со всеми оно еще может оказаться надежным.

Ночь. Пробивающаяся Луна. Спящая рядом Майя.

Глава третья

ПОЛДЕНЬ

1

Я взял себе отпуск, у Майи продолжались каникулы. Мы строили планы путешествия.

Я предлагал захватить палатку, раздобыть по дешевке

простую весельную лодку... Нас понесет мимо тихих деревень, сельские колокольни станут провожать нас с берегов, будут костры с окуновой ухой, будут розовые расцветы.

Но Майя решительно возражала:

— Не хочу, чтобы наша жизнь начиналась скромненько под ракиновым кустиком...

Из своего города она выезжала только в Сочи и Сухуми вместе с папой и мамой. Москва, Ленинград, Новгород, Псков, Рига — вот заветный маршрут!

— Хочу торжественной увертюры!..

В Москве к нашим услугам свободная квартира — Майина тетка с мужем каждое лето проводят в Кисловодске. В других же городах нас никто и ничто не ждет. М-да-а, увертюра...

Шел наш медовый месяц. Не обольщайтесь названием — в медовый месяц обычно вкушают первую горечь.

Два человека со своими привычками, своими взглядами и особенностями сходятся вплотную, и почти невероятно, чтоб они во всем совпадали, не давили, не причиняли друг другу неудобств, досады, болезненных ощущений. Еще вчера он считал — она сверхидеальна, она — он исключителен, неповторим, старались показать себя с самой наилучшей стороны, в самом возвышенном качестве. Вчера это было еще можно, а сегодня уже приходится решать мелкие житейские вопросы, поступать не исключительно, а привычно, проявляя себя не с парадной, а с будничной стороны. Удивительно ли, что восторженность уступает место разочарованию?

Медовый месяц — крушение идеалов, отрезвление. Берегитесь медового месяца — именно в нем проступают трещины, которые могут обрушить здание семьи.

Я вспомнил совет моего добрейшего Бориса Евгеньевича: «Соперничайте в уступках... Ее желания для тебя должны быть выше своих!» И я уступил Майе скрепя сердце, предчувствуя осложнения.

2

Тихое окраинное место Москвы. Просторный светлый переулок с громадными, как отвесные горы, домами в самом конце проспекта Вернадского, от него две остановки на метро до университета и далеко до центра.

Мы заняли двухкомнатную квартиру уехавших в Кис-

ловодск Майкиных родственников. Одна стена была сплошь увешана ярко раскрашенными масками, улыбающимися, плачущими, оскаленными, монголоидными, негроидными, совсем сатанинскими. Муж Майкиной тетки работал инженером-механиком на заводе точных приборов, а дома с помощью бумаги, красок, клея и лака творил эти маски, преувеличенно гневающиеся, издевательски радующиеся. А на полках половина книг на французском языке — Майкина тетка преподавала его в одном институте. Вокруг следы давно устоявшейся жизни, по-своему содержательной и, право же, красивой, но далекой для нас. Я удивлялся особенно маскам, хотя не скажу, чтоб они уж очень нравились своим сатанинством. Майя много о них слышала и раньше — одна из таких масок даже висела у них дома как подарок, — потому отнеслась довольно равнодушно и поторапливала меня:

— Нечего нам торчать возле этих харь, пойдем брать приступом Москву.

И мы пошли брать приступом...

Майя захотела пройти к Ленинским горам через университет.

Я и раньше бывал в новом университете — однажды на расширенном симпозиуме биологов и дважды по поручению нашего ректората утрясал какие-то не слишком сложные вопросы. Каждый раз подходя вплотную к центральному зданию, странно, я испытывал почти восторженное чувство собственной ничтожности — подъезды великаны, не для простых смертных; колонны уже не монументальны, а обременительны для земли, холодеешь, представляя их давящую тяжесть; стены нависают над тобой всей своей запредельной устремленностью и, кажется, падают на тебя, но с той величавой медлительностью, которая несравнима с твоей короткой человеческой жизнью. Циклопическая цитадель науки, она для меня некое наглядное олицетворение научных свершений, открывших нам столь величественное, по сравнению с которым мы сами себя чувствуем чем-то микроскопически несущественным.

Похоже, что и Майя, впервые столкнувшись с новым университетом, испытывала то же самое. Она притихла, растерянно озиралась, запрокидывала голову, подавленно молчала, и в губах ее отчетливей, чем всегда, проступала беззащитная страдальческая складочка.

— Хотела бы ты тут учиться? — спросил я.

Она помолчала, ответила неуверенно:

— Мне кажется, я бы тут совсем затерялась.

Но вот университет остался за спиной, мы пересекли шоссе, приблизились к каменному парапету, и перед нами — Москва, необъятная, вкрадчиво тонущая в мутных далях и какая-то затейливо игрушечная. По черной реке плыли лебедино-белые речные трамваи, патужно тянулись неумеренно длинные баржи, груженные ярко-рыжими кучами песка, висели прочно-сквозные мосты, и, пока хватает глаз, как причудливый каменный сад, в истоме ли, в дремоте ли замерли за рекой сросшиеся друг с другом дома. И глаз вырывает из них то застенчивые купола Новодевичьего монастыря, то обойму труб теплостанции, то дымчатые силуэты высотных зданий. Великий город отсюда выглядит не пугающим, а зовущим, чувствуешь себя пад ним великаном, почти господином. Смутные дерзкие желания кружат голову...

Неожиданно па нас нахлынула шумная толпа — мужчины в черных, не по сезону костюмах, женщины в ярких платьях... и невесты, невесты, не одна, не две, сразу несколько, все в белых свадебных платьях. Мы и не заметили, как к обочине подкатили разнаряженные в алые ленты машины с болтающимися детскими шарами и куклами-голышами на радиаторах. Оказывается, Ленинские горы — место паломничества молодоженов.

Я переглянулся с Майей и понял — она, как и я, испытывает сейчас что-то вроде умудренного снисхождения к женихам и невестам, окруженным суесящимися родственниками: у нас это уже позади, мы на шаг дальше ушли по жизни, а значит, на шаг их ближе к старости. Ощущение превосходства и роковой необратимости.

Смех, шум, толкотня, крики и обидное невнимание к раскинувшейся Москве. Наконец прибывшие стали разбираться на кучки — на каждую по невесте! — и фотографии в рьяных позах стали целиться на них объективами, запечатлевали великий город для брачного фона.

Мы полюбовались и не спеша двинулись под тенистой зеленью Воробьевского шоссе к метро, к одной из самых красивых станций, нависшей над рекой. Через каких-нибудь полчаса мы будем далеко отсюда, в центре каменного сада, который сейчас тонет в мутной дымке.

У Майи лучились глаза, губы обмякли, таили улыбочку.

Она ждала от Москвы щедрых подарков...

Москва должна подарить ей Плисецкую в Большом те-

атре: «Буду рассказывать о ней своим внукам — видела великую артистку века».

Москва должна подарить ей театр «Современник» и Театр на Таганке: «Я слышала о них легенды, теперь хочу видеть эти легенды своими глазами!»

Москва должна подарить Третьяковку и Рембрандта в стенах Музея имени Пушкина...

Ну а помимо всего этого, Майя еще ждет от Москвы сюрпризов, сама пока не ведает, каких именно.

Вот сюрпризы-то сразу и посыпались, как только мы проникли в глубь Москвы...

Великой артистки века в столице не было — то ли она выступала где-то за границей, то ли где-то отдыхала.

Но в Большой театр, хотя бы и без Плисецкой!..

Увы, практически невозможно. Учреждения, занимающиеся обслуживанием иностранцев, закупают почти все билеты.

А «Современник» на гастролях.

А Театр на Таганке банальным образом ремонтируется.

Лето — мертвый сезон.

И был вечер, и было утро: день один! Он начался для нас парадом Москвы, а затем целиком ушел на выяснение неутешительных обстоятельств.

Но Третьяковку-то от нас Москва спрятать не могла...

На следующее утро мы устремились к знаменитому Лаврушинскому переулку и... оказались в хвосте длинной очереди.

Говорят, что Москва ежедневно пропускает через себя около двух миллионов проезжих. Если из них всего один процент пожелает посетить Третьяковку — уже двадцать тысяч человек! И москвичи тоже ведь в нее набегают...

Стайки пионеров под надзором ретивых вожатых, бородастая степенная молодежь и суетливые безбородые старички, интеллигенты и рабочие парни, простые солдаты и офицеры всех званий, сельского вида семейства — папы, мамы, детишки, иногда с престарелыми бабушками и дедушками, — все сословия, со всех мест огромной страны. Мы встали в очередь утром, а переступили заветный порог, когда солнце перевалило за полдень.

В залах душно и тесно, известные картины в осаде, к ним надо пробиваться...

Но Майя сразу же «взыграла», лицо ее запылало, она крепко схватила меня за руку. Ни разу еще не бывавшая в этих залах, она знала Третьяковку наизусть и к каждому художнику относилась или с воинственным восторгом, или

с не менее воинственным пренебрежением, а иногда и с тем и с другим сразу.

— Ты посмотри, как нагреты солнцем тела мальчиков! — говорила она вздрагивающим, упругим голосом, новым для меня. — И обрати внимание, никаких коричневых тонов, тени цветные... А вот этот этюд скал — какое судорожное море! Ты видишь, что оно минуту назад было иным, иным станет через минуту. Это и называется — живет! И учти, Александр Иванов работал задолго до импрессионистов. Моне и Ренуар, наверное, на свет еще не родились, когда писался этот этюд. На полвека мир обогнал! Создавал чудеса, а для чего? Чтоб сотворить — о господи! — сухую и холодную картинищу. Да, да, «Явление Христа»! Парад-алле на южном ландшафте. Не хватает только духового оркестра, чтобы грянул туш. А какая выписанность — складочки, пяточки, математика, а не живопись. Гений, ухлопавший всю жизнь, чтоб стать бездарностью... Зато уж монументальной, ничего не скажешь.

Горящие щеки, прыгающие блестящие глаза и рука, вцепившаяся в мою руку. Все, чем богата, что копила в себе полжизни, сейчас выплескивала на меня со страстью, до дрожи в голосе. И я, зараженный ею и ею подавленный, покорно шел за ней сквозь толкущихся зрителей — слепец за поводырем, ведущим в мир прекрасного.

Но это кончилось неожиданно.

Мы протолкались в зал Крамского, я издалека увидел «Незнакомку» и потянулся к ней. Неискушенный в живописи, я, пожалуй, из всего, что встречал на цветных вкладках журналов, в случайных монографиях, попадавших мне в руки, любил более всего, увы, бесхитростную «Рябинку» Грабаря и эту «Незнакомку». «Рябинка» напоминала мне мое далекое деревенское детство, а «Незнакомка» у меня была своя... Та самая — в автобусе! Светлый след остался от нее, до сих пор радостно, что эта женщина где-то живет на белом свете — дай бог ей счастья. Сталкиваясь с репродукцией «Незнакомки», я каждый раз поражался — другой человек в другом веке пережил, оказывается, то же самое.

Я потянулся к «Незнакомке», а Майя воинственно фыркнула:

— Тебя интересует эта кокотка в коляске?

— Почему кокотка? — оскорбился я.

— Стасов ее так называл.

На Майю я оскорбиться не мог, но зато сразу же проникся лютым недружелюбием к Стасову.

— Пень же он был, однако. Красивый цветок видеть приятно, а тут человек!

С величавым спокойствием глядели из-под приспущенных ресниц прекрасные глаза — на меня в толпе, чужого ей, минутного, минутный взгляд!

А у Майки вдруг пропала воинственность, она сразу же как-то увяла. Должно быть, до сих пор во взведенно-восторженном состоянии ее поддерживало чувство ответственности — без нее, поводыря, могу заблудиться, указывает путь слепому, дает зрение! А слепой, выходит, лишь притворялся слепым, обманывал — напрасные усилия, ненужное усердие. И духота, теснота, чужие сплоченные спины, через которые надо пробиваться. И обилие картин, вглядывайся в них с напряжением, ищи то, что должно волновать тебя — да за этим же сюда и пришел! — утомительно. Внезапно наступило пресыщение.

Нам бы после этого следовало уйти сразу же подобру-поздорову — унести с собой то, что уже получили. Воистину хорошего понемножку! Но мы-то прилетели сюда за тысячу с лишним километров, когда-то еще нас занесет в эти стены снова, грешно не посмотреть все. И мы, преодолевая усталость, борясь с отупением, насилуя себя, пошли толкаться дальше, глядели, глядели — картина за картиной, зал за залом, с добросовестным упрямством, по обязанности.

Майя уже не тянула меня, не пыталась объяснять, изредка вяло роняла слово, другое, тяжело опиралась на мою руку.

Вышли на волю, волоча одеревеневшие ноги. Майя молчала, лицо ее было бледно и равнодушно, губы капризно-вялы. В воздухе висел запах разогретого асфальта и бензинового перегара. За рекой, от которой не веяло свежестью, на заходящем солнце истекали жарким жидким золотом купола кремлевских церквей.

И был вечер, и было утро: день второй!

Наш следующий день начался под прохладными сводами Музея изобразительных искусств. Здесь не было такого столпотворения, как в Третьяковке, людно, но без духоты и толкучки, можно бы никуда не спешить. Но Майю залихорадило. Она лишь слепо покружилась по залам древнего искусства, выскочила к картинам, остановится перед одной, начнет всматриваться, и на лице сразу же проступает мучительное выражение. Минута, другая, и она срывалась:

— Идем к Рембрандту!

Но через несколько шагов снова застывает, снова мучительно всматривается, выскивает, решительно встряхивает волосами.

— Идем к Рембрандту!..

Вот и он, наконец-то, вымечтанный Рембрандт. Я ждал чего-то оглушительно великого, но заветные картины ничем в общем-то не отличались от других — неприметно малы, не яркие, скромны до обиды. С черных полотен, как из тьмы веков, тускло проступали старчески изрытые лица, старчески натруженные руки.

Майя замерла, как охотничья собака перед дичью, стояла долго-долго, тревожно поблескивая глазами. И все та же гримаса мученичества... Глубокий, почти с детским всхлипом вздох, растерянный тихий голос:

— Странно... Совсем странно... Мне сегодня все что-то не нравится. Даже Рембрандт...

Решительный поворот на каблуке.

— Идем!

Я думал, что она зовет меня смотреть дальше — других художников, иные полотна. Но она, кружа по залам, стала искать выход.

Мы схватили такси, Майя попросила шофера:

— По театральным кассам... Ко всем подряд, какие знаете!

И пошли мелькать улицы и площади... Такси останавливалось, Майя выскакивала, я покорно тащился за ней. Впервые я увидел гордую Майю в роли униженной просительницы:

— Очень вас прошу!.. Очень!.. Всего два билета в Большой... Куплю с любыми дополнениями, хоть на футбол... Мы гости здесь, всю жизнь мечтала...

Я слушал и страдал — ничем не мог ей помочь.

Шофер такси, пожилой, грузный, с несколько брюзгливым выражением на полной физиономии всеведующего и все видавшего человека, оборвал свое невозмутимое молчание, презрительно проворчал:

— Так вы весь свой отпуск проездите, пинжаки... Вечером перед театром потолкайтесь, авось на барыгу наткнетесь... Все вернее.

Москва, раскаленная, душная, сутолочная. Летняя Москва, обильная проезжим людом, гонящая от себя москвичей. Москва снисходительна к тем, кто врывается в нее с делом, и беспощадна к тем, кто наезжает ради нее самой — познакомиться со столицей. Великий город не терпит сан-

тимештов, новичка душит многолюдьем; в магазинах очереди, в кафе очереди, на тротуарах толкучка, беги, беги и не смей остановиться.

В Москве-то у нас есть хотя бы крыша над головой, а что будет в других городах?..

Майя не потянула меня вечером под колонны Большого театра в расчете на барыгу, вынимающего из рукава заветные билеты. Нечего ни смотреть, ни делать. Пора ехать дальше... в общем-то не слишком солоно хлебавши.

Впереди Ленинград...

Я не заговаривал с Майей. Нет нужды напоминать, что оказался прав. Сама вот-вот созреет — убитый вид, подавлена, замкнуто молчалива.

И был вечер, и было утро: день третий!

3

Утром Майя не захотела вставать, лежала в постели растрепанная, с поблекшим, неуловимо асимметричным лицом. На нее со стены уставились гримасничающие лики, все кричащие яркими красками и каждая со своим оскалом — с гневом, ужасом, с угрожающим торжеством.

Кажется, «дошла». Пора.

Я подошел к Майе. Она глядела на торжествующие маски, в их пустые глазницы, в их ощеренные пасти, меня словно бы и не существовало.

— Майка, давай думать...

Она не пошевелилась, не повела глазом.

— Ты меня слышишь, Майка?..

Прежняя замороженность, взгляд мимо, на маски.

— Обсудим сейчас и повернем все по-другому.

И она взвилась — раскосмаченная, глаза провалились, лицо — зелень, точь-в-точь как маска — сплошной оскал.

— Т-ты!.. Т-ты!.. — задыхаясь. — Т-ты всегда таким будешь? Недотепой!.. Не мужчина, мальчик-пайныка! За бабьим подолом послушно таскается!.. Повернем?! А что мы видели? Чем ты мне помог? С постной рожей бродил следом, хвост бабий!.. И радовался про себя! Ра-адовался!!

Ее лицо как-то странно сдвинулось, подбородок ушел в сторону, губы растянулись, утратили свой изгиб, а глаза темные, сухие, враждебные, жгущие. Она задыхалась.

— Видел!.. Видел же!.. Как я бьюсь! Знаешь же, как мне дорого!.. И плевать, плевать, даже доволен — на, получи! Пальцем не ударю, чтоб помочь...

Я затылком чувствовал глумящиеся маски за своей спиной. И Майино лицо, безобразное, как маска! Она выкрикивала рваные бессмысленные фразы...

Я повернулся, двинулся к двери. Маски провожали меня немотным хохотом.

Навстречу мне двигались прохожие, потусторонние люди, с которыми я никогда больше не пересекусь на пути.

Борис Евгеньевич, мой учитель, благословил меня: пусть ее желание будет тебе дороже своего, и ты обретишь мир и покой!

Обезображенное лицо, представить бы не смог, что увижу таким...

Солнечный день, идут редкие встречные, и каждый встречный счастливее меня. А совсем недавно я свысока смотрел на всех — ношу в себе то, чего другие и не подозревают, что бывает подобное в жизни.

Улыбка мироздания на небе и ее изломанные губы, вызывающие о помощи. Было это!..

Какими странными голосами кричали тогда лягушки...

А утро, невозможное утро, не случалось такое видеть даже во сне — чистый, чистый, праздничный город под розовым океаном...

Единственная средь людей —
Жизнь дающая!..

Было! Было!..

Потеряно.

Неужели?... Так сразу? В одну минуту?

Солнечный день, и я на мостовой, толкающий перед собой собственную тень. Я не хочу вспоминать ее обезображенное лицо с чужими, бесформенно растянутыми губами... Лицо, поднятое к луне, лицо сотканное из света... Волосы ее тяжелы, волосы ее насквозь пропитаны ночным мраком... И серебром тогда отливали белки ее глаз... Не хочу! Не хочу! Бережно перебираю обломки: было! было!

На обочине «Запорожец», умытый, самодовольно сияющий, сентиментально голубой. Возле машины на асфальт брошен объемистый мешок, резиновые сапоги, разобранные бамбуковые удочки со спиннинговыми катушками. Хозяин самодовольно-сентиментального «Запорожца», вещмешка, сапог, удочек, долговязый мужчина в выгоревшем до рыжины берете и теплой — не по жаре — старой кожанке, выбирал из связки ключи, чтоб отпереть машину.

Его полное лицо было размякшим, в крупных руках нетерпение — рыбак, собирающийся на рыбалку, переживающий счастливую минуту, впереди у него свобода, впереди время, отданное страсти. Он не может быть сейчас не отзвучив.

Я остановился. Мне, отчаявшемуся, захотелось погреться у чужого счастья.

Неужели у меня все кончено? Все? Бесповоротно?..

Хозяин «Запорожца» раскрыл багажник и стал в него втискивать вещмешок, сапоги; лицо его, изрытое морщинами, выражало сейчас озабоченность священнодействия.

Кончено? Из-за чего! Нелепость же!.. Кому рассказать, разведут руками: экая ерунда!.. Во мне, кажется, начало прорезаться сомнение: а кончено ли?..

Удочки в багажник не влезали.

— Не габаритны. Тесна коробочка,— сказал хозяин без огорчения.

Я с завистью его спросил:

— Далеко?

Он уловил мою зависть, наверняка возгордился про себя своим нехитрым счастьем, может быть, даже в душе пожалел меня.

— Один день отгула — далеко не сорвешься. На Михайловские пруды выскочу, километров сорок отсюда. Утром вернусь.

— А в отпуск куда вы, москвичи, ездите?

— Для меня святое место — Валдай, деревня Нелюшка, восьмое чудо света, стоит сразу на трех озерах. Слышали такое?..

И у меня все внутри напряглось, как перед прыжком вниз с высокой крыши. Деревня, стоящая сразу на трех озерах. Действительно.

— А поездом туда можно? — спросил я.

— С Ленинградского вокзала... Триста с лишним километров, вот и считайте, сколько проедете.

Но захочет ли она разговаривать со мной? Согласится ли?..

А нужно ли мне теперь спрашивать ее согласия?

— Спасибо тебе, друг,— сказал я проникновенно и торопливо отошел.

Хозяин «Запорожца» кинул мне в спину озадаченно:

— Пожалуйста.

Я вдруг увидел, что небо над крышами домов засасывающе синее, что день яростный, что даже здесь, в городе, среди асфальтовых мостовых, деревья обильно зелены,

Все кончено!.. Ну нет, погоди! В охапку возьму, вынесу — в деревню Нелюшку, на Валдай! На трех озерах стоит деревня, возможно ли такое?.. Никаких возражений! Силой!.. На руках! Да знаешь ли ты, что значит при свете костра в ночи глядеть друг другу в зрачки? Далеко люди — ты, я и огонь, никого боле! Не с первобытного ли костра в ночи родилось то, что впоследствии получило название — любовь к ближнему. Ты, я и огонь в темном мире — как не чувствовать себя едиными!..

Из-за угла вынырнуло такси, я вскинул руку.

— На Ленинградский вокзал. Побейстрее, если можно.

Через три часа я, потный, растерзанный, ввалился, сгибаясь под грузом раздутого новенького вещмешка. Сбросил его у порога, не снимая шляпы, шагнул в комнату. Я больше всего боялся, что не застаю ее — ушла одна толкаться по Москве назло мне и себе, лишь бы выдержать характер.

Нет, никуда не ушла, сидела сиротливо на неприбранной кровати, поджав под себя ноги в нейлоновых чулках, туфельки стояли на полу. И по-прежнему разглядывали ее, издевательски гримасничая, крашенные рожи со стены. А лицо ее сейчас было просто замученно-бледным. Да была ли она безобразна, кричала ли, задыхалась от ненависти? Не верится! Жаль ее, хоть плачь.

— Собирайся!

— Куда? — слабым голосом, с потухшей строптивостью.

— На поезд.

— Но...

— Быстро шевелись! Чемоданы с тряпками останутся здесь, на обратном пути заберем. Эти туфли — к черту! Наденешь кеды, купил тебе и себе... Влезай в джинсы, захвати с собой свитер. Возьмем здесь две простыни и два одеяла — вернем!

— Но...

— Никаких «но»! Поворачивайся! Такси ждет у подъезда. Времени до отхода поезда в обрез!

Уже одетая и обутая мною по-дорожному, она, выходя, удивилась объемистому рюкзаку, который я взваливал себе на спину:

— А это что?

— Консервы.

— Какие консервы?

— Обычные: свиная тушенка с фасолью, щи...

— Зачем?

- В Нелюшке навряд ли есть магазины и столовые.
- В Нелюшке?.. В какой Нелюшке?
- В той самой, что стоит на трех озерах!

4

Нелюшка — земля обетованная! К ней, к ней, только к ней! Душный набитый вагон поезда, полдня в тихом Валдае. Обычный районный городишко — низенькие тесовые, шиферные, железные крыши, среди них выдаются учрежденческие здания в несколько этажей, — но нельзя отделаться от ощущения, что он, тихий Валдай, стоит на самом краю земли. С одной стороны за домами навалилась необъятная пустота, кажется, там только небо, и ничего больше, стоит выйти за город, и упрешься в его непостижимую твердь. Нет, до неба далеко, однако земля и в самом деле здесь кончается — начинается озеро, синее, под небесный цвет. Первое из валдайских озер, которое мы видим.

Полдня в Валдае ушло на разговоры с шоферами грузовиков.

— Закинь нас, браток, в Нелюшку.

— Не попутно, парень.

— Уж как-нибудь, а мы сговоримся, в обиде не останешься.

Почесывание в затылке, вздох.

— Не-ет. Далеконько от шоссе, чуть дождик брызнет — вам что, мешки на спину и пошли, а мне куковать среди дороги. Может, поближе куда?..

К ней, к ней, только к Нелюшке! Ничто другое меня не устраивало.

Наконец один из шоферов дал себя уломать — Майя в кабине, я в кузове, в компании с многопудовой бочкой живицы, которая при первых же ухабах проявила зловещую агрессивность, старалась всей тяжестью придавить меня к борту, сокрушить ребра.

Дорога, как только свернули с шоссе, пошла по берегу озера. На закате проехали мимо старинного монастыря. Он стоял на острове, стены и купола подымались из вечерней покойной воды, отражались в ней — красив и недоступен!

Мы въезжаем в былинное прошлое, а лишь сутки назад осатанело топтали кипучий асфальт, пробивались сквозь нескончаемо бегущую толпу прохожих, мотались

на такси по угарным, стадно ревущим, машинным улицам: тупые скаты чудовищных размеров, нависшие — рожи монстров — радиаторы, угрожающе устремленные стрелы самоходных кранов, моторизированные лавинные атаки через перекрестки по бесшумному знаку светофора... Мы сделали крутой вираж во времени и покинули напористый двадцатый век — застойный закат и дремотные купола, вот-вот поплывет по гладкому озеру малиновый звон. Стой! Хватит! Здесь хорошо и покойно. Так можно укатить в первобытность, в глухое и неказистое младенчество человечества! Но расхлябанный грузовик тащит нас, не желает останавливаться — мимо заката, мимо обмерших куполов. И прижатая к борту бочка с тяжелой живицей вырывается. Некогда любоваться былинностью, надо воевать. Я охочусь за бочкой, бочка — за мной...

Утомительная одиссея окончилась ночью в громадной мрачной избе некой тети Паши, заспанной и встретившей нас без особого воодушевления:

— Недельку поживите, а там ищите другую фатеру. У меня, ребятушки, постоянные квартиранты, кажное лето из Москвы наезжают. Вот-вот прикатят.

— Нам бы лодку достать, на озере жить будем.

— Лодку можно...

На следующее утро мы разглядывали Нелюшку.

Лениво, но упрямо поднимающиеся вверх поля вместе с разбитой дорогой (по которой мы и добрались сюда) неожиданно заканчиваются могучим, безбожно измятым холмом. За его крутым горбом вольно расселись избы с просевшими крышами. Маленькими оконцами они глядят в темную воду вытянутого, но неширокого озера. Оно так и называется Нелюшкинским, уходит недалеко за пределы деревни и упирается... в другое озеро, уже куда более обширное, заливающее кустарниковые и мелколесные пустоши. Два озера разделяет лишь крутой вал, шириной шагов десять, от силы пятнадцать; жесткая травка на нем, лобастые валуны, искривленный можжевельник. А стоит пройти в противоположную сторону, взойти на взлобок, и за последним домом, за черной банькой, утонувшей в крапиве, стремительный склон, по нему ныряющая веселая тропинка к воде. И дали, дали, притуманенные лесистые берега, темные глубины и просвечивающие кое-где рыжие песчаные отмели — просторные мир воды и неба, дух захватывает! Нелюшка — восьмое чудо света, воистину!

Майя долго вглядывалась, жадно и вдохновенно, ветерок шевелил ее упрямые волосы. Она с силой выдохнула:

— Хочу во-он туда! — И вскинула руку к далекому дымчатому берегу, и в голосе ее появились знакомые мне повелительные нотки.

— Поплывем туда, где больше всего рыбы, — возразил я.

Она промолчала, почтительно и виновато — диктую я, ей надлежит повиноваться.

— Пошли в деревню, надо договориться о лодке.

И вот мы плывем по озеру, клацают и скрипят расхлябанные уключины. Лодка старая, протекает, Майя время от времени вычерпывает ржавым солдатским котелком воду. Рядом с ней на корме и наш вещмешок. Когда я его вносил в лодку, Майя удивилась:

— А зачем его брать?

— Мы не возвратимся в деревню ни сегодня, ни завтра, скорей всего и через неделю тоже...

— Но где же мы будем жить?

— Под открытым небом, точнее адреса сказать не могу. Сам не знаю.

Посреди залива, длинного, как река, стиснутого с одной стороны крутым травянистым берегом, а с другой — могучим тенистым ивняком, я бросил весла и достал нейлоновую леску с блесной, за отсутствием специального станочка намотанную на обломок штакетника, протянул Майе, кратко объяснил:

— Это дорожка. Когда лодка тронется, не спеша распускай.

— А потом что?

— Потом сиди и жди, начнет дергать — выбирай. Задача не хитрая.

Я взялся за весла, она с усердием принялась разматывать.

— Ой, как красиво блестит в воде железка!

Мое детство прошло на маленькой нутристой речке Пыжма, каждый парнишка в нашей деревне — рыбак, ловили не только ради ребячьей забавы, ельцы и окуньки в голодные годы, право, выручали, как-никак на стол ставились не пустые щи из крапивы и щавеля, а жидкая ушица. Однако рыбаком я как был, так и остался по-ребячьи не просвещенным, до сих пор не знаю городских ухищрений, впервые в жизни пользуюсь леской из синтетики, а не скрученной из конского хвоста — сплошные узлы! — не умею обращаться со спиннингом, зато веревочный перемет

и дорожка привычны, и «клевое место» от «пустоводья» я учую нутром.

Я не спеша греб, стараясь обходить заросшие водорослями отмели, но и не удаляясь от них, проходя по тому рубежу, где рыщет рыба. Клацали уключины, налетал ветерок, рябил воду и почему-то нес с берега запахи свежего сена, хотя сенокосы давно уже кончились. И суетилась в кустах, пересвистывалась птичья мелочь. Майя неожиданно запела тоненьким голоском, счастливо жмурясь на солнышко:

Я помню время-а золотое...

Свистеть и петть на рыбалке — непростительное легкомыслие, по рыбацкой примете — верная неудача. И я сурово прикрикнул на Майю:

— Эй-эй! Рыба песен не терпит!

— Фи! — с сердитой гримаской. — Дышать не даешь в последние дни! — Но сразу же споткнулась, уставилась на меня круглыми, влажно-смородиновыми глазами. — Что-то дернуло... — шепотом.

Я сделал пару гребков.

— А теперь?

— Теперь ничего...

— Наверное, за траву зацепилось.

— Вот опять потянуло...

— Сматывай! — приказал я. — Раз блесна схватила траву, таскать ее с бородой смысла нет.

Она, мурлыкая «Я помню, помню время золотое...», принялась наматывать леску на шпакетину. Я греб и дышал полной грудью, с наслаждением озирался: плоты кувшиночных листьев, черные зеркальца свободной воды в них, горячие звездочки цветов, старые ивы, полощущие свои ветви, — затягивающая душу полуденная дрема. Ничего не было! Не видел чужого лица Майи, не слышал ее чужого голоса.

— «Я помню, помню время-а». — Чуть слышное мурлыканье и сдавленный ужасом выкрик: — Ой! Там что-то есть!

Я бросил весла и ринулся к корме.

Щуренок, черный, с зеленым отливом и золотым выкаченным глазом. По старой привычке я сломал ему загривок и почувствовал на себе взгляд Майи — в расплывшихся зрачках неприязнь, безразлично замороженные губы.

— Что смотришь? Зверь?..

Она поежилась и не ответила. Я рассмеялся.

— Охотник, Майка. А это добыча...

— А без жестокости нельзя?

— Лучше, по-твоему, чтоб щуренок умирал, медленно задыхаясь? Или не лови, или уж согласишься на охотничью жестокость.

— Жестокость... — повторила она и поежилась.

— Может, не станем рыбалить? А?

Отвела от меня взгляд, взяла в руки щуренка, провела пальцами по темной скользкой спине.

— Бедненький...

Я знал ее характер — девичья жалостливость не помещает страсти. А рыбацкая страсть нешуточна.

Щука мечет икру ранней весной, в пору ледоходов. Но в течение лета на нее полосами находит прожорливость — становится беспокойной, неутомимо мечется в поисках жертвы, жадно хватает наживу, садится на крючки. Полоса прожорливости проходит, и щука становится бездеятельно-ленивой, опускается на глубину, на блесну тогда чаще цепляются окуни. Мы счастливо попали на «щучий жор».

Если нам удавалось провести блесну, не зацепив за траву, то почти всегда жилка вздрагивала и натягивалась, я кидался на помощь Майе, начиналась самозабвенная борьба с сильной, жаждущей свободы рыбой. Тупые толчки из глубины, обмирает и срывается в галоп сердце, едкий пот заливает глаза. У меня не было подсачника, а потому нужна особая сноровка, чтоб перекинуть увесистую щуку через борт, чуть замешкайся, и она нырнет под лодочное дно — прощайся, уйдет. Должно быть, от своих пращуров-древлян, лесных и речных добытчиков, я унаследовал охотничье чутье, помогавшее бессознательно угадывать, какую рыбу вырвать с ходу, какую следует «выгулять». Одним я не давал даже всплеснуть, метр за метром гнал лесу, выхватывал из воды, и эти жертвы, вытянутые, глянцеватые, сохраняющие и в полете свою щучью стремительность, приходили в себя только на дне лодки, начинали неистово метаться, обдавая нас брызгами. Мы с Майей кидались умирать, стучались головами, мешали друг другу, а лодка рискованно — вот-вот черпанет! — раскачивалась посреди озера. Других же, строптивых, я подводил не сразу, то отпускал, то подтягивал, снова давал жалкую свободу — изматывал — и лишь после этого решительно тянул к борту.

Уже с третьей удачи Майя наловчилась схватывать добычу быстрее меня — мои руки были еще заняты леской, — вцеплялась крашеными ногтями в щучий загривок, стара-

лась сломать хребет, и на лице ее появлялось выражение остро-стремительное, хищное, как у ласки.

Пять щук, считая первенца, щуренка-недоростка, — все озерно-темные, глухо-крапчатые! Одну я особенно долго вываживал, все не осмеливался перевалить через борт — не столько длинная, сколько массивная, и едва ли не треть всего плотного тела состояла из чудовищной головы, сплошные челюсти с застывшими глазами. Желтая злоба таилась в глазах даже тогда, когда щука уже уснула. Могучий ее загрюк заломать не смог и я.

5

Сосновый лес сбегал с откоса и недоуменно останавливался перед нешироким выглаженным пляжем. Почему-то никто из туристов-дикарей (а их немало плавало по озеру) не облюбовал это место, мы впервые проложили следы босых ног по слежавшемуся песку.

Я соорудил шалаш, не слишком просторный, но добротный, щедро, во много слоев укрытый лапником, — от ливня, может, и не спасет, но обычный дождь в нем не страшен. Пол шалаша я тоже выстлал лапником, а сверху набросал мох, собранный с мест, где рос толоконник — растение, обманчиво похожее на бруснику. Там, где оно растет, мох не влажен и не ломок, шелковист. Узкий лаз вместо двери вел в берложий мрак.

— Вот наш дом!

Майя восторженно его оценила:

— Вилла!

Я собрал все старые газеты, какие нашлись у нас в вещмешке, обернул выпотрошенных щук, намочил в озере и закопал в горячие угли костра. Немногие знают об этом кулипарном приеме. Мясо такой запеченной рыбы сочно и нежно, хранит все речные запахи.

Так оно и получилось: у запеченных мною щук главным образом преобладал озерно-пресный аромат — я забыл подсолить рыбу. Пришлось присаливать по ходу дела, ели руками, потому что ни ложек, ни вилок у нас, увы, не оказалось, был только большой складной охотничий нож, предусмотрительно купленный мною в Москве. Но он слишком страшен на вид, чтоб пользоваться для еды — зарежешься.

— В жизни ничего вкуснее не ела...

Все-таки нетрудно заслужить Майкину благодарность.

Мы покончили с рыбой, я подбросил дров в костер, а тем временем наступила ночь.

Вот оно... Где-то рядом, в другом запредельном мире стоял лес, где-то в озере всплескивала разгулявшаяся рыба, где-то далеко, на том берегу, надсадно кричал коростель. У Майки освещенное костром лицо накаленно бронзово и неестественно громадные глаза на нем. В них, как выплеснутая луна в застывших омутах, два шевелящихся огонька.

Отрывочные слова, которые мы роняли, не связывались во фразы. Нет, скупы на слова не от лени, просто каждый звук был и так переполнен сокровенным смыслом.

— Казню себя... — тихо произнесла она.

— За что?

— За вздорность.

— Хм!..

— Накажи меня...

— Нет нужды...

— Казнишь же сама...

— Разве?..

— И то верно — сама себя раба бьет...

И пауза, заполненная хвойным лесным шумом и плеском рыбы с озера, длинная пауза, говорящая больше, чем выстраданная исповедь. И покаянность, и всепрощение в минутах молчания.

— Смотри, Луна!

— Да, Луна...

Луна — единственная из внешнего мира, осмеливающаяся заглянуть к нам. И она сразу же стала частью нас. Ни я, ни Майка не упоминаем больше о ней, но думаем об одном — о другом лунном вечере. Луна тогда вела себя странно. Луна объединила нас. Верный друг, навестивший сейчас.

Не отрывая разверстых на огонь глаз, покойных и безумных одновременно, Майка качнула волосами.

— Не хочу...

— Чего?

— Рассвета.

— Будешь рада ему.

— Без конца так сидеть, стать каменной бабой.

— Мне придется стать каменным истуканом.

Она встряхнулась, спугнув с лица пляшущие тени, и засмеялась.

— Ты прав, пусть наступит рассвет!

— До него еще далеко, мы успеем выспаться.

— Пошли помоем руки, они липкие — в рыбе и саже.

Мы поднялись и шагнули от костра в плотную стену ночи. Шагнули, прорвали границу тесного мира, и все кругом преобразилось. Новый мир, окружавший нас, не имел ни верха, ни низа. Над нашими головами висело бездонное небо, у наших ног лежало бездонное озеро. Мощный свет луны торжествовал над всем, он светил нам в спину, и на воде не было видно его отражения. Но озеро, пугающе черное, беспроглядное, все до краев заполнено луной. Она остро поблескивает на стыке берега с водой, она рассыпалась бесшумными искрами, играющими на середине. Озеро играло, а небо величаво молчало. Песок, та твердь, на которой мы стояли, был смутно-дымчатого цвета, такими должны казаться ночные облака ангелам под их ногами. А позади волновался покинутый костер, просто костер, уже не центр мироздания. И мрачная, глухая, монолитная, вздыбившаяся до самой луны зубчатая стена леса.

Робея перед величием, мы подошли к самой воде. Майя присела на корточки, запустила руки в воду и тихо ахнула:

— Теп-лая!

Упруго разогнулась, обернулась ко мне — окруженное мраком волос лицо, прохладно-светлое, соперничающее с Луной.

— Хочу выкупаться!

И потянула через голову платье, стала отчаянно бороться с ним...

Она входила в воду робко — шаг, и застывала, собираясь с духом перед шагом грядущим. Бездонность раскинувшегося озера перед ней. А я стоял затаив дыхание, любовался. Луна сверху обливала ее, теперь только ее одну, весь остальной мир сразу потух перед ней, погрузился в непроглядность. Узкая, яркая, струящаяся вниз, от вздернутых острых плеч к ногам, — вся, вся из зыбкого света, несмело льющегося перед опрокинутой, обморочной вселенной! Пронзительно беззащитная и владычествующая — Афродита могла родиться только из воды!

Обрывая пуговицы, я рванул с себя рубаху...

Черная устрашающая вода была матерински ласковой, Мы плавали рядом, нешумно плескались, время от времени задевая друг друга то рукой, то ногой. Майя смеялась тихо и судорожно. Ее серебряный нервический смех уносился вверх и тонул под Луной. И долго мы не осмеливались вылезти из нежных, греющих объятий воды.

Зато на берегу воздух был жестко колюч, подхлестывал,

заставлял выкидывать коленца возле разбросанной одежды. Майка топтала под Луной свою тень — ослепительно бледная, скользкая, дикарски неистовая и дикарски откровенная, первобытно не тронутая стыдом Ева. Я сгреб свою и ее одежду, сунул ей в руки.

Рывком обхватил, поднял на руки. В упор уставились ее безумные глаза. Сквозь мокрую прохладную кожу сочились в меня глубинное тепло ее тела.

Прогоревший костер проводил нас в темноте укоризненно багровым оком.

Безумные глаза вплотную у моих зрачков.

А утром мы проснулись, накрытые широкой тенью леса, озеро было невинно розовым и дымилось. Усердный коростель кричал на том берегу.

6

Утром мы радовались утру — длинным теням на прохладном песке, листве кустов, отягощенных росой, даже такой малости, как трясогузка, беззаботным аллюрцем гоняющая у самой воды: «Эй, здравствуй, живая душа!» Трясогузка нас знать не хочет, трусит себе, трясет отточенным хвостом, никакого внимания, а вот на прибрежном мелководье паника — хлопанье, плеск. Утки! Срываются и летят тяжело, низко, низко, задевая крыльями гладь озера.

Днем мы продолжали радоваться тому, что давал день: скрипящим уключинам, вздрогнувшей леске, золотому окуно, вырванному из темной воды вместе с радугой.

У Майи особый дар радоваться — без восклицаний, без умилений, с благодарной немотой, только глаза углубленно темнеют и лицо непроходяще светоносно, да в губах этакая кроткая повинность. Кажется, ничего ей больше не надо, всем довольна, всего хватает, дышит счастьем, но... жадна до нового — хочу!..

Наткнулись на заводь, заросшую белыми лилиями. Майя, перегнувшись через борт, долго висела над первым цветком, потом разогнулась и потребовала:

— Хочу здесь почевать!

И хотя место для ночевки было не очень-то удобное — сырое, комариное, — мы остались. Она целый день ходила увешанная лилиями, била на себе комаров, ничего не делала, негромко распевала «Я помню время, время золотое...». Тихо счастлива.

Я исподтишка любовался Майей и удивлялся той незримой зависимости, в которой нахожусь от этой девчонки:

не смогу улыбаться, если не будет улыбки на ее лице, не смогу не страдать, видя слезы на ее глазах, не представляю себе жизни без нее, она и есть, наверное, тот высокий, божественный смысл, который люди искали почему-то на небе,— рожден для нее. Назовите это рабством. Нет! Скорей нелегкая свобода, продиктованная необходимостью. Необходима — и все тут!

В очередной раз мы пристали к берегу, чтоб разжечь костер, сварить свою неизменную уху, и наткнулись па мужчину в майке с незагоревшими городскими телесами, худенькую женщину в пестром сарафанчике. Они молитвенно стояли на коленях, голова к голове, раздували костер, который не занимался. Займись он, дай дымок, мы бы проехали мимо, считая этот кусок берега уже колонизированным.

Состоялось знакомство: москвичи, муж и жена, Андрей Петрович и Любовь Казимировна. Он — ученый-медик, не лечащий, а что-то исследующий, она — врач, педиатр. Никакой лодки у них не было, даже надувной, зато за кустами стояли утомленно-пыльные «Жигули». Они свернули подальше с шоссе, чтоб переночевать на берегу. Едут же они, как выразился Андрей Петрович: «Из Москвы в Питер через Бердичев». То есть с заездами куда глаза глядят. Сейчас их занесло на пустынный берег Валдайского озера, быть может, завернут в Старую Руссу, а вообще свой отпуск они собираются провести под Ленинградом, у родственников в Комарове.

Мы с Майей переглянулись.

— Покажем этим бледнолицым, чего мы, здешние старикилы, стоим?

— Покажем.

— У нас в лодке полдюжины окуней и две приличные щуки. Не найдется ли у вас, чем их смочить?

— Найдется,— обрадованно объявил ученый-медик с незагоревшими плечами.

— Тогда задаем бал!

И я занялся костром.

Через час готовая уха в закопченном котелке стояла на траве, в костре доходили до нужной кондиции щуки в «Литературной газете», Майя с Любовью Казимировной сервировали раскинутую простыню. Андрей Петрович делал нетерпеливые круги, торжественно держа за горлышко бутылку коньяка.

Звякнули сдвинутые стаканы и эмалированные кружки.

— За ваше здоровье!

— За ваше!..

И потек разговор, как капризный ручей, с загибами, с застоными заводами, с быстрыми перекатами вспыхивающего смеха, вскипающего спора, но упрямо к одной просторной, как растекшаяся перед нами гладь воды, теме. О чем могут говорить русские интеллигенты после стопки спиртного на берегу необжитого озера, под буйным закатом, когда над сумеречными лесами полыхают нагроможденные друг на друга облака и над черной водой назревает серая пелена тумана? Не о радости бытия, не «остановись, мгновенье», о том, о чем говорят в городе и за семейным столом с загостившимися знакомыми, — о человеческом несовершенстве, начиная с Адама. И, уж конечно, тут каждый — судия и мессия.

Андрей Петрович воркующим баритоном убеждал меня через котелок, опорожненный от ухи:

— Меняется оснащение жизни, а отнюдь не сама жизнь. Люди и сотни, и тысячи лет назад так же, как мы сейчас, страдали от подлости, так же любили и ненавидели, не сильнее, не слабее, не иным макаром!

— Неправда! — резко возразила вдруг Майя.

Андрей Петрович ухмыльнулся со всепрощающим снисхождением к неумудренной юности.

— Вы уверены?

— Я знаю.

— Вам кто-то нашептал из прошлого?..

— Сказали вслух.

— Какая-нибудь старушка, божий одуванчик: мы, мол, в наши времена любили иначе. Не верьте — любили так же.

— А если Сумароков из восемнадцатого века сказал, вас это больше устроит?

— Гм... — Андрей Петрович, должно быть, имел весьма смутное представление, кто такой Сумароков.

— Вы не знаете его стихотворения «Тщетно я скрываю сердца скорби люты»? Любовное! Я напому концовку:

Знаю, что всеместно пленна мысль тобою,
Вображает мне твой милый зрак;
Знаю, что вспаленной страстию презлою,
Мне забыть тебя нельзя никак.

Вот так любили в восемнадцатом веке. А теперь вспомните пушкинское:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Чувствуете, голос иного существа, куда более духовно совершенного. Можно в Пушкине представить такие наивные чувства: «...вспаленной страстию презлою»? Не знаю, сильнее ли он любит, но тоньше, глубже, сложнее, совсем иначе, не так, как любили до него. И ненавидел он уже по-иному, и страдал тоже...

Майя приподнялась над измятой обеденной простыней, скулы ее зардели, брови сдвинулись, в голосе появилась уже знакомая мне упругость. И я невольно почувствовал гордость за нее. Наши новые знакомые переглянулись, лицо Любови Казимировны стало почтительно-серьезным. Андрей же Петрович отвел глаза под опаляющим взглядом Майи, решился неуверенно возразить:

— Но это Пушкин... Так сказать, исключительного человека взяли для примера.

Да, после Пушкина уже нельзя стало любить по-старому! Только какой-нибудь приказчик мог признаваться в любви по-сумароковски: мол, я воспален страстию презлою... Для любого и каждого такая любовь казалась смехотворной. А в остальном?.. Можно ли представить, что в восемнадцатом веке кто-то стал бы страдать за Акакия Акакиевича? Забит, непригляден, самая высокая его мечта: «А не поставить ли куницу на воротник!» Потешным казался бы, а в девятнадцатом веке... Достоевский сказал: «Все мы выросли из гоголевской «Шинели». То есть жалкий Акакий Акакиевич знаменем стал. Со времени Сумарокова до смерти Пушкина оснащение жизни не так уж и сильно изменилось — как ездили на телегах, так и продолжали ездить, паровозы появились позднее, как был крепостной строй, так и остался, а вот духовная жизнь перевернулась, иначе любить стали, иначе страдать, иное ненавидеть!..

Чадил костер в стороне, от него истекал во влажный вечерний воздух аромат запекшихся щук, но никто о них и не вспоминал, все глядели на Майю, стоящую коленями на траве, с гордо вскинутой взлохмаченной головой на тонкой шее.

Андрей Петрович сокрушенно крикнул, произнес:

— А Пушкин-то вроде Иисуса Христа у вас получается.

— Да! Да! — страстно согласилась Майя. — Считают,

великий поэт, и только-то. «Я помню чудное мгновенье...» написал, ах, как красиво! А забывают, что красота — это сила, более могучая, чем оружие. Ни Александры Македонские, ни Наполеоны мир сильно не изменили, а вот создатели Евангелия и Пушкин — да! Вы, конечно, сейчас скажете: изменили, да плоховато, до сих пор жалуемся. Ну, а если бы Пушкиных не было — бр-р-р! — ходили бы, наверное, по земле волосатые обезьяны.

Андрей Петрович поскреб в затылке.

— М-да-а... А стыдно признаться, я Пушкина-то только в школе читал.

— Послушайте, — голос Майи дрогнул. — Отсюда же недалеко до Михайловского... Что вам стоит, у вас же машина... И нас с собой возьмите.

Любовь Казимировна повернулась к мужу.

— Андрюша, откликнись! — Тонот приказа.

Андрей Петрович взял бутылку, посмотрел в нее на закат.

— А рыбка-то там у нас не сгорела?

Я кинулся к костру. Остатки коньяка были уже разлиты по кружкам, когда я вернулся с горячей рыбой.

Андрей Петрович поднял свою кружку:

— На посошок... в Михайловское!..

Выпил, крикнул, объявил:

— А все-таки, уважаемая Майя Ивановна, все-таки у вас упрощенный взгляд на историю...

Ночью я отогнал нашу лодку в Нелюшку.

7

Он был грузный, рыхлый, с красным добродушным лицом, золотящимися, едва намеченными бровями и жесткими соломенными ресницами. Ему под пятьдесят, имеет звание доктора наук, заведует исследовательской лабораторией, экспериментирует, публикует статьи.

— Весьма скучные, — вставила Любовь Казимировна.

И он не возразил, только ухмыльнулся. Мечта его жизни — разобраться в одной таинственной болезни, которая не так уж и часто случается, но еще ни один человек на свете, заболевший ею, не выздоровел. Ни один! Недавно от нее умер академик Тамм.

Она маленькая, худенькая; растрепанно чернявая, как

вороненок, очень некрасивая, если бы не выразительная подвижность ее лица, поминутно изменчивые, умные, обжигающие глаза.

Любовь Казимировна — дочь известного в свое время физиолога, одного из учеников великого Павлова, в сороковые годы заклеянного как противник павловского учения. Отец ее умер от инфаркта, а она стала тем незаметным и незаменимым врачом, который днем пропускает через себя длинные очереди больных детей, а ночами срывается на срочные вызовы.

— Учите, Павлуша, — обращалась она ко мне, — моя профессия становится редкой. Нынче все медики или учат, или учатся, лечить некому.

И с лукавой искрой косилась на своего ученого мужа.

Минутно острая на язычок, Любовь Казимировна могла молчать часами, оставаться в нашей маленькой компании незаметной. Не в пример Андрею Петровичу, не перечитывавшему со школьной скамьи Пушкина, она даже переводила стихи Гейне с немецкого. Но прочитать нам свои переводы не согласилась.

— У профессионалов с Гейне не получается. А уж у меня и вовсе...

Я замечал, что при дорожных знакомствах люди раскрываются друг перед другом куда охотнее и откровеннее, чем перед старыми, испытанными временем знакомыми. Излить сокровенное случайному попутчику уже потому легче, что можно не опасаться никаких последствий — исчезнет с концом дороги из твоей жизни попутчик, увезет твое сокровенное, не расскажет недоброжелателям, превратно не переосмыслит, дурно не использует, а посочувствовать — да, может! А сочувствие-то не чему-нибудь — сокровенному, оно драгоценно.

Новые знакомые узнали, что мы с Майей только-только поженились, это наше свадебное путешествие. И тогда они поведали нам о себе. Несложную, заурядную историю запоздало исправленной ошибки.

Он был аспирантом ее отца, часто бывал в их доме, и тринадцатилетняя девочка при встрече церемонно называла его «дядя Андрюша». Жизнь разнесла их, у него появилась семья, она тоже вышла замуж. У него выросли дети, у нее детей не было. Встретились снова совершенно случайно через восемнадцать лет! И каждый удивился: она тому, что он хорошо помнит ее, он ей — помнит его. Оба в отдалении друг от друга жили в меру спокойно и в меру благополучно, знали семейные заботы и семейные радости,

работали, даже преуспевали. Но прежнее рухнуло, размеренный покой сменился тревогой, устойчивое благополучие — неустроенностью, простенькие повседневные заботы — неразрешимыми осложнениями. Ему тогда давно перевалило за сорок, ей за тридцать, а они назначали друг другу свидания: «У входа в метро «Парк культуры». И он со своим солидным брюшком, с солидной профессорской физиономией ждал ее с юношеским нетерпением. И неприкаянное сиротство: куда спрятаться от людей, как побыть вместе? И самое неприятное — каждый из них дома был вынужден лгать. Долго терпеть эту унижительную ложь было нельзя, они объявили во всеуслышание. Их осуждали, их презирали, их ненавидели, а они любили друг друга и сами себя тоже осуждали, презирали, порой ненавидели тоже.

Недавно они сошлись, сейчас, как у меня с Майей, у них был медовый месяц, свадебное путешествие. Еще приобретенные в уравновешенной жизни «Жигули» — теперь единственное их имущество и единственное прибежище, даже квартиры нет своей. Вернутся в Москву и будут жить у приятелей, уехавших на год за границу, вновь столкнутся: он — с претензиями бывшей жены, она — с мстительной обидой бывшего мужа.

И все-таки они сейчас радовались — непреодолимое пройдено, они уже вместе, а будущие неприятности не столь страшны по сравнению с тем, что осталось позади. Они нам завидовали, он сдержанно, она восторженно, но оба искренне.

— У вас обычное человеческое счастье, дорожите им. Вовремя увидели друг друга, ни препятствий, ни ошибок, ни провалов. А уж какая это чума — осуждение со стороны, — вы, слава богу, и представить не сможете. Ровной скатертью путь, его можно оценить, когда увязнешь в ямах...

А Майя украдкой косилась на меня теплым глазом.

Дорога длинная, эта история заняла лишь крохотную ее часть. Нам ее доверили, и мы уже к ней больше не возвращались.

Заполнял наш дорожный досуг Пушкин. Даже не столько его стихи, сколько он сам. Я поражался — знаю Майю вот уже несколько лет, но только теперь вдруг открылась мне. Да и сейчас далеко не все ведомо, что в ней лежит. Майя пока выдавала только Пушкина... Она даже внешне изменилась — лицом стала старше, во взгляде убежденная смелость, а меж густых бровей напряженная

складочка, еще не успевшая стать умудренной морщинкой. И все тот же, поражающий меня, упруго звучный голос.

Наши новые знакомые взирали на нее едва ли не с робкой почтительностью — несведущие ученики на наставника, вещающего откровения. А то, что говорила Майя, и в самом деле было откровением. Полное впечатление, что она лично знала погибшего более века тому назад поэта, знала всех его родственников, друзей и даже его самые сокровенные мысли.

И Михайловское ожило для нас еще до того, как мы увидели его своими глазами.

8

Ровно сто пятьдесят лет тому назад, 9 августа 1824 года, в коляске, собравшей пыль российских дорог юга и севера, он въехал сюда, в родовое поместье Ганнибалов «с калиткой ветхою, обрушенным забором». Строго было наказано: «Нигде не останавливаться в пути!» И коллежский секретарь, вычеркнутый по приказу императора из списка чиновников министерства иностранных дел, вынужден был спешить в свою ссылку. Почти две тысячи верст осилили за десять дней, значит, лошадей гнали по пятнадцати, ежели не более верст в час. Скорость для того времени предельная.

За спиной осталась солнечная беспокойная Одесса с ее морем и Хаджибейской бухтой, с кутежами на кораблях, приплывших из дальних краев, с экзотическими личностями, вроде мавра Али, «корсара в отставке», в шитой золотом куртке, обвешанного оружием. Остались пронизательные, любящие поэзию друзья, обаятельные, тонко чувствующие женщины. И театр, где в последний — перед отъездом — вечер давали Россини, оперетту-буфф «Турок в Италии».

И вот глухая псковская деревня: сумрачный сырой бор, тощие пашни, кособокие стожки, свинцовая вода озера Маленца, три сосны на холме — граница владений Ганнибалов. «Все мрачную тоску на душу мне наводит...»

Так же лениво течет в зеленых берегах темная речка, все так же стоят кособокие стожки и тенистый михайловский бор по-прежнему окружает усадьбу, правда, уже музеем обихоженную, не с ветхой калиткой, не с обрушенным забором.

Но безвозвратно уничтожена самая характерная особенность этого уголка старой России — захолустная тишина, окружавшая опального гения. «Незарастающая народная тропа» к этому памятнику превратилась в широкую триумфальную дорогу, пропускающую паломников не только «всей Руси великой», но и всего земного шара. Автобус за автобусом, вереницы легковых машин, мотоциклы, велосипеды, стадные экскурсии и неорганизованные дикари-одиночки, поджарые дамы в брючных костюмах, темных очках, широкополых шляпах и патлатые девицы в заношенных шортах и со сбитыми коленками, бритые молодящиеся старики с походкой вприпрыжку и дремуче бородатые юнцы с выгоревшими рюкзаками на плечах, слоняющиеся вразвалочку, азиаты в радужных халатах и негры подчеркнуто европейского вида, туристская деловитая озабоченность — как бы чего не пропустить! — и восторженная экзальтированность, натужная внимательность добродетельного обывателя и отрешенная замкнутость тех, кто еще не теряет надежды без суеты «подышать пушкинским воздухом». И русская речь перемешана со всеми языками мира. И полупраздничная атмосфера массового гуляния. Век девятнадцатый погребен под веком двадцатым, трудно докопаться до былого.

Вот аллея Керн, попробуй сосредоточиться, едвастроишься, едва вызовешь в себе: «Я помню чудное мгновение...» — громкий, трезвый голос экскурсовода за твоей спиной начинает кому-то вещать:

— Впервые Пушкин встретился с Анной Петровной Керн еще в 1819 году у Олениных...

Но мы были терпеливы, дождались вечера. С рычанием беря крутизну тригорской дороги, ушли экскурсионные автобусы, стало пусто и тихо вокруг.

Мы поднялись на гору, где в тени высоких деревьев старые могильные плиты покоили под собой прах Осиповых и Ганнибалов, вышли к обрыву, к знаменитой онегинской скамье. Здесь любил сидеть поэт и «даль свободного романа» как «сквозь магический кристалл, еще неясно различал». Уселись рядом на этой скамье и мы, надолго притихли.

Длинные вечерние тени пересекали зеленый луг с ныряющей по нему речкой, дремотно темнел михайловский бор, в лиловом мареве утопали дали. Лицом к лицу с нестареющим бытием, лицом к лицу, как он полтора года лет тому назад.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас...

Он был очень юн, когда написал эти строки, ему едва исполнилось двадцать лет, но уже страдал той всеобъемлющей болью, которая убийственна для себя, целителя для человечества.

Оракулы веков!.. Он стал одним из них, отрадный глас которого несется через столетия ко мне, кандидату биологических наук, занимающемуся странным для Пушкина делом — изучением поведения мельчайших организмов в почве.

Он, собственно, учил насущно простому — как любить и как ненавидеть, что прощать и к чему быть беспощадным, уметь чувствовать и поступать. Насущно простое, без этого человек не может жить среди людей.

Но простое не значит легкое, к заветной простоте, как правило, пробиваются через путаницу сложных понятий. И я не могу похвалиться, достиг ли нужной простоты в отношениях с другими людьми. И никак не поручусь, что у меня с Майей не возникнут досадные — не дай бог, того хуже — сложности. Мне кажется, что нельзя любить сильнее, чем люблю ее я. Мне кажется, но... Могу ли я, если вдруг она от меня отвернется, сказать ей с таким всепрощающим великодушием, как когда-то сказал Пушкин:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Ой, нет, не убежден.

Или же...

Свободы сеятель пустынный.
Я вышел рано, до звезды:
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя...

Я прокляну себя и свою судьбу, если не сумею что-то посеять для других! Но сумею ли я выстоять, если эти другие станут с равнодушием топтать мой посев?

Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Пушкин и после этого откровения продолжал бросать живительные семена, не упал духом. Сумею ли я?..

Я сидел на краю онегинской скамьи и смотрел вниз. Те-

ни накрывали зеленый луг, тускло тлел на закатном солнце отягощенный старостью михайловский бор, дали сгущались в тревожную грозную просишь.

Достойный ли я ученик тех великих оракулов, что учили чувствовать благородно и поступать правильно?

Как я проживу свою жизнь? Не наделаю ли непоправимых ошибок? Не сорвусь ли в суетность?

Не обману ли я надежды Майи, встречей и сближением с которой считаю себя не по заслугам очастливленным?

Я оглянулся на Майю, ее профиль был строг и чист, глаза устремлены вдаль, губа в скорбящем изломе, руки сцеплены на коленях. О чем она думает? Не о том ли самом, что и я?

Спасибо Майе, она подарила мне эту очищающую мигу! Буду помнить ее всю жизнь.

Спутники наши тоже пребывали в сосредоточенном молчании.

«Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!»

Глава четвертая

СУМЕРКИ

1

Мы вернулись домой. Нас ждали новости.

Майин отец после сдачи очередного объекта переведен с повышением. Раньше он намеревался подать в отставку, перейти в гражданские строители, теперь от этого, похоже, придется отказаться. Не исключено, его ждут генеральские погоны.

Майина мама начала вести переговоры о квартирном обмене. Операция сложная, многоступенчатая, быстро ее не провернешь, но можно все же рассчитывать, что где-то через год, никак не раньше, мы будем иметь отдельную двухкомнатную квартиру на той же улице, где живут и Майины родители.

А Боря Цветик разбил свой «пожарный» «Москвич». Вины его в том нет. У тяжелого самосвала, шедшего впереди, па ходу слетело колесо, ударило в «Москвича», смяло крыло с фарой, повредило переднюю решетку и капот. Хорошо, что обошлось без увечья.

Но самая большая новость ждала меня в лаборатории.

Для посторонних эта новость никак не могла казаться значительной. В стеклянной колбе, спрятанной от света в шкаф, в некоем мутном студне появились пятна со ржавым оттенком — подумаешь, какое событие! И в самом деле это означало лишь то, что один из видов бактерий, накапливающий азот из воздуха, сейчас плодился в стекле. Возможность такого события я робко предсказывал еще два года назад и, признаться, не рассчитывал, что оно случится так скоро.

Пустяк? Пожалуй.

Но в исключительно редких случаях такие вот пустячки переворачивали существование всего рода людского.

Когда над Европой минули наполеоновские войны, а сам Наполеон еще сидел на острове Святой Елены, копенгагенский профессор Эрстед, показывая студентам опыт с гальванической батареей, заметил, что стрелка компаса, случайно лежавшего рядом с проводом, отклоняется в сторону, если включают ток. Маленькое движение стрелки — пустячок, а с него и началось: закрутились роторы генераторов, по континентам протянулись высоковольтные линии электропередачи, промышленность стала развиваться небывалыми темпами, мир заполнился разнообразными машинами, появились радио, телевидение, изменились мы, изменилась наша жизнь, изменилась планета. А все с не замеченного историками пустячка...

Казалось бы, я должен ликовать, но...

Но сам факт размножения бактерий в стеклянной колбе становится важным лишь тогда, когда удастся раскрыть их тайну тайн, заповедный секрет: как и чем они раскалывают непосильную даже для человека с его могущественной техникой молекулу атмосферного азота? Об этом еще никому ничего не известно — желанное в яичке, яичко в уточке, уточка в небесах! Возможно, даже наши редкостные бактерии если еще сейчас не потеряли, то, не исключено, могут потерять свою неведомую силу. Возможно, в искусственной среде они вырождаются в ничем не примечательных микробов, способных лишь к бесхитростному размножению. А возможно, наконец, что и наш эксперимент недостаточно чист — выводы преждевременны, радоваться погодя. Даже если и все благополучно, то впереди тысячи задач, и не обязательно каждая из них должна иметь ответ. Зато впереди обязательно неудачи, без них никогда не обходится...

А потому Борису Евгеньевичу я сказал:

— Свежо предание, а верится с трудом.

Он понимающе кивнул головой.

Однако дома Майя, готовящая ужин, с любопытством приглядываясь ко мне, спросила:

— У тебя сияние ото лба. Что случилось?

— Нашел перо жар-птицы, только боюсь, не обронил ли его обычный павлин.

— Ну-ка! — Командным голосом: — Садись ужинать и рассказывать!

Сама села напротив, подперла щеку кулачком, в глазах притаившиеся бесенята, во взметнувшихся бровях замершее бабье счастливое любопытство. Она ничего еще не ожидала в те дни от жизни, кроме удач, она убежденно верила, что любая новость, — непременно радость, иной быть и не может.

Перед Борисом Евгеньевичем, умудренным и скептическим, я просто не мог не высказывать озабоченного сомнения: «Свежо предание...» А перед Майей?.. Кому мне поверить свои тайные надежды, как не ей!

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку...

Зверюшка родилась у нас, Майка, ин витро, в стекляшке. Долгожданная...

Она не переставала глядеть на меня с ожиданием, детским и жадным, и мое воображение разыгралось.

— Улучшенные почвы, высокие урожаи, Майка, — это, конечно, благо, да! Но еще не все, наверняка не конечная остановка. Наши зверюшки черт-те какую дверь перед нами распахнут. Уж если будет открыт их секрет — скажем, вещество, которым они мертвый азот делают живым, — то это, возможно, станет таким ключиком, какой пока держал в руках лишь один господь бог. Взнуздать азот, приказывать ему: связывайся с такими-то и такими-то элементами — значит научиться творить живое. Принципиально возможно объединить знания о наследственности, то есть секреты генов, с нашим секретом, тогда появится возможность искусственно создавать особые растения, какие-нибудь сказочные яблони с золотыми яблоками, или особую мышечную ткань, способную заменить теперешние двигатели, воняющие и с низким КПД... Все фантасты, Майка, представляют сейчас будущих роботов в виде эдаких железных шкафов с железными руками и ногами — монстры

с начинкой из радиодеталей. А почему бы не представить их из живой ткани, из мышц, костей, внутренностей — да, искусственно выращенных. И можно добиться, что питаться такие роботы будут самым дешевым на земле веществом — тем самым мертвым азотом, из которого состоит наш воздух. Не все, ох, не все божьи твари на такое способны. Кто знает, что нам поднесут зверюшки? Может, и ничего, кукиш незримый, а может... Может, новый мир, совсем, совсем не похожий на наш нынешний!

И Майка, каменея вскинутыми бровями, впитывала мои слова. Я не обманул ее ожиданий, я сумел ее удивить.

Я излился, и мне стало стыдно за себя — еще ни с кем так не разговаривал, так не распускал свою фантазию. Эка, в какие тартарары меня занесло — к биороботам! Но ведь я это не кому-то, а Майке! Из всех людей она одна способна сводить меня с ума, я и раньше обещал ей невозможное — перпетуум-мобиле изобрету!

Наконец она пришла в себя, пошевелилась и произнесла:

— Слушай, я хочу их видеть.

— Кого, Майка?

— Ваших неведомых зверюшек.

И я окончательно вернулся на землю: ну все, сегодня она от меня потребует — покажи зверюшек, завтра — биологического робота! Терпение и умеренность, как известно, ей не свойственны.

— Майка, да они же невидимы... Так, грязные пятна.

— А в микроскоп?..

— И в микроскоп они не красавцы, вульгарная амеба куда внушительней, а какой-нибудь циклоп и вовсе Аполлон перед ними.

— Нет уж, ты мне их покажешь... И вообще я еще ни разу не бывала в твоей лаборатории... У меня идея...

Я невольно сжался — идеи ее всегда были для меня небезобидны, а тут они ворвутся в нашу лабораторию, оглушат моих сотрудников, того и гляди перевернут все вверх дном.

— Давай, Павел, обмоем рождение неведомых зверюшек.. Хочу! У вас в лаборатории! Наконец, с твоими со всеми познакомлюсь... Пора же.

Обмывать положено не закуску в квашне, а готовый пирог. Но в одном-то Майя, как ни крути, права — пора ей сойтись с моими ребятами! В конце концов, почему бы и не устроить сабантуй, разумеется, самый умеренный.

Меня всегда удивляет, как внушительно выглядят экспериментальные лаборатории на экранах кино и на фотографиях популярных журналов — святилища, где священнодействуют жрецы науки! Я видел разные лаборатории — многозальные, многоэтажные, и тесные конурки, где копаются несколько человек, — ни одна не похожа на другую, у каждой свое лицо, но у всех есть нечто общее, роднящее — отсутствие парадности, видимость неустроенности. Даже те, которые были созданы во времена оны, прославлены, видели в своих стенах корифеев, даже они, если не стали показательно музейными, а продолжают добывать знания, кажутся всегда не до конца обжитыми, несколько неуютными. Рабочая лаборатория постоянно меняется, переустраивается, всегда в ней что-то сооружено на скорую руку, что-то еще не доделано, некогда подумать о внешнем виде, а потому стулья разнокалиберны и колченоги, а лампочки под потолком казенно голы, не осенены абажурами.

Наша лаборатория занимала нижний угол нового корпуса — «краеугольный камень института», шутили мы не без гордыни. Две большие комнаты друг над другом, одна в полуподвале, другая в бельэтаже, переборками отгорожены закутки — «архивная» и мой утлый кабинет с конторским столом и продавленным диваном. Стены, крашеные охрой, давно утратили первобытную свежесть, их удручающего впечатления не могли скрасить ни элегантные, новейшей конструкции вытяжные шкафы, ни эмалево-белые холодильники.

Майя свято верила, что я пахожусь на самом передовом рубеже науки, а раз так, то и мое святилище должно выглядеть по-передовому, как в киножурналах. Я видел разочарование на ее лице — ничего многозначительного и таинственного, умопомрачительно сложного, командую бесчисленными рядами пробирок, скорей какие-то научные задворки, чем блистательный передний край.

Длинный стол в верхнем зале был освобожден от приборов, на листах стекла, которые служили полочками для чашек Петри, горками готовые бутерброды, в фаянсовой смесительной ванночке яблоки, вместо стаканов и рюмок мензурки, бутылки сухого вина и красного сладкого для любителей, в двух огромных колбах — эликсир собственного изготовления. Слава богу, мы достаточно изощрен-

ные химики, чтобы выгнать с чистотой слезы, нужным градусом, вкусом и запахом.

Сабантуи в стенах нашей лаборатории — не такое уж и редкостное явление. В исключительных случаях они даже негласно санкционировались начальством, например, почтить какого-нибудь зарубежного гостя, не настолько крупного, чтобы чествовать его всем институтом. Чаще же сабантуями и сабантуйчиками мы отмечали успехи своего автономного офиса — отмечены в печати наши общие усилия, получены долгожданные результаты или не менее долгожданная, нужная до зарезу аппаратура. Частные празднования, как-то — обмывание диссертаций, публикаций, в равной степени и дни рождений — мы проводили на стороне, в каком-нибудь ресторане города. В ходу у нас был лозунг: «Сабантуй — не праздник, а культурное мероприятие!» Он приобрел силу закона.

Этот закон не нарушился и сейчас — отмечали полученный результат. Однако две уступочки. Первая: результат еще недостаточно надежный, чтоб его обмывать. Вторая: присутствие Майи, человека, к результату непричастного, зато причастного ко мне, «главному имениннику». Уступки были приняты всеми как должное.

Я восседал на «председательском конце» стола, Майя — по правую от меня руку. Она тянула шею, крутила головой, округлившимися глазами следила за моими шумными и бесцеремонными сотрудниками.

Наше маленькое общество не лишено кастовости, правда, самой примитивной — есть так называемые коренники, есть «пристяжные», других нет. «Коренники» — тот, кто тянет воз и сам для него выбирает путь. «Кореннику» даже разрешается уходить иногда в сторону от нашей общей дороги — самостоятельная сила, которую если я и взнуздываю, то с оглядкой и осторожностью. «Пристяжной» своего воза не имеет, припрягается, куда укажут: лаборанты, практиканты, разного рода подсобники. Впрочем, среди подсобников есть такие, с которыми я считаюсь не меньше, чем с «коренниками», например, Гриша Мурашов, мастер-стеклодув, парень с золотыми руками и высокой амбицией. Я перед ним заискиваю столь же часто, как часто требую невозможного — скажем, такого витиеватого узла трубок с краниками, какой доступен лишь моему изощренному воображению.

Я глядел сейчас на своих глазами Майи и понимал, что ей должны не нравиться «коренники» — развязны! — и

вызывать симпатию «пристяжные» — сдержанны и скромны!

Колбы с «домашним» эликсиром пошли по столу из рук в руки, сосед Майи, мой заместитель, тоже кандидат наук Никита Великанов галантно наполнил Майину мензурку.

— Фирменная микстурка, пользуется широкой славой, не попробовать ее в этих стенах просто непозволительно.

Он забыл лишь упомянуть, что микстурка имела более высокий градус, чем стандартная русская водка.

По традиции сабантуй открывал я, а потому встал, поднял мензурку:

— Знаете ли вы, что такое солнечный зайчик?

Никого не удивил этот вопрос, ибо все от меня ждали именно какой-то нелепости. Послышались услужливые ответы, не менее нелепые:

— Неуловимый зверь!

— ...И шкуру которого не поделишь.

— Видимость и нечто!

— Ну так этот зверь заскочил к нам,—продолжал я.— Что может означать сей визит?

— Лишний повод к лирическому настроению!

— Или оптический обман!..

— Куцее мышление! — возмутился я.— Если есть солнечный зайчик, то, значит, есть и само солнце!

— А может, этот зайчик отразила разбитая бутылка!

— Может, и бутылка, но отразила, а не родила сама светлого зайца. Он есть, он нам посветил, выпьем, друзья, за этот неверный проблеск!

Выпить не отказались, дружно чокнулись, дружно опрокинули, и лишь после этого запоздалое возражение:

— Почему все-таки неверный?..

Возразила Галина Скородина. Идея светлого зайца — того многообещающего штамма — была моя, но вырастила его она, Галипа, мой ассистент. Светлый заяц был ей сыновья дорог, верила в его реальность и в его великое будущее, всякие сомнения в нем принимала как личные оскорбления, тем более ранящие, что любой и каждый из нас носил в себе невольное подозрение: а достаточно ли чист был проведенный эксперимент?

Отвечать Галине мне не пришлось, это взял на себя Никита Великанов:

— Сивилла Кумская, посмеешь ли ты предсказать нам, что за куцый хвост этого зайца мы непременно вытя-

нем ясное солнышко, а не пустую бутылку. Проблеск, святая пророчица, уже потому сомнителен, что он слишком ярок, что слишком точно и вовремя упал в нужное место...

Никита Великанов — Фома неверующий среди нас, роль неблагоприятная, но необходимая. На каждое наше «да» он обязан говорить «нет» и аргументировать свои сомнения, а значит, заставлять нас проверять и вновь перепроверять себя. Никита доблестно справлялся с обязанностями оппортуниста, постоянно порождая яростные споры.

Заспорили все разом и сейчас, лирический образ светлого зайчика сразу же улетучился, вместо него хлынул поток сухих ученых фраз:

— Вероятность мутации!..

— Утлая жестокая детерминация!

— Возможность рекапитуляции!..

Майя тянула шею, напряженно вслушивалась в этот несваримый для нее галдеж, явно чего-то жадно выжидала. Впрочем, мне ясно, чего именно. Она ждет продолжения нашего разговора. Не дай-то бог ей запясться выяснением — обсмеют! И ее, и меня!

Дома перед этой встречей я, правда, попытался дать отбой перед ней, просил забыть все несусветно фантастическое, что нагородил. Но разве можно заставить забыть Майю то, чем она загорелась? Вслушивается, настороженно посверкивает глазами, ждет...

Нет, она не услышала моей немотной мольбы, улучив секундное затишье в споре, робко спросила. Впервые ее голос прозвучал над столом, непорочно чистый, детски простодушный:

— А почему вы ничего не говорите о почвах?

Все уставились на нее недоуменно.

— О каких почвах? — любезно поинтересовался Никита Великанов, привыкший на лету улавливать запах жареного.

— Да о тех, неплодородных...

— Не совсем ясно. Расшифруйте.

— Ну, которые ваши азотобактеры могут сделать плодородными.

В нашем фантастическом разговоре облагороженные азотобактерами почвы были началом начал, настолько очевидным, что уже не могли вызывать какие бы то ни было сомнения. А для всех здесь сидящих заветные почвы находились за гранью возможного, о них никто не смел еще и думать.

Никита Великанов, этот беспощадный бретер наших

диспутов, вдруг смутился. Я не успел прийти на помощь, ответила Галина Скородина, как всегда, сухо и агрессивно деловито:

— О практическом применении думать рано. Да и не наше это дело!

Галина Скородина из тех, кто пламенно любит науку, но не пользуется ее взаимностью — ей давно за тридцать, а все еще ассистент: угловатые плечи, плоский бюст, крупное лицо с мужским волевым подбородком.

Майя просительно оглянулась на меня, а вместе с ней уставились на меня все. А я... я почувствовал, что краснею.

— Но как же так: практическое — не ваше?.. А для чего тогда вы все это делаете? — Влажные глаза, смущенный румянец, растерянный голос. Майя и не подозревала, что ученые не меньше поэтов презирают утилитаризм.

— А для чего птица поет, цветок распускается? — вопросом на вопрос снисходительно ответила Галина и победно повела своим мужественным подбородком.

Никита Великанов любезно пояснил:

— Королева хочет сказать, что ей безразлично, кто понесет за ней ее шлейф.

— Королева?.. Шлейф?.. Найти и позади себя оставить — будь что будет, неинтересно. Это все равно что матери родить сына и подбросить его другим...

Майя продолжала оглядываться на меня, ждала помощи, а я... я боялся ее в эти минуты: простота хуже воровства — вот-вот наивно ляпнет про биороботы, что ей стоит.

Мои ребята называли себя «джентльмены удачи», я же для этих «джентльменов» был суровым капитаном, всегда жестоко требовавшим: «Не возносись на воздушных! Святы для нас только факты. Все, что сверх, то от лукавого!» Я чаще других употреблял как ругательство «маниловщина». И вдруг откроется, смех и грех — возмечтал черт-те о чем, строю тайком воздушные замки, мальчишествоую. То-то все будут ошарашены, хоть сквозь землю провалились.

— А можно представить себе и другую мамашу, которая, не успев еще разродиться, заказывает для будущего сына генеральский мундир или мантию академика, — отчеканила Галина Скородина.

— Вы никогда, никогда не мечтаете?

— Какой прок в этом?

Майя решительно повернулась ко мне.

— Павел, они шутят?

— Майя... потом тебе все объясню.

Должно быть, моя физиономия была слишком красноречива — боюсь невольного предательства со стороны Майи. Она это наконец учуяла и вспыхнула возмущенно:

— И ты!.. Ты тоже!..

— В нашей кухне, Майя, не говорят о скатерти-самобранке.

— Ты стыдишься!.. Меня?.. Пусть! Но себя-то зачем?.. Ты так красиво говорил...

— Майя!..

— Да что Майя!.. Говорил, что после вашего открытия станет возможным то, на что замахивался сам господь бог. Живое будете создавать — мышцы искусственные вместо двигателя...

— Майя!!

Она опалила меня взглядом и отвернулась в угол. Наступила тишина, всегнулись к столу, прятали корябую неловкость. Я знал, сегодня все, собираясь на сабантуй, сгорали от любопытства: что за жену выбрал себе капитан? Верили, не ошибусь и тут. И вот опущенные глаза, сочувствие...

3

Шли домой по бульвару, шагали локоть к локтю и — молчали яростно и упрямо. Стоял тихий свежий вечер — самый конец августа, было слышно уже, как с сокрушенным шепотом падает лист с деревьев.

Локоть к локтю, и каждый ждал выпада, был готов ответить.

Не выдержала она, сорвалась первая.

— Павел... ты иудушка!

Чуть слышно, с придыханием.

Я только что пережил унижение перед своими товарищами по ее милости! Я кипел гневом, а потому на резкий выпад ответил грубо, с ожесточением:

— Ты бы еще повторила всем, что я тебе говорю в постели. Люди добрые, у нас от вас секретов нет!..

И она обомлела:

— Ка-ак? Ка-ак ты смеешь?!

— Ах, тебе не нравится! Ну так мне тоже не доставляет удовольствия выглядеть круглым дураком.

— Ты подделываешься под дураков! Да! Да!..

— Как ты смеешь судить о них, если не представляешь, чем они живут, о чем они думают!

— Уткнулись в свои пробирки — ни видеть, ни чувствовать ничего уже больше не могут.

— Ну так вот, я из них самый пробирочный по характеру!

— Очень жаль, что ты так поздно в этом признаешься!

— Поздно признаюсь?.. А разве была нужда? Или я скрывал от тебя, что занимаюсь пробирочным? Или не говорил тебе ни разу, что именно из лабораторной пробирки пытаюсь выудить золотую рыбку, которая вдруг да сделает людей чуть счастливее?..

— Счастливее?.. Да вам же дела нет до людского счастья! Эта твоя с лошадиным лицом... она о нем и слышать не хочет! Ей главное — найти новенькое, полюбоваться, себя потешить, а там... Там ей плевать, что будет.

— Плевать?.. Нет! Мы не в пример какому-нибудь Гоше-пророку боимся иллюзий. Мы знаем, как легко обмануться, а значит, и других обмануть. Обман же мы считаем преступлением!

— А передо мной недавно зачем-то ты другим прикидывался, сказки рассказывал, иллюзиями потчевал.

— Перед тобой мог, перед ними не имею права!

— Да не вилай, я же видела, ты просто боялся быть перед ними самим собой, а потому... потому сразу же меня предал!

— Перед этим, не забывай, ты предала меня!

— Ага! Вот ваша высокая честность: обман — преступление! Друг перед другом раскрыться боитесь! Это не обман?..

— Выступать перед ними в рели, в какой я бываю с тобой?.. Не смешно ли?..

— Тогда какая же твоя роль настоящая, когда ты с ними или со мной?

— Та и та настоящая. Поднатужься и представь, что такое вполне быть может.

— Как же, представляю. Господь бог выступал в трех лицах, ну а ты поскромнее — всего двуличный!..

Стоял тихий свежий вечер, а мы шли и ругались, сварливо и самозабвенно доказывали друг другу — плохи, ущербны, обременены пороками. Мне, что называется, попала шлея под хвост — не уступал ни в чем, считал себя оскорбленным, изо всех сил старался взять реванш.

Утром мы продолжали дуться, но я уже испытывал стыд, раскаяние и острое недовольство собой. Так ли уж не права Майя: оказалась одна в чужой для нее компании, ждала от меня поддержки, а я... Нет, конечно, я не предал ее, но, право же, трусливо отстранился, а потом мелочно обиделся, помог раздуть чадное пожарище. Гадко!.. Я первый стал делать всяческие пасы к примирению, и Майя сдалась, мир в конце концов наступил.

Но что-то после этого между нами лопнуло, какая-то важная связь. Я чувствовал, Майя не может забыть унижения и враждебности, которые она испытала за большим лабораторным столом. Даже нечаянное напоминание о чем-либо, связанном с лабораторией, вызывало теперь у нее сразу или отчужденную замкнутость, или открытое раздражение: «Не хочу слышать! Отстань!» И говорить о моей работе стало опасно — мог нарушиться мир в доме.

А я каждый день уходил в институт, каждый день там что-то случалось — мелкие радости, мелкие огорчения, я ими жил. Жил и прятал их в себе, не смел сообщать Майе. Какая-то ее сторона вдруг оказалась для меня омертвелой.

По вечерам нам вдруг стало пустынной и скучней. Прежде для нас и молчание и болтовня были естественны, в голову не приходило искать повод для разговора, зачем, сам найдет. Сейчас же я постоянно спохватывался: а не слишком ли долго торчу за столом, ворошу оттиски и журналы? Не тяготится ли Майя в одиночестве? И я поспешно рассовывал все по ящикам, поворачивался к ней, два, три ничего не значащих слова и... сказать уже нечего. Надо мучительно искать тему для разговора.

Теперь нам стали доставлять радость неожиданные гости. Чаше других к нам являлся Боря Цветик, почти всегда без предупреждения, наскоком, и почти всегда он задерживался допоздна. Начиненный городскими новостями и свежими анекдотами, в шуршащей импортной куртке, открывающей широкую накрахмаленную грудь, лицо сдобное, румяное, в серых навывкате глазах влажное, ласковое, благодушие, и тонкий запах одеколона «Атлант».

Он уходил, но занесенное им благодушие оставалось. Мы продолжали судить и рядить, не беспокоясь, что тема разговора иссякнет.

Чаше всего мы обсуждали самого Борю Цветика.

— Сколько он лет ездит уже к Леночке в Комплексное?

— Много. Я еще в школе училась, как Боря вынырнул.

— И пропустил ли он хоть одну неделю?

— Когда свой «Москвич» разбил, ездил на электричке и непременно с цветами.

— Так почему они не женятся?

— Подозреваю, Ленка не хочет. С Борей же сутки в неделю провести приятно, больше — наскучит.

— Но Ленке не так уж и мало лет.

— Ну и что?

— Да то. За сомнительное счастье — раз в неделю встречаться со скучным человеком — терпеть неопределенность, продвигаться к старости. Нет, что-то тут не вяжется...

Прежде мы часто спорили, и по-крупному, на сугубо отвлеченное — иллюзии и действительность, смерть и бессмертие, — теперь нас устраивало и мелкотемье, почти что сплетни.

А тем временем пришел сентябрь с обложными облаками, с морозящим дождем, с ветром, срывающим листья на городских скверах. У Майи начались занятия в пединституте.

4

Наш промышленный город жил киловаттами электроэнергии, тоннами металла, кубометрами обработанной древесины. В нем было несколько высших учебных заведений, пользующихся достаточно широкой известностью, — физико-технический институт, институт древесины, агрохимии и почвоведения, с которым связал свою жизнь я... Пединститут, увы, был пасынком города. Он выпускал не промышленных специалистов, не научных работников, а школьных учителей. На областных конференциях, на страницах местных газет постоянно можно услышать и прочесть о высокой роли учителя, об уважении к нему. Но школьный учитель не помогал выполнять квартальные планы, снижать затраты, подымать производительность, а потому снять перед ним шапки готовы, подкинуть же средств — извините, не можем, нужны на другое. Остальные институты расширялись, расстраивались, обеспечивали себя сильными кадрами, педагогический ютился в старом здании, преподавательский состав в нем часто менялся, а его студентами, как правило, становились те, кто не сумел пройти по конкурсу в другие вузы. Или же вроде Майи, которых не привлекали ни инженерия, ни древесина, ни проблемы урожайности, а бежать от этого в нашем

городе некуда — только в пединститут, где существуют гуманитарные факультеты.

И какой-то поэт-неудачник, проходивший сквозь сей институт, оставил на память стихотворенье, передававшееся от старшекурсников абитуриентам:

Старый лозунг и священный:
Знание — свет, незнание — тьма!
В педобожий дом казенный
Засвятошило меня!

Майя нет-нет да и вспоминала его, явно тоже жалела — «засвятошило в педобожий».

Начались занятия. Навряд ли можно ждать — внесут разнообразие в жизнь Майи, а через нее и в мою.

Однако неожиданное все же случилось...

Как-то вечером Майя пришла с увесистой пачкой книг, с пылающим румянцем и горячечным блеском в глазах. Шмякнула книги на пол у порога, выскользнула из плаща, торжествующе на меня уставилась и объявила:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! И у нас иногда пробивает!.. Так-то!.. Хочу есть!

За столом она мне сообщила: будет проводить показательный урок в школе! Казалось бы, новость так себе, самая умеренная. Майя еще в прошлом году проходила практику, давала уроки. Но дело в том, что на этот раз тема показательного урока — Пушкин.

— Паша, я, оказывается, тщеславна... Паша, я хочу, показать старичкам, на что способна! Ты же знаешь, Александр Сергеевич — мое заветное. Вот я и выдам без утайки своего Пушкина! Нет, нет, не «цветок засохший» в школьной хрестоматии — живого! Могу! Могу! Уже сейчас во мне кипит и рвется наружу, надо только выстроить...

И, как всегда в счастливые минуты, ее глаза становились отчаянными.

— Паша-а... «Педобожий дом казенный» — в нем скука, в нем рутина, никто ничего уже там не ждет друг от друга. А вот я всем... Понравится или нет — да плевать! — лишь бы увидеть, что проняла...

Ее безумие всегда передавалось мне.

В нашу тесную уютную квартиру ворвался вселенский хаос — книгами завалена тахта, книги на стульях, книги громоздятся на столе, даже в углу возле дверей стопа книг. Большинство из них не открываются, нужны лишь, чтобы своим присутствием напоминать о важности свершающегося момента — Майя в творческом порыве, не шути!..

Я выселен из комнаты на кухню, но не забыт, едва ли

не через каждые пять минут раздается клич, меня призывающий:

— Павел!..

И я мчусь сломя голову, зная наперед, что ничего особого не случилось — очередной раз должен разделить восторг перед гением Пушкина.

Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

— А!.. Фейерверк! Можно ли ярче сказать о городе?! И какова скорость? Чувствуешь? Нашему веку, севшему на машины, не угнаться.

И невольно поражаюсь, нет, даже не гению Пушкина, а себе: читал же это место, даже запомнил его, но почему-то ничуть не удивился, принял как должное, как само собой разумеющееся.

Мое скрытое удивление видят, его по достоинству оценивают, торжествуют и... гонят вон, чтоб не мешал. Я ухожу, почтительно унося в себе выплывшую из прошлого счастливо-пеструю картину: «...И стаи галок на крестах».

Перед сном мы голова к голове подбиваем итоги дня.

Я не могу забыть Майю на берегу Валдайского озера: еле чадающий костер, смятая на траве простыня-скатерть, тихая-тихая гладь воды и она на коленях, взвинченная, горящая. Она тогда нам открыла нечто поразительное — революцию в любви, от скудной к богатой, от Сумарокова к Пушкину! Я хочу, чтоб то же самое она открыла на уроке и ребятам. Перед ней будут сидеть не малыши, а пятнадцатилетние юноши, поймут.

Она соглашается со мной:

— Поймут, но мне того мало. Пушкин велик, Пашенька, за сорок пять минут хотелось бы пробежать от подножия к вершине, да еще успеть кинуть вниз взгляд.

— По всей горе скоком? Зачем? Открой один склон — достаточно.

Я отбиваю у нее куски рукописи — на выброс, она их храбро защищает, но в конце концов сдастся. И это, право, льстит моему самолюбию...

Теперь я стараюсь не задерживаться в лаборатории по

вечерам, спешу домой — да, чтоб сидеть на кухне и ждать придушенного восторгом крика: «Павел!..» Дома нынче суматошно и радостно вечерами. И когда я наскоро свертываю свои дела в лаборатории, то улавливаю сочувственные, иногда ироничные, иногда сокрушенные взгляды — попал под каблучок! Не скажу, что это не огорчает меня. Хотелось, чтоб в какой-то момент, тоже решающий и горячечный, Майя была со мной вплотную, так же как я с ней сейчас. Но тогда ей неизбежно придется сталкиваться с моими товарищами, а они не принимают ее, она их. Жаль...

Вечером накануне знаменательного дня я вернулся с работы, она не слышала, как я вошел, дверь в ванную была открыта. Майя стояла перед зеркалом в позе Жанны д'Арк — воинственная вещательница! — и вещала своему отражению о сокрушительной силе пушкинской лирики. Я замер, боялся шевельнуться, долго слушал...

Неосторожный скрип паркета под ногами заставил ее обернуться. Она смутилась, но не очень.

— Генеральная репетиция, Пашенька. У меня должен быть внушительный вид.

Утром она облачилась в темный джерсовый костюм, перехваченный широким поясом, воротник белой батистовой блузки у шеи — чопорно строга, кажется выше ростом, только щеки рдеют молодым легкомысленным румянцем да глаза сияют тревожно и вызывающе нескромно. Как жаль, что не я, а кто-то другой увидит ее там — пылающее лицо, обжигающий взгляд, — услышит ее взволнованно рвущийся голос. Зависть до ревности! Это не защита диссертации, всего-навсего лишь показательный урок, присутствие родственников на нем исключается.

Я проводил ее до автобусной остановки.

— Ни пуха ни пера.

— К черту! К черту!

А сам кинулся к ближайшему автомату, чтоб позвонить Боре Цветику: нужны цветы, по возможности самые яркие, самые пышные, у нас сегодня торжество! Боря каждую неделю где-то их достает для Леночки. Даже среди зимы...

5

В этот день я лишь на пару часов заскочил в лабораторию — боялся пропустить возвращение Майи.

Низкий журнальный столик перед зеленой тахтой я накрыл белой скатертью, на него поставил букет кипенно-

тучных хризантем — спасибо Боре, расстарался. Крупные цветы чуть слышно пахли травянистым увяданием — грустный запах самой осени. Рядом с ними черная литая, как снаряд, бутылка шампанского. И блеск стекла, нетерпеливый, праздничный. И взведенная тишина в доме. И счастливое брожение в моей груди...

Не открывается ли именно сейчас, собственно, сама наша семейная жизнь — надежные будни до скончания и моего, и ее века? До сих пор Майя шагала вперед вслепую, неуверенно, мог ли и я не чувствовать под своими ногами некую зыбкость. Теперь перед ней распахнется какая-то даль, откроется, что хочет, увидит, чего сможет достичь, поверит — я надежный попутчик. И пойдем мы бок о бок, я к своему, она к своему, к разному, но в одном направлении. Совместимость путей человеческих — не досужий вымысел, а обыденнейшая реальность, неисчислимые тысячи людей попарно так вот и шествуют через жизнь. Тот же Пушкин, кумир Майи, как-то обмолвился в одном письме: «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах».

Я ждал, время шло, Майя задерживалась. Уже начали сгущаться сумерки, уже пришлось зажечь свет. Букет хризантем при электрическом свете выглядел еще эффектнее, чем днем. И скатерть сияла ярче, и стекло блестело веселее...

...Щелкнул в дверях замок, меня подбросило, я ринулся навстречу! Она переступила через порог, и я невольно попятился: серое лицо, провалившиеся глаза, страдальчески сплюснутые губы, и нет прежней подтянутости, плечи обвалены, руки висят...

— Майя... что?..

Она с усилием крутанула головой, молча стянула плащ, волоча ноги, прошла в комнату и толчком остановилась... Перед праздничным столом!

Сияла непорочно чистая скатерть, ласкали глаз насыщенно окрашенные, пышные хризантемы, и мрачно-торжественная бутылка шампанского целилась в потолок серебряной головой.

Майя боязливо обогнула стол и плашмя свалилась на тахту. Узкая спина затряслась от беззвучных рыданий.

Она мистически понимает великого поэта... Причину исторических изменений ее Пушкин видит в деятельности отдельных личностей. Она поставила творчество поэта в

зависимость от сердечных увлечений. Ни слова не сказала о роли народа и народности... Она легкомысленно игнорировала программу обучения и явно не ознакомилась ни с одним методическим пособием... И вообще все не то и все не так, как нужно!

И последнее было, пожалуй, верно: Майя действительно стремилась — а я, как мог, тут ее поддерживал — сказать не то, что все уже говорили, взглянуть на Пушкина не так, как его другие видели. А присутствовавшие на показательном уроке педагоги, достаточно старые и достаточно опытные, в течение всей своей длительной жизни добросовестно усваивавшие, что именно нужно и как нужно — крепко усвоившие! — сильно, видать, возмутились таким безрассудным своеволием. И еще удивились, ведь в пединституте-то учат тому, что нужно, каким же образом эта девица оказалась столь неосведомленной?

Старый лозунг и священный:
Знание — свет, незнание — тьма!..

С трудом, слово за слово я вытащил из Майи подробности.

Она сидела передо мной — оброненные на колени руки, спина бескостно согнутая, лицо потускневшее, с тем перекосом, какой я всегда видел у нее в минуты душевного разлада, и веки опущены, глядит нелюдимо в пол.

— Что случилось со мной?.. — произнесла она глухо и недоуменно. — Недавно твои приняли меня за круглую дуручку, теперь эти... Ох, как они друг перед другом старались, кто сильнее приложит, кто больней резанет... Что же случилось? Может, я и в самом деле стала хуже?..

И у меня тоскливо засосало под ложечкой: она рассчитывала на меня, рассчитывала — помогу, открою, выведу! И вот мир повернулся изнанкой — я рядом, и я бессилен... Вряд ли она собиралась упрекать меня. Но взгляд в пол и голос глухой, отстраненный...

А на столе, покрытом неестественно чистой скатертью, пышные, вкрадчиво богатой гаммы хризантемы, устремленная вверх бутылка шампанского... Несостоявшийся праздник — злая издевка!

Хризантемы скоро увяли, а бутылку шампанского спустя несколько дней распил со мной Боря Цветик, неунывающий друг дома.

Я всегда любил, проснувшись, видеть поутру заплаканное дождем окно, обещающее скучный, серенький день. В эти минуты я испытывал самодовольное счастье. На всех людей затяжной дождь наводит тоску — их сегодня в точности походит на их вчера, и даже столь малое, как хорошая погода, уже разнообразие. У всех так, а вот я, извините, иной. Еще вечером, ложась спать, я с надеждой ждал новый день, именно такой вот, внешне ничем не отличающийся от прошедшего, никак не праздничный. В праздники мне пусто и неуютно, не знаю, куда себя деть. В будни меня ждет работа, всегда новая, не похожая на ту, что была вчера, всегда что-то обещающая. И серенькое утро с мокрым оконным стеклом — гарантия: будни исполнят свои обещания.

Так было всегда, но теперь заплаканное окно вызывало у меня невольное чувство вины. Причина — Майя! Могли я самодовольно радоваться серенькому дню, когда знаю, с какой неохотой она собирается в институт. «Педобожий дом казенный» стал ей еще невыносимей после провала на показательном уроке. А этот дом на другом конце города, даже добираться до него под дождем наказание. И невольно думаешь, завтра ей ничего не принесет — тот же дождь, тот же день. И что дальше?.. Серо и тускло без просвета.

Майя по утрам особенно пасмурна и неразговорчива.

По вечерам тоже. Вечерами нам просто не о чем обмолвиться словом. О моей работе — нет, не смей! О ее учебе — нет, не упоминай! Особенно о недавней горячке с Пушкиным — тут уж воистину в доме повешенного не говорят о веревке.

Сейчас у нас в комнате все прибрано и расставлено по своим местам — добропорядочный скучный порядок и чистота. Книги собраны и разнесены по библиотекам. И чего-то надрывно ждешь, ждешь: господи, хоть бы пожар или землетрясение, лишь бы не тишина. Но дождь за окном, только дождь. Даже Боря Цветик не заглядывает в гости, отсиживается дома.

В один из таких вечеров Майя, лазая бесцельно по полкам, вытащила Иеронима Босха. Он так долго стоял забытым, что даже корешок лакированного супера успел пожелтеть.

— Откуда это у нас? — удивилась она.

— Подарили мне. Давно.

— Кто?

— Одна женщина...

Я никогда ни в чем не лгал Майе, ничего перед ней не умалчивал.

Сведя над переносицей суровые брови, она внимательно принялась изучать цветные босховские кошмары: всадников на опрокинутых кувшинах, рыб, летающих под облаками, тошнотных зеленых химер, химерические физиономии людей...

— Кем была та женщина?

— Научным бродягой и добрым человеком.

— Почему она сделала тебе именно такой подарок? Тебе что, очень нравится Босх?

— Скорей неприятен.

— А мне он нравится! — объявила Майя с мрачным торжеством. — Гляжу — и жутко. Это не смазливая «Незнакомка»...

Она, оказывается, не забыла «Незнакомку», даже в голосе сейчас мстительные нотки. «Незнакомка» теперь суеверно пугала меня — с нее началась неудовлетворенность Москвой, закончившаяся скандалом пред глумящимися масками. Нынче у нас все так натянуто и так ненадежно — не хватает лишь скандала. Я ничего не ответил и лишь украдкой перевел глаза на стену, где висела бесхитростная смеющаяся «Рябинка».

— А той женщине это правилось?

— Не знаю, мы никогда не говорили о живописи.

— Правилось, если держала у себя. Мы, наверно, похожи...

— Вы совсем разные. Она была очень одиноким человеком. У тебя родители, у тебя муж, полно знакомых, ты крепко связана с миром. У нее никого.

— Я связана?.. Нет! Кажется только. Оглядываюсь, — и страх берет — пусто...

Я рассердился.

— Меня принимаешь за пустоту — пусть! Но отца с матерью пустотой считаешь?!

Насупив брови, Майя долго молчала, наконец вздохнула и сказала:

— Ты прав... Просто я теперь какая-то исковерканная. У меня невезучая полоса... Никто в этом не виноват. И тебя я люблю. Да!.. И хочется тебе сделать что-то хорошее.

Но Босха она не отложила, листала и вглядывалась в него допоздна.

На следующий день, вернувшись с работы, я застал Майю дома, она встретила меня загадочным взглядом.

— Взгляни. Нравится?

Со стены над тахтой исчезла хохочущая «Рябинка», вместо нее раскинулось полотнище, траурное и тесно набитое несуразно угловатым — нечто бычье, нечто крокодиле-лошадиное, нечто человечесьё, спутано, перемешано, вопит, корчится, задирает уродливые конечности.

— Это Пикассо. «Герника»! — объявила она.

— А тебе... нравится? — спросил я.

— Да! Жуть берет.

— Не пойму, почему жуть должна доставлять наслаждение?

— Десятки лет весь мир восхищается этой картиной!

Не впервые Майя упрекает меня, что мои вкусы и взгляды расходятся со всем миром. Не скажу, что мне доставляет удовольствие моя обособица, рад был бы походить на всех, но и притворяться перед собой не могу.

И меня удивляет Майя. Ей нравится, сомнений нет, фейерверочное, светлое, пушкинское:

Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

и вышито он остр

Нравится и это — «жуть берет». Как может в одной человеческой душе укладываться столь несовместимое?

Наверное, то и другое лежит у нее в разных этажах — в верхних, светлых, и в подвальных, темных...

А в общем, жаль исчезнувшей «Рябинки». Жаль, как утраченного детства.

И снова тягостное молчание по вечерам. Только теперь над нами издевательски ржала со стены лошадино-крокодилей пастью «Герника».

7

В современных романах и пьесах часто показывается эдакий ученый муж, самозабвенно увлеченный наукой, из-за своей благородной занятости не уделяющий жене достаточного внимания, а отсюда мелодраматический конфликт. И кажется, стоит только слегка пожертвовать увлечением — мужу уделять больше внимания жене, жене быть чуточку снисходительнее к мужу, — как драма исчезнет, мир и благополучие восторжествуют в семье!

Я, право же, старался быть внимательным, больше того,

готов был стать бесконечно нежным — «Не мужчина, а облако в штанах!» — если б она в этой нежности нуждалась. Все свободное время я проводил с Майей — вечера наши! Ей меня хватало с избытком, не хватало другого... Чего? Ни я, ни она ответить не могли.

Я из кожи вон лез, чтоб не слишком обременительные семейные заботы не ложились на ее слабые плечи: по пути с работы заскакивал в магазины, толкался в очередях, нес в авоське домой бутылки с кефиром, до ее прихода старался прибрать квартиру, и часто она заставляла меня с засученными рукавами, до блеска надраивающего ванну.

Но вместо похвалы и умиления слышал досадное:

— Ну что ты в бабьи дела лезешь!

Сведенные брови, презрительно вздрагивающие уголки губ.

Нет, я не обладал бронированной кожей, уязвим, как и все, а перед Майей и подавно — словно освежеван. Недовольное движение ее бровей, не пускающий в себя взгляд вызывали во мне острую боль, заставляли корчиться, долго саднили. Иногда она спохватывалась — обидела ни за что, — старалась сгладить вину, хвалила:

— А ванна-то блестит, я бы так никогда ее не оттерла.

Жалкая подачка, скупой кусок нищему! Но ведь и мое — подмести комнату, отдраить ванну, вымыть грязную посуду — тоже подачка вместо чего-то, что она истомленно ждала. Слишком скудное! Она вправе оскорбляться.

Мелочи, житейские мелочи — как комариная толкучка, обещающая надвигающуюся грозу.

Она нашла спасение от гнетущего молчания — принесла от родителей магнитофон с записями, по вечерам включала его.

В тот вечер магнитофон пел:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

Женский голос, свободный и бесстыдно счастливый — откровенная исповедь в том, что принято скрывать среди людей.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...

У меня все сжалось внутри, хоть кричи. Столь же невероятно счастливое было и у нас. Да, было! Мы нашли друг друга — это само по себе невероятное чудо. Среди мелькающих мимо по жизни тысяч и тысяч людей, в пестром человеческом водовороте я разглядел тебя, ты меня. И сошлись — никаких препятствий, никто не вставал между нами на пути, ни зависть, ни злоба не были нам помехой! Сказочный Черномор не уносил тебя за тридевять земель, ни денежно-корыстные расчеты, ни суетные сословные предрассудки, не было ничего такого, от чего страдали влюбленные в романах прошлого века... Свободно и просто: нашли друг друга и соединились, живи во всю силу, ощущай счастье — «судьбы скрещения»... Но почему ты сейчас сидишь спиной ко мне? Почему натянутое молчание? Мы рядом и мы врозь! Почему?...

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал...

Такое прекрасное и такое доступное, оно утрачено нами! Почему?..

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Я встал и подошел к ней.

— Майя...

Она вздрогнула и выключила магнитофон, песня оборвалась. Темный глаз смятенно скользнул по мне и спрятался.

— Что сделать? Подскажи! Как вернуть тебя? На все готов!..

Ее губы горько скривились

— Стань больным.

— Больным?!

— Да, лежачим, беспомощным, неспособным подняться по крайней нужде.

— Зачем, Майка?

— Тогда я была бы тебе нужна. А сейчас... сейчас ты так легко обходишься без меня. Я ни к чему... Я просто существую рядом, кончу небо...

Я опустил ее, взял ее за руку, стараясь заглянуть в опущенное лицо, в спрятанные глаза.

— Хочу, Майка... Хочу пробиться к тебе... Разгляди поближе, поверь хотя бы в одно — нужна, нужна! Свет клином на тебе сошелся, весь свет! Без тебя ничего не станет радовать, ничего не нужно, все бессмыслица — живой труп без тебя!.. Люблю и не представляю жизни... без тебя!..

Она не отняла руки, не отстранилась, и под упавшими ресницами влажный блеск, и в губах изнеможенно страдальческое, просящее защиты.

— А ты можешь мне сказать, за что... за что ты меня любишь? Мне это очень нужно знать. Без этого ответа мне трудно верить...

— Я люблю тебя не за что-то, Майка... Ты есть, и мне вполне этого достаточно, чтоб любить!..

— Но я же не вещь, Павел. Я живая, как и ты, мне, как и тебе, нужно что-то делать, действовать. И... в неподвижности, в окаменелости! Не двигаюсь, не живу!..

Да, стон, да, отчаяние, но не ожесточенность, голос слаб и умоляющ, в нем потаенная надежда.

— Чем же ты сможешь помочь мне, Павел?.. Чем?!

В тесной комнате с задернутыми шторами вдруг словно потянуло возвышающей свежестью той фантастической ночи с опрокинутыми в воду деревьями, ропщущими лягушками, приклеенной улыбкой мироздания в небесах — возвращенное прошлое!

Я чувствовал в себе прежние силы, и прежнее неистовство прорвалось наружу:

— Майка! Время и терпение — и мы откроем друг другу свое! Мы оба не бедны, не убоги, у каждого есть, есть — и немало! — что-то для другого! Придет день, и мы станем ужасаться — как это раньше не видели залежи! Да, да, Майка, доброты, чуткости, жертвенности, черт возьми!.. Во мне все это хранится для тебя, в тебе — верю, верю! — для меня!..

Я говорил, она слушала и тихо прислонялась ко мне.

Я обнял ее, гладил по спутанным волосам, жалость и нежность захлестывали меня. Утерянную, я обретал ее вновь и опять испытывал перед ней мальчишескую скованность, словно впервые обнимал ее: доверчивая податливость, связанность, затаенная робость — таинство, перехватывающее дыхание. И бессильная рука, сочленение хрупких косточек, брошена на литое колено. И на белой натянутой шее завитки мягких волос...

Она шевельнулась под моими руками, подняла голову, вскинула заполненные мраком глаза, засасывающие до го-

ловокружения. И вздрагивающие, нетерпеливо ждущие губы рядом...

Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...

8

Утро было обычное, серое, дождливое, за заплаканными окнами придавленные мутной толщей тяжелого воздуха, мокро лоснящиеся, нагроможденные друг на друга крыши. В ущельях, стесненных домами, траурные каналы асфальта.

Из окна я заметил, внизу собралась толпа, стояли две канареечно-желтые машины милиции, светлый микроавтобус «скорой помощи». В доме напротив, похожем на наш дом, как зеркальное отражение, этой ночью что-то стряслось. Но город отучает людей от любопытства: мало ли чего в нем происходит, порой даже беда, случившаяся за стеной, канет незамеченной — незнаком с соседями, равнодушен к ним. И я, кинув взгляд в окно, тут же забыл.

Как всегда, спеша — не опаздывали, по вьезшейся привычке, — мы с Майей сбежали вниз, чтоб расстаться у автобусной остановки: ей ехать, мне идти пешком. Но толпа напротив нашего подъезда грозно разрослась. И машина «скорой помощи», и машина милиции, и угрюмые милиционеры у распахнутых дверей, сердито оттирающие излишне любопытных.

На улице чужое несчастье стало ближе, чем оно выглядело из окна. Мы перебежали мостовую и оказались в толпе.

— Что тут? — бросил я вопрос в накаленный воздух.

Парень с рыжими бачками из-под надвинутой на лоб кепки, не глядя на меня, коротко ответил, словно уронил гиру:

— Убийство.

Старичок в изъеденной молью древней пыжиковой шапке, с потертым, вымученно-блеклым лицом хорька, возбужденно приплясывавший, с ужимками оглядывавшийся во все стороны, почти ликуяще пояснил:

— Сынишка-сопляк из ружья отца родного? Хвать со стены — и будь здоров, папаша. Никаких!..

Кругом сердито зароптали, заволновались:

- Молодежь нынче пошла.
- Пил отец-то, скандалил. Тут его все знали.
- Яблочко от яблоньки...
- А сколько лет мальцу?
- Да школьник еще. Говорят, за мать заступался.
- Все одно колония.
- Идут, идут!

Милиционеры ринулись на толпу, стали раздвигать.

— В сторону! В сторону!.. Граждане, не толпитесь!.. Ты, старый, тут не вертись, шел бы домой!..

Из темного подъезда показались несколько человек в штатском, быстрым, деловитым шагом прошли сквозь раздвинувшуюся, почтительно притихшую толпу к одной из милицейских машин, но сесть в нее не спешили, не глядя друг на друга, стали закуривать.

Толпа дрогнула и подалась вперед.

— О-он!.. Он!..

Рослый милиционер громадной красной рукой с предупредительной бережностью придерживал за локоть до неустойчивости тонкого парнишку — коротенькое незастегнутое пальто, расклепанные брючки, тупоносые тяжелые ботинки, гривка мочально рыжеватых волос с затылка, лицо узкое, до зелени бледное, стертое — никакого выражения! — лишь глаза, янтарно застывшие и прозрачные насквозь, пусты. Лет пятнадцать, не больше.

Я вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Один из штатских, что вышли из подъезда раньше преступника, стоял у машины, из-под надвинутой шляпы смотрел на меня, на прижавшуюся ко мне Майю. Тонкогубый широкий рот, резкие жесткие складки от носа и таящиеся в тени глаза, выбравшие из толпы меня. Наши взгляды встретились, и он неожиданно смутился, поспешно отвернулся, бросил недокуренную сигарету.

Почему-то этот взгляд вывел меня из равновесия, он, похоже, не был враждебным, угрюмым тоже не назовешь, но какой-то не случайный, что-то хранивший в себе, словно глядевший хотел запомнить и меня, и Майю. Я часто потом в тяжелые минуты вспоминал эти беспричинно направленные на меня, прячущиеся в затененных глазницах глаза.

И в тот момент что-то хрустнуло внутри меня. Должно быть, сломалась выношенная, надежная вера в существование жесткой границы между добром и злом. Мальчик с прозрачными глазами убил отца! Сын — отца! Того, кому обязан самой жизнью на белом свете. За возможность

жить не благодарность, а ненависть до предела — умри! Это уже не просто вырождение человечности — вырождение природы, сотворившей живое. Если бы плод сокрушал дерево, не успев еще созреть, то земля превратилась бы в царство минералов. Зеленый мальчик с прозрачными глазами... Должно что-то случиться с теми, кто это сейчас наблюдает, что-то, чему нет даже названия — не просто ужас, не только отчаяние, не некий осуждающий гнев, а всеохватно трагическое, апокалипсически великое...

Но вокруг все толкались, сопели, стискивали друг друга, и я не чувствовал в людях ни ужаса, ни отчаяния, ни даже в полную меру удивления — лишь жадное оскорбительное любопытство. Право же, все станут жить, как жили, и скоро забудут это событие. Рубеж зла и добра — есть ли он? Ощущает ли его кто-нибудь? Бесчувственное неведение — не призрак ли грядущего конца, никем пока не замеченный, никого не пугающий?

Мы выбрались из толпы. И пока мы шли к автобусной остановке, Майя прижималась ко мне, искала защиты...

А я уносил неверие во все и вся. Люди связаны друг с другом, живое лепится к живому — да нет, мнимость! Близость случайна и ненадежна. И как трудно ее доказать! Вражда убедительна — вплоть до убить, до доказательства, которое уже нельзя опровергнуть!

До сих пор пружиной, толкавшей мою жизнь, было: люди ждут от тебя, не смей беречь себя, ради них отдай всего без остатка! Ждут?.. Нужен?.. Кому, собственно?.. Умри сейчас, ничто не изменится, никто не придет в отчаяние. Сверши великое — опять же мир не перевернется и краше не станет, убийства, злоба, зависть по-прежнему останутся. Оттопчи свое на земле и ухни в небытие — вот единственный нехитрый смысл твоего появления на свет.

И Майя... Нет, и она ничем меня не спасет. Случайно нас снесло вместе. Мол, рождены ты для нее, она для тебя! Не обольщайся — прекраснодушная иллюзия!

Я впадал в ересь: даже о Майе думал едва ли не с равнодушием, граничащим с предательством.

Я вошел в институт, и на меня налетел Никита Великанов, галопировавший по коридору.

— Слушай, наш шеф учудил!..

Горящая от возбуждения физиономия, стреляющий взгляд, волосы всклокочены. А я нес в себе мальчика-убийцу с прозрачными невинными глазами, ни о чем не мог думать, ничего не хотел знать, а потому перебил:

— На нашей улице ночью убийство... В доме напротив... сын — отца...

Никита спешил:

— Что?.. Кто?.. Черт! Ничего не пойму!..

— Я тебе говорю: сын — отца!..

— Все сегодня с ума посходили... Да ты слышал, что я тебе сказал?

— А-а!.. — отмахнулся я. — Я только что видел убийцу!

— Твои знакомые, что ли?

— Нет.

— Ах, да, конечно, конечно! По нервишкам ударило... Но, извини, у нас здесь чепе! Ты же вчера не был на ученом совете, а там... Ну-у, обвал! Наш Борис Евгеньевич обрушился на Пискарева и Зеневича...

— Пискарев — Зеневич?.. Какое мне до них дело... В первый раз они, что ли, грызутся...

— Очнись! По всему институту карусель — Лобанов на дыбы поднялся! Кто бы мог ждать от старика...

Совсем очнуться я не мог — мальчик с прозрачными глазами не выходил у меня из головы, — но тем не менее институтская карусель подхватила меня и понесла.

Борис Евгеньевич, с которым в последнее время я как-то не сталкивался вплотную, совершил то, чего от него никто не ждал: объявил войну, произнес па ученом совете обвинение...

За последние десять лет через руки Пискарева и Зеневича прошло столько-то аспирантов, столько-то защитили кандидатские диссертации. Собранные в один букет, темы этих кандидатских поражали унылой одноцветностью — избитые проблемы, «пережевывание чужой жвачки». Подготовка каждого аспиранта обходится государству во столько-то рублей, на так называемые лабораторные исследования подопечными Пискарева и Зеневича истрачено столько-то. И столько-то раз в стенах института подымались скандальные войны — пискаревцы на зеневичевцев, зеневичевцы на пискаревцев. Поводы невинны и мелочны, методы борьбы — групповые интриги, подсиживание, передергивание и подтасовка фактов. Но это еще не все, Борис Евгеньевич обратил внимание на спецзаказы. Солидные организации заключали договора на научные исследования и выплачивали крупные суммы, львиная

доля из которых шла на повышение зарплаты исполнителям. Пискарев и Зеневич энергично проталкивали в наш институт детей именно тех влиятельных отцов, которые и могли обеспечить их заказами. Борис Евгеньевич потребовал создания компетентной государственной комиссии, способной беспристрастно разобраться, что это за заказы и на каком уровне они выполнялись. Общий вывод: Пискарев и Зеневич превратили институт в школу интриганства и карьеризма на научной почве, формировали не просто слабых научных работников, но и безнравственных людей, представляющих определенную опасность для общества.

Все это я узнал через двадцать минут после того, как переступил порог института.

А еще через двадцать минут меня потребовали к телефону — сам ректор вдруг вспомнил обо мне:

— Павел Алексеевич, не смогли бы вы сейчас подойти... Да, да, желательно сейчас!

Нашим ректором был некто Иван Павлович Илюченко. Он за свою жизнь успел побывать и директором совхоза, и секретарем райкома партии, руководил сельским хозяйством области, да не согласился при Хрущеве с ликвидацией травосеянья, круто полетел вниз. Уже будучи не первой молодости, он поступил в заочную аспирантуру одного сельхозинститута, защитил кандидатскую, написал докторскую, тогда вновь вспомнили о его руководящем прошлом, предложили возглавить наш институт.

Себя он ученым не считал, но науке служил ревностно. При нем институт построил второе здание, расширил свои лаборатории, по-современному оборудовал их. При нем, Иване Павловиче Илюченко, у нас появились средства «удовлетворять собственное любопытство за счет государства», то есть открылась возможность свободного поиска, без которого немыслима наука.

Мне не так уж часто приходилось сталкиваться с ним. Он ни разу не спускался в нашу лабораторию, не ревизовал нас, но в тех редких случаях, когда мне приходилось напоминать ему о себе, я не слышал от него: «Нет, не могу».

Это был стандартный на вид человек — среднего роста, средней полноты, круглая голова на просторных плечах, лицо с неистребимым крестьянским загаром, зачес с проседью, тщательно укрывающий скромную плешь.

И кабинет его был тоже казенно стандартен — обезличенный полированный стол с аккуратными стопками бу-

маг, с двумя телефонами, традиционный стол для заседаний под зеленым сукном, портреты на стенах, даже фикус у окна. Но, странно, он, стандартный Илюченко, не подходил к своему стандартному кабинету, каждый раз, как я видел его за письменным столом, у меня появлялось ощущение — случайно уселся, надо подождать, пока не придет настоящий хозяин.

Он проникновенно вглядывался в меня своими маленькими, глубоко посаженными глазами, наконец, задал вопрос:

— Как вы думаете, Павел Алексеевич, мне нравятся Пискарев и Зеневич?

— Смею думать, что нет.

— Они ко мне мчатся, чтоб облить грязью друг друга, а не к профессору Лобанову. Я, а не Лобанов, постоянно вынужден окунаться в их грязь. Никто так хорошо не знает их, как я, и никому так не тяжело от них, как мне.

Я выжидающе отмолчался, гадая, к чему эта исповедь. А Илюченко настойчиво ощупывал мое лицо.

— Вы согласитесь выступить с обличающими фактами, Павел Алексеевич? — спросил он. — У вас есть против них что-то такое... убедительное?

— Они меня не очень-то трогали, — ответил я.

Он с силой опустил широкую, мужичью, жесткую ладонь на полированный стол.

— Так!.. А у кого бы мне получить факты, дискредитирующие этих молодцов? Не подскажите?

Я пожал плечами.

— Больше всего они сами могли бы сказать друг о друге.

— Ну нет, теперь они дружно заявят, что их разногласия имели чисто научный характер, что каждый из них честно отстаивает свои принципы и позиции, но, увы, с некоторой, вполне понятной горячностью. И они картинно при всех еще принесут извинения друг другу...

— Создайте комиссию из ученых, они разберутся и выведут их на чистую воду.

Ректор невесело усмехнулся.

— Полезный совет, но... опасный.

— В каком смысле?

— На чистую воду никто и ничто не выплывет, а все мы увязнем в трясине. И произойдет это примерно таким манером... Вот профессор Лобанов упрекнул этих турнирных рыцарей, по меньшей мере, в десятилетней научной бесплодности. А вы думаете, что Пискарев с Зеневичем

покорно согласятся с этим? Нет, они резонно спросят: что за это время открыл сам профессор Лобанов? Да, у Бориса Евгеньевича большие заслуги, но все они относятся к довольно-таки отдаленному прошлому. За последние десять лет и профессор Лобанов принципиально новым, увы, не обрадовал. И выйдет: врачу, излечися сам!

— А ученики и их достижения разве тут не принимаются в расчет?

— Не забывайте, что учеников у профессоров Пискарева и Зеневича ничуть не меньше.

— Тогда стоит поднять опубликованные работы и сравнить по ним... качество учеников.

— Что ж, подыдем работу, скажем, некоего Кренихина Олега (был в свое время такой аспирант у Пискарева). Предположим, нам даже удастся доказать ее несостоятельность. Но Кренихин Олег Николаевич — ныне директор довольно крупного института. Кто решится доказать, что он не по заслугам преуспел?

И я озадаченно замолчал: действительно опасно, Борису Евгеньевичу легко оказаться в дураках, да и проверяющей комиссии тоже.

А ректор ровным голосом продолжал:

— А тут еще профессор Лобанов неосторожно тронул, мол, спецзаказы — чуть ли не взятки за опеку над недорослями. Эт-то скандал! Тут уже ставится под сомнение честность видных хозяйственных руководителей. Кто, кроме этих руководителей и их ближайших сотрудников, может знать, насколько необходим производству данный спецзаказ? Доказать со стороны, что спецзаказ дутый, практически, поверьте, невозможно. Зато обратное доказать легко, а уже после этого сам собой напрашивается и вывод: профессор Лобанов — злостный клеветник, а Пискарев и Зеневич — невинные жертвы.

— Выкладываете начистоту, Иван Павлович, чем я могу вам быть полезен? — спросил я. — Не думаю, чтоб вы вызвали меня просто так, для беседы.

Он встал, широкий, с выступающим животиком, с плоским сумрачным лицом.

— Одно обстоятельство вынуждает меня обратиться к вам, Павел Алексеевич. В нашем городе весьма скоро пройдет межгородская вузовская конференция по вопросу связи научного преподавания с практикой...

— Конференция?.. Но при чем тут я?

— Вы нет, а Лобанов — да. Я могу утрясти любой конфликт внутри института, даже, самый скандальный. Но

если скандальное прорвется на конференции, то я уже бессилён что-либо сделать — институт будет обесславлен, а профессор Лобанов окажется в клеветниках. И единственно, кто останется в выигрыше, — Пискарев с Зеневичем...

— Вы хотите, чтоб я остановил Лобанова?..

Ректор заглянул мне в зрачки, заговорил резко:

— Вы в институте самый близкий ему человек. Он считает вас своим лучшим учеником. И вам он, думается, тоже дорог. Поэтому сделайте то, что бессилён сделать я, — откройте глаза! Постарайтесь ради него самого убедить Бориса Евгеньевича ничего не предпринимать больше!

— А если у меня не получится? — спросил я.

— Тогда будет плохо Лобанову... Мне... И вам, Павел Алексеевич, тоже! Именно на учениках-то Лобанова и станут отыгрываться Пискарев с Зеневичем. Они же люди беспощадные, вы это хорошо знаете.

Я знал. Но как, однако, все до смешного ненадежно. Уж если такой трезвый человек, как несентиментальный Илюченко, хватается за непрочную соломинку — воздействуй на чувства своего учителя, любимый ученик, иного выхода не вижу! — то, значит, серьезная заваривается каша.

Нет, ректор не выжимал из меня согласия, а я, уходя, не сказал ему ни да, ни нет. Я еще не решил, стоит ли мне принимать на себя столь странную и неблагодарную обязанность: учить разумности своего учителя.

В этот день я так и не встретился с Борисом Евгеньевичем. И весь день до вечера незримо за моей спиной стоял мальчик-убийца со светлыми невинными глазами.

10

Вечером же к нам пришел Боря Цветик.

Мы уселись по обыкновению на кухне. На окно навалилась темнота, не видно ни городских крыш, ни дома-близнеца напротив, и тиха внизу наша улица, только с проспекта доносится шум машин. Майя гремела чашками, собиралась поить нас чаем. У нее, как всегда, губы в изломе, лицо страстотерпицы, но особой подавленности в ней не чувствуется, внимательно слушает Бору, порой даже замирает, перестает греметь чашками.

Все кругом так ненадежно — выбиты подпорки, вот-вот обрушится, загремит, останусь среди обломков. Я тихо

страдал и... наслаждался. Да, наслаждался — тайком, почти воровски — семейным вечером. Я следил со стороны за Майей, жадно ловил и запоминал каждое ее движение, ее вздернутые узкие плечи, ее тонкую талию, охваченную фартучком с вышитыми тремя пляшущими поросятами, ее будничную озабоченность под маской страстотерпицы на лице. И кипящий на плите чайник, и расставленные по местам чашки с блюдечками, и гость за столом, и беседа... Это малое житейское никем обычно не замечается, никем не ценится — привычное! Радуюсь, что оно у меня еще есть, мне больно и хорошо...

Благодушный гость и беседа... Однако беседа-то далеко не благодушная — говорим о чужой беде.

Всеведущий и вездесущий Боря Цветик, оказывается, знал убитого отца — некий Рафаил Корякин, мастер с автостанции при мотеле, широко известный любителям-автомобилистам всего города. Он недавно выправил Борису помятый «пожарный» «Москвич».

— Что за человек?.. Да обычный скот во всем, кроме рук. Руки у этой скотины были золотые, ничего не скажешь. Помятую в гармошку машину — смотреть страшно! — выправит, от новенькой не отличишь никак. После любой аварии все к нему. Кто половчей, того без очереди, а так всегда у Рафки длинный хвост. Сотни машин сквозь его руки проходили, с каждой получал в лапу, деньги мусором считал. И потому пил с размахом, осатанело. Обязательно компанию должен иметь, чтоб было во время пьянки кого загрызть. Без этого не мог. Как чуть пропустит с прицепом, так звереет. Представляю, каково жене такого оскотиневшего встречать каждый вечер. Сын, говорят, не в папу, скромный парень, ни в чем дурном не был замечен. И будто бы он несколько месяцев назад предупреждал отца: не тронь мать — убью! И любопытная, знаете ли, деталь: отец не спрятал ружье, хотя жена и упрашивала — унеси от греха. Судьбу, выходит, испытывал.

Боря Цветик рассказывал с умудренным пренебрежением. Белоснежная сорочка, неброского цвета галстук, тугие, гладко выбритые щеки — чистый человек, вынужденный ковыряться в житейских отбросах.

Я решился спросить:

— Интересно, водка его скотом сделала или, наоборот, скотская натура на водку бросила?

— А не все ли равно, — отмахнулся Борис.

— Важно знать, скотство такого Рафки врожденное или приобретенное?

— С четвертинкой во рту не рождаются, всех как-то жизнь приучает.

— Прежде считали — нужда беспросветная к водке гонит, но Рафка, похоже, не нуждался...

— Рафка зашибал больше, чем мы с тобой вместе взятые зарабатываем. Ружьецо-то, из которого убили, зауэровское, три кольца. За такое тысячу отдай.

— Жена-стерва его довела?

— Забитая баба, она слово поперек сказать боялась.

— Не скорбь же мировая — причина?

— Ха! Скорбь мировая у Рафки!

— Значит, с четвертинкой родился — наследственность! — решил я.

Боря Цветик помолчал, вызванивая ложечкой в чашке, наконец изрек:

— Просто скука. Она страшной всякой нужды и скорби.

— Как скука?.. — не понял я.

— Да так, некуда себя деть — это, брат, проклятие, от него не только к бутылке, в петлю полезешь.

Мне постоянно в жизни не хватало времени, дни безделья обычно вызывали угрызения совести — что-то всегда не окончено, ждет меня, висит грузом на шее. Даже на счастливом Валдае нет-нет да врывалось беспокойство — стороной течет время!

— Не представляется, — сказал я.

— Ой ли? — со снисходительным великодушием возразил Боря. — Рафка Корякин из той породы людей, над которыми, так сказать, довлеют два высоких чувства: утром им неохота идти на работу, а вечером домой. Неохота — его основное, если не единственное чувство в жизни. А еще, как назло, ему предоставили в неделю два выходных. Впрочем, вру, Рафка, кажется, работал пересменно — день вкалывал по двенадцать часов, день отгула... Через день полная пустота, куда себя деть? От этого, брат, вопроса застонешь. Книги Рафка не читал — не тянуло, телевизор обрыдл, «козла» забивать с пенсионерами не по характеру — натура, видишь ли, беспокойная. И выходит, что иного спасения нет, кроме водки. Шарахнешь стопку, другую, и вместо пустоты веселье, вместо ненужности приятельские объяснения: «Ты меня любишь, ты меня уважаешь?..» И страсти, брат, страсти! Конечно, многие берегутся этой заразы, но почти каждый на свой манер со скукой воюет.

— Уж так-таки каждый?..

— Исключения, конечно, случаются.

— А ты тоже воюешь?

Боря Цветик пожал пухлыми плечами.

— И я тоже. Только делаю это половчей Рафки. Не в пример ему умею себя занять: книги читаю, даже философские, историей медицины интересуюсь... Но и на меня находят времена — хоть вой.

У Бори всегда на все есть ответ — счастливый характер. А я вечно изобретаю загадки. Вот и сейчас покойный Рафка для меня загадка, а вместе с ним загадка и я сам. До сих пор я отвечал просто: не скучаю потому только, что некогда, съедает работа. Но работал и Рафка, умело, красиво, наверное, часто получал удовольствие от своей работы — машина гармошкой становится как новенькая! А так ли уж часто получал удовольствие я? Досадных огорчений в деле я имею, право, куда больше, чем радостей. И все-таки мое дело — моя страсть, до появления Майи единственная. Не потому ли, что я самолюбиво хочу доказать людям — могу сотворить им небывалое, могу их осчастливить? Чувство необходимости людям, не это ли занимало все мои силы, все мое время? Скучать? Где уж. Однако и к Рафке стояла длинная очередь, в Рафкиных золотых руках нуждались. Он тоже мог — вполне мог! — испытывать такое же чувство: необходим людям! Только есть между нами и различие. Я получаю обычную зарплату, за мое чувство мне никто ничего не приплачивает. Очередь же тянула Рафке деньги. Деньги и высокое чувство не совместимы. За твою услугу я тебе заплатил, значит, больше ничего не должен, ничем тебе не обязан, не испытываю ни благодарности, ни вообще чего-либо к тебе человеческого. Рафка «получал в лапу», то есть обдирал. А тех, кого обдираешь, уважать нельзя, скорей — презирать. Из дня в день презрение, оно, наверное, стало привычкой. Презрение ко всем — к друзьям, к жене, к тому же сыну... И кто мог, сторонился его, остальные терпели, никто не любил. Как жить, если все кругом противники, никто не близок? Хоть на минуту да обмануть себя: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!..»

— Послушай,— сказал я Боре после молчания.— А ведь не в скуке дело — в одиночестве.

Боря не мог знать, что прокипело во мне за эту затянувшуюся паузу, он небрежно хмыкнул.

— Одиночество?.. Такие, как Рафка, всегда в куче.

— То-то и оно, что и в куче можно быть никому не нужным. Он и в семье был чужим...

— А семья вовсе не роднит. Да! Семейные-то люди чаще всего и творят чудеса. Не замечал?..

И стрельнул в меня нескромным острым взглядом. Не так-то прост этот добродушный Боря Цветик — подозревает чудеса и в нашей маленькой семье. Нескромный взгляд заставил меня с вызовом спросить:

— Не оттого ли ты с Леночкой из Комплексного не сходишься, что чудес боишься?

— Оттого, — ответил он не моргнув глазом.

— И Ленка с этим мирится?

— Ленка — умница, понимает не хуже меня, как это страшно: стать мужем и женой, торчать нос к носу изо дня в день, из года в год. Осточертеет, а спрятаться некуда. Какая уж тут любовь?

— Значит, чтоб любить, надо прятаться друг от друга?

— Держаться на расстоянии, — невозмутимо изрек Боря.

— А вот меня почему-то тянет к тому, кого люблю. Думаю, и других тоже.

— Тянет. Да. Но умей сдержаться. Вот мы с Ленкой держимся в разлуке, ждем не дождемся субботы, целую неделю живем этим ожиданием. И она наконец наступает: я являюсь к ней с цветами, она встречает меня нарядная, стол накрыт белой скатертью — праздник. Я приехал на встречу мечте, она видит вымечтанного. Ну а если бы мы сошлись, никаких светлых праздников, сплошные серые будни.

Майя сидела рядом, не участвовала в нашем разговоре, но слушала, напряженно слушала — разлившиеся зрачки, скорбяще сведенные губы. Боря Цветик, расправив полные плечи, ласково поглядывая то на нее, то на меня выпуклыми глазами, продолжая вещать сокровенное:

— Все согласны, все, что пора влюбленности — самое счастливое время жизни. Поэтами воспето, слезами сожаления омыто — неповторимо! И вот ведь поразительно: когда эта счастливая пора наступает, все торопятся ее сократить. Не успели по-настоящему повлюбляться — к свадебному столу! От поэзии — к прозе жизни, от полноты чувств — к скудости, от богатства переживаний — к однообразию. Ну не глупо ли?..

Я уже страшился глядеть в сторону Майи — именно так мы с ней и поступили: оборвали влюбленность, чтоб теснее сойтись, от поэзии — к прозе... И сейчас мы не можем похвастаться, что счастливы.

— А не кажется ли тебе, что ты превращаешь жизнь в игру? — спросил я.

Боря на минуту задумался, только на минуту, чтоб решительно согласиться:

— Может быть.

— Но так можно проиграть лучшие годы — получить удовольствие и в конце концов остаться ни с чем.

Боря Цветик не успел возразить, как раздалось:

— Т-ты!.. Т-ты ханжа, пуританин! Т-ты!.. Ты всегда все сводишь к голому утилитаризму!..

Майя, до сих пор слушавшая молча, с напряженным вниманием, взорвалась.

Лицо ее было бледным и болезненно перекошенным, дышащие зрачки, голос дрожащий, захлебывающийся:

— Люди всегда, всегда стремились скрасить постылую жизнь игрой. Да! Да! Пели, танцевали, мистерии устраивали... Во время Олимпийских игр древние греки бросали самые неотложные дела, даже войны прекращали!.. Да укради у людей игру — от тоски, как мухи от холода, вымрут! Но всегда найдутся Савонаролы, которые запретят — не играй, не смей наслаждаться красотой! — заставят художников сжигать свои картины...

Боря Цветик, растерянный и, как я, оглушенный, попытался было остановить Майю:

— Да чего ты, право... Так сразу и всерьез!..

Но Майя и не слышала его, направив на меня свое пугающее асимметричное лицо, кричала. И на щеке у нее натягивались сухожилия, и на лбу зацвели красные пятна.

— Нет несносней на свете тех, кто всегда поступает с расчетом, живет всерьез!.. Они так высушат вокруг себя, что любой росточек на корню вянет!.. Ты-ы! Ты-ы!.. Кого ты сделал счастливым?! Сам-то, сам-то счастлив?.. Я рядом с тобой счастлива?.. Не-ет! Не-ет!.. Дышать трудно возле тебя, скуш-но-о! Скуш-но-о! Пропадаю!..

Майя сорвалась, кинулась из кухни в комнату. Слышно было, как там с грохотом упал сбитый стул.

Боря Цветик поспешно скрылся от чужой беды. Я толкался в кухне, в коридоре, зачем-то зашел в ванную комнату, зеркало отразило мою подавленную физиономию, широкую, с крутыми тесаными скулами, настолько грубо

плотскую, что только зыбкая тень страдания отражалась на ней. Каменная рожа, из такой слезы не выжмешь, противен сам себе.

Наконец я осторожно прошел в комнату. Майя лежала на тахте лицом к стене.

Семейные сцены — тривиальнейшее явление.

Семейные сцены — многоактные трагедии, которые старательно прячутся от стороннего зрителя.

Никто не воспринимает их всерьез: перемелется — мука будет.

Но навряд ли мировые катаклизмы и социальные несправедливости вызывали столько приступов отчаяния, ненависти, ярости, сколько их прорывается ежесуточно и вездесуще в семейных сценах.

Если я молод и здоров, то изнурительный труд, нужда, даже фатальные неудачи, право, так не страшны для меня, как несовместимость с тем, с кем мне суждено жить бок о бок. Несовместимы — значит, на радость ответят мне негодованием, на гордость — презрением, на порыв откровенности — замкнутостью.

Семейные сцены — жуткие схватки во имя самоутверждения, неизбежно приносящие только самораспад! Локальные баталии, заполняющие мир калеками, духовными и физическими, неизлечимыми психопатами и безнравственными эгоистами, патологическими мизантропами и безнадёжными инфарктниками.

Семейные сцены — эпидемическое заболевание, свирепствующее в человечестве.

Я стоял над Майей, она не шевелилась — спутанные волосы, трогательно тонкая белая шея, согнутая спина, поджатые ноги, даже тапочки не скинула. Я стоял затаив дыхание, и паркет поскрипывал под моими ногами. Спinoй ко мне, чувствуя, что я рядом...

Затеняющаяся луна над Настиным омутом... Розовый океан над праздничным городом... Валдайская робинзонада — ночи с кострами. Минуты в Тригорском на онегинской скамье: «Оракулы веков, здесь вопрошаю вас...» И все это, величественное, незабываемое, кончается — лицом к стене, спиной ко мне!

Я стою за ее спиной, я, раздавленный, униженный, кающийся, боюсь издать вздох, лишь паркет скрипит под моими ногами. Она слышит — я здесь! — она не оборачивается...

Я постоял и отошел. Но деваться мне некуда. На кухне неприбранный стол, на ручке двери висит ее фартучек с

аппликацией — три розовых пляшущих поросенка. А в коридоре у входных дверей под порогом стоят рядом мои тяжелые туфли и ее легкие ботики. Мы уже далеко друг от друга, а вещи все еще хранят нашу близость.

...Когда меня снова занесло в комнату, она уже не лежала, а сидела на тахте — бескостно согнутая, с обвалившимися плечиками, взлохмаченная, бледная, устало глядящая перед собой. Я навис над нею, громоздкий, раскатынный, ждущий.

— Павел... — выдавила она из себя тускло. — Нам надо побыть... по отдельности... Хотя бы сутки-другие...

Я молчал. Я мог произнести лишь бессмысленно пустой вопрос: «Зачем?» Она продолжала трудно, через силу, уставшим голосом:

— Сейчас я... к родителям... Так надо! Я им скажу, что ты... ты срочно уехал в командировку... На три дня.

Я молчал. Совершалось бегство от меня, от нашего прошлого. Я понимал, сейчас, вот сейчас лопнет соединявшая нас струна, и возможно ли будет снова связать ее?

Я молчал, остановить Майю не в моей власти. Пол скрипел под моими ногами. Она, должно быть, чувствовала мольбу в моем взгляде, а потому старательно смотрела в сторону, говорила насильственным голосом:

— Всего на три дня... Я хочу сделать себе каникулы. Павел... Да... от семейной жизни... Да... устала!..

Под дверью у выхода остались в одиночестве мои туфли.

12

Человечество делится попарно — Он и Она! — так живет и только так может поддерживать жизнь, создавая себе подобных. Он и Она — самая важная связь, прочность которой гарантирует неумирание. У меня эта связь — вот-вот на пределе... Вот-вот... Если уже не лопнула.

Утром я привычно шагнул в институт.

Утром?.. Нет, ненастная ночь провожала людей на работу. И лишь когда большинство примутся за свои дела, над городом забрезжит скудный рассвет, но его уже никто не станет считать утром — день давно начат. В это глухое время года у нас утра не бывает.

И пустой дом у меня за спиной. И впереди институт, который никак не может помочь мне.

Неожиданно я вспомнил слова Бори Цветика о покойном Рафке: из той породы людей — утром им неохота идти на работу, вечером домой. Я вспомнил и содрогнулся от ужаса, представил себя в этой роли — ни там, ни тут, велика планета, а мне нет на ней места!

До сих пор я не замечал, что вокруг существуют изгнанники — топчут землю и чувствуют себя на ней лишними, не знают, куда пристроиться, не ведают, зачем живут. Им даже некого винить, их, собственно, никто не гонит, сами не в силах приспособиться к миру, всюду неуютно, всюду постыло. Винить некого, но это не мешает ненавидеть — всех! За то, что все счастливее неприкаянного.

Темное утро поздней осени. Ненастный город, я в нем...

Я почувствовал ужас, и он отрезвил меня.

Мне нет места на земле?.. Как я, однако, раскис, как опустился! Меня сейчас ждут в институте — нужен! Ждет работа, которой я уже отдал кусок жизни, надеюсь отдать всю жизнь целиком. Только бездеятельный может чувствовать себя лишним, я же бездельником не был и не буду! Неохота идти на работу?.. Ой нет, мне не грозит...

Не грозит?.. Эй-эй! Только ли ты сам распоряжаешься своей судьбой? Разве не может случиться всякое? Ты застрахован от козней недоброжелателей?.. Даже люди, преданные тебе, любящие тебя, сами того не желая, могут легко подвести... Борис Евгеньевич сейчас ринулся напролом, грудью на непосильные завалы — сорвется, разобьется, будет затоптан. До сих пор он тебя надежно прикрывал, ты уютно жил за его широкой спиной. Теперь окажешься открыт, беззащитен — нападут, сомнут, выбросят на сторону! Как просто стать неприканным.

Меня попросили поговорить с Борисом Евгеньевичем, я пока этого не сделал, сомневался, нужно ли...

Дома пусто. Он и Она — вот-вот, натянуто до предела! Родной дом — не спасение. Как никогда, я сейчас нуждаюсь в убежище. Я должен встретиться с Борисом Евгеньевичем, убедить его...

Комната кафедры прикладной химии в старом корпусе на втором этаже. Два окна, разделенные узким простенком, упирались в разросшийся во дворе тополь. Летом от его густой кроны здесь всегда было сумеречно и суетливая птичья мелочь нагло кричала в распахнутые фор-

точки. Сейчас к оконному стеклу тянулись старчески узловатые почерневшие от дождя ветки, мокрые лохмотья уцелевших листьев висели на них. И похоронно тихо в стенах.

Я ожидал увидеть Бориса Евгеньевича омраченным, с печатью усталости и страдания на челе. У него же был до обидного благополучный вид: торжественно сияющая лысина, привычная кроткая голубизна глаз и некая сосредоточенная важность в морщинах, важность уважающего себя человека.

Все, что мне говорил ректор, я добросовестно изложил, не упустил ничего, беспристрастно обрисовал неизбежные последствия: торжество Пискарева и Зеневича вместо их поражения, неприглядное положение самого Бориса Евгеньевича. Он внимательно меня выслушал и равнодушно обронил:

— Что ж... Скорей всего так и получится.

А я-то ждал резких, до негодования возражений, мол, не так-то легко меня опрокинуть. Спокойно соглашается — будет бит, — словно речь идет об очередном эксперименте, на желаемый результат которого рассчитывать не приходится.

— Получится-то некрасиво — вас выкупают в вонючих помоях! — возмутился я.

Он усмехнулся.

— А вы думали, что я жду оваций и триумфа?

— Тогда мне и совсем непонятно. Странное стремление — быть выкупанным в нечистотах.

— Оно обещает очищение от скверны, мой мальчик.

— Каким же образом?

— Меня могут втоптать в грязь, но не мое слово. Как только снова Пискарев с Зеневичем примутся за прежнее — а они иначе не смогут существовать! — так все вспомнят, что было о них сказано. Мое слово будет висеть над ними дамокловым мечом. А ради этого стоит рисковать.

— Собой?..

— Разве я кого-то другого подставляю вместо себя?

— Да. Только не вместо, а вместе с собой.

Борис Евгеньевич искоса внимательно-внимательно оглядел меня своим голубым взором.

— Вы боитесь за себя, мой мальчик?

— Боюсь, Борис Евгеньевич! И за себя, и за всех сотрудников лаборатории. Нам не дадут ни жить, ни работать. И вы это знаете!

— Знаю, что у вас могут быть неприятности. Знаю, что вы, Павел, достаточно крепкий человек, чтоб мужественно их перенести. Знаю, наконец, что все дело времени — убить навсегда ни вас, ни меня пискаревы не способны.

На минуту я подавленно замолчал. Не мог же я открыться Борису Евгеньевичу, что именно сейчас меня легко можно если не убить, то навсегда изуродовать: лиши последнего убежища, оторви от тех, с кем еще связан, останусь совсем один, без места на земле. Дело времени... А время-то смыкается над моей головой!

— Много ли изменили мир подвижники?.. Это ваши слова! — напомнил я.

Он не сразу, задумчиво ответил:

— Кто знает, что стало бы с нашим миром, если б возмущенные молчали?

— Недавно я видел мальчишку-отцеубийцу... Вы, наверное, слышали о нем...

— Слышал... Какое отношение имеет к нам этот случай?

— Пример жертвенности, Борис Евгеньевич. Мальчишка решил очистить от скверны семью. И что?.. Сделал еще сквернее. Мать, столько терпевшая от пьяницы мужа, теперь неизлечимо травмирована на всю жизнь, сам мальчишка попадет в колонию для малолетних преступников, кто знает, каким он оттуда выйдет.

— Вы хотите сказать, никакой жертвенностью людей умнее и чище не сделаешь?

— Вот именно!

— Что-то вы стали дурно думать о людях, мой мальчик.

— Дурно?.. Нет! Я лишь просто перестал верить себя, что готов умереть от любви к ним.

— Вот как! А можно ли жить среди людей, не любя их?

— Лучше спросите, можно ли вообще любить людей. Людей! Некую массу! В нашем городе пятьсот тысяч жителей, и если я вам скажу, что люблю их, то это будет неусветная ложь. Невозможно любить такое количество. А тем более четыре миллиарда на планете. Кто кричит о столь масштабной любви, тот сверхсамовлюбленный идиот, считающий, что ему все по плечу, даже объять необъятное.

У Бориса Евгеньевича сразу осунулось лицо, запали глаза, стали жесткими морщины. Он долго разглядывал

меня исподлобья, наконец заговорил, и голос его был чужой, черствый:

— Логически вы, пожалуй, и правы. Да, нельзя объять необъятное. Но столь убийственно трезвая логика может прийти в голову или уставшему от жизни человеку, или... или бездушному! А так как вам еще не исполнилось и тридцати, то устать от жизни вы вряд ли могли. Как ни прискорбно, я должен сделать для себя вывод...

Впервые за все многолетнее наше знакомство я услышал от Бориса Евгеньевича столь жестокое по своему адресу. И от отчаяния с вызовом и раздражением я заговорил:

— Жаль, что вы сами не заметили, приходится уверять: эта трезвая логика мне нелегко далась, прежде я переболел, и сильно!..

— За кого? За самого себя или за других?

— Да можно ли болеть за себя одного, всегда же с кем-то связан в один узел!

— Можно! — отчеканил Борис Евгеньевич — И вы это делаете сейчас. Не мой будущий позор вас тревожит, не судьба товарищей по работе — вы сами, ваше личное спокойствие, ваше благополучие!

— Борис Евгеньевич!..

— Да, я, Борис Евгеньевич Лобанов, бывший ваш учитель, начинаю подозревать вас в своекорыстной рассудочности. Прошу прощения, но вы сами дали мне повод к этому.

Он решительно поднялся...

Только когда оказался в коридоре, я понял, что стряслось: вот теперь-то, похоже, я останусь уже совсем один! До сих пор при всех несчастьях я мог рассчитывать — с ним не порвется, с моим духовным отцом. Порвалось раньше, чем с другими... Неисповедимы пути твои, господи! И непостижимо твое коварство!

Всё перемешалось у меня, всё сдвинулось, стало шатким и зыбким: родной дом страшен — беги и прячься, институт ненадежен, а человек, которого я смел называть высоким словом Учитель, с презрением отвернулся от меня. За каких-то два дня потеряно все, чего я добивался в течение жизни. Завтра утром я без охоты, насилуя себя, потащусь в лабораторию, корчась от мысли, что наш с

Борисом Евгеньевичем разлад уже известен моим товарищам. И все станут притворяться передо мной — ничего не знают, а я перед всеми — ничего не случилось.

Но до утра надо как-то еще дожить. Даже это проблема: куда спрятать себя на вечер?..

Я закатился по старой памяти в городскую библиотеку.

Когда-то я любил поплавать там в читальном зале «без руля и без ветрил», отдаваясь побочному ветерку любопытства, набирая всякую всячину. Полутьма под высоким потолком, отрешенно склоненные головы, тишина, нарушаемая шелестом страниц. Я нырял в книги, не ведая наперед, к какой гавани меня прибьет.

Все перемешалось у меня, все шатко, а потому хотелось сейчас окунуться во что-то надежное, незыблемое. Где найдешь эту незыблемость? Нынче мы даже свою планету не считаем надежной — тесна, загрязняется, грозит переменой климата, термоядерная взрывчатка прячется в ее хранилищах. Остается одно — вселенная, она тоже меняется, но для меня, микроскопически малого, ее величавые перемены равносильны покою.

Журнал, который я положил перед собой на столик, не обещал легкого чтения. Тем лучше, заставит меня забыть обо всем.

Он заставил забыть меня даже самого себя... Я ждал покоя и гармонии, а со страниц, испещренных формулами, на меня двинулись кошмары, какие не могут явиться и в бреду. Что там Иероним Босх!

Статья излагала теорию академика Маркова. Не мальчишка-прожектор, не свихнувшийся маньяк, известный физик-ядерщик из Дубны, опираясь на работы Эйнштейна, Фридмана, на новейшие достижения и своей науки, и астрономии, доказывал: необозримая вселенная, включающая в себя миллиарды галактик, а значит, несчетные триллионы солнц и таких скромных миров, как наша Земля, в своем расширении для стороннего наблюдателя должна сжиматься... до размеров элементарной частицы, то есть до ничего, практически до нуля! И такими сторонними наблюдателями по отношению к другим вселенным, о существовании которых мы пока и не подозреваем, можем быть мы с вами. В чашке чая, стоящей на нашем столе, могут оказаться тысячи, миллионы таких частиц — фридмонами назвал их Марков. В чашке чая — вселенные со звездными галактиками, с планетами, с иными цивилизациями, с существами, подобными нам, радующимися и страдающими, и стремящимися все познать! И возмож-

но, наша вселенная вместе с нами затерянно болтается в чьей-то чужой чашке чая. Бесконечно великая матрешка прячется в матрешке запредельно малой. Только свихнувшийся разум может согласиться на такую химеру.

Величественное не способно быть суетным?.. А величественного-то и нет вовсе, оно равнозначно ничтожному. Дикое тождество несовместимостей — Всего и Ничего, Бесконечности и Нуля! Природа — немыслимый оборотень! Воистину: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!..»

Я бредл домой по темному городу, придавленному беспросветно темным небом. Я пытался себя успокоить...

Химера?.. Да. Но скорей всего она лишь доказывает, что торжествующая физика зашла сейчас в тупик. Не так ли было и на исходе прошлого века: озадаченным физикам, чтоб связать концы с концами, потребовался тогда заполняющий мироздание эфир, нечто неуловимо легчайшее и в то же время обладающее упругостью стали. «Стальной» эфир развеялся, а сама физика перевернулась.

Я искал оправдание химеричности человеческого разума, прибегая все к тем же разумным усилиям. А чем еще я мог воспользоваться, чтоб не сойти с ума?

Был этот мир глубокой тьмой окутан.

Да будет свет. И вот явился Ньютон.

Но сатана недолго ждал реванша.

Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше.

Сатана издевается: грядет новый переворот в науке, что-то вдруг обгонит луч света, и прошлое, того гляди, перемешается с будущим, и трехмерное уютное пространство станет запутанно многомерным, и незыблемые законы естества с грохотом обрушатся, а природа-оборотень скорчит насмешливую гримасу...

Куда едешь ты, таинственный всадник, и кто тебя посадил на коня? Человек, несущийся в неведомое!

Глава пятая

ПОТЕМКИ

1

На исходе третьего дня Майя позвонила в лабораторию. В ее голосе были непривычные заискивающие интонации:

— Павел, папу вызвали в Москву, мама одна. Я бы не хотела, Павел, сейчас оставлять ее. Я сказала ей, что ты задерживаешься еще на три дня.

Заискивающие интонации, неискренние интонации — она лгала матери, лгала сейчас и мне. Но я был благодарен ей за то, что слышу сейчас ее голос, за то, что через три дня обещает вернуться. Я-то готовил уже себя ко всякому. Три дня как-нибудь...

Эти трое суток я — с утра до вечера, ночами перед сном — думал, думал до изнеможения.

Еще, оказывается, не разрыв, всего-навсего «каникулы», как она сама назвала. И не такие уж, в общем-то, и длительные.

Но возвращаться ей явно не хочется, попросила отсрочки, решилась на ложь!

В самом деле, что ей торопиться, знает: снова ее ждет молчание по вечерам, та же скука, от которой сбежала, тот же «педобожий дом казенный», мое бессилие чем-либо помочь ей.

Ну, а чем она занимается там, в стороне от меня?..

Чем-то более интересным, если продлила свои «каникулы»?

Чем?..

И позвонила всего один раз, по крайней нужде... Мне звонить не дозволяется, я в «командировке».

Больше звонка не было. К счастью! Я боялся, придумает еще что-нибудь, лишь бы оттянуть возвращение.

И вот он, выжденный вечер.

Стучит ленивый дождь за окном, слышно глухое шевеление заполненного людьми большого дома. Я пораньше пришел с работы, подвязался Майиным фартучком с тремя поросятами, стал прибирать запущенную квартиру: пылесосил, чистил ванну до блеска, прошелся тряпкой по кухне... И вот сел, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся с лестничной площадки. Стучал дождь за окном, пробивались сквозь стены звуки чужой жизни — где-то плакал ребенок, этажом ниже хлопнула дверь, бормотал у соседей телевизор.

Нет, я не успел отчаяться. Чудо, которого, изнемогая, ждал, произошло: за дверью послышались шаги, знакомая мне летящая легкость! Меня подкинуло, рванулся к выходу, замер с ухающим в груди сердцем.

Сосредоточенное шевеление по ту сторону двери, щелкнул замок, и... она вошла. В окропленном дождем берете

на густых волосах, с мокрыми свежими щеками — и знакомая кривизна губ. Она!.. Как и мечталось!

В темных глазах метнулось тревожное, секунду стояла, потерянно уставившись, и вдруг сморщилась беспомощной, виноватой улыбкой.

— Ка-кой ты потешный!..

Я цепенел, боялся пошевелиться — исчезнет, и жуткое одиночество снова сомкнется надо мной.

— Не снимай, тебе идет...

Только тут я вспомнил — фартучек с веселыми поросятами на моих чреслах. Действительно потешно — эдакий мрачный верзила с помертвевшей вытянутой физиономией и три розовых пляшущих поросенка.

— Май-ка-а...

От моего голоса она сразу стала серьезна.

— Ну, как ты тут, — отстраненно и деловито.

Как?.. Легко спросить, невозможно ответить.

Она выскользнула из плаща, осталась в гладком обтягивающем свитере — тонкая, гибкая, с мокрыми щеками, настороженно блестящими влажными глазами.

От кофе она отказалась:

— Нет, нет, не хочу.

Из путаницы волос — розовое маленькое ухо и белая падающая шея, теплоту ее чувствую на расстоянии. Шея тонет в воротнике свитера, потайно разливается в плечи и грудь. Под свитером беспокойно и скрытно живет ее тело — неужели смел когда-то его касаться?! Из рукавов свитера вырываются руки, до прозрачности бледные, хрупкие, беспокойные. Они поминутно одергивают короткую юбку, стараясь прикрыть вызывающе твердые колени.

Неожиданно я почувствовал монолитный покой. Она рядом, значит, мир стоит, как стоял!

Я робко положил руку на ее плечо.

— Май-ка-а...

Она неловко поежилась, моя рука упала.

— Поговорим, Павел...

Рядом — да, но не вместе со мной.

Убегая от меня взглядом, она заговорила с неискренним оживлением:

— Ты знаешь, кого я за это время встретила?... Гошу Чугунова! Такой же тощий, и бороденка — словно посуду чистили...

Что-то странное в ее голосе, и слишком подозрителен ее воровато-уваливающий взгляд, и жаркий, пунцовый

румянец на скуле, и набежавшая морщинка на чистом лбу. И Гоша Чугунов вдруг, ни с того ни с сего, он, забытый, словно выеденная давным-давно консервная банка. Столько пережито, так кровоточит сейчас, не глупо ли занимать себя посторонним, ненужным?

— Ты сказала, поговорим... Давай.

— Я и говорю, вот Гошу встретила...

— Да разве это так важно, Майка? Гошу, господи!.. Только это ты и принесла ко мне?

Она гневно вспыхнула, смутилась — склоненный лоб, упавшая прядь, напряженная морщинка между бровями, пятна на скулах. Странное смущение — с неприязнью.

Глухим и вызывающим голосом она попросила в пол:

— Тогда скажи о своем... важном.

О своем?.. Я растерялся. О том, что от меня отвернулся Борис Евгеньевич? О том, что в институте назревает большой скандал? Или, может, о том вселенски химерическом, что вычитал я в библиотеке?.. Что бы ни сказал я сейчас, все покажется так же несущественно посторонним Майе, как мне ее сообщение о состоянии Гошиной бородавки — «посуду чистили»...

Я не успел ничего сказать, она подняла на меня свои потерявшие блеск глаза.

Вопрос придушенным шепотом:

— Почему ты презираешь его?.

— Ты о Гоше?

— Да! Скажи мне о нем все, что думаешь. Пусть самое неприятное — дурной, порченный, фальшивый, подлый! И докажи. Мне очень это нужно. Я поверю... Я очень хочу тебе верить, Павел!

Шевельнулась догадка, но она была столь нелепа, столь чудовищно курьезна и оскорбительна для Майи, что заставить себя поверить в нее невозможно.

— В чем дело, Майка?

— Спаси, Павел!

— Тебя?..

— И себя тоже.

— От чего?

— От кого, Павел...

Нелепое росло, становилось явью.

— Спаси от... — я не мог произнести его имя.

— Да! Да!.. Я тебе сейчас наврала. Из трусости... Я не случайно его встретила. Нет! Сама нашла.

— Зачем?

Глупейший вопрос, но в шоке умными не бывают.

— Затем, что давно уже думала о нем...

Гримаса исказила ее лицо, она поспешно отвернувшись, согнутая спина ее вздрогнула, раздался сдавленный всхлип.

— Я боюсь... Бо-юсь!.. И его, и себя... Скажи, Павел... скажи все, заставь меня поверить... Хочу же! Хо-чу!..

А я молчал, было пусто, пусто в голове, весь я пуст — ни боли, ни даже удивления, одно лишь тупое недоумение: не может того быть, не может!..

Она плакала, я бесчувственно смотрел на нее.

2

Даже в самые счастливые наши дни на меня иногда находило беспокойное сомнение, достоин ли я Майи. В последнее время это сомнение преследовало меня вспышками потаенного ужаса: она ошиблась во мне, жди, появится тот, кто на меня не похож, лучше, чище, значительней! И я давил эти вспышки в себе, старался не думать о нем, о достойном.

Гоша Чугунов! Вот те раз!..

И оскорбление — на кого она?! — и облегчение, почти надежда: не такой уж, право, опасный противник, я-то думал...

Я выходил из столбняка, а Майя продолжала тихо плакать.

— Это не страшно, Майка, — произнес я наконец.

Она вздрогнула и дико на меня поглядела сквозь непролившиеся слезы.

— Это скорей смешно, Майка...

Она вся подобралась.

— Гоша в роли влюбленного... Комично, Майка, не серьезно.

Ее лицо в этот момент было столь мучительно напряжено — в каждой черточке судорожная натянутость, — что казалось, держит в руке раскаленный кусок металла. Держит и терпит.

— Нет, Павел, серьезно, — проговорила она вздрагивающим голосом, — ты сам видел, с какой жадностью к нему тянутся люди. К нему тянутся, к тебе — нет! Значит, у него есть то, чем ты обделен. Случилось! И не обманывай себя, что это так... пустячок.

На меня вдруг свалилась страшная усталость. Случилось — она нашла. Нет таких слов, которые свершившее-

ся превращали бы в незавершенное, для этого надо повернуть время вспять.

— Не знаю,— сказал я с трудом,— что произойдет раньше — ты ли разочаруешься в призраке или призрак улетучится от тебя. Знаю только, это случится. Неизбежно!

И она дернулась на меня всем телом.

— Павел! Пообещай!.. Пообещай мне что-то красивое! Даже обмани! И я пойду за тобой!

— Могу тебе пообещать только одно... И без обмана, Майка... Когда ты будешь брошена и несчастна, первым возле тебя окажусь я. Приму любую и не только звуком или намеком не напому об ошибке, нет, а буду всегда благодарен... Да, тебе! Да, за то, что ты рядом! Обещаю!

Ее лицо обмякло и побледнело, глаза округлились и опять заблестели влагой.

— Ты, конечно, этому не веришь? — спросил я. — Станный же ты человек: в обман готова верить, а правде — нет.

Долго, долго она молчала, отвела глаза, с судорожным всхлипом выдохнула:

— В-верю... Спасибо, Павел.

Кажется, я победил в этом неравном поединке, заставил ее поверить себе, но что мне это может дать: свершилось, время еще никто никогда не поворачивал вспять.

Она снова тихо плакала, не осмеливалась уйти, все еще чего-то ждала. Опущенные плечи, оброненные руки, перепутанные густые волосы, плавная линия шеи, крепкие колени — бессильная. Обними сейчас ее — не оттолкнет.

А потом... потом почувствует отвращение и к себе, и ко мне. Хорошая же память — «на прощай». Да и не хочу я подачки на обездоленность!

Стучал в окно ленивый дождь... В глубине груди, за ребрами, лежало что-то лишнее, массивное, давило вниз — каменная булыга, боязно дышать. И дурацкий фартучек висит на мне — три пляшущих поросенка.

У Гоши Чугунова два достоинства: он неприкаян, он свят. Неприкаяниность и святость издавна иступленно почитались на Руси. К слову убогих святителей прислушивались порой сильнее, чем к слову всесильных само-

держцев. Самый знаменитый храм Москвы стоит в честь юродивого нищего — Василия Блаженного.

Как и прежде, среди людей много таких, кому неудобно в мире сем, готовы от него спастись в мире воображаемом. Как и прежде, блаженные, не от мира сего, современного обличья, но неизменной святости, предлагают способы самоспасения. Майе неудобно, а неприкаянный спаситель может заполнить всю ее жизнь, всю, без остатка! Мне с моей приземленной трезвостью не останется в ней места.

Майка! Я отравлен тобой!

Майка! Отказаться от тебя, забыть тебя выше всех моих сил!

Ты и в самом деле единственная! В людском половодье, что обмывает меня, другой такой нет и быть не может!

Не проживу без тебя — возненавижу людей, сойду с ума!

Уж лучше бы мне не встречаться с тобой, Майка!

Будь проклят тот день, когда я впервые тебя увидел!..

Я с содроганием вспоминал случай у загса, когда вдруг появился пророк-доброволец — небритая рожа, голос с апокалипсической страстью: «Леб-бе-ди-и бел-лья! Касаточки!.. Братья женихи! Разбегайтесь!» Один из женихов внял ему. «Сенечка! Подлец! Прохвост!! Сволочь!!» Сенечка спас себя... И Майя тогда была в белом до пят платье, на ее густых волосах висела прозрачная фата, смятенное лицо, жметя к матери... Лебедь белая...

Сжигающие мысли наедине с собой!

Я протягивал руку, чтоб выключить лампочку над головой и вспоминал — кнопки выключателя касалась ее рука! Я садился утром в кухне за стол, чтоб выпить чашку чаю, и нереально счастливое время наваливалось на меня — не столь давно она сидела напротив! На ночь я задергивал окно, и меня от затылка до пят пронзало: «Задерни шторы!» — ее далеким голосом из далекого вечера, когда она принесла коврик на пол и наша комната обрела незримую гармонию. Рядом с ней вечность!.. Не могу! Невыносимо! Сжался!..

Надо мной сжалился Боря Цветик. Он не появлялся с того памятного скандала, сейчас явился — неизменно свеж и взгляд светлых навывкате глаз немигающе прям.

— Пойдем, брат, выпьем, завьем горе веревочкой.

Я поинтересовался:

— У тебя-то какое горе?

— А у меня и нет,— ответ с обезоруживающей простотой.

Я готов был уже за ним следовать в ресторан, чтобы завить горе веревочкой... Но тут Боря переусердствовал:

— Такси ждет. Машину-то дома оставил, чтоб, поджавши, не напороться на гаишника.

Ан нет, не порыв души, Боря расчетливо готовился к визиту. Уж коль есть расчетливость, то должен быть и мотив расчета. И я сразу же разгадал его — любитель городских новостей, он явился ко мне, чтоб получить свеженькие подробности из первых рук. С тем же простецким добродушием, с каким сейчас глядит на меня, он завтра в другом доме объявит: видел его... И уж подробно опишет мое состояние, уж припомнит мои слова, когда стану «завивать горе веревочкой». И в ближайшую субботу он вместе с неизменными цветами повезет щекочущие новости Леночке из Комплексного. Они, предсказательно играющие много лет в любовь, будут разбирать по косточкам мою с Майей любовь — непредусмотрительную. Мне вовсе не обязательно доставлять им такое удовольствие.

— Тебя по-прежнему заедает скука? — спросил я.

— А что?.. — Мой голос насторожил его.

— Да то... Сдается мне, моя беда — для тебя лекарство от скуки. Иди, брат, поскучай, а меня уж не трогай.

И Боря Цветик ушел с оскорбленным достоинством. Все-таки кое-что он унес в клюве — моя целюдимость может быть подана с надлежащими приправами.

Но тут же я пожалел, что выпроводил его. Мертвая тишина окружала меня. И с улицы доносился шум машины, и у соседей бормотал неумолкающий телевизор, но все эти звуки были для меня потусторонними — они в ином мире, в ином измерении. Вплотную — тишина, воистину гробовая.

Говорят, в средние века прокаженный обязан был звонить в колокольчик: берегитесь, люди, моей заразы! Сам себе создавал вакуум. Беззвучный колокольчик прокаженного звонил надо мной в обступившей тишине.

4

«Кому повем печаль мою?..»

Некому!

Нет такого на всем белом свете, чтоб выплакать свое.

Любой из моих институтских приятелей будет лишь ошарашен и сконфужен, если я решусь открыться. Да и не примет он всерьез моих печалей, непременно подумает про себя: «Э-э, перемелется...» Представить только ту же Галину Скородину в роли исцелительницы!

«Кому повем?...»

И вдруг я вспомнил — есть человек, который выслушает...

«Ты можешь недоумевать, — писал я, — можешь пренебрежительно отмахнуться, можешь и оскорбиться: ни разу не интересовался, как ты там, прижилась ли, что нашла и что потеряла, счастлива или несчастна, вообще жива ли? Вместо этого получи вопль, да еще надсадно звериный. Но уже одно то, что воплю к тебе, далекой-далекой, как-то должно оправдать меня в твоих глазах — нету никого. Ни рядом, ни в стороне, всюду пустыня! Ты, далекая, оказывается, одна на белом свете, кому могу сказать все. Ты, забытая мною, успевшая наверняка забыть меня, скорей сейчас воображение, чем человек во плоти, — единственная ниточка, которая связывает меня с теми, кого мы называем невразумительным словом «другие». Другие люди — их много вокруг, их нет для меня.

С тех пор как мы расстались, я пережил счастье... Посторонним оно может показаться обычным, для меня — головокружительное. Я любил и не верил, что полюбят меня. Полюбили! И я тогда самонадеянно уверовал в свою неповторимую исключительность. Я, не колеблясь, шел навстречу тому, что желал, и получал даже больше, чем смел помыслить. И в моем деле, тебе известном, исполнилось некое чаянье, которое можно назвать если не успехом, то многообещающей удачей. И самомнение счастливого, и самоуверенность победителя... От высоты и паденье, по грехам и заслуги.

Не сразу, исподволь началась цепная реакция...»

Все скопленное за последнее время прорвалось, и я уже не волен был остановить поток. С дотошной подробностью, с назойливой искренностью, пренебрегающей условностями и приличиями, я писал Зульфийи о развале еще не успевшей сложиться семьи, о разрыве с Борисом Евгеньевичем, о моей нынешней шаткости в институте, о той прокаженности, которую я сейчас испытываю. Потерянный — потерянной, вопль души!

«...Признайся,— заканчивал я письмо,— тебе в голову сейчас пришел досадный вопрос: а зачем, собственно, он на меня такое обрушил, чего от меня ждет, на что рассчитывает, чем можно тут помочь?.. Ничем! Ни даже советом! Я просто благодарен за то только, что ты есть в мире. Значит, мир не совсем еще глух, есть надежда — меня услышат. А большего подарить мне сейчас никто не в состоянии. И, как знать, вынес бы я вселенское безразличие к себе, не ухватись теперь за тебя. Без такой отдушины в атмосфере отчаяния, должно быть, и созревают самоубийцы. Один факт, что ты есть, уже спасение. И если еще ты отзовешься, докажешь мне, что плач мой услышан, я, пожалуй, буду даже счастлив. И копеечная свеча в моей крошечности теперь — зарево.

Хватающийся за соломинку *Павел Крохалев.*

Р. С. Твоего Иеронима Босха я храню, но только как память. Я обманул тебя, что люблю этого художника. Нет, он пугал и пугает меня. Его любила моя жена...

П. К.».

Адрес Зульфии я знал приблизительно, написал на институт, куда она определилась. Но не перелетела ли она дальше? Навряд ли, срок еще не вышел.

Я выскочил ночью на улицу к почтовому ящику. Он с железным лязгом проглотил мое письмо. И обычная в этих случаях рефлексия — я сразу же пожалел, что послал свой сумбурный вопль. «Что мне Гекуба и что я Гекубе?»

5

В институте ощущался утробный вулканизм — слегка потряхивало, слегка чадило, пахло серой. Никто ничего решительно не предпринимал. Виновник событий Борис Евгеньевич Лобанов читал свои лекции, ходил по коридорам с высоко поднятой головой. Я видел теперь его только со стороны.

Но близилась межгородская вузовская конференция, наш вулкан мог взорваться прямо на ней, и тогда запах серы разнесется далеко за пределы института, даже города, привлечет к нам внимание.

Появилось объявление: состоится собрание профессорско-преподавательского состава. Начал действовать ректор Илюченко, и намерения его ни для кого не были

секретом — взорвать вулкан до конференции, пусть он извергнется в стенах института, пока не поздно!

Накануне собрания ко мне подошел один из диссертантов Зеневича, Лев Рыжов.

Высокий, голубоглазый, буйно блондинистый, с мужественно твердым подбородком и нежным, девичьим, кисленько-капризным ртом, он был институтской знаменитостью — прима баскетбольной команды, а наши баскетболисты — гордость города, постоянно завоевывают призы и кубки на межобластных соревнованиях. Но Лев Рыжов не из тех бесхитростных парней, кто исключительно через спорт прокладывает себе путь к успеху, не откажешь ему в настойчивости и трудолюбию: каких-нибудь полтора года назад он защитил диплом, а теперь уже толкает готовую диссертацию, имеет печатные работы, член разных комитетов, руководит научным студенческим обществом, бывает в высоких кабинетах города, его фамилия называется одной из первых, когда кто-то должен представить лицо института. Злые языки утверждают, что профессор Зеневич уже сильно побаивается своего воспитанника.

С Левого Рыжовым знакомство у меня шапочное, я успел вырасти из той аспирантско-студенческой среды, где он сейчас бурно развивает свою деятельность. Тем не менее он всегда обращается ко мне по-свойски.

— Слушай, шеф, мне надо поговорить с тобой.

И двинулся по коридору, приоткрывая то одну, то другую дверь, ища свободную комнату, нисколько не сомневаясь в том, что я за ним послушно последую. Хотя в самом деле, почему я должен отказывать ему в разговоре?

Мы уселись в пустой аудитории. Рыжов не бросился сразу в наступление, а с решительностью и напором начал обходный маневр:

— Знаешь, Крохалев, что у тебя есть тайный поклонник?.. Да, да, я! Можешь сколько угодно морщиться. Мне в общем-то плевать, согласишься ты сейчас или не согласишься. Но не со старика же Зеневича мне брать пример. Он как ученый выдохся еще до моего рождения. Впрочем, и твой научный дядька — окаменевшая реликвия, хватал звезды с неба где-то в довоенные годы. И если б я, как ты, имел приход в виде солидной лаборатории, то неужели бы пошел с шапкой к Зеневичу — подкинь идейку! Нет, из пустой бочки не капнет. Держал бы я своего научного руководителя на почтительном расстоянии. Да что я тебе размазываю, ты и сам так поступаешь...

— Ближе к делу,— попросил я.— Ты ведь не для того меня зазвал, чтоб объявить мне о своем почтительном уважении к моей особе.

— Ха! Да это и есть самое главное, что твоему счастью завидую. И не я один — стоишь хорошей зависти! На много ли меня старше, а уже сегодня у тебя прочное положение в институте, завтра — в большой науке. Прямая дорога на академический Олимп!

— Ой ли?

— Ага! Сам чувствуешь, что твое, столь прочное, может обвалиться. Верь не верь, а мне вовсе не доставит радости, если ты сковырнешься. Напротив, я, так сказать, идущий за тобой по пятам, должен понимать — нынче опрокинут тебя, завтра таким же манером могу загреметь и я...

Он замолчал, выжидательно вглядываясь наглыми синими глазами — не возражу ли? Я молчал, и мне, право, не стоило труда выглядеть равнодушным. Я уже понял, к чему он ведет, но помогать ему желания не испытывал, пусть уж сам справляется.

Завидует моему счастью... Его папа — довольно крупная фигура в городе, командует большим ремонтным заводом, в раннем детстве его возили на юг к морю, бассейны, спортивные секции были к его услугам. В школе наверняка его побаивались учителя — папа влиятелен, а сам своенравен; любили девчонки — красив собой; уважали товарищи — здоровые бицепсы. А он всех скопом самоуверенно презирал. Он не знает, что такое несчастье, а потому и о счастье имеет самые смутные представления. Для него любая оступка, которая задержит продвижение вверх,— уже недопустимая катастрофа. Ему кажется, что все должны содрогаться от грозящих осложнений. И сейчас он ими хочет напугать меня — тебе грозит! — насколько не сомневается, что запаникую, с головой отдамся ему в руки: «Спаси, ради Христа!»

Наглая синева в упор... Он так и не дождался моего ответа и, кажется, был обескуражен моим пренебрежительным равнодушием.

— Так вот,— уже почти с угрозой,— твой старик заврался, и объяснять мне тебе не нужно, сам хорошо знаешь. Но его только пощиплют, посклоняют на разные лады и... оставят в покое. Даже кафедру не отнимут, все звания и заслуги при нем останутся. Словом, с него как с гуся вода, плохо-то придется тебе. Тут логика простейшая: не сам Лобанов проводит в жизнь лобановское, а

кто-то из его верных соратников, из тех, кто помоложе, поэнергичней. Уж их-то, поверь, схватят за шиворот. Да, брат, жесткой рукой! Тебя схватят и потрясут, все тобой сколоченное и налаженное передадут другому. Или не веришь, мечтаешь, обойдется?

— Вполне возможно, так и будет.

— Не будь олухом, соображай, как этого избежать!

— И вправду, как?

— Ты не только сохранишь за собой лабораторию, ты станешь полным хозяином, сам себе научный руководитель. Зачем тебе шеф? Старая утка не снесет золотое яичко.

— Так что же мне следует делать?

Он самоуверенно полагал, что люди могут быть лишь хуже его, но непременно во всем на него похожи. С такой точки зрения трудно быть проницательным.

Он ответил мне с досадой:

— Да неужели надо, черт возьми, объяснять! Завтра собрание, следовательно, необходимо... жизненно необходимо выступить. И зачеркнуть знак равенства между вами. Не мне же для тебя составлять шпаргалочку, сам найдешь доходчивые слова?

Я выдержал паузу и сказал:

— Хорошо, я выступлю.

Впервые он засомневался во мне, поглядел с подозрением.

— Выступлю,— повторил я.— Можешь ликовать.

И подчеркнуто сердито отвернулся от него.

Ему очень хотелось мне верить, а свои желания этот человек считал едва ли не единственным законом, которому следует подчиняться.

— Все. Договорились.

Он упруго встал, кинул на меня оценивающий взгляд, двинулся к двери. Но в дверях он все-таки засомневался, обернулся всем телом, расправил плечи:

— Не вздумай какое-нибудь коленце выкинуть. Обстановочка боевая, никаких шуточек не прощают.

Он угрожал.

— Не дрожи,— успокоил его я.— Не передумаю.

И моя досада опять его утихомирила — натурально, должен досадовать, если попал как кур во щи.

Я долго сидел в пустой аудитории, думал... Нет, не о Борисе Евгеньевиче, знак равенства с которым мне предлагают перечеркнуть, а о ректоре Илюченко. Догадывается ли он, что все его дело целиком забрали в свои руки

такие вот расторопные молодцы? Наверняка не слеп и не глуп. Можно не сомневаться, что боится — загонят в угол, уже сейчас готовит маневр на будущее против расторопных молодцов. Честный человек, но какими кривыми путями принуждает себя идти.

А левы рыжовы наглы и не изобретательны... Что ж, дураков учат.

6

Ни Пискарев, ни Зеневич не сидели за столом президиума. Они были в зале, среди масс, рядовые члены собрания. Разумеется, они подымутся на трибуну, но в свое время, когда скажут свое слово другие, заклеят и осудят. И можно не сомневаться, что их выступления будут снисходительными, почти всепрощающими.

Борис Евгеньевич демонстративно уселся в самом первом ряду. И кресла по одну и другую сторону от него пусты. Меня тоже нет рядом с ним. Я издалека видел его вызывающе вскинутую лысину.

На председательском месте за столом — он, ректор Илюченко. Ни мрачен, ни подавлен, ни взволнован — бесстрастен. Незнакомых лиц нет возле него, никто на этот раз не приглашен со стороны, все свои, домашние, судилище по-семейному.

Вступительный доклад делал профессор Примаков. Невысокий, стариковски хрупкий, благородно седенький, с отрешенным грустно-бледным лицом истощенного постами схимника, он был далек от всяких склок и скандалов, не исполнял никаких административных функций, тихо и кропотливо занимался своими спорowymi растениями, со всеми ладил, но ни с кем особо не сближался. Не был Примаков и трибуном, красноречием особым не обладал, но, странно, как только нужно было кого-то разгромить, призывали его, тишайшего и почтенного, никому ничем не досадившего, не таившего ни на кого обиды. И он тусклым ровным голосом, без запала, со скрупулезностью ученого разбирал про и контра, и всегда так, что вина непременно оказывалась доказанной, а выводы о наказании уже напрашивались сами собой. Случалось, обстановка вдруг круто изменялась, обличение оказывалось дутым, а наказание несправедливым. Но и тогда никому в голову не приходило упрекнуть кроткого профессора Примакова. Даже самым пострадавшим. Искали и нахо-

дили других виновников, и снова на трибуне появлялся тишайший Примаков, взвешивал «за» и «против», вскрывал улики, совсем противоположные прежним.

И сейчас Примаков, едва возвышаясь над высокой трибуной седым пробором и узкими плечиками, ровненько излагал, как глубоко не прав профессор Лобанов. Он для этого занялся всесторонним рассмотрением немаловажного вопроса: что такое научная дискуссия, имеет ли право ученый с пристрастностью отстаивать свою точку зрения? Выходило по всему — имеет. Тогда почему же профессор Лобанов осуждает за излишнюю пристрастность своих коллег, Пискарева и Зеневича?..

Зал изрядно скучал, а я слушал и гадал: почему всегда Примаков и кто на этот раз его вытащил на трибуну? Не Пискарев же с Зеневичем! Ректор Илюченко? Что ж, пожалуй, Примаков его вполне устраивал: пусть обвиняет тот, кто не склонен к заушательству, не связан с противной группировкой, лицо достаточно авторитетное и нейтральное. Но Примаков устраивал и Пискарева с Зеневичем: конечно, всего, что им нужно, он не скажет, зато все будет выглядеть и добропорядочно, и беспристрастно. Но всего удивительней — Примаков устраивает даже меня! Обстановка сложилась не в пользу Бориса Евгеньевича, и если не Примаков, то выскочит на трибуну непременно какой-нибудь Лев Рыжов. Уж пусть лучше Примаков. Он всегда устраивал всех, даже обреченных...

Примаков добросовестно нанизывал одно умозаключение на другое, а мне стало вдруг не по себе от той равнодушной покорности, с какой этот совсем неагрессивный, скорее робкий и застенчивый человек расправляется, не испытывая ни зла, ни обиды. Да способен ли он вообще что-либо чувствовать? Как он относится к своей жене, детям, внукам? Может ли он любить и привязываться? И почему он пользуется уважением? Почему, встречаясь с ним каждый день, никто не содрогается от ужаса? Ведь все знают, что любого он может без страсти, чинно, логически доказательно обличить в преступности.

Профессор Примаков говорил, его скучающе слушали, ни на одном лице я не видел удивления, никто не испытывал страха, кроме меня. Бесстрастие докладчика словно прилипло к физиономии каждого сидящего в зале. Как жаль, что не могу заглянуть сейчас в лицо Бориса Евгеньевича, его вскинутая лысина ничего не выражала.

Примаков кончил. Медлительно, с достоинством человека, сделавшего важное, полезное и нелегкое дело, он

снял очки, собрал с высокого пюпитра бумаги, удалился к столу президиума — сутуленькая узкая спина, что-то беззащитно детское, трогательное в седых косицах, ниспадающих на воротник пиджака. Аплодисментов не было, лишь минутное неловкое молчание. Неловкое, но вовсе не растерянное и не подавленное.

Энергично, сокрушающе, скрашивая броские обвинения интонациями оскорбленного достоинства, постоянно повторяя: «Мы, вступающие на научную стезю... Мы, принимающие нелегкую эстафету...» — ни разу не произнося местоимения «я», прогремывал речугу Лева Рыжов. Это тебе не тактичный Примаков.

— Слово имеет товарищ Крохалев Павел Алексеевич! — с недрогнувшим лицом, ровным, без выражения, голосом объявил Илюченко.

А в глубине зала кто-то выдохнул:

— Ух! — словно окупнулся в холодную воду. К трибуне звали ближайшего ученика судимого профессора.

На пути к трибуне я успел заметить, что Илюченко передвинулся на своем стуле, замер в неловкой позе. И это нетерпеливое движение и острый взгляд на невозмутимо каменном лице в какую-то даже не секунду — долю секунды открыли мне многое. Да, ему, Илюченко, доложили, что я согласился выступить против Лобанова. Он мог и предупредить и разубедить тех, кто докладывал. И не предупредил, не захотел, хотя и понимал — не исключены неприятные последствия лично для него. Сейчас он ждет скандала, неосознанно желает его, приготовился...

Все это не пронеслось в моем мозгу, а скорей просто впечаталось в него. Впечаталось и упало куда-то в подвальные глубокие запасники — не до переливов Илюченко, предстоит бой!

Я встал за трибуну и тут-то наконец увидел лицо Бориса Евгеньевича. Он теперь сидел прямо напротив меня. Его лицо было спокойно и брезгливо. Брезгливость наперняка относилась ко мне.

— Я было хотел рассказать вам, товарищи, — начал я, — незатейливую притчу о том, как меня вербовали в Иуды, предлагая за учителя тридцать сребреников. Мой соблазнитель только что стоял на этом месте и выступал перед вами, я рад, что могу лишний раз не произносить его имя... Но более любопытное явление привлекло мое внимание сейчас!..

Я повернулся к столу президиума, где, скромненько приткнувшись к самому уголку, безмятежно восседал Примаков.

— Позвольте вам задать один вопрос, профессор Примаков: вы-то сами, простите, верите в то, о чем говорили в течение сорока минут?

Примаков судорожно дернул тощим коленом, потерянно помигал на меня, изумленно тихим голосом изрек:

— То есть как?

— Да вот так, верите или нет в то, что вами сказано?

Переполох в старческом теле.

— Ну разумеется... Ну конечно...

— А так ли уж разумеется, профессор Примаков? Если бы мы тут обсуждали поведение не Лобанова, а Пискарева с Зеневичем, то наверняка выступали бы вы и с тем же успехом доказывали их вину, то есть прямо противоположное тому, что доказывали сейчас! Кто из вас в этом сомневается, товарищи? — повернулся я к залу.

Зал отчужденно и настороженно промолчал. И грохнул в ответ голос:

— Гнусная демагогия! Ложь!!!

Кричал Лева Рыжов.

— А, это ты, соблазнитель! Не возмущайся, ведь ты тоже не веришь, но только никогда не сознаешься — невыгодно тебе по многим причинам.

— Демагогия...

Зал вышел из летаргии, шумно заворочался, зашикал на Рыжова. Под шумок взвился чей-то выкрик:

— Вер-но! Никто не верит!

Председательствующий Илюченко постучал по графину, грозно взгляделся в зал, столь же грозно на меня, но ничего не произнес, не оборвал.

— Так вот, я утверждаю: докладчик Примаков говорил и не верил ни единому своему слову, но при этом считал — так нужно! Мы все его слушали и тоже не верили, но, как и он, считали — все в порядке, так нужно. Получается, что все мы — и те, кто говорит с трибуны, и те, кто сидит в зале, — играем в игру, где условие: ложь следует принимать за правду. Но опомнимся, эта фальшивая игра — ложь вместо правды — наша жизнь! Никто не сомневается, что брошенные профессором Лобановым обвинения в адрес Пискарева и Зеневича соответствуют действительности, но доказываем себе — Лобанов клеветает! Никто не сомневается, что склоки между группировками Пискарева — Зеневича нечистоплотны, амораль-

ны, портят и атмосферу, и людей в институте, а собираемся наказывать того, кто говорит об этом. Неужели вас не страшат последствия такой игры?

Я замолчал, молчал зал, глядел на меня, дышал.

— Вы ждете, что я стану доказывать, как это плохо, призывать вас — покончим! Не стану... Если и сейчас кто-то не увидел фальшивую игру, не содрогнулся от ужаса и отращения к ней, то может ли слушать такой доказательства, откликнется ли он на призывы? Ну а тем, кто уже содрогнулся, доказывать необходимости нет, оглушать их призывами тоже бессмысленно. Я не могу жить, гнусно играя... Вот и все, что хотел сказать... Думайте!

Я вышел из-за трибуны и двинулся навстречу подавленному молчанию. Сойти вниз я еще не успел, как раздался крик:

— Слова!! Прошу слова!! Заявление!.. Две минуты! — Сильный, напористый голос Левы Рыжова.

Он упругим скоком тренированного баскетболиста мчался по проходу. И вдруг остолбенело замер перед самой сценой... Трибуна, к которой он стремился, оказалась уже занята. Над ней возвышалась седая — божий одуванчик — голова профессора Примакова. Председательствующий Илюченко растерянно взирал на него.

И тут произошло чудо. Примаков вскинул вверх сжатый костлявый кулачок, закричал рвущимся, петушиным голоском:

— Он прав... Да, да!.. Товарищи, Крохалев прав!.. Я говорил и не верил! Нет!.. Борис Евгеньевич! Простите, если сможете, меня великодушно. Выполнял условия — да, да — проклятой игры!.. О господи! Поносил вас, а сам же в глубине души преисполнен... Да! Уважения! Да! Почтительности!.. Меня втянули в эту игру не сейчас, нет, давно... Бог ты мой, лет тридцать пять назад, если не более... Был случай, потребовали: доказывай, что черное есть белое, чистое есть грязное! И намекнули, только намекнули: не справлюсь — будет плохо. А тогда намеки были страшней угроз. И я с тех пор стал доказывать. И даже оказался способен, привык, уверовал — дело делаю... Но теперь-то зачем?.. Я старый человек, время иное, никого не пугают, ничего не боюсь... Зачем?!

Примаков размахивал костлявым немощным кулачком над сединой, выкрикивал, а Лева Рыжов остолбенело стоял перед ним, а зал, обморочно замерев, слушал.

— Хотя, впрочем, так ли уж теперь безопасно... Вот

такие...— Примаков выкинул скрюченный палец на Леву Рыжова.— Думаете, такие помилуют?.. А они полны сил, энергией заряжены так, что хоть тротильным эквивалентом их измерять, и ни чести у них, ни совести — старого и молодого с ног собьют, в землю затопчут...

Лева Рыжов очнулся и попятился задом, задом по проходу.

— И подумать: только страх вот перед такими у меня не возмущение вызывал, не ненависть, а... уважение. Да, да, если вдуматься, извращение какое-то... Крохалев, вы жестокий урок преподали старику. И поделом... Век живи — век учись. Поздно только...

Примаков ссутулился, стал меньше ростом, отвалился от трибуны.

Со сдержанной строгостью на лице поднялся Илюченко:

— Наше собрание принимает несколько стихийный характер. Требую придерживаться элементарного порядка, не устраивать Новгородское вече. Напоминаю: прежде чем выступить, следует попросить слова. Тут товарищ Рыжов хотел сделать заявление на две минуты. Мне думается, нет оснований ему отказывать. Прошу вас, товарищ Рыжов!

Зал освобожденно зашевелился, головы впереди сидящих повернулись назад. Рыжов не откликался.

— Рыжова не слышно. Тогда кто просит слова, товарищи?

— Разрешите, Иван Павлович!

По проходу двинулся плотно сбитый, массивная голова в упрямом наклоне, цитолог Бойтер. Он не был учеником Бориса Евгеньевича, а другом — пожалуй...

7

Сразу же после собрания я стал героем дня. Вокруг меня толкались, мне заглядывали в глаза, мне жали руку, говорили восторженные слова. А я не чувствовал себя победителем, испытывал нечто похожее на угрызение совести. Никак не отвага, даже не стремление к справедливости заставило меня без оглядки бросить упрек залу, а, скорей, отчаяние — нечего терять, все и без того уже потеряно. Этого не в состоянии был предусмотреть Лева Рыжов, а теперь не понимали все кругом. Кто-то однажды сказал, что если бы у людей не было ответственности

за семью, мир легче бы принимал истину. У меня ни семьи, ни будущего — пустота впереди, ничем не рисковал, никаких последствий не боялся, как легко мне провозглашать неприятную истину. Храбрость висельника, а не нормального человека.

День кончился, вечером я возвратился домой и снова оказался один.

Меня оглушил звонок. Звонили в дверь — обычное из обычных событий для любого из людей. От него не вздрагивают, ему идут навстречу без учащенного сердцебиения, со спокойной и коротенькой мыслью: кто это?.. Звонок в дверь для меня мог быть и сигналом к возрождению и убийственно досадной случайностью. За дверью могла оказаться она — берет на густых волосах, глаза в упор, знакомая кривизна губ. А могли и: «Ляпуновы здесь живут?» — «Этажом ниже, вы ошиблись».

Непослушными руками я открыл дверь. Передо мной стоял Борис Евгеньевич.

Он молча перешагнул порог, снял шляпу.

— Могу раздеться? Не прогоните?

— Борис Евгеньевич!..

Не возрождение, нет, но подарок. После Майи я больше всех на свете хотел бы видеть на этом пороге его.

— Вас сразу тогда окружили, и я не хотел толкаться в общей куче, Павел. Но не поговорить с вами я не могу... Не напоите ли вы меня чаем?

И вот мы сидим за кухонным столом. И я вновь вижу его вблизи. Лицо его еще больше усохло, щеки втянуты, глаза запали, но прежнее убежденное спокойствие в складке губ, в глубоких морщинах.

— Я посмел дурно о вас подумать, мой мальчик, и теперь мне стыдно за себя. Но что делать, все мы знаем, как ненадежны, изменчивы бывают люди, а вы тогда говорили чужие, ни с чем не сообразные слова.

— Борис Евгеньевич, вы пришли, а этим все уже сказано. Не будем о том...

— А сегодня я увидел вас в настоящем вашем качестве...

— Так и есть, в моем настоящем... А оно... оно, Борис Евгеньевич, крошечное. И нет никакой надежды на просветление. Удивляются, как я отважился на риск? Какой может быть риск у обреченного?

Из-под нагнутого лба, из затененных впадин выныр-

нули глаза, в них осторожное внимание, в них выжидание и ничего более.

— Значит, правда то, что слышал...

Он слышал, не удивительно. У Крохалева ушла жена — эта новость прошла по институту, но никого особо не затронула, вызвала любопытство, но не вызвала острого сочувствия. Такое ли это сногшибательное известие, кругом постоянно кто-то сходится и кто-то расходится — обычно, привычно, перемелется... А вдуматься — достойно удивления: всем знакома такая беда, кто-то даже сам ее пережил, но почему-то никто не ужасается — страшно же, человек остается в неприкаянном одиночестве, отброшен в сторону от людей! Обычно, привычно, перемелется!.. Непонятная черствость.

Я не собирался подпускать Бориса Евгеньевича к своей беде, но он легко шагнул в нее с той стороны, с какой я меньше всего ожидал.

— Вы знаете того человека? — спросил он.

Вопрос в лоб о Гоше Чугунове.

— Знаю.

— Кто он?

— Из птиц божиих, что не сеют, не жнут, а сыты бывают.

— Вы хотите сказать, что он не может быть ответственным за других? За нее в том числе?..

Я даже вздрогнул от неожиданности — Борис Евгеньевич сразу же ухватился за то сокровенное, что больше всего меня мучило: не может быть ответственным за других... Безответственность моего счастливого соперника — ненадежное утешение, никак не гарантия, что Майя вернется ко мне.

— Не повторите того, что случилось со мной, Павел...

Я поднял на него глаза. Морщины, собранные на лбу, под сияющим черепом, брови, сведенные над хрящеватым носом, глубокие складки в углах сплюснутых губ — новое для меня выражение застарелой смиренной тоски.

— Для вас же не секрет, Павел, что я в свое время пережил то же самое...

— Выходит, и тут я ваш достойный ученик.

— Просто все в мире сем повторяется, мой мальчик... Вы только не знаете, и никто этого не знает, что она однажды пришла ко мне.

— Кто? Ваша первая жена?!

— Да... Но слишком поздно — десять лет спустя.

— Через десять лет! К вам! Зачем?..

Борис Евгеньевич горько хмыкнул:

— Зачем среди зимы наступают оттепели, а среди лета иногда падает снег?.. Не все-то на свете объясняется той или иной очевидной причиной. Она пришла взглянуть на меня, пригнало крутое желание, много лет ему противилась и... не выдержала. А я был давно уже снова женат, окружен заботой, очастливлен преданностью — предать невозможно. Да она и не требовала от меня предательства, ни на что не рассчитывала. Обстоятельства ее связывали еще сильнее, чем меня, — дети... У нее были две дочки от другого мужа, лишать их отца она не хотела...

Борис Евгеньевич замолчал, уставясь в пол, и морщины на его лбу были мученически сведены. Мне, несчастному, он исповедовался в своем несчастье, хроническом и, похоже, уже непоправимом. Странно, но мне стало легче — меня не только понимают, во мне, выходит, даже нуждаются.

— Кажется, это Белинский сказал, — заговорил снова он, — что нет достоинств у того, кто любит один раз в жизни, и нельзя упрекать тех, кто любит тысячу раз. Сомнительные слова. Влюбленность, да, можно испытывать множество раз, порой даже сразу в нескольких. Но любить глубоко... Какая же глубокая любовь, когда она быстро проходит, чтоб уступить место другой?.. Жизнь человеческая, право, не столь уж и долга, чтоб в ней могло поместиться слишком много чего бы то ни было большого — больших открытий, больших свершений, больших, всеподавляющих чувств!.. И когда я увидел ее, уже молодую, уже не столь красивую, как прежде, даже скорей просто некрасивую, мне вдруг открылось тривиальное — воистину «большое видится на расстоянии». Жили нос к носу и не замечали, в каком океане мы плывем. Зато видели в нем мелкий сор: несовместимость вкусов, несовпадение взглядов, случайные минуты дурного настроения друг у друга — ничто не пропускалось и ничто не прощалось. И впечатление, что наша жизнь, по которой плывем, сплошь замусорена... Мда-а... Она уплыла в сторону и там столкнулась с тем же житейским сором и наверняка быстро оглянулась назад, наверняка сделала грустное открытие для себя: позади все-таки было почище... Для такого открытия не нужно было десяти долгих лет. И оказывается, все это время она ждала, что я подам голос, позову ее из своего далека... А я... Я был оскорблен, я был горд. Как часто за нашей гордостью прячется обычная

косная нерешительность, неподъемная вялость души... Мда-а...

— Уж на то пошло, чего же она сама не крикнула? — спросил я.

— Сама?.. А вы встаньте на ее место: она уплыла за счастьем, она пренебрегла человеком. Вывать о помощи к тому, кем пренебрегла?.. Нет, голубчик, ей крикнуть трудней, мне было куда легче. Не сделал... Не совершите того же... Я достаточно хорошо знаю вас, вы не из тех, у кого тысячу раз кратковременное может меняться на кратковременное. Вы встретили, вы полюбили, и вовсе не обязательно, что такое еще раз случится в вашей жизни...

Он не успокаивал меня, как успокаивал бы любой и каждый благожелатель: свет клином не сошелся, перемелется... В его словах было больше угрозы, чем утешения, а во мне, как ни странно, забрезжила смутная надежда, никак не отчаяние — не все еще кончено!

«...Не обязательно, что такое еще раз случится в вашей жизни...» Борис Евгеньевич не знает, как рано впервые шевельнулась во мне мечта о Ней, — мальчишкой, который устал тащить неподъемные солдатские ботинки отца по грязной весенней дороге. Мальчишка остановился, увидел вокруг себя мир и учуял, что в этом светлом мире его где-то ждет Она! Майе тогда едва исполнилось два года, мне — восемь лет. И после этого я всю жизнь ее искал — два десятка лет! Начинать искать заново?.. Рассчитывать, что на этот раз удача придет быстрее? Ой ли! Через двадцать лет! И мне уже будет вплотную пятьдесят. А сколько же той, которая должна заменить Майю?..

Она неповторима! Она единственная! Все другие для меня запредельны. Я должен Ее вернуть и ни на что не рассчитывать!

Это уже походило на решение, а каждое принятое решение — начало действий. Похоже, я возрождался...

А он продолжал:

— Пишут о любви с первого взгляда... Может быть, хотя со мной такого и не случалось. Но одного быть не может, мой мальчик, — с первого взгляда понимания. Есть ли на свете такие, на кого посмотришь и сразу поймешь — человек как на ладонке? Каждый из нас с секретами... Дорогой мой, за понимание друг друга люди платят кровью, кусками жизни. Не считайте себя исключением.

Борис Евгеньевич ушел, разворошив меня: снова в

тревоге, снова в смутной надежде, снова желание что-то предпринять, идти на риск, жертвовать собой. И снова все кровоточит внутри...

Дома под дверью я увидел письмо. Кто-то бросил его в почтовую щель. На конверте ни марки, ни адреса, только твердо и размашисто выведена моя фамилия. Я вскрыл...

«Дорогой Павел!

Все, что случилось у Вас с Майей, раздавило нас. Как ни сильно мы любим свою дочь, но оправдывать ее, увы, не осмелимся. И уж тем более не можем винить Вас, скорей готовы принять вину на себя. Тяжело, горько, но приходится запоздало сознаваться — девочка выросла с сумасбродным характером. Мне, как отцу, порой даже кажется, что простонародное — мало бита, много нежена — тут вполне справедливо.

Мы и раньше были о Вас самого высокого мнения, а теперь и вовсе отчаиваемся — кого лишается наша дочь! Вы именно тот, кто со временем мог бы сделать ее полностью счастливой. Кое-что мне удалось разузнать о человеке, с которым она сумасбродно сошлась. Вот он уж никогда — поверьте, *никогда!* — не переступит наш порог, если даже трижды будет дорог нашей дочери.

Мы успели убедиться, Вы не черствы, не обидчиво мстительны, не мелочны. Догадываемся: Вам сейчас очень нелегко, смеем думать, у Вас горе. Горе и у нас, ее родителей. Общее! А потому нам не следует сторониться. Не лучше ли сойтись, попробовать как-то поддержать друг друга. А вдруг да совместно мы найдем возможность повлиять на неразумную дочь и жену.

Давайте встретимся, поговорим. А?..

Если Вы не против, то я бы предложил не откладывать встречу в долгий ящик. Не сможете ли заглянуть к нам завтра вечером, часов так в восемь? Доставьте нам эту радость. Позвоните, если согласны.

По-прежнему Ваш — И. И.

P. S. Я тороплю Вас со встречей еще и потому, что моя беспокойная служба постоянно гонит меня из дому. Скоро я буду вынужден выехать на дальний объект. Придет-

ся оставить одну отчаявшуюся и совсем больную жену, да я и сам, признаться, чувствую себя крайне плохо — сдает сердце».

Мой тесть Иван Игнатьевич первое время отпугивал меня своей замкнутостью и насупленной молчаливостью, но очень скоро я понял, что это от врожденной застенчивости покладисто-доброго человека, который может уступать всем и во всем, но лишь до тех пор, пока не затронут его убеждения, кстати, несколько чопорные и старомодные. Он, например, упрямо считал, что слишком узкие брюки и слишком широкие — признак пустоты и никчемности, а мини-юбки — безнравственности, интеллигентское происхождение само по себе подозрительно, качественны и достойны доверия лишь те, кто выдвинулся из простого народа. Я не носил ни слишком широких, ни слишком узких брюк, родился в деревне, без чьей-либо опеки, сам пробился в науку, а потому пользовался уважением Ивана Игнатьевича, тихим, внутренним, не афишированным. И можно представить, как его удручил Гоша Чугунов. Мало того, что этот Гоша разбил семью, заставил дочь изменить долгу и добропорядочности, он еще личность скандально невразумительная — то ли ту-неядец, то ли поп-расстрига, черт знает что!

Горе Майиных родителей едва ли меньше моего. Могу ли я повернуться к ним спиной, отказаться, когда они предлагают союз? Но и являться к ним в жалкой роли брошенного мужа, не сумевшего удержать ни свое счастье, ни сохранить счастье их дочери, удовольствия мало.

Утром я позвонил Ивану Игнатьевичу на работу и сообщил, что приду.

Накрытый, как и прежде, стол, воздушные пирожки с капустой, испеченные тещей, знающей, что я их очень люблю. На стене напротив меня большая фотография в рамке под стеклом — девочка, глядящая исподлобья темными глазами, у нее прямые, еще не вьющиеся волосы, тонкая шейка, большой своенравный рот. В детстве Майя не обещала стать красивой — скорей дурнушка, но явно уже с характерцем. Рядом висит безглазая, яркая, сатанински улыбающаяся маска, родственница тех московских масок, которые были свидетелями первого крупного моего с Майей скандала. Она здесь росла, чтобы встретиться со мною. Она теперь порвала с этим миром, как порвала со мной.

Иван Игнатьевич из тех, кто нескладно скроен, да крепко сшит. Он кажется слегка приплюснутым сверху — раздался вишрь. Большая плоская голова лежит без шеи на массивных плечах, лицо раздвинутое, простецки добродушное, если бы не внушительно грозное украшение — колючекустистые бровищи ржаного цвета, под ними таятся глаза, нужно время, чтоб заметить их застенчивость и внимательность. Руки у него короткие, толстые, веснушчатые, покрытые густо ржавым волосом, могучие руки кузнеца-молотобойца. Иван Игнатьевич начинал свою самостоятельную жизнь подручным в деревенской кузнице.

В расплывчато-мягком, белом лице Зинаиды Николаевны, как утренние звезды сквозь кисейные облака, неясно проступают отточенные черты Майи. Больше всего мать и дочь схожи глазами, застойно-темными, реснитчато-овейными. Но только у Майи были капризно непостоянны — то матовые, не пускающие в себя, то безумно провальные. И сколько ни ищи, ни в отце, ни в матери не найдешь той присущей Майе, хватающей за душу скорбинки, которая не сходит с ее губ, не родительское, не переданное, а благоприобретенное — оригинальное изображение господа бога.

Зинаида Николаевна старается не глядеть на меня. Как ни уверял меня в письме и в первые минуты встречи Иван Игнатьевич, что оба они высокого обо мне мнения — он и она в одинаковой степени, — однако я сейчас всей кожей чувствую: она и хотела бы сопереживать мне, да не может. Уж раз дочь сбежала от мужа, то, значит, ей было несладко с ним, материнское восстает, глаза Зинаиды Николаевны опущены к столу.

Я понимаю ее затаенную неприязнь. Больше того, я невольно чувствую себя виноватым — дурно справился с ролью мужа, — но одновременно досадую и на Ивана Игнатьевича: зачем он затеял это принужденное союзничество, где навряд ли можно избежать недоверия и неприязни.

Иван Игнатьевич осторожно расспрашивает меня о нем, таинственном и пугающем. Иван Игнатьевич хочет выпытать, какими же достоинствами он соблазнил дочь.

— А вы его хорошо знаете, Павел?

— Достаточно.

— Я, конечно, очень хотел бы услышать, что, собственно, это за личность, но понимаю, вам, наверное, и неприятно о нем говорить, и трудно быть к нему объектив-

ным. Скажите мне лишь одно, Павел: что же этот человек может пообещать ей такого, чего вы были не в состоянии дать?

— Сомневаюсь, чтоб он что-то ей обещал.

Я не решаюсь упомянуть об иллюзиях, которыми богат Гоша Чугунов. Майины родители тут могут понять упрощенно — обманщик, соблазнитель, не более того. А это походило бы уже на ложь.

Иван Игнатьевич удрученно молчит. И тогда задает вопрос Зинаида Николаевна, более существенный и коварный, нацеленный против меня:

— Павел, если бы не он... Кто другой мог бы появиться?..

Мне ничего не остается, как признаться:

— Наверное, появился бы...

— Как?! — изумляется она. — Так разве не в нем причина?

— Причина — Майе было плохо со мной.

Я прекрасно сознаю, как убийственна сейчас моя искренность, но влиять и выгораживать себя не хочу. Уж пусть Майины родители обо мне нелестно думают, зато верят мне.

Иван Игнатьевич подавленно молчит, а Зинаида Николаевна, скрывая вражду, изумляется:

— Зачем же вы так... на себя?..

— Ей было плохо со мной, — повторяю я, — но повинным в этом себя не считаю.

И Зинаида Николаевна подобралась.

— Значит, она виновата?

— А если виновников нет?.. Вы можете себе такое представить?

— Но случилось же! Случилось! Что-то послужило причиной.

— Что-то — да, но не кто-то. «Любовная лодка разбилась о быт» — это сказал Маяковский и пустил себе пулю в лоб. Виновников, насколько я знаю, он не искал.

— Павел, — снова заговорил Иван Игнатьевич, — вы же не считаете, что ей с ним будет лучше?

— Если б так считал, то ни на что уже не надеялся. А я все-таки еще надеюсь... Да, на ее возвращение.

Иван Игнатьевич подался на меня.

— Вы надеетесь, но, Павел... Прежде чем она разберется и захочет вернуться, может случиться всякое. Будем говорить без обиняков: могут появиться дети, Павел, которые намертво привяжут их друг к другу!

— Тот человек не способен создать семью и заботиться о детях. В этом я убежден. Тогда-то она и вернется ко мне, другого выхода у нее просто не будет.

— Но вас... Вы же живой человек, Павел, вас это должно глубоко оскорбить.

— До оскорбленного ли мне самолюбия, Иван Игнатьевич, если стоит вопрос, жить мне или не жить дальше?

— Вы чувствуете в себе силы простить ее?

— Я чувствую в себе большее — силы ждать ее.

Иван Игнатьевич, насупив брови, вглядывался в меня.

— Спасибо, Павел... — сказал он тихо. — Вы сказали все, что я хотел от вас слышать. А остальное... — Он взглянул на часы. — Остальное скажет она... Хотел бы я, чтоб моя дочь была столь же искренна с нами, как и вы.

— Скажет?.. Она?! — Меня насторожили не столько слова Ивана Игнатьевича, сколько его взгляд, брошенный на часы.

— Павел, я не решился вас сразу предупредить — я пригласил сегодня и ее. Она с минуты на минуту должна прийти.

— Она знает, что я здесь?

— Нет, конечно. Отказать нам во встрече она не могла, а вот встретиться с вами... Тут я не был уверен, что она захочет. А мне очень нужно, Павел, спросить ее при вас: почему?.. Пусть ответит в глаза нам всем.

У меня в голове закружилась карусель. С минуты на минуту... Она придет, увидит меня и подумает: цепляюсь за родителей, настраиваю их, отец вытащил ее по моему настоянию!.. Она вспылит, и произойдет что-то для меня постыдное. С минуты на минуту... А я как хочу ее видеть! И удастся переброситься с ней хотя бы парой слов... Но слова-то ее навряд ли меня обрадуют. Хорошенький же подарочек преподносит мне Иван Игнатьевич!..

Возмущаться сейчас было нелепо, да и некогда — с минуты на минуту...

Я успел только криво усмехнуться:

— Не в слишком выгодной позиции я предстану... — как в прихожей раздался звонок...

Я не так уж и долго не видел ее. Прошло всего чуть больше недели, как мы расстались. Одна неделя... Какого напряжения мне стоило переплыть через нее — бесконеч-

на, уже обессилел! А быть может, придется продираться через годы и годы. И только что самоуверенно похвалился: чувствую в себе силы ждать ее.

Стремительно летящая походка, словно ветер ворвался в комнату, запрокинутая, с тяжелой копной волос голова, чуть суше стало ее лицо, чуть чеканней и горделивей. Пожалуй, она теперь красивей прежней, а может, просто потерянное всегда кажется прекрасным.

Она увидела меня — брови словно выскочили вперед, губы дрогнули, в глазах вспыхнула затравленность.

Отец поспешно и внушительно объявил:

— Устроил эту засаду я. Павел не знал, что ты приходишь.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй, Майя.

Решительно уселась за стол рядом с матерью, наискосок от меня.

— Мама, налей мне чаю.

У матери задрожали щеки и подбородок, она всхлинула, слепо стала шарить по столу.

— Мам-ма-а!

— Ничего, ничего, сейчас пройдет... Съешь пирожка, доченька. Ты не голодаешь?..

— Нет, мама, я сыта. Мне хорошо, мама, не надо плакать.

Майя говорила с преувеличенной твердостью, но губы ее кривились и глаза подозрительно блестели.

— А ты не ошиблась, дочь? — сурово спросил отец.

— Папа! Я нашла, что искала!

— Объясни нам, что.

— Себя нашла, папа. Кажется, нашла!

Майя... Вот она, с родным изломом губ, выстрадавшая, близкая и недоступная. Ей тоже наверняка мучительны эти вопросы, а для меня они вовсе пытка. Я — неприятное прошлое, которое насильно пытаются ей вернуть. Я должен присутствовать при этом насильничании, а потому мне придется выслушать из ее уст, что был по-мехой, стал ненужным — казнь! казнь! И она только что началась, разговор еще по-настоящему не завязался, все истязания впереди. Зачем?! Никто из присутствующих не хочет творить надо мной бессмысленную жестокость, меньше всех — Майя. Но они уже сами не вольны в себе — изломают, искровеят против желания. Лучше всего встать бы сейчас и уйти, но... оскорбительно, недостойно, совсем уроню себя в их глазах. Кровь стынет в жилах от

мысли, что придется перетерпеть. Я сидел окаменевший.

Отец допрашивал ее:

— Что значит — себя, дочь? И что значит — кажется? Ты сделала отчаянное дело и не уверена до конца, права ли?

— Права. Чувствую, нашла, нашла, что давно влепую искала.

Мать Майи, Зинаида Николаевна, по простоте душевной не понимала и не принимала сложностей и недомолвок, а потому спросила с бесхитростной бабьей прямоотой, заставившей меня содрогнуться:

— Что, он сильнее тебя любит?

Майя нахмурилась и промолчала, ей было неловко передо мной, она жалела меня, боялась глядеть в мою сторону. Отец угрюмо проворчал:

— Не задавай, мать, пустых вопросов. Иначе, как без ума, мол, ответить не сможет.

Майя тряхнула волосами.

— Любит?.. Да! Сильней?.. Не знаю!

— Ка-ак?! — обомлела мать. — Не знаешь даже, как любит?

— Не знаю даже, сильно ли сама его люблю. Его самого, а не все, что с ним...

И тут возмутился отец, навесив колючие колосовые брови, загремел приглушенными перекатцами:

— Опомнись! Что ты говоришь?.. Порвала с кровью... Не березовый чурбак перед тобой, взгляни, живой человек! Ты ему всю жизнь разворотила. Тут одно оправдание может быть — невмочь, лихое схватило, простите, справиться с собой не могу. И вдруг хаханьки — сама не знаю, то ли сильно, то ли так себе. Задешево жизнь разбиваешь вдребезги! Как только язык повернулся признаться?! Ты ли у нас такая уродилась — легкий пар вместо души, или время нынче дурное — человек с человеком ничем не крепится? Ну не пойму! Не пойму! Разойтись, порвать, чтоб снова жить некрепко... Жуть берет.

Он громыхал, а у Майи разгоралось лицо — не смущенно, не оскорбленно, скорей счастливо.

— Папа, а давно ли ты сам благословил меня на такое же?..

— Я?!

— Мамочка! — Майя качнулась к матери. — Больше всего на свете я люблю тебя и... папу. Люблю и любила!.. Павел... — Горящее лицо, умопомрачительно прекрасное, с увлажненными сляющими глазами, повернулось ко

мне: — Когда мы сходились, ты, конечно, догадывался, что своих отца-мать люблю больше, чем тебя. Тебе и в голову не приходило меня упрекать, естественно... — Осветившее меня лицо отвернулось в сторону отца. — Любила вас больше его, а ушла-то к нему! И вы оба, папа-мама, считали: так нужно, так нормально. Понимали, что не возле вас, а возле него могу найти настоящую жизнь. Не обязательно более счастливую — настоящую! Вот и сейчас я ушла в другую жизнь... Почему вы в панике? Почему слезы, мама? Вы радоваться должны!

— Настоящая жизнь... без большой любви с тем, с кем собираешься жить? Да возможно ли это, дочь?

— Верно, доченька, верно отец говорит.

В два голоса с болью и тревогой.

А Майя светилась и улыбалась.

— Ничегошеньки вы не поняли... А ты, Павел?... Хочу, чтоб ты понял: ушла от тебя не просто потому, что сильнее полюбила другого...

Когда ее лицо обращалось ко мне, ее глаза устремлялись на меня, ее голос звучал для меня, я в смятенной панике забывал свою беду, все готов был простить, со всем смириться. Трын-трава в эти секунды!

— Сменять человека на человека — и только-то?! Мало! Мало! Просто любить мужа, как это скучно — уткнуться в кого-то одного! Павел, он мне открыл, что можно любить многих, купаться в любви. Со старухой одной столкнулась, всю жизнь уборщицей работала, под унитазами подтирала, сына без мужа вырастила. А сын-то теперь гонит ее от себя — женился, а жена старуху терпеть не может. Раньше бы я мимо прошла, головы не повернула. Теперь ее беда — моя беда, безразлична эта чужая старуха, люблю ее, болею за нее, сердце надрывается, что ничем ей помочь не могу, только утешить... Я прежде всего недовольна собой была, а от этого и все кругом противно становилось и тебе, Павел, жизнь портила, а ведь нынче я даже иногда горжусь собой... Иногда, когда у меня хорошие слова к людям находятся. И знаешь, люди любят меня мной... Радость каждый день, маленькая, неприметная со стороны... Папа, пойми, для меня не он один главное, а все, что вокруг него... Он мне другой мир подарил!..

Майя упруго поднялась со стула — с пылающими скулами, с доверчивыми глазами, удивленная и опьяненная, — ее чистый альтик звенел по комнате:

— Он!.. Он не имеет ни своего угла, ни теплого паль-

то, ни зарплаты даже, которая могла бы его кормить. Ему от людей ничего, а он людям все: свое время, свои мечты, свои радости, наконец! И люди берут у него... Да, да, берут и чувствуют себя от его подарков счастливее, чем были. Пусть немного, пусть чуть-чуть... Он для людей, но кто-то же должен и для него! Кто-то должен скрасить его одиночество, согреть его своим теплом. Так вот — я, я! Готова на все!.. Скажешь, папа, не настоящее? Кого-то счастливым сделать, знать, что без тебя человек задохнется... Нет, нет теперь у меня сомнений — мол, живу, пе знаю для чего, без толку! Не лей, мама, слезы по мне, не надо... Я, мама, теперь не одного люблю, я весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..

Но мать Майи клонилась к столу и плакала, а отец сутулился, мрачно завесив глаза бровями.

А я был ослеплен, раздавлен. Передо мной, словно вспышка сверхновой звезды, произошел катаклизм, величественный и всежигающий.

Лихорадочный румянец окрашивал ее щеки, глаза испуганно блестели.

10

Поздний вечер, сыро, холодно, но дождя нет. На автобусной остановке молчаливые люди, терпеливо ждущие одного — понасть домой, лечь спать, закончить еще один затянувшийся день.

Сутулый мужчина в очках, с внушительным портфелем. Старик с одышкой, крупен, породист, важен, а рукава старого пальто обтрепанные, и жеваное кашне не прикрывает грязную сорочку. Девушка, не юная и не перерзлая, не миловидная и не безобразная — жиденькие кудельки из-под шляпки с фестончиками, какие уныло пылаются в витринах наших промтоварных магазинов. Стоят и другие, столь же молчаливые, столь же замкнутые в себе люди, нечаянно оказавшиеся со мной рядом на минуту-другую. Люди, которых я никогда больше не встречу и не вспомню.

Но я сейчас озарен, я чувствую себя ясновидящим. Этот сутулый, в очках, самый терпеливый на вид, — жертва опрометчивой торопливости: поторопился жениться, поторопился нарожать детей, сейчас, не утихая, торопится заработать, чтоб прокормить семью, рвет, где только может, сверхурочные. Он уже устал, наверное, очень, жа-

лется на сердце, но не решается передохнуть. И возможно, ему еще отравляет существование престарелая теща.

Старик с одышкой был когда-то барственно красив, знал много женщин, ни одну не считал достойной себя. Давно уже он всеми забыт, зарос пылью и паутиной, вот-вот умрет от своей астмы, и никто ему не придет на помощь, и за гробом его пойдут случайные люди. Где-то в ветхом ящике он, наверное, хранит, как святыню, какую-нибудь реликвию своей победной молодости — веер или кольцо с камушком провинциальной актрисы. Верит теперь, что ее любил, ее одну, ошибается — любил только себя. Но все равно щемящая к нему жалость.

А почему-то больше всего жаль девуцу, самую благополучную из тех, что стоят сейчас рядом со мной. Она ничем особым не одарена, но ничем и не обездолена. Она рано ли, поздно непременно найдет себе мужа, такого же неприязнательного, совет семейное гнездышко, нарожает похожих на себя детей... Она никогда не узнает ни лютого отчаяния, ни самозабвенного восторга. Потому-то и жаль ее, жаль до тоски — полусумеречная жизнь без ярких красок. Из-под ширпотребовской шляпки с фестончиками не увидит неба. А как часто оно будет сиять над ней!..

Недавно я был слеп, в голову не приходило попристальнойе вглядеться в тех, кто рядом, в тех, кто проходит мимо. Но только что испытал потрясение. Майя!.. Кажется, знал ее насквозь, знал и удивлялся, удивлялся и любил, любил и безумствовал — все в ней, до боли близкой, дорого, какие уж тут тайники. А она сейчас вспыхнула, осветила не только свое, мне неведомое, но и разбудила меня. Сверхновая звезда! Ослеп на мгновение и прозрел к многокрасочности — вижу вглубь людей, вижу их прошлое и будущее. Вижу и не могу не сострадать им, только вот еще не умею к ним подойти. Хотелось бы убедить того, в очках: не суетись, не рвись, не надрывайся по мелочам, семья от этого сильно не пострадает. И старику можно бы сказать, что величав, сохранил еще львиное, выделяется из толпы, пусть утешится хоть на один вечер. А девуцу надо бы растревожить, пробудить ее так же, как меня пробудила Майя, к многокрасочности! Нет, я еще не волшебник, я только-только начал учиться. Мне нужен учитель — она, способная преображаться и преобразать!

Сверхновая, вспыхнувшая?.. От него, от Гоши Чугунова?!

Во мне все стало дыбом против этого человека. Не могу принять — освободил себя от простых человеческих обязанностей, даже от обязанности добывать себе хлеб насущный. Даже себя, а уж других-то не накормит. Раньше спекулировал в забегах своей подозрительной свободой, теперь продает в розницу господу бога. Не могу принять.

Но Майя-то вспыхнула! С тобой не было, столкнулась с Гошей — случилось!

Она сегодня сделала меня ясновидящим, а потому я, кажется, узрел то, что до сих пор было скрыто. Мне нужна Майя — жить для нее, заботиться о ней, ради нее сворачивать горы, изобретать перпетуум! Но, наверно, столь же нужен был ей и я — для меня жить, обо мне заботиться, ради меня свершать удивительное.

Вспомни, как в трудную минуту она обронила: «Стань больным...»

Тогда бы она заботилась, тогда бы чувствовала себя нужной. «Стань больным» — от великого отчаяния можно сказать такие слова. И они меня не пробудили. Она продолжала жить бездейственно, чувствовала себя ненужной. В конце концов вот не вытерпела...

А Гоша существует всегда за счет кого-то, всегда нуждается в чьей-то помощи и заботе. Как просто быть ему нужным. Она будет греть его своим теплом.

Да, Гоша — та спичка, которая вызвала пожарище! Хочешь не хочешь, а признай.

Как только не причудничает капризная судьба!

За щедрое тепло все-таки надо чем-то платить, хотя бы тем, что содержать привыкшую к удобствам Майю. Вот на это Гоша навряд ли способен, он скорее предпочтет мерзнуть.

Подосевший автобус забрал без разбору всех со всеми житейским. И меня в общей куче.

Я ехал домой в странном состоянии — горе смешалось со счастьем, потеря Майи с открытием Майи. Меня лихорадило. «Стань больным...»

А ведь, если я заболею, Майя знает, что за мной сейчас некому ухаживать, кроме разве соседей. Она не выдержит, примчится, не сомневаюсь в том.

Вольным?.. Если бы... Я много лет ничем не болел, только насморком. Не свалился в постель и на этот раз.

Мой вопль долетел до Зульфии, она откликнулась — голубой простенький конверт.

«Мой милый! Мой забытый! Мой памятный!

Я получила твоё письмо в день своего рождения. Увы, мне стукнуло тридцать восемь. Но на самом деле больше, я старая, старая, разучилась чему-либо удивляться на свете. Ничуть не удивляюсь и твоей беде — обычно.

Знаешь ли ты, что я, встретив тебя, жила в ожидании и затаенном хроническом страхе: вдруг да кивнешь — идем со мной! И побежала бы, стала бы другом и рабом, преданным и обезличенным. Но ты из тех, кто выдумывает себе идолов и поклоняется только им. Я же была не выдуманной и не сочиненной — некий одушевленный кусок трезвой действительности, не поражающий воображение, возможно, даже не очень приглядный. Я не подходила, а, право, жаль, потому что умела лучше тебя самого видеть то, что тебе нужно. Я угадывала бы, где ты можешь споткнуться, и умела бы вовремя предупредить, я знала бы наперед, какая твоя мысль исполнится, а какая бесплодна, и с бережностью пропалывала бы сорняки. И прощала бы твои слабости, и, наверное, смогла бы даже не дать почувствовать тебе бремя своих лет.

Ага, подумаешь ты. Вовремя же упреки, вот она, бабья месть! Может быть, чуть-чуть ты и прав, лишь самую малость. Но мне простительно слегка ковырнуть больное — свое, а не твоё — уже потому, что я тогда слишком тщательно его от тебя прятала. Ты догадывался лишь о малом. Сейчас в отчаянии взываешь о врачевании, не подозревая, что когда-то сам нанес рану. Она заросла, мой милый, но еще саднит.

Итак, тебе нужна помощь... О, это для меня не шуточное. Просто словом, как ты просишь, отделаться не могу. Я не сразу села за ответ, я думала несколько дней и ночей... И решилась!

Что ж, готова помочь, но сильно сомневаюсь, пригнешь ли ты мою помощь.

Надеюсь, ты не слишком высоко подпрыгнешь от удивления, если я объявлю тебе старым стилем: я помолвлена! На современном языке это означает: готова стать женой почтенного человека. Ему скоро стукнет шестьдесят, как, впрочем, и мне сорок. Он профессор, и толковый, три года назад овдовел, один из его сыновей уже штурму-

ст вулканы Камчатки, второй вот-вот окончит институт. Он умен, добр, лишен амбиции, даже несколько бесхарактерен, словом, меня с ним ожидает покойная жизнь.

Так вот, я готова отвернуться от этой жизни и от этого человека, ринуться к тебе, неустроенному, ненадежному, любящему другую. И никаких обязательств от тебя требовать не стану, и на прочный союз до гробовой доски рассчитывать не хочу, и опасение, что ты, обрета уверенность в себе, вновь сотворишь себе кумира и потянешься от меня к нему, не остановит. Пусть!.. Но буду рядом, пока тебе плохо, разделяю твое одиночество. Для меня, я поняла, и это уже достаточная награда. Хочешь? Позови!

Заранее представляю, как ни безвыходно сейчас тебе, однако столь неумеренная решительность может привести в смущение.

Тебя смущает? Ты боишься ответственности?.. Ладно, не надо. Тогда уж наберись мужества и справляйся один. Но помни при этом — есть человек, готовый тебе помочь. Он предлагает единственное, что имеет, — самое себя! Большого уже никто тебе не предложит.

И пусть это как-то утвердит тебя в твоих глазах — не для всех ты лишний и безразличный!

Твоя *Зульфия*».

«Господь бог коварен, но не злонамерен». В разгар отчаяния он не добывает меня, а преподносит незаслуженный подарок. Не всем выпадает в жизни такая щедрость — меняю собственный покой на твои страдания! И нужно быть совсем бездушным истуканом, чтоб не чувствовать себя уничтоженно виновным — не в состоянии ответить тем же, не так богат.

Конечно же Зульфия и сама не верит — приму все, что она предлагает. Не настолько же я бесстыдно эгоистичен, чтоб ломать чью-то жизнь и обломками укреплять свою.

Хотя где еще можно столкнуться с такой самоотверженностью до самоотречения. Единожды не выпадает, уже на дважды нечего и надеяться. Пропустишь — не повторится!

Не проходи мимо редкостного! Не обворовывай себя!

Но мне весь мир застит она. Она одна!

Да, Зульфия, быть может, способна соперничать с ней в величии души. Только я не столь уж и много знал о душе Майи, когда полюбил ее.

Полюбил, а за что, собственно? Скорей всего за нич-

тожно малое — за своенравный изгиб губ, временами пронзительно трагический, хоть умри. Ни у кого из женщин на свете такого нет...

И знаю же, давным-давно знаю, что этот трагический изгиб — никак не отражение души, не ее собственность, просто игра природы. А поди ж ты... Коварная, однако, игра!

12

Иван Игнатьевич иногда звонил мне на работу. Но наши телефонные разговоры каждый раз уныло гасли, словно свеча под стеклянным колпаком. От них на весь день оставался угар.

В последний раз он обронил — намеренно или нечаянно, бог весть — адрес Майи: Молодежная улица, дом 101. Все та же Молодежная улица — новая Галилея новоявленного Христа.

Я узнал, каким автобусом туда ехать, примерно представлял, на какой остановке сойти, и все путешествие могло занять лишь от силы полчаса. Она совсем рядом — полчаса езды! — но постарайся забыть об этом.

Забыть?..

Догадывался ли Иван Игнатьевич о фатальной власти оброненного им сведения? Уж коль ты его получил, то не выбросишь, не отделаешься — угнездишься, как вирус, начал час от часу расти, крепнуть, отравлять и без того отравленное существование.

«Не лей, мама, слезы по мне, не надо... Я... весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..» Нет сейчас такой силы, которая заставила бы ее усомниться в своем счастье. Только время может вывести из заблуждения. Почему бы и с ней не случиться тому, что столь часто бывает с другими: чем больше опьянение теперь, тем сильнее похмелье со временем.

Головой я понимал — надо ждать, ждать и только ждать. Но человек менее всего приспособлен к ожиданию. Пассивное ожидание — бездеятельное оружие самых примитивных. Простейшие бактерии способны замирать на многие тысячелетия, дожидаясь благоприятных условий. Собаку заставить ждать куда трудней, чем выполнить сложное для нее действие. Человек — самое деятельное, самое нетерпеливое существо, ожидание противно его природе.

А я сейчас не был даже нормальным и уравновешенным

человеком. Я сутки за сутками, с утра до ночи, минута за минутой сжигал себя. Я думал о каком-нибудь затруднении в эксперименте, расчетливо сопоставлял новые данные со старыми, но на задворках этих рассудочно-холодных мыслей неизменно стояло зарево — она, негаснущая! Я перебрасывался со своими сотрудниками равнодушными или деловыми словами, но они, мои слова, плавали, как пена, на кипящей, клокочущей лаве — она и все несчастья, с ней связанные. Я сотни раз за день испытывал перемены — от глухой тоски к каким-то смутным надеждам, от надежд к беспросветному отчаянию, — и причиной была опять она, только она. Я с трудом засыпал теперь каждый вечер, и всегда с последней мыслью о ней, просыпаясь утром, я сразу же вспоминал ее. И это мне-то нужно набраться терпения — ждать... Сколько? Год, два, неизвестно. Мне замереть, впасть в анабиоз? Где уж, горю чадным пламенем.

Как мог, я крепился, но вирус сумасшествия плодился во мне.

Темным дождливым утром я вышел из дому, миновал автобусную остановку, до которой прежде провожал Майю. Миновал и двинулся дальше по Большой Октябрьской, едва ли не самой шумной и людной улице нашего города. И я, нет, не чувствовал себя в те минуты особо отчаявшимся или особо подавленным, не утомлен, не разбит, даже сносно спал эту ночь.

И вдруг шагах в десяти впереди себя я увидел... ее! Фонари натужно светили сквозь сеявший дождь, мокрый асфальт гримасничал в отсветах огней, деловитое шарканье сотен ног, влажный шум скатов по мостовой, рычание грузовиков. До оскотины знакомое кругом, ежеутреннее. И среди этого ежеутреннего, под косматящимся в мелкой мороси фонарем она, напористо устремленная, в незнакомой мне шляпке, в знакомом плаще, перетянутом поясом, несущая себя летящей походкой куда-то прочь от моего дома и от меня. Обвалилось сердце, секунду стоял, хватал ртом влажный воздух — и рванулся, чуть не сбив с ног встречного...

Мимо гастронома с еще темными витринами, мимо комбината «Химчистка», к кинотеатру «Радуга», где я когда-то впервые прикоснулся к ее руке... Я спешил за ней, боялся приблизиться и боялся потерять из виду — среди чужих спешащих людей, сама чужая, не ведающая обо мне, проходящая...

На перекрестке за кинотеатром «Радуга» она остановилась, нетерпеливо дожидаясь, когда пройдет поток машин. Я даже не успел подойти к ней поближе. Как только она остановилась, я сразу понял — ошибся, совсем не похожа, даже фигурой. И эта нелепая шляпка на волосах, и неаккуратно пузырящийся плащ... Издалека на секунду мелькнуло лицо — не слишком молодое, до обидного простоватое, оскорбительно несовместимое с тем, каким бредил я.

Я дождался, женщина двинулась через мостовую — походка-то должна же быть похожа... Но нет, грубо энергичная, порывистая, вовсе не летящая.

Вечером, возвращаясь, вновь проходя мимо кинотеатра «Радуга», я вспомнил утренний случай и не устыдился оплошности — почему бы и в самом деле случайно не встретить ее на улице, могут же быть маленькие чудеса? Совсем маленькие, ну, скажем: открою сейчас дверь в комнату и увижу, у порога стоят ее ботинки рядом с моими домашними шлепанцами...

Может быть, почему бы нет... И я ринулся вперед, прорываясь сквозь прохожих. Я, конечно, пытался охладить себя: не дури! С чего бы это вдруг! Возьми себя в руки!.. Но ботинки перед глазами рядом со шлепанцами...

Вверх по лестнице на пятый этаж я бежал бегом, перемахивая через несколько ступенек. Ключ долго не падал в замочную скважину...

У порога лежали мои шлепанцы, поношенные и отрезвляюще одинокие. Самый воздух в квартире казался чердачно-нежилым.

Но она, недоступная, как мираж, близко! Молодежная улица, на автобусе меньше чем за полчаса.

13

Я почти забыл о нем, как почти забыл случай с мальчиком-отцеубийцей. Серое утро, толпа перед домом, незнакомец, отыскивший меня взглядом в толпе, — утонуло в памяти, погребено под свалившимся на меня несчастьем, а казалось же, весь век будет саднить и сводить с ума, не излечишься! Нет, другие раны теперь кровоточат.

Но в этот вечер, как только я потушил свет, он вдруг явился ко мне. Странно, без всякого повода, ничем не вызванный. С отчетливостью более яркой, чем наяву, я увидел его: шляпа, надвинутая на лоб, крупное, пожалуй,

даже породистое лицо с резкими складками, обличающими недюжинный характер, и глаза, устремленные на меня, то ли во мне открывшие что-то, то ли что-то от меня ждущие. Незнакомец — человек-загадка! Почему я, именно я из всей толпы? Что он открыл и чего ждет?..

Ночь. Тяжелая, непробиваемая осенняя ночь, способная заставить даже счастливого поверить в одиночество. Она мне, заброшенному, привела товарища, таинственного, как судьба. Ворочаясь под одеялом, я разгадывал тайну — его и свою одновременно.

Сам ты только слышал, а он-то видел тогда своими глазами, что стряслось. Ты отравился, он подавно должен быть отравлен. Ты испугался за людей — не светопреобразование ли грядет? — почему его не мог охватить ужас? Поставь себя на его место перед толпой, кого бы ты в ней стал искать? Счастливых! Да, чтоб убедиться — они не миф, не выдумка, есть на земле, жизнь не вырождается.

А рядом с тобой была Майя, она бросается в глаза, ее всегда замечают среди других. Ты с ней, как же тебя не принять за счастливого, как не порадоваться такому чуду, мысленно не потребовать: берегите, может быть утеряно. Увы, не ясновидец, а заблуждавшийся. Ты и тогда уже счастливым не был.

Он мне стал братски родствен, тот незнакомый человек, то же чувствует, того же желает, не чужак и никак не враг.

Ночь, утопившая в себе все кругом, у меня, одинокого, в гостях призрак друга. Всего-навсего призрак, по и тому рад...

Я клочковато спал, всю ночь продирался к черному утру, встал с каким-то неясным и неприятным ощущением — то ли я что-то потерял вчера, то ли сделал что-то постыдное, то ли жду каких-то неприятностей. А какие там неприятности? Все неприятное уже со мной случилось, день грядущий мне не может ничего обещать. Ровно ничего!

Перед этим необещающим днем мне надо было себя покорить. Я пошел на кухню, поставил на плиту чайник.

Над кухонным столом висел отрывной календарь, я каждое утро срывал с него листок — не прошедший день, а день начавшийся. Сорвать и выбросить, считать, что минул, — жалкая подачка моему ожиданию: время работает на меня.

Сорвал я и теперь — 29 ноября, пятница. В этот день

в 1920 году была установлена в Армении Советская власть. Возможно, там уже готовятся к празднику. Возможно, там не льет дождь, над горами восходит солнце, окрашивает их в фантастические цвета. Южная, неведомая мне страна, хочется верить, что там сейчас все иначе...

Других исторических событий, случившихся в этот день, календарь не обещал. Хотя... Вот те раз! Мелким шрифтом под «пятница»: «Сегодня полное лунное затмение».

В этом году второе. Я-то думал, что такое случается очень редко, далеко не каждый год и уж никак не дважды в году.

На обороте листка в самом конце все тем же мелким шрифтом тесно: «...Доступно наблюдению по всей территории Советского Союза. Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад, расположенным около Альдебарана.

Начало затмения в 16 час. 29 мин.

Момент наибольшей фазы в 18 час. 13 мин.

Конец в 19 час. 59 мин.».

Над Настиным омутом в ту ночь потусторонними голосами кричали лягушки. И лицо Майи, вскинутое к Луне, было прозрачно-русалочьим. Ее испугала улыбка мироздания — вечность висела над нами!..

С этих минут началось короткое, но великое мое счастье.

Короткое?! Не соглашусь! Если оно не вернется, жить не смогу. Без него сплошной мрак или унылая бесцветность. Если бы не знал, не испытал, то думал, жизнь такова и есть, а она, оказывается, может быть захватывающе красивой. Иной не хочу. Отравлен...

Что, если бы Майя знала, что творится со мной сейчас! Если бы она могла заглянуть внутрь, неужели бы не содрогнулась, неужели бы осталась бесчувственной! Она равнодушна к благополучным, но отзывчива на чужое несчастье. Сравни теперь, Майя, меня с Гошей Чугуновым, сравни и реши, кто несчастней и кому ты больше нужна.

«Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним!» Сострадание рождает любовь!

До сих пор я лишь жалко рассчитывал на время — жди, и желанный плод созреет, сам свалится в руки. Не существует способа ускорить события.

Есть! Есть! Надо просто открыть ей глаза на самого себя!

Колокольчик прокаженного звенит надо мной. Отвернется от прокаженного?! Хотела бы, да не сможет, сверх ее сил, противоестественно для нее!

Господи! На что рассчитывал — на ожидание: авось случится. На авось! И на годы... У Бориса Евгеньевича прошло целое десятилетие, после которого было поздно поворачивать назад.

Она близко — на Молодежной улице, стоит только сесть в автобус...

Сегодня полное лунное затмение. С лунного затмения началось тогда твое счастье...

Чайник давно вскипел и пытел на плите, но у меня уже не хватало терпения напиться чаю, выключил газ, вышел из кухни, натянул плащ.

Наверное, с такой вот решительностью люди, никогда не совершавшие преступлений, идут на взлом или на убийство. Где-то в глубине мозга, в его периферийном углу шевелилась рассудочно хилая мыслишка: вовремя ли вылазка, не с бухты ли барахты действуешь, оглядись, взвесь, ни час, ни день не решают... Но этот далекий рассудочный шепот вызывал лишь досадливое к себе презрение: без рефлексий не можешь, гнилой интеллигентшика! И к решительности применялось раздражение, почти злоба.

С этим я и вышел на улицу.

А дождь лил и лил. И ночь, оборвавшая день вчерашний, все еще продолжалась, выкрадывая у людей утро.

14

Дом номер 101 оказался напротив автобусной остановки — «с калиткой ветхой, обрушенным забором...». При дождливом рассвете ее обиталище поразило меня своей неприкаянной ветхостью и заброшенностью: щербатая, обморочно запрокинувшаяся изгородь, неряшливо клочковатые, обнаженные кусты, ржавая осевшая железная крыша за ними. И сама калитка болезненно перекошена, как физиономия алкаша, хватившего на опохмелку ту самую первую, которая «колом». И пронизывающая серая мгла, все мокро, черно, разбухло, поникло от промозглой сырости.

Весь этот конец Молодежной улицы выглядит запущенным, несовременно нищенским. На нем печать обреченности, никто здесь не ремонтирует свои дома, не по-

правляет заборы, хозяйские руки уже не прикасаются ни к чему — ни свежевystруганной доске, ни пятна яркой покраски, тусклота, кособокость, подпорки. Здесь не живут, а доживают.

Скоро ревущие бульдозеры, подымая облака пыли, свалят эту вековую бревенчатую труху, сметут с земли, освободят путь наступающему городу. И жители этого провинциального конца Молодежной улицы станут самыми обычными горожанами, для которых водопроводный кран заменит скрипучий колодезный ворот, газовая плита — печь с челом, лоджия или балкон — крылечко-веранду. А дом под номером 101, пожалуй, обветшалей других. У меня сжалось сердце: вот как выглядит снаружи Майкино счастье — перекошено и обречено!

Я стоял под навесиком автобусной остановки. Появлялись люди, ждали вместе со мной, исчезали с подходившими автобусами. Навес плохо спасал от дождя, я промок, продрог, ветер насквозь продувал меня. И в шагах двадцати, за черным, тускло отсвечивающим шоссе, за широкой лужей на обочине страдальческая калитка, ведущая в обиталище счастья, похожее на заброшенный пустырь. Да не ошибка ли? Может ли Майя жить в такой заброшенности? И есть ли тут вообще живая душа?.. Но не мог же Иван Игнатьевич дать мне ложный адрес. Я мерз и ждал, подходили и уходили автобусы, оставляя меня в одиночестве. А время тянулось и тянулось, а дождь лил и лил, день давным-давно уже вызрел, мокро поникший день, какой-то тусклолуженый. Конца ему не было.

Первое шевеление жизни за заборчиком я, как ни странно, проглядел. Увидел Гошу Чугунова, когда он вынырнул из-за кустов, завозился, открывая перекошенную калитку. Он вышел и остановился перед разлившейся лужей — в мешковатой поролоновой куртке, в кургузой кепчонке, слишком легкомысленной даже для его невушильной бородачки.

Тяжелый грузовик с двумя прицепами, угрожающе устремленный, закрыл на секунду от меня Гошу, и, когда, овеянный брызгами, с ветром прогремывал мимо, я увидел рядом с Гошей ее... Голова закутана в шерстяной платок, воротник плаща поднят, плечи вздернуты — непривычного облика, слишком простовата, ни дать ни взять аборигенка этой городской провинции, никак не та Майя, которую я видел недавно.

Ну, вот и свершилось.

Глубоко засунув руки в карманы плаща, я двинулся паискосок через дорогу, чтоб обойти лужу и встать лицом к лицу с пей. Зверовидно громадный МАЗ взвизгнул тормозами, вильнул, обдал меня водяной пылью, с негодующим ревом ушел.

Они узнали меня, когда я подошел вплотную.

Из-под платка, скрывающего брови, распахнулись глаза — сплошные немотно изумленные зрачки. И до горловой спазмы трагически надломленные губы. В трех шагах от меня, подойти ближе уже не смог — перестали слушаться ноги.

Я хотел ей сказать, что колокольчик прокаженного звенит надо мной... Но я вгляделся в ее разверстые, остановившиеся глаза и в них увидел себя — мокрого, окоченевшего до мертвенности, измученного ожиданием, раздавленного страхом перед ней. Нужно ли ей говорить, она знает все, ничего не открою. Наверняка она знала и до этой встречи... Имела ли то высокое счастье, в каком она с горящим лицом уверяла недавно мать и отца? Может быть... Она лишь скрыла тогда, что это ее высокое отравлено мною — думает, изводится оттого, что я ею брошен в проказе... Я там, за семейным столом, не выглядел столь жалким, потому набралась сил и скрыла...

Сейчас ее губы гнулись, ресницы вздрагивали, а глаза плавились. А я стоял и ничего не мог выдавить из себя. Молчание сгущалось и давило, звон в ушах, трудно дышать. Она не смела и не считала своим правом оборвать это молчание, я понял, будет терпеть, пока в силах держаться на ногах. Я явился, я и обязан что-то сказать, сделал над собой усилие и сам поразился своему неподатливо-хриплому, простуженно-шершавому голосу:

— Мне... Мне надо посмотреть на тебя, Майка... Я уйду... Я только взгляну... Я начинаю видеть тебя всюду... Мерещишься... Я, кажется, схожу с ума, Майка...

И губы ее побелели, скулы окаменели, а из расплавленных глаз хлынуло — даже не страдание, а что-то покорное, униженное, почти собачье.

Все! Свершилось!.. Я понял это и не удивился, не обрадовался. Не слова, нет, а сам звук моего больного голоса сломал ее. Теперь она уже вместе со мной станет сходить с ума.

Мне нужно сейчас повернуться и уйти, оставить ее один па один с Гошей, со счастливым Гошей, столь непохожим на меня. И Гоша станет ей чужим, а со временем — ненавистным.

Следовало уйти, но оторвать себя от нее я не мог. Стоял, мучился, мучил ее. Не слушались ноги.

И тут выступил он.

— Старик, — сказал он, и борода его раздвинулась в широкой улыбке, светлые глаза смотрели дружески, прямо и просто, а голос задушевен и торжествен. — Что делать, старик, мы любим друг друга.

До сих пор мне было не до него — рядом Майя, ничего не существовало, кроме нее: Майя, ее глаза, ее побелевшие губы. Теперь пришлось повернуться к нему. Сухое лицо стало как будто поглаже, борода поопрятней, не столь клочковата, и глаза светлые, непорочно чистые, гляди не гляди, ни тени в них, ни пятнышка — сквозные. И узкие плечи его горделиво разведены под просторной, словно надутый, курткой, и на тонкой шее вздрагивает не закрытый бородой острый кадычок — ничуть не взволнован, не растревожен, весь параспашку, правый человек, готовый ко всепрощению и отзывчивости. Дружеская улыбка и... «Что делать, старик, мы любим друг друга». Явно без всякой задней мысли, со святой убежденностью.

Он даже и не подозревает о своей жестокости. Все видел, все слышал — перед тобой же человек с оскверненной жизнью! Хоть на секунду ощути свою вину, хоть посочувствуй. Нет! «Что делать, старик...» Делать нечего, так тому и быть. И при этом готов любить от души... Вот так, любя, с простецкой улыбкой пройдет по костям другого и не поймет. «Что делать...»

Никогда прежде не испытывал к нему ненависти. Сейчас она вспыхнула внезапно, ослепила и помutilа.

Только что мы стояли друг против друга — один шаг. Он открыто и дружески улыбался всей бородой, а я таращил на него глаза. Не помню, как я шагнул вперед, помню лишь, как мой кулак встретил его улыбку... Что-то хрустнуло под моим кулаком, и он свалился.

Раздался надсадно-раненый вопль. Перед моими глазами оказались ее безумные глаза, растянутый рот, бледное, искаженное от ненависти ее лицо.

— Т-ты!! Т-ты!! Под-лец!

Сбитый с ног Гоша неуклюже пытался утвердиться на четвереньках, и борода его на длинной тонкой шее пьяно покачивалась над грязной землей.

— Тты-ты!! Бей!! Меня бей!! Меня!!

Я не мог выдержать опаляющей ненависти, отвернулся, вяло и туло пошел прочь сквозь дождь.

Удивительно, в эту минуту я отстраненно и трезво за-

мечал все, что происходило кругом: взъерошенная дворняга подымала на забор лапу, горбатенький «Запорожец» старого выпуска промчался по шоссе в мутном облачке брызг, с автобусной остановки взирала на пас женщина с кошелкой.

15

Дома на кухонном столе лежал оторванный листок календаря — 29 ноября, пятница. Сегодня полное затмение луны...

Ее искаженное гневом и ненавистью лицо: «Подлец!! Меня бей!! Меня!!!» А за минуту до этого она меня любила. Почти любила... И: «Под-лец!!» И Гоша, ползающий по грязной земле, борода, качающаяся на тонкой шее...

Если бы он хоть имел такие же широкие плечи, как у меня. Нет, худ, тощ, никак не кулачный боец. Бил слабого! А я был всегда убежден: лучше его, заполненной, честней, добрей. Добрей?! И кулаком так, что хрустнуло.

Кровь ударила в голову... Кровь туземцев деревни Полянка, где запутанные сердечные дела парни извечно решали кулаками.

Не грехи на родную деревню. Взыграла злоба, слепая и бессмысленная, жившая в твоей глубине. Взыграл зверь, который в тебе прячется!

«Под-лец!!»

Вот и конец всему! Она уже не вернется — ни скоро, ни через год, ни через десять лет!..

Шел затяжной, ровный, холодный дождь за окном. Сумерки сгустились, день угас. Меня знобило, я сегодня еще ничего не ел. Моя человечья оболочка продолжала жить, хотела согреться, просила горячего чая. Я послушно встал, зажег газ под чайником, включил свет.

Листок отрывного календаря передо мной — 29 ноября, пятница... Буду помнить этот проклятый день.

«Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад... около Альдебарана...» Сейчас без пяти минут пять. Затмение уже началось.

Дождь за темным окном, обложной дождь над городом. Где-то там, над дождем, в кажущемся соседстве с далекой звездой Альдебаран затемняется наш величественный спутник. Где-то взрываются светила, гибнут и рождаются миры. Никому нет до этого дела на нашей Земле, кро-

ме ученых чудаков, вроде академика Маркова. Дождь, дождь над нами, скрывающий вселенную...

Тот же дождь сейчас идет и над Настиным омутом. И уже не кричат там потусторонними голосами лягушки. У нее было прозрачное русалочье лицо...

С затмения Луны у нас началось, затмением кончилось. А оказывается, эти затмения происходят куда чаще, чем я думал.

Да пусть всегда исходит на меня твой свет!

Да будешь ты вечна...

Вечность оказалась смехотворно короткой — от одного затмения до другого.

И остался для меня лишь один вечный вопрос: может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить?

День закончен. Пережил его, переживу вечер, лягу спать. И ко мне, должно быть, снова явится незнакомец, всепонятливый, страдающий призрак кого-то, живущего в стороне.

Может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить? Может, есть такие, да наяву их встретить трудно — призрачны.

29 ноября, пятница. На земле дождь, а в небесах очередное событие... над скоплением Гиад, около звезды Альдебаран. Недостигаемо далека, как эта звезда, для меня Майя. А ее-то близость и делала мне близким весь мир, все человечество. Что же, жить удаленным от всех?..

Полное для меня затмение.

.
: : : : :
.

Затмения преходящи. Пусть найдется такой, кто бы не проходил сквозь них.

Переплетены люди между собой. Проросли люди друг в друга многими, многими связями. А самая простейшая, самая короткая человеческая связь — Он и Она! — начало всему. В ней прочность нашего бытия. Тут чаще всего у нас рвется. Тут каждый проходит экзамен на проникновенность — он в нее, она в него! Пойми и признай человека, единственного из всех, назначенного делить с тобой путь. Пойми! Нет, трудно.

Воистину: за понимание друг друга люди платят кровью и кусками жизни.

Мы оба заплатили сполна.

Расплата

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел. Дверь квартиры на пятом этаже распахнулась, из нее вырвалась растерзанная, простоволосая женщина с ружьем в руках, ринулась вниз по лестнице, кружа с этажа на этаж, задыхаясь в бормотании:

— Бож-ж мой!.. Бож-ж мой!.. Бож-ж-ж!..

Спящий город уныло мок под дождем, расплывшиеся фонари, держа на себе громаду холодной и сырой ночи, уходили вдаль, в черную преисподнюю. Женщина с ружьем, отбежав от подъезда, остановилась, дико оглянулась.

Дождь вкрадчиво шептал, дом уходил в небо черной глыбой (темней дегтярной ночи), лишь с дремотной усталостью тускло светились окно над окном по лестничным пролетам да высоко, на пятом этаже, горели ясно и ярко еще два окна. Выстрел никого не разбудил.

Женщина издала стон и, прижимая ружье, бросилась по пустынной улице под фонарями, по лужам на асфальте, в кухонном развевающемся халатике, в тапочках на босу ногу:

— Бо-ож-ж мой!.. Бо-ож-ж!..

Дверь квартиры, откуда выскочила женщина, стояла распахнутой, из нее па сумеречную лестничную площадку щедро лился ровный свет. В этот полнолуночный час, когда все запоры замкнуты, одна семья старательно укрылась от другой, огромный дом от фундамента до крыши коченел в обморочной каталепсии, разверстая светонесная дверь могла бы испугать любого — вход в иной мир, в потустороннее, в безвозвратность! Но пугать было некого, все кругом спали...

В дверях появилась тень по-теновому бесшумно, тон-

кая, угловато-ломкая — насильственные, неверные движения незрячего существа. Человек-тень остановился на пороге, ухватился рукой за косяк. Казалось, его, потустороннего жителя, страшил этот оглушающе тихий, спящий мир. Наконец он собрался с духом и шагнул вперед — долговязый парнишка в майке и узких джинсах, тонкие ноги с неуклюжей журавлиной поступью.

Посреди лестничной площадки он снова остановился, недоуменно оглядываясь — три двери были бесстрастно глухи. Парнишка судорожно вздохнул, двинулся дальше осторожно, робея, как слепой, вниз ощупью по ступенькам лестницы, шорох его шагов срывался вниз, на дно лестничного колодца.

Он спустился всего на один этаж, толкнул себя к обитой черным дерматином двери и встал, тупо уставясь. Тишина, сковывающая весь дом, сковала и его. Он словно задремал стоя, минуту, может больше, не шевелился. Наконец с усилием выпрямился и нажал на кнопку. За обитой дверью, за глухой каменной стеной послышался въедливо живой звук звонка. Парнишка зябко передернул голыми плечами и снова оцепенел. Ни шороха, ни скрипа, тяжелое молчание дома. Он вновь заставил подняться непослушную руку, на этот раз звонок долго сверлил закованную в бетон тишину.

Смачно дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась.

— Кто тут?.. — сиплый со сна, недоброжелательный мужской голос.

— Это я... — с конвульсивным выдохом.

Досадливое короткое кряканье, выразительное, как ругательство, и обреченное. Дверь распахнулась — твердый подбородок в суточной щетине, насупленный лоб, но выражение длинного, помятого сном лица брюзгливо-кислое и голос сварливый, нерешительный:

— Опять у вас кошачья свадьба?

— Василий Петрович, я... — У парнишки судорогой свело челюсти.

— Сами покою не знаете и другим не даете...

— Я отца убил, Василий Петрович!

Василий Петрович распрямился в дверях — в сиреневой трикотажной рубашке, узкоплечий, высокий, нескладно костистый, с заметным животиком, выступающим над полосатыми пижамными брюками. Он втянул в себя воздух и забыл выпустить, мелкие глаза стали оловянными, стылыми. А парнишка тоскливо отводил взгляд в сторону.

— Милицию бы вызвать, Василий Петрович...

И мужчина очнулся, рассердился:

— Милицию?.. Ты шуточки шутить среди ночи!.. Чего мелешь?..

— Я... его... из ружья.

За спиной Василия Петровича всплеснулся вихревой шум, вспыхнул яркий свет, мелькнули пружинно вскинутые тонкие косички, бледное лицо в болевой гримаске, тонкая рука, стягивающая ворот халатика у горла.

— Коля! Что?!

Василий Петрович попытался загородить собой парнишку:

— Марш отсюда! Без тебя!.. Без тебя!..

— Что, Коля?!

Коля молчал, гнул голову, прятал лицо.

— Сонька! Кому сказано — не суйся!

— Ко-ля!!

— Соня... Я — отца... Милицию бы...

— Папа, что он?.. Скажи, папа!

— Эдакое в чужой дом нести... Стыда у них ни на грош! — снова сварливо-бабье, беспомощное в голосе Василия Петровича.

Из глубины квартиры выплыла женщина в косо натянутом платье — спутанные густые волосы, лицо сглаженное, остановившееся, бескровная маска.

— Мама! — кинулась к ней Соня. — У них что-то страшное, ма-ма!

— Но почему он к нам? Что мы, родня ему близкая?

— Мама!!

И мать Сони слабо вступилась:

— Да куда же ему идти, Вася?

Парнишка глядел в пол, зябко тянул к ушам голые плечи.

— Василий Петрович, в милицию... позвоните.

За спиной Василия Петровича мелькнули пружинные косички, повеяло ветерком от разметнувшихся пол халатика, Соня кинулась в глубь прихожей, раздался мягкий стрекот телефонного диска.

— Алло! Алло! — высокая, на срыве колоратура. — Аркадий Кириллович, это я, Соня Потехина!.. Аркадий Кир-рил-ло-вич!.. — Всклип со стоном. — У Коли Корякина... Приезжайте, приезжайте, Аркадий Кириллович! Скорей приезжайте!..

Соня звонила не в милицию, а их школьному учителю.

А по темному, мокрому, пустынному городу бежала

женщина в халатике, прижимая к груди ружье. Слипшиеся от дождя волосы закрывали лицо.

— Бо-ож-ж мой... Бо-ож-ж!..

2

Аркадий Кириллович жил неподалеку — всего какой-нибудь квартал, — но как, однако, неуклюж и бестолков бывает внезапно разбуженный человек, за десятилетия мирной жизни отвыкший вскакивать по тревоге. Пока опомнился, осмыслил, ужаснулся, пока в суете и снешке одевался — носки проклятые запропастились! — да и резво бежать под дождем в свои пятьдесят четыре года уже не мог, вышагивал дергающейся походочкой.

Дом по-прежнему спал, по-прежнему вызывающе светились лишь два окна на пятом этаже.

Из подъезда выдвинулся человек — угрожающе массивный, утопивший в плечах голову, — полупночный недобрый житель. Приблизившись вплотную, он заговорил плачущим, зыбким голосом:

— Дети — отцов! Дети — отцов! Доучили!..

— Кто вы?

— Не узнали?

— Василий Петрович! Где тут узнать.

Отец Сони Потехиной в просторной дошке с меховым воротником, делавшей его внушительно плечистым.

— Все-таки помните — и на том спасибо. Я вот вас встречать выбежал...

Натянутый на лоб берет, невнятный в темпоте блеск глаз и то ли раздраженный, то ли просто раздерганный голос:

— ...встречать выбежал, чтоб поделиться: был там, видел! Дети — отцов! Дети — отцов! Конец света!..

— «Скорую» вызвали?

— Нужна теперь «скорая», как столбу гостинец. В упор разнес... В самое лицо, паршивец... Сып — в отца!

— Пошли! Вдруг да помочь можно.

— Ну не-ет! С меня хватит. Не отдышусь... А вы полюбуйтесь, вам сх как нужно! Авось да поймете, что я теперь понял.

— О чем вы?

— О том, что страшненькое творите. Такой хороший, такой уважаемый, тянутся все — советик дайте... Очнуться пора!

— Ничего не пойму.

— Конечно, конечно... Может, потом поймете. Сильно надеюсь! — Василий Петрович вцепился в рукав, приблизил к лицу Аркадия Кирилловича дрожащий подбородок, жарко дыхнул: — Ненормальными дети растут. Не замечали? И Сонька моя тоже ненормальная...

Аркадий Кириллович с досадой освободился от его руки:

— Отложим выяснения. Теперь не время!

— Не время, нет! Поздновато. Случилось уже, назад не вернешь. Раньше бы выяснить!..

Последние слова Василий Петрович уже кричал в спину учителя.

Темные лестничные пролеты выносили Аркадия Кирилловича на скупо освещенные площадки — первый этаж, второй, третий... Он поднимался, и росла неясная тревога, вызванная неожиданной встречей с Василием Петровичем, — похоже, упрекал его, и с непонятным раздражением. До сих пор гнало одно — стряслось несчастье, нужна помощь! И спешил, не спрашивая себя — чем поможет, что сделает? Сейчас с каждым шагом наваливалось смутное ощущение — откроется неведомое, оборвется привычное. Впервые пришла оглушающе простая мысль — его ученик убил! Странно, что сразу не оглушило — его ученик! Не связывает с собой...

А с Василием Петровичем Потехиным он был в хороших отношениях, знал его даже не только как родителя одной из учениц, не так давно принимал участие в его судьбе, выслушивал жалобы, давал советы, направлял к нужным людям... Потехин раздражен — непонятно.

После крутой лестницы закололо дыхание и сердце перво билось в ребра. Аркадий Кириллович остановился на последнем этаже.

Перед ним распахнутая дверь, из которой щедро лился свет. Кусок паркетного пола с половичком, кусок стены, обклеенной бледными обоями, с какой-то журнальной картинкой — синее с красным, что-то сочное, но не разберешь издали. Кусочек обжитого мирка, каких больше сотни в этом доме, сотни в соседних домах, сотни тысяч во всем городе. И каждый наособицу. Семьи, как люди, не схожи друг с другом. Вход в мир? Да нет, этот мир уже рухнул. Он стоит в пяти шагах от катастрофы. И с новой силой охватило тяжелое, почти суеверное предчувствие — стоит шагнуть ему в эту распахнутую дверь, как его жизнь, налаженная, устоявшаяся, сломается. За

этой ярко освещенной дверью его ждет не только покойник, а и еще что-то неведомое, опасное, от чего можно уберечься, только отступив.

Но что-то пригнало же его к этой двери, что-то властное, среди ночи. Отступить не может.

Отдышавшись, Аркадий Кириллович двинулся к двери, заранее испытывая и брезгливость и подмывающее возбуждение — окунается в атмосферу преступления, о какой много приходилось читать, но самому окунаться — ни разу.

Картинка, висевшая на стене против входа, — реклама, вырезанная из иностранного журнала: у синего моря, на оранжевом пляже красная, зализанная, устрашающе длинная машина с откидным верхом, возле нее улыбалась всеми зубами загорелая поджарая блондинка в предельно скудном купальнике.

В конце коридора у дверей в комнату — тоже распахнутых, вход! — валялась мужская туфля, нечищенная, поношенная, с крупной ноги. Аркадий Кириллович осторожно перешагнул через нее.

Он в свое время видел немало убитых — речка Царица в Сталинграде была завалена смерзшимися, скрюченными трупами в уровень своих обрывисто-высоких берегов. Но там мертвые — часть пейзажа искромсанного, изуродованного, спаленного и... привычного.

Здесь же ярко, заполненным бешеным накалом горела под потолком люстра с пылающими хрустальными подвесками и напоенный яростным светом воздух застыл в тягостной неподвижности. Парадно большой телевизор в сумрачной лаковой оправе взирал слепо и равнодушно плоской туманно-серой квадратной рожей. Широкая кровать бесстыдно смята, одна из подушек валялась на полу. И всюду по сторонам сверкают осколки разбитой стеклянной вазы.

А под переливчатой накаленной люстрой через всю комнату наискосок — он, распластанный по полу, удручающе громоздкий. Тонкая, синтетически лоснящаяся рубашка обтягивает широкую мощную спину, голова в кудельных сухих завитках волос прилипла к черной, до клейкости густой луже на паркете. От нее прокрался под раскоряченные ножки телевизора столь же дегтярно-черный, вязко-тягучий ручеек. И торчащие крупные ступни в несвежих бежевых носках, и одна рука неловко вывернута

в сторону, мослаковатая, жесткая, с изломанными ногтями — рабочая рука. Аркадий Кириллович почувствовал поднимающуюся тошноту; в помощи этот человек уже не нуждался,

3

То была их вторая встреча.

Года три назад Аркадий Кириллович поднялся в эту комнату (тогда она выглядела обычно и совсем не запомнилась). Коля Корякин — еще шестиклассник — плохо учился, вызывая грубил учителям, часто срывался на истерику. И тогда-то в школе заговорили: у мальчика неблагополучная семья, отец пьет, скандалит, сыну приходится прятаться от него по соседям. Надо было припихать какие-то меры, и, как всегда, срочно. Меры, а какие?.. В распоряжении школы есть всего одна, прекраснородушно-ненадежная — поговорить с непутевым родителем, воззвать к его совести. Никакой другой силой влияния учителя не наделены.

За эту не сулящую успеха операцию никто не брался — взялся он, Аркадий Кириллович.

Он явился утром в воскресенье с расчетом, чтоб не напороться на пьяного отца. Перед ним предстал рослый мужчина, еще заспанный, в натальной рубаше не первой свежести, со спутанной соломенной волосней, с тем ошпаренным цветом лица, который бывает лишь у особого типа блондинов. Само же лицо, правильное, с твердым крупным носом, плоским квадратным подбородком, выражало затаенное безгловое страдание — след похмелья, — выбеленно-голубые, на парной красноте глаза были увиливающе-угрюмы.

Аркадий Кириллович сразу понял, что этого человека никакими увещаниями не проймешь, вежливость он примет за робость, искренность — за желание обмануть, сострадание к сыну — за притворство. И потому Аркадий Кириллович заговорил со спокойной категоричностью, за которой должна была чувствоваться расчетливая агрессия, дающая понять — грубости не потерплю, возражений в повышенных тонах слушать не буду.

— Если в семье обстановка не изменится, — заключил он короткую и энергичную декларацию, — жизнь вашего сына окажется искалеченной. Хотите взять на свою совесть эту вину?

Темные губы скривились, белесые глаза убежали в сторону, упрямое, вызывающее выражение — видали мы таких праведничков! — не вызрев, скисло на воспаленной физиономии, лишь раздраженность прорвалась сухим скрипом в голосе:

— Мое дело — накормить и обути. Голодным мой сын не сидит, нагим не ходит. А воспитывать там — ваша забота. Вам за это держава деньги платит.

Спорить и доказывать бессмысленно, Аркадий Кириллович встал, стараясь поймать увиливавший взгляд, жестко произнес:

— Зарубите себе на носу: случится что с вашим сыном, нам даже не придется предъявлять особые доказательства вашей вины. Они слишком очевидны, так что — берегитесь!

Корякин-отец не взвился — стерпел, поверил в угрозу. Хотя какая там угроза, ни Аркадий Кириллович, ни школа ничем его не могли наказать. Детское воспитание подавляюще зависит от родителей, а родители же полностью независимы от педагогов. Но в ту минуту Корякин-отец был трезв, а значит, и не храбр.

Встречаться вновь нужда отпала — Коля Корякин вдруг резко изменился, из трудных учеников стал нормальным.

И вот — пламя поперек комнаты, вязкая лужа крови на паркете... Сын — отца.

Аркадий Кириллович вздрогнул — в мертвой комнате неожиданно раздался хрип!.. Но хрип взорвался громонадобным звоном — бом-м! бом-м! бом-м! Часы на стене в черном длинном деревянном футляре отбили три часа ночи. Они одни втихомолку жили в этой комнате, в застекленном оконце мелькал ясный лик маятника. Сразу же стало слышно размеренное тиканье — скупые, вкрадчивые и неумолимые шажки времени.

И Аркадий Кириллович очнулся: а, собственно, почему он здесь? Зачем ему видеть этот труп, испытывать тошноту? Он же сорвался с постели ради того, кто пока жив, — Коли Корякина, своего ученика. Коля находится этажом ниже...

Страшный и простой факт, которому он все еще не осмеливается верить, — вот под яростно пылающей люстрой жертва... его ученика! Учил Колю Корякина не бипому Ньютона, не далеким крестовым походом, а тому, как страдали за людей Пушкин, Толстой, Достоевский...

Оказалось, надо совершить усилие, чтоб отвернуться от убитого. Аркадий Кириллович, волоча непослушные ноги, двинулся прочь, старательно переступил через разношенную туфлю на пороге комнаты, проществовал мимо соблазнительно улыбающейся блондинки у синего моря, но у распахнутой в спящий мир двери повернул... на кухню. Не готов к встрече. Надо — пусть не понять — хотя бы обрести равновесие.

Кухня уютно-тесная, белая, оскорбительно покойная, прибранностью и порядком притворяющаяся — не ведасте, что случилось рядом за стеной. Узенький столик у стены покрыт клеенкой с веселыми цветочками. Аркадий Кириллович тяжело опустился за него.

4

Женщина с ружьем оказалась почти на окраине города, в новом районе, где дома без конца повторяют друг друга, где фонари реже, дождь, кажется, сыплет гуще, закоулки темней, а ночь глуше, неуютней, безнадежней.

Женщина свернула за угол одного ничем не отличающегося от других пятиэтажного здания, тихо постанывая: «Бож-ж... Бож-ж...», — протрусила наискосок через просторный двор, оказалась у флигелька, каким-то чудом уцелевшего с прежних, дозастроечных времен, сохранившего среди утомительно величавого стандарта свою физиономию, облупленную, скривившуюся, унылую.

Женщина пробарабанила в окно, и оно, помешкав, вспыхнуло, вырвав из тьмы одичавшее, залепленное мокрыми волосами лицо, зловеще залоснившиеся стволы ружья...

Маленькая компатунка была беспощадно освещена свисавшей с потолка голой лампочкой. Переступив порог, женщина с грохотом выронила ружье, бессильно опустилась на пол, и сильный, гортанный полукрик-полустоп вырвался из ее горла.

— Тихо ты! Соседей побудишь.

Рослая старуха, впустившая ее, глядела сонно, недобро, без удивления.

— Ко-оль-ка-а!.. Отца-а!.. Насмерть!

Женщина надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы, запутавшие лицо, обжигали глаза.

Старуха оставалась неподвижной — пальто, наброшенное на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые, уродливые, с узловатыми венами ноги, жидкие, тускло-

серые космы, длинное, с жесткими морщинами, деревянное лицо — непробиваема, по-прежнему педоброжелательна.

— Евдокия-а! Колька же!.. Отца!.. Из ружья!..

Легкое движение вскосмаченной головой — мол, понимаю! — скользящий взгляд на двустволку, затем осторожно, чтоб не свалилось пальто, старуха освободила руку, перекрестившись в пространство, неспешно, почти торжественно:

— Царствие ему небесное. Достукался-таки Рафашка!

Всем телом женщина дернулась, вцепилась обеими руками себе в горло, забила на полу:

— Вы-вы!.. Что в-вы за люди?! Кам-ни-и! Кам-ни!! Он никого не жалел, и ты... Ты — тоже!.. Ты же мать ему — слезу хоть урони!.. Камни-и-и бесчувственные!!

Старуха хмуро глядела, как бьется на полу рядом с брошенным ружьем женщина.

— Страш-но-о!! Страш-но-о среди вас!!

— Ну хватя, весь наш курятник переполошишь.

Тяжело ступая босыми искривленными ногами по неровным, массивным, оставшимся с прошлого века половникам, старуха прошла к столу, налила из чайника воды в кружку, поднесла женщине:

— Пей, не воротись... Криком-то не спасешься.

Женщина, стуча зубами о кружку, глотнула раз-другой — обмякла, тоскливо уставилась сквозь стену, оклеенную пожелтевшими, покоробленными обоями.

— Дивишься — слезы не лью. Оне у меня все раньше пролиты — ни слезинки не осталось.

Минут через пятнадцать старуха была одета — длинное лицо упрятано в толстую шаль, пальто перепоясано ремешком.

— Встань с пола-то. И сырое с себя сыми, в кровать ляг, — приказала она. — А я пойду... прощусь.

По пути к двери она задержалась у ружья:

— Чего ты с этим-то прибегла?

Женщина тоскливо смотрела сквозь стену и не отвечала.

— Ружье-то, эй, спрашиваю, чего притащила?

Вяло пошевелившись, женщина выдавила:

— У Кольки выхватила... да поздно.

Старуха о чем-то задумалась над ружьем, тряхнула укутанной головой, отогнала мысли.

— Кольку жаль! — с сердцем сказала она и решительно вышла.

Он считал: педагог в нем родился одной ночью в разбитом Сталинграде.

Кажется, то была первая тихая ночь. Еще вчера с сухим треском лопались мины среди развалин, путаная канитель пулеметных длинных и лающе-коротких автоматных очередей означала линию фронта, и дышали «катюши», покрывая глухими раскатами изувеченную землю, и па небе расцветали ракеты, в их свете поеживались причудливые остатки домов с провалами окон. Вчера была здесь война, вчера она и кончилась. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верится, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир — глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда. И хотя по улицам среди пепелищ валяются трупы, но то вчерашние, новых уже не прибавится.

И в эту-то ночь неподалеку от подвала бывшей одиннадцатой школы, где размещался их штаб полка, занялся пожар. Вчера никто бы не обратил на него внимания — бои идут, земля горит, — но сейчас пожар нарушал мир, все кинулись к нему.

Горел немецкий госпиталь, четырехэтажное деревянное здание, до сих пор счастливо обойденное войной. Горел вместе с ранеными. Ослепительно золотые, трепещущие стены обжигали на расстоянии, теснили толпу. Она, обмершая, замороженная, подавленно наблюдала, как внутри, за окнами, в раскаленных недрах, время от времени что-то обваливается — темные куски. И каждый раз, как это случалось, по толпе из конца в конец проносился вздох горестный и сдавленный — то падали вместе с койками спекшиеся в огне немецкие раненые из лежачих, что не могли подняться и выбраться.

А многие успели выбраться. Сейчас они затерялись среди русских солдат, вместе с ними, обмерев, наблюдали, вместе выпускали единый вздох.

Вплотную, плечо в плечо с Аркадием Кирилловичем стоял немец, голова и половина лица скрыты бинтом, торчит лишь острый нос и тихо тлеет обреченным ужасом единственный глаз. Он в болотного цвета тесном хлопчатобумажном мундирчике с узкими погончиками, мелко дрожит от страха и холода. Его дрожь невольно переда-

ется Аркадию Кирилловичу, упрятанному в теплый полушубок.

Он оторвался от сияющего пожарища, стал оглядываться — кирпично раскаленные лица, русские и немецкие попеременно. У всех одинаково тлеющие глаза, как глаз соседа, одинаковое выражение боли и покорной беспомощности. Свершающаяся на виду трагедия ни для кого не была чужой.

В эти секунды Аркадий Кириллович понял простое: ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся мажорков, ни эпидемические безумия — ничто не вытравит в людях человеческое. Его можно подавить, но не уничтожить. Под спудом в каждом перастраченные запасы доброты — открыть их, дать им вырваться наружу! И тогда... Вывихи истории — народы, убивающие друг друга, реки крови, сметенные с лица земли города, растоптанные поля... Но историю-то творит не господь бог — ее делают люди! Выпустить на свободу из человека человеческое — не значит ли обуздать беспощадную историю?

Жарко золотились стены дома, багровый дым шел искры к холодной луне, окутывал ее. Толпа в бессилье наблюдала. И дрожала возле плеча немец с обмотанной головой, с тлеющим из-под бинтов единственным глазом. Аркадий Кириллович стянул в тесноте с себя полушубок, накинул на плечи дрожащего немца, стал выталкивать его из толпы:

— Шнель! Шнель!

Немец без удивления, равнодушно принял опеку, послушно трусил всю дорогу до штабного подвала.

Аркадий Кириллович не доглядел трагедию до конца, позже узнал — какой-то немец на костылях с криком кинулся из толпы в огонь, его бросился спасать солдат-татарин. Горящие стены обрушились, похоронили обоих. В каждом перастраченные запасы человечности. Историю делают люди.

Бывший гвардии капитан стал учителем и одновременно кончал заочно пединститут.

Школьные программы ему внушали: ученик должен знать биографии писателей, их лучшие произведения, идейную направленность, должен уметь по заданному трафарету определять литературные образы — народен, реакционер, из числа лишних людей... И кто на кого влиял, кто о ком как отзывался, кто представитель романтизма, а кто критического реализма... Одного не учитывали программы — литература-то показывает человеческие отноше-

ния, где благородство сталкивается с подлостью, честность с лживостью, великодушные с коварством, нравственность противостоит безнравственности. Отобранный и сохранивший опыт человеческого общежития!

Ты возмутился хозяйкой Ваньки Жукова, жалующегося в письме к деду: «Взяла селедку и ейпой мордой начала меня в харю тыкать». Но не странно ли — ты совсем не возмущаешься, когда знакомый старшеклассник просто так, проходя, ради удовольствия отпускает затрещину пробегающему мимо малышу. Сильный на твоих глазах обижает слабого потому только, что он сильный. Достойный ли ты человек, если относишься к этому равнодушно?

Вы прочитали роман Толстого «Воскресение», давайте пофантазируем: что, если бы Нехлюдов от внутренней трусости или стыда отвернулся от Кати Масловой? Как бы он жил дальше? Женился? Обзавелся семьей? Был бы спокоен?..

Литература помогла Аркадию Кирилловичу завязать в школе сложное соперничество за достоинство: кто чувствовал в себе силу, выискивал случаи кинуться на защиту слабого; слабый гордился собой, если мог сказать нелицезную правду в глаза сильному; невинный спосил наказание за чужие грехи молча, по горе тому, кто трусливо допустит, чтоб за его вину наказали другого...

Во всем этом, да, было много игры и много показного. Но можно ли сомневаться, что со временем у детей показное благородство не станет привычкой, а игра — жизнью? В последние годы даже инспектора гороно публично отмечали — ученик сто двадцать пятой школы своим поведением завидно отличался от учеников других школ.

Аркадий Кириллович верил, что от него идут в большую жизнь духовно красивые люди, не способные ни сами обижать других, ни мириться с обидчиками, не терпящие подлости и обмана, сознающие свое моральное превосходство. И те, с кем будут они сталкиваться, невольно начнут оглядываться на себя. В любом человеке таятся запасы человечности. Аркадий Кириллович ни на минуту не забывал перемешанную толпу бывших врагов перед горящим госпиталем, толпу, охваченную общим страданием. И безывестного солдата, кинувшегося спасать недавнего врага, тоже помнил. Он верил — каждый из его учеников станет запалом, взрывающим вокруг себя лед недоброжелательства и равнодушия, освобождающим нравственные силы. Историю делают люди. Он, Аркадий Кириллович

Памятнов, рядовой педагог, вносит в историю свой скромный вклад...

Он верил сам и заставлял верить других. К нему тянулись, к его слову прислушивались, его совета искали не только ученики, но и их родители. И Соня Потехина в отчаянье бросилась звонить среди ночи не кому-то, а ему!

Сейчас Аркадий Кириллович сидел в кухне, подперев кулаком тяжелую голову. За стеной, в нескольких шагах лежал рослый мужчина с черепом, развороченным выстрелом из ружья. Его ученик убил своего отца! Его ученик... Один из тех, кто вызывал в нем горделивую веру.

Что это?

Случайная гримаса судьбы или же жестокое наказание за допущенную ошибку?

Если и сумеет тут кто-то подсказать, то только он — Коля Корякин. Если сумеет...

Тишина кругом. Аркадий Кириллович уже собирался подняться, чтоб идти вниз, как вдруг услышал крадущиеся шаги. Он вздрогнул, распрямился и... увидел в дверях кухни все того же Василия Потехина в пятацнтой на лоб беретке, в широкой дошке с меховым воротником.

6

— Не вытерпел. Пришел спросить: увидели?.. Ну и как?..

Прежнее необъяснимое недружелюбие в голосе и настороженная неприязнь в глазах.

Лицо Василия Петровича всегда поражало несогласованностью — крупный подбородок и под беретом обширный лоб мыслителя, а между ними суетно-певыразительные черты, вздернутый, вдавленный в переносье нос, дряблая бескостность на месте скул, маленький аккуратный женский рот, почти неприличный над крутым подбородком. Похоже, господь бог замыслил вылепить человека и уным и волевым, но сплоховал, измельчил, напутал, так и выпустил в свет недоделанным.

— Коля у вас? — спросил Аркадий Кириллович. — Я хочу его видеть.

— А зачем?

— Василий Петрович, что с вами?

— Прозрел.

— В чем?

А. В том, какой вы опасный.

— Не очень-то удобно выяснять сейчас отношения, но уж раз пачали — договаривайте.

— Все умиляются на вас, и я тоже, как все...— Василий Петрович качнул беретом в сторону комнаты, где лежал убитый.— Охладило. А вам... Позвольте вас спросить: вам ничего?.. Вас совесть не грызет?

Неужели этот человек разглядел со стороны то, что мучило смутными подозрениями? Аркадий Кириллович почувствовал зябкость в спине. Но волнения не выдал, спросил спокойно:

— Вы считаете — между убийством и мной есть прямая связь?

— Прямая? Да нет, кривенькая, с загибчиками...

— Докажите.

— Не смей мириться с плохим — требовали от ребят?

— Требовал.

— И будь хорошим без никаких уступок — тоже требовали?

— Тоже.

— Так что ж выходит: поперек жизни становись, ребятки. Вникните — страшно же это! Малая щепка реку не запрудит.

— Считаете, что я как-то построил Колю Корякина?

— Считаю — подвели мальчишку, как меня в свое время.

— Вас?..

Василия Петровича всего передернуло, даже голос у него сразу стал тоньше:

— А то нет! Был человек человеком, растущим нижепером считали. Так стукнуло меня к вам сунуться — справедливости великой, видите ли, захотелось. А вы известный специалист по справедливости, апостол святой! И полез я с вашей святостью, как Иван-дурак с плачем на свадьбу, другим построение испортил, а сам с помятыми боками за дверью оказался. Кто я теперь?.. Наряды выписываю на починку газовых плиток. К большому делу не подпускают — людей подвел.

— Так я виноват в том, что не отказал вам в помощи?

Василий Петрович резко подался вперед, словно сломался в пояснице — разлившися зрачки, задранный нос, кривящиеся губы:

— Не помогайте! Просить будут — никогда не помогайте! Отказывайте! — С жарким дыханием, шепотом: — Хуже людям сделаете.

И этот выпад, горячее до ненависти убеждение наконец-то возмутили Аркадия Кирилловича.

— Мне пятьдесят четыре года,— сказал он жестко и холодно.— За свою жизнь я многим помог, благодарностей слышал достаточно, а вот такие упреки — только от вас.

Василий Петрович откачнулся, сразу потускнел, стал просто хмур.

— И я благодарил, если помните... Теперь вот опомнился,— проворчал он в сторону.— Да во мне ли дело? В Сопьке... Дочь мне родная, боюсь за нее. Доучите вы ее — тоже на рога полезет... Ну-у пет! Не хочу! Переведу из школы...

В это время за темным окном, внизу, со дна ночной ямы, слышался шум моторов, скрип тормозов, хлопанье дверок, смутные голоса. Василий Петрович передернул плечами, подобрался:

— Милиция подкатила. Наконец-то!

Он боком двинулся к двери, но в дверях задержался, обернулся к Аркадию Кирилловичу, бросил:

— А Гордин-то прав! Во всем прав!

Бесшумно исчез.

Гордин?.. В свое время Потехин постоянно произносил эту фамилию, и каждый раз с выстраданным проклятием. Даже для Аркадия Кирилловича псевдоним Гордин стал олицетворением нечистоплотности, лживости, безудержного корыстолюбия. Пока не забылся.

А по лестнице прибойной волной стали нарастать шаги. Чем ближе, тем, казалось, больше становилось идущих, словно на каждом этаже распахивались двери, присоединялись люди, росла толпа.

Аркадий Кириллович опоздал к Коле Корякину, сейчас милиция возьмет его под свою опеку, придется просить разрешения свидеться.

Аркадий Кириллович поднялся, чтоб встретить надвигающуюся процессию.

7

Невысокий человек с фатоватой выправочкой, в ладно сидящем темном плаще, в глянцевавшей от дождя легкомысленной кожаной кепочке с намеком на козырек, лицо скуластенькое, несолидные усики и быстрые, цепкие черные глаза.

— Я инспектор уголовного розыска Сулимов, а вы кто? — спросил он чеканно. За начальственной строгостью пряталась молодая простодушная задиристость.

— Я учитель Памятнов, Аркадий Кириллович.

— И что вы здесь делаете?

— Пока ничего. Только переживаю.

— Гм...

Инспектор Сулимов оживленно ощупывал блестящими смородиновыми глазками, явно оценивал столь неуместного возле преступления пожилого, представительного учителя с внушительным, иссеченным крупными складчатыми морщинами лицом.

— Это мой ученик... — выдавил Аркадий Кириллович.

— Вы здесь живете? Как вы сюда попали раньше нас?

— Здесь живет еще одна моя ученица. Она вызвала меня по телефону.

— И часто вас так... среди ночи?

— Впервые.

— Все-таки что же вы намереваетесь тут делать?

— Вот собирался встретиться с ним. И не успел.

— С преступником?

✓ Он для вас преступник, для меня — ученик.

— Надеетесь чем-то ему помочь?

— А вы считаете, что он не нуждается в помощи?

— Нет, не считаю.

— Ну так если кто-то и сможет помочь ему, то, думается, только я. Его матери самой, наверное, нужна помощь.

— Однако вы самонадеянны. Уж не думаете ли, что способны снять с него вину?

— Его виной займетесь вы. Я — им самим.

— Что это значит?

— Это значит, что он не случайно сорвался на столь ужасный поступок, заставило что-то страшное. И нетрудно представить, в каком состоянии он теперь находится. Кто-то должен понять его, кто-то, кому он может довериться. А мне он всегда доверял.

Сулимов задумался, отвел в сторону взгляд. Из комнаты, где лежал убитый, доносились озабоченные голоса, там уже действовали его помощники.

— А он нормален? — осторожный вопрос.

— Вполне.

— Тем хуже, — нахмурился Сулимов.

— Так вы разрешите мне сейчас поговорить с ним? — попросил Аркадий Кириллович.

— Аркадий Кириллович!.. — торжественно уставился прямо в глаза Сулимов, всем своим видом показывая, что не упустил из разговора ни одного слова, даже имя-отчество с лета запомнил. — Аркадий Кириллович, не лучше ли

нам поговорить с ним вместе? Вы нам поможете что-то открыть, мы — вам.

— Я даже не уверен, товарищ Сулимов, что он распахнется и передо мной одним, а уж при вас скорее всего совсем замкнется.

— Я не могу допустить вас к нему, пока сам не допросил. Вообще до окончания следствия свидания не разрешены.

Аркадий Кириллович надолго подавленно замолчал, Сулимов пытливо косил на него острым глазом, наконец заговорил:

— Ему же будет легче, если первый допрос пройдет в присутствии учителя, которому привык верить. На меня он невольно станет глядеть — враг перед ним, и беспощадный. А если окажется рядом вы, значит, поймет — имеет дело не с врагами. Не лишайте его поддержки.

Аркадий Кириллович помедлил, навесив брови, деревянные тяжелыми складками, неуверенно согласился:

— Что ж... Выбора у меня нет. Пусть будет так. Мне прикажете ждать?.. И долго?..

Появился озабоченный офицер милиции, хмуро доложил Сулимову:

— Наповал... А ружья вот нигде не найдем.

— Не думаю, что долго, — ответил Сулимов Аркадию Кирилловичу. — Дело, по всему виду, ясное, петельки распутывать не придется... Пошли, Тищенко.

Аркадий Кириллович снова остался один в кухне.

За стеной часы, висящие над убитым, хрипло пробили четыре раза — мрачный благовест.

8

Сулимов, однако, исчез надолго.

Вокруг шла непонятная толкотня. Появлялись и исчезали новые люди — некто, увешанный фотоаппаратами; растерянная и перепуганная пара: женщина в рабочем ватнике и небритый мужчина в коробом сидевшей кожимитовой куртке (должно быть, дворники); санитары в белых халатах о чем-то шумно заспорили с милицией, оставили после себя в прихожей громоздкие носилки. Мельканье людей, хлопанье дверей, душно и жарко, а перед глазами — под яростной люстрой рослый детина, прилипший соломенной головой к черной луже...

Все дико, чуждо, все нереально — не верится, что за

окном в сырой тьме стоит знакомый город, что через несколько часов для всех начнется обычный день, люди проснутся, сядут завтракать, побегут на работу. Кошмарный сон...

Самым невинным из всего, вызывающим сосущую тревогу был недавний разговор с Василием Петровичем Потехиным. Теперь на досуге Аркадий Кириллович с подозрительной придирчивостью перебирал в памяти все, что случилось прежде между ними.

А случилось в общем-то самое обычное. Однажды в школе после родительского собрания Потехин подошел к Аркадию Кирилловичу, глядя кроличьими глазами, стал рассказывать: работает в самом крупном СМУ города, руководит там газовым хозяйством, укладывает газовые трубы, когда дома уже стоят, а дворы и подъездные пути залиты асфальтом, пробивает через этажи дымоходы, когда стены оштукатурены, покрашены, полы покрыты паркетом, рабочие постоянно простаивают, чтоб их задобрить, приходится приписывать им взятую с потолка работу — словом, на стройке разнузданный шабаш, обходящийся государству во многие сотни тысяч рублей. Василий Потехин просил совета. Какой мог дать еще совет Аркадий Кириллович — терпи, участвуй и дальше в расхитительстве? Да, он построил Василия Петровича, да, помог ему связаться и с обкомом и с городскими курирующими организациями...

То ли Василий Петрович Потехин оказался жидок для крупной войны, то ли слишком могущественный был его противник — некий Гордин, ворочавший СМУ, но волна прошла, поднятая шумиха утихла, и Василий Потехин оказался не у дел.

Он и потом жаловался Аркадию Кирилловичу, строил перед ним планы возмездия — Гордин, баснословный растратчик, Гордин, бесстыдный очковтиратель, Гордин, мастер всучивать взятки и крутить интриги, Гордин должен быть упрятан в тюрьму, на меньшее Василий Петрович не соглашался. Но очень скоро смирился, притих и уже не встречался с Аркадием Кирилловичем. Эпопея забылась, у Аркадия Кирилловича хватало своих забот.

И вот сейчас Потехин снова вспомнил... Можно, пожалуй, как-то объяснить его обиду на советчика — на лихое толкнул! Но чем объяснить его признание — Гордин прав?..

Далекий Гордин вдруг странным образом связался с непоправимым поступком близкого Коли Корякина. В дру-

гое бы время Аркадий Кириллович отмахнулся: какая там связь — воспаленный бред! Но в эту почь все странно, все чудовищно неправдоподобно, ничего не понятно, приходится с придирчивостью вглядываться и в то, что кажется бредовым.

Уже не раз из комнаты покойника раздавался сильный бой часов, всегда пугающе неожиданный, заставляющий вздрагивать, а Сулимов не появлялся.

9

Он вошел в кухню, но не один, за ним ввалилась рослая старуха в подпоясанном пузырящемся пальто, тепло укутанная платком. Позади старухи маячила милицейская фуражка.

— Не проси лучше, бабушка, — терпеливо убеждал старуху Сулимов. — Не для глаз матери картинка.

За время отсутствия он, видать, бурно действовал — плащ скинут, кепочка сбита на затылок, лицо запаренное, не утратившее энергичности, в щеголеватом, полуспортивного покроя костюме некая разлаженность, и галстук сполз в сторону, и сорочка под ним расстегнута на одну пуговицу.

— Я, милый, к страшному-то привыкла, — обрезала сурово старуха. — Не жалею меня.

— К такому не привыкают, мать. И потом, там сейчас работа...

— А я не уйду, куда его не увижу. Сын же он мне, сын родной, бесчувственные вы!

— Что ж, жди. Будут выносить — позовем.

— На улицу не пойду. Здесь останусь. Не молоденькая, чтоб на ногах...

— Усадите ее где-нибудь, — распорядился Сулимов.

Милиционер, маячивший за спиной старухи, выступил вперед, бережно взял за локоть:

— Я тебе, бабка, стульчик вынесу, у дверей подежурить. А здесь не положено. Никак!

— Ну все. Ради бога простите, — обратился Сулимов к Аркадию Кирилловичу. — Сейчас мы поедем в управление.

За стеной вдруг раздался вой, хриплый, печленораздельный, удушливый. Сулимов дернулся с места, но выскочить не успел — в дверях вырос смущенный Тищенко:

— Старуха эта вырвалась, перехватить не успели. Откуда только по резвость взялась.

— Голо-овуш-ка-а горька-ая-а! Жи-ызнь моя-а рас-прокля-а-та-ая-а! — Хриплый вой обрел членораздельность.

— Упала на труп, вцепилась — не отдерешь! — Тищенко крутанул фуражкой. — Ага! Подняли... Ишь ты, на ногах не стоит, на ручках неси... Посадите на лестнице, пусть поостынет.

У Сулимова оцетипились усики, блеснули под ними мелкие зубы:

— Тищенко! Ты чем думаешь? Мать убитого сына увидела!.. Сюда ее! И повежливей!

— Будет вам морока — паниячтитеся! — проворчал Тищенко, однако поспешно скрылся.

— Го-о-оспо-оди-и! За что невзлюбил?! Прежде дал бы мне-е помереть! На старости-то лет ви-идеть такое!..

Старуха вместе с сопровождающими втиснулась в кухню. Платок сполз у нее с головы, открыл седые непокрытые космы, изрубленное морщинами лицо слепо, открыт только провальню-черный, без зубов рот. На минуту в кухне стало до духоты тесно.

Аркадий Кириллович вскочил с табуретки, усадил старуху. Она упала лицом на стол, стала кататься седой головой по клеенке с веселыми цветочками.

— Перед смертью-то уви-идеть такое!.. Гос-по-ди-и!..

Тищенко, пугливо оглядываясь, молчком выдавил из кухни сопровождавших, прикрыл старательно стеклянную дверь.

Сулимов морщился от крика, крутил головой в кепочке, словно повторял движения седой головы старухи. Аркадий Кириллович, в расстегнутом плаще, в свесившемся кашне, в косо сидящей шляпе, нависал над старухой своим крупным, пропаханным глубокими складками лицом.

— Чем я так не угодила, гос-по-ди-и?! За что про-о-кля-та?! Устал-ла-а! Устал-ла-а! Моченьки нет! И пожаловаться кому?! Кто услышит?!

— Мы слышим, мать, — обронил в седой затылок Аркадий Кириллович.

И старуха притихла, оторвалась от стола, все еще по разогнувшись до конца, сгорбленная, судорожно пошарила рукой па груди, горестно высморкалась в конец платка и всхлипнула с содроганием, как всхлипывают успокаивающиеся дети. И это детское странно выглядело у седой дряхлой женщины с измятым, опухшим, столь тяжелым лицом, что его не смогло одухотворить даже и горе.

— Вы-то слышите, да что вам мое-то, — выдавила она.

Аркадий Кириллович опустился рядом с ней.

— Раз уж мы здесь, то, значит, есть дело и нам до твоей беды.

Старуха тупо взидала остановившимися глазами на цветочки, рассыпанные по клеенке, на запавшем виске под седым клоком билась толстая вена, пыталась выползти на морщинистый лоб, в такт ей еле приметно содрогались концы вздыбленных волос, отсчитывая натужные удары старого сердца. И снова вздох, но уже не детский, не со всхлипом, не прерывистый, а тягучий, сдавленный, вздох человека, изнемогающего от жизни.

— В беде родился, бедой и кончил...— тихо и внятно произнесла старуха, замолчала.

Слышно было, как поскрипывали ботинки переминающегося над ней Сулимова.

— И пока жил, все-то времечко от него к другим беда шла... Только беда.

— А его самого к беде никто не толкал? — спросил Аркадий Кириллович.

Старуха впервые подняла на него тусклые глаза, должно, вопрос чем-то поразил ее.

— Бог толкал, никто больше,— ответила с твердым убеждением.

— Ты его в детстве часто била?

— Не... В сердцах когда, покуда не подрос и совсем от рук не отбил.

— А любила ты его сильно?

Старуха грузно зашевелилась, выдавила стон:

— Он же мне жизнь вывернул. Малой, на руках был, а уж из родной деревни погнал, это в голодные-то годы!.. И никто уж больше не сватался, никому из-за него не нужна была. Некуды было от него спрятаться... И теперь вот... не спрячешься! По ночам блазниться будет...

По изрытым щекам старухи потекли слезы, скрюченные пальцы то сжимались, то разжимались на веселой, в цветочках, клеенке. Сулимов достал пачку из-под сигарет, в сердцах скомкал, бросил — пуста! — сказал:

— Говорил же — не для тебя картинка. Не послушалась.

— Сатана толкнул... Как захватило за душеньку, так и не пускает, дай, думаю, одним глазком на непутевого... Всем-то он жизнь портил, всех-то он наказывал, за это его бог и наказал!.. А он и тут... Он и мертвый-то, мертвый пуще живого страшен!.. Люди добрые! Не дайте ему других губить! Он всему виноват, как перед господом го-

ворю! О-он! О-он! Сатаной клейменный! В позорище зачала, в стыде выносила, в горестях выпянула! До того еще, как на свет появился, бедой был. Со свету сгинул — добрых людей показывает! Да кто же о-он, кого родила-а?!

Старуха сорвалась на кликушеский речитатив, морщины стянулись, глаза закатывались, губы прыгали, выбрасывая мятые слова. Сулимов ошарашенно стоял посреди кухни — кепочка на затылке, глаза навывкате со смятым мерцанием, подрагивают несолидные усики. Аркадий Кириллович сидел возле старухи, устало раснутив складки на лице, не шевелясь, пряча угрюмый взгляд под бровями.

Скрюченные пальцы старухи царапали клеенку, ее ломало — вот-вот свалится на пол, забьется в истерику.

Аркадий Кириллович тряхнул ее за плечо:

— Хватит, старая! — Обернулся к инспектору: — Распорядитесь, чтоб отвезли ее домой.

Сулимов очнулся от столбняка:

— Счас!

Сверкнул на трясущуюся старуху глазом, кинулся в прихожую.

10

Наконец-то они двинулись к выходу, Сулимов напористо впереди, Аркадий Кириллович поспевал за ним, Тищенко сзади.

Лестничная площадка сейчас была густо населена. В стороне от величавого, затянутого в шинельное сукно и ремни милиционера тесно сбились полуодетые перепуганные жильцы соседних квартир. И этажом ниже вперемешку — застегнутые на все пуговицы пальто и мятые пижамы, бледные лица, всклокоченные прически, вопрошающие немотно глаза. Дом проснулся, дом встревожен.

У плотно прикрытой двери своей квартиры стоял Василий Потехин в расхлястанной дошке, с бодливо выставленным на спускающегося Аркадия Кирилловича лбом: ну да, с начальством ходишь, никому невдомек, каков ты есть, один я насквозь тебя вижу!

Они вышли из подъезда, их встретило пизкое, до безразличия спокойное небо, подпираемое дымчатыми домами. Аркадий Кириллович с наслаждением захлебнулся влажным воздухом, чувствуя, как тает в нем скопившаяся отравка, яснее голова.

Но он опустил взгляд с неба на землю и вздрогнул — перед ним стояла толпа угрожающе сбитая, выжидательно молчащая, угрюмо-неподвижная. И желтые с голубым милицейские машины, и фургон «скорой помощи» с тревожно-красными крестами, и сумеречные шинели милиции, сдерживающей толпу. Под сглаженно-равнодушным небом, под морозящим освежающим дождиком, обычным утром, средь обычной улицы — странное людское скопление. Город, не успев начать день, прервал его, забыв о делах и заботах, сбежался, с настороженной праздностью замер перед сторонним бедствием, доказывая своим вниманием — не мелочь, масштабное событие!

Сулимов кивком указал на капареечную машину: туда! Возле машины все остановились, стали закуривать неспешно, сосредоточенно, словно исполняя необходимый ритуал. Аркадию Кирилловичу тоже протянули надорванную пачку. Он бросил курить лет десять назад, но сейчас взял сигарету, поспешно прикурил, осторожно затянулся, вместе с другими принялся разглядывать толпу.

В упор толпа выглядела иной — не слитной, не неподвижной, не угрожающей. В ней происходило робкое, подавленно-суетное шевеление — задние протискивались вперед, передние недовольно теснились, с беспокойством и опаской оглядывались на сдерживающую милицию. Выныривали и исчезали лица, мужские и женские, старые и молодые — разные, но с одинаковой оскорбительной озабоченностью, как бы не пропустить чего, утолить любопытство. Аркадий Кириллович почувствовал — сотни жадных глаз ощупывают и его, он участник действия, таинственный мрачный жрец преступности, потому в нем все интригует: шляпа, натянутая на лоб, небрежно выбившееся кашне, поношенный плащ, сигарета в руке, сумрачное лицо, более сумрачное, должно быть, чем у тех, кто стоит рядом. Сулимов и его товарищи, верно, привыкли к такому вниманию, скучаяще глядели на толпу, курили, молчали, чего-то ждали.

Неожиданно толпа вздрогнула, качнулась вперед и замерла. Аркадий Кириллович, повинуясь направленным мимо него взглядам, обернулся и увидел Колю Корякина. Массивный милиционер, что стоял на верхней лестничной площадке, вел Колю за локоть, красная ладонь касалась бережно, с медвежьей лаской, шаг твердый, решительный, на всю ступню. Рядом с этим плотски грубым, туго налитым, багрово-жарким, стянутым ремнями милиционером Коля выглядел немочным до прозрачности, не человек, а

видимость — бескровное, с бескровными губами узкое лицо, гривка невнятно рыжих волос, рвущаяся вперед непрочная тонкая шея, короткое пальтишко нараспашку, нетвердая поступь нескладных ног в расклешенных джинсах — но убийца! И чем он беспомощнее, тем опаснее должен казаться толпе — зря, что ли, собрал столько милиции, и какая богатырская ручища держит его сейчас за локоть!

И все-таки Аркадий Кириллович с надеждой вглядывался в лица — мир не без добрых людей, не могут же совсем не сочувствовать, кто-то же охвачен жалостью. Но нет, всех оглушило самозабвенное — не пропусти момента, исчезнет, не повторится!

И лишь два лица выделялись из других, задержали на себе взгляд Аркадия Кирилловича. На них всеобщее «не пропусти!» утонуло в ужасе, смятенном, паническом, недоуменном. Он и она, к нему прижавшаяся. Она, ищущая у него спасения, верящая в его силу, в его надежность. Но она, прижавшаяся, не замечала того, что было хорошо видно издали Аркадию Кирилловичу: он вовсе не чувствовал сейчас себя сильным — поражен, сбит, растерян. И они оба молоды, оба каждый по-своему красивы. В ее звучных тонких чертах изнеженность и врожденная ранимость. Он попроще скроен, крепче сшит, в нем та многообещающая грубоватость, которая обманчиво сулит самоуверенность, уравновешенность, всепобеждающую волю и никак не предполагает уязвленности. А именно он, плечистый, грубовато-сильный, сейчас поражен явно больше нее. Он и она — наглядно завидные представители рода человеческого. Он и она — убедительный образец доверчивости друг к другу. Если не им, то кому еще на земле доступно счастье? При виде их, молодых, обласканных природой, спаянных чужим несчастьем, невольно испытываешь исцеляющую гордость — не столь уж плохи живущие рядом с тобой люди!

Но они-то чего страшатся? Какое им дело, что рядом случилось непоправимое — сын убил отца?! Их не заденет, пройдет мимо, они любят друг друга, будут любить детей, дети станут отвечать им любовью. Ничего не грозит.

Ой ли?.. Несчастье заразно. Люди так перепутаны между собой, что если рвется в одном месте, расплзается и в другом. Кто может разобраться в этом таинственном хитросплетении? Нет таких, но каждый чувствует его роковую ненадежность. Эта пара — тоже.

Забыв о том, что в десяти шагах медвежеватый мили-

дионер усаживал в милицейскую машину Колю Корякина, Аркадий Кириллович любовался затерянными в толпе — им и ею. В жизни не только свары, грязь, кровь, есть, есть иное, восхищающее, обнадеживающее. За эту надежду он, отравленный, испытывал сейчас пронзительную благодарность, готов был мысленно произносить заклятье: не сотворишься бессмыслица, не обрушешься на этих двоих ни нужда, ни болезнь, ни сторонняя злоба, не пробеги между ними черная кошка, не помешай любить!.. Аркадий Кириллович, забыв обо всем, любовался...

Не она, тонкая и ранимая, а он, грубый, почувствовал его пристальный взгляд, перехватил его. Глаза их встретились. И на смело вырубленном лице его появилась смятенная тревога, почти испуг. Нет, все-таки этот парень не был еще настолько чуток, чтоб уловить — внимание незнакомого человека не таит вражды. Он не поверил Аркадию Кирилловичу, его тайную восторженность, его любованье встретил смущением и неприязнью. На всякий случай — спроста ли пристальность? что за ней? Чужая душа — потемки! Остерегаться ближнего — в крови человеческой.

— Аркадий Кириллович! Товарищ Памятнов!..

Сулимов сидел уже в машине, приглашал садиться его.

Аркадий Кириллович отбросил потухшую сигарету. Его проводил беспокойный, недоверчивый взгляд из толпы.

Взвыла сирена, толпа зашевелилась, начала тесниться, расступаясь перед машиной.

11

Милицейская машина, не задерживаясь у светофоров, визжа скатами на поворотах, за двадцать минут доставила к дому старуху Корякину. За дорогу та успокоилась — «такая уж судьба Рафашке, против бога не попрешь», — вошла к себе с лицом измятым, хмурым, но таящим значительность: узнала такое, что другим неведомо.

На полу по-прежнему валялось ружье. Анна, лежавшая на койке, со стоном подняла навстречу голову с упавшими на лицо спутанными волосами.

— Ну?! — с нетерпеливой дрожью, блестя лихорадочным глазом сквозь волосы.

— Чего — ну? — огрызнулась старуха. — Уж не ждешь ли, что обрадую чем?

— Кольку видела?

— Кольку теперь от людей сторожат... А Рафаила... Ох, лучше бы и не видеть. Го-ос-по-ди! За все грехи свои сполна ответил!

Анна судорожно передернулась.

Старуха начала медленно разоблачаться, раскручивала шаль, угрюмо бубнила:

— Вот ведь, родился печально и умер невзначай, отца не знал, от сына погиб... Жизнь!

— Что с Колюхой сделают?

— Аль догадаться трудно? Судить будут, не без того... Парня жаль — тоже косо жизнь начинается.

Анна сбросила с койки босые ноги.

— Мать! А откуда кому известно, что это он?..

Старуха с подозрением покосилась:

— То-то что на другого не свалишь.

У Анны на бледном лице кривился темный рот, глубоко запавшие глаза — в суетливом горячечном мерцании, острые плечи напряженно приподняты, тонкие руки вкопались в одеяло.

— Я, а не он в Рафаила-то из ружья... Откуда кому известно? Может, Колька наговаривает на себя, меня спасает?..

Долгим насмурным взглядом старуха обвела невестку, с горькой пренебрежительностью ответила:

— Полно-ко, кого оманешь... Ни себя не морочь, ни других. Хоть бы похитрей была, спросят — на первом же слове запутаешься... Ты? Из ружья?.. Да ты на мышь не замахивалась.

— А вот довел, довел! Восемнадцать лет мучал, каждый вечер от него смерти ждала. Одно спасение — ружье! Не Кольку пусть судят — меня!

— Не тебе, голубушка, врать, не им слушать.

— А ты подтверди: мол, я не раз страдала — одно мне остается... Подтверди, спасем Кольку. Самой же парня жалко.

Старуха потерянно махнула узловатой рукой:

— Не блажи. На старости целеницу плести, срамоту на себя брать...

Анна соскочила с койки, настрuppenно вытянулась, казалось, стала куда выше ростом, дрожащая, в жеваном халате, ведьмачьи патлатая, в синеву бледная, с одичалым бегающим взглядом.

— Кто-то должен ответить за Рафашку. Так — я! Я! Не он! Пробьюсь к кому пужно... Сейчас же! И заставлю,

заставлю поверить! Ружье принесу... Из этого ружья — своими руками... Я! Я! А не он!..

— Иди,— сказала старуха.— В тюрьму, поди, не посадят, а в дурдом как раз попадешь.

— Достань мне пальто какое и на ноги обувку...

— Ты мои паряды знаешь, в любое влезай.

— У соседей попроси.

— Не путай, девка, хуже будет. Издалека даже на виновницу не похожа, а уж ковырнут чуть — и совсем поймут, из чьих рук ружье стрелило.

— Виновница?.. А кого еще и випить, как не меня! Уж Колюхи-то я куда виновней!

— Во-во! Еще чуток — и сама поверишь.

— Нет, виновна я, виновна кругом! Не я бы, жил Рафашка. Другая баба, вроде Милки хотя бы, давно бы скрутила его в бараний рог или бросила к чертям собачьим. А я терпела... И как терпела! Видела же, видела, что добром не кончится, а цеплялась. Зачем? Кто должен был Колюку оберечь? Кто как не я? В аду парнишка варился. Рафашка на пьяные глаза понять не мог, я-то всегда трезвой была. Я мать, потому сделай, освободи себя и сына. Нет! Нет! Ничего! Палец о палец не ударила, только терпела и еще муки свои сыну навязывала. Не вила ли это? Да неужель не поймут, что судить меня, меня нужно, не мальчишку!.. Докажу!.. Евдокия, мне надо идти! Сейчас!

— Поостынь, успеется.

— Евдокия, Милка же, верно, ничего не знает. Позвони ей, она и одежду привезет... Пуховым позвони, а я тут умоюсь, причешусь... Ради Колюки прошу, Евдокия! И старуха испугалась неистовости в голосе Анны.

— Ошалела, девка. Вот уж воистину — в тихом омуте черти водятся. Да ладно, ладно, не стони. Мне-то что, позову Милку, пусть она нянчится.

Тряся сокрушено головой, ворча, Евдокия стала натягивать пальто. Телефона во флигеле не было, при нужде звонить бежали через двор, в подъезд соседнего дома.

Прошло едва ли более получаса, как темно-зеленые «Жигули» резко затормозили прямо перед окном. Приехала Людмила Пухова, подруга Анны еще с девических времен. Вызвав немотное удивление старичков и старушек, жильцов флигеля, она энергичной и репительной поступью проследовала к Евдокии Корякиной. Если Анна всегда выглядела потерянно и забито — стертное лицо, худая, болезненная, мала ростом, — то Людмила, где бы ни

появлялась, привлекала к себе внимание. В последние годы она сильно располнела, но не утратила прежней горделивой осанки, двигалась с напором, с достоинством неся пышную грудь и гладкое бровастое лицо, смущала взглядом сквозь приспущенные ресинцы, поражала шальной модностью своих нарядов. И сейчас, сорвавшаяся впопыхах по звонку, она явилась с подведенными глазами, распространяя крепкий запах духов, но белые щеки ее дрожали, а губы кривились. Она накинута на Анну, прижала ее голову к груди, по-бабьи в голос запричитала:

— Страдалица ты моя-а! Довел-таки бешеный, не остерегла я тебя!.. Горемычная моя!..

Попричитав, резко отстранилась, всхлинула, платочком промокнула глаза, села попрочней, деловито сказала:

— Давай думать, что сделать можно.

— Уже придумала,— подсказала старуха,— вину на себя брать хочет.

— Зачем? — без удивления, скорей заинтересованно спросила Людмила.

— Поди знай.

— Так разве ж не виновата я? — слабо произнесла Анна.

— Ты?! Какая, к лешему, ты виновница! — Людмила Пухова когда-то, как и Анна, была простой барачной девкой, не стеснялась сильных выражений. — Ежели и виноват кто, так я, дура. Кто толкнул тебя к Рафашке? Я же! Думалось — тиха да покладиста, не посмеет обидеть такую, сживетесь куда с добром. Ой, ошиблась! Всю жизнь клянусь себя.

— Чего уж давнее ворошить,— поеживаясь, как от озноба, возразила Анна. — Все ошибались, все! А за наши ошибки один Колюха ответит. По-че-му?! По-че-му он, а не я? Справедливость-то где?!

— Разберутся. Не убивайся зря-то. Я Коле адвоката хорошего найду, сама его наструю, все выложу что было. Возле закона тоже, поди, люди сидят — ноймут.

Но решимость старой подруги не успокоила Анну:

— А мне что — сидеть да ждать? С ума же сойду!

— Не жди, сходи поговори — вреда не будет. Узнаешь что к чему, нам расскажешь,— согласилась Людмила, с затаенным страданием разглядывая Анну.

— Одежку-то мне привезла?

— Не знаю, подойдет ли. На скорую руку похватила.

— Лишь бы срамоту прикрыть. Вот оденусь и пойду сейчас.

— А куда? К кому — знаешь?

— Не, — растерялась Анна.

— Э-эх! Простота! — Людмила резко встала. — Одевайся, а я узнаю к кому... Где телефон-то тут? Евдокия, идем со мной, одежду захватишь, в машине она.

И только сейчас, когда двинулась к выходу, Людмила заметила лежащее на полу ружье, споткнулась, оглянулась на Анну. Та подавленно кивнула: из него.

— Обеспамятела — выхватила у парня и ну-ко сюда притащила, — пояснила старуха.

Только теперь, при виде лоснящегося черными стволами ружья, Людмила, должно быть, зримо представила картину убийства: свалили Рафаила Корякина, здорового мужика, страшного в пьяном озверении! Бешеного Рафку, которого она, Людмила, знала с девчества!

— Анька... — обессиленно, с хрипотой произнесла, и лицо ее сразу увяло, на гладких щеках проступили вмятины. — Анька, молчишь, тихая? Да крикни же, прокляти — я сосватала, я! С моего слова началось... Выругай, все мне легче.

Анна вяло отмахнулась:

— Своего ума не достало, что уж других корить.

И нарядная, пахнущая духами Людмила грубо, по-мужицки выругалась, перешагнула через ружье, вышла.

Через пятнадцать минут Анна, одетая в слишком просторное, отливающее лягушачьей зеленью пальто из жатой кожи, в берете с кокетливыми вишенками, слушала Людмилу.

— Вот записала для памяти: Су-ли-мов. Старший лейтенант Сулимов: пятьдесят первая комната, Колькино дело ведет. Я тебя доведу до управления, а там уж сама действуй.

Анна сунула бумажку в карман, поднялась, взяла с пола ружье.

— С ружьем на свидание, — криво усмехнулась Людмила.

— Спесу. Поди ищут его.

Старуха напонила:

— Скажи ей, чтоб себя зазря не оговаривала.

— Не сумеет, — хмуро обронила Людмила. — Для этого уметь врать надо.

Они ушли, старая Евдокия осталась одна, села на помятую койку, сложила на коленях мослаковатые руки и задумалась.

Необжито-чистый кабинет с несолидным письменным столом, солидным сейфом в углу и неистребимым канцелярским запахом эдакой легкой бумажной залежалости. Прочно усевшись за стол, Сулимов деловито разложил перед собой листы бумаги, бланки, блокнот, ручку, пачку сигарет и закурил.

— Так! — сказал он удовлетворенно. — Думаю, лучше без всякой подготовочки — сейчас и приступим.

— К чему? — не понял Аркадий Кириллович.

— К допросу Николая Корякина.

— В моем присутствии?..

— Процессуальный кодекс предусматривает присутствие педагога. Имеете право задавать вопросы, высказывать свое мнение, отказаться подписать протокол, если не согласны. Словом, вы, так сказать, законный участник.

Аркадий Кириллович, нахмуясь, задумался — вытирающий лоб, свалившиеся, с проседью волосы, тяжелые опущенные веки, резкие складки от носа к углам решительно сжатого рта.

— Предупреждаю, — сказал он хмуро. — Я буду пристрастным.

— Вот и хорошо, — согласился Сулимов. — Значит, мне придется быть беспристрастным вдвойне. — Он снял с телефона трубку: — Приведите Корякина.

Ожидание показалось Аркадию Кирилловичу долгим и неловким — молчали, старались даже не глядеть друг на друга, словно боялись, как бы по нечаянности не возникло ощущение сговоренности.

Наконец дверь раскрылась, милиционер, молодой, с наивно-старательным выражением суровости на добродушно-губастой физиономии, впустил впереди себя Колю Корякина, солидно козырнул Сулимову, вышел.

Он встал перед ними, нескладно долговязый, оцепеневший, ноги, не успевшие сделать рассчитанный шаг, в неловком неустойчивом положении, и чувствуется — мешают повисшие руки. Поразили Аркадия Кирилловича светлые, широко распахнутые глаза, ни мысли в них, ни страха, никакого живого чувства, глядят прямо и, должно быть, ничего не видят. Своего учителя тоже.

— Садитесь, — пригласил Сулимов, указывая на стул.

С послушанием робота Коля шагнул вперед, сел на краешек стула, вцепился пальцами в острые коленки и снова замер — тонкая шея доверчиво вытянута, острый

подбородок задран и под ним натужно пульсирует нежная ямка.

— Эй, мальчик, очнись! — окликнул Сулимов. — Не к людоедам в гости пришел. Даже знакомых не узнаешь.

Коля вздрогнул, взглянул на Аркадия Кирилловича, и в его сквозно-прозрачных глазах появилось смещение, в бескровных сплюснутых губах — кривой судорожный изгиб.

— Корякин Николай Рафаилович... Учащийся... Родился когда? — начал Сулимов допрос.

— В пятьдесят восьмом... Второго ноября, — тихо, с сипотцой ответил Коля.

— Еще нет и шестнадцати?

— Нет.

Сулимов бросил взгляд на Аркадия Кирилловича. Тот сидел прямой, неподвижный, из-под тяжелых век разглядывал неловко пристроившегося на кончике стула Колю, крупные складки на лице набрякли, обвисли. Нет еще и шестнадцати парню! Не вырос, несамостоятелен, за таких всегда кто-то отвечает. А он сам решил взять ответственность за родителей... Вытянутая шея, острый подбородок, бледная невнятная гримаса и сведенные пальцы на острых коленках. Некому отвечать за него, кроме учителя. Изрытое, неподвижное, темное лицо Аркадия Кирилловича... Сулимов невольно поежился.

— Скажи, давно ли твой отец стал приходить домой пьяным? — спросил он.

— Всегда приходил.

— То есть ты не помнишь, когда он начал пить?

— Он всегда пил.

— Но бывал же он когда-нибудь и трезвым?

— Утром... Пьяный только вечером.

— Так-таки каждый вечер?

Коля замялся, взволнованный, еле приметный румянец просочился на скулах.

— Я... Я, кажется, не так сказал... Неточно. Не всегда. Нет! Бывали вечера, когда трезвый, совсем трезвый... Даже много вечеров бывало. Иной раз неделями и даже месяцами в рот не брал. И тогда все хорошо. Потом снова, еще хуже, тогда уж каждый вечер... Да!

— Приходил пьяным и бил тебя?

— Меня — нет. Не бил он меня. Он мамку бил... и посуду.

— Если даже под горячую руку ты подворачивался, ни разу не ударил?

— Когда я на него сам кидался, тогда ударял или за дверь выталкивал, чтоб не мешал. Но не бил... так, как мамку.

— Ты кидался на него?

— Маленьким был — боялся, очень боялся, сам убегал... К соседям. К Потехиным чаще всего... А потом... потом ненавидеть стал. Что ему мать сделала? Как вечер подходит, она сама не своя. И не ругала его. Нет. А он все равно накидывался. Он же здоровый, никто из мужиков с ним не связывался, любого бы поколотил. Мамка совсем слабая... Здоровый и бешеный. Он бы все равно ее убил. Мне смотреть и ничего не делать? Не мог же! Не мог! — Колин голос из тусклого, глухого до шепота стал тонким и звонким. — Я ему честно, в глаза — не тронь, убью! Но по-че-му?! По-че-му он не слушал?!

— Ты его предупреждал?

— Да. Только он плевал на мои слова.

— И что ты ему говорил?

— То и говорил...

— Какие слова?

Коля склонил голову, с трудом выдавил:

— Что убью... если мать тронет.

— И сколько раз ты его так предупреждал?

— Много. Он и не слышал словно...

Сулимов помолчал. Аркадий Кириллович сидел по-прежнему прямой и неподвижный.

— Мы не нашли ружье. Где оно? — оборвал молчание Сулимов.

— Мать выхватила. Когда... когда уже все... И убежала с ним.

— Но ты ведь не знал, что ружье было заряжено?

— Знал.

Сулимов, до сих пор участливо-сдержанный, неожиданно рассердился:

— Слушай, дружок, не бросайся так легко словами. Здесь каждое неосторожное слово подвести может. И сильно! Откуда ты мог знать, что висящее на стене ружье заряжено?

— Так я же его сам и заряжал. Мать разряжала, а я снова...

— Выходит, она знала, что ты собираешься убить отца?

— Так я же при ней ему говорил — слышала.

— И верила?

— Не знаю... Но ружье-то разряжала...

— А почему она не спрятала его от тебя?

— Отец не давал.

— Что-о?

— Пусть, говорит, висит где висело, не смей трогать.

— Но сам-то отец почему же тогда его не спрятал?

Коля впервые вскинул на следователя глаза, обдал его родниковым всплеском:

— Он... он, наверно, хотел...

— Чего?

— Чтoб я его... убил,— тихо, с усилием и убежденно.

Сулимов и Аркадий Кириллович ошеломленно поглядели друг на друга.

— Что за чушь, Коля,— выдавил Аркадий Кириллович.

— Он же сам себя... не любил. Я знаю.

Слышно было, как за стенами кабинета живет большой населенный дом — где-то хлопали двери, бубнили далекие голоса, раздавались приглушенные телефонные звонки. Два взрослых человека, недоуменные и пришибленные, почти со страхом разглядывали мальчика.

— Себя не любил?..— В голосе Сулимова настороженная подозрительность.— Он что, говорил тебе об этом?

— Никогда не говорил.

— Так откуда ты взял такое?

Коля тоскливо поежился.

— Видел...

— Что именно?

— Как он утром ненавидит.

— Ну знаешь!

— Просыпается и ни на кого не смотрит и всегда уйти торопится. И бил он от этого. И мать бил потому, что себя-то нельзя избить. И часто пьяным ревел... Я бы тоже себя ненавидел на его месте... Он раз в ванной повеситься хотел... Не получилось — за вытяжную решетку веревку зацепил, а та вывалилась. И у открытого окна еще стоять любил, говорил — высота тянет. Умереть он хотел!

Коля неожиданно вытянулся на стуле, дрожа подбородком, едва справляясь с непослушными кривящимися губами, закричал вибрирующе и надтреснуто:

— Но зачем?! Зачем ему, чтоб я?.. Я!.. Тогда бы уж — сам! Не жди, чтоб я это сделал!..— И захлебнулся, обмяк, похуже, испугался своего крамольного откровения.

Аркадий Кириллович подался всем телом:

— Ты лжешь, Коля! Выставляешь себя преднамерен-

ным убийцей — готовился заранее, заряжал ружье на отца! Не лги!

— Заряжал! Заряжал! Да!

— Ты для того заряжал, чтоб отец видел, как ты его ненавидишь, а сам наверняка рассчитывал — мать разрядит, до убийства не допустит. Или не так?.. И в этот раз ты думал, что ружье разряжено.

Коля, выгнув спину, сцепив челюсти, глядел в сторону, ответил не сразу, с трудом:

— Я его зарядил за полчаса перед отцом...

— Не верю! — упрямо мотнул головой Аркадий Кириллович.

— Я знал... Да! Почти знал, что случится... Да! Готовился!

Сулимов беспомощно развел руками.

— Ты бредишь! — воскликнул Аркадий Кириллович.

— Я ждал отца... Каждый вечер мы с матерью ждали... Мать как полоумная из угла в угол начинала тыкаться. Легко ли видеть — спрятаться хочет, а некуда. Глядишь — и всё внутри переворачивается. Каждый вечер... А тут — нет его и нет, мать совсем уж места себе не находит, я в углу с ума схожу. За полночь перевалило давно... И ясно же, ясно обоим — чем позднее приползет, тем хуже. После поздних пьянок мать неделями отлеживалась... Ждем, его нет и нет. Да сколько можно?.. Сколько можно грозить отцу и ничего не делать, тряпка я... Мать в кухню ушла, ну я — к ружью... Разряжено. А патроны у меня припасены, сунул в оба ствола, закрыл, повесил... Даже на душе легче стало... Я знал, Аркадий Кириллович, знал! Готовился! Не надо меня спасать.

Аркадий Кириллович ссутулился, слепым лицом уставился в пол.

— Не надо спасать... — повторил он. — Легко нам это слышать! Нам, взрослым и умудренным, которые не научили тебя, зеленого, как справиться с бедой — с крутой бедой, Коля! Твоя вина — наша вина!

— А что вы могли? — глухо возразил Коля. — Отца бы мне нового подарили?

— Что-то бы смогли... Да-а... Знали, что у тебя творится. Но издали... Издали-то не обжигает, а близко ты никого не подпускал.

Коля вскинул взгляд на учителя, секунду молчал, вздрагивая губами, и снова вибрирующим, рвущимся голосом стал выкрикивать:

— Вы же, вы, Аркадий Кириллович! Вы учили... Воюй

с подлостью — учили! Не жди, учили, чтоб кто-то за тебя справился!.. Неужели не помните? А я вот запомнил! Ваши слова в последнее время у меня в голове стучали — воюй, воюй, не жди! А я ждал, ждал, тряпкой себя считал, медузой — мать спасти не могу!..

— Спас! — с досадой не выдержал Сулимов. — Куда как хорошо теперь матери будет — ни сына, ни мужа, одна как перст на белом свете.

— Зна-а-ю-у! Зна-ю-у! — вскинулся Коля. — Всех вас лучше знаю! Она тоже видела на полу его кровь, тоже всю жизнь это помнить будет... А мне как? Как мне, Аркадий Кириллович?! Он, если хотите, даже любил меня! Да! Да! Я себя не жалею, и вы — не надо! Никто не смейте! И на суде так скажу — не жалейте!!

На тошкой вытянутой шее набухли вены, плечи дергались...

Сгорбившийся Аркадий Кириллович поднял веки, остро глянул на Сулимова, чуть приметно кивнул. Сулимов поспешно потянулся к телефону...

13

Дверь за Колей Корякиным закрылась. На скуластом лице Сулимова дернулись несолидные усики.

— Все-таки папино наследство сказывается! Папа, похоже, лез на смерть, сын рвется на наказание.

Нахохленный Аркадий Кириллович обронил в пол:

— Мое наследство сказывается.

— То есть? — насторожился Сулимов.

— Один из соседей Корякиных этой ночью мне бросил в лицо — ты виноват! Я вот уже четверть века внушаю детям: сейте разумное, доброе, вечное! Мне они верили... Верил и он, сами слышали — воюй с подлостью! Мои слова в его голове стучали, толкали к действию... И толкнули...

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Уж не прикажете ли внести в дело как чистосердечное признание?

— А разве вы имеете право пренебречь чьим-либо признанием?

— Имею. Если оно носит характер явного самооговора.

— Да только ли самооговор? Мой ученик, оказавшийся в роли преступника, при вас же объявил это.

— При мне, а потому могу со всей ответственностью заявить: мотив недостаточный, чтоб подозревать вас в каком-либо касательстве к случившемуся преступлению.

— А не допускаете, что другие тут могут с вами и не согласиться?

У Аркадия Кирилловича на тяжелом лице хмурое бесстрашие. Сулимов иронически косил на него птичьим черным глазом.

— Многие не согласятся. Много-огие-е! — почти торжественно возвестил он. — Нам предстоит еще выслушать полный джентльменский набор разных доморощенных обвинений. Будут обвинять соседей — не урезонили пьяницу, непосредственное пачальство Корякина — не сделали его добродетельным, участковому влетит по первое число — не бдителец, не обезвредил заранее; пу и школе, то есть вам, Аркадий Кириллович, достанется — не воспитали. Всем сестрам по серьгам. И что же, нам всех привлекать к ответственности как неких соучастников?.. Простите, но это обычное словоблудие, за которым скрывается хапжество... Принесите, товарищ Памятников, себя в жертву этому хапjestву. Похвально! Даже ведь капиталец можно заработать — совестливый, страдающая душа.

Аркадий Кириллович все с тем же рублено-деревянным лицом, лишь с трудом приподняв веки, уставясь на Сулимова исподлобья, заговорил медленно и веско:

— Готов бы, Сулимов, склонить голову перед вашей мудростью. Готов, ежели б уверен был — знаете корень зла, не пребываете в общем невежестве. Но вы же несколько не проницательнее других. Даже мне, непосвященному, заранее известно, как поступите: мальчик убил своего отца — очевидный факт, значит, виноват мальчик, и никто больше. Конечно, вы учтете и молодость и смягчающие вину обстоятельства, я же видел, как вам хотелось, чтоб ружье самозарядилось... Нет, Сулимов, вы не желаете мальчику зла, но тем не менее не постесняетесь выставить его единственным виновником этого тяжелого случая. Ищите статью кодекса. А потому — отменяй все подряд, даже признания тех, кто чувствует свою ответственность за преступление.

Сулимов вскочил из-за стола, пробежался по тесному кабинету, навис над Аркадием Кирилловичем, спросил:

— Вы ждете, чтоб я выкопал корень зла?

— Наивно, не правда ли?

— Да, детски наивно, Аркадий Кириллович! Злые корни ой глубоко сидят, до них не докопались академии пе-

дагогических и общественных наук, институты социологии, психологии и разные там... Да высоколобые ученые всего мира роются и никак не дороются до причин зла. А я-то всего-навсего рядовой работник милиции. Ну не смешно ли с меня требовать — спаси, старший лейтенант Сулимов! Что? Да человечество, не меньше! Пас, Аркадий Кириллович! Признаюсь и не краснею — пас!.. А того, кто меня станет уверять — мол, знаю корень, — сочту за хвастуна. Пожалуй, даже вредного. В заблуждение вводит, воображаемое за действительное выдает, мутную водичку еще больше мутит. Так что уж не обессудьте — мне придется действовать как предписано.

— То есть выставить пятнадцатилетнего Колю Корякина ответственным за гримасы, которые нам корчит жизнь?

— Конечно, я же бездушный милиционер, за ребрами у меня холодный пар, могу ли я жалеть мальчишку?..

— Не надо скоморошничать, — оборвал Аркадий Кириллович. — Я видел, как вам хотелось получить козырь в руки в виде не заряженного руками Коли ружья. Жалели его, но это не помешает обвинить его.

— Вы сами сказали: мальчик убил — очевидный факт. Не станете же вы от меня требовать, чтоб я его скрыл или выгодно извратил.

— Хотел бы, чтоб за этим очевидным фактом вы постарались увидеть не столь наглядно очевидное: мальчик — жертва каких-то скрытых сил.

— Одна из таких сил — вы?

— Не исключено.

— Ну так есть и более влиятельная сила — какое сравнение с вами! — растленный отец мальчишки! Вот его обещаю вам не упустить из виду, постараюсь вызнать о нем что смогу и выставить во всей красе. Если я этого не сделаю в дознании, всплывет в предварительном следствии.

— Всплывет, — согласился Аркадий Кириллович. — Только с мертвого взятки гладки.

Сулимов вздохнул:

— То-то и оно, на скамью подсудимых в качестве ответчика не посадишь, но смягчающим вину обстоятельством послужит. Только смягчающим! И даже не столь сильным, как неведение мальчишки о заряженности ружья.

Вздохнул и Аркадий Кириллович:

— Я вам нужен еще?

— Несколько слов о мальчике: как учился, как вел

себя в школе, скрытен, застенчив, общителен, с кем дружил?..

Снова пахохлившись, уставившись в угол, Аркадий Кириллович стал не торопясь рассказывать: Коля Корякин был трудным учеником, неожиданно для всех изменился, причина не совсем обычная, даже сентиментально-лирическая — полюбил девочку...

Сулимов записывал.

Внизу, возвращая дежурному отмеченный пропуск, Аркадий Кириллович мельком увидел женщину в пузырящемся дорогом кожаном пальто, с легкомысленными вишенками на берете. Он так и не узнал в ней мать Коли Корякина...

Низкое небо придавило город, моросил дождь, по черным мостовым напористо шли машины — звероподобно громадные грузовики и самосвалы, мокро сверкающие легковые. Люди втискивались в автобусы, роево теснились возле дверей магазинов, скупивались у переходов. Город, как всегда, озабоченно жил, не обращал внимания ни на небо, ни на дождь, ни на страдания и радости тех, кто его населяет. И, уж конечно, событие, случившееся этой ночью в доме шесть по улице Менделеева, никак не отразилось на суетном ритме большого города. Стало меньше одним жителем, стало больше одним преступником — ничтожна утрата, несущественно приобретение.

14

Кто не бредил в детстве подвигами Ната Пинкертон и Шерлока Холмса? Григорий Сулимов после окончания института сам напросился, чтоб его направили в органы дознания. Шерлоки холмсы и комиссары мегрэ, романтические гении-одиночки криминального сыска, не совмещались с будничной, суетной работой городского угрозыска. Но и тут по-прежнему остаешься разведчиком преступлений, раньше всех определяешь их характер, пробуешь найти ключ к раскрытию — первооткрыватель в своем роде!

Сулимов выводил на чистую воду мошенников, отыскивал набезобразивших хулиганов, имел даже на своем счету одно раскрытое и довольно запутанное убийство — шофер сбил машиной забеременевшую от него девушку, сменил скаты, чтоб не уличили по следу... Сулимова еще пока считали «подающим надежды», отзывались снисходи-

тельно: «Грамотен, по верхним чутьем не берет». Верхним чутьем брали те, кто институтов не кончал, но проработал в уголовном розыске не один десяток лет.

И раньше Сулимову случалось наткнуться — нарушение закона палицо, но нарушителю невольно сочувствуешь, попал человек в клещи, лихое заставило. Однако его, Сулимова, долг — защита закона от любых нарушений, что будет, если такие, как он, станут руководствоваться личными симпатиями и антипатиями? Оправдывающих мотивов он старался не проглядеть, но чувства свои всегда держал в узде. Вот и сейчас он рассчитывал на одно — мальчишка схватился за ружье сгоряча, не знал, что оно заряжено. Расчет не оправдался... Этот учитель Памятников предлагает переложить тяжелую вину мальчика на плечи других, в том числе и на свои собственные. Пристегнуть к преступлению неповинных людей — противозаконно да и бессовестно. Нет уж, что случилось, то случилось — мальчишка совершил убийство! Его жаль? Да! Твое личное, не впутывай это в службу, где не принадлежишь сам себе!

Единственное, что было в силах Сулимова, — разузнать по возможности подробнее о темной жизни убитого отца — Корякина. Чем темнее окажется эта жизнь, тем оправданней будет поступок сына...

Больше всех может порассказать о покойном Рафаиле Корякине его мать, та самая страховидная старуха, что кликушествовала на исходе ночи перед ним и учителем Памятниковым. Сулимов уже потянулся к трубке, чтоб узнать адрес старухи, как телефон сам зазвонил... Снизу сообщали — явилась мать Николая Корякина, принесла ружье, слезно просит принять ее сейчас.

Его неприятно поразил ее наряд — дорогое неуклюжее пальто и претенциозные вышенки на берете, — но усохшее, изможденное лицо, стянутое мелкими тусклыми морщинами, запавшие воспаленные глаза с истошным мерцанием и просящее беззащитное выражение сразу заставили поверить: замученная, искренняя, ни капли пагубная.

Корякина Анна Васильевна, 1937 года рождения, домохозяйка... Ей всего тридцать семь лет, но глядится уже старухой.

— Собиралась соврать вам... — Ловящий, с мольбой взгляд, голос виловатый, срывающийся, пальцы нервно теребят пуговицы. — Спешила к вам и думала: скажу, что я... я, а не Колька из ружья-то... Да ведь все равно же не

поверите. Не научилась врать, хотелось бы — ох хотелось! — да не смогу... Может, покойный Рафаил еще и меня виноватее, но о нем-то чего теперь толковать... Ну а после него — я! Я к этой беде привела, не сын!

— Расскажите, как было.

— Как?.. — Она вся сжалась в просторном пальто, по сморщенному лицу пробежала судорога. — Гос-по-ди! Просто ли рассказать... Ведь это давно у нас началось, еще до Колепьякиного рождения, можно сказать, сразу после свадьбы. Первый раз он побил меня на другой же день как расписались.

— И после шли постоянные пьяные побои?

— Может, и случался когда передых, но потом-то он всегда добирал свое.

— И в этот раз он ввалился пьяным... В каком часу?

— Поздно. Поди, в час, а то и в начале второго... Но не спали. Где там уснуть, когда шаги выслушиваешь... Ох-ох, всю-то жизнь я вечерами слушала да обмирала! Не любя женился, ненавидя жил...

— Да как же так не любя и поженились?

— Сама все время гадала, как это случилось. Он по Милке Краснухиной с ума сходил, а та от себя его оттолкнула да в мою сторону указала — вот, мол, кто тебе пара. Я, дура, согласилась. Молода была, девятнадцать только исполнилось. И одна как перст, даже в деревне родных не осталось... Первая моя дурость, да если б последняя... Все на моей глупости и замешалось.

— Он что — по этой Краснухиной тосковал?

— Прежде, может, и тосковал, да за двадцать-то лет прошло. Людмила в ту же пору замуж вышла, из Краснухиной Пуховой стала. Не-ет, просто ему втемяшилось — нелюба, а он такой: кого невзлюбит, жизни не даст. Другие-то от него посторониться могут, а то и постоять за себя. Я всегда у него под рукой, и характеру у меня никакого — вот и вытворял. Я всяко пыталась — ублажала, сапоги с пьяного стаскивала. Только от покорности моей он еще пуще лютовал. Бесила покорность. А коли возражу, ну тогда и совсем: «Ты, тварь, дышать не смей, не только голос подымать!» Тварь — это еще ласково...

— Н-да, рисуночек.

— А в эту ночь он стол толкнул, на нем ваза стояла... Хорошая ваза, сам покупал. Не думайте, что он недомовит был. Даже пьяный о доме вспоминал, если, конечно, не шибко пьян, что-то купит, принесет... Ну а потом осатанеет — бьет. Да и то, пожалуй, с расчетом — тарелки

смахнуть ничего не стоит, а вот телевизор ни разу не тронул...

— Так что с этой вазой?

— Столкнул он ее, а я ойкнула, не удержалась. «Ах, жаль тебе!..» И набросился, а тут Колька... Колюха давно уже стал встрывать промеж нами...

— Он стращал отца, что убьет?

Анна не ответила, уставилась в пол, мертвенная бледность отчетливей означила морщинки на усохшем лице.

— Говорите все как есть,— строго приказал Сулимов.

— Страшал.

— Вы этому верили?

— Да кто такому в полную-то силу поверит?

— Хорошо, продолжайте.

— И продолжать нечего. Колька кричит, он рычит, Кольку отталкивает, ко мне рвется. Ударил он меня так, что с ног... Пока очухалась, вдруг слышу... Вскочила я, смотрю — он валится да плашмя на пол. А Колька в руках ружье держит, из стволов-то дым идет, и вонь от этого дыма по всей комнате. Лицо Коли словно из мела, одни глазища... Дальше уж не помню, как из рук его ружье вырвала. Опомилась — бегу с этим ружьем по городу...

— Так в чем же вы тут себя считаете виновной?

— Все из-за меня. Не я б, ружье это никогда не выстрелило.

— Да разве вы толкали сына к ружью? Не хотели того, не выдумывайте!

— Хотела не хотела, а все делала, чтобы сын отца убил.

Анна Корякина сказала это столь твердо, что даже на ее лице проступила жесточенность.

— Все делали? Что именно?

— Ужас берет, когда теперь оглядываюсь... Не замечала прежде — была злодейкой, право. Да чего же добивалась я, дура тупоумная! Чтоб сын вместе со мной страдал! Стонала не переставая, слезы лила, из кожи лезла себя несчастной показать... И видела, видела — жалеет, весь исстрадался парень, неумоготу ему, а мне все мало, мне от него большей жалости хочется, никак не уймусь, разжигаю... Зачем, спросите? Оно понятно зачем. После мордобоев да ругани изо дня-то в день кому не захочется утешиться. От чужих людей утешение дешево, стороннее оно, а вот от сына родного — вроде живой воды. Муж любуется — сын весь исходит, а мне приятно, сладко так, не насытюсь, еще, еще!.. Даже, поверите ли, ждала — о-ох! —

даже с нетерпением, чтоб Рафашка зверем ввалился да набросился. Он избьет, а сын показнится за мать родную.. Радовалась тишком, что ненавидит Колька отца лютой ненавистью. Раз его ненавидит, значит, меня любит! Радовалась! Ну не подлая ли?..

— Кто упрекнет вас за это,— выдавил из себя Сулимов.

— Кто-о? Да вы! Да неужель понять не в силах, кто в смерти повинен? Неужель не видно, кто подстроил убийство? Что из того, что Колька ружье в руках держал,— всунула-то ему его я! Я его руками курки спустила! Я! Не смейте не верить! И думаете, не чуяла, что к дурному идет? Чуяла! Иной раз опомнюсь — и дух захватит, а отказать уже не могла. Как Рафашка без водки, так и я без Колюхиных страданий не жила! Отравилась вконец, ими только и держалась. День пройдет спокойно, а мне уже и не по себе — умираю... О-о-о! — Анна застонала. — Тащила, подлая, своими руками родного сына к гибели тащила! И по совести и по закону — кругом виновата!

— Ваш сын сказал, что вы боялись беды, разряжали ружье.

— Разряжала. Конечно, разряжала. Но думаете, из страха одного — непоправимое случится? Не-ет, мне показать было нужно Коле, какая хорошая у него мать, даже извергу мужу зла не желает, спасти, видите ли, хочет...

Сулимов наконец не выдержал, вознегодовал:

— Да хватит вам на себя наговаривать! Нужно быть холодной сволочью, чтоб столь тонкий и осознанный расчет иметь — сделаю-де благородный жест, чтоб сын заметил и умилился. Не было того! Не уверяйте! Не могли вы быть такой расчетливо-холодной. Для этого нужно сына или совсем не любить, или же любить так себе, много меньше, чем себя. А вы почему-то сейчас себя подсовываете вместо него! Так что не плетите мне хитрых басенок!

Снова Анна залилась бледностью, снова на измученном лице проступила ожесточенность.

— Правду говорю, не плету! — Упрямая убежденность в ее голосе и никакого негодования. — Не сознавала я. И расчета в мыслях тоже, должно быть, не было. Но правилось, правилось хорошей глядеться. Так это-то «правило» и заставляло ружье разряжать, а не страх... Страх, может, и был... Как не быть! Только жила-то одним — перед сыном показаться. Ну неужель не понятно?!

— И-да!..

— Ага! Верите, деться некуда. Тогда пораскиньте — кого судить? Его, глупого, горячего, мать любящего? Или меня, взрослую, тоже ведь любящую, даже очень, ужас как, но бестолково? Кто из нас больше виноват? Кто убийца-то? Я! Но только его руками! На мне кровь, не на Кольке!

— Честно ответьте: могли бы вы предотвратить убийство, если б захотели?

— Да как же не могла! — негодуяще всполошилась Анна. — Поди, и вам самим тут догадаться нетрудно. Ну кто мешал мне развестись со зверем?

— Почему не сделали?

— А страх брал — как я жить с Колькой стану? Разведись, а нам присудят с его зарплаты рублей тридцать, от силы сорок в месяц. Зарплатишка-то у Рафаила всегда была тощенькая, только он на одну зарплату никогда и не жил. В нем все пуждались, у кого машина, большие деньги платили — лишь бы руки приложил. Он сам деньгами сорил и нам отсыпал. Колька ни в чем нужды не знал, а после развода тнии взрослого парня на тридцатку. Боялась... Да что там развод, без него могла бы вести себя поумней — не разжигать, а тушить Кольку. Вон Людмила Пухова, бездетная, как она меня уговаривала: «Пусть Колька у нас поживет, оторви от отца». Согласилась я? Нет! Как же я без страданий Колькиных одна глаз на глаз с сатаной мужем останусь? Могла многое сделать, да не сделала! Госпо-ди-и! Тош-но! Самой от себя тошно! Если есть правда у вас, то схватите меня, злодейку, отпустите его. Почему о-он за меня отвечать должен?! Спасите его! Спаси-пте! Милости прошу — меня-а, меня-а судите!..

Анна затряслась в рыданиях.

Сулимов сидел перед нею, не смел даже успокаивать — подавленный, растерянный, расстроенный. Страшно, но он в эту минуту верил в ее вину.

Запятая в школе уже начались. Аркадий Кириллович прямо в пальто поднялся на четвертый этаж, мимо Зоечки Голубцовой, школьного делопроизводителя и одновременно секретарши директора, прошел прямо в кабинет.

Директор Евгений Максимович, сравнительно молодой еще человек, начавший уже понемногу лысеть и полнеть, удивленно уставился:

— Вы не па уроке, Аркадий Кириллович?

— Я из угрозыска, Евгений Максимович.— Аркадий Кириллович опустился на стул.

— Случилось? Что?

— Убийство. И я, похоже, стал его невольным пособником.

У директора округлились глаза...

Девятый «а», где должен был проходить урок Аркадия Кирилловича, не дождавшись преподавателя, разбился в кабинете литературы на три группы.

Одни сгрудились у доски, пытались «надышаться» перед контрольной по физике, которая должна быть сегодня на последнем уроке. Славка Кушелев по прозвищу Штанпина Пифагора (или просто Славка Штанпина) писал формулы и объяснял, как он любил выражаться, «методом Козьмы Пруткова, доступным для идиотов».

Девочки плотно обсели Люсю Воронцову, принесшую с собой иностранный журнал мод, и спорили о том, сохранились ли теперь мини-юбки или только остались миди и макси. Журнал был старый и на этот вопрос не отвечал, рекламировал только мини. Среди девочек затесался Васька Перевощиков, его интересовали не юбки, а ножки, благодаря моде мини показанные с откровенной щедростью.

Под портретом изможденного нравственными страданиями Достоевского, прямо на столах громоздилось «третье сословие», внутри которого Жорка Циканевич по прозвищу Дарданеллы «размешивал бодягу», то есть под сдерживаемое похотывание плел свою очередную небылицу.

Только двое из класса забыто сидели сами по себе — взлохмаченный очкарик Стасик Бочков, многолетний староста класса, влипший в какой-то толстый роман, и Соня Потехина, гнувшаяся к столу на своем месте. Дома она сегодня оставаться не могла, в школу же идти боялась, но иной дороги из дома как в школу не знала — сидела сейчас в стороне от всех.

Здесь еще никто ничего не слышал, а Соня молчала. Не могла же она объявить просто: «Ребята, Колька Корякин отца убил!» Но рано или поздно страшная новость влетит в класс. Что ж, тогда-то она уж молчать не станет, тогда-то скажет свое слово!

Подавленная своей страшной тайной, Соня сейчас поражалась тому обычному, что происходило вокруг.

Девчонок интересуется, остались ли в моде мини-юбки.

Ребята слушают чепуху Жорки Дарданеллы, хохочут себе. А Славка Штанина патаскивает к контрольной...

И что будет, если они услышат новость?.. Да ничего. Девчонки поахают, а от Васьки Перевощикова и того не услышишь, тому все трын-трава. Жорка Дарданеллы даже сострить может, с дурака сбудется. Но Славка Штанина... Вот кого опасалась Соня! Никогда заранее не известно, что придет в учениую Славкину голову. Он может сказать дурное о Коле, может! И все поверят ему, не Соне...

Соня всегда со всеми ладила и уж ни к кому никогда не испытывала ненависти. Сейчас же чувствовала: класс и она по разные стороны, весь класс — и она вместе с Колей Корякиным, который сам себя защитить не может.

В эти минуты рождалась заступница, заранее не доверяющая всем, готовая ненавидеть любого, кто посмеет думать иначе.

— Я проскочил сейчас мимо девятого «а». Не смею предстать перед учениками. Не знаю, что им сказать. Ничем не вооружен. Все, что за два десятилетия приобрел, во что веровал, чем, казалось, побеждал, — выбито из рук...

Аркадий Кириллович говорил, и директор зябко поежился. Он появился в школе года четыре назад — утвержден в горно на место старого директора, ушедшего на пенсию. А уже тогда в школе усилиями Аркадия Кирилловича давно шло соревнование за личное достоинство, за благородство поступков. Соревнование, похожее на игру. Никто не сомневался, что такая игра полезна. Не мог сомневаться и новый директор. Он включился в нее не сразу, осматрительно, зато основательно — наладил обмен опытом, заставлял отчитываться, сам где только мог, на городских и межгородских семинарах учителей, на областных конференциях, в начальственных кабинетах, настойчиво доказывал: добились успехов не в чем-нибудь, а в нравственном воспитании!

Только при нем, директоре Евгении Максимовиче Смирновском, Аркадий Кириллович перестал быть кустарем-одиночкой — не просто оригинал, увлеченный благородной, украшающей школу причудой, а общественный деятель. И, слаб человек, сладкий хмель довольства собой кружил голову, и впереди мнились новые победы, растущее почтительное удивление, как знать, возможно, и слава. Они, нет, не были друзьями, не ходили в гости друг к другу, не изменяли вежливому «вы» даже в минуты при-

знательной откровенности. Их связывало большее, чем дружба, — необходимость опоры, один без другого уже не чувствовал себя устойчивым в жизни.

И вот сейчас, когда произошел обвал, все зашаталось, затрещало, Аркадий Кириллович кинулся не к друзьям — хотя бы к старой, верной Августе Федоровне, — а к нему, более молодому, паверняка менее искушенному и опытному. Кинулся, не скрывая своей растерянности, не замечая, что срывается на беспомощную жалобу: не знаю, что сказать, ничем не вооружен... выбито из рук... подставь плечо, поддержи!

Евгений Максимович все еще поеживался, однако первое ошеломление, похоже, у него прошло.

— Стыдно! — оборвал он сердито. — Паника! У вас? Глазам не верю.

Он говорил как старший. И Аркадий Кириллович почувствовал досаду на себя, стал угрюмо оправдываться:

— Не паника, нечто противоположное — отрезвление. Мои высокоморальные наставления толкнули на убийство! Страшно? Да. Но от этого страшного не собираюсь прятаться.

— И все-таки врача не хоронят вместе с тем, кого он не сумел вылечить.

— Плох тот врач, который заранее рассчитывает на списхождение к себе.

— Я убежден, Аркадий Кириллович, — то, что, увы, не помогло Николаю Корякину, вовсе не бесполезно было для других.

— А вот мне кажется иначе: раз вредно подействовало на одного, где гарантия, что не повредит другим?

— Послушайте, — примиряюще сказал директор, — самое бессмысленное — это затевать нам спор: вы будете уверять — брито, я — стрижено. Тем более что вы не можете сейчас, с ходу предложить новый спасительный рецепт. Нет его у вас за душой.

— Признаем пока, что старое лекарство опасно, потом уж будем думать о новом.

— Сколько думать? — вкрадчиво спросил директор. — Над старым вы думали, если не соврать, чуть ли не всю свою педагогическую жизнь.

Голос был вкрадчивым, а взгляд убегающим.

И этот убегающий взгляд вдруг устыдил Аркадия Кирилловича — подставь плечо, поддержи! Он — его?.. Ой ли? Он сейчас в худшем положении. Не учитель Памятнов, а он ходил по начальственным кабинетам, славил успехи.

Его голос слышали, его напористость видели, его, директора сто двадцать пятой школы, считали глашатаем нравственного обновления. Громовой удар Аркадия Кирилловича может и миновать, но на Евгения Максимовича обрушится непременно. Ждал поддержки от обреченного. Нет! Сам подставь ему плечо. Нуждается.

— Евгений Максимович, — с обретенной твердостью заговорил Аркадий Кириллович, — уж не думаете ли вы, что я собираюсь выбросить все, что добыто? При всем желании ни вы, ни я этого уже не сумеем сделать. Что пройдено, то пройдено, но открылось — заблудились. Оказывается, ой как далеко до желанной цели. Давайте это признаем. Необходимо.

И директор опять ушел глазами в сторону, холодно согласился:

— Признавайтесь... Только про себя.

— Как так?

— А так, не выплескивайте наружу. На нас и без того навалятся со всех сторон, без того нарушится нормальная жизнь. А если еще увидят, что мы сами в себя не верим, признаемся в панике — заблудились, мол, — ну тогда уж разгром! Нет, нет, не только вами построенного, но и того, что сколачивали другие. Учителя физики изменяют программам, преподают сверх положенного — пресечь! Под химическую лабораторию заняли подвал — прикрыть! Вместо уроков физкультуры походы — запретить! И пойдет карусель... Себя вы можете кинуть под колеса, но поберегите других, Аркадий Кириллович...

В этот момент в дверь просунулась смазливая физиономия секретарши Зоечки с широко распахнутыми подведенными глазами:

— Ой, Евгений Максимович! Возьмите скорей трубку. Отец Потехиной Сони из девятого «а» звонит. Он такое говорит, такое!..

Директор снял трубку.

Даже мелкие секретки не давали спокойно жить Зоечке Голубцовой — мгновенно избавлялась от них, — а уж большие новости она и совсем держать в себе не могла. Едва притворив дверь директорского кабинета, она сломя голову ринулась к девятому «а», выманила в коридор Стасика Бочкова, первого, кто попался ей на глаза...

...Стасик Бочков, взлохмаченный, бледный, без нужды поправляя на носу очки, встал посреди кабинета, возле учительского стола.

— Ребята! Колька Корякин... сегодня ночью... убил своего отца!

Срывающимся голосом ту самую фразу, которую не могла заставить себя произнести Соня Потехина.

Не все сразу ее расслышали, не до всех дошло:

— Что?.. Что?..

— Колька Корякин ночью убил отца! — отчетливо повторил Стасик.

И наступила тишина. И в этой тишине всплеснулся истерический девичий голос:

— Уж-жас! Он за моей спиной сидел!

Соня — вскочила — пришла ее мигута защищать Колю.

— Восхищаться надо — не ужасаться! — с надрывом выкрикнула она.

Снова недоуменное «что? что?» с разных сторон. Стасик Бочков первым вразумительно изумился:

— Восхищаться? Убийством?

Весь класс озадаченно и недоверчиво глядел на Соню, вот-вот недоверчивость сменится враждой.

Растолкав столпившихся у доски ребят, двинулся к ней пружинящей походкой Славка Куселев, тот, кого Соня боялась больше всех. Крупная голова покоится на узких разведенных плечиках, руки в карманах, на лбу жесткая прядь, мелкие, широко расставленные глазки нацелены прямо в зрачки.

— Ты знала? — спросил он.

— Да! — с вызовом.

— И молчала — почему?

— Потому что Стаське это сказать легко, а мне — нет!

Славка помедлил, удовлетворенно произнес:

— Ясно. Но восхищаться?.. Простить — еще понятно. Но почему мы должны восхищаться?

— Простить? А за что простить? За то, что он мать спасал от зверя?

— Да, но не слишком ли дорого за спасение?..

— Если у тебя на глазах твою мать станут бить до смерти, ты что, гадать станешь — дорого или недорого?

И глаза Славки не выдержали, вильнули в сторону от Сониных зрачков.

— Все-таки убить... И кого?..

— Убить, чтоб жить было можно!

Славка долго молчал.

— Убить, чтоб жить... — повторил он. — Пожалуй.

И отступил.

Соня поняла — победила, теперь класс на ее стороне. После Славки никто не посмеет сказать против.

Директор положил трубку:

— М-да-а. Началось... Грозится, что переведет свою дочь в другую школу.

И торопливо принялся рассовывать бумаги по ящикам стола.

— Так вот, Аркадий Кириллович, сидеть сложа руки нам нельзя. Я сейчас еду в гороно. Так сказать, иду на вы! Буду доказывать — да, да, с пеной на губах! — что к семейной трагедии Корякиных наша школа прямого отношения не имеет. И буду защищать вас, Аркадий Кириллович, постараюсь прикрыть своей неширокой грудью. И ваших рассуждений о том, что моральные наставления, видите ли, толкнули, не слышал. И очень надеюсь — очень! — никто больше их от вас не услышит.

Аркадий Кириллович вглядывался в директора исподлобья. По обычным житейским меркам он должен быть благодарен этому человеку за отзывчивость, за участие. За чрезмерное участие, за безоглядную отзывчивость! Даже сейчас не собирается бросать на произвол судьбы: «Постараюсь прикрыть своей неширокой грудью...» И ведь постарается, насколько хватит сил.

Директор, с грохотом задвинув последний ящик, вышел из-за стола, встал перед учителем, невелик, но плотен, плечики разведены, колено бойцовски выставлено, вид записчик.

— И вам я тоже долго заниматься переживаниями не позволю. Я буду действовать там, вы — здесь, в школе... Не сегодня, не сегодня. Понимаю, сейчас вы травмированы — идите домой, приходите в себя. Но завтра... завтра вы встретитесь с учениками, в первую очередь с девятым «а».

Аркадий Кириллович продолжал молча вглядываться. А, собственно, какое он имеет право упрекать его, более молодого человека, менее опытного педагога? А разве он сам, Аркадий Кириллович, не верил два дня назад в свою исключительность, не тщеславился в душе — творит-де необыкновенное? Было! Было! Незачем притворяться перед собой святым. Отрезвила пролитая кровь. Но только отрезвила; что к чему — пока по-прежнему непонятно. Почему этот человек должен понимать лучше тебя?

А директор, выставив бойцовски колено, скользя взглядом мимо виска Аркадия Кирилловича, напористо говорил:

— Мы не можем допустить, чтоб ученики самостоятельно принялись переваривать убийство. Народ незрелый, горячий, с вывихами, без руля и без ветрил. Мы и сами-то сейчас теряемся в оценках, ну а они такого нагородят друг перед другом, что потом как бы сами кидаться не стали на родителей, на прохожих, на нас с вами. Скрыть, что произошло, не в наших силах, но в русло вогнать мы обязаны. И лучше, чем кто-либо, это можете сделать вы, Аркадий Кириллович. Только вы! У вас огромный авторитет среди учеников.

Слова, слова, слова... Ох, сколько их еще выплеснется, беспомощных слов! Аркадий Кириллович поднялся.

— Да,— выдавил он.— Да... Скрыть не в силах и скрывать не следует. Хорошо, Евгений Максимович, завтра встречусь, а сегодня мне нужно кое-что уяснить.

— Ну а мне уяснять некогда, иначе все уяснят без меня,— Директор уже снимал с вешалки плащ.

Острый на язык учитель химии Горюнов однажды сказал про директора: «Мужик с пружинкой, когда не трогают — тих, когда надавят — чертик выскочит».

16

Лет шесть назад на шоссе, огибающем стороной город, была возведена гостиница, названная по-новомодному motel, вместе с большой бензозаправочной станцией и корпусами авторемонтных мастерских. Этот служебный поселок считался частью города, подчинялся городским организациям — не одной, а нескольким, — но жил своей обособленной жизнью. Он место паломничества тех, кого носили по дорогам колеса. Здесь можно было встретить кавказцев в неумеренно больших кепках, прозванных аэродромами, узбеков в расшитых тюбетейках, неухоженно-джинсовую молодежь западной закваски и районно-командировочный народец в поношенных плащах и кирзовых сапогах, с неизбывным терпением на физиономиях. Караван-сарай кочевников XX века! Здешные горожане, попавшие сюда, чувствовали себя как на чужбине, гостями.

Как всегда ночью, в разные часы, с разных концов сюда прибывали «Запорожцы», «Жигули», «Москвичи», несущие на себе увечья — помятые крылья, продавленные дверцы, покореженные багажники. Они выстраивались в

глубине авторемонтных мастёрских, у маленького корпуса на отшибе, где размещался арматурно-покрасочный цех.

Когда в сумерки уже начала вливаться утренняя свинцовость, подкатил измызганный, сельского вида грузовичок, притянувший на тросе еще одни несчастные «Жигули» с продавленной крышей, выбитыми стеклами и незадачливым владельцем, научным сотрудником крупного НИИ.

В восемь утра начался рабочий день, выстроилась очередь в регистратуре, ожили мастерские, открыл свои ворота и покрасочный цех.

В начале десятого возле цеха объявились две фигуры. Один низкорослый, тщедушный, чрезвычайно вертлявый, в потасканной лыжной кепке с наушниками, выступающим козырьком и еще более выступающим ассирийским посом. Второй костляво-долговязый, в пузырящейся, небмятой, почти новой шляпе над деревянным, плоско стесанным лицом. Это были подсобные рабочие по профессии, по призванию же — ханыги. Однако оба были довольно известны среди автолюбителей города. Они не только работали на подхвате у мастера-арматурщика Рафаила Корякина, а считались его близкими приятелями. Именно к Рафаилу-то Корякину и сбегались в ночь-заполночь со всей округи изувеченные машины, спешили занять очередь: золотые руки у мужика! Слава Корякина падала и па ханыг. Наиболее образованные из владельцев звали их не без претенциозности — Самсон и Далила, хотя имя первого не Самсон, а Соломон, второго же — Данила. Соломон и Данила, Рабинович и Клоновин, в обиходе Дая Клоп. Шерочка с машерочкой для тех, кто не блистал ветхозаветной эрудицией.

Вчера вечером шерочка с машерочкой в компании Бешеного Рафы сильно перегрузились, а потому сейчас чувствовали себя крайне наскучно. Во-первых, они проспали и опоздали, что им обычно не проходило безнаказанно. Во-вторых, жизнь вообще не мила, если не удастся «поправиться».

Но Соломон, более чуткий, чем его товарищ, вдруг повел посом и не без воодушевления объявил:

— Клоп! Кеб не стоит на месте! Клоп! Мое истстрадавшееся сердце чует — денек пынче будет кейфовый.

Для этой тесной парочки все дни делились на кейфовые и стервовые. Первым же признаком кейфового дня было отсутствие под стеной возле двери «Посторонним

вход воспрещен» темно-зеленых вылизанных «Жигулей» начальника покрасочного цеха Пухова. «Кеб не стоит», значит, Пухов, которого остерегается даже Бешеный Рафа, с утра «не пропашет» и день пойдет вперевалячку. Во всяком случае, взыскивать с Соломона и Данилы за опоздание некому, можно даже позволить себе «поправиться».

И Соломон, не тратя время на переживания, решительно направился к разбитым «Жигулям», притащенным сельским грузовичком. «Жигули», казалось, строили устрашающие гримасы, а их хозяин всем своим не утратившим было респектабельности видом выражал смиренную безнадежность. Соломон, запустив руки в карманы, минуты три с суровым глубокомыслием изучал тяжкие увечья. За ним, как сумеречная тень, возвышался Данила Клон. Наконец Соломон позволил себе изречь:

— Вы, молодой человек, конечно, хотите попасть к доктору?

— Да, хотел бы к Корякину... — робко обронил владелец.

— Доктор очень занят.

— Я понимаю... Я готов...

— Мы можем обещать вам одно — мы попробуем, мы только попробуем!

— Я буду вам чрезвычайно благодарен.

— Что ж, пожалуй... Мы не прочь убедиться.

— Простите, в чем?

— За поллитрой тонай! — без ухищрений пояснил сгорающий от нетерпения Клон.

То нехитрое, что совершалось в эту минуту, не раз вызывало революционные — не меньше! — потрясения в образцово-показательных для города авторемонтных мастерских: летело с насиженных мест начальство, новые метлы беспощадно выметали старый сор, пропалывались сорняки, наводилась идеальная чистота, но... Кто мог повлиять на неиссякаемую реку клиентуры, которая перла на этот единственный во всем большом округе автосервис, кому было под силу очистить ее воды? Река не мелела и несла сор. Революционные потрясения всыхивали и гасли, снова всыхивали...

И вот сейчас желающий «попасть к доктору» владелец оплошавших «Жигулей», сам пользующийся известностью доктор наук, послушно потопал за поллитрой в гостиницу к некоему легендарному дяде Паше, не веря, что поллитра поможет, отдавая себе отчет, что имеет дело

с «тоскующими алкашами», но тем не менее обманывая себя зыбкой надеждой — а вдруг да чем черт не шутит!

Шерочка с машерочкой не успели убраться в сторонку — перед ними внезапно вырос их начальник цеха Пухов в мокром плащике, в мятой шляпе, натянутой на глаза, с потасканной папочкой под мышкой. Видно было, что сегодня он добирался из города не на своем темно-зеленом «кебе», а на перекладных, как Соломон с Данилой.

— Вчера вы сильно?.. — Вопрос с разгона, ни «здравствуйте», ни выговора за то, что еще не переоделись, не приступили к работе.

В авторемонтных мастерских грехом считались не вечерние попойки, а утренние поправки. А так как поправка еще только планировалась, то совесть шерочки с машерочкой была чиста, Соломон позволил себе игриво ответить:

— О чем звук, Илья Афанасьевич? Ха! Нормально!

— Вы вчера ничего за ним не заметили?

— Вы имеете в виду Рафу, Илья Афанасьевич?

— А кого же еще?

— Надо сказать откровенно — он был немножечко весел, извиняюсь, даже дал Данечке по морде.

— Немножечко — значит, сильно?

— Ой, мое сердце чует, — что-то случилось!

— Корякии убит... Ночью. Сыном.

Пухов резко повернулся, пошел к двери «Посторонним вход воспрещен».

Моросил дождь, мокрые, покалеченные «Жигули» мученически стояли перед приятелями.

— Нас ждут большие перемены, Клоп... — наконец сдавленно произнес Соломон.

— Попрет! — Даня Клоп мог порой быть куда красноречивее своего велеречивого друга с помощью одного лишь слова, а иногда просто междометия.

— Без Рафы мы здесь никому не нужны, Клоп, а больше всех Пухову. — Неожиданно Соломон воодушевился: — Но он нас не попрет! Нет! Мы сами уйдем, Клоп! Но только хлопнув дверью. Громко хлопнув, чтоб наш родной Илья Афанасьевич вздрогнул от испуга.

Клоп неопределенно хмыкнул.

— Разве это справедливо, Клоп, что все будут думать — бедного Рафу убил мальчик?..

— Липа.

— Ты трижды прав, мудрое насекомое! Липа! И нам это нужно кой-кому объяснить.

— Хы! — удивился Даня Клоп.

— Докажем, Клоп, что мы все-таки люди... Лично твоему другу Соломону еще не выпадал случай доказать, что он человек.

Через полчаса они сидели в котельной мотеля за отобранной у доктора наук поллитрой. Соломон при молчаливом одобрении верного Данилы вырабатывал план: первое — сегодня не надираться, чтоб — второе — завтра не тянуло на опохмелку, ибо надлежит быть «прозрачными до полного доверия».

— Кло-оп! — со стоном захлебывался Соломон. — Я прокляну себя, если все это кончится пьяным трепом! Клоп мычал в знак согласия.

17

Тихая, забитая Анна взбунтовалась: «Виновата во всем я!» И самое странное, что Людмила Пухова ничуть не удивилась сумасшествию подруги — так и надо. Евдокия вдруг испытала зависть к невестке: хоть бы раз такое пережить, тогда б можно оглядываться назад — не пусто, есть что вспомнить, не зря жила.

Старуха не удивилась внезапному появлению Сулимова, а обрадовалась.

— Это бог послал мне тебя, — сказала она сурово, подымаясь с койки. — Сама-то я вроде каменной стала — никак не сдвинешь... Спасибо, что вспомнил обо мне.

Седые патлы, незастегнутая кофта, открывающая заносенную нательную рубашу, из-под нее выглядывает не женски могучая ключица, морщинистое, бескровно-желтое лицо с массивным подбородком и в утопленных мелких глазках — странно! — страдальческая влага.

— Сядешь иль поведешь куда? — спросила она.

Сулимов оглядывался. Комната старухи казалась даже просторной из-за необставленности — стол, два стула, железная койка и ничего более. Суровая нищета подчеркивалась перекошенностью дряхлого здания — единственное окно в еле уловимой гримасе, неровные массивные половицы покато уходят к одной стене, а серый потолок косо подымается, все сдвинуто, шатко, вот-вот затрещит, начнет заваливаться.

— Сяду, — ответил Сулимов, пристраиваясь к столу, вынимая блокнот. — Не красно, мать, живешь. Сын-то, видать, не щедро помогал.

— Просила бы — помог, — нехотя ответила старуха, снова оцускаясь на койку.

— Не хотела просить. Из гордости?

— Боялась.

— Чего же?

— Рафашка мог рубаху последнюю скинуть — бери, только опосля жди — кожу сдерет. Уж такой...

— Вот ты почью в горячке нам накричала: «Самой страшно, кого родила. В позорище зачала. В горестях выпяничла...» Как это понять? Объясни.

Старуха провела по лицу жесткой ладонью, словно старалась стереть воспоминания, избавиться от них.

— Незаконный он у меня, прижитой...

Сулимов выжидательно молчал, не подгонял вопросами.

— Не так уж и далече отсюда наша деревня, а напрочь ее забыла. Цела ли она теперь — и того не знаю... Тятки своего я не помню, в первую еще войну ушел и не вернулся, а мать померла, когда мне шестнадцать стукнуло. Куда деться-то?.. Вот и поманили меня Клевые. Справней их в нашей деревне никто не жил — четыре лошади, три коровы, а еще и маслодавилыня, жмыхом свиней кормили. Возле свиней-то и пристроили меня, работки хватало. Тут и начал притираться ко мне Ванька, из сыновей старика Клевого младший и самый балованный. В сатиновой рубашечке, поясок шелковый с кистями, сапожки хромовые, да чета ли он мне, девке навозной. Ну и шуганула я его от греха. А он отказу в жизни не терпел — раз не далось, то позарез нужно. Спыльничать пробовал, да я крепкой была, понял — не уломать, коль сама не схочу, стал ластиться, такие сказки рассказывать, что уши слушают, а душа тает. И жениться обещал. Да-а... «Нынче, говорит, Дуська, порядки новые — бедняки-то в чести, а паше богатство на лычке висит». Да-а...

Евдокия загляделась в серое, окропленное дождем окно, молчала, помаргивала, сжимала в оборочку блеклые губы.

— Вот так-то, — оборвала она молчание, — меня ульстил и себе накаркал. Мне бы, дуре, к бабке Марфидке толкнуться, ан нет, в голову втемяшилось — ребеночком-то Ваньку свяжу, не отрекется...

Сулимов спросил:

— Клевые — фамилия или прозвище?

— По-уличному это. Отец — Семен Клевый, ну а он — Ванька Клевый. Но бумагам — Истомины.

— Значит, Рафаил отцовскую фамилию не получил?

— Эва, не расписаны были. Да потом так обернулось, что уж лучше забыть отцовскую-то фамилию.

— Раскулачили Клевых?

— Умирать буду — вспомню, как он с котомочкой на плечах, в суконном зипунчике, в сапожках хромовых за подводой пошел да на меня оглянулся... Я даже новыть, как бабе положено, не посмела. Кто я ему? Ни жена, ни суженая, пожалей — сраму не оберешься. Хотя срам-от под сердцем носила... Да-а... Он же раньше меня бросил — приелась. Зло на него должна бы держать. Нету! Я в жизни потом уж не слыхивала ласкового слова ни от кого! От него только. За то спасибо большое!

Глубокие глазницы старухи налились тоской.

— Из деревни тогда ушла или позже? — поинтересовался Сулимов.

— А как мне было жить в родной деревне? Рафашка еще не родился, а уж все потепались, в глаза мне его подкулачником называли. На свет еще не выполз, а уж путко — подкулачник... Смешочки, хоть венжайся со сраму... — Старуха вдруг зашевелилась, заволновалась: — Да не о том, не о том я тебе говорю! Себя выгораживаю, на людей сваливаю — недобрые люди-де все подстроили, сама ничуть не виновата... Ап нет, я же его, Рафашку, еще в утробе невзлюбила и потом всю жизнь как взгляну на свое дитя, так душа переворачивается — за что, мол, мне бог такое наказание послал? Рази я не баба, рази не хочу, как все, мужа иметь? А кому нужна с привеском-то? Мое лютое — мо-ое! — на него перешло!..

— Не наговаривай! — перебил Сулимов. — Бывали же и у тебя материнские минуты. Наверняка чувствовала когда-нибудь, что он сын родной. Ласкала же, не без того.

Старуха задумалась, ответила не сразу:

— Знать, единова только... На новый манер бабы тогда стали рожать — в больнице. Вот из больницы-то я вышла: солнышко светит, лист в силу вошел, но не выпвел ишо, зеленый-презеленый, за душу берет. И вспомнилось, что решила уж — в деревню не вернусь, укачу на сторону, в город на стройку, стыдиться мне там будет некого, и такая свободоушка нашла, все казалось легко и просто... Тут-то вот и увидала на рученьках его поготки малюсенькие, а сам он на солнышко жмурится, улыбается вроде. Сердце тогда зашло, думаю — сама помру, а его, болезного, вытанцу... А больше... Больше нет, не любилось. И некогда любить было. Время крутое — голодуха кругом, на вокзалах народ лежмя лежит, подняться не могут. К месту при-

билась, кирпичи ворочала, придешь в барак — кажная косточка кричмя кричит, одново хочется — свалиться да уснуть, а его обиходь, корми, подмывай, постирай. Еще и соседки на тебя шипят — от криков покою нету... Люби тут? Ой, не в силушку. Усохла моя любовь в росточке самом...

— Ну а он-то, Рафаил, любил в жизни кого-нибудь?

— Уж не меня только.

— Себя! — подсказал Сулимов.

— Не-ет! — решительно возразила старуха. — Вот уж не-ет! Он и себе-то нисколечко не правился.

— За всю жизнь — никого никогда? Да может ли быть такой человек на свете? — усомнился Сулимов.

— Людку Краснуху любил, но уж больно люто, зарезать ее страдал... И еще... Вот того и вправду, поди, любил нешуточно.

— Кого? — встрепенулся Сулимов.

— Пиратку.

— Какую Пиратку?

— Собаку.

— Рассказывай, — потребовал Сулимов.

18

— Чего рассказывать-то — пустое... Собачонка была, щенок улишний, кто как его кликал, взрослые — Кабыз-дошкой, ребятишки — Пираткой, к каждому ластился. Однажды лапу ему повредили, и сильно... У Рафашки никак не угадаешь, что наплывет — то такой сатаной взыграет, то вдруг найдет, без уему добр... Вот и Пиратку пожалел, в дом притащил, стал с лапой возиться да хлебом прикармливать. Война тогда по второму году шла, хлеба-то уже самим не хватало... Выходил он Пиратку, лапа срослась, такой веселый да игривый обернулся, спасу нет. Ребятня из наших барачков, кто попустрей, на товарной станции день-деньской отиралась, шабашили, значит... Рафашка тоже от них не отставал. Удалось ему как-то, притащил домой кус добрый сала свиного — военным-де ящики к машинам подтаскивал, за работу отвалили. Может, и так, военные снабженцы — народ щедровитый, не от своего пайка отрывали. А для нас, работяг, сало — диковинка, на карточки по мясным талонам одну селедку давали. «Схорони, говорит, мамка, день рождения у меня скоро, ни разу в жизни не попраздновали». Оно и верно, жили, а праздников не знали. Рафашке как раз должно стукнуть один-

надцать, что ли, лет... Господи! Господи! Вот времечко было — кус сала в доме завелся, так уж богатеем себя считаешь. И он и я, дура большая, нет-нет да заглянем тишком в шкафчик, порадуетесь — лежит в блюде...

Я с работы добиралась, Рафашка заскочил с улицы домой — обычным манером Пиратку своего разлюбезного проведать. А Пиратка, стервец, на полу лежит — шкафчик раскрыт, блюдо опрокинуто. Лежит Пиратка и наше сало догрызает... Да-а, тут и тихой бы осерчал, ну а Рафашка и от малюго стервенился — глаза эдак побелеют, нос вострый, с лица спадает. Да-а... Накинул на своего Пиратку веревку да волоком по улице к пруду. Грязный у нас пруд, мусорный, но глубокий, однако... Привязал Рафашка кирпич да с кирпичом-то Пиратку в воду... Да-а... Ну, я как раз домой подросла. Рафашка аж черный: «Пиратка сало съел!» Поняла сразу, не стала и спрашивать, где этот шкодливый Пиратка. И мне, правду сказать, тоже досада великая — сало жаль, столько о нем думалось. Рафашке попеняла: мол, следи, коли в дом привел... Он то сядет, то вскочит, то на меня круглым глазом зыркнет. «Пошли, говорит, к Фроське Грубовой штаны новы мерить!» Несет его... У меня кусок пилотажу был, так я уж ко дню рождения Рафашке штаны огоревать решила, Фроська с Запрудной улицы взялась шить. И вправду в тот вечер уговорились примерку сделать.

Вышли из дому: солнышко запало уже, смеркаться начало, кто-то гармошку от скуки иль от голодухи мучает, полувремение вечернее, все с работы пришли, по домам возятся, пусто на улице. И глянь, по пустой-то улице катится навстречь... Рафашка как в землю врос: он, Пиратка! Я-то не знала еще, что он с кирпичом на шее в пруд ушел. Да-а... Сорвался, выходит, кирпич, выплыла собака, трусит себе обратно. А Рафашка — глаза белые, нехорошие — эдак бочком, бочком пошел, сейчас прыгнет, вкопится. Вот тут-то и случилось... Пиратка, паршивец, вместо того, чтоб от Рафашки во все ноги, нет, прямо к нему — заповизгивает, на брюхо припадает, хвостом виляет. Эх-хе-хе! Проста животино... Рафашка, словно журавленок, на одной ноге стоит, а Пиратка в него тычется, и радуется, и жалуется, и прощения, видать, просит... Подкосило вдруг Рафашку, упал плашмя, схватил Пиратку, ревмя заревел, целует, а тот визжит, лицо ему лижет. Смех и грех, право. Ну так вот, после этого не разлей вода оне — милуются. Не упомяну, чтоб Рафашка ударил Пиратку когда, чудно, в шутку даже не замахивался, сам недоедал,

а собаку кормил. А та за ним как привязанная, врозь никогда не увидишь. Чем не любовь? И тянулась эта любовь года, поди, четыре, коли не больше. Рафашка жердястый стал, рожа ошпаренная, глаза цвелье, в кого — не понять. И чем больше рос, тем смурней делался. Пиратка тот и совсем вымахал — эдакая, прости господи, зверина, шерсть свалялась, ноги длинные и пасть до ушей. Характеру, должно быть, у хозяина, пока брался, чуть что в рык и зубы показывает. Добро бы просто показывал. Рафашке стоило на кого пальцем ткнуть — куси, Пиратка! — тот рад стараться, мужиков с ног валил, отбиться не могли. Сам-то Рафашка еще жидок был, не выmaterел, а уж по поселку ходил — кум царю, уступай дорогу. И просто так натравливать любил, забавы ради, чтоб чувствовали и боялись. Парочка — гусь да гагарочка, наказание для поселка. А поселок наш на что уж бедовый — милиция сторонкой обходила. Да-а... Ох, глупы люди да непроворны. Сколько хвалилось, что Пиратку пристукнут, заодно и Рафашку пришьют, — нет, острасткой все кончилось, пока один тихонький молодец не нашелся. И всего-то за порванные новые штаны... колбаски бросил. Откинул лапы Пиратка. Ну, мой-то недели две в кармане пожик носил на тихонького... И, поди, ума бы хватило пустить кровушку, да только не на того напал. Встретились, потолковали, дружками стали — не разлей вода...

Евдокия замолчала.

— Так все-таки были у него друзья не только среди собак? — нарушил молчание Сулимов.

— Да ведь волков диких и тех приручают.

— Вот как! Даже приручил дикого Рафаила. Кто же такой и долго ли они дружили?

— Всю жизнь, — не задумываясь ответила старуха. — Илья Пухов — не слыхал? При нем до последнего дня Рафашка работал.

— Муж той Людмилы?

— Он самый. Хват. Людку-то он у Рафашки вырвал и дружбу сохранил. Ох и ловок, любого обкрутит.

— Водкой действовал?

— Того не скажу. Не-ет! Сам Пухов в рот не берет, навряд ли других попускает.

Сулимов начал делать пометки в блокноте.

Евдокия педружелюбно разглядывала его, чего-то ждала.

— Все выпытал? — спросила она.

— Много. А что еще набезит, снова на свидание при-

ду. И вот протокол оформлю — прочитать тебе его придется и подписать.

— А может, скажешь мне прежде?..— Требовательный взгляд запавших глаз, недосказанность.

— Что именно?

— Бестолков ты, видать: пытал, пытал меня, слушал, слушал, а ведь так ничего и не понял. Пухов, видишь ли, его интересует, а я ничуть... От Пухова ли беда пошла, не от меня ли?

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Везет мне сейчас. В других делах — из кожи воплещешь, виновников ищешь, а тут сами напрашиваются.

— Ты подумай-ко, покрепче подумай — от двух человек беда эта началась. От Ваньки Клевого и от меня. Ваньку-то что ворошить, поди знай, где его кости лежат. Да и не так уж виноват Ванька — сучка не схочет, кобелек не вскочит. Не был он при сыне, в глаза его не видывал. А я всю жизнь рядом. Иль мать за родного сына не ответчица?

— Ответчица. Готов попрекнуть тебя. Только зачем? Сама без меня все осознала.

— Я-то сознала, а вот ты совсем непонятлив. Сына худого вырастила — это еще не вся моя вина. Я и в другом круто виновата — знала ведь, ой как хорошо знала, что страшен людям мой сынок. Так не молчи, остерегай людей, спасти пробуй, стучись куда нужно. Не делала, смотрела себе со сторонки и чуяла, чуяла — стрясется, ой стрясется рано ли, поздно! Вот и скажи: можно ли за такое простить?

Сулимов пожал плечами:

— Наказывают людей, мать, за дурные действия, а за бездействие как накажешь?

— Вот оно! Вот! — вознегодовала старуха. — Верить же, что Кольку нужда злая заставила! Как не верить — и слепому видно! Мальчишка глупый не по своей воле — дествие! Его ли это дествие? Лихо снесло! А уж ваш закон тут как тут. А то, что всю-то жизнь свою я это злое лихо вынычивала — пусть?! Вы, поди, многих так наказываете — безвинных в тюрьму, а виновных милуете! И ничего, совесть не точит? Ась?

— Совесть меня, может, и точит, мать, да ее к делу никак не пришьешь.

— То-то! То-то, что без совести дела творите! Не нужна она вам, совесть, выходит. Вот она я! Хороша? Сама ж признаюсь открыто — неправедно жила, урода добрым людям сотворила. Простите меня за это, пускай и другие

не бояться растить уродов на беду всем. На беду! На погибель! Нусть порча по свету идет! Да одумайся, милушко,— неужели тебе не страшно в таком несправедном мире самому-то жить? Ведь молод еще, жизнь-то пока вся впереди. Не страшно, что такие сидячие, меня вроде, без всяких дес-твиев жизнью тебе испакостят? Себя бы хоть пожалел, парень!

Сулимову вдруг стало не по себе — в который раз за сегодняшний день от совершенно разных людей он слышит одно и то же.

19

В это время в девятом «а» классе шел урок истории. Он неожиданно захватил всех.

Борис Георгиевич, щеголевато-подтянутый молодой учитель — всего лишь два года со студенческой скамьи,— как всегда, бойко, напористо, сам увлекаясь, рассказывал о «Народной воле», о «Северном союзе русских рабочих».

...Тихого нрава и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершил взрыв в Зимнем дворце: убито пятьдесят солдат Финляндского полка, а царь вместе с семьей остался цел и невредим, вспучило лишь пол в зале да попадали куверты с обеденного стола, накрытого в честь приема принца Гессенского... На следующий год бомба, брошенная двадцатипятилетним Игнатием Гриневицким, прикончила царя. И самого Гриневицкого тоже...

— Убить, чтобы жить!.. — слушали затаив дыхание.

Борис Георгиевич с тем же напором доказывал: путь террора ничего не принес для освобождения России, вместо убитого царя стал царь новый и...

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

Борис Георгиевич любил украсить урок стихами. С вниманием слушали и это, но... герои остаются героями даже тогда, когда их постигает неудача.

20

До сих пор в городе ходит легенда, связанная со строительством химкомбината. Один из ведущих инженеров предложил внести некоторые изменения при монтаже обо-

рудования — упрощает работы, экономятся затраты. Инженер проявил напористость, пробил свое предложение, сам руководил монтажом. И уже когда испытания прошли благополучно, был подписан акт о приемке, инженера что-то насторожило. Он снова засел за расчеты и с ужасом убедился, что допустил просчет столь мелкий, что на него никто не обратил внимания. Однако эта мелочь при полной нагрузке в любой момент может привести к катастрофе — взрыв, выброс ядовитых газов, человеческие жертвы и выход из строя всего комбината! Ничего не оставалось как признаться в своей ошибке, пока не поздно, обвинить самого себя. Но не тут-то было — компетентные комиссии приняли работу, отчеты посланы, сроки выдержаны, экономия получена, премиальные выплачены, благодарности объявлены. Ломать снова, начинать все заново по старым схемам — нет, об этом и слышать не хотели. Инженер обвинял сам себя, готов был нести наказание, но ему не верили, его оправдывали. А комбинат готовился к пуску. И тогда инженер решился на отчаянный шаг — в кабинете начальника, курирующего строительство, он положил на стол заявление, вынул из кармана ампулу: «Здесь цианистый калий, не подпишите — приму на ваших глазах, вынесут отсюда труп. Лучше я, чем по моей глупости погибнут многие».

Возможно, эта история раздута изустной молвой, разукрашена небывальщиной, но до Аркадия Кирилловича докатилась в таком виде. Теперь он чувствовал себя в положении самообличающего инженера. Одна разница — тот знал, в чем его ошибка, Аркадий Кириллович пока что свою ошибку смутно ощущает: есть, допущена, грозный факт оповестил о ней, но в чем она заключается и как ее исправить, неясно.

Директор саморазоблачаться не собирается: «К семейной трагедии Корякиных школа отношения не имеет!» И постарается прикрыть грудью того, с кем вместе ошибался. Но ведь одна катастрофа уже разразилась, не последуют ли за ней другие?..

Только один Василий Потехин сейчас убежден — учитель Памятнов повинен в случившемся. Вдуматься — странно: не проницательный педагог, никак не человек семи пядей во лбу, явно недалекий, а почему-то он, не кто другой. Ссылается на свой горький опыт, полученный от Аркадия Кирилловича. Не совсем понятно, в чем этот опыт заключается, толково не сумел рассказать. Да и сам Аркадий Кириллович не был готов тогда его выслушать. Что-

то заметили за тобой, не отмахивайся, дознайся, что именно. Любые сведения, даже бредовые, в данный момент важны.

И Аркадий Кириллович решительно направился на улицу Менделеева.

Снова тот же подъезд, та же лестница, и наверху, в квартире на пятом этаже, наверняка еще не смыта с паркета кровь. Но возле подъезда беззаботно играют детишки и сидят на скамеечке бабушки, а лестничные пролеты по-будничному скучны, тянет щами из-за какой-то двери. Сама по себе жизнь оскорбительно забывчива, следы трагедий в ней затягиваются, как в болоте, дольше всего они держатся в душах людей. Кто укажет, где та комната, в которой Иван Грозный убил посохом своего сына, а память об этом до сих пор не стерлась.

Аркадий Кириллович рассчитывал только узнать адрес работы Василия Потехина, но неожиданно тот оказался дома — взял отгул, чтоб справиться с потрясением.

Потехин поставил стул напротив, прочно устроился на нем, прямой, с нацеленным подбородком, с капризно-брюзгливым выражением на лице.

— Если уговаривать пришли, то напрасный труд, — заявил он сварливо.

— В чем вас должен уговаривать? — удивился Аркадий Кириллович.

— А разве вы не затем прибежали, чтоб я дочку из школы не забирал?

— Нет, Василий Петрович, хочу от вас снова услышать то, что вы говорили мне ночью.

— Может, ждете — днем ласковой буду?

— Мне сейчас не ласка пужна, а горькая правда. Так что не стесняйтесь — стерплю.

— Я теперь вот понял, почему раньше попов не любили.

— Похож на попа?

— Вылитый, красивыми побасенками о хорошем поведении людей портите.

— Вот это-то мне и растолкуйте.

Василия Петровича едва приметно повело от слов Аркадия Кирилловича, уж и так сидел прям и горделив, сейчас совсем выгнуло и расперло: ладони в колени, локти в стороны, глаза неживые, глядят сквозь, в вечность — памятник, а не человек, ну держись, оглушит сейчас истиной!

— Слышали: прямая линия короче кривой — геометрия! И все верят в это, понять не хотят — в жизни-то геометрия совсем иная, там кривые пути всегда прямых короче.

— Это вы сами открыли или подсказал кто? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Подсказал! — отрезал Василий Петрович. — Подсказал и наказал!

— Гордин?

— Оп. Святой мученик, виноват перед ним.

— Но вы говорили прежде — очковтиратель. Ошибались?

— Нет, так и есть.

— Ловчило?

— Тоже.

— Приспособленец, если память не изменяет?

— Можно сказать и это.

— И святой?

— Мир на таких стоит!

— Чем же он вас так убедил?

— Правдой!

— Не будьте так скупы. Василий Петрович, поделитесь со мной щедрее.

Василий Петрович внял и чуточку пообмяк в своей ментальной посадке.

— Умный Потехин учил глупого Гордина, — заговорил он сварливо в сторону. — Нельзя тянуть газовые трубы по окрашенным стенам, пробивать их сквозь паркетные полы, чтоб снова-здорово крась, крой, заделывай, бросай денежки. Давай, мол, товарищ Гордин, действовать по порядку, пряменько. А труб-то нет и неизвестно, когда будут. Жди их, не считайся с тем, что рабочие бездельничают, что строительство в планы не укладывается, прогрессивку и премиальные не получают. Увидит рабочий класс, что свой рубль теряет, и мотнется в другое место, где и прогрессивочку и премиальные ему поднесут. Текучка начнется! Слыхали такое слово? Страшное оно. Квалифицированные рабочие разбежались, нанимай с улицы пьянь разную, отбросы, которых из других мест выкинули, запарывай строительство, приноси убытки, но уже не грошовые, каких умный Потехин боялся, а миллионные. Зато строго по прямой, геометрии придерживайся. А невежды гордины, этой геометрии не желающие знать, ловчат, когда нужно очки втирают, приспособляются как могут, а

миллионы спасают... Спасибо гординым, без них прямолинейные умники мир бы набок завалили!

— Я, по-вашему, из них, из прямолинейных умников? — спросил Аркадий Кириллович.

— Самых опасных, не мне чета.

— И как же мне исправиться? Учить детей — не ходите прямо, ищите в жизни кривые дорожки?

— Только не по линейке, только не по геометрии из книжки!

— Похоже, я и не делаю этого.

Василий Петрович возмущенно подскочил:

— Не делаете!.. А чему же вы учите?

— Русской литературе хотя бы. А она тем и знаменита, что лучше других разбирается в запутанной жизни. Да, в запутанной, да, в сложной!

— Вы учите — будь только честным и никак по-другому?

— Учю.

— И зла никому не делай — учите?

— Учю.

— И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви — тоже учите?

— Тоже.

— А-а! — восторжествовал Василий Петрович. — И это не по линейке жить называется! Не геометрию из книжек преподаете! Запутанно, сложно, а прямолинейненько-то поступаи!

— А вам бы хотелось, чтоб я учил — будь бесчестным, подличай, изворачивайся, не упускай случая сделать зло, перед сильным пасуй, слабому не помогай... Неужели, Василий Петрович, вам хочется такой вот свою дочь видеть?

— Я хочу... — Василий Петрович даже задохнулся от негодующего волнения. — Одного хочу — чтоб Сонька моя счастливой была, приспособленной! Чтоб загодя знала, что и горы крутые и пропасти в жизни встретятся, применю никак не протопашь, огибай постоянно. Ежели можно быть честной, то будь, а коль нельзя — ловчи, не походи на своего отца, который лез напролом да лоб расшиб. Хочу, чтоб поняла и крепко поняла, что для всех добра и любя не станешь и любви большой и доброты особо от других не жди. Хочу, чтоб не кидалась на тех, кто сильнее, кто легко хребет сломать может, а осторожничала, иной раз от большой нужды и поклониться могла. Хочу, чтоб дурой наивной не оказалась. Вот чего хочу! Ясно ли?

— А ясен ли вам, Василий Петрович, смысл пословицы — как крикнется, так и аукнется?

— Я-асен! Ох я-асен теперь! Уж, верно, больше, чем вам... Кричи да остерегайся, где нужно — шепотком, а где и рыкнуть можно, расчетец имей, чтоб не аукнулось. Вот если б этой сноровистой науке вы мою Сопьку научили, я бы первый вам в ножки поклонился.

— Всех этому научить или только одну вашу дочь?

— Всех, всех, чтоб вислоухими не были!

— Так что ж получится, Василий Петрович, — все науку воспримут, не вислоухие, ловкачи, будут стараться обманывать друг друга, хребет ломать тем, кто послабей... В дурном же мире Соне жить придется. Не пугает вас?

— А что ж делать-то, когда оп, мир, таков и есть, доброго слова не стоит? И сменять его на другой какой, лучше, нельзя — один всего. Выхода нет — приспособляйся к нему.

— Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать как-то исправить его...

— Исправить! — подскочил Василий Петрович. — Да не дай-то бог! Исправители еще хуже его покалечат. Я сам пробовал исправить и дров наломал. А Колька Корякин вон как жизнь исправил — нравится?.. Ой, не учите Колек, Сонек мир исправлять! Ой, не надо! Так исправят мир, что хоть в космос с него беги!.. Да зачем я остерегаю — уже научили, научили, все мало вам. Дальше учить собираетесь!.. Таких учителей не мешкая хватать надо да под семь замков прятать, чтоб их никто не мог видеть и они чтоб никого...

— Плохо учу, не тому учу — возможно, — согласился Аркадий Кириллович. — Но вдумайтесь, что вы предлагаете — приспособляться учи, себя спасать, других не жалеть!.. Тут уж всякую надежду, что мир, пусть не сейчас, пусть когда-то, лучше станет, оставь. И бежать в космос с такого гнусного мира смысла нет, изворотливое ловкачество, безжалостность друг к другу привычкой станут, в натуру войдут, их уже не сбросишь, как старое платье, с собой увезешь. И куда бы ни сбежал, всюду будет ждать отравленная жизнь.

У Василия Петровича между объемистым лысеющим лбом и волевым подбородком прошла судорога, глаза спрятались, рот повело, и голос бабий, тонкий, срывающийся на визг:

— Да что мне весь мир! Могу я с ним, со всем миром, справиться? Иль надеяться могу, что справится Сонька?

С ума еще не сошел — ни себя, ни ее Наполеоном великим или Марксом там не считаю! Я маленький человек, и она в крупную не вырастет. Пужно мне совсем мало — чтоб дочь родная счастливо жила. А остальные уж пусть сами как-нибудь без меня устраиваются... А вы!.. Вы одного попутали, мою дочь попутать можете — выкинет такое, жизнь пополам... Вы... вы враг мне!

Аркадий Кириллович разглядывал Василия Петровича. Он знал, никак не открытие — этот человек испытывает к нему вражду. Потому-то и пришел — враг может видеть то, чего сам не в силах заметить. Враг? Он?.. Да смешно — ожесточившийся заяц.

— Похоже, спорить нам дальше бесполезно. — Аркадий Кириллович поднялся. — До свидания.

Прежняя тревога и прежняя растерянность.

21

Оказывается, куда поместить Колю Корякина, решить было не так-то просто. В статье 393 Уголовно-процессуального кодекса указывалось: «Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или предварительному заключению, должны содержаться отдельно от взрослых и осужденных несовершеннолетних». То есть следовало подыскать для Николая Корякина такую камеру, где находятся еще не осужденные подростки.

По из таких, пока еще не осужденных, сидели сейчас только двое — некто Копытин и Осенко. Один, семнадцатилетний верзила, заманивал к своей пятнадцатилетней сестре сильно подгулявших командировочных и обирал их. Другой, болезненный, слабосильный, Осенко, известный по кличке Валька Глаз, поздними вечерами выходил ловить прохожих, выбирал наиболее степенных и видных, задирали их. Когда те, выведенные из себя, роптали наконец проучить нахального мальчика, тот улучал момент и лезвием бритвы полосовал по лицу, стараясь задеть глаза, скрывался. И делал он это не для того, чтобы ограбить, — просто так доказывал свое превосходство.

Совать к ним Колю Корякина вместе с его трагедией неразумно да и жестоко. Как эти двое повлияют на мальчишку, предусмотреть нельзя. Но, с другой стороны, заключать в одиночку, оставлять его наедине со своей крошечной бедой, тоже опасно. Подростки, замечено, вообще тяжело переносят одиночество, через несколько суток даже

у самых здоровых, как правило, начинаются психические фокусы.

И все-таки пусть лучше побудет один. Пока. Через день, два Сулимов рассчитывал выпустить его до суда под личное поручительство, скажем, матери и того же учителя Памятнова. Ясно же — парнишка не из тех, которые пытаются убежать от наказания.

Комната, куда привели Колю Корякина, не походила на те тюремные камеры, которые он видел в кино и по телевидению, — темные, каменные, с зарешеченным оконцем под высоким потолком. Здесь было большое окно, только стекло в нем толстое, шашечками, непрозрачное, как донышки бутылок, — свет пропускает, а ничего сквозь не видно. Не понять, вечереет ли за ним или день в полном разгаре, идет ли дождь или просто пасмурно. Койки, как полки в поезде, одна притянута к стене, другая опущена, накрыта серым байковым одеялом. Узенький столик посередине и в углу возле двери унитаз.

Наконец-то никто не мешал Коле. Теперь ему можно было остаться наедине... со своим отцом.

Отец... Прыгнувшее в руках ружье, удар приклада в плечо. Медленно, медленно, казалось, до бесконечности он падает на него, на ствол выставленного ружья... И вывернутая рука с согнутыми пальцами, неутоленная, не успевшая схватить, и спутанные, давно не стриженные кудельные отцовские волосы, и черная вязкая струйка крови по паркету... Отец!..

Ненавидеть его Коля теперь уже не мог. За все, что отец сделал плохого, он расплатился полностью — черная струйка крови по паркету! Ненавидеть нельзя, заставить же себя совсем не думать о нем, забыть — Коле не под силу.

Он вспоминал отца и теперь, когда никто не отвлекал, начинал испытывать жалость, режущую, нестерпимую, к нему, лежащему с вывернутой рукой. Нет спасения от жалости, от раскаянья и от... ненависти к себе.

Коля попытался вызвать мать, несчастную мать, забитую пьяным отцом. Но вывернутая рука, давно не стриженные кудельные волосы — разве несчастье матери сравнишь теперь с отцовским! Мать мелькала, расплывалась, исчезала, все заполнял отец.

Уже несколько раз в течение дня приходила простенькая мысль: «Он же не всегда был плохим...»

Пришла она и сейчас, и память сразу охотно на нее отозвалась. Стали всплывать тихие случаи, совсем, казалось бы, пустячные, не навешавшие прежде Колю даже во сне. Они обступили, закрыли страшное, стало успокаивающе больно...

Едва ли тогда ему исполнилось шесть лет, во всяком случае он еще не ходил в школу. За окном в городе шла весна, только что пролил короткий напористо-звонкий дождь, на стекле еще висели светлые капли, с синего неба над крышами бежало прочь замешкавшееся облако. И в открытую форточку пахло распустившимися тополями.

А в неприбранной комнате было неуютно и молчаливо. Мать пряталась на кухне, оттуда доносился звон посуды, негромкий, унылый. Только что проснувшийся отец грузно сидел на смятой постели, лицо не красное, а серое, жеваное, с упавшими веками, безглазое, большие босые ноги спущены на пол, они какие-то бескостные, бессильные, даже не верится, что отец сможет встать на них, ходить, как все люди. Вчера вечером он был страшен, Колька с матерью бежали от него к соседям. Сегодня его нечего бояться, он болен и, должно, сам себе противен.

Вдруг в распахнутой форточке метнулась тень, комната заполнилась упругим фырчащим шумом трепещущих крыльев. Полупрозрачный сгусток кипящего воздуха — от серого потолка к Колькиной голове, от одной стены к другой. Мелкая птица, неожиданная гостья. Она, должно быть, поняла, как грубо ошиблась, ворвавшись в этот тесный, душный, угрожающе молчаливый угол мира. Совершив пляску, она ринулась обратно на простор, к синему, напоенному солнцем, обмытому дождем небу, навстречу тополиному запаху. И налетела на стекло с такой силой, что упала оглушенная на подоконник. Колька кинулся к ней...

Ясно-желтая грудка, пепельная спипка, в перышках крыла голубой торжествующий отлив, глаз мертвенно задернут, но сквозь мягкий пух пальцы уловили суматошное биение крохотного сердца. Над ухом раздалось тяжелое дыхание. Колька обернулся — растерзанный отец стоял над ним, на его помятом лице непривычная робость и на губах виноватая мученическая улыбка.

— Князек заскочил, гляди-ко, — сказал он.

— Живой.

— Небось оклемается... Князек в городе, надо ж!..

— Я ему гнездо устрою.

Отец несмело улыбался, под набрякшими веками, под

жесткими светлыми ресницами влажные болеющие глаза.

— Он чего ест?.. Ой, ожил!

У князька открылся бисерный блестящий глаз, Колькина ладошка сжалась.

— Не тискай, задавишь еще... Слышь, Колька, отпусти его. Князек — птица лесная, вольная, взаперти сдохнет. — И мученическая улыбка, и голос непривычно просящий. — Я тебе канарейку с клеткой куплю, петь будет.

Кольке почему-то вдруг стало жаль, хоть плачь, только неизвестно кого — птичку, попавшую в беду, или похмельного, встрепанного, мучающегося отца. Он даже не решился накормить гостью, отец помог ему вскарабкаться на подоконник, он дотянулся до открытой форточки и разжал руку. Князек мелькнул ясно-желтой грудкой и мгновенно растаял в синеве, обнявшей лежащий внизу город.

В тот вечер отец пришел чистый, трезвый, тая в глазах весеннюю голубизну, а в губах ухмылочку. Он поставил на стол легкий объемистый пакет, завернутый в серую шершавую бумагу. Осторожно, стараясь, чтоб не шуршала, отец снял бумагу, и под ней оказалась круглая проволочная клетка с деревянным низом, выдвигающимся ящичком. Внутри на палочке сидела ржавенькая птичка, чуть побольше князька, быть может, не столь красивая, однако с широким бордовым галстуком.

Кенар ел конопляное семя, запрокидывая смешно голову, пил воду из блюдечка. Он очень скоро прижился и стал петь — дробно, с россыпью, с прищелкиванием, с нежным присвистом. Отец радовался не меньше Кольки, считал коленца... А у матери с лица не сходило испуганное удивление.

Неделю, а может и больше, отец приходил по вечерам рано, и чай пить садились теперь не на кухне, а в большой комнате за круглым столом, накрывали его глаженной скатертью. Кенар пел, и каждый вечер походил на праздник...

Сначала отец пришел лишь чуть подвыпивший, веселый, добрый, разговорчивый. И мать сразу увяла, сжавшись, молчала весь вечер. Но чай был и кенар пел...

На другой день отец толкнул мать на шкаф, клетка с кенаром, накрытая от света платком, свалилась со шкафа на пол. Нет, кенар не разбился, остался жив, только после этого совсем перестал петь, сидел нахохлившись, ничего не ел. И лишь по вечерам, когда пьяный отец начинал громко

ругаться, швырять стулья, на кенара стало находить сумасшествие, он метался в клетке, бился грудью о прутья...

Он скоро сдох, и Колька похоронил его в углу двора, за трансформаторной будкой, положил сверху два кирпича — вместо памятника и еще чтоб не выкопали и не сожрали кошки. Никогда уже больше не пили чай за круглым столом, покрытым белой скатертью...

Отец любил собак и птиц. На рыбалке однажды чайка схватила наживленного на перемет пескаря, сама попалась на крючок. У этой чайки были жесткие крылья, столь белые, что Колькины загорелые руки казались черными, как у негра. И голова чайки — маленькая, злая, с ненавидящим острым глазом. Отец и тогда приказал выпустить чайку.

Отец... О нем можно думать. Его даже можно любить.

Не надо только додумывать до конца. Не надо!

.

Скупой отмеренный день поздней осени угас. Он был тусклый и мокрый, похожий на вчерашний и позавчерашний. Как всегда, многочисленные проходные комбинатов, заводов, фабрик — гигантских, всеююзно прославленных и неприметно мелких, местного значения — выпустили рабочих, закрылись до утра, до нового рабочего дня. Но закрылись далеко не все, многие пропустили через себя ночные смены. Город лишь замирал, но не переставал жить уже не наружной, не суетливо-шумной, а потаенной жизнью. Какие-то станки не остановились, раздутые печи не погасли, дежурные краны продолжали ворочаться, крутились роторы электростанций, гнали по проводам электричество, совершалось ежесуточное чудодейство — грязная руда превращалась в чистый металл, мертвый металл в живые машины, сырье становилось продукцией, а время овеществлялось даже тогда, когда большинство жителей засыпало, забывая о неумолимости времени.

Кончился день, для всего города очередной, в общем, самый обычный. В этом тесном людском скоплении, где течение бытия мощно завихряется, всегда выплескивается наружу что-то гнилостное, оскверняющее существование. Где кипение, там и непа.

Кончился день, сам город ничем особым не отличил его от других дней. И только у какого-нибудь десятка людей сегодня круто перевернулась судьба.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

С утра Сулимов решил свозить Колю Корякина на экспертизу. Без медицинской экспертизы в таком деле обойтись нельзя. Сулимов мог бы перепоручить эту процедуру и другим, но вдруг да потребуется что-то уточнить, пояснить, дополнить — уж лучше сам.

Больница, куда он вместе с Колей и сопровождающим милиционером подкатил на спецмашине, когда-то стояла за городом. Теперь город со всех сторон обошел ее — несколько потемневших кирпичных корпусов, окруженных худосочным парком. Еще в конце прошлого века эту больницу основал известный в России психиатр, теперь она носила его имя, но в просторечии издавна звалась непочтительно кошатником или дурдомом.

Уже не столь известный по стране психиатр, однако все же нынешняя местная знаменитость, доктор медицинских наук, заведующий отделением, к чьим услугам следственные органы осмеливались прибегать только в особо важных случаях, оторвался от своих больных, от организационных забот, от конфликтов вверенного ему медперсонала, уединился с Сулимовым в кабинете, полистал бумаги, задал несколько незначительных вопросов, произнес:

— Что ж, давайте сюда вашего соловья-разбойничка.

«Соловей-разбойничек» выглядел жалко — синюшное, до хрупкости исхудавшее лицо, затравленные светлые глаза со вздрагивающими зрачками, тонкая, напряженно тянущаяся из просторного воротника шея...

Местная знаменитость, лысый, с лучшим черепом, массивный мужчина, державшийся с Сулимовым грубовато-добродушно, при появлении Корякина изменился мгновенно и разительно — не только физиономия, но и все его плотно сбитое тело стало выражать приветливое участие. Он посадил Колю так, что острые Колины коленки упирались в его тугие, полные колени, начал расспрашивать заботливо и не напористо — хочешь отвечай, хочешь не отвечай, твоя воля: занимался ли спортом, страдал ли головными болями, хорошо ли спал по ночам, какие книги больше правилось читать... Прерывал вопросы, просил перекинуть ногу на ногу, обстукивал молоточком, заставлял следить за толстым пальцем, нацеленным в потолок, снова и снова спрашивал бархатно стелющимся голосом, втяги-

вал в необязательную беседу. Коля отвечал коротко и ясно, не спуская беспокойного взгляда с врача. Беспокойного, по вовсе не недоверчивого.

— Ну иди, дружочек, — наконец ласково отпустил доктор к сопровождающему милиционеру, ждавшему за дверью. И когда Коля вышел, местная знаменитость ворчливо заметил: — Как пациент он не представляет для меня ни малейшего интереса.

— Нормален? — спросил Сулимов.

— Нормальных людей на свете нет!

Психиатр плотно уселся за свой стол и с профессиональной быстротой врача, которого ждут многочисленные больные, приходится дорожить каждой минутой, написал следующее заключение: «Николай Рафаилович Корякин душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает признаки эмоциональной неустойчивости. В период, предшествующий инкриминируемому деянию, он находился в состоянии естественной подавленности, связанной с длительной психогенно-травматизирующей ситуацией, но не носившей болезненно-психотического характера. В момент, относящийся к совершению правонарушения, признаков какого-либо временного болезненного расстройства душевной деятельности не обнаруживал. Как видно из материалов дела и настоящего психиатрического обследования, у него в тот момент отмечалось состояние эмоциональной напряженности, связанной все с той же ситуацией, не сопровождающейся психотической симптоматикой (бредом, галлюцинациями, искаженным восприятием окружающего). Поэтому в отношении инкриминируемого деяния Н. Р. Корякина следует считать вменяемым».

Сулимов пробежал бумагу, спрятал ее.

— Еще один вопрос, доктор... Так сложилось, что мы сейчас вынуждены держать его одного. Не преподнесет ли он нам какой-нибудь сюрприз?

— И долго ли вы его собираетесь изолировать?

— Вот это-то и хотелось бы нам от вас услышать — сколько суток выдержит безболезненно?

— Не могу поручиться, что такой субъект не завтра, так послезавтра не выдаст неожиданный симптом. Правда, ничего такого не случится, чтоб мы потом вынуждены были изменить заключение, посчитать невменяемым.

Но уже выпроваживая Сулимова из кабинета, доктор на прощание все же бросил:

— Все-таки я бы на вашем месте постарался его не

травмировать — крайне неустойчив, не защищен толстой шкурой...

И Сулимов понял: этот выдавший виды человек, изо дня в день влезающий в чужие несчастья, со всех сторон окруженный изломанными людьми, бесхитростно, по-бабьи жалеет паренька. Почему-то вдруг Сулимов ощутил за собой неясную вину, словно что-то не сделал, не выполнил какого-то важного обещания. Но ничего никому он не обещал и честно делает все что может, сам жалеет непутевого преступничка, чист совестью. Чист, а поди ж ты, вина не проходила...

Он и раньше намеревался прямо из больницы завести его к себе — собственно, допрашивать уже не о чем, во всем признался, надо лишь подписать протокол допроса. Подпись Коли Корякина нужна была сейчас для двух операций. Во-первых, вчера, расставаясь с его матерью, Сулимов обещал ей устроить свидание. И это можно повернуть сразу же, как только он предъявит оформленный протокол. Ну а во-вторых, есть основание рассчитывать, что и вовсе мальчишку отпустят на поруки.

Теперь Сулимову захотелось еще как-то поддержать парня: да, сорвался, да, натворил — самому и другим жутко, только не считай, такой-сякой, что жизнь твоя уже совсем кончена, искупить вину никогда не поздно, а мир не без добрых людей — и поймут и помогут, встанешь на ноги.

Однако когда Коля Корякин опустился на стул в кабинете — судорожно сведенные челюсти, прозрачные, опущенные тоской глаза направлены куда-то мимо, сквозь стену, в беспросветную даль, — самого Сулимова охватила безнадежность, и произносить тут слова с бодренькими интонациями стало просто невозможно. Да и в протоколе, который он подготовил для подписи, ничего обнадеживающего не содержалось — не мог же он не внести туда признания о заранее заряженном ружье. Посочувствуешь и подсунешь — подпишись, убийство-то совершил не случайное, а преднамеренное!

Подавленный Сулимов предложил Коле внимательно перечитать написанное.

— Возрази, если не согласен, готов любое учесть.

Но Коля с явным нежеланием, насилуя себя, проглядел, нетвердой рукой вывел фамилию. Сообщение о свидании с матерью он выслушал равнодушно, казалось даже, пропустил мимо ушей, а вот обещание — попытаемся выпустить тебя на поруки — вызвало волнение:

— А куда денусь?.. Дома жить, где кровь пролпл,— нет!.. И от людей же прятаться придется — убийца... Не надо!

Это рассердило Сулимова:

— Нам лучше знать, что надо, а что не надо. Держим под арестом тех, кто опасен или собирается скрыться. Тебе верим — ничего больше не натворишь. А где жить?.. Приютили же твою мать люди и тебе место найдут.

Все-таки вроде бы ободрил. Но Коля замкнулся — сцепленные челюсти и взгляд в далекое.

На том у них все и кончилось — вызвал милиционера, попросил увести.

Надо было доложить обо всем начальству, связаться с прокуратурой, побывать на месте работы покойного Рафаила Корякина — дел невпроворот, — а он сидел над раскрытой панкой и не мог заставить себя подняться.

Нельзя сказать, что Сулимов жил бездумно, работа такая, что постоянно ставит запутанные задачи — шевели мозгами! И шевелил, но всегда применительно к чему-то конкретному, к практическому. А отвлеченные рассуждения с душевными переливами — нет, и характер не тот, да и делу помеха. Должен быть собран, решителен, всегда ясно представлять что к чему, не колебаться, не путаться и не раскисать в сомнениях.

Сейчас же вдруг набежало... Не то чтобы засомневался, а мысли улетали черт-те куда — к незнакомой деревеньке начала тридцатых годов, к Ваньке Клевому, кулацкому сынку, соблазнившему девуку-батрачку, к ребенку, который еще не успел родиться, но уже получил прозвище подкулачник. Должно быть, злое по тем временам прозвище...

Вон она где еще завязалась, крутая веревочка! Через голодные годы, через барачный поселок первой пятилетки, через войну потянулась она на улицу Менделеева, к прошлой ночи.

Телефонный звонок заставил его очнуться. Звонили из проходной.

— Тут сразу двое к вам просят. Близкие знакомые убитого Корякина. Хотят что-то сообщить, говорят — важное.

— Откуда они?

— Работали вместе с Корякиным.

— Есть ли среди них Пухов?

— Никак нет. Рабинович и Клоповин их фамилии.

Они появились перед ним. Впереди низенький с петушиной осаночкой, прыгающими глазами и наигранной бравадой явно робеющего, но решившегося на подвижничество человека. За ним, шаг отступя, громоздко-длинный, связанно шевелящийся тип, неподвижная физиономия которого выражала лишь извечную сонливость. Не нужно было быть особенно проницательным, чтоб понять: этот из тех, для кого все желания сводятся к одному неутрачиваемому — к водке. Такие обычно старательно обходят далеко стороной любые официальные учреждения, избегают наблюдающих за порядком. И то, что они вдруг решились по своему желанию проникнуть сквозь дверь, охраняемую дежурным милиционером, вызвано, должно быть, какими-то исключительными мотивами. Но еще неизвестно, по своему ли желанию здесь, не по чужой ли воле. В любом случае они достойны пристального внимания.

— Чем могу служить? — с подчеркнутой вежливостью, намеренно холодно, стараясь показать, что ничуть не удивлен и не очень заинтересован, спросил Сулимов.

Первый, с петушиной осаночкой, доблестно преодолел свою робость, ответил почти вызывающе:

— Спросите нас, кто мы такие, и вам станет понятно, что мы имеем кой-что сообщить товарищу начальнику.

— И кто же вы?

Посетитель с петушиной осаночкой еще сильней выпятил узкую грудь, повел носом в сторону своего до деревенности равнодушного приятеля и воодушевленно объявил:

— Мы близкие друзья безвременно погибшего Рафаила Корякина!

— Для полного знакомства неплохо, чтоб вы еще и называли себя.

— Ах, вас интересуют наши незначительные персоны!.. Соломон... И учтите, это мое настоящее имя... Соломон Борисович, увы, Рабинович. Да, еврей. Да, с двадцать пятого года рождения. И нет, нет! Под судом и следствием Соломон Рабинович никогда не был!

— Ну а вы? — Сулимов обратился ко второму.

— Клоповин я, Данила Васильевич, — объявил тот угрюмо.

— Достойнейший человек! — горячо воскликнул Соломон.

— То есть тоже не был под судом и следствием?

— Был, — с суровой простотой признался Клоповин.

— Дания, объясни! Дания, у товарища начальника может создаться нехорошее о тебе мнение!

— А что — был... В деревне из-под молотилки шапку зерна унес... С голодухи... Под указ попал, пять лет дали.

— И все! И все! Разве вы посчитаете это виной? — волновался Соломон.

Сулимов смотрел на этих людей и решал — выслушать их по одному или же не следует разбивать парочку? Если они явились с какими-то откровениями, то очень важно, чтоб не чувствовали себя связанными. Явно долго сговаривались, поодиночке навряд ли решились бы прийти сюда, разъедини — утратят чувство плеча, вместе с ним и запал. Соломон, может, что-то еще и выдаст, а из его дружка тогда слова не выдавишь. И, кроме того, они пока не свидетели, которых статья 158 Уголовно-процессуального кодекса обязывает допрашивать порознь, от предстоящего разговора зависит, станут ли ими. Нет, нельзя разбивать парочку, лучше потолковать в компании.

— Садитесь, — пригласил Сулимов. — Итак, вы оба были друзьями Рафаила Корякина?

— Первейшими! — отозвался Соломон.

— То есть собутыльниками? Вы такую дружбу имеете в виду?

Соломон скорбно вздохнул:

— Если хотите — да! Иных друзей покойный Рафа, скажу вам, не признавал. Но мы с Даней и сейчас, когда он ушел от нас навсегда, храним ему верность. Хотя Рафочка имел несдержанный характер и часто был груб с нами, мы с Даней ему все прощаем. Правда, Дания?

Дания выдавил из себя: «О чем звук!» — утробным баском.

— Так что же вы хотели мне сообщить?

Соломон набрал в грудь воздуха, на минуту замер, поводя выкаченными глазами.

— Вы, конечно, себе думаете, — заговорил он, — что, если б несчастный мальчик не убил своего папу, папа был жив. Так мы с Даней вам скажем: мальчик поспешил, папу и без него бы убили.

— Это догадки или у вас есть факты?

— Факт тот, что вы видите перед собой подручных... Да, как ни прискорбно, подручных убийцы! — возвестил Соломон. — Но, учтите, невольных, только сейчас понявших свою ужасную роль...

— Заявление, прямо сказать, оглушающее, — произнес Сулимов.

— А легко ли нам его сделать? Нет! Отнюдь! Но мы желаем остаться честными людьми. Правда, Даня?..

— Давайте по порядку.

— Два года назад нас с Даней наняли в покрасочный цех. Почему? Ни я, ни Даня в жизни никогда не правили и не красили машины. Но мы... мы, каемся, пристрастны к зелью! Да! К зеленому змию. Сами скорбим, но... пьем! Вот за это-то нас и оформили...

— За пьянство?

— Именно! Чтоб были всегда под рукой у Рафаила Корякина! До нас возле него держали тоже двоих — Пашку Козла и Веньку Кривого, один не выдержал тяжелых обязанностей и отвалил, а другой доблестно сгорел на боевом посту. Нам так и было сказано: «Возьмете зверя на себя». Напрямую, товарищ начальник, напрямую!

— Пухов?

— Ах, вам уже известна эта фамилия? Тем лучше, тем лучше!.. Кому еще выгодно, чтоб Рафа Корякин не переставал пить! Если он завяжет, не станет брать в рот ни капли, то, скажите на милость, зачем ему тогда вкалывать и тянуть длинный рубль? Он не был сребролюбцем, наш покойный Рафочка. Но он любил больше нас с Даней трижды проклятое и трижды прекрасное состояние подогретости. Каждый из нас за него готов продать душу! За наши души, мою и Дани, ничего не дают. Зато душа Рафы — ой!.. Душа мастера, скажу вам, кое-чего стоит!

— Вы, кажется, забыли, что начали с того, что Пухову невыгодно, если Корякин бросит пить,— напомнил Сулимов.

— Хе! Да ясно же — Рафа тогда освободится от Пухова, Пухов лишится курочки, несущей золотые яички. Даня! Разве я не прав?

Даня нечленораздельно буркнул в знак согласия.

— Так что же, Пухов хотел убить курочку, несущую золотые яички? Не вяжется, Соломон!

— А что вы называете убийством? — подпрыгнул на стуле Соломон.— Кровососание, по-вашему, не убийство?

— Но желал Пухов смерти Корякина или не желал?

— Не желал! — с широким жестом возвестил Соломон.— Но понимал, что убивает!

— Он что, заставлял пить Корякина?

— Он? Сам? Ах, что вы, не надо нас смешить! Заставлять — фи... Нет, надо умно организовать, надо создать все условия, чтоб Рафа не просыхал, но только в свободное время. Если Рафочка выполняет срочный заказ (а несроч-

ных у Рафочки не было) — все закрыто! Над ним строгий контроль, нас, изнемогающих, теснят в сторону: не время, когда освободится... Освободится! Вот свободы-то он и не получал — прыгай сразу в угар. Нет денег — бери в долг. Нужны добрые застольные друзья — пожалуйста. Они специально для этого и наняты. Им строго наказывается — не набирайтесь, сукины дети, на стороне, берегите себя для Рафочки! И если даже они заняты на работе — освободить их... Все условия, чтоб Рафочка не мог даже чуть-чуть задуматься. О-о! Даже о семье Рафипой за Рафочку думает сам Пухов, чтоб большой пужды не знала. Ни о чем не тревожься, дорогой Рафа, прожигай деньги, чтоб их зарабатывать, зарабатывай, чтоб сразу прожигать, не смей застопорить, не то Пухову перестанет капать. Системка... И как она вам нравится, товарищ начальник?

— Вы оба эту систему понимали, а Корякин — нет? Уж настолько он был глуп? — спросил Сулимов.

И снова привел в трепетное состояние Соломона:

— Наоборот! Как раз наоборот! Он понимал, а мы с Даней не допирали. Он как доходил до накала, то на чем свет стоит ругательски клял Пухова. И что же? Шел к Пухову, чтобы снова добыть денег и прожечь их!

— Когда же вам открылось все?

Соломон в волнении вспорхнул со стула.

— Чувствовали давно — да! Но всю глубину не осознавали — тоже да! Но с глаз спала пелена, как только услышали от него же, от Пухова, что мальчик — папу... Кто мы? Помощники! По слепоте, по глупости, по слабости характеров, по помощники!..

— Сты-ыд! — прохрипел друг Даня.

— Именно! Именно! Мы с Даней почувствовали стыд! Все можно залить водкой — смерть родной мамы, любое горе, — по стыд... Один стыд не заливается этим спадобьем, от водки, скажу вам, он еще сильнее разгорается... Мы вчера чуть-чуть прикоснулись за помин души Рафы Корякина. И как мы расстроились, как расстроились!.. Даня, сказал я, мы проклянем себя, если не откроем правду! Даня, говорил я, мы на час, на один только час должны стать мессией! Вы знаете, что такое мессия, товарищ начальник?

— Знаю! — обрезал Сулимов. — Не знаю одного — чем вы чище Пухова, на которого все взваливаете? Он корякинскими деньгами корыстовался, вы — водкой! Два сапога — пара.

Обвисшие щеки Соломона дрогнули, нос одеревенел.

— Да-ня-а! — с неподдельной горестью. — Мы с тобой по-благородному, мы очиститься, а нас припечатывают!.. К кому?!

— Хватит скоморошничать, Соломон! Объясните лучше разницу между вами и Пуховым.

Перекосившийся, с вознесенным посолом Соломон напояминал в эту минуту умирающую экзотическую птицу.

— Объясню. Только попрошу — взгляните в пас...

— Да уж вижу.

— Некрасивы?.. Вы правы, вы правы — мы с Даней, да, безобразны! Но не спешите презирать нас. Мы — санитары. Если пуховы извергают навоз, то мы им питаемся. Ой, что было бы, если б Рафа Корякин гулял без нас, со случайными! Один бог это знает, что было бы!.. Ах, как он мог обижать, когда напивался, — пересказать нельзя, это надо видеть и слышать! Какими гнусными словами он нас обзывал, а особенно меня. Пьяный Рафочка всегда вспоминал, что я еврей. И он не только нас обзывал очень нехорошими словами, он еще бил нас. Смею вас уверить, у Рафочки были ой тяжелые кулаки. Кто бы стерпел это, кроме нас с Даней?.. Бедная жена Рафочки еще не знает, что ее немножечко спасали... Да, да, мы с Даней. Не мы бы, она имела совсем, совсем не то, что получала. Чутьочку больше! Ха! Конечно же Рафочка был богатой патурой, после нас у него оставалось и на жену и на несчастного сына... И Пухова мы тоже спасали, хотя он нас и презирал, но с этой целью — да, да — держал возле Рафочки. Поэтому прошу, очень прошу, не путайте нас с Пуховым. От него — грязь, после нас — крошечка чистоты. Конечно, навозные жуки плохо пахнут. От нас воротят нос, Даня! Скажи, Клоп, что мы к этому привыкли...

— Так какого же лучшего вы стоите о Рафочке, сдает-ся, не только жалеете, а даже готовы его любить?

Друг Даня издал горлом сложную руладу, а Соломон весь сморщился, отвел в сторону затравленные рыжие глаза.

— Вы счастливый человек, — сказал он. — Вас любили папа и мама, когда вы еще лежали в колыске. И вы сможете понять нас с Даней, которых никто никогда не любил, а все отворачивались и говорили: пфе! Так вот что я вам скажу, счастливый человек: нас любил он! Да, он, этот злой, этот страшный Рафа, которого все боялись. И сам Пухов тоже его боялся... Да, Рафочка издевался над нами, оскорблял нас и бил даже... Но он не брезговал нами, мы были ему нужны... Ему! Да! А скажите мне: кому

еще на свете пужеп Соломон Рабинович, сорок девять лет назад печально родившийся в местечке Выгода под Одессой? А кому пужен Дания Клоп, спившийся мужик из деревни Шишиха? Ужаснитесь, пожалуйста, за нас. Не можете?.. Я так и знал. А мы с Даней не можем забыть, что кому-то были пужны. И мы с Даней плачем, что снова — никому, никому...

Беспокойные, затравленные глаза Соломона и тяжелый взгляд Дании Клопа. Сулимов сидел перед ними, навалившись на стол.

— Вот оно как, — наконец выдавил он, — даже Рафаила Корякина кто-то оплакивает.

— Чистыми слезами! Учите — чистыми! — тенористо воскликнул Соломон.

3

В природе приспособиться — значит выжить. Но человек никогда не удовлетворялся лишь одной возможностью выжить, сохранить себя и потомство. Наскальный рисунок первобытного художника не сулил выживания, тем не менее он тратил на него время и силы, отрывая их от добыывания пищи насущной. И современные астрономы, изучая умопомрачительно далекие квазары, меньше всего думают, какое жизненно практическое применение найдут их открытия.

Человек ли тот, кто замкнулся на самосохранении — выжить и больше ничего? Да и возможно ли жить, отгородившись от того безбрежного, что окружает? Жизнь безжалостна к несведущим.

Василий Петрович Потехин (не хочу ничего знать, кроме своего!) — сейчас выписывает наряды на ремонт кухонных плиток, а недавно руководил большим газовым хозяйством — идет ко дну, намерен тащить за собой дочь.

Такие вот василии потехины чем пришибленнее, тем усерднее готовы вершить суровый суд: ты ошибаешься, а я теперь — нет. Что верно, то верно, Василий Петрович ошибок совершать уже больше не будет потому только, что не будет совершать и каких-либо поступков. И глядящим со стороны он станет казаться всегда правым.

Случилось убийство, как хочется от него отодвинуться подальше и как это, в общем-то, просто сделать. Достаточно не признаться себе — совершил ошибку, тем более что она так смутна, так неощутима. Кто посмеет тебя подозревать, кому придет в голову тебя обвинить?..

И появится на свете еще один Василий Петрович Потехин — замкнут на себя, всегда и во всем правый, медленно опускающийся, лишенный уважения к себе и другим.

Нет! Нет! Ищи ошибку, уличай себя!

Жизнь безжалостна к несведущим... Но что знает любой из учеников о той большой жизни, с которой он сразу столкнется, как только выйдет из школы? Аркадий Кириллович преподавал литературу, да, фокусированно отражающую жизнь. Но какую жизнь? Чаще всего далекую от сегодняшней — жизнь графа Безухова и князя Мышкина, Ваньки Жукова и Алеши Пешкова. Даже жизнь более близких по времени Григория Мелехова и Василия Теркина разительно не похожа на нынешнюю.

Аркадий Кириллович вместе с другими учителями старался оберечь своих учеников от скверны мира. Пьянство, поножовщина, мошенничество, корыстолюбие — нет этого, есть трудовые подвиги, растущая сознательность, благородные поступки, праведные отношения. Хотя ученики не были слепы и глухи, некоторые росли в крайне неблагополучных семьях, знали улицу с изнанки, видели пьяных, сталкивались с хулиганством, бесстыдной корыстью, унижающей несправедливостью, но школа старалась сделать все, чтоб они забыли об этом. Из любви к ученику!

Петребовательная любовь, любовь неразумная, ревниво оберегающая от всего дурного, питающая стерильной житейской кашей, вместо того чтоб приучить к грубой подножной пище, — сколько матерей испортили ею своих детей, вырастив из них анемичных уродцев или махровых эгоистов-захребетников, не приспособленных к общежитию, отравляющих себе и другим существование. Что непростительно любящим матерям, должно ли прощаться любвеобильным педагогам?

Нередко можно услышать беспечное: зачем, собственно, учить жизни, она, жизнь, сама здорово учит. Учит — да! Но чему? Она может научить не только стойкости и благородству, но и отвечать на жестокость жестокостью, на оскорбление оскорблением, на подлость подлостью. Жизнь — стихия, и крайне неразумно надеяться, что слепая стихия способна подменить собой педагога.

Коля Корякин еще до выхода из школы применил в жизни науку любящего Аркадия Кирилловича...

А эту науку не менее старательно усваивали и другие.

Урок Аркадия Кирилловича в девятом «а» классе по расписанию был третьим...

До Коли не сразу дошло — он увидит мать!.. Осознал это, когда уже вышел от Сулимова. Нет, он не забывал о ее существовании, но она оставалась для него там, в прошлом, далеко и утерянном. Мать и отец — трудно представить более разных людей, но Коля также не мог представить себе их и поодиночке. Отца теперь нет, а мать скоро явится к нему. Умом понимал — странного тут ничего нет: мать жива, мать должна искать с ним встречи; но видеть ее и мириться, что нет отца, — противоестественно!

Всю миновавшую ночь он страдал за отца, любил его. Да, любил! Чем еще оправдать ему себя, как не любовью? Мать тут присутствовала где-то рядом, на нее уже не хватало у Коли ни страдания, ни любви. Наверное, в глубине души, в темном осадке, который он боялся потревожить — захлебнешься мутью! — даже пряталась досада на мать: из-за нее же он схватился за ружье.

Из-за нее. Но думать открыто он об этом не смел. Мать и ружье?.. Если кто и страшился ружья, то только она. И уж благодарить сына за то, что случилось, мать не станет, представить немислимо. А вот упрекать — да! А как раз это-то и пужно сейчас — не оправдание, а упрек! Любящий упрек! Никто на свете на такое не способен, только она, мама!

Конечно, она и простит, можно не сомневаться. Но простит она не только его — отца тоже. Как ей не простить, когда отец так страшно наказан. Как ей тоже не чувствовать сейчас себя виновной перед отцом, как не жалеть ей его. Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая, одинаково чувствующая, все понимающая гораздо лучше, чем он. Скоро увидятся! Они будут плакать вместе. Вместе — не один, значит, не так уж все страшно, значит, можно даже жить. Мама! Мама!..

Детский крик о помощи. Мама! — звук, с которого у человека начинаются самые первые отношения с родом людским. Мама! — извечное прибежище бессильных в несчастье. Изначальное для каждого существо, жизнь подарившая — мама!..

Еще не встретившись с матерью, Коля Корякин ощутил уже себя и не потерянным и не одиноким.

Перед ним распахнули дверь, и он переступил в уютно-голую комнату с длинным столом посередине. Там за-

морожено сидела незнакомая женщина в зеленом кожаном пальто коробом, в пеленом берете, украшенном вишенками. Недоуменная тревога — зачем привели сюда? — еще не успела вспыхнуть, как Коля почувствовал на себе взгляд. Из чужой одежды смотрела мать, не похожая на самую себя — тускло-серое, усохшее лицо, обморочно неподвижные глаза. Она сидела и не шевелилась... Так вот, оказывается, как она выглядит без отца — бездомная, пришибленная, кем-то пелено одетая. И Колю захлестнуло: — Ма!..

Она качнулась вперед и не встала, так и осталась сидеть, подавшись всем телом, глядя снизу вверх, и взгляд ее ничего не выражал, кроме простенькой вины — вот встать не могу, ноги отказывают.

Он нагнулся, она порывисто обхватила, притянула его к себе. Замерли оба на минуту, он неловко согнувшись, она вытянувшись, прижавшись теплой мягкой щекой к его лицу, сотрясаясь от мелкой дрожи.

— Ма...

Руки матери обмякли. Натыкаясь то на стол, то на материны колени, он нащупал стул, сел напротив.

У нее в бескровных губах беспомощная, певчая складочка, какая появлялась всегда, когда ждала возвращения отца, но в воспаленных глазах столь лютая боль, что нельзя терпеть — вот-вот закричишь.

— Ма... я не узнал тебя.

Она жалко улыбнулась, и тут наконец-то выступили тяжелые слезы, смягчили взгляд. Она поспешно наклонилась, засуетилась, отыскивая платочек, нашла и всем телом содрогнулась под просторным пальто, всхлипнула:

— Меня Пуховы к себе забрали... Людмила-то ласковая баба. А то куда мне деваться? У Евдокии жить из милости — прonesи господи.

Наступило угрожающее молчание. Коля лихорадочно искал, что сказать матери — что-то обычное, пустяковое, — для большого разговора, где каждое слово понималось бы еще не родившись, каждое слово и ранило и исцеляло, нужен был разгон. Пустяковых слов не находилось, а молчание ширилось, как трещина на весенней льдине, того и гляди разнесет в разные стороны.

— Мам... Выругай меня, — попросил он.

Жалкая и глупая просьба срывающимся на стои голосом, нет, она не поняла, что счастье услышать сейчас материнские упреки, чем сердитей они, тем желанней.

— Я себя, себя, золотко, клянц. Мне прощения нет —

не тебе! Ежели на свете теперь и остался виновный, то я только, — с жаром, похожим на безумие, заставившим Колю сжаться от страха.

— Ты что, мам? Это же я! Я!

— Ты-ы! Не-ет! Другие — пусть, а ты сам не смей, не смей казнить себя. Другим-то где понять. Хватит того, что на тебя возведут. Не возводи сам...

— Да ты что, мам?

— И не за что тебе себя прощать. Он довел, а я, выходит, ему помогала.

Коля задохнулся:

— О-ош...

Раньше времени в еще толком не начавшийся разговор ворвался он — отец!

— Не надо о нем, Колюшка, — передернулась мать.

Опа уже жалела, что нечаянно обмолвилась. И выражение ее лица было откровенным: не то что неприятно вспоминать о нем, даже не то что страшно, а хуже — противно. У Коли похолодело внутри — мать не захочет разговаривать об отце, а он только об этом и мечтает. Только о нем и только с ней, в мире нет другого человека, с которым он мог бы поговорить об отце!

— Мам! — Голос его неестественно взвился. — Он много, мам, много нам плохого сделал. Но я ему — больше!

— Гос-по-ди! Зачем?.. — Она даже выгнулась от отчаянья. — Зачем его вспоминать? Забудь!

— Разве можно, мам?

— Что уж локти кусать... Река вспять не течет. Я себя перед тобой клянусь, а перед ним — нет! Совесть чиста. Сам лез и напоролся.

— Мам! На него теперь... Нам... Стыдно же!

— На него-о... То-то и оно, что он снова не виноват. Мы с тобой его виноватее. И всегда так получалось.

— Мам, уж сейчас-то нам его не простить?.. Да можно ли?..

— Колюшка, ты меня за другое попрекни — за то, что тебя не уберегла. А за него попрекать нечего. Он и мне и тебе, любушке, жизнь измолот. И захочешь забыть, да не получится.

— Но он же не всегда плохим был!

— Не помню хорошим.

— А канарейку помнишь?

— Какую канарейку, родненький?

— В клетке пела. Отец же принес.

По взбежавшим на лоб морщинам, по собравшемуся

взгляду было видно — мать не притворялась, честно пыталась вспомнить, признавала эту канарейку важной и нужной для сына.

— Из прежнего, Коленька, помню страх один да колотушки, — с обреченным вздохом.

— Мам!.. — Коля говорил, сценив зубы, сдерживая внутреннюю дрожь. — Мам!.. — Он сейчас решался на страшный вопрос, от которого, казалось ему, нельзя отмахнуться и нельзя увильнуть. — А он меня, мам... он разве совсем меня не любил?

Коля ждал, что мать содрогнется, а она лишь отвела взгляд и на минуту задумалась.

— Может, и любил, — просто, с какой-то усталостью призналась она. — Только бешеный любит — беги.

— Но он же любил! Лю-бил! — срывающееся прокричал Коля.

— Вся и беда-то, милушка, что от евойной любви бежать тебе было некуда. Мне бы надо лаз в огороде сделать, а я, дура, все крепила огород-то.

— Он любил меня... Так и я его, мам... Я — его!.. Только теперь понял, что вот люблю, и все тут!

Анна подняла на сына глаза, и лицо ее стало медленно, медленно заливаться ужасом. Только теперь она начала понимать, что творилось внутри у сына. До сих пор думала: сын казнится раскаяньем, раскаивалась она и сама — рада бы повернуть все назад, да река-то вспять не течет. Только сейчас открылось — убийца любит убитого, это уже не раскаянье, это уже мука, считай, смертная, сильный и разумный не выдержит, а ребенок и подавно.

Онемение Анны длилось долго. Коля сидел и подергивался перед нею. Наконец мать пришла в себя, заметалась, закричала в голос:

— Будь он проклят! Будь он трижды проклят! Уж ладно, ладно, что я от него в жизни терпела! Меня — пусть! Но он же тебя до злодейства довел! Не сам же ты — он, о-он!! Сына родного на страшное толкнул! И все ему мало, он и после смерти измывается пуще прежнего! Лю-би-ил?! Да любовь-то его черная, на ненависти да на отраве замешена! Уж лучше бы просто ненавидел. От такой-от любви люди гибнут с муками мученическими! О-он лю-би-ил! Так любил, что ты за ружье схватился! Так почему после ружья за эту любовь цепляешься? Одумайся, Коленька! Выжги в себе отраву! Будь он проклят! Были на земле злодеи хуже его, чтобы и после смерти жить не давали?! Будь трижды он проклят!..

— Кричать не положено! — в приоткрытую дверь веско произнес сержант, приведший Колю на свидание.

Анна замолчала, ее колотила дрожь, щеки и лоб стали землистыми, веки опустились, губы дергались. Коля со сдвинутым лицом смотрел на мать тлеющими глазами, молчал.

— Ко-оля-а,— придрушенно выдавила Анна,— одного прошу — не давай себе воли, не думай о нем, проклятом... Угар-то пройдет — все затянется. Не думай и не растравляй себя.

— Мам, я кровь видел...— тихо сказал Коля.— Его кровь...

— Ты сломаешься, и я не выживу. Себя не жалеешь, меня хоть пожалей. Одна я у тебя, и ты у меня один.

Коля замаялся и вдруг сморщился:

— Нету, мам, нету!.. Ни к тебе нету, ни к себе... Только одного теперь я могу жалеть. Кровь его видел — как забить?

Анна обронила руки на колени, обмякла. Она сказала самое убедительное — издала материнский стон: «Пожалей меня!» И сын слышал его, но не внял. Другого сказать ему она уже не могла.

Они долго сидели друг против друга, избегая смотреть в глаза. Анна с усилием пошевелилась, попыталась подпяться:

— Ноги чтой-то не держат... Одна надежда, Колюшка,— забудется. А ежели нет, то и жить зачем?

5

Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая.

Нет ее. Она плакала, но не вместе с ним. Она ничего не смогла понять. А понять надо очень простое и очень важное: он теперь не враг отцу, теперь, когда отца нет, его уже не за что ненавидеть. Ненавидеть нужно Коле себя. Чем еще искупить страшную вину перед отцом, непоправимую вину, как не ненавистью к себе, как не любовью к нему?.. Но что толку, если он станет и любить и ненавидеть про себя, втихомолку, никто не заметит, никто не будет знать, никому не будет до этого дела. Он, Коля, должен доказать и себе и другим — не такой уж бесчувственный, а значит, и не совсем пропащий, его мог бы простить сам отец... Кто еще поймет, если не мать? И нет... Тогда

можно ли ждать, что поймут другие? Мама! Мама!.. Не слышала.

Но был еще человек, который верил Коле, быть может, верил даже больше матери, — Соня Потехина.

Они знали друг друга всегда, всю жизнь. В глубоком, глубоком детстве, в заурядно для Коли далекие времена они встретились. Мать, спасаясь по вечерам от буйствующего отца, хватала сына и бежала к соседям, чаще всего вниз, к Потехиным. Матери жаловались друг другу, плакали, утешали, а маленький Коля с маленькой Соней играли на полу в куклы, иногда ссорились.

Потом эти набегі прекратились, то ли Коля подрос, его уже труднее было схватить в охапку и бежать, то ли скандалы стали так часты, что матери уже неловко стало постоянно беспокоить соседей. И Коля с Соней встречались только печально на лестнице или во дворе, не разговаривали, даже не догадывались здороваться. Все в доме жалели Колю, мать Сони — тоже. Должно быть, тогда же начала его жалеть и сама Соня.

Они в один год пошли в школу, оказались в одном классе, но к этому времени уже стали совершенно чужие — просто мальчишка и девчонка, случайно живущие в одном доме. Да Коля вообще ни с кем не сходил. Он постоянно помнил, что все знают о скандалах в их квартире, считают его страдальцем. Он не похож на других — хуже, несчастнее! Если иногда и забывал об этом, то быстро напоминали... жалостью: «Горемычный ты, горемычный! Уж лучше бы тебя в детдом забрали, чем с таким извергом жить!» Коля завидовал всем и всех ненавидел. В школе он плохо учился, еле-еле перебирался из класса в класс, учителям грубил, от ребят сторонился, а временами с ним случались приступы бешенства, набрасывался на самых сильных. Чаще перед ним отступали — ненормальный! — иногда били.

А он испытывал мстительное наслаждение оттого, что плохой, что с ним не могут справиться учителя. Наверное, таким бы и остался на всю жизнь — завидующим, ненавидящим, наслаждающимся своим несчастьем. Но случилось неожиданное...

Был летний поход школьников шестых — седьмых классов по лесной речке Крапивнице, впадающей в большую реку. Такие походы сколачивал учитель физкультуры Андрей Михайлович — уходили на несколько дней, жгли костры, ночевали в шалашах, ловили рыбу, объедались ягодами. Но в тот раз случилось несчастье не столь уж и

большое, но досадное. Соня Потехина, перебираясь через овраг, сорвалась и повредила ногу — вспухла цыколотка, нельзя ступить. Прервать поход? Сделать посылки и всем по очереди нести Сою по тропе через лес и болота до пристани? Кто-то вспомнил о байдарке — тащили с собой, чтоб поплавать на озере. Почему бы не спустить Сою вниз по реке на байдарке?..

Хороших байдарочников было всего трое — Игорь Шуляев, Коля Корякин и, разумеется, сам Андрей Михайлович. Но Андрей Михайлович не мог бросить одних ребят среди леса. С кем из двоих плыть, решили предоставить Соне. И она назвала Колю. Трех мальчишек послали по берегу на всякий случай, если понадобится какая-то помощь. Но берега Крапивницы были болотисты, и ребята шли стороной, весь путь Коля и Соня оставались вдвоем.

То был самый счастливый день в жизни Коли Корякина. День, перевернувший все.

На черной воде лежали согретые солнцем, глянцевиные листья кувшинок, над ними висели голубые стрекозы. Эти стрекозы внезапно возникали из чистого воздуха и так же внезапно исчезали — по капризу, словно каждая имела по крохотной шапке-невидимке: были да нет, не были и нате вам — мы тут. Она сидела впереди, ее голова туго охвачена цветной косынкой, из-под косынки тонкая натянутая шея, золотистые завитки волос на ней.

Он как бы проснулся. До сих пор жил, и казалось, долго жил, но не по-настоящему, в дреме, все вроде видел и все пропускал мимо, если не досаждало, не мешало, не раздражало. В тот день все кругом вдруг вспыхнуло для него — вода в реке бездонно-темна, небо над головой глубинно-синее, распирающее грудь, даже воздух, прозрачный воздух, которого никогда не замечал, стал ощутим, чувствуешь его вкус, опьяняюще свежий, настоящий на речной влаге, на одурманивающих запахах можжевельных кустов. И в густой траве на берегу полыхали лиловым пламенем кулиги лесной герани. И эти нарядно-голубые стрекозы, готовые раствориться в любую секунду. Тихий мир стал буйным, радостно вопил вокруг, а Коля пребывал в изумленном испуге — исчезнет же, не может длиться долго.

Но догадывался — она! Пока рядом она, дреме не быть, цветы не слиняут, воздух не замутится. Она сама выбрала его — не Игоря Шуляева. Впервые Коля одержал над кем-то победу. Оторви сейчас руку от весла, протяни ее вперед — коснешься золотистых завитков на шее. Рядом...

Однако ж рано ли, поздно ли — кончится эта река, об-

нимающая байдарку, ее и его. Кончится река, кончится чудо, все станет по-прежнему. Он еще не представлял, как извилиста и длинна речка Крапивница, сколько неожиданного она ему подарит.

— Хорошо-то как! Век бы плыла и плыла...

Первый подарок — ей хорошо, не только ему.

А потом уткнулись в завал, и ему пришлось помогать ей выбраться из байдарки на берег. Второй подарок — она обняла его за шею не колеблясь, доверчиво. На речке Крапивнице и такое было возможно, позднее она его уже никогда не обнимала — стеснялись друг друга.

Они доплыли до большой реки, до пристани, но к тому времени Коля уже понял — их путь не кончен, может, даже никогда не кончится.

Но тогда-то и появился страх. Кто он и кто Соня? Опомнится и отвернется, зачем ей терпеть того, кого одни считают испорченным, другие жалким, несчастным? С ним никто не может дружить, с какой стати ей водить дружбу? Страх этот угнездился и не проходил. Всегда жило сомнение — стоит ли он внимания Сони? Коля навсегда заразился недовольством собой.

После путешествия по Крапивнице он день ото дня все больше привыкал к тому, что она рядом. Каждое утро начиналось с радости — сегодня опять увидит ее. Она его тоже увидит, он должен выглядеть красивым, без изъяна. Он старался быть к себе строг, ни в чем не давал уступок. Он стал хорошо учиться, набросился на книги, вспышки бешенства прекратились сами собой, учителя начали ставить его в пример, даже одевался он с придирчивостью, даже за походкой своей следил и боялся солгать по нечаянности хоть в малом — делал над собой все, лишь бы Соня не подумала о нем плохо. Она рядом, за это он перед ней в вечном долгу. Жить — значит нравиться ей.

Единственно, что было ему не под силу, — прекратить гнусные скандалы, в которых варился, о которых не переставая злословили все кругом. А Соня-то слышала... При встречах стыдно глядеть ей в глаза. И стал страдать за мать, и росла ненависть к отцу...

Ненависть к отцу и долг перед Соней — несовместимое, раздирающее. Не будь Сони, он бы терпел, никогда не осмелился бы схватиться за ружье. Но вот кровь на паркете, и стало уже не до Сони...

Он не вспоминал Соню, думал лишь об отце.

Вспомнил только теперь после встречи с матерью. Не поняла мать, так могут ли понять другие?

А Соня?..

Соня никогда не походила на других. Соня поняла его тогда, когда он еще и сам себя не понимал. Соня — его совесть, Соня — вершина, до которой он мечтал дорасти. Как он смеет сомневаться в ней!

По ему нужно убедиться в одном — Соня по-прежнему не отвернулась от него. Если он попросит о встрече, придет она на свидание или не придет?..

6

А Соня переживала перерождение...

С детства она была незаметной, за все девять лет в школе никогда и ничем не выделилась. Учителя не ставили ее в пример и, похоже, ни разу ни в чем не упрекнули. В любой девичьей компании она не была лишней, но если почему-либо не появлялась — не обижались, не упрекали потом: «Почему не пришла?» Ребята относились к ней товарищески, но без особого повышенного внимания — девчонка как девчонка, плохого не скажешь, не хуже других. Все знали, что к ней равнодушен Коля Корякин, но и это ни у кого не вызывало особенного удивления — обычное, все к кому-то равнодушно; к Соне Потехиной — что ж, вполне может нравиться. Поудивлялись в свое время на Колю — изменился парень, — но скоро привыкли. А Соня и тогда оставалась в стороне — не лезущая в глаза, добрая, покладистая, не хватающая звезд с неба.

И вот она стала героем класса. Славка Кушелев, ничему не верящий, во всем сомневающийся, первый признал ее.

Она права — ни на минуту не приходило сомнение. Соня сомневалась в другом — все ли признавали ее выстраданную правоту? Наверняка кто-то тайком с ней не согласен, кто-то колеблется, кому-то не по нутру ее неуступчивая решительность, недаром же от нее прячут глаза и поживают. Соня всех подозревала, со всеми держалась взвешенно, в любом готова была видеть врага, наброситься на него — истовый вождь, не сомневающийся только в самом себе.

Класс с затаенным терпением ждал урока Аркадия Кирилловича, и он начался.

Знакомая фигура на привычном месте — потертый

мешковатый костюм, неизменный галстучек, неизменная сутуловатость, пасмурно-спокойное лицо, уверенно-медлительные движения. Аркадий Кириллович был невысок ростом, но всегда вызывал ощущение крупноты, надежной прочности. И сегодня он выглядел как всегда.

За всеми учителями числились какие-то слабости, чаще безобидные, простительные, по тем не менее вызывавшие чувство снисходительности. Преподаватель истории Борис Георгиевич любил покрасоваться, и это выглядело иногда смешно. Добрая старенькая математичка Августа Федоровна была наивно доверчива, легко покупалась на трогательные истории Жюки Дарданеллы, не успевшего сделать домашнее задание. Физика Ивана Робертовича Коха за суровую требовательность звали за глаза Ваней Грозным... И, пожалуй, только за одним Аркадием Кирилловичем никаких слабостей не числилось. Случалось, подтрунивали, но не над ним, а над чрезмерно обожающими его девочками.

София к таким чрезмерно обожающим не относилась, никогда не заходила с шумным восторгом — ах-ох, какой человек! Она просто была убеждена — Аркадий Кириллович самый справедливый, самый умный из всех, кого она знает. Никто лучше тебя не поймет — сама не уловишь, что чувствуешь, а он уже находит для тебя точные слова, — никто не даст столь толкового совета, никто из учителей так не обеспокоен за тебя, как он. София носила это в себе, не выплескивала наружу.

Но сейчас, увидев перед классом Аркадия Кирилловича, обычного, ничуть не изменившегося, София ощутила подымающийся по спине холодок. Она боялась Славки Кушелева, но Аркадий Кириллович есть Аркадий Кириллович, Славка перед ним — моська перед слоном. И почему Аркадий Кириллович должен думать в точности так, как она? Да и вообще, можно ли представить, чтоб он объявил: Коля Корякин поступил правильно! Нет, нет, глупо надеяться, чтоб Аркадий Кириллович стал оправдывать Колю. А с ним не поспоришь, его, как Славку, двумя фразами не собьешь.

София никому не верила, не могла теперь верить и Аркадию Кирилловичу. Он еще не начал говорить, а София уже считала его своим врагом.

— У нас беда... — произнес негромко Аркадий Кириллович.

София напряглась до боли в затылке и замерла. Похоже,

и весь класс напрягся и замер. Под кем-то простонал стул, с какого-то стола с грохотом упала ручка — и тишина, провальная тишина, заполненная далеким шумом города и невнятно-въедливым голосом учительницы биологии из соседнего кабинета.

— У нас с вами, не на стороне... Хочу спросить: кто ждал, что беда случится?

Класс молчал, класс глядел, класс не шевелился. А Соня холодела — сейчас повернется к ней и спросит: ты-то ведь ждала, и что же?.. Да, ждала, но надеялась — все кончится само собой, по-хорошему.

Аркадий Кириллович не повернулся к Соне, не вспомнил о ней.

— Не ждали? Совсем ничего не подозревали?..

Молчал класс, глядел класс.

— Нет! Зачем притворяться перед собой — кой-что мы знали о жизни Коли Корякина, кой-какие подозрения у нас были..

Класс молчал.

— Были. И что же?.. Да ничего. Совсем ни-че-го? Ни тревоги, ни малейшей даже взволнованности — покой! Почему?..

Аркадий Кириллович стоял перед классом, чуть подавшись вперед, чуть-чуть сутулясь — громоздко-пескладный, неподвижный и пастороженный, чего-то ждущий; лицо с резко прорубленными складками обманчиво устало, запавшие глаза выдают — тревожны, ищущи, требовательны. Каждый, на кого падал их взгляд, смущенно опускал голову.

Соню же этот тяжелый взгляд обходил, она даже пыталась его поймать, вызываяще тянула шею. Ее корбило: знали? Да! А что могли сделать? Она, Соня, была всех ближе Коле. Всех! Всех! Но даже она ничего не могла, а уж другие-то и подавно.

— Почему?.. — повторил Аркадий Кириллович. — Ни чем тут не объяснишь, как только — этот человек был для нас чужим. А зачем влезать в чужое? В чужое даже нескромно вглядываться... Разве не так?

Соня уже напряглась, чтоб вскочить: «Не чужой! Нет! Уж мне-то не чужой! А что я могла?..» Но Аркадий Кириллович продолжал:

— Но, может, к Коле Корякину вы почему-то относились хуже, чем к другим? Он для всех чужой, все остальные друг другу — свои?..

На этот раз не дал крикнуть Соне Стасик Бочков. Мно-

голетний староста класса, он считал своим святым долгом защищать свой класс, всегда это делал.

— К нему, как ко всем, ничуть не хуже,— внушительно произнес он.

— Ага! — подхватил Аркадий Кириллович.— Ко всем относились, как к Коле Корякину. Выходит, все чужие среди чужих?

И Стасик Бочков не ответил, только поежился под взглядом Аркадия Кирилловича.

— Случись несчастье — не пожалеют, пужна помощь — не отзовутся. Чужие кругом! Неуютная жизнь...

Из Соли рвалось готовое возражение: «Да разве не бывает, когда и свой своему не поможет?!» Но снова она промедлила, раздался вкрадчиво-вежливый голос Славки Кушелева:

— Можно вопрос, Аркадий Кириллович?

— Нужно.

— А вы, Аркадий Кириллович... вы ничего не знали о том, как живет Корякин Коля?

— Знал, Слава.

— Тогда почему вы...

По классу пробежал нервический шорох.

— ...почему вы сами, когда еще не поздно было?...

Славка Кушелев педоговорил, а шорох пробежал и смолк — ясен вопрос.

Аркадий Кириллович с трудом выпрямился, оглядел притихший класс.

— Потому, Слава Кушелев,— заговорил он спокойно, с угрюмо-спокойным лицом,— что я оказался не более чутким, чем вы. Да!.. И сужу себя сейчас сильнее, чем вас.

Похоже, что за все девять лет учебы никто из сидящих перед Аркадием Кирилловичем учеников не слышал, чтоб учитель открыто обвинял сам себя. Класс подавленно молчал, класс не шевелился. Даже Соля забыла в эту минуту о своей пастороженной враждебности, испытывала сочувствие, почти жалость.

— Я сужу себя за то,— жестко продолжал Аркадий Кириллович,— что много говорил вам о Наташах Ростовых, раскольниковых, чичиковых и собакевичах и забывал сказать о вас самих... Я сужу себя за то, что верил красивым и обманчивым правилам, невольно обманывал ими вас!..

— Вы? Обманывали?! — удивился Слава Кушелев.

— Получается, что так.

— В чем, Аркадий Кириллович?

— Помните, я вам говорил: будьте непримиримы ко всякой подлости и не ждите, что кто-то разделается с ней за вас?.. Красивые слова, не правда ли? Благородные...

— Они — обман?! — Едва ли не гнев в голосе Славы Кушелева.

— Благодостный, Слава, оттого опасный.

— Но почему? Поч-чему?!

— Потому что действуй сам и не жди ни от кого помощи — значит, действуй в одиночку. А человек, Слава Кушелев, в одиночку слаб, подлости не осилит.

И тут наконец-то Соня вскочила с места.

— А я не хочу, не хо-чу каждого считать своим! — с режущим звоном в голосе.

7

Аркадий Кириллович, подавшись вперед тяжелым изборужденным лбом, вглядывался в Соню.

— То есть не каждый тебе нравится? — спросил он.

— А вам — каждый? Да не правда же это, Аркадий Кириллович! И вы подлецов ненавидите! И я! И Славка! И все другие! Только все мы слабы — тряпки! Решиться не можем!

— Не можем решиться на что, Соня?

— На справедливость!

— Как Коля Корякин?..

— А как еще избавиться от подлецов?! Перевоспитывать?.. Мог ли Коля перевоспитать своего отца? А мы, если б плечо к плечу, перевоспитали бы? От пьянства его отучили бы, бешеный характер ласковым сделали? Да смешно это, Аркадий Кириллович! Чужие среди чужих. Нет! Нет! Не чужой мне был Коля! И вы об этом знаете... Не чужой, а вот помочь ему не могла. И никто бы не помог. А уж кучей-то и подавно. Перепугались бы все, перетрусили, повисли бы на руках Коли, обсуждать начали... А отца-подлеца, который в могилу Колину мать вгонял, оставили бы — живи, зверствуй дальше! Нет, верно, верно вы нам говорили: нельзя рассчитывать на других, сам воюй с подлостью! Только вот как до настоящей войны дошло — перепугались вы, тешерь от своих же слов отрекаетесь: не надо было братья за оружие! Сдаваться надо?.. Стыд-но! Стыдно!..

Чуть сутулясь, по-прежнему пасмурно-спокойный, Аркадий Кириллович разглядывал исподлобья Соню, только тяжелей обвисали складки на лице.

— Продолжай, — попросил он.

— Я все сказала!

— Нет не все. После твоих слов напрашивается вывод: поступайте по примеру Коли Корякина, убивайте своих отцов, братьев, если вдруг по какой-то причине их станет трудно терпеть. Ничего себе призыв.

Соня вызывающе дернула подбородком:

— Гоголь призывал, Аркадий Кириллович. Почему же вы его никогда не осуждали?

— Гоголь?!

— Как он показал — Тарас Бульба сына убил. За что? Своим изменил. А отец Коли не изменил? Он человеческому изменил! Он хуже Андрея, какое сравнение! Тарас Бульба — герой, Коля Корякин — преступник?!

Аркадий Кириллович молчал, а класс затаенно шевелился — все пригибались к столам, жадно поводили глазами то в сторону Сони, то на учителя. Темные и светлые шевелюры, свежие лица и общее выражение напряженной затаенности — столкнулись с таким, чего еще никогда не случалось в их короткой жизни, о чем приходилось только читать в книгах. Тарас Бульба, убивший сына, — такое далекое, неправдоподобное, почти сказка, и вдруг сейчас!..

— Случайно ли, Соня, — заговорил Аркадий Кириллович, — никто в жизни не повторил подвига Тараса Бульбы? Что было, если б такое вошло у людей в привычку?..

— Значит, Бульба не прав? Значит, он должен был простить сыну предательство? Предай свой народ ради сына?! — негодующий звон в голосе Сони.

— Народ... Один защищал народ, другой — все-таки много меньше — себя да мать. А за то и за другое — человеческая жизнь. Оправданно ли, Соня?

— Если б можно... Да стал бы он отца... Другого выхода нет — значит, смирись, пусть сбесившийся алкаш мать родную на твоих глазах в гроб... Подонку удовольствие, а — счастье двоих людей отдай! Это оправданно, Аркадий Кириллович?

— Ты считаешь, что Коля спас и свое счастье и матери?

Разгоряченная Соня впервые споткнулась, ничего не ответила.

— Спас мать?.. Остается одна-одинешенька с веселыми воспоминаниями о пролитой крови. А самого что ждет? Вот оно, счастье цепой убийства...

Аркадий Кириллович говорил и понимал — нет, молчание Сони не отказ от убеждений, лишь легкое замешатель-

ство. Она воспалена, она сейчас безумна. Эх, если б безумие могло впитать слова!.. Аркадий Кириллович рассчитывал, что его постараются понять другие, кто меньше воспален, сохранил способность слушать.

И снова раздался голос Славы Кушелева:

— Аркадий Кириллович! Вы считаете, что счастье убийством — никогда, ни при каких случаях?

— Считаю. Счастье и убийство несовместимы.

— Вот для меня, как для всех, самое большое счастье — это жить на свете. А на меня вдруг в темном углу какая-нибудь, простите, сволочь с ножом... Так не отдам ему жизнь, нет! Постараюсь его... Если мне придется его пристукнуть, что же вы мне скажете: не имел права — убийством?

— Право убивать не имели ни он и ни ты. Он его нарушил, а ты защищал право на свою жизнь. Ты защитник жизни, если даже и прикончишь бандита.

И Слава бурно восторжествовал:

— Аркадий Кириллович! Вы очень, оч-чень хорошо сказали: можно убить и стать защитником жизни! Так это же и Колька сделал — убил ради жизни!

Аркадий Кириллович прицельно прищурился на Славу.

— Убить ради жизни... — повторил он. — Простая формула, м-да-а... Обещает простое решение. Опасно это, Кушелев.

— В любой точной науке разные неупорядоченные явления сводятся к простым формулам. Чем проще, тем лучше, наука только выигрывает, Аркадий Кириллович. Почему нужно бояться формул в обычной жизни?

— То, что ты называешь обычной жизнью, Слава, — многосторонней и сложней любой науки. Эта жизнь всегда наваливается на человека всем своим запутанным содержанием, где далекое неразрывно с близким, большое с малым, частное с общим. Простая формула не охватит всего. Тысячи лет религия подсовывала людям простые формулы — и много ли пользы?

— Но эта-то формула не религиозная! — возмутился Слава.

— Верно, религия подсовывала формулу — не убий, ты — убивай. Неужели лучше?

Слава вдруг подобрался, его широкое скуластое лицо посуровело.

— Аркадий Кириллович! — Он даже задохнулся от торжественности. — Это формула не моя. Ею — да, убить ради жизни, ради лучшей жизни! — пользовались Желя-

бов, Перовская, Степан Халтурин! Теперь о них пишут книги, изучают на уроках истории...

— А книги и уроки истории тебе разве не говорили, Слава, что их исходные формулы были ошибочны, а путь безрезультатным?

— Совсем безрезультатным? — Слава еще более посу-рел. — Ну нет, Аркадий Кириллович! Что-то они все-таки сделали. Все-таки история считает их героями, а не преступниками. История, Аркадий Кириллович! Есть ли справедливей судья?

Аркадий Кириллович распрямился, казалось, вот сейчас-то он и скажет свое — решающее, опрокинет Славу Кушелева, поставит точку. Но Аркадий Кириллович разглядывал Славу и молчал. А класс ждал, началось нетерпеливое ерзанье, покашливание. Слава Кушелев выдерживал тяжелый взгляд учителя, не опускал глаз. А в стороне, над классом, забыто стояла Соня Потехина и тоже жадно вглядывалась в Аркадия Кирилловича.

Неожиданно обрушился звонок. Аркадий Кириллович опустил глаза и ссутулился. Класс зашевелился смелее, еще более нетерпеливо, но никто не вскочил с места, продолжали глядеть на Аркадия Кирилловича, ждали от него ответа.

За стеной в коридоре захлопали двери, школа сразу заполнилась бодрым водопадным шумом начавшейся перемены. И только тогда, не подымая глаз, Аркадий Кириллович заговорил:

— Если этот случай с Колей Корякиным пройдет сейчас мимо вас, никак не изменит, то вы — нет!.. вы не будете по-настоящему счастливы в жизни. Плохо жить чужим среди чужих. А если вы, несчастные, еще броситесь добывать себе счастье... убийством, плохо будет не только вам — всему миру... Можете идти. Вы свободны.

Все шумно поднялись над столами, но только один Вася Перовщиков ринулся было к двери и замер на полдороге. Класс стоял и глядел на Аркадия Кирилловича. Он, казалось, сейчас стал меньше ростом, не крупный, не массивно-прочный — сгорбленный, и руки суетно застегивают замок портфеля... Он вышел, не прикрыв за собой дверь.

— Ты его победил, старик, — подавленно бросил Славка Стасик Бочков.

— Похоже, что так, — ответил Славка Кушелев озадаченно и тревожно.

Все разом зашевелились, заговорили...

У Сони Потехиной все еще цвели пятнами щеки, а глаза недобро, зéлено тлели.

Соломон и Данила вышли от Сулимова в полном убеждении: глаза не открыли, отклика не нашли, слава богу, что сами дешево отделались — не накричал, не прицепился.

Но они сильно ошибались. Сулимова после их ухода охватило приподнятое беспокойство — похоже, запахло жареным!

Многие люди в течение нескольких десятилетий громоздили поступочек на поступочек, сооружали преступления. Кто-то из этих людей давно исчез и забыт, но кто-то и до сих пор жив-здоров, даже признается и раскаивается в невольном участии. И ни одного из этих людей нельзя поставить перед лицом правосудия — не ведали, что творили. Обвинять их так же нелепо, как обвинять молнию, спалившую дом, ураган, потопивший корабль, снежную лавину, похоронившую под собой путников, — явление столь же стихийного порядка. Приходится обвинять лишь несчастного мальчишку — отвечай за всех!

И вот в цепочке безвинно виноватых проступает фигура ни на кого не похожая, настораживающая.

Никто из одобрявших преступление не делал это ради собственной корысти. Илья же Пухов наливался, как присосавшийся клещ, и, как клещ, распространял заразу.

Никто не ведал, что творит. Илья Пухов не мог не сознавать, что его опека растлевает Рафаила Корякина. И надо быть полным идиотом, чтобы совсем не подозревать об опасных последствиях.

Ничью вину не подведешь ни под какую статью уголовного кодекса, а вина Пухова осязаема, вполне доказуема, обвинению подлежит.

Если перед судом предстанет один мальчик, то вряд ли суд станет вникать глубоко, в самые корни. А вот если рядом окажется зрелый, опытный, корыстолюбивый человек, сам лично преступления не совершивший, но способствовавший ему, то уж придется рыть в глубину, вскрывать незримое.

При вскрытии же потаенных корней часть вины с мальчишки снимется.

Пухов именно тот, кто нужен и обвинению и защите. Если, конечно, в сведениях Соломона и Данилы есть какая-то доля правды. Если Пухов и в самом деле сознательно спаивал Корякина. Если он при этом имел корыстные цели.

Если... Множество «если», которые Сулимову необходимо самым придиричивым и беспристрастным образом проверить и перепроверить, не доверяясь весьма непочтенным свидетелям.

«Запахло жареным», но этот запах может быть и наваждением. Однако Сулимов воспрянул: надо действовать, и немедленно! Очень, например, интересно узнать, потрясен ли Пухов неожиданной смертью столь давнего друга. Позднее этого уже не узнаешь.

Сулимов решил свалиться на Пухова.

Он примерно таким себе его и представлял. У этого человека было все умеренно, приглаженно, ничто не бросалось в глаза — полноват без дородства, прост лицом, лысоват со лба, добродушен, но не угодлив, взгляд мягкий, не увиливающий и не прилипчивый, голос приглушенный, с легким, неназойливым достоинством. Такие люди вызывают уважение, но не западают в душу, не запоминаются. Они не взлетают высоко, однако, угнездившись где-то, устраиваются прочно и обстоятельно.

Сидели в маленьком кабинетике — чистый закуток со столом, и даже второго стула для посетителя не было, чтоб усадить нежданного гостя, хозяин притащил откуда-то складное легкое креслице.

— Вы давно знали Рафаила Корякина?

— С молодых лет. — Ответ без спешки и без раздумий, без настороженности.

Сулимов решился его озадачить:

— С того времени, как его собака порвала ваши штаны?

Пухов действительно был озадачен, своего удивления скрывать не стал.

— Откуда вам это известно? Даже я сам забыл.

— Вы в самом деле отравили его собаку?

Сокрушенное покачивание головой.

— Странно, — сказал Пухов, — поселка самого давно нет, люди, которые в нем жили, или вымерли, или разъехались, а вот сплетни остались.

— Вам их легко опровергнуть. Готов верить на слово.

— Если так важно, отвечу — да, сделал. Кто-то же должен был от этой злой твари поселок избавить.

— Вы так и объяснили тогда Рафаилу Корякину?

Пухов туманно усмехнулся.

— Что вы, разве можно! Тогда этот сопливый мальчишка с ножом же в кармане ко мне пришел. Ну а я все сделал, чтоб он этот нож не выдернул... Правда, потом все двадцать восемь лет ждал — все же выдернет того гляди. Такой уж человек.

— Почти тридцать лет ножа ждали и дружили?

— Чего не было, того не было. Знакомы близко — да, а дружить — ой ли.

— И тем не менее всю жизнь вместе. Куда вас переводили, там сразу оказывался и он. Преследовал вас, что ли? Отделаться от него не могли?

— Мог бы...

— И что же мешало?

— Я же в нем талант открыл. Можно сказать, мастер Корякин — мое произведение.

— Из любви к таланту держали его возле себя?

— Вы наш механический завод знаете? Теперь уже считается старым заводом, а с него моя биография началась. Эвакуировали его сюда в сорок втором, поставили станки под чистым небом, вокруг стали фундаменты рыть, стены возводить. Вы думаете, только на фронте тогда гибли люди, — и здесь умирали от холода, голода, от натужной работы. Особенно те, кто не выматерел, — шестнадцатилетние. Ну а я уже чуть постарше был, выдюжил, в бригады попал. Сразу после войны мы крыши новых цехов железом крыли и красили. Тут-то и столкнулся с Рафаилом, к себе затянул, метил в подсобники, но увидел — у дурного парня ловкие руки. Так вот я первый ему удивился, первый его оценил. Признаюсь, самого Корякина никогда не любил, зато его талант — да, всегда...

— Любили, и бескорыстно? — подкинул Сулимов.

Пухов снова понимающе усмехнулся:

— Часто ли без корысти любят? Даже от бабы всегда ждут — наградит за любовь. А ведь я человек практичный, и бригадиром был и прорабом, всегда в пиковом положении, всегда с чем-то зашиваешься — возле должны быть молодцы, на которых закрыв глаза положиться можно. А Корякин, ежели половчей толкнуть, за десятерых мог сделать. Корыстовался от него.

— Но за такую корыстную любовь он, верно, требовал свою корысть?

- Само собой.
- Какую?
- Давал ему хорошо заработать.
- Левыми путями?

— И левыми, — спокойно согласился Пухов. — Не судите строго. Мы же все тогда на карточках сидели, пайка хлеба да столовая баланда — ноги протянешь. Не упускали случая прихватить работенку на стороне. Да и теперь ею не брезгуем. Корякину, видите ли, мало быть сыту, еще пьян-быть должен, без того никак не мог.

— Когда он начал пить?

— Право, не знаю.

— Не с той ли поллитровки, которую вы поставили перед ним за отравленную собаку?

— Эх-хе-хе! Да он ко мне явился уже зарядившись, в самом, что называется, боевом настроении был.

— И все же не кто другой, а вы помогали Корякину не только быть сыту, но и пьяну тоже?.. Все двадцать восемь лет знакомства!

— Хотите сказать — все эти годы я его спаивал?

— Буду рад услышать, что это не так.

Прямой взгляд в зрачки Сулимову, прямой и обиженный:

— Поразмыслите: зачем мне его спаивать? Разве с трезвым и вменяемым не легче иметь дело? Разве неизвестно вам — коль Корякин пьян, то и буен без удержу? И не зря же я боялся, что нож выхватит. Все двадцать восемь лет он пил, все двадцать восемь лет приходилось быть начеку. Для меня было бы счастье великое, если б он забыл про водку. Спаивать его можно только во вред себе.

— А давайте иначе взглянем, товарищ Пухов. Вы любили талант мастера Корякина, как сами признались, любили не бескорыстно. Но этот нужный талант мог принадлежать вам лишь тогда, когда Корякин находится в полной от вас зависимости. И чем больше Корякин пьет, тем больше он нуждается в деньгах, а значит, и выгодных заказах, которые, увы, без вас достать не умеет. Выгодные заказы для Корякина явно выгодны и вам, Пухов. Так ведь выглядит реализация корыстной любви к его таланту. В ваших прямых интересах, чтоб Рафаил Корякин пил. Конечно, сами вы его не поили, но условия создали и боялись, что перестанет. Как вам нравится такая логика, Пухов?

Пухов невозмутимо потянулся к папке на столе, вытянул из нее несколько скрепленных листов.

— А как вам поправятся эти бумаги? — спросил он, протягивая их Сулимову. — Вглядитесь — Корякина только вчера не стало, а я уже оформляю человека на его место. Давно был на примете. И, учтите, пепьющий.

Сулимов повертел перед собой бумаги.

— То есть Корякин легко заменим?

— Вот именно, а потому ваша логика, простите, построена на песочке. Спаивать мне Корякина, чтоб удерживать при себе, нянчиться с буйствующим ради выгоды — не слишком ли хлопотно? Да неужели за тридцать-то без малого лет я не мог подыскать себе не менее хорошего и выгодного мастера, зато более покладистого? Уж по крайней мере, без пожа в кармане?

На лице Пухова ни затаенного торжества (вот как вас опрокинул!), ни насмешки с издевочкой (что, укусил?) — лишь вежливое терпение наставника, доказывающего азбучное. «Или чист, или умеет здорово линять», — подумал Сулимов.

— Вам знакомы некто Пашка по прозвищу Козел и Венька Кривой? — спросил он.

— Знакомы, — слегка насторожился Пухов.

— Что это за люди?

— Ничего хорошего, опустившиеся алкаши.

— Однако они работали у вас.

— Да, пока один совсем не спился, не был увезен в больницу.

— А какого склада люди, ныне работающие у вас, — Соломон Рабинович и Данила Клоповин?

— Примерно такого же.

— Они были приняты вами вместо спившихся Пашки и Веньки. Вместо алкашей — алкаши. Почему именно с прежними изъянами?

— Приходилось специально подыскивать таких.

— Чтобы могли исполнить обязанности собутыльников для Рафаила Корякина?

— Именно.

— И после этого вы пытаетесь уверить — не спаивали Корякина, не в ваших интересах!

— Скажите, — впервые резко обратился Пухов к Сулимову, — мог ли я прекратить пьянство Корякина? Медицина не справляется с такими! От пьянства избавить его не в силах моих, зато оберечь от неприятностей хоть и трудно, но в моих! Беды не оберешься, если б Корякин стал пить с кем попало, драки, поножовщина, всякая шваль, постоянно крутящаяся возле цеха в ожидании вы-

пивки. Было такое, пока меры не принял, — пусть пьет с теми, кто на скандалы Корякина не ответит и от пабегов со стороны цех оградит. Спаивать я не спаивал, а мириться с пьянкой Корякина — да, приходилось.

— До чего же неудобен для вас был Корякин.

— Еще тот приник медовый.

— И заменить его было можно.

— Можно-то можно, да кой-что и останавливало.

— Что же?

Пухов насушил, отвел глаза.

— Одна мысль: оторвись он от меня — совсем сойдет с круга.

— Так вам все же жаль его было?

— Как-никак почти тридцать лет знакомы. А потом — семья у него... И так уж старался семье помогать, с моей помощью половина денег шла мимо Корякина в семью.

— Тяготились Корякиным, а добрые чувства испытывали?

— Вам это кажется невозможным?

— Я-то готов поверить в такую возможность, но поверят ли в прокуратуре? Они ведь тоже задумаются, что держало Корякина возле вас. И в ответ услышат — добрые чувства. Поставьте себя на их место — как поверить столь прекраснородному ответу?

Пухов устал, в стол, долго молчал.

— Да... Да... — заговорил он. — Поверить трудно... Но, пожалуй, другого-то ответа у меня не найдется. Не любил его, тяжел, отделаться хотел, а не решался... Уж очень отчетливо видел, что будет после... Призадумался — кровь стынет.

— А того, что случилось, не ожидали?

— Этого — нет, но знал: рано ли поздно что-то стрясется... страшенькое.

Сулимов больше ничего не выдавил из Пухова. А это пастораживало — так ловко выворачивался до сих пор и вдруг застыл. Какая-то странность...

Аркадий Кириллович, нахоженный, темный, разглядывал всех зашедшими, потаенно тлеющими глазами. Он только что скупо, в жестких выражениях изложил свое поражение в девятом «а».

— М-да-а... — промычал директор. — Самокритика...

— Есть болгарская поговорка, — медленно произнес Аркадий Кириллович. — Плохой человек не тот, кто не читал ни одной книги; плохой человек тот, кто прочитал всего одну книгу. Опасны не полные неучи, опасны недоучки. Мы читали ребятам даже не книгу о нравственности, всего-навсего первую страницу из нее. И вот натываемся...

— М-да-а... — изрек директор и прочно замолчал.

В директорском кабинете пять человек. Завуч старших классов Эмилия Викторовна, иссушенная экспансивностью, еще не очень старая, но уже безнадежная дева, фантастически преданная школе. Физик Иван Робертович Кох, парадный мужчина с атлетическими плечами, с густыми, сросшимися над переносицей бровями. Преподавательница математики, старенькая, улыбчивая Августа Федоровна. Аркадий Кириллович. И сам директор Евгений Максимович, жмуриющийся в пространстве, поигрывающий сложенными на животе пальцами.

Такие узкие совещания у директора, которые решали вопросы до педсовета и помимо педсовета, в шутку назывались «Могучей кучкой». Чем меньше «кучку» собирал вокруг себя Евгений Максимович, тем конфиденциальней совещание. Сегодня собрались внезапно и в малом числе, меньше не бывало.

Как и следовало ожидать, взорвалась Эмилия Викторовна:

— Аркадий Кириллович! Зачем?! Себя же топчете! И с ожесточением!.. Себя и нас заодно!

— Вы считаете, нам следует петь аллилуйю? — проворчал Аркадий Кириллович.

— Не да-дим! Да, да, вас не дадим в обиду! Защитим вас от... вас же самих!

У Эмилии Викторовны не было никого и ничего, кроме школы, а потому она всегда находилась в состоянии ревнивой пастороженности — как бы кто не согрешил против родной школы, даже в помыслах. И если врагов у школы не было, она их изобретала. Аркадий же Кириллович для нее давно стал первым школы, ее совестью, ее становым хребтом. Эмилия Викторовна его уважала куда больше, чем директора, человека нового, свалившегося на готовенькое. Аркадий Кириллович нападал на школу — это выглядело черным предательством.

— Откуда вдруг у вас эта уничижительная теория: создаем — о господи! — нравственных недоумков?! Впрочем, поистине — от прискорбного случая она!.. Одумайтесь,

мы-то тут при чем? Что мы могли сделать? Папу Корякина исправить? Да смешно же, смешно! Применять педагогическое влияние прикажете... на того, кого давно бы должна прибрать милиция! Преступный элемент не в компетенции школы. Случайно, совершенно случайно в нашей школе оказался ученик несчастной судьбы, с таким же успехом он мог учиться в любой другой школе города!

— А признание его поступка нормальным и даже полезным всем классом — всем! — тоже случайность? — спросил Аркадий Кириллович.

Эмилия Викторовна всплеснула руками:

— Да разве вы, Аркадий Кириллович, по-своему не оправдываете несчастного мальчика? А у нас у всех разве не сжимается сердце от сочувствия к нему? Ну а товарищи по классу разве бесчувственны?.. Потому и оправдывают его поступок, защищают как могут. Нравственное уродство в этом видите?.. Ну не-ет, Аркадий Кириллович, никакого уродства — нормальные дети! Может быть, только с молодыми заскоками. Слава Кушелев — потенциальный убийца?! А Соня Потехина?! Бог ты мой! Опамятуйтесь, Аркадий Кириллович! Не смешите нас. Большое это. Достоевщина. Откуда она в вас? Не замечалось раньше.

— Эмилия Викторовна, вы когда-нибудь сомневались в себе? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— В себе — да. Но в вас, в вас, Аркадий Кириллович!.. Нет, никогда не позволяла себе!

— Сейчас самое время.

— Не могу! Пришлось бы сомневаться в школе. Для меня школа — это вы.

— Вот и я предлагаю — спасем школу.

— Спасем, Аркадий Кириллович, наше прошлое, наш многолетний труд, наши признанные успехи! Или их у нас совсем нет?

— Успехи — в чем?

— Словно вы сами не знаете.

— Знаю — нас славят за нравственное воспитание.

— И случай с Колей Корякиным не перечеркнет их! Нет и нет, Аркадий Кириллович!

— Случай — убийство! Отвернемся от него и от того, что класс это убийство оправдывает, будем же и дальше толковать красивые нравственные понятия. Не чудовищная ли это безнравственность, Эмилия Викторовна?

— Вы... вы считаете меня?..

— Считаю, — отрезал Аркадий Кириллович, — что вывод напрашивается сам собой.

Эмилия Викторовна обвела всех изумленно-горестным взглядом. Все пеловко молчали, лишь директор Евгений Максимович по-прежнему жмурился, как ухоженный леопардовый кот, которому приходится присутствовать при семейной ссоре.

— Нет слов! — изрекла Эмилия Викторовна и отвернулась.

— У меня к вам вопрос... — Иван Робертович сосредоточенно слушал, сосредоточенно посапывал, усиленно хмурил грозные брови. — Вы недовольны своим прежним методом воспитания. Не так ли?

— Недоволен.

— Что же, хотите совсем отказаться от него?

Если Эмилия Викторовна была всегда горячей сторонницей Аркадия Кирилловича, поддерживала, помогала, шумно его славил, то Иван Робертович Кох относился с полным бесстрашием, оставался в стороне. Он со страстью верил лишь в одно — в физику. Она сейчас пробивается к основам основ мироздания, к тому первичному, из чего складывается все — атом, молекула, мертвый минерал, живая клетка, организм и столь странный человеческий орган — мозг, заключающий в себе интеллект. Физика — это наука паук, все остальные уходят корнями в нее, она начало начал пестрых и путаных человеческих представлений, в ней истоки бытия. А потому Иван Робертович просто не обращал внимания на «суетную возню Аркадия Кирилловича вокруг примерного поведения», считал важным для себя раскрыть тех, кто способен стать новыми жрецами всеохватной науки. Славе Кушелеву он не колеблясь мог простить все за то только, что тот обещает быть жрецом пезаурядным. Никто не ждал, что Иван Робертович заговорит, думали — как всегда останется в стороне, отмолчится.

— Так хотите отказаться от прежнего? — повторил он.

— Совсем — нет, — ответил Аркадий Кириллович. — Но этого теперь крайне недостаточно.

— И у вас есть что-либо предложить? Что-то конкретное, хотя бы прикидочно, в виде гипотезы?

— Ничего, кроме убеждения, что нельзя удовлетворяться прежним, надо искать новый выход.

Иван Робертович густо крякнул:

— Не хотите отказаться от старого, не предлагаете ничего нового. Тогда, простите, что же, собственно, вы имеете? Чему мы все должны верить?

— Одному,— твердо произнес Аркадий Кириллович.— Предостерегающим фактам.

— Положим, я в них поверил — и что же?..

— Если поверите, что убийство Коли Корякина не простая случайность, значит, не сможете существовать спокойно, станете искать, в чем причина.

— А если причина окажется... гм!.. скажем, не школьных размеров, нам не по зубам, что делать тогда дальше?

— Давайте сначала ее найдем, а уж потом будем думать, что дальше.

Иван Робертович поиграл бровями, удовлетворенно кивнул:

— Логично.

Он только в том и хотел убедиться — нет ли просчета в логике? А потому снова замкнулся в бесстрастном молчании, не выражая желаний обрекать себя на беспокойное существование, искать роковую причину, которая, может статься, будет еще «не по зубам».

С усилием разогнулась Августа Федоровна, уставилась кротким старушечьим взором в Аркадия Кирилловича.

— Аркашенька,— протянула она сокрушенно,— ты сколько лет до этого искал?..

Старый, старый друг. Четверть века назад она, еще не седая, не сутулая, встретила бывшего капитана Памятнова и заговорила с ним, как будто была знакома всю жизнь. И капитан запаса, еще не закончивший тогда пединститута, почувствовал сразу себя в школе своим человеком. С тех пор его постоянно грела ее ненавязчивая доброжелательность. Впрочем, возле Августы Федоровны грелись многие, и каждый наверняка про себя думал — получает больше других.

— Навряд ли, голубчик, теперь отыщется быстрее. За это время сколько мимо нас учеников пройдет! Для каких-то будущих придется стараться. А они, будущие, кто знает, какими окажутся, может, и воспитывать-то их не придется. Разбег у тебя долгий, да прыжок будет ли?

— Так что, Федоровна,— ничего не делать?

— То-то и оно, хотя знаю — тебе не поправится. Забыть надо историю Коли Корякина. И поскорей. Перемелется...

Аркадий Кириллович шумно пошевелился на стуле.

— Да ты не вскакивай, не кипятись,— остановила его Августа Федоровна.— Опасность, если она и в самом деле есть, мы уже не отведем. Считай, злая беда стряслась, пос-

ле драки кулаками не машут. Толку никакого не добьемся, а порядок в школе растрясем. Зачем?

— Верно! Верно! — снова взмыла Эмилия Викторовна.

— Ах, верно! — Аркадий Кириллович вскочил с места. Августа Федоровна безнадежно вздохнула:

— Эх-хе-хе! Ретивое зыграло.

— Забыть историю Коли Корякина! Забыть! Спрятать! Не было ее! Не удастся, Августа! От учеников уже не отнимешь ее, не запретишь им судить и рядить на свой лад. А вы слышали — извращенно судят, убийством усовершенствовать жизнь собираются. Так начнем с простого: объясним им, что извращение это!..

— Не заваривай кашу, Аркашенька, всем коллективом потом ее не расхлебам.

— Августа... Чуткая, добрая Августа, что с тобой? Все силы ребятам отдаешь, всю жизнь для них — и не расхлебам, пусть остаются духовно горбатыми.

— Не дави чирей, Аркадий, — по всему телу пойдет. Молодой организм сам справится — зарастет без следа.

И Аркадий Кириллович растерянно оглянулся:

— Педа-го-ги! На что надеетесь? Бог не выдаст, свинья не съест, само собой зарастет? Так зачем же вы тогда нужны, педа-го-ги?

— Ого! — пробасил Иван Робертович.

— Все получили, не только я! — восторжествовала Эмилия Викторовна.

Августа Федоровна страдальчески сморщилась:

— Не верю я в твои страсти-мордасти. Не верю, Аркадий! Из нашей школы ничуть не хуже других люди выходят.

Только один директор молчал, сидел откинувшись, поигрывал на животе пальчиками.

Но вот он пошевелился, расправился, всем корпусом повернулся к Аркадию Кирилловичу:

— Вы слышали — не верим! Не убедили! Может, вы приведете более веские доказательства, чтоб мы разделили ваш ужас?

— Какие доказательства, когда вас не убеждает отцеубийство? — удивился Аркадий Кириллович.

— Приведите хотя бы еще один пример, столь же вопиющий.

— Такое часто не повторяется, Евгений Максимович.

— А раз не повторяется часто, то зачем подымать панику? Значит, имеем дело с явлением исключительным, не характерным. Для нашей жизни не характерным, для нашей с вами деятельности, Аркадий Кириллович. Не от нас пошло, от каких-то обстоятельств, случайно сложившихся помимо нас с вами.

— Всего однажды атомные бомбы разорвались над людьми, но тем не менее этот единичный случай дал повод для весьма реальной тревоги.

Евгений Максимович развел недоуменно руками:

— Коля Корякин — и атомная бомба! Ничего не скажешь — сокрушительный параллелизм... И все-таки даже он не доказывает, что школа подтолкнула своего ученика на отцеубийство. Это по-прежнему остается плодом вашего воспаленного воображения.

— Чувствую: вы тогда только мне поверите, когда снова и снова повторится нечто подобное. Но как раз этого-то я и не хочу допустить.

— Аркадий Кириллович, дорогой, — Евгений Максимович бережно дотронулся до его колена, — вы перевозбуждены, вы сильно потрясены, вам следует прийти в себя, отвлечься, немного отдохнуть, чтоб потом на все иметь возможность глядеть трезвыми глазами. Мой совет, Аркадий Кириллович, — возьмите отпуск, поезжайте в санаторий, путевкой я вас обеспечу.

— В санаторий?.. — хмыкнул Аркадий Кириллович. — С таким больным воображением. Не лучше ли вам меня упрятать в сумасшедший дом?

Евгений Максимович посуровел:

— Ну что ж... Будем называть все своими именами. Вы становитесь врагом, Аркадий Кириллович. Пока враждебность только к нам, здесь сидящим, — к Эмилии Викторовне, с которой прекрасно ладили многие годы, к Ивану Робертовичу, ничего не сделавшему вам плохого, к Августе Федоровне... Даже к ней, прошедшей с вами бок о бок через жизнь. Все мы для вас не педагоги, не гуманисты — некие злодеи, извращающие сознание детей! Сегодня вы нам, завтра это же бросите всему коллективу учителей, вызовете к себе враждебность. Хуже того — найдете себе каких-то сторонников, внесете раскол, разброд, петерпимость.

— А вы хотите, чтоб я убеждал и не рассчитывал на сторонников?

— Я хочу, чтоб школа нормально работала, а не вела междоусобную войну.

— Но в том-то и беда — школа работает ненормально.

— Это вам одному кажется. Пока только одному!

— А вы собираетесь ждать до тех пор, когда это станет настолько очевидным, что все увидят в упор? Будет поздно что-либо предпринимать.

— Какое самомнение! Вы считаете себя единственно прозорливым, остальные слепы и непроницательны.

— Проницательней ли я других, нет ли, но случилось — я увидел опасность. Значит, из ложной скромности, чтобы не выделяться, я должен притворяться слепым?

На круглом лице директора проступила брезгливая гримаса.

— Ну так вот,— сказал он решительно,— школа не может взять на себя вину за Николая Корякина. Это был бы самоубийственный для нас шаг. Вы на него толкаете, мы станем от вас защищаться. И не думайте, что защита окажется трудной. Большинство учителей не пожелает поступиться добрым именем своей школы, возможностью покойно, без осложнений работать. Неужели вы надеетесь, что они с легкостью перечеркнут все прошлое, слома голову ринутся за вами? Рассудите-ка.

Аркадий Кириллович на минуту задумался и согласился:

— Пожалуй что так... Если меня здесь не поняли... даже старые друзья, то почему должны понять остальные?

— И тем не менее это вас не останавливает?

— Вижу нависшую над учениками опасность и молчу... Нет! Не могу.

— Тогда не лучше ли вам сразу уйти из школы? Добиться вы ничего не добьетесь, а рано ли, поздно все равно кончится этим.

— Чем такая покорность лучше прежней?

— На что же вы все-таки рассчитываете?

— На то, что капля по капле камень точит. Ну а кроме того, буду искать себе союзников за пределами школы, создавать общественное мнение.

Директор невесело усмехнулся:

— Ну, в этом-то вы уж никак не преуспеете, могу вам гарантировать. Не кто иной, как вы в свое время сделали все, чтоб убедить общественное мнение — неопределимо важным делом занимается наша школа. Гораздо по-

стоянно ставил нашу деятельность в пример другим школам, на семинарах и конференциях проводились восторженные обсуждения, газеты хвалили нас взахлеб. А теперь по вашему слову поверни вспять, признайся во всеуслышание, что были доверчивыми дураками... Не наивничайте, Аркадий Кириллович.

— А вы, похоже, успели уже прощупать обстановку? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Да, — просто признался Евгений Максимович. — Нигде не сомневаются, что преступление Николая Корякина ни прямо, ни косвенно со школой не связано. Вы с таким же успехом можете агитировать в свою пользу прохожих на улице.

Опираясь локтями в колени, навесив над полом тяжелую голову, Аркадий Кириллович долго смотрел вниз, не двигался. На него все глядели сейчас с сочувствием, даже не остывшая от негодования Эмилия Викторовна, даже невозмутимый Иван Робертович.

— Ладно, — разогнулся Аркадий Кириллович. — Думается, я все-таки найду себе трибуну.

Евгений Максимович безразлично пожал плечами. Все зашевелились. Тесное совещание «Могучей кучки» закончилось.

Он часто провожал Августу Федоровну до дома и сейчас шел рядом, придерживая легкий старушечий локоть, оберегая от слишком напористых прохожих.

Она говорила с привычной укоризной и непривычными нотками тревожной обеспокоенности в голосе:

— Несовершенен человек... Сколько тысячелетий вопят, Аркаша, и какими трубными голосами. И сколько крови пролито ради — совершенствуйся! А разрешима ли в принципе эта задачка? Может, терзаются над некой нравственной квадратурой круга...

— Хочешь сказать мне, Августа: и ты туда же, со свиным рылом в калашный ряд?

— Не совсем то, Аркашепка. Педагог должен совершенствовать людей, тех, кого поручили ему, — конкретных Колю, Славу, Соню, Ваню, а не вообще всех оптом, не какого-то абстрактного общечеловека.

— А я что делаю? Не о Славе Кушелеве, не о Соне Потехиной обмираю, не их сейчас предостеречь хочу, а вообще, безадресно?..

— Обмираешь, голубчик, да, над Соней, над Славой.

Но метишь-то найти такое, чтоб и Соню, и Славу, и любого-каждого, ближнего и дальнего, спасало от безнравственных поступков. Вообще хочется универсальную для всех панацею! Именно то, чего стародавние пророки найти не могли.

— Есть одна-единственная на все случаи жизни панацея, Августа,— учитывай опыт, не отмахивайся, мотай на ус. Только опыт, другого лекарства нет! И за кровь, пролитую Колей Корякиным, за его безумие, его несчастье, которое мы не смогли предупредить, возможно только одно оправдание — пусть послужит всем, Соне и Славе, ближним и дальним. А ты желаешь, Августа,— забыть поскорее, остаться прежними, то есть вновь повторить, что было. Значит, ты враг Соне, Славе и всем прочим.

— Хе-хе! Если б опыт исцелял людей, Аркаша, то давным-давно на свете исчезли бы войны. Каждая война — это потоки пролитой крови, это вопиющее несчастье. Но ведь войны-то, Аркашенька, сменялись войнами, их опыт, увы, ни на кого не действовал. Наивный! Ты считаешь, облагородить будущее лужей крови. Опыт... Я заранее знаю, что из такого опыта получится. Всполошишь, заставишь помнить и думать о пролитой крови, и школа превратится в шабаш. Да, Аркашенька, да, каждый начнет оценивать пролитую лужу на свой лад, делать свои выводы: гадко — справедливо, уголовник — герой, возмущаться — сочувствовать. Опыт учит: где свары и путаница в мозгах, там накаленность друг против друга.

— Но разве есть, Августа, другой путь к согласию, как не через выяснение мнений? Охотно тебе верю, что оно, это выяснение, может дойти до свар, до накаленности. Не осмеливаться на такое, значит прятаться друг от друга. А уж тогда-то и вовсе о взаимопонимании мечтать не смей.

— Взаимопонимание... Ох-хо-хонюшки! Да это же и есть та самая проклятая квадратура круга. Тысячелетия доказывают — неразрешимо! А вот снова находится простачок, которому это, по козлу нотация — не лазь в огород. Лезешь! Упряма по-козлиному!

— Пусть даже квадратура круга. Разве эта заклятая задача не двинула вперед геометрию?..

Августа Федоровна обреченно махнула сухонькой ручкой и замолчала.

А мимо них с громоуханием и моторным рыком двигалась улица, начинался вечерний час пик: тупоносые са-

мосвалы; зверообразные неуклюжие автокраны с угрожающе поднятыми стрелами; тяжкие, как только земля носит, панелевозы, груженные стенами домов; сияющие мокрым стеклом автобусы; суетные легковые разных расцветок; укутанные в громоздкие плащи мотоциклисты, отважно пыряющие между скатов и напугающих радиаторов; теснящиеся к стенам домов прохожие...— вновь ежесуточный парад человечества, не знающего покоя, терзающегося противоречиями, жаждущего согласия, отвергающего его. Мимо с привычным неудержимым напором, куда-то в неведомое!..

11

Соня пришла из школы и застала дома переполошенную мать. Звонили из управления милиции: Коля просит свидания с Соней, разрешение даю, надо куда-то явиться, к кому-то обратиться, но мать все перепутала и перебыла — куда, к кому...

Коля вспомнил о ней. Она ему нужна!

В последние годы Соня просыпалась по утрам с одной мыслью — Коля ждет ее, хочет увидеть и порадовать. Коля, которого когда-то все сторонились, кого жалели и на кого обреченно махали рукой, стал непохож на себя потому лишь, что она была рядом, ему нужно было нравиться ей. Она чувствовала, как плохое, пугающее гаснет в нем возле нее, хорошее разгорается. И это переполняло Соню тайной гордостью, никому, никому ее не показывала, глубоко прятала, даже от матери. Оказывается, она способна совершить такое, чего другим не под силу. Вот живет она себе ровно и покойно, девчонка, как другие девчонки, а сам собой, без особых усилий происходит подвиг — меняет человека, делает его красивым. И сама им любит. И хотя она много, много думала — все мысли были заняты Колей, только им,— по толком никогда не понимала, что, собственно, происходит. Передать это словами не смогла бы никому. Просто жила и радовалась своему редкому счастью.

Иногда ее охватывала и тревога без всякой причины — а вдруг да... Девичья тревога — а вдруг да Коля ее разлюбит...

Случилось вдруг и вовсе не то...

Но она и теперь по-прежнему нужна ему — помнит, зовет из-за стен!

Он еще не знает, что она, Соня, сейчас куда больше его любит — не страшится, ни в чем не попрекает, а гордится им!

Не только она одна, большинство ребят в классе считают — ради жизни, по-иному поступить было нельзя.

Понимает ли это сам Коля?

Поймет! Она все ему расскажет, откроет глаза на то, чего из-за стен видеть нельзя, сама им гордится, его заставит гордиться собой!

Он узнает, какой она верный товарищ. В самом большом несчастье преданна до конца, до костра! Ничто на свете не разлучит, ничто на свете не испугает, ничто на свете ее не остановит.

Даже другие сейчас верят в ее силу. Поверит и он.

Соня бросилась из дому, оставив переполошенную мать, чтоб дознаться — куда, к кому, пройти сквозь замки и стены, видеть его, слышать его, открыть ему великое!

Свидания... Еще недавно это были лучшие минуты в короткой жизни каждого из них. Свидания, на которые они ни у кого не спрашивали разрешения.

Соня долго ждала в неуютной пустой комнате с длинным узким столом, пока наконец не раздались шаги и сумрачный сержант с надвинутым на глаза козырьком фуражки не ввел его...

У нее перехватило дыхание — с исхудавшего до незнакомости лица глядели затравленные, просящие глаза. Она считала его подвижником, невольно сложилось представление — гордый, страдающий, верящий в свою правоту, замкнутый в себе. Совсем выкинула из памяти того Колю, раздавленного и невменяемого, который среди ночи, словно лунатик, оказался под их дверью. Сейчас — затравленный взгляд, немотная просьба, измученность. И пронзительная жалость к нему, и пугающее ощущение неоправданности...

И он, похоже, смутился, так как тоже ожидал встретить ту Соню, какую знал, — кроткую, любящую, пугливую. А перед ним стояла — острый подбородок вздернут, паструпенно-прямая, вызывающая, казалось, даже ростом выше и глаза, опаляющие жаркой зеленью.

В тех частых свиданиях, какие были у них в неправдоподобно прекрасном рапье, они так и не научились обниматься, не обнялись и сейчас, а, боязливо сблизив-

шись, протянули руки, сценились пальцами. Она глядела па него плавающимися глазами, а у него мелко дрожал подбородок. Не расцепляя рук опустились на скамью, всматривались, молчали, дышали.

— Ко-ля...— выдохнула она, совершила труднейшее — сломала молчание.— Коля, никому так не верю, как тебе!

И он затравленно метнулся зрочками в сторону, с усилием выдавил страдальческое:

— Не надо, Соня.

— Что — не надо? — удивилась она.

— Говорить мне такое.

Соня обомлела, ничего не ответила.

— Стыдиться меня нужно и... ненавидеть.

— Коля! Тебя? Ненавидеть?

— Я сам себя пенавижу, Соня,— с тихой, какой-то бесцветной убежденностью.

И наконец она пришла в себя, она вознегодовала:

— Да как ты смеешь! Такое — о себе! Не-на-вижу! За что?! За то, что мать спасал! За то, что против взбесившегося поднялся, кто для всех страшен... И не струсил! И за это — нен-навиж-жу?

Он слушал покорно, с пугающим равнодушием.

— Ты ничего не знаешь,— обронил он.

— Как?! Я — ничего? Все знают, а я — ничего?..

— Ты только слышала, а не видела. Тебя же не пустили туда... А там...— Он весь передернулся и закончил: — Кровь... Лицом в крови...

Не спотыкающиеся слова, а это безглагольное передергивание заставило ее поверить — испытывает отвращение к себе, как к чужой гнойной болячке. И Соня заметалась:

— Коля! Опомнись! Он палачом был! Ты не человека, нет!.. Ты палача, Коля-я!

— Палач — я, Соня,— негромко и твердо, но убегая зрочками.

— Т-ты!.. Г-ты забыл! Неужели?.. Как можно забыть все! Вспомни! Вспомни, как ты совсем маленький в глаза людям глядеть стыдился. Его стыдился! А теперь?.. Теперь — себя! Он вдруг хорошим стал, а ты — плохой! Кол-ля! Зачем?!

— Я теперь хуже его, какое сравнение.

— Он когда-нибудь был справедливым? Добрым был?.. Никог-да!.. Ты страшное сделал. Да! Страшное, но справедливое! Ради добра, Коля. Ради того, чтобы маму

спасти. Ты гордиться собой должен, что зверя... да, зверя опасного поборол!

Но Коля упрямо сказал в пол:

— Он человек, Соня, не зверь.

— Зверь! Зверь! Не обманывай себя!

— Он не совсем плохим был, Соня.

— Ка-ак не совсем?!

— Совсем плохих людей не бывает па свете. Я это только сейчас вот понял.

— Не бывает плохих?.. Может, и Гитлера па свете не было?

Он снова поморщился:

— Не о том ты...

— О том! О том! О гитлерах вспомни!

— Гитлер — не человек, а вождь. Мы не о плохих вождах говорим — о людях...

— Неужели плохих людей нет?

— Есть. Много. Но чтоб совсем — нет. Мой отец любил меня, Соня. Да...

— Любил и жить не давал!

На этот раз Коля не ответил с ходу, словно задремал. И она уставилась на него с торжеством: ага, молчит, возразить не может, еще чуть-чуть — и победа!

Но он пошевелился и обреченно вздохнул:

— Так бывает.

— Что — бывает?

— Любят и жить не дают. Наверно, часто бывает.

— Глупости говоришь! — запальчиво, почти с гневом.

Теперь он и совсем не ответил, сидел понуро, смотрел себе под ноги. Но ее уже не радовало его молчание, а пугало и оскорбляло — не хочет возражать, несерьезное выкрикнула, пустое. И Соня заговорила с дрожью, едва сдерживая рвущуюся обиду:

— Все ребята в классе считают — ты правильно сделал. Никто не смеет против тебя словечко сказать. Они все понимают, а ты... ты вдруг — нет. Почему?

— Потому что они дураки, Соня. И я таким был.

— Пусть я дура, пусть! Но ведь и Славка Кушелев за тебя! Он что, тоже дурак?

— Славка математику знает да физику... Я и до этого, как случилось, знал больше Славки. Меня отец много учил.

— Пусть Славка дурак. Пусть все мы дураки. Но, может, ты и тех, кого история показывает, дураками назовешь? В истории постоянно ради справедливости убива-

ли, их героями считают. Не верь истории, верь тебе? Да смешно, Коля! Ты правильно сделал, ты гордиться собой должен. Слышишь — гордиться!

Коля поднял голову, вздрагивающими светлыми глазами стал разглядывать Сою со странным вниманием, словно видел ее впервые. Она, вытянувшись, вздернув плечи, выставив острый подбородок, стойко, не смигнув выдержала его взгляд.

— Какая ты... — удивился он.

— Плохая? Тебя защищаю.

— Нет, ты хорошая, добрая...

— И верю, верю в тебя! Больше, чем ты сам.

— Честней тебя никого нет. Светлой всегда казалась. И всегда я... ты знаешь, всегда тобой любовался. Исподтишка. И все никак досыта насмотреться на тебя не мог... Вдруг ты — за убийство! Ты! Соня!..

До сих пор он был какой-то вялый, погруженный в себя, далекий от нее, теперь впервые в его голосе проступило страдание. Бессильное и безнадежное страдание по той Соне, что была когда-то. Ее нет больше — умерла, лишь след в памяти. Сидящая рядом — другая, чужая ему и далекая.

И Сою охватил ужас, она закричала:

— Нет! Нет! Не соглашусь! Не дожدهшься! Буду тебя спасать, буду! От тебя самого! Ты враг, враг себе!

Он равнодушно согласился:

— Враг. А как же...

— О-о! Ну тогда и я враг тебе! Тебе, которому на себя наплевать! Враг! Враг! Не жди, не примирюсь! Убил — и правильно сделал! Надо было убить, надо! Жалею, что в стороне была, что не помогла тебе!

Снова он содрогнулся от отвращения:

— Жуть!

Но она уже не могла себя удержать, ее понесло, чувствовала, что вырываются жестокие слова, безобразные, но остановить их уже не по силам:

— Жуть? Конечно! Пришлось, да, убить! Пришлось, не сам захотел! А потом перепугался, скис, засомневался — зря, понапрасну. Вот это жуть! А я-то бежала к тебе — кто жизнь защищал, жизнь смертью! — чтоб сказать: с тобой вместе, не покину никогда! Прибежала и встретила... слизняка! Жу-уть!

Колю повело набок от ее слов, он оперся о стол, попытался удержаться, не получилось — сел, бросил глухо:

— Уходи.

-- Ты!.. Ты — гонишь?!

— Уходи, Соня.

Она, еще кипевшая, еще не выплеснувшая всего из себя, вскочила.

Он сидел, низко согнувшись, выставив макушку в спутанных волосах. И ее гнев ушел, как вода в песок.

— Коля-а!

Он не ответил.

Она постояла, подождала, не подымет ли голову, не оскорбилась: да как он смеет ее гнать, ее, верную, любящую, готовую для него на все, даже на смерть! Как смеет не откликаться, когда она зовет! Соня резко повернулась, пошла к двери. У дверей задержалась на минутку — вдруг да опомнится. Он не позвал. Тогда она толкнула дверь и вышла.

12

Мама! Мама!.. Нет,нисколько не странно, что мама не поняла его. Мама всегда жила в четырех стенах, угорала от вечного страха. Соня всегда все понимала раньше его. Он еще не успевал подумать, а она уже открывала ему глаза — удивись и прими! Удивись не на что-нибудь — на самого себя.

Уходи... И она ушла. Голубые стрекозы речки Кривовицы, неужели они были?..

Уходи... Он прогнал ее.

Мама! Мама! Ты не догадывалась, что на свете могут быть голубые стрекозы, если и слышала о таком, то принимала за сказку. Соня уводила подальше от отца и от матери — за собой, в мир, где летают стрекозы...

Когда ты, Соня, стала бесчувственной?

Звала: будем ненавидеть вместе! А он так устал ненавидеть.

И уж совсем, совсем дикое: жалею, что не помогла тебе!..

Уходи...

Никого кругом, вот теперь-то совсем никого, ждать некого, желать нечего — пусто. Зачем он живет, зачем появился на свет? Только для одного, чтоб совершить ужасное. И непужное! Зря, понапрасну! Да, лучше никому на свете не стало, а хуже — всем. Даже ей, Соне. Странно, что она этого не может понять. Такого простого.

Лучше бы совсем не знать Сони, никогда не видеть го-

лубых стрекоз. Тогда не пришлось бы произносить: «Уходи». И не будь Сони, он, наверное, не так страдал бы от отца, не решился бы схватиться за ружье. Зачем, когда некому доказывать, что хочешь быть красивым, красивой жизнью жить?

Он даже не сказал Соне о канарейке. Нет, не забыл, не мог — удивилась бы, приняла за помешанного. Канарейка — к чему? При такой-то встрече. Даже о голубых стрекозах не вспомнили. Тоже — к чему?..

Вот если б отец сам пришел к нему на свидание... Уж он-то бы наверняка вспомнил канарейку. И как просто было бы с ним говорить.

Странно; но они никогда в жизни толком не разговаривали, так, перебрасывались словами... или ругались. А как просто было бы: «Пап, помнишь — птичка влетела в форточку?» — «Князек-то? А как же». — «И помнишь — весна, и небо синее, и окно в каплях? Только что дождь прошел». — «Князек — птица лесная, сынок, в городе не живет...» Задумчивый разговор. И о самом важном.

Коле вдруг стало спокойно: совсем один, ах нет! Стоит только ему захотеть — и придет отец. И можно с ним досыта поговорить. И поймет, и простит, и вместе порадуются, как никогда еще не радовались. До чего хорошо...

13

Сулимов разложил на столе бумаги. Он собирался плотно посидеть над ними весь вечер, как сам любил выражаться: «Пора подбить бабки». Дельце с сюрпризами — не Сулимов двигает им, а оно гонит его черт-те куда. Вот вылез на свет божий Илья Пухов, не зарывающийся наживала. На нем, как на гнилом пне, рос поганый гриб. Заурядно-умеренная страстишка к наживе, освещенная взорвавшимся преступлением, может выглядеть уже зловеще.

И только Сулимов углубился в свои заметки, стал фраза по фразе восстанавливать разговор с Пуховым, как строптивое дело выкинуло новое коленце.

Зазвонил телефон. Под самый конец рабочего дня могло звонить только бодрствующее начальство, обеспокоенное каким-нибудь очередным чепе.

— Сулимов слушает! — голосом, дающим понять, что мы здесь тоже не дремлем.

Но в трубке послышался не печальственный давящий басок, а женское сопрано с еле уловимой взволнованной колоратурцей:

— Очень извиняюсь, что беспокою поздно. Но только что узнала о вашем разговоре с моим мужем. Это Пухова говорит, Людмила Михайловна Пухова... Сейчас, наверное, уже поздно, не могли бы вы назначить мне время на завтра?

Завтра утром Сулимов намеревался доложить о сложившейся картине. Но нетерпение — не отложила звонок на утро — и переливы в голосе... Сулимов верхним чутьем уловил — что-то преподнесет. И тогда, может статься, вся сложившаяся картина снова замельтешит, словно экран испорченного телевизора.

— Откуда звоните? — спросил он.

— Из дому.

— За сколько времени сюда можете добраться?

— За полчаса.

— Приезжайте, — согласился он.

Ровно через полчаса Пухова явилась. Дородная, с осянкой ушедшей со сцены драматической актрисы, она вплыла в тесный, непрезентабельно-казенный кабинет Сулимова. На ярких, воистину соболиных бровях, помимо сознания собственного достоинства, Пухова внесла (и это сразу уловил Сулимов) некую нешуточную решимость — была не была! «Броская баба, — удивился про себя, стараясь представить ее рядом с повылинявшим, невзрачнорыхловатым Пуховым. — Еще та парочка — гусь да гагарочка...» Но пока она усаживалась, справлялась с волнением, впечатление поражающей броскости прошло. Сулимов заметил, что правильному, яркому лицу не хватает тонкости — грубовато, с вульгаринкой, а руки ее излишне крупны, неженственны, в свое время явно знали тяжелую работу.

— С чего и начать, не знаю, — со вздохом сказала она. — Спутано все.

— Говорите сразу главное, — посоветовал Сулимов. — А уж там мы путаницу как-нибудь распутаем.

— Главное-то совесть, — объявила она. — Грызет, не спрячешься.

— Перед кем же совестно?

— Перед Анной, женой Корякина. Перед мальчишкой конечно... Ну а больше всего перед собой.

— И эту совестливость, простите, разумеется, разделяет с вами ваш муж?

Пухова равнодушно отмахнулась:

— Кто его знает. Тоже, поди, не в себе. Но ему-то перед собой оправдаться легче — не он все наладил, а я.

Напустив на себя вежливое безразличие, Сулимов вглядывался в цветущее лицо Пуховой: «Хитрит? Беду от мужа отвести хочет? Или, черт возьми, еще одна кающаяся Магдалина?..» Но на белом лице Пуховой хитрость не прочитывалась — лишь удрученность и все та же упрямая решительность: была не была!

— Вы наладили? Что именно?

Тяжкий вздох, ответ не сразу:

— Да это самое...

— Не убийство ли Корякина сыном?

— Выходит, что так.

— И вы рассчитываете доказать мне это?

— Отчего Рафаил убит? Да оттого, что над женой измывался. Он, поди, с первого дня ее не любил люто. Ну а Рафаилу-то Анну я подсунула. Я! Можно сказать, откупились ею.

— И как это было?

— Как?.. Занесла меня кривая в ваш барачный поселок Сочи. Из эвакуации я возвращалась с матерью обратно в Ростов, да на станции Мамлютка маму мою из вагона вынесли — тиф. Пятнадцати лет мне не исполнилось — одна на всем свете. Судомойкой работала, в лесу топором махала, чуть замуж не выскочила за человека на тридцать лет старше, а когда сюда занесло, была уже тертая, голой рукой не хватай. Кочка в кочку возле меня девчонка из деревни — тихая да робкая, как мышь. Я ей вместо старшей сестры, за мой подол держалась...

Пухова по-бабьи пригорюнилась, темные глаза подернулись поволокой, брови горестно стыли на белом лбу. Сулимов терпеливо ждал.

— Хотя и трепало меня в жизни, да, видать, не истрепало — в самом соку была, ну а возраст-то под зарубочку, когда ждать дольше опасно, девичье на убыль пойдет. Подъезжали ко мне многие, но пуще всех Илья и Рафаил. Они уже давно прилаживались, с конца войны, считай, — тихий да буйный, дельный да беспутный, а как-то ладили, только вот на мне у них заколодилось.

— А что же свело их, таких разных?

— Известно что — выгода. После войны все обживаться начали, строиться, ремонтировать — нужда в рабочих руках большая. У Рафаила руки есть, а как их лучше приспособить — головы не хватает. Илья руками не

очень силен, зато головой раскинуть может. Вот и держались друг за дружку, пока я промеж ними не выросла.

— Но и после вас их дружба, однако, продолжалась.

— Дружба, да уж не та. Тут их уже не выгода крепил — я старалась.

— Зачем вам было пужно их крепить?

— А вот о том и речь веду. Слушайте... Значит, павострились они на меня. Рафашка, тот разлетелся с разгона: хочу — проглочу, хочу — в крупу истолчу! Ну, не на таковскую напал, быстренько отшила. Шальные-то сразу голову теряют, пугать не в шутку стал — или со мной, мол, или никому, жизни лишу и тебя и того, кто к тебе сунется... — На гладком лице Пуховой проступил смущенный румянец, почти девичий, ясный. И решительное движение бровей: — Что скрывать, Илья Пухов не очень уж мне и нравился — выглаженный, без морщиночки и волосики прилизывал на косой пробор. Чудным казалось, что такой вот тихоня в нашем отчаянном поселке уживается. Не покрикивал, за грудки не хватал, жока в кармане не прятал, а по струнке ходить заставлял поповиков вроде Рафочки Корякина... Вот и запала мне в голову мысль — ведь надежен!.. — Снова Пухова на минутку закручинилась, распрямилась, тяжело вздохнула: — Да-а, судьба!.. Ох, устала я к тому времени от жизни дерганой. Покою хотелось, чтоб день походил на день, чтоб каждый чистенький, чтоб наперед знать — ничего не собьется, не спутается, надежно. С Рафаилом какая надежность, жди сплошную войну. И даже знать ежели — ту войну выиграешь, то все одно накладно, измотаешься...

— Пухов. Понятно.

— Другого надежного рядом не было.

— И не ошиблись в выборе?

— Не ошиблась, — с какой-то горечью ответила Пухова. — День на день теперь походит, не отличишь.

— Так почему же все-таки связь Пухова с Корякиным не порвалась?

— Ждали все того, ждали — порвется и кровь прольется. Илья ждал, уговаривал меня — уедем. Но ведь ошалевший за нами бы бросился!.. Вот и решилась я... Никому не сказала, одна пошла к Рафочке. А у того рожа черная со вчерашнего перепоя, глаза волчьих прячет. «Просить пришла?» — спрашивает. «А что, говорю, ты дать можешь, что у тебя есть?» — «Иль показать?» — «Покажи, отвечаю, если думаешь, что за это полюблю».

Знала, зпала, что сломается, скулить начнет. Так оно и вышло: «Помани — нным обернусь, нить брошу!..» — «Так уж сразу и обернешься? Терпеть долго придется, а похожа я на терпеливую?» Вот тогда-то я и назвала ему: «Есть терпеливая, как раз такая, что тебе нужно, не пропусти, иначе под забором сдохнешь!»

— Анну?

Пухова низко наклонила голову:

— Да.

Оба молчали.

— Вы и в самом деле специально это... чтоб откупиться? — осторожно спросил Сулимов.

И она вскинула на него распахнутые, провальные глаза:

— Верила! Верила! Хорошо получится! Я к Анне всегда как к сестре младшей... Ее спросите — под моим крыльшком жила. Думалось: одна-то пропадет, а тут парень бедовый, золотые руки имеет. Ну а то, что с поровом, — Анна перетерпит, дров в огонь не подкинет. С кем Рафашке дикому еще и сжиться, как не с такой тихой. И виделось, виделось — я с Ильей, она с Рафашкой поплывем на разных лодках, но в одну сторону. У меня родни нет, у Анны тоже. В мыслях не мелькало тогда — откуплюсь! Повернулось так. Да! Но поняла, раньше всех поняла — пеладное получилось. Даже Анна еще на что-то надеялась, а я уже зпала — ох злая ошибка случилась. И жгло, жгло меня! Всю жизнь грех свой замаливала. Илье, думаете, хотелось вожжаться с Корякиным? Как же! Еще до знакомства со мной он уже подумывал, как бы Рафочку дорогого от себя оторвать. Глупости говорят, что на Рафке ехал. Рано ли, поздно — с таким концом умаешься. А в последнее время и совсем сбесился, поровил без пути, без дороги...

— И все-таки мне не понятно, почему не расстался, почему терпел ваш муж?

— Да ужель теперь-то не ясно почему? Я не давала! Оттолкну Илья от себя Рафаила, как бы тот под откос покатился, совсем бы тогда спился, семью в нищету загнал — Анне вешайся! Так и настроила я Илью: случится это — брошу! Он и сам понимал. Держал возле себя Рафаила. Да! Совсем выправить его никому не по силам, по какой-никакой догляд за ним был — пить в рабочее время не смел, от совсем уж дурной компании оттирали. А я сама следила, чтоб деньги в семью шли, — сыты, обуты, ничуть не хуже других...

Вот оно — сезам, откройся! Не этот ли секрет умолчал тогда Пухов? Не хотел вмешивать жену. А может, не надеялся, что поверят — секрет тесной, почти тридцатилетней связи столь пескожих людей так прост и сентиментален. Сулимов не мог поверить в него сейчас, выискивал в порозовевшем от волнения лице Людмилы Пуховой неискренний наигрыш, хотя бы намек на него, глухой, сомнительный оттепочек. Та сидела перед ним подавленная и... непрошицаемая.

— Значит, причина связи Пухова — Корякина в том лишь, что вы себя считали в долгу перед Анной?

— В долгу?! — возмутилась Пухова. — Слово-то какое... купеческое. О долгах ли я думала — жить не могла!

— Уж так-таки жить не могли. Не преувеличивайте.

— А вы поставьте себя на мое место. Живу, как и хотела, тихо. Так тихо, что глохнешь. Все наперед знаешь, что завтра у тебя будет, что через неделю, через месяц... Ни о чем думать не надо и не о чем тебе заботиться — все есть: квартира, тряпки, машина... Вот только детей нету, обижены. Да ведь живая же я, не мертвая, ни о чем не думать не могу, и без забот пусто. Так пусто, что терпенья нет, хочешь не хочешь, а любой на моем месте оглядывался бы по сторонам, искать стал — о ком бы позаботиться? Ну а мне особо оглядываться и выискивать не надо — рядом у старых знакомых ад крошечный. Расписывать мне их жизнь, или сами знаете?.. А коль знаете, так и спросите себя — могла я забыть, что по моему наущению такая дикая жизнь тянется? И как мне не страдать, совестью не мучиться? Да и о ком мне еще страдать? А потом, если вдуматься, спасибо Анне... Дикому Рафе тоже. Не они бы, я, поди, и живой-то себя не чувствовала, давно бы каменной бабой стала... Долг?.. Какое там. Тут себя бы спасти. И вовсе не от доброты сердечной заставляла мужа держать возле себя дорогого Рафочку. Перед собой не притворялась доброй и перед вами не хочу!

Сулимов озадаченно молчал. Как ни старался он расшевелить в себе недоверие, но Пухова разбивала его — уже не сомневался в ее искренности.

— М-да-а... — протянул он. — Неожиданная история.

— Да нет, скучная, — устало возразила она. — Глупая баба себя сама обманула. Покою ей хотелось — захлебнись им. До сих пор хоть за Анну тревога была, нынче и это кончилось. Совсем будет пусто. Покатятся похожие денечки, а куда, а зачем? К чему я на свете?.. Хотите

верьте, хотите нет, а жалею, что тогда за Рафаила не вышла.

— Ну уж! — возмутился Сулимов.

Глаза Пуховой обдали его темным сполохом.

— С ним-то я уж покою не знала бы. Я пе Апна, я бы воевала и, думается, осилила. Да!.. Как знать, может, даже и гордиться теперь пришлось бы: вот он, мой перекроенный, не бросовой, человек, как и все, даже лучше других. Было бы что вспоминать на старости лет. А теперь что?.. Да ничего.

Пухова хлюпнула, достала платочек и с откровенной горестью шумно высморкалась.

14

Соня брела под дождем нога за ногу — куда? Не знала сама.

Она не сразу ужаснулась тому, что случилось. «Уходи...» Она ушла, унося обиду, только обиду. Но вот шаг за шагом по темному, сырому, неуютному городу, дальше от стен, где остался запертый, охраняемый Коля, и стало расти, расти, расpirать до — не могу!

За что?! За то, что любит его!

Однажды она спешила из магазина с набитой авоськой и впереди среди прохожих увидела его, тоже спешащего домой. На этот раз она его не нагнала, а шла следом, глядела и не могла наглядеться. У него был порывистый, решительный шаг. У него вызывающе запрокинута голова, мягкие волосы лежали на воротнике пиджака. В узкой спине у него какая-то напружиненность, весь он легкий, подобранный, летящий над тротуаром сквозь прохожих. Он несколько пе походил на того скованного, угловатого, каким был при встречах с ней. Сам собой он еще лучше, неожиданней... И она захлебнулась от счастья — оттого, что они скоро встретятся, оттого, что снова он станет скованным, застенчивым, оттого просто, что есть он на свете, есть! Она торопилась за ним и едва сдерживала счастливые слезы.

Любит...

А плеск весла за спиной, когда они плыли по Крапивнице. Плеск весла, толкающий их вперед, вперед! И что там, впереди?.. Обмирало сердце.

Любит! Как никогда не любила отца, пожалуй даже и мать, а уж себя-то и подавно.

Любит! За это — уходи!

Если б можно его несчастье взять на себя... Взяла бы! С радостью! Не задумываясь! Не дрогнув! Умереть, чтоб жил он, — да, да! Может, позавчера, пока не знала беды, и не осмелилась бы сказать такое себе, не была еще до конца уверена — любит, по до последней ли точки? — то теперь да, да, не сомневается, теперь убеждена!

За это — уходи. Не пужна!

Готова сама умереть, себя — не жаль! Так почему должна жалеть других? А уж таких-то, как его отец, — ненавижу, не-на-вижу!! Потому что — люблю!..

Коля! Ты самый решительный, самый справедливый, самый честный из всех на свете! И не соглашаешься с этим, и оскорбляешься, и гонишь прочь... Не вмещается в голове — чудовищно!

Нога за ногу по мокрым улицам, таща в себе распирающую необъяснимость. Не могло такого случиться, а случилось, не пригрезилось. Звучит в ушах — уходи! И не находилось другого объяснения, как: не герой, а трус, не выдержал до конца, скис, предал себя и ее, Соню, вместе с собой! Выходит, что она ошибалась в нем.

Нога за ногу...

Но Соне пришлось посторониться — взявшись за руки, шли парни и девушки, должно быть студенты, возвращающиеся с вечеринки.

В этот поздний промозглый час, когда город неуютно мокр и черен, когда фонари вверх окутаны дымчатой изморосью, воздух липкий, а поредевшие прохожие, втянув головы в плечи, поодиночке, словно наказанные, торопились дорваться до своих подъездов, до комнатного тепла, разгоряченная, занявшая всю мостовую компания дружно шагала в едином стремительном наклоне, подставив морозящему дождю веселые лица, — распахнутые плащи, стук высоких девичьих каблучков по асфальту... И напористый, мужественный парнишечий басок, бравлируя — все трын-трава! — выжимал:

Ваш-ше благородие
госпожа удач-ча,
для кого ты добрая,
а ком-му иначе...

За ним не слишком слаженно, но воодушевленно подхватывали остальные:

Девять граммов в сердце
постой — не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви!..

Звенел в хоре беспечный девичий альт.

У Соши вдруг поплыли перед глазами желтые круги, ошпарила ненависть к ним, неуместно счастливым в этот гнилой, беспросветный вечер, к ним, беспечно — трын-трава — заигрывавшим с госпожой удачей, бездумно верящим, что повезет в любви.

Поющая, шумно шуршащая мокрыми плащами компания, оттеснив Соңю, прошла мимо. А она стояла и глядела им вслед, пока не растворились в затканном дождем мраке. Но и из мрака, из далекого, вознес на прощание все тот же мужественный басок уже иное, торжествующее:

Поднявши меч на наш союз,
достоин будет худшей кары-ы!..

«Господи! Им весело!..» Изумление до кругов в глазах, до слабости во всем теле. Им весело, им ни до чего нет дела. Что бы ни случилось на свете, такие все равно станут горланить: «Не везет мне в смерти, повезет в любви!» А что они знают о смерти? И что — о любви?..

Упрямая в плащ-накидку женщина вывела на поводке лохматую собачонку. Собачонка задержалась под фонарем, подняла ногу... И к ним тоже взбурлила буйная неприязнь — к лохматой коротконогой собачонке, к незнакомой женщине, даже к фонарному столбу. И противен город, противен траурно-черный, насквозь промозглый мир...

Но невыносимость всего, что окружало, была так сильна, что разбудила Соңю: «Что это я?..»

В эти дни она тайно, неудержимо ненавидела всех. На любого из класса глядела с замороженной подозрительностью — враг, может стать им! Даже Славке Кушелеву, который сразу перешел на ее сторону, даже ему не могла себя заставить верить...

И Аркадию Кирилловичу тоже...

И теперь куда-то бредет, подальше от дома. Ненавидит дом. Он самое проклятое место в городе!

А мать, добрая мать, какими жалобными, раскисшими глазами станет смотреть... А отца-то Соңя уж и вовсе терпеть не в силах — против Коли, озлобленно против всего святого, неспособна с ним!

Ко всем ненависть, потому что все кругом в любую минуту могут повернуться против Коли! Никому он не дорог, никто так не любит его, как она, никто, как она, за него не страдает. Ради него готова на войну со всем миром!

И вот сейчас... Да, сейчас она сама ненавидит Колю — уходи, вовсе, оказывается, не герой, а трус, скис, предал...

Война со всем миром?.. Нет, просто ничего и никого кругом — ни любви, ни благородного гнева, одна бессильная ненависть.

Висело над фонарями тяжелое, набухшее от сырости небо, дыбились черные дома со светящимися чужими окнами. За каждым окном — люди. Много людей на свете, тесно от них, и нет такого, кто любит, кому можно ответить любовью. И на ненависть ее никто не обращает внимания — равнодушны. Не нужна.

Похоже, она ничего не принесла Коле, кроме этой ненависти ко всем, даже к тем, кто ни в чем и не мог провиниться. А он, Коля, уже перестал ненавидеть убитого им за злобность отца: «Совсем плохих людей не бывает на свете».

Эти слова теперь не вызвали у Сони негодования — устала негодовать, обреченно задумалась. И сразу же наткнулась на простую и ясную мысль: Коля с отцом прожил всю свою жизнь; можно ли представить, что за всю жизнь, за многие, многие дни его отец был только плохим, только зверем? В конце концов, наверное, и от озверения устают.

За первой мыслью явилась другая, столь же оглушительно простая и очевидная, — вместе с плохим отцом он, выходит, убил и хорошего!..

А она от него требовала — гордись собой!

И все вдруг перевернулось, все потекло в обратную сторону — от ненависти, от убий. Соня увидела себя глазами Коли, любящими глазами: «Хорошая, добрая, светлой всегда казалась...» И эта добрая, эта светлая с пеной у рта — гордись, что убийца!..

Погас фонарь над мостовой. Вечер кончился, город на ночь гасил часть уличных огней. Темнота, висевшая где-то над крышами, свалилась ниже. Город словно съезжился, оцепенел. Лишь дождь продолжал шуршать в потемках, вкрадчиво жил.

Соня стояла под дождем на пещерно-темной, чужой улице, раздавленная открытием самой себя — до чего же безобразна, как можно такую терпеть другим, как встречаться с людьми, глядеть им в глаза...

Если б теперь вернуться к Коле, вымолить прощение. Но Коля за стенами и замками... И то, что сделано, выбросить прочь уже нельзя, как нельзя повернуть назад время.

По коридору за дверью перестали ходить, жизнь кругом замерла, и таинственное здание тюрьмы наполнила тугая тишина.

Коля лежал на койке, сам перед собой притворялся — дремлет, раздавлен, равнодушен ко всему, но, затаившись, ждал, ждал, что Он снова к нему придет. И верил — будет, не обманет! И боялся спугнуть.

Он бесшумно вошел и сел в его ногах на кровати, настолько высокий и плечистый, что стало тесно в камере. И лампочка с потолка освещала Его спутанные кудельные волосы, и лицо Его было в тени. Но Коля знал, лицо у Него есть, несколько не изувечено, знакомо, хоть плачь. И от него тянуло приветливой прохладой, как в знойный день из еловой чащи.

— Я боялся, что ты не придешь.

— Ты теперь ничего не бойся — все прошло.

— С тобой не боюсь, а без тебя всех, даже мамы...

Это было не совсем так, Коля немного боялся Его — вдруг да скажет о маме плохое, тогда и с Ним станет так же трудно разговаривать. Жутко подумать — если и с Ним!.. Но Он сразу почувствовал страх и сказал то, что Коля хотел слышать:

— Не бойся мамы, а жалею ее.

— А можно мне тебя жалеть?

— Нет, пельзя.

— Почему? Мне очень хочется!

— Ты видишь, как мне с тобой хорошо.

— Давай вспомним что-нибудь.

— Ты не забыл нашу самую первую рыбалку?

— Я был тогда совсем еще маленький и помню... траву очень холодную и мокрую.

— Это роса.

— И реку помню — черная, страшная и дымилась.

— Это туман.

— А потом птицы летели, низко, низко, над самой рекой, даже крыльями воду задевали.

— Это утки.

— Но больше всего я люблю вспоминать князька.

— Люби все — и росу, и туман, и уток, всех других птиц и зверей. Ведь это так просто — взять да любить. Вот ты меня полюбил, и тебе стало хорошо.

— Хорошо... — как эхо отозвался Коля, чувствуя, что плачет от счастья.

Раздались шаги в глубине коридора, и Он исчез не протрившись. На Колином лице сохли счастливые слезы...

16

Людмила Пухова засиделась у Сулимова. Он еще долго ее расспрашивал, но так и не поймал на противоречиях, все, в общем, совпадало с показаниями и старой Евдокии, и Анны Корякиной, и даже страстотерпца Соломона, «чистыми слезами» оплакивавшего Рафаила Корякина. Сулимов составил протокол. Она оказалась дотошной, вчитывалась не торопясь и вновь все переживала, шумно вздыхала:

— Что было, то было. Выгораживать себя не хочу.

Похоже, она не собиралась выгораживать и мужа: вставленное Сулимовым замечание — Пухов действовал на пару с Корякиным не без выгоды для себя — никаких возражений у нее не вызвало. Она поставила свою подпись, и он расстался с ней.

Итак, Илья Пухов виноват не более других. Крупней всех вина Рафаила Корякина — делал все возможное и невозможное для своей безобразной смерти. Но с него-то теперь взятки гладки. Отвечать придется только сыну, который и без того в своей куцей жизни достаточно натерпелся за грехи, допущенные в разное время разными людьми.

Был уже поздний вечер, большое, деятельное днем здание управления сейчас замерло, только на нижнем этаже продолжали бодрствовать те, кому и ночью надлежит следить за порядком в городе. Да еще, наверное, в каком-нибудь кабинете, зарывшись в бумаги, «подбивает бабки» страдалец вроде него, Сулимова. И лежала на столе под лампой раскрытая папка, начатое дело...

Выходит, Сулимов сделал круг и оказался на прежнем месте. Свидетельства, собранные за столь короткое время, ничего, собственно, не дали. Мальчик убил своего отца — только и всего, вопиющая очевидность!

Неудачи случались и раньше — нащупанный преступник, как налим, порой ускользал из-под рук. Чувствовал досаду, сердился на себя — неловок, не с того конца ухватил, — самолюбиво переживал упреки начальства. Сейчас никто не упрекнет, никто не выразит недовольства, и до-

садовать на себя, казалось бы, нет повода — любой другой на его месте сделал бы не больше. А вот поди ж ты, не отпускает — так и хочется кому-то поплакаться, раскаянно саморазоблачиться, как разоблачали себя перед ним мать, бабушка мальчишки, та же Людмила Пухова. С кем поведешься, от того и наберешься — в эпидемию попал.

Сосредоточься, разберись в себе — почему недоволен, почему не отпускает чувство вины? Мальчишку жалко, помочь не в состоянии? Но ведь ты и прежде жалел каких-то простаков, влипших сдуру или по нечаянности в грязные делишки. Жалел, но вины-то за собой не чувствовал.

Отчего сейчас вина? Не оттого ли, что видит око, да зуб неймет? Прошлое не притянешь к ответу, будут судить одного мальчишку, отправят в колонию для малолетних преступников. Малолетних, по уже испорченных. Николай Корякин окажется среди тех, от кого общество постаралось избавиться. Да, там есть воспитатели, но они не чудотворцы и даже не Макаренки — чаще всего обычные люди. Необязательно их влияние будет больше, чем влияние юных воров, хулиганов-садистов и патологических циников, с которыми придется жить бок о бок. Парнишка с отравленным детством, травмированный собственным поступком, пройдет выучку в колонии и может оказаться хуже своего отца. Какие подарки преподнесет он в будущем?

Вполне возможно, через много лет такой же вот следователь, разбирая опасное преступление, взглянется попристальней в прошлое и увидит там его, Сулимова. Не хотел, а наследил в будущем.

А ты не Ванька Клевый, не темная Евдокия Корякина, ты уже видел на их горьком опыте, из каких безобидных оплошностей возникают трагедии. Видеть — и допустить! Как тут не чувствовать вины?..

Загремевший телефон заставил Сулимова очнуться. Кто там еще? Скорей всего, где-то случилось новое преступление, нуждаются в нем. Но с такой путаницей в голове, с сомнениями в себе ехать на новое дело? И вообще, сумсет ли он теперь избавиться от неуверенности, сможет ли работать как работал?

— Сулимов слушает!

— Не удивляйтесь, говорит Памятнов. Учитель Памятнов, Аркадий Кириллович. Надеюсь, не успели еще меня забыть?

— Вы?!

— Я справлялся у дежурного, когда вас можно поймать завтра. Он сообщил, что вы и сейчас здесь. И вот... не обессудьте.

— Слушайте! — неожиданно для себя закричал Сулимов. — Вы-то мне и нужны!

— Вы мне тоже.

— Тону, Аркадий Кириллович, спасите!

— Увы, сам пузыри пускаю.

— Так давайте сейчас друг за друга подержимся. К берегу, может, прибудем.

Короткая заминка на том конце провода, наконец решительное:

— Приезжайте. Жена будет уже спать, но кофе вам обещаю.

17

Жена Аркадия Кирилловича работала в оптической лаборатории ОКБ, расположенной на самой окраине города, вставала в шесть утра. Чтоб не мешать ей, они пристроились на кухне.

На столе чашки с обещанным кофе, над столом на стене большой художественный календарь, каждый месяц на нем — красочный пейзаж. Календарь показывал золотую солнечную осень, а в окно настойчиво барабанил дождь. Время от времени оживал холодильник, начинал сердито бормотать, словно выговаривал неожиданному гостю за вторжение.

Сулимов встрепан, сверкает бешеным оскальцем из-под усиков, рассказывает с захлебом, залпами — выпалит и умолкнет, мучительно морщится, стараясь разобраться в запутанных мыслях. У Аркадия Кирилловича на темном лице набрякшие складки, устал, погружен в себя.

— Я вижу, вижу, что в одну цепочку становлюсь с Ванькой Клевым, старой Евдокией, Пуховым — нового Рафаила Корякина, того гляди, миру подарю... И если б кто меня толкал к этому, принуждал... Не взбунтуешься, войну не подымешь — нет противника! Рад бы сразиться, да пустота перед тобой! — очередной горячий залп Сулимова.

Аркадий Кириллович поднял веки, встретил его ищущие глаза, усмехнулся:

— Ошибаетесь — сражение идет, и отчаянное.

— У меня? С кем?

— С самим собой.

Сулимов с досадой крикнул:

— То-то и оно, как глупый щенок, кручусь, свой хвост кусаю и рычу оттого, что больно.

— Вы считаете, что за преступление непременно кто-то должен ответить? — спросил Аркадий Кириллович.

— Убийство же! Не несчастный случай, не стихийное бедствие — продукт, так сказать, человеческих действий. Значит, не господь бог повинен, а кто-то из людей. Непременно!

— А виновника не находите. Больше того, себя чувствуете виноватым. Себя, к убийству совсем не причастного. Что-то вы противоречите... сам себе. Чем это не война? Внутренняя.

Озадаченное сопение, блуждающий взгляд. Наконец Сулимов хмуро заинтересовался:

— Так в каком же случае я прав?

— Правы в обоих случаях, — невозмутимо ответил Аркадий Кириллович.

— Ну, так не бывает.

— Так бывает всегда и всюду. О единстве противоположностей, надеюсь, слышали?

— Слышал, преподавали — почку губит распускающийся цветочек.

— Вот у вас тоже распускается цветочек.

— Какой именно?

— Чувство ответственности за других, прошу прощения за избитость выражения.

— Эва! — удивился Сулимов. — А раньше, выходит, ответственности у меня не было, без нее жил.

— Всем нам за него — расплата...

— Всем нам — расплата... — повторил Сулимов. — М-да-а... Это что же, я и дальше будут чувствовать... расплату? За каждого прохвоста?.. Бежать тогда мне надо из угрозыска — свихнусь.

— А разве острее чувствовать, глубже понимать противопоставлено для вашей работы?

— Наша работа зауми не терпит — держись закона, от себятины не допускай, помни о том, что преступник — враг общества, а значит, и твой враг. А у тебя к этому врагу эдакое личное... Опасно.

— Не клеветайте на себя.

Сулимов уставился в чашку с остывшим кофе. Аркадий Кириллович сочувственно к нему приглядывался.

— Ладно! — встряхнулся Сулимов. — Обо мне хватит.

Вы попросить что-то у меня хотели, надеюсь, что не противозаконное.

— Предоставьте мне трибуну,— произнес Аркадий Кириллович.

— Что-о? — опешил Сулимов.

— Как вы считаете: должен случай с Колей Корякиным послужить уроком для учителей и для учеников?

— Уж если такое ничему не научит, то считай себя дедом, не человеком,— проворчал Сулимов.

— А вот наша школа собирается сделать вид — это нас не касается.

Сулимов замялся:

— Страшно... Вчера бы я за это не особенно осуждал — па рожон лезть добровольно. Зачем?

— А сегодня? — спросил Аркадий Кириллович.

— А сегодня... что ж, может, вы и правы...

— Меня пытаются связать, требуют молчания. И не могу я говорить ученикам одно, когда остальные учителя — другое. Ералаш в головах учеников получится, а среди учителей разногласие, разброд, склоки. Действовать в одиночку?.. Нет! Должен убедить.

— Легкое занятие!

— Трудно еще и потому, что общественное мнение па стороне школы. Горюно всячески превозносил нас, газеты нас славили, родители гордились, что их дети у нас учатся. Пока не удастся перевернуть общественное мнение, уроки из случившегося скорей всего будут нежелательные. Уже сейчас Колю Корякина в классе считают чуть ли не героем.

— Та-ак! — сердито выдавил Сулимов. — Чем же я вам могу быть полезен?

— Вытащите меня па суд свидетелем. А уж обвиняемым я и сам стану.

— Трибуна?

— Почему бы и нет? К такому процессу со всех сторон будет усиленное внимание.

Сулимов разглядывал учителя беспокойно поблескивающими глазами.

— Внимание будет... — согласился он.

— И не бесстрастное,— добавил Аркадий Кириллович.

— Да уж сыр-бор разгорится.

— Ну а при таком пожаре у моих коллег учителей вспыхнет совесть. Неужели вы думаете, что они останутся холодными, когда вокруг будут бушевать страсти?

— Гм... Положим.

— Положим?.. Вам этого кажется мало, Сулимов? Ой нет, люди с опаленной совестью способны на многое.

— На что?! — воскликнул Сулимов. — На то, чтобы спасти ребят от пьяных отцов, от мошенников, от шкурников, которые непременно начнут наставлять — гребни все к себе, что плохо лежит?.. Для этого надо жизнь вычистить до блеска! Под силу это вам?

— Жизнь вычистить нам не под силу, Сулимов, но под силу будет показать, что такое хорошо, что такое плохо в этой еще не вычищенной до блеска жизни.

— А раньше вы разве этого не показывали?

— То-то и оно, что не все показывали, стеснялись показывать жизнь, какой она есть — нечищеной, неумытой.

— Но знали же и без вас ребята, что в семье Корякиных творится. Наружу лезло! Знали — и что?..

— А то, что тактично отворачивались — мол, не замечаем. Ложный стыд перед правдой и к ученикам перешел.

— Отворачивайся не отворачивайся, а беда все равно стряслась бы.

Аркадий Кириллович ответил не сразу, сидел, навесив голову над столом.

— А вы попробуйте представить Колю, — начал он. — Да, Колю Корякина, который делится всем, что происходит в семье, с товарищами, не стыдится, а рассчитывает на отзывчивость, не боится, что вызовет злобный смех за спиной.

— Трудно представить.

— Трудно. В том-то и дело — герой уголовного романа, всех чуждающийся одиночка. Как вы считаете — он от природы такой пелюдим?

— Н-не думаю.

— Обстоятельства сделали?

— Скорей всего.

— Ну а если б в иные обстоятельства он попал, в нашей школе хотя бы, — каждый день сталкивался бы с чувством к себе, твердо знал, что может рассчитывать на отзывчивость... Скажите, могла бы ему прийти тогда в голову мысль — убью ненавистного отца?..

Сулимов, подобравшись, сидел, озадаченно помигивал. Аркадий Кириллович решительно ответил за него:

— Любая другая, но только не эта!

— М-да-а... — протянул Сулимов.

И наступило долгое молчание. Со стены улыбочиво сияла календарная золотая осень, за неприятно черным окном монотонно и суетно трудился непрекращающийся

дождь. У Аркадия Кирилловича вновь свинцово обвисли складки лица. Сулимов пошевелился.

— Пора мне и честь знать... Но еще вопросик, если позволите, на прощание: ту игру, о какой вы мне рассказывали... кончите или как?

— Игру пашу закончил Коля Корякин.

— Охоту отбил, что ли?

— Перед необходимостью поставил — ищите путь друг к другу. А это уже не игра, это серьезное.

Аркадий Кириллович устало смотрел на свои руки, крупные, отдыхающие лежащие на столе.

— Ну и суд же будет... — вздохнул Сулимов. — Свидетели станут брать на себя вину за преступление, защитник окажется в положении обвинителя, а обвинению ничего не останется как только взять на себя роль защиты...

В прихожей раздался короткий, как всхлип, звонок. Тяжелые складки на лице Аркадия Кирилловича тронулись в недоумении, он поднялся, поспешил к двери.

За дверью стояла Соня — обвалившиеся плечи и руки, слипшиеся от дождя прямые волосы, стертое лицо.

Аркадий Кириллович посторонился, молча кивнул — заходи.

Она перешагнула за порог, беспомощно остановилась, бескостная, спеленатая мокрым плащом, с усилием держащаяся на ногах. Губы ее неподатливо пошевелились, но звука не выдавали.

— Раздевайся, Соня, — попросил Аркадий Кириллович.

Лицо ее вдруг свело судорогой, она зажмурилась, привалилась к косяку, выворачивая шею, пытаясь спрятать перекошенное лицо, издала надрывный стон, и плечи под плащом заходили от беззвучных рыданий.

Сулимов, появившийся за спиной Аркадия Кирилловича, должно быть, не узнал сейчас Соню, которую видел мельком в почь убийства.

— Что случилось? — спросил он.

Соня, с выбившимися из-под вязаной шапочки мокрыми патлатыми волосами, измятая, одичавшая, прикусив губы, зажмурившись, давилась в рыданиях.

— Что?..

Аркадий Кириллович, пряча под насуспенным лбом глаза, ответил:

— То же самое — всем нам расплата! Ей, пожалуй, больше, больше чем нам с вами.

Шестьдесят свечей

Кто из нас знает, сколько человек
он обидел...

К. Чапек

1

В зале потушили свет, и ресторанные музыканты — ударник, скрипач, пианист, известные в городе под общим названием Три Жорки — заиграли туш. Из распахнутой, сияющей потусторонним светом двери в торжественную темноту горячим букетом всплыл зажженный торт. Нервные золотые зерна свечных огоньков, натужно красный пещерный свет, беспокойный блеск стеклянных подвесок в воздухе и сократовский лоб пожилого официанта...

Шестьдесят свечей на юбилейном торте. Как внушительно это выглядит!

Официант со лбом Сократа поставил трепещущий торт передо мной. И я снова удивился его горячему изобилию: шестьдесят свечей, собранных в одно место!

Еще вчера по проспекту Молодости проходил обычный человек в серой фетровой шляпе, в темно-синем длиннополом пальто, старый, почтенный, но не настолько, чтоб в минуту наступления обеденного перерыва продавщица бакалейного киоска не осмеливалась захлопнуть перед его носом окошечко: «Вас много, а я одна!» Вчера я был простым учителем, каких тысячи в нашем городе.

Сегодня на первой полосе нашей городской газеты помещен мой портрет — солидно носатый, с недоуменными кустиками бровей, с мятыми щеками-мешочками. Шестьдесят лет никто не выделял меня из числа других, а неделю назад вдруг оказалось, что я не простой учитель, а старейший, горожанин не такой, как все, а единственный в своем роде.

Наш город Карасино молод, очень молод. Он много лет переживал свое бурное рождение и бурный рост, жил в строительных лесах, в густой непролазной грязи, в строительном хаосе цементных плит, разбросанных труб, завале битого кирпича. Наконец-то строительство вместе с

непролазной грязью отодвинулось на окраины, а город обрел себя. Быть может, он и не был в числе красавцев, но, право же, имел все, что присуще любому городу: многоэтажные дома с балконами и даже лоджиями, витрины магазинов, выпирающие на мостовые, широкие прямые улицы со светофорами, переходами типа «зебра», милиционерами-регулирующими в белых ремнях. У нас два Дворца культуры, около десятка кинотеатров, лодочная станция, респектабельный ресторан «Кристалл» с ультрасовременной джазовой музыкой братьев Шубниковых, в просторечии просто Жорок.

Город Карасино возник, и это стало очевидным фактом для других городов страны и для него самого, ему теперь не хватало только своих традиций и своих героев. Не героев-строителей — крановщиков, экскаваторщиков, монтажников, каменщиков, а героев-жителей, героев-граждан.

И вот я, рядовой учитель, один из многих, Николай Степанович Ечевич, оказался в героях.

Мне исполнилось шестьдесят лет. Гороно послал соответствующие бумаги в соответствующие учреждения: почтить, наградить, присвоить звание. И там, наверху, проглядывая посланные на меня бумаги, кто-то из дотошных удивился:

— Позвольте, тут написано, что он родился в Карасино...

— Да, он здешний.

— И он все шестьдесят лет тут так и жил?

— Если не считать нескольких лет учебы в педучище.

— Но здесь написано, что он сорок лет непрерывно работает в школе. В какой школе он работал? Разве в деревне Карасино школа была?

— Была, и, представьте, известная всей России. Да в какой-то степени она и до сих пор существует.

Оказывается, юный город Карасино — не без роду, не без племени, нашелся живой свидетель и участник его истории. Я некий прародитель города, первый его гражданин.

Мой портрет в городской газете, видные руководители, отцы города, съехались на мой юбилей в ресторан «Кристалл». Три Жорки играют в честь меня туш.

И шестьдесят свечей собраны в одно место. По году на свечу, годы растянуты по всей жизни.

Кончились чествования, забылась газета с моим портретом — брови кустиками, грациный нос. После этого, наверное, я бы должен с грустью сообщить: «Жизнь моя потекла по старому руслу».

Так-то оно так, по старому. Я, как обычно, вставал в семь, не спеша умывался, обстоятельно брился, вдумчиво завтракал под покорным, кроличьим взглядом моей больной, располневшей жены. Потом я скидывал пижаму и опять не спеша, обстоятельно одевался — галстук под хрустящий воротничок, жилет, пиджак с побелевшими от многократной чистки швами, серая, много пошенная, но сохранившая форму шляпа, темно-синее пальто, старое, добротное, монументально-тяжеловесное.

Я живу далековато от школы, но транспортом пользуюсь редко. Утром я люблю не спеша пройтись, вот уже несколько лет встречаю на пути одних и тех же людей... Тучного, с толстой палкой и закрученными усами а-ля Ги де Мопассан мужчину в какой-то форменной тужурке, долговязого молодого человека с рыжей бородкой и не вызывающими доверия ласковыми, бархатными глазами, утконосую девицу, прогуливающую слюнтявого поджарого боксера, встречаю многих, о которых затруднительно что-либо сказать, но я их помню и по выражению лиц вижу, они помнят меня.

Когда я переступаю порог своей школы, прохожу по вестибюлю мимо гипсового пионера со вскинутой рукой, часы у раздевалки показывают без семи минут девять.

Шестьдесят свечей отгорело на юбилейном торте. По году на свечу.

~~Не то чтобы я прежде совсем не ценил себя — нет!~~ Я необходим, но моя польза похожа на бесполезность опорного болта, таких болтов много.

Но вот меня заметили — оказывается, не такой уж я стандартный. Я разрешил убедить себя в этом. Каждый человек индивидуальность, не похожая на других. Хорошо бы каждому изредка напомнить со стороны: «Ты уникален! Ты никем и ничем не заменим!»

Как у любого из нас, у меня были свои недоброжелатели (не хочу называть их врагами — слишком!). Наивно думать, что они все вдруг стали моими преданными друзьями. Но раньше я постоянно на них натывался — рапил себя, рапил их. Сейчас же я легко и как-то всепрощающе их не замечаю...

Кончились чествования, забылась газета, возвеличивающая меня, но осталась праздничность. И я думал, подмывающее ощущение этой праздничности будет согревать меня до конца моих дней.

Прошел месяц с небольшим. Всего месяц! Мне еще продолжали приходить поздравительные письма и телеграммы. В каких-то уголках страны мои бывшие ученики узнали, что их школьному учителю стукнуло шестьдесят.

Был вечер, над моим столом горела лампа. Несколько писем лежало в стороне, я не спешил их распечатать. Сперва надлежало съесть рабочую похлебку, потом уже, смакуя, проглотить сладкое.

Передо мной была стопка сочинений десятиклассников.

Я преподаю историю в седьмых — десятых.

Люблю историю... Когда-то к событиям давно минувших веков я относился с молодой страстностью. Я лютой ненавистью ненавидел Святополка Окаянного и восторженно почитал Святослава Игоревича. Все столетия были переполнены моими личными друзьями и недругами. Детское равнодушие, им частенько болеют даже прославленные историки.

Давно уже нет у меня личного отношения к Святополку Окаянному. Плох он или хорош, наивный вопрос. Он просто часть того времени, той далекой жизни, той почвы, из которой выросли мы с вами. Если бы Иван Кали́та оказался человеком благородным, то вряд ли ему удалось бы под татарским игом сколотить сильное Московское княжество. Беспринципная лесть и неразборчивое ловкачество — оружие Кали́ты, не будь его, как знать, сколь долго существовала бы еще татарщина и как бы выглядела теперь наша Россия?

Люблю историю такой, какая есть! Что бы ни случилось со мной, со страной, со всем миром, я уже знаю — бывало и не такое, ничему не удивляюсь. Люблю историю и заставляю серьезно, не по-детски любить ее своих учеников.

Раз в неделю они должны мне написать сочинение. Тема может быть самой неожиданной. По программе ты проходишь революцию 1905 года, а я прошу написать тебя об Иване Грозном. Ты должен знать все, что в веках предшествовало этой революции, даже то, что, казалось бы, никоим образом не было с нею связано.

Меня считают беспощадным учителем, зато скажу, не

хвастаясь: мои ученики всегда поражают на экзаменах широтой знаний.

Стопка сочинений десятого «А» класса на моем столе. Каждое, в общем-то, бесхитростно утверждает: «Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер...»

Сочинение Левы Бочарова. Я его всегда жду, не скрою, настороженно.

Если другие ученики страдают обычно от недостатка способностей, то несчастье Левы — ~~излишне~~ способен, феноменально способен. Пока учитель добивается, чтоб поняли все, Лева уже изнывает от безделья. Он разучился слушать на уроках, он перестал выполнять домашние задания. Он, не смущаясь, даже с удовольствием получает двойку за двойкой, чтоб за короткий срок, одним усилием победно исправить их. Это он называет «играть в поддавки». Он нашел для себя подленькое развлечение — читал дома специальную литературу, чтоб на уроке невиновными на первый взгляд вопросами поставить учителя в глупейшее положение. Кое-кто из учителей просто ненавидел Бочарова, случались даже — право, неблагородные — попытки завалить его на экзаменах. Но не тут-то было, в отличие от большинства учеников Лева Бочаров любил экзамены любовью спортсмена, верящего в свою непобедимость.

В прошлом году разудалым пренебрежением к учебе Бочаров заразил весь класс — упала дисциплина, упала успеваемость, надо было припимать самые решительные меры. Явились родители Левы, мать — секретарь-машинистка, отец — бухгалтер, оба полные, оба робеюще тихие, с одинаковым выражением скрытой тревоги на помятых лицах. Они из тех, кто никогда не изумлял дерзостью ума, никогда не буйствовал от избытка сил, никогда даже в мыслях не ставил себя выше других. Мне они говорили обычные слова: всего, мол, год до окончания, в институт не попадет... А я понимал и то, что не договаривали: «Стоит ли жить, если сын окажется неудачником...»

Сочинение Бочарова... На этот раз оно ничем не отличалось от других: «Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер...» Скучное, гладенькое, без блеска правильное.

Следующая тетрадь Зои Зыбковец. Что такое?.. Всего полстранички девичьим почерком.

«Ходил в его (Ивана Грозного) время рассказ, что у

одного дьяка он (Иван Грозный)... отпаял жену, потом, вероятно, узнавши, что муж изъявил свое недовольство, приказал повесить изнасилованную жену над порогом его дома и оставить труп в таком положении две недели; у другого дьяка была повешена жена над его обедом» (Н. Костомаров. «История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Том 1, стр. 418).

Такой человек не мог желать людям лучшего. Если он и давил бояр, то просто от злобы. Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

И все.

Зоя Зыбковец, очкастая некрасивая девица, не в пример Бочарову собранная, старательная, замкнута тихая и... средних способностей.

От Бочарова получить куда ни шло, но от нее!.. Вот уж воистину, в тихом омуте черти водятся: «Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

И щит из цитаты Костомарова...

Костомаров — один из тех историков, которые готовы попрекать Ивана Калиту за то, что он не высоколобый и не благородный, забывая, что история двигалась вперед отнюдь не усилиями высоколобых.

Как часто педагогу приходится вступать в борьбу с самим собой. Вот и сейчас, кажется, наступила мигута такой борьбы.

Я оторвался от тетради Зои...

Итак, Зоя думает по Костомарову, старомодно.

Если б думала «не по-моему» — пожалуйста, твое право. Но старомодно, не в духе времени, не по-нашему...

Может показаться, ущерб невелик. Прости и даже поощри самостоятельность. Но в следующий раз Зоя снова выкопает чьи-то заплесневелые суждения, манера присваивать «не наши» взгляды станет нормой, Зоя начнет не так глядеть, как глядят другие, не так думать, не так поступать. Значит, противопоставленный обществу человек. Значит, жизнь против течения.

Привычно умиление: такой-то учитель добр, хотя ни для кого, в общем-то, не секрет — доброта и покладистость учителя преступны.

Нужно ставить Зое двойку, нужно отчитать ее завтра на уроке, пусть вынесет весьма заурядное ощущение — впредь не повадно, — пусть обидится. Не будь покладистым!

Но... И не одно, а несколько.

Но не убьешь ли ты этим у Зои любовь к истории?..

По карликовому сочинению видно, что она читает не только учебник, значит, интересуется, значит, любит.

Не восставишь ли Зою против себя так, что уже только из чувства противоречия будет думать иначе, тянуться к Костомаровым?

Но, наконец, виноват Костомаров, вина же Зои лишь в том, что он подвернулся ей под руку.

Минута борьбы с самим собой. Эта минутная борьба не столь мелочна и незначительна, как может показаться на первый взгляд, тоже, мол, гамлетовский вопрос: «Быть или не быть двойке?» Судьба человека за ней!

Я решил не ставить двойку. Завтра обсудим, выясним.

4

Вечерняя порция рабочей похлебки съедена — с сочинениями покончено. Передо мной письма.

Одно я уже успел прочитать. Оно пришло вместе с посылкой, где лежал... морской кортик. Поздравление от человека, которого, увы, давно не было в живых.

Неизвестный мне капитан второго ранга, некий Пешнев писал:

«Дорогой Николай Степанович!

Этот кортик когда-то послал лейтенант Бухалов, мой друг и Ваш ученик. Двадцать три года я хранил его у себя. Признаюсь, и сейчас с трудом расстаюсь с этой дорогой для меня реликвией. Но Вы воспитали Григория Бухалова, а ему я обязан всем — и тем, что остался жив, и тем, что стал боевым офицером. В конечном счете я обязан Вам, Николай Степанович. И ничем другим не могу выразить свою благодарность — только оторвав от себя единственную память о лучшем друге, о том человеке, который всегда был мне ближе брата. Примите от меня и от Гриши...»

Многих своих учеников я успел забыть — свыше трех тысяч прошло мимо меня за эти сорок лет, где всех запомнить. Гриша Бухалов... Гришу-то помню...

В ту пору, когда село Карасино еще и не собиралось стать рабочим поселком, появилось на улицах существо — лохматая шапка, сопливый нос, рваная, волочившаяся лапами по земле поддевка, большие разбитые лапти. Существо презренное — сынишка гулящей Мотьки, отца не знает. Сама Мотька ушла стряпухой к сплавщикам и не вернулась. У сироты в селе судьба обычна — иди в поднаски, гоняй коров и коз.

Нельзя было взять за рукав, привести в школу, посадить за парту, в списке охваченных всеобучем поставить единицу. Надо вымыть и выпарить эту единицу, надо во что-то одеть и обуть, надо где-то поселить, надо кормить и поить, чтоб снова не одичал, чтоб прилежно сидел за книгой.

Я тогда с год как был женат, и жена ходила беременной, жили в чужой избе. Но у жены раньше, чем у меня, появилась к сироте жалость — мы взяли Гришу Бухалова к себе в дом.

— Зря вы со мной возитесь, проклят я человек, все одно коз пасти.

«Прокляту человеку» в ту пору было только девять неполных лет.

Зимой я отвез жену рожать, вернулся — нет Гриши, сбежал. Его нашли в дальней деревне — ходил по дворам, просил милостыню.

— Ты что же это?

— Да у вас теперь свои дети. Зачем я вам?

Через два года в соседнем районе, в селе Объедково, в бывшей помещицкой усадьбе организовали межрайонный детский дом. Гриша сам настоял, чтобы мы отдали его туда, а у нас должна была родиться вторая дочь...

Он вырос в красивого паренька — румяный, черномазый, порывистый: «Проклят я человек». Господи! Как давно это было...

Еще до войны его призвали во флот. В войну уже командовал катером. В своем последнем бою он потопил какие-то транспортные суда, осколком оторвало руку, командовал до тех пор, пока не вывел катер из-под огня, спас команду, самого же доставили на берег мертвым. Посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Сейчас в нашей школе пионерский отряд носит его имя, в пионерской комнате висит его портрет — морская фуражка с «крабом», юное правильное застывшее лицо, из которого усердные ретушеры вытравили какие-либо следы схожести с живым Григорием Бухаловым.

Я вынул из ящика стола морской кортик.

Узкие ножны стянуты начищенными латунными кольцами, крупная рукоять с заполированными глазками — заклепками, потянул за нее, и поползло на свет никелированное жало. Все-таки оружие, а не нарядная игрушка, тещащая мужское тщеславие. Кортик выглядит новеньким, словно только что из оружейной мастерской, да

носил ли его Гриша, погибший четверть века назад? Впрочем, это оружие парадное, его носят не часто.

Война прошла мимо меня — не слышал свиста пуль, не сидел в окопах. Еще в юности обнаружилось плоскостопие, хотя и теперь, в шестьдесят лет, мои ненормальные ноги мне верно служат — в школу хожу пешком, только походка заметно тяжелая. Но в армию меня не взяли — не годен к строевой службе. Не годен в мирное время, но не в дни войны, медкомиссией в военкомате было уже вынесено решение — направить меня в строительный батальон.

А я тогда недавно стал директором школы. И ушел на фронт заведующий роно, заменить его, кроме меня, некому. Нужен в районе, меня не пустили рыть землянки и таскать бревна... Не слышал свиста пуль, не видел, как умирают на фронте, зато слышал об этом, пожалуй, чаще других.

Мне произносили имя — убит! И я неизменно сразу же вспоминал мальчишку за партой, кудлатого или коротко стриженного, бойкого или застенчивого, добросовестного или шалопая. Со многими из них у меня были, ой, не гладкие отношения, но тут каждый вызывал смятенное чувство вины, каждый становился непостижимо значительным — отдал жизнь, чтоб жили другие, в том числе и я. Казалось бы, чего мне стыдиться — не спасал себя, не прятался от фронта, нет вины. А поди ж ты, попробуй перед собой оправдаться.

Только смерть Гриши Бухалова вины не вызвала. Была потеря, та родительская, опустошающая прожитое, обворовывающая будущее. Гриша — мое творение, Гриша — часть меня, самое красивое и едва ли не самое значительное в моей жизни. Перед ним нет стыда — дал все что мог.

Гриша Бухалов щедро отблагодарил меня после смерти — правом гордиться!

Много, даже не сосчитать, погибло моих учеников, но, как они глбли, ни про одного не известно. Просто в боях, подходя под общую формулу: «Пал смертью храбрых». А вот гибель Гриши Бухалова в общую формулу не укладывается — сверх-храбрый, выдающийся, слава о нем разнеслась по стране. Как мне не гордиться им, а значит, и собой тоже. Гриша — часть меня!

Смертию смерть поправ, Гриша продолжал жить рядом со мной. Жить и поддерживать меня. Спасибо судьбе, что столкнула нас.

Я положил кортик на стол так, чтоб мог всегда его видеть. Конечно же, я отдам его в школу, там почтительно положат под стекло на специальном столике возле портрета Героя Советского Союза, комсомольца, лейтенанта Бухалова. Ребятишки станут обмирать от почтительности... Отдам в школу, но не сразу, сначала сам полюбуюсь досыта.

Гриша Бухалов поздравил старика.

Вскрывая конверт с видом Сочи, я думал, что это одно из писем от случайных, но обязательных знакомых: «Разрешите поздравить от всей души...»

«Вы вряд ли помните меня,— начиналось оно,— тогда как я ежедневно, ежечасно вот уже в течение почти двух десятков лет Вас вспоминаю.

Кто я? Я алкоголик, и это самое яркое мое отличие. Во всем остальном ничтожество: человек без профессии, без семьи, даже не вор, не преступник...»

Странно. Да мне ли это?.. Какая-то белиберда. Я взглянул на конверт. Конверт с видом Сочи, адрес школы, мое имя — все точно.

«...даже не вор, не преступник, хотя легко бы мог стать им. Я просто представитель человеческих отбросов, а обязан этому не столько своему ничтожному характеру, сколько Вам, Николай Степанович Ечевин! Вы искалечили меня! Но если бы только меня одного! Страшно, что Вы стали тем, на кого почтительно и требовательно будут указывать — берите пример.

Почему бы мне хоть единожды не помочь людям, доказать, что все-таки не зря прожил свою паскудную жизнь. Я не могу во всеуслышание сказать: люди добрые, берегитесь! Кто мне поверит, подозрительному философу забегаловок? И я не вижу иного способа заставить меня выслушать, как ~~убить~~ Вас! И тогда суд! Пусть суд надо мной станет судом над Вами. Возразите: преступлением открывать правду!.. Но какое же это преступление — уничтожить многолетний очаг общественной заразы. Совесть моя чиста, остальное меня не волнует. Скорей всего, я потеряю жизнь никому не нужного пьянчужки. По мне не станет убиваться жена, не заплачут дети.

Итак, готовьтесь!

Ваш бывший ученик».

Ниже еще несколько слов:

«Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облег-

чает мою задачу, а потому даже могу позволить себе такую роскошь — написать Вам письмо, известить, кто Вы такой и что Вас ждет».

Письмо, написанное на тетрадном разлинованном листке, широкие приседающие буквы нацарапаны плоским пером. Вид письма какой-то отрезвляющий, будничный, в общем-то, безобидный.

Был вечер, еще не слишком поздний. За окном внизу с треском проносились мотоциклы — весьма распространенный вид отдыха в городе Карасино. За дверью, тяжело ступая, ходила жена. Скоро она уйдет на кухню, загремит посудой, потом позовет ужинать. А там разойдемся спать — она в свою комнату, а я в свою.

Перед глазами поблескивает горячей латунью офицерский кортик — Гриша Бухалов поздравил старика.

Уютный свет настольной лампы освещает мои руки, крупные, мокрые, с узловатыми венами и золотистой шерсткой. Мои руки, лежащие на письме...

5

Скорей всего, гнусная шутка. Кому-то захотелось подкрасить юбилей — мол, в бочку меда ложку дегтя.

Безответственно написать слово «убить»...

Взрослый человек вряд ли решится на такую шутку, только тот, кто без царя в голове.

Самый падкий в школе на шуточки — Лева Бочаров. Он давно уже ведет веселую войну с учителями. Что-то новое... Не откажешь в изобретательности: «Я алкоголик...» Ишь ты.

«Убить...» — надо сильно ненавидеть, чтоб написать такое.

За что?!

За то, что оберегал дурака от собственной глупости.

Глуп?.. Ну нет, он-то себя считает первым умником: «Задачки с двумя неизвестными щелкаю, как орехи». Пуп земли!

«Убить Вас...» То-то испугается старый дуралей. Лева Бочаров решил пошутить от всего сердца. Он, конечно, догадывается, что шуточка перерастает границы дозволенного, но ведь и сам Лева — личность, не уместящаяся в обычных рамках. «Убить Вас...» Он слегка пре-

зирает всех и считает, что в ответ на это снисходительное презрение все должны отвечать любовью.

Когда видишь себя пупом земли, трудно понять, что люди могут ответить тебе ненавистью. Ненависть со всех сторон! Тут уж будет не до шуточек и не до презрения, сам заразишься бурным ненавистничеством. «Убить Вас...» Мысль-то привычна, почему бы, защищая себя, не исполнить ее на деле...

От самомнения — ненавистничество, от ненавистничества к ножу хулигана короткий шаг.

Вот от чего хотел оберечь!

Не оберек. Шуточка-то — вот она, на столе. Гнусней не придумаешь.

Я постоянно делал Лева мелкие уступочки: «Феноменально способен, светлая голова, чудит — пусть себе...»

В прошлом году он систематически доводил учителя математики до истерики. Конечно, этот учитель не отличался ни глубокими знаниями, ни твердостью характера, ни находчивостью в ответах, на его уроках Лева Бочаров устраивал для класса спектакли. Я осуждал Лева и защищал его: «Феноменально же способен...» А математику пришлось перейти в другую школу.

Недавно мне не хватило решительности сказать «нет» родителям Лева. Уж очень робки, очень любящи, единственный сын — пусть себе.

В юности почти в каждом сидит Лева Бочаров. Юность почти всегда неразумна, самомнительна, эгоистична, лишена самоконтроля. Учитель, по доброте потакающий порокам молодости, — преступник!

Я отыскал в стопке тетрадей сочинение Зои Зыбковой и поставил под ним жирную, красно кричащую двойку. Завтра обсудим?.. Что ж, обсудим!

Нашел заодно и сочинение Лева Бочарова...

6

Невыразительное сочинение и выразительное письмо легли рядом. Приседающие буквы... В почерках не было никакого сходства, да это и понятно.

«Убить Вас...» Сказано скупое, без нажима. Правда, эти слова торопливо подчеркнуты, но, похоже, не ради того, чтобы произвести впечатление, скорее, автор выделял важный вывод: не вижу иного выхода.

И пришла трезвая мысль: шутник, желающий до смер-

ти напугать своей шуточкой, непременно бы порезвился, уж постарался бы наполнить письмо угрозами.

И «я алкоголик». Что-то уж очень искусное, не молодое, не ученическое. Эдакая хитрость с аморальным крепном.

И «страшно, что мир слеп». Забота обо всем мире, обвинение от лица общества, и все для того, чтоб пошутить?

И приписка... «Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу...» Что-то продуманное, выношенное, нет, не шуточный экспромт. И если это совместить с «я алкоголик», то с исцарапанного плохим пером листка подымается такая фигура, что содрогнись и зажмурься.

Невыразительное сочинение и выразительное письмо, я, кажется, напрасно положил их рядом, напрасно вгорячах обрушился на Леву Бочарова. А может, и не сгоряча, скорей всего, просто обманывал себя: неправдоподобно, нельзя верить, куда проще предположить — это же шутка! И свалить на того, кто под рукой, — Лева Бочаров на следил.

Кто он? «По мне не станет убиваться жена, не заплачут дети». Подписался: «Ваш бывший ученик». Признался — я твой убийца.

Кого я мог так сильно обидеть? Не работал прокурором, никого не бросал за решетку, учительствовал, а не судействовал. И он это знает: «Ваш бывший ученик».

Есть, конечно, такие, кто меня не любит, кому я крайне не правлюсь, как, право же, не все правятся и мне. Но никогда у меня не возникало желания: хорошо бы убить такого-то. Наверное, и у моих недоброжелателей до этого не дошло. «Ваш бывший ученик». А ученик ли?..

Вспомнил о конверте, схватил его. Конверт с видом Сочи. Тем же испорченным пером нацарапан адрес школы, моя фамилия. Штемпель на марке довольно отчетливый: название известной станции, полсуток езды до нашего города. Опущено письмо вчера.

Письмо дошло, мог прибыть и автор.

Конверт с видом Сочи, солнечного далекого города — места отдыха, места здоровья, места продления жизни.

«Убить Вас...»

За что?!

Я не испытываю страха. Сильнее страха недоумение.

Я искалечил чью-то жизнь, я страшен сам по себе, страшен через моих ядовитых учеников, страшен мой

дух... Слишком много взвалил на меня автор письма, чтоб это было правдой.

«Выдающийся... Самоотверженный... ум и совесть нашей педагогики...» Конечно же, нет! Я не настолько самонадеян, чтоб безрассудно верить шумному славословию, которое раздавалось во время моего юбилея. Но я никого не убил, не обездолил, ничего не украл, не брал взяток, не растлевал малолетних, не морил голодом престарелую тещу. Я не ангел, часто бываю раздражителен, срываюсь без нужды, нередко поступаю несправедливо, в чем обычно раскаиваюсь. Кто из нас без греха?.. Уж если мне суд, меня убить, то жить на земле придется лишь каким-нибудь исключительным праведникам.

За что?

Если ты выносишь приговор, да еще смертный, изволь уж подробно ознакомить и с составом преступления, а не отрываться общими словами: страшен, ядовит, дух, видите ли, не тот.

— Коля! — донесся из кухни привычный голос жены. — Иди чай пить. Пора.

Я вложил письмо в конверт с видом Сочи, сунул его в ящик стола.

Встал и подошел к окну, заглянул в темную пропасть, заполненную беспечными голосами, смехом, шарканьем ног по асфальту, шумом моторов и шорохом шин — заполненную жизнью. Заглянул в пропасть, но увидел себя, свое отражение в черном стекле — плоский лоб, глубоко западавшие глаза, нос клином.

Оп, возможно, дежурит там внизу, в гуще голосов и смеха, из глубины звучащей жизни следит сейчас за моим окном — бывший мой ученик, ныне мой убийца.

Я старательно задернул занавеску и тут же усмехнулся: уж он-то, наверное, предусмотрел, что приговоренный им к смерти Николай Степанович Ечевин станет плотней задерживать занавески и тщательней запирать двери.

В тесной светлой уютной кухне за накрытым столом сидела, оплывая вниз на слишком узкой табуретке, жена. У нее горделивая посадка крупной седой головы, озабоченное выражение на широком близоруком лице — знакома, как неизменно повторяющийся сон.

Мы сейчас выпьем по чашке чая, скажем друг другу несколько ничего не значащих слов и разойдемся спать — жена в свою комнату, а я в свою...

— Тебе с лимоном или без?..

Оказывается, па кухонном окне у нас вовсе нет занавесок, с верхних этажей дома напротив мы здесь просматриваемся пасквозь.

7

Сквозь сон я услышал — кто-то скребется за окном!

Комната словно затянута грязным табачным дымом, как учительская, где полчаса назад кончился педсовет. Все разошлись, но табачный дым не рассеялся — серо и неприкаянно скучно.

За окном кто-то скребется, сомнений нет. А окно па пятом этаже.

Удары сердца отдавались в голове. Я не дышал.

«Да это же сон... Я не проснулся...» Трезвая мысль и сам рассвет слишком трезвый — серо и неприкаянно скучно. И ухае сердце не в груди — в черепе. И звуки за окном — железо скребет о железо. Окно на пятом этаже!

Не закричать ли?..

Жену за стеной всполюшу, а соседей не скоро раскачаешь.

Не сон, не блажь, явственно железо скребет о железо. Кто-то за окном, кто-то висит над асфальтовой мостовой на уровне пятого этажа.

Непослушной рукой потянул с себя одеяло. Пружины матраца оглушительно завопили. Замер...

Замер и тот, но только на секунду. Снова — железо о железо, осторожно, боязливо, воровски, по-почному преступно.

Холодный пол обжег босые ступни. Последний раз взвизгнули пружины. Я встал.

На цыпочках по холодному полу, по стенке, по стенке, к окну, к косяку, потянулся к занавеске... Сейчас, вот в эту секунду гляну в лицо своему убийце. Сейчас, при сером рассвете встреча, он, отчаянный, между небом и землей па высоте пятого этажа, я в комнате, и разделять нас будет только стекло окна.

Ну!.. Рука деревянная, тело неподатливо, каменно и пабато раздаются в черепе удары сердца. И совсем, совсем рядом странные звуки — чужая жизнь, с упрямой осторожностью рвущаяся ко мне. Чужая жизнь и моя смерть.

Ну!.. Занавеска чуть отошла...

Словно воздух из туго накачанного мяча, вырвался

страх, я сразу весь обмяк, обессиленно задрожали коленные чашечки, ватной рукой уцепился за косяк, чтоб не упасть.

За окном по карнизу гуляют голуби, цепляясь когтистыми лапками за кровельную обшивку,— железо скребет о железо.

Я перевел дух и решительно откинул занавеску. Голуби трепыхнулись, но не улетели. Пододвинул к окну стул, устало, с наслаждением свалился на него.

Как полная чаша, которую боязно расплескать, лежала пустынная улица, до крыш залитая застойной синевой. Горели вялые фонари, и свет их был дремотен, как и сам город. И мирно кумовали за нечистым, заплаканным стеклом голуби. Молодые деревья купали в синей, осязаемо плотной дымке черные ветви. Голые деревья на весенних утренних заморозках. Через несколько часов их пригреет солнце, начнет шевелить застоявшиеся соки. Скоро набухнут и лопнут почки!

Возможно, они не успеют лопнуть...

Где-то он, без лица, без имени, бывший ученик...

Он существует и носит в себе десятилетиями скопленную, непонятную для меня ненависть. Ненависть прорвется, и почки не успеют лопнуть, выкинуть зеленый лист...

Тишина в городе, тишина и сумрак в моей комнате. По стене притаились фолианты с широкими затылками. Историки прошлого века писали много и обстоятельно. За стеной покойно спит жена.

Я, подтянув под стул босые ноги, с наслаждением глядел в окно. С наслаждением потому, что улица за окном пуста. Он не стоял там, не прятался, а значит, хоть эти минуты можно прожить без страха. С наслаждением потому, что видел просыпающийся мир за окном, а кто знает, сколько раз я еще увижу такое?

С шумом сорвались с окна голуби, и стало совсем безжизненно. Столь непоколебимо тихо и засасывающе грустно, что невольно пришла на ум мысль: «Словно уже туда переселился...» Если б там было так же покойно и мирно, пожалуй... готов, ничуть не страшно.

И неожиданно я возмущился: «Как он смеет! Что я сделал такого? Что?!» Возмутительна даже не сама угроза — убью! — а вопиющая несправедливость: очаг общественной заразы! Да как он смеет! Что я сделал плохого? Чем нехорош? Сорок лет учил, свыше трех тысяч учеников прошло через мои руки. А нажил ли я за эти сорок лет се-

бе богатство? Ради ли собственного удовольствия я старался? Легка ли моя жизнь, счастлива ли? Да что в ней было такого, чтоб зачеркнуть? Очаг заразы — чудовищно!

Лежал передо мной спящий город, горели усталые фонари. Мой город, родившийся и выросший на моих глазах, место на земле, приютившее меня. Я глядел на него и перебирал свою жизнь.

8

Легка ли она? Счастлива ли?..

Первое, самое первое, что помню, — вкусный запах новой кожи и большой стеклянный шар, заполненный водой. Шар на низеньком подоконнике слепого оконца.

Сейчас с высоты пятого этажа я вижу кусок улицы, просторной, с деревьями, с пятиэтажными корпусами, украшенными веселыми балкончиками, похожими друг на друга, как матрешки на полке игрушечной лавки. Это центральная улица нашего города, гордо названная проспектом Молодости. Я родился где-то здесь, неподалеку. Где-то. Кто теперь укажет, в каком точно месте стояла избенка сапожника Степки Ечевина? Село Карасино стало городом Карасино, немало пыльных и муравчато травянистых улочек и проулков подмял под себя безжалостно прямой и широкий проспект Молодости. Но где-то здесь, совсем рядом, стучал по колодке мой отец, принаравливаясь, чтоб собранный стеклянным шаром свет из мутного окошечка падал «под молоток». Где-то здесь шестьдесят лет назад прокричал впервые младенец, крепченый под Николу-вешнего.

А шестьдесят ли? Не триста ли?.. В дни моего детства село Карасино знало соху, но не ведало о тракторе, ездило на телегах с грядками, но и слухом не слыхало об автомашинах, доходили слухи о чугунках, о «больших самоварах на колесах», но железные дороги еще не приползли сюда, и не пользовалось село ни телеграфом, ни телефонами, хотя считалось не столь уж глухим — мимо проходил тракт на Москву, раз в году со всей округи сюда съезжались на ярмарку, торговали, гуляли, нили, пели, кто как уметь — тоскливо или разухабисто.

Легка ли жизнь? Счастлива ли?

Рос на кислой капусте и картошке, видел много чужих сапог, но щеголял в опорках, прятался от отца, когда тот наживался и буянил, постоянно слышал надрывный крик

матери: «Хлебогады! Чтоб вы все сдохли! Всю кровь мою выпили!»

Но, право, кислая капуста, опорки, пьяные скандалы отца не делали меня несчастным. Детство есть детство — свои радости я имел, в голову не приходило, что жизнь может быть иной.

Незадолго до революции я переступил порог самого высокого — два этажа с мезонином! — самого красивого в округе здания — школы Граубе, стоящей на отшибе от села. Переступил и уже не расстался с ней. Лет десять назад старую школу снесли, вместо нее появилась школа номер пять, торжественно светлый огромный корпус. А намного раньше совсем забылось имя Ивана Семеновича Граубе.

Но в те годы его имя и его школа были известны по России.

Школа называлась народной. Граубе не считал ее своей собственностью, не брал за обучение денег. Выстроил школу и содержал учителей брат Ивана Семеновича, российский миллионер, железнодорожный магнат, покровитель художников и лошадей, сторонник просвещения Алексей Семенович фон Граубе.

Жил он далеко, но слухи о нем доходили и до Карасино. Рассказывали, что в его конюшнях перед каждой лошадью в стойле стояло большое зеркало, рассказывали, что он был семь раз женат, что славился среди крестьян щедростью: «Только заикнись, корову даст!» И еще рассказывали, что после революции он ходил по деревням, кормился Христовым именем, бабы потчевали миллионщика чечевичной похлебкой, плакали от жалости.

Иван Семенович был почему-то просто Граубе, без «фон» и небогат, сам получал от брата учительское жалование. Он окончил Сорбонну, добровольно забрался в глухое село, куда его брат не успел еще протянуть железную дорогу.

Был он чахоточно тощ, довольно высок, с объемистым лысым черепом. В рассеянном взгляде сквозь золотые очки, в нерешительной складке губ, спрятанных в рыжеватую бородку, даже в легкой сутуловатости постоянно ощущалось что-то сокрушенно виноватое, почти монашеское. Казалось, он постоянно сдерживается, чтоб не сказать покаянно: «Прости меня, братец». Но он заговаривал, и один лишь звук его голоса, неожиданно сильного, глубокого, насыщенного бархатными басовитыми интонациями, вызывал у каждого смятение. Покаянно виноват, монашески

смирен — э-э, нет, будешь слушать его и слушаться, не возразишь, скорей присохнет язык. Ни разу я не слышал, чтобы он повысил голос. Самым высшим упреком из его уст было: «М-да-а!» Коротенькое междометие и поворот спиной, остро выступающими лопатками из-под сукна пиджака. Школяр ты или почтенных лет учитель, но все равно останешься пришит к месту этим «М-да-а!».

Иван Семенович наиболее бедным покупал к зиме валенки, иногда даже полушубки. Иван Семенович постоянно для кого-то выпрашивал какие-то пособия, кого-то выручал, кого-то посылал в город, устраивал бесплатные обе-ды в школе. И, странно, никому и в голову не приходило благодарить его за это. Благодарят обычных людей за то, что они совершили нечто не совсем для себя обычное. Иван Семенович ни на кого не похож, что ни сделает, так и должно быть, а потому простое «спасибо» как-то не шло к нему.

Не испытывал и я благодарности, хотя почему-то он выделял меня. Получал от него не только валенки, полушубок, книги, но и внимание: «Как дома, Ечевин?» А дома у меня без перемены — отец по пьянке бил горшки, мать, выла на всю улицу. Я был из беднейшей семьи и прилежен к наукам — этого достаточно для Граубе, чтоб выделить. Благодарности я не испытывал, почтение — да.

У Ивана Семеновича была единственная дочь — Таня, моя ровесница. Мечтательница, выросшая среди отцовских книг.

И мне и Тане исполнилось по четырнадцать лет, когда в школу назначили нового заведующего, Сукова, а Граубе стал простым учителем.

Иван Суков еще молод, открытое лицо, румянец во всю щеку, быть бы ему первым парнем на деревне, да стал школьным вождем. Румяное лицо, вылинявшая гимнастерка, стоптанные сапоги, не разгибающаяся в локте после ранения под Варшавой рука. Он, пожалуй, не уступал в доброте Ивану Семеновичу, хоть последнюю гимнастерку с плеч, зато уже люто ненавидел «буржуйских недобитков». А Иван Семенович Граубе — белая кость, дворянин, университеты за границей кончал, брата-миллионера имел, подарки от него получал, с «фоном» Граубе или без «фона», а для Ивана Сукова — волк в овчине.

Иван Суков. Уже после Граубе он сделал для меня все, чтоб я стал «пролетарским учителем». Это он послал меня на курсы, он силой вырвал у райнаробраза единовременное пособие, чтоб я мог явиться на курсы не бос и наг.

И он же, Суков, добился, чтоб меня после курсов определили не на сторону, а в свою старую школу. Суков поставил меня на рельсы, по которым я катился сорок лет, как-чуть по сей день.

Что еще можно вспомнить?..

Круги. День за днем, как лошадь в приводе: дом — школа — дом, от воскресенья к воскресенью, с перерывами на каникулы, которые выдерживал с трудом, ждал с нетерпением, чтоб начать привычное: дом — школа — дом. День за днем — сорок лет. Был завучем, был и директором своей школы, но не бросал преподавания истории...

Где-то на самых первых кругах женился, одна за другой появились три дочери. Жил всегда туговато. Пока село не разрослось в город, копался на огороде, картошка была подспорьем к не слишком щедрому учительскому окладу. Только теперь, когда остались вдвоем с женой, без особой натуги сводим концы с концами. Всегда на строгом счету каждая копейка. Правда, особо и не бедствовали, хлеб и кой-какой приварок имел даже в голодные военные годы. На фронт не попал — плоскостопие...

Легкая ли жизнь? Счастливая ли? Нет, будни. Люди решили отметить ее праздником, когда мне стукнуло уже шестьдесят.

«Ваш бывший ученик...»

Человечество просто перестанет существовать, если ученики начнут разбивать черепа своим учителям. Страшнее этого преступления может быть только отцеубийство.

9

Улица уже не пустынна, по лиловому асфальту по-хозяйски важно гуляют черные галки. И деревья сейчас чутко ждут, когда из-за высоких домов упадет на них первый луч солнца, кончится окостенение, обмякнет древесная плоть, тронутся к почкам соки.

Полчаса назад я просто хотел видеть лопнувшие почки. Полчаса назад сидел перед окном затравленный зверь. Ничего иного, только желание жить. Сейчас гнев, сейчас готов бороться и сокрушать. Маньяк собирается поднять руку на святая святых, ученик замахивается на учителя.

Голуби на карнизе заставили обливаться холодным потом — стыдно! «Я алкоголик, и это самое яркое мое отличие». Тебе ли бояться его, своей силы не сознаешь. За твоей спиной весь город Карасино! И только ли город?

«Очаг общественной заразы...»

А письмо незнакомого мне капитана второго ранга Пешнева, пославшего кортик лейтенанта Бухалова: «...ничем другим не могу выразить свою благодарность...»

И сам кортик внушительно поблескивает перед глазами.

А поздравительные письма и телеграммы из всех областей, со всех концов страны...

И все потому, что я «очаг заразы»?!

Да пусть попробует заикнуться, что «очаг», будет взрыв. Как мошка на пламени, сгоришь от людского негодования ты, озлобленный анархист-кустарь. Бывший ученик, не святотатствуй!

Я пришел в себя, почувствовал силы и поддержку. За моей спиной встанет армия нормальных людей. Каждому очевидна опасность — ученик замахивается на учителя! Это противно разуму, грозит бедствием всему роду человеческому!

Но нельзя забывать, что слепая ненависть маньяка родственна взведенной mine, любая неосторожность может оказаться смертельной. Осмотрительность — вот первая заповедь на то время, пока война не кончится. Надо надеяться, что она не будет продолжительной.

Галки, важно разгуливающие по улице, взлетели с водопадным шумом. Тихонько застонало оконное стекло. Сотрясая улицы и обступившие дома, испуская угрожающий рык, давя морозно лиловый асфальт тупыми скатами, беззастенчиво дребезжа гулким железным кузовом, промчался первый самосвал.

Наш город все еще помешан на строительстве. Новостройки отодвинулись на окраины, но у нас и по центральной улице, по парадному проспекту Молодости с утра до вечера идут строительные машины. Эта самая ранняя.

И под стеной качнулась фигура первого прохожего. И солнце выплеснулось в просвет между домами, полыхнули окна, от молодых деревьев легли легкие тени.

День родился над городом Карасином, ясный весенний день.

— Доброе утро, Коля. Как ты спал?

Каждый мой день начинается с этого вопроса — семейный озабоченный лозунг.

Ватно мягкой, грузной поступью вошла жена. В ее

располневшей фигуре слоновье добродушие, под застиранным халатом — величавость, сохранившаяся с девчества. Рослая, полнотелая, вальяжная, она когда-то отличалась застенчивой белизной кожи, смущенным румянцем, наивностью голубых глаз. При первом знакомстве казалось — вот воплощение домашнего покоя, уюта, уравновешенности. Но чуть ли не на первой неделе выяснилось — у нее скачущий характер, печального слова или даже беспреднамеренного молчания было достаточно, чтоб от нежности перешла к замкнутости, от веселья к слезам, от сентиментальной размягченности к капризам. Тогда-то у нас с ней началась многолетняя война, мелочная и утомительная. Она окончилась скучным миром. Соня мало-помалу утратила порывистость, а вместе с ней и нежный цвет лица, стройность, стала носить очки в тонкой оправе, придававшие ее рыхловатому, в парном румянце лицу какое-то кроткое, беспомощное выражение. Нет, она не перестала любить меня, я ее тоже, но еще я полюбил уединение в стенах дома.

— Доброе утро. Как ты спал?

Я уже повязывал галстук, когда она вошла ко мне. Машинально прибрала брошенную пижаму, повесила аккуратно на спинку кровати, со вздохом опустилась в кресло у окна. В то самое кресло, в котором я провел утро.

— Я думала ночью... — бережно и вкрадчиво начала она, глядя сбоку мне в скулу. — Я думала, Коля... Не надо тебе так с Верой...

Она думала ночью о Вере, у меня же был повод думать об ином. С младшей дочерью Верой — много же крови она нам стоила — у нас самые сложные и острые отношения. Решать их в эту минуту?.. Мне необходимо освободиться от всего, мне сейчас мешает присутствие жены. Прежде чем переступить порог, нужно позвонить в милицию. Об этом звонке Соне лучше не знать. Ее следует выпроводить хотя бы на несколько минут.

— Извини. Не можешь ли ты сходить сейчас к Золотовым? Этот книгочей в прошлую субботу забрал у меня «Домашний быт» Забелина. Очень нужен.

Этажом ниже жил слесарь Золотов, самозабвенный почитатель всякой учености, в подвыпившем виде навещавший меня с просьбой: почитать чего-нибудь существенное. А существенность книги он измерял ее толщиной, выбирал всегда самые увесистые тома, безразлично какие — пухлые романы Дюма-отца или же ученые труды по истории.

Она долго и осуждающе глядела сквозь очки мне в скулу, вздохнула и молча поднялась. Конечно, обида, конечно, немой упрек в черствости, в бессердечии, но мне не до щепетильности — ради нее самой выпроваживаю, к чему Соне знать о письме.

Я услышал, как захлопнулась за ней входная дверь. Не завязав галстука, я выпул из стола письмо, положил в карман, бросился в прихожую, где висел телефон, снял трубку.

Казалось, просто: набери номер милиции, сообщи все, а уж там их дело обеспечить безопасность.

Я замешкался с запевшей в руке трубкой. Сообщи, но как?.. Оказывается не так-то легко. Мол, здрасте, получены сведения... Заранее чувствуешь недоуменную немоту на том конце провода. Видавшая виды милиция такого случая наверняка не знает. Не обойдется без вопросиков, вкрадчивых и недоверчивых: как, почему, по каким причинам?.. А черт их знает, эти причипы! И все это объясняй какому-то дежурному, который сам решений не принимает, готов доложить по инстанции. А уже в каком виде он преподнесет, неведомо.

Спросить номер телефона начальника управления майора Фомина? Он, кстати, мой ученик. Но именно поэтому Фомин отнесется с особым любопытством, с неслужебной заинтересованностью. И он сразу, конечно, не поверит в опасность — нелепо же! — наверняка, как и мне, ему сначала придет мысль: «Гнусная шутка». Придется разубеждать его в этом, а ничего нелепей и унижительней быть не может, непременно вызовешь усмешку: «Эге, затравили медведя». А если все кончится благополучно?.. Не миновать, усмешечка выползет наружу: «Дыма без огня не бывает». Рано или поздно слухи доберутся до школы. Нет ничего страшней для учителя, как оказаться смешным. За все сорок лет шутком не был никогда, ни на минуту! Разумней всего держаться так, чтоб все видели — тебе нипочем, презираешь: «Опасно! Какие пуляки!» Тогда повода для улыбок не появится, ни у кого не повернется язык сказать: «Дыма без огня...»

Я повесил гудящую трубку на рычаг. Нет, по телефону не выйдет. Неужели и это предусмотрел автор письма? Неужели он догадывался, что быть расчетливо осторожным не так-то просто? Отопри дверь, выйди на лестничную площадку, спустись по лестнице, от парадного начни свой обычный путь к школе. И на каждом шагу он может

ждать. Он не собирается спасать собственную шкуру, самое людное место ему не помеха.

А если сказаться больным?.. Мой дом — моя крепость. Но не до смерти же сидеть в осаде? Придется выйти, подставить себя.

Весь мир, все нормальные люди на моей стороне, а защиты нет. И с тоскою вспомнились утренние деревья под окном, голые ветви в пасмурной дымке. Скоро лопнут почки...

В это время за дверью послышалась грузная поступь жены. Я поспешно вернулся к себе, непослушными пальцами принялся затягивать узел галстука.

Жена вошла, молча положила на стол книги, направилась на кухню готовить завтрак.

Я справился с галстуком, натянул на плечи пиджак, вышел в столовую, по привычке остановился перед трюмо. Желтое лицо, щеки, свисающие дряблыми мешочками, седые, со стальным отливом виски, крупный, неподкупной твердости нос — вон он, Николай Степанович Ечевин, человек, добившийся почета, у кого собираются отнять остаток жизни. От бессонной ночи, от переживаний глаза в зеркале сухо и гордо блестели над крупным носом. На этот раз я нравился самому себе.

Что же, на войне как на войне. Придется рискнуть, выйти наружу. Авось бог не выдаст, свинья не съест.

11

Дверь, выпустив меня во враждебную зону, захлопнулась за спиной.

Что я делаю?..

Ради того, чтобы кто-то не усмехнулся по моему адресу, кто-то не обронил: «Дыма без огня...» Да глупо же! Навстречу смерти! Жизнь рискую! Так ли трудно вытерпеть непочтительные усмешки? Жизнь и усмешки — надо быть свихнувшимся идиотом, чтоб не понимать, насколько неравноценен обмен. Вернись, пока не поздно!

Я понимал и не мог вернуться, потому что дверь уже захлопнулась, потому что сказал жене — тороплюсь, потому что опять придется встать перед телефоном, потому что не хочу терпеть усмешечек, потому что бог не выдаст, свинья не съест, потому, наконец, что я уже сделал несколько скованных шагов вниз по лестнице, оторвал себя от дверей.

Ниже этажом я увидел жену слесаря Золотова, вышедшую с мусорным ведром на лестничную площадку, и — надо же — приосанился, против воли напустил на себя отрешенно внушительный вид. Оказывается, для меня важно, как бы эта растрепанная и нечесаная, отдаленно знакомая женщина чего-то не угадала по моей внешности. Я не без величавости ответил на ее «здравствуйте» и прошествовал мимо. Умри, но будь respectable.

За распахнутой дверью парадного — солнечный, яркий до боли в глазах, многолюдный и опасный мир. Если б за мной не спускалась с ведром Золотова, я, быть может, помедлил на пороге, но сейчас, задохнувшись от волнения, шагнул вперед, окунулся в шум и солнце.

Город был покрыт густым и пахучим небом. По улице шли заляпанные грязью по крыши кабин тяжелые самосвалы. Они рычали угрожающе и бесшабашно, напоминая городу, который успел забыть и плачущие сосульками карнизы, и отяжелевшие кучи нечистого снега, и мутные ручьи вдоль мостовых, что весна не кончена, она в разгаре. Смотрите, какие мы грязные, это ярая весенняя грязь окраин! Смотрите, какие мы напористые, это весна в нас рычит и поет, сотрясает наше машинное нутро. И раскипевшиеся людской сутолокой праздничные тротуары.

— Ах, вам не хочется ль
Под ручку пройтись?
— Мой милый. Конечно.
Хотится! Хотится!

Забывшее ворвалось из далекой молодости, когда еще читал стихи, был способен страдать и пламенеть над строчкою.

Рычат самосвалы, растревожен белый свет. Где-то по раскипяченным улицам ходит моя смерть.

Шестьдесят лет за плечами, не мало. Но за шестьдесят лет только сильнее успел привыкнуть к жизни. Именно в шестьдесят, когда не дряхл, не измучен недугами, сильнее веришь в невозможное — в свое бессмертие.

— Ах, вам не хочется ль
Под ручку пройтись?

Я боялся, но ни сковывающего страха, ни потерянности не испытывал. Появилось только острое чувство неловкости, словно вышел на люди нагишом — спрятаться бы. И нервическое нетерпение — быстрее, быстрее действуй! Хотя мне предстояло лишь одно привычное дей-

вне — знакомой дорогой шагать в школу, и торопиться не-
зачем, будет странно и подозрительно, если я явлюсь в
учительскую раньше времени.

Безопасней было бы доехать на автобусе, не сразу бро-
ситься в глаза, в автобусной толкучке убийце трудней
развернуться. Но автобус нужно ждать, стоять в очереди,
не двигаясь, а это выше моих сил — быстрее, быстрее, мне
трудно сейчас заставить себя не бежать молодой рысью, а
уж не двигаться, торчать столбом на месте нет, невоз-
можно.

Я не побежал, даже не позволил себе идти быстро,
расправил плечи, степенно двинулся вдоль проспекта.
Умри, но будь respectable. И не проходило ощущение —
слишком высок, слишком громоздок, всем бросаюсь
в глаза. И вглядывался во встречных — который же, ко-
торый? Вглядывался испуганно, почти с надеждой.

Странно, я проходил здесь каждый день и не видел
двигающегося навстречу потока, держал в памяти только
несколько примелькавшихся лиц. Сейчас я удивился ог-
лушающей пестроты и разнообразию людей: шляпы, кеп-
ки, платки, косынки, лица озабоченные, лица углублен-
ные, хмурые, веселые, равнодушные, румяные, морщини-
стые, бледные, невыспавшиеся... Который же?! Смешно
гадать — река течет навстречу, купаешься в ней.

А вот и он, неуклюжий, усатый, мой тяжеловесный
Мопассан. Как всегда, столкнулись глазами, как всегда,
узнали друг друга, как всегда, появился позыв поздоро-
ваться и не поздоровались — расстались... До завтрашнего
утра.

Будет ли это завтрашнее?.. Поток навстречу мне —
лица, лица. Который же?.. Мой бывший ученик, алкоголик в
настоящем. Я убежден, что если вот так же, как с усатым
Мопассаном, столкнусь глаза в глаза, то непременно узн-
аю и вспомню, каким он был в ученичестве, открою для
себя, за что он на меня гневается. Стоит столкнуться гла-
зами... Но река течет мне навстречу, купаюсь в ней. Мно-
голюдным стал город, а наша улица центральная, не зря
же на отличку от других она гордо называется проспек-
том.

Мелькнула рыжая бородка, почти родной среди чу-
жих молодой человек с бархатными неискренними гла-
зами.

Не психуй, приди в себя, подумай лучше, не теряя го-
ловы: стоит ли вот так катиться туда, куда несет?..

И в самом деле, я, приговоренный к смерти, иду рас-

сказывать о роли разnochинцев-шестидесятников в революционном движении. Я не смог позвонить в милицию, а почему? Девичья застенчивость в пикантном положении. Рефлексируешь, угрызаешься, когда надо срочно действовать — ищи автомат, звони в милицию.

Телефонную будку заполняла широченная спина. Мне было очень трудно дожидаться, когда она вывалится наружу, я подозревал всех вокруг, и эту спину в том числе, уж очень она широка...

Наконец дюжий шофер, потный и сердитый от горячего с кем-то разговора, освободил будку, прошагал к стоящему у обочины грузовику. Я нырнул внутрь и поплотней закрыл дверь.

Неожиданно для себя я набрал телефон школы, попросил позвать завуча.

— Надежда Алексеевна, я не могу прийти сейчас... Может, кто-нибудь согласится заменить свои последние уроки на мои первые?..

— Николай Степанович! Николай Степанович! — закудахтала завуч. — Не беспокойтесь, Николай Степанович... Да я сама, сама в случае чего...

Явлюсь лично в милицию, так все-таки лучше, чем распространяться по телефону. Все увидят, что я не потерял головы, иронически отношусь к письму, но... шаптаж, извольте принять меры. И ни у кого не повернется язык обмолвиться за моей спиной: «Дыма без огня...»

12

Я свернул с проспекта на улицу Лермонтова, упрямо ползущую в гору к старой церкви. По ней неторопливо шли редкие прохожие, время от времени с натугой брал подъем грузовик. Асфальт сух и нагрет, но запахи сырости, запахи еще зимней, непрогретой под асфальтом земли висели в воздухе. Из арок, со дворов обдавало погребной прохладой. Суэта осталась за спиной, утренний дремотный покой разлит по улице Лермонтова. Я почувствовал, как мало-помалу становлюсь человеком нормальных размеров.

Вот и церковь, единственное оставшееся в целости наследие села Карасино. Она глядела через дорогу на раскинувшийся внизу новый город Карасино. На тесноту коричнево-спекшихся железных крыш, на жестко геометричные, одного крупноблочного покроя здания-близнецы,

закрывшие собой когда-то вольную и ленивую речку Карасинку, на нарядно сливочные стены лодочной станции и дальше вглубь, за насыщенно голубую толщу воздуха пагрозово синие корпуса комбината — родителя города, его кормильца.

Старая церковь среди старых сосен. Когда-то она спесиво сторонилась села, спесиво и властно, как пастырь, глядела через пустырь на избяное стадо. Когда-то здесь был свой обособленный мирок, под сенью церкви и сосен пряталось нехитрое бревенчатое хозяйство звонаря, ключаря, сторожа, ветхого Амфилохия, дела Фильки в просторечии. А на задах, за церковной каменной стеной убегали из-под сосен на лысый жаркий пригорок пьяные кресты карасинского погоста. Под каким-то из этих крестов лежали неизвестные мне мои далекие прадеды и прабабки.

Погост давно исчез, жилой квартал похоронил могилы. Давно уже не плавают под закатным огнем золоченые кресты, давно темпы и ржавы купола-луковицы, и белизна церковных стен обманчива, там и сям они скалятся выщербленными кирпичами. Ничего другого не оставило городу село, только эту церковь и эти сосны. Все снесено, перерыто, застроено. Сосны, мне кажется, ничуть не подросли. Они и в годы моего детства были столь же стары и величественны. Подозреваю, даже вороньи гнезда на них все те же.

Сохранилась почти в целости витая железная ограда па кирпичных столбах. Лишь сильно поржавела она да нет узорчатой калитки. И, конечно, давно пет деревянной скамьи, стоявшей возле той калитки.

С этой выросшей в землю скамьи село Карасино не походило на себя: река с черной, ртутно тяжелой водой пряталась в пышные кусты, просевшие драночные крыши не выглядели нищими, чувствовалось, столетия обдували их, не разрушая, ничего не меняя, непоколебимо покойны, и закаты раскаленным морем разливались над селом, и разбегались по земле розовые певучие тропинки...

Одни закаты умирали над селом тихо и покорно, другие кровью пятнали серые крыши, зажигали пламя в ленивой реке.

К нам часто вылезал дед Филька, прямой и тощий, как огородное пугало, с ночным мраком в запавших глазницах — пе плоть, а тень, не человек, а кладбищенское видение. Каждый раз он говорил одно и то же удивительно мирным, почти баюкающим голосом:

— Любитесь, голуби? Дело божье. В писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь».

Исчезал бесшумно — не плоть, а тень.

Недавно я услышал, что Татьяна Ивановна Граубе снова вернулась в наш город. Она, разумеется, видела мой портрет в газете, слышала всю шумиху, связанную с моим шестидесятилетием. Раз уж обстоятельства напомнили ей обо мне, то хотел бы я знать, что думает она сейчас про меня?

И вдруг я врос в асфальт, дикая мысль пришла мне в голову.

Но я сразу же свирепо возмущился собой: «Ты с ума сошел! Какие основания?..» И потайной, трезвый голос холодно напомнил мне: «Ты же знаешь, что у нее есть основания».

Заломило поясницу, я вдруг почувствовал, что устал. Надо посидеть, отдохнуть, привести в порядок растрепанное хозяйство в моей седой голове. Надо возразить своему потайному голосу. Таня достаточно умна, чтоб все понять и оправдать...

Я прошел между выщербленными и осыпающимися известкой кирпичными столбами, оказался за церковной оградой, в тени сосен. Я знал, что здесь, под соснами, стоит обыкновенная тяжеловесная садовая скамейка. Не могли догадаться поставить ее под оградой возле столбов, где когда-то была ажурная калитка и где раньше стояла вросшая в землю наша скамья. Отсюда так плохо видно обновленное Карасино, только трубы и башни комбината в синих далях...

13

Таня достаточно умна, чтоб понять и оправдать...

Почему она, если не очень красивая, то уж, во всяком случае, не дурнушка, умная, прочитавшая кучу книг, русских и французских, единственная дочь недоступного для карасинцев Ивана Семеновича Граубе, почему она выделила среди других меня, носатого неловкого парнишку в дерюжных штанах, никак не умного, по ее привередливой мерке?.. Почему?..

Я много, много лет решал для себя эту задачу.

Выбрала среди других... Не такой уж у нее был большой выбор в Карасино. Я носатый, я неловкий, дерюжный, но другие-то парни были ничуть не лучше меня — столь же неструганые и дерюжные.

А простонародно неструганое в те годы почиталось, как в старину боярская родовитость. Таня, пожалуй, это почтение усвоила во младенчестве от отца, учителя-народника.

Наконец, она просто дочь своего отца, в ней тоже сидела щедрая душа педагога и поэта, которая страстно требовала — делись всем, чем богата. Для людей с педагогической душой нет большей награды, чем чье-то внимание. И она нашла это внимание, и, право, жадное, искреннее, у сына карасинского сапожника Кольки Ечевина.

Господи! Мне же шестьдесят лет, а я все еще помню ее близкое лицо в сумерках, мраморно, по-кладбищенски белеющее, и мрак искрящихся звездной пылью глаз, и ее голос, ручейково влажный, и шум сосен над головой... Этих самых сосен. Они и сейчас шумят...

Я сидел с закрытыми глазами, слушал далекий шум хвои. Неужели я и до сих пор ее люблю?..

Таня достаточно умна, чтоб понять и оправдать...

Это началось с того, что меня вызвал новый заведующий школой Иван Суков.

Он сидел в граубевском кабинете за большим директорским столом с тумбами, упирающимися в пол львиными лапами, пил чай из железной кружки в скупую прикусочку от ломтя ржаного хлеба, аккуратно положенного на газету.

— Мне вроде бы не след по-бабьи нос совать в молодые дела, где есть сплошной интим, — начал он сумрачно и решительно, — но боюсь, как бы ты, пролетарий, за красивые глазки свою кровную революцию не продал.

— Ты это о чем? — спросил я.

Я был учеником, Иван Суков заведующим. Мне едва исполнилось ~~четырнадцать лет~~, Сукову где-то под тридцать. Но такой уж порядок — нет старших, нет младших, все равны, любой и каждый имел право называть главу школы на «ты», иначе тот мог не на шутку обидеться: «Ты эти барские церемонии брось. Тут тебе не старый режим».

— Сам догадываешься, о чем. В истории, брат, примеры тому были наглядные. Вспомни Степана Разина. На что твердый мужик, да тоже чуть по пьянке не влип — на княжну позарился, законное негодование масс вызвал: «Нас на бабу променял». Так-то. Хорошо еще вовремя спохватился, классово чуждый княжеский элемент в набежавшую волну бросил.

— При чем тут княжна?

— Дочь прихвостня крупного капиталиста, твоего скрытого врага, княжны стоит.

— Да какой же Иван Семенович мне враг? Он учил меня, помогал. От отца я ни сапог, ни валенок в жизни не получал, а Иван Семенович в первый же год мне купил.

— Валенки... А он их сам катал? Катал-то их какой-нибудь мытарь, вроде твоего отца. Один Граубе юшку с рабочих жал, да так, что сам сожрать не мог, братцу подкидывал, мол, на спасение твоей и моей души букварей купи ребятишкам, валенки на крайнюю нуждишку подкинь, чтоб мы оба красиво гляделись, чтоб нас простaki хвалили. Семейка разбойничков, донага на морозе раздепут и пуговицу от рубахи отдадут — грейся, милоч, в пожки кланяйся. Темнота ты темнота, классовой ненависти в тебе ни на понюшку.

Иван Суков смотрел с суровой прямоотой в зрачки.

Я и сам понимал: какую-то уступочку себе делаю, закрываю глаза на то, что Иван Семенович не совсем свой для революции человек. Ну, а мой отец, чем он революции помог? Как тачал раньше сапоги, так и теперь тачает, как пил прежде горькую, так и теперь заливает. Но на моего отца Суков не замахивается. И я как умел выложил ему это. Иван Суков спокойно возразил:

— Твой отец в стороне, а почему? Темный он элемент. Просвети его, научи, открой глаза, будет свой. А почему в стороне этот Граубе — от темноты, от неучености? То-то и оно, что он нас сам учить собирается. Он нас, а не мы его.

— Ну и пусть учит. Что тут такого?

— Эва! А ежели он научит тебя своего братца любить? Мол, добр был, на бедность валенки давал, зря вы, такие-сякие, немытые, против него революцию устраиваете. Ты и теперь верить ему готов. А таких, как ты, целая школа. Можем мы допустить, чтоб в школе враги революции росли? За революцию ты или против?

— За, конечно.

— Тогда и не защищай Граубе.

Я молчал. Иван Суков с прищуром разглядывал меня.

— Молчишь? Мнешься? «Нас на бабу променял»?

И я закричал срывающимся, петушиным голосом:

— А она-то в чем виновата? Она-то не учит, сама учится! Тоже враг!

Суков не обиделся на мой крик, ожесточенно потер небритую щеку.

— С ней, конечно, не все ясно. Молода, но, поди, отец успел... Вряд ли наших взглядов.

— А если наших?

— Пусть докажет.

— Как?

— Выступит против отца. Честно! Напрямому! Без приседаний! Тогда доказано, девка наша. Вот проводи подготовочку!

«Проведи подготовочку» против родного отца!

Только аморальный тип не посовестится произнести эти слова подростку. Иван Суков аморальный?.. Ой нет! Иван Граубе, человек высокой души, нравственно был нисколько не чище его, не беззаветней, да и не добрей тож.

Жил Суков как птица небесная, спал то в кабинете на широком кожаном диване, то в сторожке при школе на дощатом топчане, ел когда придется и что придется, обычно на ходу ломоть хлеба, выуженный из кармана. Все имущество — то, что на нем надето, да еще плотницкий сундучок, где хранил единственную смеху штопаного бельишка и дорогой цейсовский бинокль, подаренный ему комдивом: «Прими, товарищ Суков, на всю жизнь и старайся разглядеть в него врагов революции».

Из лапотной и мякинной деревни, из обморочной российской глухомани выбросило этого бесхитростного парня в кипучую гущу классовой борьбы, в разбушевавшийся мировой пожар. Он едва умел читать по-печатному, но всем сердцем принял лозунг, переложенный с французского: «Экспроприируй экспроприаторов!» Цельная натура, он не ведал ни сомнений, ни рефлексий, а потому верил, как в «Отче наш»: род людской расколот пополам на паразитов и тружеников, иных на земле нет. Слова гимна:

Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда! —

стали для него святым законом. А так как сам он, Иван Суков, с раннего детства тяжело, по-мужичьи трудился, то и себя относил к полноправным властелинам планеты. К любому начальнику он являлся с несокрушимым убеждением, что и страна с ее богатствами, и сам начальник с его учрежденческим столом принадлежат ему, Ивану Сукову. Он не кричал, не возмущался, а лишь шурил свои деревенской голубизны глаза и вразумительно напоминал: «Эй-эй! Опомнись, дорогой товарищ. Ты кому это не да-

ешь, кому отказываешь? Ты хозяину отказываешь, пролетарского хозяина заставляешь себе в пожки кланяться».

Для себя он никогда и ничего не просил, а для других добивался невозможного: школьный сторож Иканор вдруг начал получать зарплату больше самого Сукова, больше любого из учителей; двенадцатилетняя девочка, внучка глухой бабы Рычковой, была проведена персональной пенсионеркой на том только основании, что она «дочь сельского пролетария, безвременно загубленного эксплуататорами». Он многих поставил на ноги, многим дал путевку в жизнь. И мне в том числе.

«Проведи подготовочку...» Мне и в голову не пришло осудить Ивана Сукова за эти слова, посомневаться в их праведности.

Не осуждал, но и не соглашался с ним, не хотел ему верить.

Моя мать ни разу не погладила меня по голове, постоянно мне напоминала, что я «хлебогад», «прорва», «постылое семя». Отец под пьяную руку из меня «давил масло», не помню, чтоб он когда-нибудь купил мне обливной пряник. И что я не «хлебогад», не «прорва», а человек, от которого можно ждать хорошее, убедил меня Иван Семенович Граубе. От него я впервые получил подарки, и не обливные пряники, а валенки и полушубок. Из-за него даже мои родители стали глядеть на меня с надеждой: «Колька-то уж-тко в люди выйдет».

И вот, оказывается, валенки, полушубок, апостольская возвышающая доброта неспроста... «Семейка разбойников, донага на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут...»

Я не хотел верить Сукову, но задуматься он меня заставил.

Иван Семенович содержал школу на деньги своего брата, сам находился на его содержании.

Почему этот брат, известный миллионер-капиталист, помогал учить бедных, даже покупал им валенки и полушубки?

Был слишком добр?

Может, он и разбогател-то от своей доброты, а не от того, что притеснял трудовой народ?

Я не знал, любить мне или ненавидеть Ивана Семеновича. Время от времени я голосом Ивана Сукова сам себе задавал беспощадный вопрос: «Кто тебе дороже — Иван Семенович Граубе или революция?»

«Проведи подготовочку...»

Носить в себе тяжелые сомнения и скрывать их от Тани — значит не доверять ей, значит заранее записывать ее в число врагов. Я обязан раз и навсегда выяснить с ней все начистоту. Раз и навсегда, без «подготовочки»!

Село внизу рассыпалось раскаленными на закате крышами, и лежала в берегах тяжело-ртутная река.

Таня слушала меня, низко наклонив голову. Был виден ее прямой пробор в темных волосах, полоска известково-белой кожи.

На содержании... От доброты ли содержал? От доброты ли разбогател?.. Почему таких добреньких подмела революция?.. Таня слушала меня и не возражала, сидела с опущенной головой.

— Таня, ты должна выступить!

Она подождала, не скажу ли я еще что-нибудь, спросила в землю:

— ~~Против кого выступить?~~

— Вот те раз! Говорил тебе, говорил!..

— Против отца выступить?

— Таня: или — или!

И она подняла голову, блестящие недобрые глаза, придушенный голос:

— Скажи, я честный человек?

Я не сразу ответил, я боялся подвоха.

— Молчишь? Может, ты сомневаешься в моей честности?

— Нет! Нет! Не сомневаюсь!

— А я добрая?

— Да...

— А я умная?..

— Да.

На секунду замаялась и спросила все тем же глухим голосом:

— Ты... любишь меня?

Впервые произнесено это слово! Я выдохнул сипло:

— Да.

— Так вот, все во мне от отца! От него честность, доброта и ум, какой имею. Если от таких отцов дети станут отказываться, знаешь... мир, наверное, тогда выродится.

И встала, хрупкая, легкая, непрочно связанная с землей, плечики вздернуты, тонкая косица падает по узкой, жесткой девчочьей спине, остроносое лицо заносчиво отведено в сторону. Она не хочет со мной больше разговаривать, она сейчас уйдет от меня, от нас!.. И я выкрикнул:

— Кто тебе дороже, отец или революция?!

— Знаешь... На провокаторские вопросы не отвечаю.
«Провокаторский...» Этого слова я тогда еще не знал, она при мне его ни разу не произносила.

Если дети станут отказываться от отцов, мир вырождается. Это было сказано сорок пять лет тому назад.

А сегодня мне самому пришлось вознегодовать: «Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Больше этого преступления только отцеубийство!»

Сорок пять лет спустя я вдруг повторил Танию.

Нет! Нет! Она слишком умна, должна понять, должна оправдать меня.

14

Мне было пятнадцать лет, и я вместе с Иваном Суковым свято верил: сермяжная правда в бедности, и каждый, кто хоть как-то прикасался к богатству, нечист.

Иван Суков проповедовал полное решимости: «Весь мир насилия мы разрушим». Иван Граубе нечто жиденькое: «Учение — свет, неучение — тьма».

Таня ушла от меня к отцу, к ним!

И была простая — проще таблицы умножения — логика: на содержании у богатого, богатым так просто стать нельзя, только пасируя, только грабя и обманывая народ. «Весь мир насилия мы разрушим...»

Таня ушла... Кто тебе дороже, Таня?..

Я не мог ее ненавидеть, и никакой Иван Суков не поставил бы меня: чувствуй к ней это! Не мог ненавидеть я и ее отца, Ивана Семеновича Граубе. Не было у меня ненависти даже к его нечисто богатому презренному брату. Но вопрос стоял так: кто мне дороже — они или революция?..

Таня ушла к ним...

Меня родная мать величала «хлебогадом», меня бил пьяный отец, с самого раннего детства на спине и на голове я чувствовал, что такое насилие. «Весь мир насилия мы разрушим...» Таня ушла к ним. Революция мне дороже.

Да, даже ее!

Иван Суков среди прочего неколебимо верил в силу, пронизательность, справедливость коллектива. Один ум хорошо, а два лучше, пять лучше двух, десять — пяти, а целый коллектив уже столь умен, что никогда не ошиба-

ется. Ни одно серьезное дело Иван Суков не проводил без общешкольного собрания, где в равной степени учитывалось слово и посевшего на ниве знаний педагога, и сопливого мальчишки, вчера севшего за парту.

На общее собрание Иван Суков вынес и обсуждение Ивана Семеновича Граубе. Родственные связи с капитализмом, интеллигентские замашки, отрыв от масс и т. д. и т. п. — все это умещалось в одной привычной формулировке «персональное дело».

На таком собрании не выступить, отмолчаться я не мог. Меня бы не исключили за это из школы, но про меня бы говорили, что я потерял классовое чутье, снюхался с чуждым элементом, «нас на бабу променял».

Пусть вспомнит каждый свои пятнадцать лет и ответит: найдется ли более страшное обвинение для человека в таком возрасте?..

Под потолком самого большого класса, в парно надышанном, сдобренном всеми ароматами дурно кормленной плоти воздухе под тусклым стеклом пятилинейной лампы медленно умирал вялый огонек. Только лица сидящих впереди сдержанно бронзовели под его светом, а дальше был мир теней, живущих во мраке, шевелящихся, сопящих, вздыхающих... Иван Семенович Граубе сидел в первом ряду, у него, как и у всех, было невинно бронзовое лицо и бронзовая лысина да еще остренько поблескивали очки на носу.

Я излагал бронзовым бесстрастным лицам все то, что уже говорил Тане, то, о чем все это время думал — свой нехитрый логический ряд. Бронзовые лица — учителя школы — молчали, но тени за ними в своем пещерном мраке подхватывали каждое мое слово. Бронзовым лицам моя логика казалась, верно, слишком простой, а ребятам вполне понятной, близкой.

Я говорил и был непримирим ко всему на свете, и в первую очередь к самому себе. Ради революции я жертвовал самым дорогим для себя — Таней! «В набежавшую волну!» Подвиг, сравнимый лишь с воспетым в песнях подвигом Стеньки Разина.

От Ивана Семеновича Граубе потребовали ответа. Он вышел на свет под лампу, повернулся лицом к бронзовым лицам, к мраку, заполненному теньями. Он гнулся под тяжестью своей объемистой отблескивающей головы. Он долго молчал, рассеянно поправляя на носу очки.

А собрание дышало шумно и ожидающе. Настала за-

хватывающая минута — лев загнан, но еще силен, предстоит схватка!

Как всегда, первые звуки его голоса невольно поразили неожиданной силой, спокойствием, бархатными интонациями.

— (Ечевин был моим учеником, — заговорил оп. — Я учил его отличать ложь от правды и не научил. Учил ненавидеть зло, уважать добро — не научил. Я жалкий банкрот! Я попусту жил, зря топтал землю, ел хлеб. Тут выкрики, требующие наказать меня. Увы, уже без вас наказан — сильнее невозможно.)

Он постоял, сгибаясь под тяжестью собственной головы, повернулся и ушел при общем серьезном и недоуменном молчании.

А утром его нашли в постели уже холодным. На столике лежало письмо: «Прошу никого не винить...» — и ключ от шкафа с химическими реактивами.

Хоронить Граубе неожиданно вышло все село. Бабы плакали, мужики молчаливо стояли без шапок под дождем. Я прятался в самом конце толпы, за спинами.

У Ивана Сукова была чистая совесть, он ни от кого не прятался, даже счел нужным сказать свое слово над гробом покойного: как всегда, призывал верить в грядущую мировую революцию и близкий конец загнивающей буржуазии.

В этот день мой отец напился пьяным и, завалившись домой, принялся меня бить, как давно уже не бил.

— У-у, выродок! От людей совестно! Кругом несут: мол, змея вырастил! У-у, рвотное! Мозги вышибу! Так и отца в одночасье за полушку!..

Я молча гнулся под отцовскими кулаками.

Таня какое-то время жила у одной учительницы, потом куда-то уехала.

Лет двадцать спустя, уже после войны, на областной учительской конференции я сидел в зале и слушал очередной доклад. Вдруг я visком ощутил направленный со стороны пристальный взгляд. Я обернулся и увидел: женщина с прозрачно бледным лицом, в синем шевиотовом костюме, униформе учительниц районного масштаба, отвела глаза. Я узнал ее — Татьяна Ивановна!

Я постеснялся подойти к ней во время перерыва. А постеснялся ли?.. Нет! Она достаточно умна, чтоб попать и простить.

Сосны шумели у меня над головой. Почтенные сосны, старше города, старше меня.

Тане, Татьяне Ивановне Граубе, в этом году тоже должно исполниться шестьдесят — мы ровесники.

Я сошел с ума! Я думаю, не она ли с непостижимой женской хитростью возвеличила себя — «я алкоголик», подписалась «Ваш бывший ученик»? Таня, дочь Граубе, грозит мне смертью? Несуразная дикость!..

«Выдающийся... самоотверженный... ум и совесть нашей педагогики»! Шумный юбилей! Николай Ечевин завоевывает мир!

А что должно мешать Тане считать меня убийцей своего отца? Причем наверняка таким, который действует из-за угла.

Но нет, нет! Она слишком умна...

Умна, чтоб понять, если я и убийца, то по неведению, не из-за кошелька.

По неведению?.. Отец Тапи несколько лет подряд изо дня в день учил меня, а безнадежно глупым меня не считали... Почему должна она оправдывать меня — не ведала, что творил?

Я виноват в том, что создал простенький, как частушка, логический постулат: тебя содержит богатый, каждый богатый — враг, значит, враг и ты! Откуда мне было знать в пятнадцать лет, что чаще всего приводит людей к беде слишком простая логика.

Она, дочь известного русского педагога Граубе, сама педагог, не может не считать, что только с чистыми руками и кристальной совестью можно заниматься воспитанием детей.

Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Боже мой! Я в ее глазах именно такой вот убийца!

И я справил триумфальный юбилей.

Есть ли на свете еще человек, который бы имел столь ощутимый повод ненавидеть меня? Ненавидеть и считать меня опасным для общества.

Но... «Я алкоголик... представитель человеческих отбросов... подозрительный философ забегаловок...»

Ты допускаешь, естественно, что полученное тобой письмо написано поддельным, подложным почерком, тогда столь же естественно, что и портретные черты автора должны быть в нем ложны, как и сам почерк.

И откуда знать, что Таня не нашла себе помощника, который может про себя сказать с чистой совестью «Я алкоголик» и даже «Ваш бывший ученик». Через меня прошло более трех тысяч учеников, не все они были Григориями Бухаловыми.

Тапя?.. Нет! Все-таки невероятно! Не умещается в мозг! Бред!..

Я встал и вышел из-под шумящих сосен. И снова внизу передо мной раскинулся мой город — веселое нагромождение нагретых солнцем железных крыш, каменных стен, тесные пропасти переулков, асфальтовые озера площадей. А давно ли дремлющее среди огородов, как овцы на выпасе, избяное стадо... Не верится, что за одну неполную человеческую жизнь можно навозить столько кирпича и так загромоздить землю этаж над этажом.

Земля, на которой я родился, изменилась, ничего похожего с прежней. Изменился и я, но так ли уж, чтоб ничего похожего?..

16

Я снова вынырнул из прошлого, как герой немудреного научно-фантастического рассказа, с легкостью путешествующий во времени. Стою на солнечном тротуаре, каждой порой своего тела ощущаю плывущую мимо жизнь, до оскомины знакомую, до невменяемости страшную. Письмо?.. Да здесь, здесь это письмо, в кармане, напротив сердца. О нем я не забывал даже в стране Прошлого.

Плывет мимо знакомая жизнь, нужно прыгать в ее поток. Я, кажется, шел в милицию за спасением... Перед милицейской фуражкой всегда чувствуешь себя виновным. Там спросят: «А кого вы подозреваете, уважаемый товарищ Ечевин?»

Подозреваю Таню, виноват, Татьяну Ивановну Граубе. Слышал, она недавно вдруг ни с того ни с сего вернулась в родной город, подозрительно!

И Таню вызовут... И Таня подумает: «Каким ты был, таким остался. Бьешь по-прежнему из-за угла...»

Во главе городской милиции стоит Вася Фомин... Он не исчезал надолго из моего поля зрения, уходил на фронт и возвращался, женился, рос по службе, ныне майор, но должность занимает такую, куда обычно ставят полковников — заметная принадлежность новенького, с иголочки города Карасино. Был когда-то стриженный крепыш, ти-

хоня, аккуратист, себе на уме, в учебе надежный среднячок...

Сколько лет знаю, но сейчас с удивлением почувствовал, что не могу ответить на такой важный для себя вопрос: как бывший ученик Фомин относится к своему старому учителю? Уважает ли? Любит ли?.. Ну, любит, положим. Учителя не обязательно бывают самоотверженными, а ученики благодарными. Знания — не сладкий плод, а горький корень. И чем настойчивей учитель кормит своих учеников этим неудобоваримым корнем, тем меньше шансов рассчитывать ему на их любовь. Конечно, Фомин встретит вежливо, даже внешне любовно — чтить и уважать старого учителя, но как знать, не подумает ли: «Отливаются кошечьи лапки слезы...» Бывший ученик...

— Здравствуйте, Николай Степанович.

Полная женщина в обвисшей кофте с двумя набитыми авоськами в руках, на лице взволнованный румянец, словно нежданно-негаданно встретила свою давнюю, неперегоревшую любовь, мать Левы Бочарова. И я наперед знаю ее вопрос:

— Как Лева, Николай Степанович?

— Все в порядке на этот раз.

Сейчас я чувствую себя виноватым перед всеми, хочется искупить какую-то вину, каяться, жаловаться, оправдываться. Хочется умиляться... Но это непедагогично, и я не добавлю ни слова к своему ответу. Однако и такой черствый ответ делает мать счастливой.

— Он слово нам дал, Николай Степанович. Мы с отцом ему сказали: будь как все. Если что, мы тебе просто не родители, иди работать. Так и сказали. И, честное слово, выполнили бы. Понял, обещание дал.

Я неопределенно промышал. Почему-то меня не обрадовала родительская поддержка. А мать счастлива, цветет молодым румянцем.

— Спасибо вам, это вы нас надоумили и поддержали. Большое спасибо, Николай Степанович.

— М-м... Не за что.

Мы простились. Она двинулась своей дорогой, сгибаясь под раздутыми авоськами, набитыми хлебом, кулками с крупой, бутылками с молоком, — любящая мать, охваченная родительским счастьем, ибо сын пообещал быть как все.

И я вспомнил последнее сочинение Левы, которое лежит у меня в портфеле. Как у всех, даже хуже...

Мне вдруг захотелось встретиться с Тапей. Не с той,

какой ее помню, а с сегодняшней, в сущности, незнакомым мне человеком. Встретиться, чтоб выслушать в лицо упрёки. Но это мечтание, а жизнь-то течет, и мне надо поспевать за ней.

В милицию мне идти незачем, значит, в школу.

17

Сравнительно недавно снесли школу Граубе — бревенчатый дом в два этажа с высокими печами-голландками, с деревянными лестницами, с крашеными изношенными полами, с тесными классными комнатами. Стены той школы хранили камерную уютность, в них всегда ощущался особый, сложный запах — чернил, старых, лежалых книг, копившейся десятилетиями пыли. Последнее время мы страдали от тесноты, но то была теснота скученной семьи.

Старую школу снесли, на ее месте поставлен небольшой магазин обуви, новая выстроена чуть в стороне по проспекту.

Она безупречна, эта новая школа. У нее гордый фасад — красный кирпич с прослойками белого, силикатного. По фасаду развернуты ряды одинаково размашистых окон, стекла больше, чем кирпичных простенков, за широким входом посреди вестибюля безмолвно трубит гипсовый горнист, призывает подняться по лестнице. Коридоры побольничному светлы. На белых дверях нет табличек — «V класс», «VI класс»... Нет классных комнат, есть только кабинеты — физики, математики, географии, истории, биологии, литературы, русского языка... Они же и классы, черные доски в них могут быть накрыты белыми экранами — смотри кино, правда, не смотрим, нет учебных фильмов. Есть конференц-зал, который легко превращается в театр. Есть обширный спортзал, где нельзя играть только в футбол. Новая школа раз в пять больше старой. В новой школе нет своих особых запахов, да и своего лица тоже нет — в точности похожа на остальные новые школы города.

Я признаю свою школу и красивой, и удобной, работаю в ней вот уже десять лет, но почему-то не перестаю чувствовать себя новоселом.

Только что кончился перерыв. Коридоры пусты, двери отрешенно закрыты, смутно доносятся из-за них голоса учителей, ведущих уроки. Из разных дверей разные голоса и неясные, сдержанные звуки, создающие насыщенную ат-

мосферу рабочего дня. Она меня всегда взбадривает, попадая в нее, я молодею.

Открывая дверь в учительскую, я услышал раздраженный разговор и невольно поморщился — каркающий голос Евгения Сергеевича Леденева, преподавателя литературы в старших классах.

Старая граубевская школа кончила свой век, магазин обуви — памятник на ее могиле. Но кое-что из той старой школы перекочевало в новую. Кое-что и кое-кто — вещи и люди.

В просторной солнечной учительской стоит длинный, под зеленым сукном стол. Еще до революции Иван Семенович Граубе собирал за ним своих педагогов. В прежних стенах стол казался подавляюще громадным, он не просто занимал всю тесноватую учительскую, он сам собой представлял учительскую, в семейную спайку он объединял еще не слишком разросшийся тогда преподавательский коллектив. И в те времена за этим столом никогда не слышалось раздоров, споры были чинны, сдержанны, учтивы, и учителя подымались из-за олицетворявшего педагогический оплот стола с ощущением надежности, ясности, наперед зная — так похвально, а так запретно.

В повой же учительской старый стол не кажется большим, занимает лишь часть комнаты, и давно уже все педагоги не умещаются за ним во время педсоветов. И все чаще и чаще за этим столом нарушаются мир и согласие, нередко вспыхивают склочные баталии, недостойные тех, кто своим примером призван воспитывать.

Первый в баталиях авангардист Леденев. Он окончил московский вуз, привез с собой столичные (последнего образца!) взгляды и столичную самоуверенность. Он не стесняется в открытую ругать не только утвержденные программы обучения — их все помаленьку поругивают! — но и клянет всю систему просвещения: классы устарели, урочный подход — анахронизм, отец существующий педагоги Ян Амос Коменский — трехсотлетняя древность.

Я не выношу ни его залихватских теориек, ни его самого. Мне крайне неприятен его голос — только язвительный, только напористо крикливый, никогда не нормальный, его угловатое лицо, тонконосое, тонкогубое, обезьяньи подвижное, с недобреньким блеском смородиновых глаз, его собранная, спортивная наилегчайшего веса фигурка, его манера одеваться с подчеркнутым презрением к общепринятым нормам — не носит галстуков и белых сорочек, является в школу в свитерах дамски бешеной расцветки.

Сейчас в пустой учительской Леденев спорил с завучем Надеждой Алексеевной. Этот спор начался тогда, когда Леденев переступил порог пашей школы, а кончится он наверняка с кончиной добросовестнейшей страдальцы Надежды Алексеевны. Впрочем, на ловца и зверь бежит, Леденев тогда найдет себе новую жертву.

— Я не могу допустить, чтоб дети на уроках слушали безправственные стишки, воспевающие пьянство! — уже причитающим голосом выдавала Надежда Алексеевна.

А Леденев спокоен. Леденев холоден, сидит, небрежно перекинув погу на погу, в своих трещащих от модности брючках. У него своя манера вести спор — быть спокойным до равнодушия и доводить противника до белого каления. И когда выведенный из равновесия противник сорвется, скажет глупость, неточно выразится, Леденев тут взрывается, начинает художественно неистовствовать.

— Во-первых, дети... — хмыкает он. — Этим детям, Надежда Алексеевна, шестнадцать, семнадцать лет. Уверяю вас: все они давно уже знают, что младенцев находят не в капусте.

— Может, вы предложите сделать это предметом преподавания?

— Может, и нужно будет когда-то ввести такой предмет.

Надежда Алексеевна в ответ лишь воздела к люстре руки.

— Во-вторых, как вы выразились, стишки... Извините, не стишки, а великие стихи — рубаи Омара Хайяма. В-третьих, считать шедевры мировой классической лирики безправственными есть ханжество или крайнее невежество!

— Николай Степанович! — как к свалившемуся с неба спасителю воззвала ко мне Надежда Алексеевна. — Николай Степанович! Вы послушайте только!

Мне неприятен Леденев, но на этот раз и Надежда Алексеевна не вызывает сочувствия. Воистину простота хуже воровства, надо же наброситься с упреками — читает ученикам не запланированного программой Омара Хайяма. И бабий беспомощный вопль: «Спасите, Николай Степанович!»

— Не могу согласиться с вами, Надежда Алексеевна, — сухо сказал я. — Бессмертные рубаи Хайяма не безправственны, а, напротив, высокоправственны.

Леденев небрежно перебросил ногу на ногу, ухмыльнулся. Его ухмылочка означала и то, что вряд ли я, по его мнению, человек не только старый, но и косный, могу

оценить Омара Хайяма и что — ха-ха! потешная ситуация! — Ромео и Джульетта карасинской педагогики вдруг не сошлись мнениями.

А Надежда Алексеевна захлебнулась от отчаяния:

— Николай Степанович! Вы же знаете, что Евгений Сергеевич только то и делает, что вытаскивает па уроки бессмертных! То Омар, то сонеты Шекспира...

— Так вы бы должны за столь широкий охват объяснить мне благодарность в приказе, — подсказал Леденев.

— Но на экзаменах-то у ваших учеников будут спрашивать не веселые, извините, все-таки с долей алкоголя стихи, не творчество повомодной поэтессы!..

— Вы хотите, чтоб я нацелил их только па экзаменационную отметку и не позволил молодым людям оглядываться по сторонам? Вы требуете, чтоб я запрещал им видеть многообразный мир человеческой культуры?..

— Но что, если ваши ученики угрожают время на алкогольные и безалкогольные произведения и не сдадут выпускных экзаменов?.. Вы им жизнь ломаете, Евгений Сергеевич! Жизнь! Элементарнейшая человеческая честность должна будить в вас чувство ответственности!

И наконец-то Леденев взвился со стула.

— Ах, честность... Вот вы о чем заговорили! Честность по принципу «чего изволите»? Честность по директиве! Честность, которую можно сменить при случае, как поношенную рубаху, если придет иное указание. Чем эта принципиальная честность отличается от трусливой беспринципности?!

Сегодня у меня нет никакого желания закрывать своей грудью Надежду Алексеевну. Я прошел в кабинет директора, бросив ее на растерзание Леденева. А Леденев за моей спиной гремел о казенной добросовестности и добросовестной казенщине, о бесстыдном лицемерии и стыдливой самостоятельности — художественно неистовствовал.

Кабинет директора свободен почти всегда. Наш директор непоседлив. Он свято верит, что у него в школе опытный педагогический коллектив, на который можно полностью положиться, а потому утонул целиком в хозяйственных делах. Летом наша школа первой в городе закончит ремонт, все ученики необеспеченных родителей будут устроены в пионерлагеря, многие учителя во время отпусков получают путевки на курорт... И все это директор проворачивает не из своего кабинета.

Я уселся за директорский стол, открыл портфель, достал пачку проверенных сочинений — Иван Грозный против родовитых бояр...

Сочинение Зыбковец: «Такой человек не мог желать людям лучшего... Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга». Жирная двойка — не наших взглядов...

А что наше и что чужое?

Странный вопрос, родственник детскому:

Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
Что такое хорошо?
Что такое плохо?

В дни моей молодости, где-то в конце двадцатых годов, любой царь осуждался с ненавистью — глава господ, верховный угнетатель, кровопийца народа номер один. Любой царь, в том числе и далекий Иван Грозный. Тогда бы я не сказал Зое: «Не наших взглядов».

Теперь никто не удивляется, когда превозносят кибернетику, а давно ли — буржуазная лженаука, никак не наша.

А каким враждебно не нашим был когда-то монах Мендель! Теперь он полностью наш, в почете и славе.

Был не нашим и Иван Семенович Граубе, поживи дольше, наверняка стал бы нашим.

Что наше, что чужое? «Что такое хорошо? Что такое плохо?» Могу ли я быть судьей?

И вообще кто я такой, на что я способен?

Вдруг как-то устрашающе полез мне в глаза знакомый кабинет. От фронтовиков приходилось не раз слышать: в минуты смертельной опасности начинаешь видеть то, что в обычном состоянии невозможно заметить. Один уверял меня: незадолго до своей контузии он разглядел на лице сидящего рядом товарища нечто — его конец. Две минуты спустя этот товарищ был убит наповал осколком разорвавшегося снаряда, а мой знакомый сильно контужен. Он узрел будущее.

И сейчас я не обычным зрением, а каким-то особым проницанием воспринял лицо кабинета. Я увидел не просто широкий полированный стол, телефон на нем, мягкие кресла по углам, я узрел не наглядные, грубо материальные вещи, а скорей то, как эти вещи связаны между собой. Увидел связи, а не предметы, не лицо окружающего мира, а его освобожденное внутреннее выражение — душу сущего.

Стол, за которым я сидел, стоял парадно, столу было отведено троечное место, но сидеть за ним было неудобно, свет из окна косо падал на правую руку, бросал тень на бумагу. А кресла засунуты глубоко в углы, стоят симметрично, но посетителю и в голову не придет ими воспользоваться. Хозяин, оснащавший кабинет, честолюбиво гордящийся мягкой полированной мебелью, повторял лишь то, что обычно без раздумья делают и другие. В таком кабинете, наверное, никогда не родятся дерзкие идеи.

Раньше этого я не видел... Я сейчас увидел многое в себе, чего и не подозревал.

Что наше, что чужое? Что такое хорошо? Что такое плохо? Я учитель! Но если я не отвечу на эти вопросы, то как же мне тогда учить других? Как и чему?.. А мне уже шестьдесят лет, жизнь позади...

Непривычно коротенькое ученическое сочинение лежало передо мной. Под ним моей рукой выведена жирная двойка. Я судья...

Назойливо лезет в глаза парадно сиротская душа чисто прибранного, сверкающего лаком заброшенного кабинета. Неуютно. Хочется встать и уйти. Но куда? Где мне теперь уютно?

Открылась дверь, вошла Надежда Алексеевна, лицо из одних багровых щек, тонкая батистовая кофточка сдерживает напор бурно вздымающихся грудей, уставилась мокро сверкающими глазами. Мне так нужно разобраться с самим собой, но придется выслушивать рыдающие жалобы.

— Сил нет! Нет больше сил! Самовлюбленный эгоист! Ничего святого! Наплевать на учеников! Наплевать на интересы коллектива!..

Хлынуло.

Я слушал, глядел на Надежду Алексеевну, на ее багровое лицо, на вздымающиеся груды. Она вот не сомневается, что может быть судьей. Ей наперед известно, что хорошо, что плохо, что наше, что чужое, где правда, где кривда.

— Наши законы для него, видите ли, не писаны! Трудовая дисциплина не обязательна! Что хочу, то и ворочу! Да еще с хамством, с наглой издевочкой. Сколько можно терпеть?..

Как, однако, постарела Надежда Алексеевна, как чудовищно раздалась, потолстела...

Лет двадцать назад явилась в школу студенточка, которой пришлось учиться в голодные военные годы: истощенное в голубизну лицо, прозрачные руки, тощие плечики и шестимесячная завивка. А я уже тогда был учите-

лем, работал директором, исполнял обязанности заведующего роно, проявил настойчивость, чтоб вернуться в школу, к преподаванию. На моих глазах она паливалась осанистой полнотой. С моей помощью научилась понимать, что хорошо, что плохо. Она вот и сейчас это твердо знает, добросовестная ученица.

И вдруг Надежда Алексеевна всхлипнула, поспешно вынула из кармана платочек.

— Господи! И он, он упрекает... В чем? Нечестна, мол, беспринципна!.. Николай Степанович, вы же меня знаете. Двадцать лет без передышки кручусь — днем уроки, вечерами общественные нагрузки, ночами ребячьи тетрадки. Пусть не сорок, как вы, а добрых двадцать лет я прикована к галере школьного обучения! А этот... Этот только что рядом с нами сел за весло и уже упрекает — нечестно гребень!.. Выгребика с мое!.. Николай Степанович, что же вы молчите, надеюсь, не думаете обо мне поledenевски...

— Не думаю,— сказал я.— Вы честный человек, Надежда Алексеевна.

Она мгновенно утешилась, облегченно вздохнула, промокнула платочком глаза.

— Столь же честный, как я сам,— добавил я, возражая с тоской письму, лежащему у меня в нагрудном кармане, напротив сердца.

Надежда Алексеевна встрепыхнулась было, чтоб сообщить с бурным возмущением — нет-де никакой необходимости утверждать очевидную банальность,— но тут раздался звонок.

Я засунул сочинение Зои Зыбковец в портфель, вышел из кабинета, предоставив Надежде Алексеевне немного поостыть в одиночестве.

В пустой учительской сидел Леденев, что-то углубленно читал, тербил черные жесткие волосы. /

Я стоял лицом к окну, спиной к дверям.

За окном виднелся тесный и тихий школьный двор, обсаженный акациями. Выбежали две девчушки в форменных коричневых платьицах и черных передниках — первые ласточки очнувшейся от очередного урока школы. Через минуту двор будет кишеть ребятишками, все высыпают на солнышко.

А за моей спиной просторная школа заполнялась знакомым гулом перемены, учительская — голосами учителей, шумом передвигаемых стульев, легким запахом табачного дыма.

Мне не нужно оборачиваться, чтоб узнать, кто вошел. По хлопку дверей, по голосу, по звуку шагов, даже по шороху платья я представлял себе вошедших учителей, видел их.

Вот, вежливенько посапывая, уютно уселся в кресло учитель географии Колесников, наверняка щупает ласковым глазом мою спину, ждет, когда обернусь, чтоб любезно поздороваться. Он еще молод, но уже рыхловат полон, с сибаритской ленивой осаночкой, которая, впрочем, ему идет. Он появился недавно, но сразу же вписался в ансамбль школы. Он ладит со мной, ладит с Надеждой Алексеевной, ладит с Ледневым, но себе на уме: без шума, не афишируя, делает странные вещи — не задает домашних заданий, не проводит на уроках опросы, заставляет учеников вести какие-то дневники путешествий, выставляет за них оценки.

А вот, бесшумно шелестя крепдешином, прошла химичка Берта Арнольдовна. И сразу же за ней раздалась тяжелая поступь низкорослой, коренастой, мужеподобной математички Анны Григорьевны. Сейчас они сойдутся и озабоченно заговорят о только что выставленных, свеженьких, с пылу с жару отметках:

— А Кошкин у меня снова «два» схватил. Не знаю, что с ним и делать...

Всю жизнь устремлены к одному — к благообразно выглядящим страницам классных журналов.

Гулким сварливым кашлем известил о своем появлении другой математик школы, Георгий Игнатьевич Каштан, в ребяческом обиходе Жорка Желудь. Он всего на два года моложе меня, работал до войны в комплексной школе, в деревеньке среди глухих болот, в войну воевал, трижды ранен, увешан орденами. На войне, по слухам, он был удивительно храбр, в школе же ни чудес храбрости, ни примеров энтузиазма не проявлял, скандалил по мелочам, но с оглядкой, побаивался, как бы его не направили куда-нибудь обратно в болота, к черту на кулички. Он знает свой предмет, неплохо его преподавает и почему-то не уверен в себе, мне кажется, что не любит преподавательское дело, болезненно утомляется от уроков, сейчас вот ждет не дождется того дня, когда выйдет на пенсию.

И еще один старый кадровик, Василий Емельянович,

учитель физики, добродушнейший человек, все терпящий и всех любящий. Впрочем, не всех. Он тайно недолюбливает двоих — Леву Бочарова и Альберта Эйнштейна. Теория относительности Эйнштейна — мозги свихнешь, а Лева Бочаров пазло с ней-то и надоедает на уроках.

Громкие голоса, всплески смеха, шум передвигаемых стульев — учительская ожила на свои десять отмеренных минут, до нового урока.

Я стоял спиной к ней, но видел ее во всех подробностях.

— Николай Степанович, голубчик, здравствуйте! Что же это вы в байроновской позе? Так сказать: «Коварной жизнью недовольный...»

Василий Емельянович, светясь очками, лысиной, золотой коронкой во рту, подошел ко мне.

— А вы знаете, кого я вчера на улице встретил? Представьте себе...

Василий Емельянович всегда со свежими новостями, всегда кого-то внезапно встречает, от кого-то передает привет.

— Елькина Антона помните?.. Немало же он всем нам крови попортил...

— Елкин?

— Вернулся, так сказать, в родные палестины. И знаете, положительное впечатление на меня произвел. Ничего схожего с прежним. Одет этак основательно — токарь высокой квалификации, женат, двое детей...

— Антон Елкин?..

— Именно! На углу проспекта наткнулся. Не узнал бы, если б он сам меня не окликнул. Поговорили на ходу, о вас он в газете читал...

Антон Елкин...

20

Я никогда не поверю в его благообразие. «Ничего схожего с прежним...» То-то и оно, что он никогда не повторялся, никогда не походил сам на себя.

Антон Елкин...

Думается, что каждый учитель, кто достаточно долго проработал в школе и пропустил через свои руки изрядное количество детей, рано или поздно сталкивается с таким — одним из сотен или даже тысяч, — который начинает вызывать обостренную, почти болезненную ненависть или от-

вращение, порой до ужаса. Ни силой воли, ни профессиональной тренированностью не вытравить из себя это. Можно лишь спрятать, притвориться, что, мол, нет ничего, по не отделаться.

Как-то до войны первого сентября я явился на первый урок в пятый класс, сформированный из учеников начальных школ. По случаю открытия учебного года я вырядился в белые — тогда модные — отутюженные брюки, в белые, начищенные зубным порошком брезентовые туфли. Я поздоровался с классом, попросил садиться и сам не без ритуальной картинности опустился на стул.

Опустился и почувствовал, что прилип к стулу своими белоснежными, без пятнышка, брюками, прилип основательно, что называется, всей площадью, постепенно ощущая противно, теплую, медленно проникающую сквозь ткань клееобразную массу. Ощутил и этакий знакомый смолистый запах, запах сапожной дратвы, сообразил, что сиденье моего черного стула кто-то покрыл слоем гудрона, валявшегося кучами рядом со школой. Если я и сумею незаметно отодрать себя от стула, то мои ослепительные брюки окажутся с тыла в черной жирной гудроновой коросте. Со стороны, наверное, это будет выглядеть как и положено, то есть смешно до коликов.

Я сидел и взирал на класс, а класс простодушно ждал, что скажет новый учитель. Я понял, что веселая затея не была коллективным творчеством.

И тут я увидел автора. Я учуял его шестым чувством и невольно содрогнулся от своего тоскливого ясновидения — он с этой минуты начал против меня беспощадную длительную партизанскую войну. Прилипший к стулу зад — первая вылазка!

Да, его лицо выделялось среди других. Все оно как-то тянулось вслед за носом — короткая, не прикрывающая крупные зубы верхняя губа, покатым подбородком... Мальчишка напоминал мне юного зубастого акулёнка, не откровенно злобного, однако хищного. Он смотрел со своей парты на меня округлым от любопытства маленьким глазом, и что-то жестоко веселое мнилось мне в его взгляде.

— Встань, пожалуйста. Да, да, ты.

И он охотно встал, не сводя с меня веселых пуговичных глаз: «Ты угадал, но попробуй-ка докажи». А я, приклеенный к стулу, как муха к капле меду, невольно признал его право на торжество.

— Как тебя зовут?

— Тошкой, а че?..

После того, что сделал, он позволял себе роскошь прикинуться дурачком, поиздеваться надо мной.

— Тебя до пятого класса не научили, как нужно отвечать на вопрос учителя?

— А че?.. Как? Не знаю.

И тут-то во мне начала подыматься пенависть. Да, она! И да, сразу!

Рождалось, без дураков, большое, серьезное чувство к несерьезному шпингалету каких-нибудь двенадцати лет от роду.

— Надо отвечать учителю полностью: меня зовут... Называй полностью свое имя и свою фамилию.

— Меня зовут Тошка Елькин.

— Что ж, Тошка так Тошка. Я попрошу тебя, Тошка Елькин, сходить в учительскую и позвать сюда директора.

И опять он с охотой кинулся исполнять мою просьбу.

Он не приходил долго, долго, а я сидел, припаянный сидалищем к стулу, и невпопад вел урок. Я начал осознавать, что имею дело не с простым пакостником — артистом своего рода.

И все-таки я его недооценивал.

Да, он привел, и не одного директора, а всех свободных от уроков учителей. Они ввалились в мой класс с тревожными лицами. Загромыхали крышки парт, ученики шумно поднялись с мест, я сидел истуканом.

— Николай Степанович, что случилось?.. — спросил директор. — Ваш ученик сказал, что с вами плохо...

И я попросил с невежливой досадой:

— Пусть кто-нибудь заберет весь класс, выведет его... хотя бы во двор. Оставьте нас вдвоем!

Директор недоуменно пожал плечом, но расспрашивать не стал, кивнул: делайте!

Была сутолока, был шум, разговоры, жалобы: «А у меня нога болит», вопросы: «А сумки с собой брать?», и возня, и строгие окрики. Я же сидел, словно каменный сфинкс. Директор с опаской косился на меня.

Наконец дверь захлопнулась и мы остались вдвоем.

— Так что же, в конце концов, стряслось?

Я уперся локтем в спинку стула, с треском отодрал себя от сиденья.

— Вот что!.. Попросите кого-нибудь раздобыть мне на время штаны.

Директором тогда у нас был вышедший в тираж бывший наркомпросовский работник — высокий, вальяжно

тучный, седой. Он редко одаривал даже улыбкой, а тут стал багроветь, таращить глаза и заколыхался.

— Ох! Простите!.. Я понимаю... Но ох! Ох!.. Ради бога... Я не могу!..

Антон Елькин...

Два с лишним года между нами шла война. Он пако-стил и другим учителям, все от него страдало, но меня он отмечал особенным вниманием.

Я открывал классный журнал, склонялся над ним, чтоб пробежать глазами список учеников и... начинал ожесточенно, рыдающе, взхлеб чихать. Потом оказывалось, что между страниц классного журнала насыпан тончайший порошок, адская смесь растертого перца с табаком:

Я расстегивал свой портфель и вздрагивал — на учительский стол выскакивала жаба.

Для всех остальных учеников я был строгий и взыскательный учитель, с кем шутить не следует, а для него удобная для потех фигура. Почему? Возможно, потому, что строг и взыскателен, неудобный материал для шутки, тем более лестно проявить свой изощренный артистизм.

Ничего нет унижительнее и опаснее для учителя, чем самооборона. Следует наступать, и я это начал. Во время уроков я подымал Антона Елькина в самые неожиданные для него моменты, я был придирчив к нему, но справедлив, не отказывал в хорошей оценке, если он того стоил, но уже не спускал ни малейшей оплошности. Он, безалаберный, недобросовестный и не очень способный в учебе, сначала пытался выдержать мое пристрастное внимание — выполнял все домашние задания, ловил каждое мое слово на уроках, — но надолго его не хватило, сломался, начал получать двойку за двойкой.

Однажды, как всегда, я подходил к дверям школы за несколько минут до звонка. И вдруг мимо моего носа с шумом, с ветром что-то пролетело. Оказавшаяся случайно рядом веснушчатая шестиклассница, недоумевающе разглядывала лежащий на земле кирпич. И я сразу же сообразил: кирпич был сброшен с крыши на мою голову.

Его поймали прямо на крыше. Сима Лучкова, веснушчатая шестиклассница, была живой свидетельницей при расследовании.

— Да, видела, как упал... Большущий-пребольшущий.

У Антона Елькина была только мать. «Одна его воспитывала, безотцовщина, поймите, ради Христа, это в виду». Не знавшая замужества женщина, мать-одиночка, измученная не только мелочными житейскими заботами, но и

своим «макиавеллистским» сыном. Пожалуй, ради нее я готов был простить юного террориста, но, увы, педсовет вынес единодушный приговор — исключить!

Мать Елькина плакала и униженно просила, а он сам упрямо смотрел в сторону с ринувшимся вперед лицом, с лицом, смахивающим на акулю морду, и короткая верхняя губа не прикрывала крупных перовных зубов... Смотрит в сторону, ничего не слышит, не выказывает жалости к матери, не желает расстаться со своей пенавистью, безнадежен.

[Антон Елькин и внезапное письмо...

А я-то грешил — господи! На кого? — на Татьяну Ивановну Граубе, столь же почтенную учительницу, как и я сам. В этом году ей тоже исполнится шестьдесят!

Антон Елькин! Как я мог забыть о нем!..

Учительская жила за моей спиной. Снова требовательно зазвонил звонок — перерыв окончен.

Чья-то рука мягко тронула меня за плечо. Я оглянулся — Надежда Алексеевна с озабоченным лицом.

— Николай Степанович, я вот тут к вам приглядываюсь... Вам что-то не по себе. Может, вам не стоит сегодня идти на уроки? Лучше домой, отдохните немного.

Как это соблазнительно — не пойти на урок!

Я не знаю, как оценить царя Ивана Грозного, не знаю, права ли Зыбковец вместе с Костомаровым, не знаю, как оправдать поставленную вчера двойку, как держаться с ребятами. Вчера входил в класс самоуверенный человек, считавший — каждое изреченное им слово есть истина. Сейчас нет уверенности ни в чем, смута и страх в душе.

Как соблазнительно спрятаться! Остаться бы наедине со своей непонятной болезнью.

Надежда Алексеевна с искренней тревогой заглядывала мне в глаза.

— Нет, отчего же... Я здоров.

Я подхватил свой портфель и, стараясь ни на кого не смотреть, пошел на урок, пугающий, как первый урок в жизни.

Класс десятый «А» — тридцать восемь человек па перевале из детства в зрелость, девицы с развитыми формами, парни с темным пушком усов. Тридцать восемь человек,

нетерпеливо досиживающие последние дни за школьными партами.

Мой класс, я в нем вот уже четыре года классный руководитель.

Тридцать восемь пар глаз уставились на меня с будничным ожиданием — впереди очередной урок, один из многих. Никто не подозревал, что их старый учитель Николай Степанович Ечевин к этому уроку пришел неподготовленным и не прочь сейчас услышать подсказку.

Не спеша я перебрал работы, вынул сочинение Зои Зыбковец, положил перед собой, оглядел класс. Все тридцать восемь ждали...

— Я вам прочту...

И прочел — цитата из Костомарова, короткое резюме: «Такой человек не мог желать людям лучшего... Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

Класс выслушал недоверчиво и настороженно — неспроста читает, должен клянуть или погладить. Зоя Зыбковец опустила голову, одно плечо напряженно приподнято, в скованной фигуре мучительное ожидание — клянет или погладит?

— Вчера я за это сочинение поставил двойку. Вчера поставил, сегодня сомневаюсь. Давайте поговорим.

Прекрасно сознаю, непедagogично. Но сорок лет берег свой авторитет, сорок лет воинственно занимал оборону! Пусть будет передышка, белый флаг на минуту.

Вопрос задан, но класс молчит, класс не верит мне: «На пушку берешь».

Ну, отвечать-то их я могу заставить.

— Шорохова!

Я начал с лучшей.

— Выйти к доске, Николай Степанович?

— Нет, можешь с места.

Лена Шорохова — копна волос, заполненная солнцем и воздухом, румяное открытое лицо с непроходящим выражением горделивой победности, ровные, сумрачно красивые брови.

— Я не согласна с Зоей. Иван Грозный казнил и вешал — мы все это знаем. Но мы знаем, что он завоевал Казань, при нем началось освоение Сибири, при нем на Руси появилось книгопечатание, при нем Россия стала по-настоящему связываться с Европой через Белое море...

Лена Шорохова — лучшая ученица, чемпион в классе по ответам. Она всегда наперед знает, что я хочу услы-

шать, и почти никогда не ошибается. И сейчас мне нравится ее гордое лицо, ее звучный убежденный голос. Да, именно это я бы и хотел сказать сам в возражение Зое, слово в слово. Способная ученица.

— Так что важнее? — продолжала Лена. — Что важней? Убийство каких-то дьячковых жен или эти большие, исторические дела?

Лена Шорохова победно села. Класс выслушал ее без какого-либо удивления или восхищения. Класс молчал со скучающим видом: «Ну, все же ясно».

«Убийство каких-то дьячковых жен...» — с пренебрежением.

«Дьячковы жены», наверное, были молоды и красивы, иначе не позарился бы на них пресветлый царь Иван Васильевич.

Красивы, молоды, как Лена Шорохова.

У Лены на открытом румянном лице написано: не надо меня хвалить, не надо, незачем! Пышные, воздушные волосы, крепкие плечи, брови, которые, наверное, уже сейчас сводят с ума парней.

«Убийство каких-то...» В ее возрасте мысль об убийстве даже мышонка должна вызывать отвращение. Для нее естественней впасть в девичий грех сентиментальности. И победное выражение на лице, и класс скучающе молчит. Что тут такого? Так и должно быть. «Убить каких-то...» Лена Шорохова кончает школу, я скоро напишу ей характеристику — способности выше всяких похвал, поведение самое примерное, прилежание самое наилучшее, общественница самая активная и, конечно же, хороший товарищ... Да, да, хороший товарищ, этого я не забуду написать. Все по самой высшей мерке, каждое слово утверждение — лучшего человека быть не может, идеальна. И с такой характеристикой она выйдет в жизнь.

Гордые брови, сильное, упругое тело — создана любить и быть любимой, рожать детей, стать матерью. Но «убить каких-то» — эка беда.

Лена Шорохова сама, возможно, неспособна убить и мышонка, противно, но убить человека — не маму, не папу, не младшего братишку, совсем незнакомого, — раз пужно, то отчего же... Голосую — за!

На меня напало смятение, а класс сонливо молчал, класс ничего не замечал..

— Бочаров! — позвал я.

Вскочил Лева Бочаров — невысок, подвижен, растрепан, большоголов, лобаст, тонкая шея с проклюнувшимся

кадычком, нос туфелькой, глаза наивны, певпины, голубы.

— Как ты считаешь?

Наивные глаза стали еще паивнее — лазурное небушко, и подумать не смей, что за ними скрываются какие-то каверзные мыслишки.

— Что считать, Николай Степанович? Шорохова ответила, а уж нам где уж...

По классу загуляли улыбочки, запахло развлечением. Бочаров глядел на меня голубым преданным взором.

— Ты с пей согласен?

— Напрасно вы, Николай Степанович, обо мне плохо думаете...

— А если я плохо думаю о Шороховой?

По классу продолжали гулять улыбочки, но глаза Бочарова стали напряженными, сталистыми.

А лицо Лены Шороховой по-прежнему покойно — не надо хвалить! — надменный поворот в сторону Бочарова. Она и мысли не допускает, что ошиблась в ответе, не сомневается, что в конце-то концов я ее похвалю. Она ждет от меня хода конем, который выведет ее в ферзи.

— Ну, что молчишь? — напомнил я Бочарову.

— А что говорить? — в голосе Бочарова вызов. — Вы подскажите, а я скажу. То, что нужно. Всегда готов.

— Что ж... Не хочешь, не надо. Садись.

Но Бочаров встал с желанием возражать: спрашивают — не отвечать, хотят посадить — садиться не следует. Он не любил чувствовать себя побежденным.

— Если начистоту, я за Зыбковец, Николай Степанович.

— Почему?

— Иван Грозный Сибирь осваивал — дело, конечно, большое, но даже ради этого большого дела я не хотел бы ему помогать. Шорохова готова, а я вот нет.

Нос туфелькой, вызывающий лоб, посеревшие, утратившие голубизну глаза. А рядом с Бочаровым все еще блаженно улыбался Хлынов, здоровый верзила, преданный бочаровский адъютант, всегда ждущий от своего друга веселой шуточки, ради шуточек верно служащий ему увесистыми кулаками.

Хлынов улыбался, но в классе повисло молчание, уже не то дремотно безразличное, какое было после ответа Лены Шороховой, а собранное, настороженное.

Все как-то уловили — сказаны серьезные, стоящие внимания слова.

«Что важней? Убийство каких-то дьячковых жен или эти большие, исторические дела?»

Хлынов жмурится.

— Хорошо,— произнес я, преодолевая легкую сипотцу в голосе.— Ты за Зыбковец, за ее взгляды, но почему ты написал сочинение, похожее на шороховское?

Бочаров сердито покраснел, потемневший взгляд стал злым, колючим.

— А мне, Николай Степанович, наплевать на царя Ивана и не наплевать па отметку, которую вы поставите в журнал.

Молчал класс. Ожидаяще ухмылялся Хлынов. Шорохова глядела мимо Бочарова и презрительно кривила сочную губку. Она надеялась на ход конем с моей стороны.

— Садись, Бочаров.

Он сел.

Молчал класс, молчал и я.

Давным-давно жил грозный царь Иван Васильевич, немало крови он пролил на своем веку. Что было, то было, принимай Ивана Грозного таким, каким он попал в историю.

Я люблю историю здраво и беспристрастно, не снисхожу к симпатиям и антипатиям. Кровав?.. Да, кто спорит! Но кровь-то эта питательна. «Убийство каких-то... жен...» Подумаешь. Как на опаре, поднялось русское великодержавное государство от Балтики до Тихого, от льдов полюса до прокаленных песков Кушки. Люблю историю...

Я, педагог, не воспитал негодования к убийству.

«Борьба Ивана Грозного носила прогрессивный характер...» И можно ли историю воспринимать холодно, без сердца? Не должна ли давным-давно пролитая кровь обжигать нас сегодня, как и кровь свежая?

Молчал класс, молчал и я.

В лице Шороховой появилось беспокойство, видать, начала догадываться, что хода конем не будет. Хлынов перестал ухмыляться, недоуменно косился на друга Леву. А друг Лева сердито прятал глаза.

После уроков я попросил Лену Шорохову проводить меня. Мне хотелось разглядеть в упор этого человека. Я проучил ее четыре года. Всегда она выделялась, всегда на глазах — лучшая из лучших, украшение земли.

Через меня прошло больше трех тысяч учеников. Это что-то около восьмидесяти классов. В каждом классе непременно была своя Лена Шорохова, а то две или три — лучшие из лучших...

Любил шороховых, не уживался с бочаровыми, не замечал таких, как Зоя Зыбковец.

Она идет со мной рядом. Господи! Какой румянец на ее щеках, густой, бархатный, звучный! И какие глаза, темные, встревоженные, с золотой глубинной искрой. Щедраты, мать-природа! Прекрасен человек!

Улица полуденна, прокалена уже непутучим весенним солнцем, благоухает бензинным перегаром и тополиной горечью — уж не лопнули ли в ближайшем скверике почки?.. Прохожих достаточно, но они сейчас не суетны, а, скорее, ленивы.

Улица почему-то теперь меня не пугает, хотя я постоянно помню о письме в кармане. На улице я, дичь, скорей всего налечу на охотника — «Ваш бывший ученик», честь имею!

— Какой предмет ты больше всего любишь? — задаю я Лене банальный вопрос.

И она тем не менее сразу не отвечает, загнав соболиные брови под беретик, думает. У нее по всем предметам круглые пятерки, какому отдать предпочтение?

— Историю ты любишь?

— Да, Николай Степанович.

— А черчение?

— Черчение? — переспрашивает она удивленно.

Я нарушил субординацию: после истории, своего — понимаю, наисущественнейшего — предмета, я вдруг спрашиваю о каком-то черчении.

— Люб-лю,— неуверенно говорит Лена на всякий случай.

— А математику?

— Люблю.

— А литературу?

— Люблю.

— А биологию?

— Люблю тоже.

— А что же ты не любишь?

Лене неловко от своей любвеобильности, и она несмело поправляется:

— Я вам не совсем верно сказала, Николай Степанович. Черчение я не очень... Кропотливо, время отнимает, а ни уму, ни сердцу.

— А кем ты собираешься стать?

— Точно пока не скажу... В какой-нибудь технический вуз.

— В технический?.. Но ты же черчение не любишь, а там это основной предмет. И зачем тебе технический? Ты же любишь историю.

— Что же, я не прочь на историка...

— Или же на физико-математический! Там черчение не нужно, готовят не техников, а теоретиков.

— Я бы туда с удовольствием, только ведь не каждый попадет...

— А биология... Впрочем, мы, кажется, уже дошли. Мне направо... Всего хорошего.

— До свидания, Николай Степанович,— бормочет несколько растерянная Лена.

— А черчение ты полюби... на всякий случай.

— Хорошо, Николай Степанович.

Господи! Какой румянец на ее щеках! И какие брови.

Я шел под напористым весенним солнцем в длинном пальто, слишком теплом пальто, топтал на асфальте свою кургузую тень. Мне надо где-то посидеть, прислушаться, разобраться в своих перепутанных мыслях, решить для себя вопрос: кто таков Николай Степанович Ечевин, проживший на белом свете шестьдесят лет? Что он за человек?

Я свернул в жиденький пустынный, с юными деревцами-удочками скверик при одном из многоэтажных зданий позади проспекта Молодости, присел там на скамеечку.

За оградой хороводились прохожие, в самом скверике кроме меня было только двое — мальчуган лет десяти и собака.

На мальчугане школьная фуражка сбита на затылок, пальтишко с оборванными пуговицами нараспашку, лицо красно и потно. Собака, низкорослая неказистая дворняга с вислыми ушами, со смышленной, почтительной, как у хорошего референта, мордой, с грозным именем Пират.

— Пират! Фу!.. К ноге, Пират!.. К ноге, тебе говорят! Ты слышишь, к ноге же! Ну!.. Молодец, Пират! Умница! Вот возьми...

И референтно-почтительный Пират весело расправляется с куском сахара.

Лена Шорохова... Что ж, она довольно-таки распространенный тип в людской среде — добросовестный попугай. Умеет зазубрить, умеет «с чувством, с толком, с расстановкой» повторить зазубренное. Правится — не правится,

любишь — не любишь, она просто не должна иметь страстей и антипатий, иначе нарушится ее гармоничная округлость ученицы-пятерочки. Полюбив что-то чуть-чуть сильнее, удели на это чуть-чуть больше времени, глядишь, на другое тебя не хватит, не вытянешь на пятерку, не станешь кругло смотреться.

Николай Степанович Ечевин, тебя упрекают: «Страшно, что Ваши ядовитые ученики — а они есть! — обретут уверенность в себе, начнут отравлять дальше и плодить ядовитых. Страшен Ваш дух! Кто знает, на сколько он переживет Вас, если не помешать».

Я страшен?.. «Бывший ученик», «алкоголик», «философ забегаловок» впадает в ту же ошибку, в какую впали неумеренные карасинцы, превозносившие меня во время юбилея: «Выдающийся... Самоотверженный... Ум и совесть...» Лены Шороховы и те, что хуже ее, появляются не по моей воле, не моими усилиями. В человеческой среде всегда рождается какой-то процент таких вот попугаистых и просто бессердечных особ. Обвиняй за это господа бога и не преувеличивай значение Николая Степановича Ечевина!

— Пират! К поге!.. Вот так, Пиратушка! Вот так... Ну, что?.. Что смотришь?.. Нет у меня сахара. Нет. Ты все съел...

Мальчишка говорил нарочито громко, недвусмысленно поглядывал на меня. На что же рассчитывает этот собачий педагог? Не думает ли он, что я ношу с собой сахар специально для таких вот случаев?

— Дяденька, сколько времени?

— А ты, дружок, в какой смене учишься?

— У нас сегодня уроков нет. У нас Наталья Ивановна заболела.

— Ты откуда?

— Я с Речной улицы.

Речная — другой конец города. Не нашей школы.

— А как же ты здесь оказался?

— Я к нему хожу. — Мальчишка указал на собаку, которая уже умильно и ласково поглядывала на меня. — Он здесь живет. Как свободное время, так к нему. Учить-то надо. Совсем был неученый. Теперь вот... Пират! К поге!.. Ну, Пират!.. Он сейчас знает, что у меня уже сахара нет. А так очень способный.

— За сахар учится?

Мальчуган сконфузился за корыстолюбивого пса, а вислоухий Пират ничуть, уменько и уважительно поглядыв-

вал на меня, как вышколенный гардеробщик, ждущий чаевых.

— Десять копеек сто грамм.

— Какие сто грамм?

— Да сахар, рассыпной...

— Что же с тобой делать, возьми.

Мальчуган почтительно, по как должное принял монетку, быстро снял с себя пояс, накинуд петлей на шею псу, вручил мне конец.

— Подержите, а то убежит... Я быстро, без очереди...

Я остался наедине с псом, не прошедшим полный курс обучения из-за нехватки сахара.

Пират сидел у моих ног с участливо понимающей мордой, перехватывал мой взгляд и вежливо возил по песку хвостом. Славный пес, ты ни в чем меня не подозреваешь, ты целиком доверился мне, спасибо тебе за это.

Что я делаю? Жалуюсь на недоверие! Я! Тот, кто недавно был вознесен до небес, кто не обойден ни званиями, ни наградами, кого почтительно величают — шутка ли! — первым гражданином своего города. И после этого жаловаться — не понят, нет доверия! Чудовищная неблагодарность.

Да, вознесен. Да, доверяют. Только я ли вознесен? Мне ли доверяют? Не другого ли Николая Степановича Ечевина, вымышленного, имеют при этом в виду? Вознесен и облечен доверием некий идеальный герой. Я не тот, моя жизнь не идеальна, она с проторями и убытками, я не лучше других, хотя, наверное, и не хуже.

Сорок лет я как умел рассказывал детям о прошлом и свято верил — это им пригодится в будущем. В светлом будущем, только в светлом! Я считал себя его строителем.

Лена Шорохова...

Мне как историку в общем-то хорошо известно, чем кончились усилия тех, кто пытался создать «новый порядок» через «убить каких-то», через лагеря с газовыми камерами и колючей проволокой. Светлое будущее! Лена Шорохова не уберет из этого будущего колючей проволоки.

Мне под ноги упала тень. Пират поднял умную морду, доброжелательно повозил хвостом по земле. Надо мной кто-то стоял.

Сначала в поле моего зрения попали туфли, мужские,

монументальные, на толстой подошве, потом пола темно-синего плаща, крупные руки с натруженными венами и, наконец, яркое клетчатое кашне. Я вздрогнул — в клетчатом кашне тонул скошенный подбородок. И оскал рвущихся вперед зубов...

Надо мной стоял и улыбался он... Антон Елькин.

На нем новенькая, чуть посаженная набок шляпа, да и весь он с иголки новенький, необмятый, показательный, как бесхитростно выраженный манекен в витрине провинциального магазина. Только лицо выставочного Елькина не гладкое и не запоминающееся, а потемневшее, сморщенное, по-прежнему порывающееся вперед вслед за острым носом, и по-прежнему верхняя губа не прикрывает хищных зубов.

— Николай Степанович, вы не узнаете меня?

В сквере пусто, не считая Пирата, восседающего вежливо и скуающе. За реденькими подстриженными кустами, за неширокой полосой асфальта юная мамаша толкает детскую коляску к дверям магазина. Пронеслась мимо «Волга»... «Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу...» — автор письма не сомневался в своем успехе. И каким гангстером должен стать за это время Антон Елькин?..

— Ну, конечно, где вам узнать меня, Николай Степанович. Таких, поди, тыщи прошли мимо вас.

Обмерший на скамейке, молчаливо пялящий глаза, судорожно вцепившийся в ремешок неказистой скуающей собаки — ощущение собственной нелепости придало мне силы, голос мой был чужим, глухим и бесцветным:

— Таких, как вы, немного... Елькин.

И он возрадовался, показывая все свои зубы:

— Узнали! Надо же!.. А я второй день возле школы толкаюсь — вдруг да, думаю, вдруг... Никого так не хотелось встретить, как вас, Николай Степанович.

— Что ж, вот... встретили.

— Надо же! Повезло!

Он топтался, а в любую минуту в скверик могли войти люди, и скоро должен вернуться мальчишка...

— Знаю, знаю, вы меня не любите... да за что?! Подлецом был, каюсь!

Не только в его голосе слышалась непонятная радость, но, странно, глаза его выражали смущение.

— Но теперь я другой, Николай Степанович, совсем другой! Человеком стал. Под Москвой работаю, в научном ОНБ, токарем, шестой разряд имею.

— Очень рад.

— Вот в газетке прочитал о вас и засосало... Над кем измывался, гаденыш! Совесть покою не дает: пакостил вам, а вы... Хотите верьте, хотите нет, а вы — да, да! — от паскудничества меня отвадили.

— Хоть теперь-то, Елькин, не издевайтесь. Ничего я с вами поделать не мог.

— Эх, Николай Степанович! Думаете, не знаю — заступались вы за меня, чтоб из школы не исключали... Один вы, все остальные учителя словно с цепи сорвались. А я им столько не насолил, сколько вам...

Уже подбирающийся к старости мой бывший ученик, которого при всем желании я не мог бы назвать удачным. Толща десятилетий, собственно, вся его самостоятельная жизнь — лицо-то в морщинах! — пролегла между нашим расставанием, никак не добрым, и этой минутой. Сейчас вижу в его узко посаженных к переносице глазах подозрительную влагу, и зубастая улыбка вовсе не хищна, а растерянна.

— Неужели вы меня вспоминали? — искренне удивился я, все еще не смея верить.

— Николай Степанович! — с жаром, с содроганием. — Я потом все, все кусочек по кусочку складывал: и как вы меня гоняли на уроках и как хорошие отметки ставили, ежели отвечал, и колы всаживали... Честные колы, Николай Степанович! Кусочек по кусочку сложилось, как вы за меня, скотину, воевали. Против меня — за меня! А верно, верно, хотел вас... да, кирпичом! Вас!.. О-о! Уже взрослый был, а как про это подумаю, так кипятком обдаст. Стыдно! Стыдно! И за белые брюки стыдно... — Елькин подался вперед, задышал. — Если можете... простите меня — за все разом!

Господи! За прошлое, ушедшее, прощать не только просто, но и приятно.

— Давно вас простил, — ответил я.

И Елькин возликовал, затоптался, замахал руками повенского плаща.

— Я знал, знал! Да разве такие, как вы, зло могут помнить?.. Вот ежели бы я... Эх, сделать бы вам что-то, пусть малое, но хорошее! Но где там... Не дано.

— Вы уже сделали, Елькин.

— Что?

— Добрые слова сказали. И вовремя.

Он подавленно махнул рукой.

— Вам? Мои слова?.. Эва! Поди, со всех сторон одни

благодарности слышите. От культурных людей, не мпечета... А в газетах сколько хороших слов о вас написали...

— А ваши дороже.

— Ну-у...

Пес обрадованно вскочил.

— Вот и я... Спасибо, дяденька.

Мальчишка, запыхавшийся, розовый, счастливый, держал в руке бумажный кулечек — концентрат будущей собачьей мудрости.

— Десять копеек сдачи возьмите... Пират! Ко мне!

У меня отняли собаку, я поднялся, протянул руку Елькину.

— Вы даже не представляете, как мне сейчас помогли.

— Ну-у... — Елкин почтительно подержался за мою руку. — Если такому балбесу большое добро сделали, то хорошие-то ученики, те, кто брать могли, что тогда получили? Ну-у...

Он, задохнувшийся от уважения, все-таки под конец подпортил мне праздник. Хорошие ученики... вроде Лены Шороховой. Да, они брали у меня все, что давал. Поблагодарит ли в будущем меня Лена Шорохова? И тот бывший, что написал письмо, не из хороших ли учеников?..

Но какой сияющий день обнимает город. Улица насквозь прогрета, обласкана. Тихая улица, отделенная от шумного проспекта величественной баррикадой зданий. Прохожие то ли разнеженно жмурятся от молодого солнца, то ли улыбаются от весеннего счастья тебе, случайному встречному. И можно понять мальчишку, сменявшего школу на покладистую дворняжку, — в такой день невыносимо под крышей, тянет под бездонное небо, на свободу, к отзывчивому другу, к бездумным маленьким радостям. Счастье жить на белом свете, чудесен он!

Самый враждебный из моих учеников благодарил сейчас. С дрожью в голосе. А когда-то целился кирпичом в голову... Благодарил — невообразимо, противоестественно.

Ой ли? Чему, собственно, удивляться? Воевал я или нет за этого неуживчивого балбеса? Защищал или не защищал его?.. Было! Было! Он повзрослел, поумнел, проникся. Чуда нет, все естественно.

Ей-ей, Николай Степанович Ечевин, в тебя верят, а ты разуверился, казнишь себя за грехи, забываешь о достоинствах. Они все-таки есть в тебе, достоинства. И грехи тоже. Кто без грехов? Больше ли их у тебя, чем у других?

Лена Шорохова — твой грех? Да, допустим. Но столь ли он страшен, чтоб им уничтожать себя без пощады? «Убить каких-то» с бездушной легкостью. Ты ужаснулся — бессердечна! Ан нет. Попугай не сознает того, что говорит: Можно ли сомневаться — никогда и никого не убьет в своей жизни. Будет любить, будет любимой, все данные тому налицо. Умопомрачительные брови, цветущее здоровье взывают к жизни, не к смерти. Сейчас сияющий день, незачем портить его Леной Шороховой, во всю силу возрадуйся перерождению Антона Елькина.

Но письмо... Оно у тебя в нагрудном кармане, лежит против сердца. Его написал не Антон Елькин, а, сколько ни шарь в своей памяти, большего врага нет, не найдешь — никто не испытывал к тебе такой ненависти, чтоб сокрушить череп кирпичом. Кто-то же написал это письмо! Чья ненависть обращена к тебе? Чем ее объяснить?

Светлый день не терпел загадок, объяснение прямо-таки свалилось на меня с синего неба, простое, как любое озарение, подарок свыше.

Тебя поразило признание в письме: «Кто я? Я алкоголик, и это самое яркое мое отличие. Во всем остальном ничтожество...» Подозрительный философ забегаювок... Поразился и не увидел — вот он, ответ!

Конечно же, среди тысяч твоих учеников должны оказаться и неудачники и свихнувшиеся ничтожества. Наверяд ли ты в том сильно повинен. Людская жизнь, увы, всегда выбрасывает пену.

Сознавать свое ничтожество и не озлобляться на удачливых? Прочитать в газете о твоём юбилее и не проникнуться злобной завистью?.. А он к тому же и алкаш, пожирающее пламя зависти привык топить в водке, самоотравляя себя при этом — сам признается! — подозрительной философией. И в пьяном угаре растравил себя — возомнил ангелом-мстителем. Элементарно же, письмо — всего-навсего пьяный бред, о котором забывают напрочь, когда приходит похмелье.

Согретая улица передо мной, тонкое голое деревцо застенчиво бросает кружевную тень на просохший асфальт, на складном дюралевом стулике под стеной — солнечным пятиэтажием — восседал усохший древний старичок, с невозмутимой бессмысленностью созерцающий радостный мир. Даже этот отрешенный дед воззрился с тревожным недоумением, когда я вдруг рассмеялся.

А как мне не смеяться?

Потерявший голову заяц метался сам от себя. И стоит

воочию представить себе этого затравленного зайца: солиден и почтенен, обременен прожитым шестидесятилетием, натужно пытается сохранить величавость — умри, но будь респектабелен. Такой-то вот суетливо убегает и нагоняет себя, честно пытается разделаться с собой и хитрит, увиливает, плетет затейливые петли.

А сколько несусветной подозрительности, изощренной фантазии породил страх! Даже Таню Граубе, добрейшую, любящую, ныне уже пожилую интеллигентную женщину, вообразил... О господи! Таня — убийца! Совсем спятил, заяц! Ну, как не расхотаться. Устраивает же жизнь веселые шуточки.

Слава богу, что еще не кинулся под защиту милиции: спасите! Милиция — от самого себя... То-то бы веселились люди за твоей спиной. Фу-у, хватит!

Я решительно свернул с тихой улицы к шумному проспекту, к людям, которых только что по-заячьи боялся. Вышагивал и изумлялся своей простоте, качал головой: ну и ну, клюнул на пьяную выдумку.

Ах, хорошо сейчас в буйно весеннем городе. Хорошо и успокоительно легко в толпе — человек, как и все, один из многих. Вместе с людьми, в окружении их идти и идти без конца...

Но я подошел к своему подъезду. Мой дом для меня не самое веселое и уютное место на земле, но всегда покорно прячусь в нем. И сейчас не могу миновать, должен подняться на пятый этаж...

Дом — школа — дом — школа. Основная жизнь у меня в школе, там я обычно оставляю девять десятых своих сил. Школа — мой крестный путь до могилы, а дом — лишь транзитный зал ожидания при пересадке с одного дня на другой.

Отперев своим ключом дверь, занося ногу за порог, я услышал негромкие голоса — в доме гостя, не та, что радует сердце. Младшая дочь Вера...

В нашей белой кухоньке уютно и празднично. Стол застелен хрустящей скатеркой. Висящее над крышами, уставившееся в наше окно косматое солнце разбилось, разбрызгалось по чашкам, чайнику, сахарнице — старинный фарфор в обильной позолоте, фамильная реликвия жены.

Жена, устало обмякшая, вдавленная в стул, непово-

ротливая, виновато и кротко блеснула на меня очками, на рыхлом, расплывшемся лице давно подготовленная мольба: «Ради бога, Коля...»

Вера, тонкая, натянуто прямая, взведенная, ускользающе глянула куда-то мимо моего уха, кивнула головой. У нее малярийно желтое лицо, высокий, но узкий, сдавленный с висков лоб, худоба ощущается даже в копчике носа, глаза широко распахнутые и непропицаемо пустые, не пускающие чужого взгляда внутрь. И она, как всегда, дурно одета, оскорбляюще для родительского глаза: неизменный серенький жакетик, жмуший под мышками, застиранное ситцевое платье в клоповых цветочках, красные огрубевшие руки вылезают тонкими запястьями из слишком коротких рукавов. Эти белые хрупкие девичьи запястья всегда вызывают у меня саднящее чувство, напоминающая мне Веру в нежном возрасте, ласковую Веру, не ведающую о несчастьях.

Она давно несчастна, заразно несчастна, не только сама тонет в беде, родители захлебываются ее неудачами.

Мы с женой не знали от детей особой радости.

Я прилагал все усилия, чтоб две старшие дочери учились хорошо. Наверно, слишком большие усилия. Привыкли, что дома за спиной постоянно стоит строгий отец: «Ты выполнила задание? Ты выучила? Ты прочитала?» Выполняли, учили, в школе были не на плохом счету, краснеть не приходилось, но какого труда это стоило!

Хотелось, чтоб они продолжили дело отца. В мечтах я уже видел себя родоначальником педагогической династии Ечевиных. Дочери не возражали против неединства. Не возражали, но особенно не стремились — раз надо, так надо, не все ли равно куда. В институте не стоял за их спинами требовательный отец: «Ты выучила? Ты подготовила?» Старшая дочь еще кое-как, с трудом получила диплом и назначение на работу в глухой лесной поселок. Там она поспешно вышла замуж за начальника лесопункта, старого холостяка, нарожала детей, бросила учительскую работу, пишет сейчас скупые письма: «Живы, здоровы...»

Средняя бросила институт в первый же год, устроилась в больницу медсестрой. Странно, никогда она не отличалась ни мягкостью, ни участливостью, напротив, молчалива и нелюдима, но, должно быть, медсестрой оказалась и внимательной, и самостоятельной, и наверняка толковой. Жизнь себе она прокладывала какими-то порывистыми скачками — помогала в операциях ведущему

хирургу, метнулась от него на какие-то медицинские курсы, не задержалась там, сдала в медицинский областной институт, через год перебралась в Ленинград, пожелала учиться у какого-то медицинского светила, где-то прирабатывала, как-то жила, училась. Светило после окончания пригласил ее к себе в клинику, а она отказалась, добилась распределения в ту периферийную больницу, где начинала медсестрой. Теперь она там главврачом, держит в ежовых рукавицах медперсонал, в том числе и старого хирурга, которому когда-то помогала оперировать. Больница ее славится по области. Казалось бы, я должен радоваться успехам дочери. Не могу, да и не имею права — добилась всего наперекор мне. И сама она неохотно вспоминает родителей, ни разу не приезжала в гости, не приглашала к себе, писем не пишет, лишь аккуратно шлет поздравления на Новый год, на дни рождения. У нее что-то не ладится с замужеством...

Старшие дочери до обидного похожи на меня — носаты, ширококосты, не ладно скроены, да крепко сшиты. Младшая, Вера, росла на редкость миловидной — хрупка, нежна, рыжеволоса, голубоглаза. В мать?.. Пожалуй. Только чудесно улучшенный вариант, без каких-либо следов телесной сырости, душевной варености — легка, звонка, смешлива, остра на язычок.

И училась она хорошо, не приходилось стоять за спиной.

Иногда, видя ее склоненную над столом бронзовую, расчесанную на косой пробор голову, ее белую, тонкую, с трогательной косточкой у основания шеи, я чувствовал — не перенесу, задыхаюсь, сердце останавливается от любви к ней. И не только к ней. Я начинал все любить без разбора — ее мать, свою рыхлую слезливую жену, яркость дня, если была солнечная погода, сырую уютную пасмурность, если за окном шел дождь, первого встречного на улице за то, что живет в одно время с ней, под одним с ней небом.

Возле нее я даже ощущал себя как бы бессмертным. Так ли уж важно, что я, нелесный, скрипящий, отнюдь не совершенный, в конце концов исчезну с лица земли. Вон сидит возрожденная из ничего моя кровь, моя плоть, моя молодость. Мое Я будет дряхлеть и распадаться, но никогда до конца не исчезнет. Вон она с белой шейкой, нежная, хрупкая, совсем не похожая на меня, видоизмененная, улучшенная — мой шаг в вечность, в беспредельное.

Шестнадцать долгих лет я был глубоко убежден, что

она появилась на свет с единственной целью сделать меня, недостойного, счастливым.

И вот в девятом классе...

Это несчастье вползло к нам постепенно — вместе со слухами с улицы, вместе с испытующе пристальными взглядами коллег-учителей, вместе с переменной в характере Веры, ее заплаканными глазами, ее необычайной кротостью, ее беспричинными истериками и, наконец, чудовищно неправдоподобными, но тем не менее очевидными приметами.

Мы не могли в это поверить сразу — долго прятались, оскорблялись, благородно негодовали на гнусных сплетников и... В конце концов пришлось поверить — чудовищно, но это так!

В девятом классе Вера забеременела. Шестнадцати лет!

Бронзоволосое голубоглазое чудо, щедрый родник любви и радости, моя возрожденная молодость, олицетворенное бессмертие... Все шестнадцать лет я верил в это, шестнадцать лет я был пьян своим тихим счастьем.

Она училась в нашей школе. Я тогда, не снимая преподавательского бремени, тащил на себе воз заведования учебной частью.

Теперь, похоже, не столь болезненно относятся к подобным случаям — щекотливы, но не катастрофичны. Тогда нравственность оберегали не в пример строже, если не сказать — беспощадней. И хоть аборт уже не считался уголовным преступлением, но широкая огласка была неизбежной.

Стрясись это с любой из учениц — широкий скандал, бедствие для всей школы. По всему городу суды и пересуды, родители оскорблены в своих лучших чувствах, переполнены страхом за своих детей, роно организует специальные комиссии, облоно засылает угрожающие запросы, вмешиваются городские организации. Моральное разложение в стенах школы, шутка сказать!

С любой из учениц — бедствие, а тут дочь педагога, Я имел за спиной тридцатилетний безупречный педагогический стаж, считался одним из лучших учителей города. И вот этот-то лучший, опытнейший, авторитетнейший не смог достойно воспитать свою дочь, можно ли доверять ему воспитание чужих?

Что ни шаг, я натыкался на недомолвки, на двусмысленные шуточки, слышал за своей спиной похихатывание, купался в липких взглядах, направленных со всех сторон.

И директриса школы, молодая и энергичная бабенка, не работавшая никогда по-настоящему педагогом, а всего лишь руководившая, встречала меня не иначе как с выражением нестерпимой зубной боли, ежедневно бегала в рон советоваться: «А на самом деле, не освободить ли Ечевина?..»

И я должен был избегать встреч с родителями учениц, уже вошедших в пору любовных томлений и подходящих к оной.

А домой наведывались любопытствующие и беспардонные соседи, прикрывающиеся маской сочувствия и доброжелательности, поровили решить со мной всеплетный вопрос о нравственном падении в наш суетный и греховный век.

Жена, и в покойное-то время постоянно ожидавшая беды, теперь валялась с примочками и припарками. Удушливо пахло лекарствами.

Выпроводив соседей, закрывшись, забаррикадировавшись, я, недостойный воспитатель, недостойный отец, наступал на дочь:

— Кто он?

В подурневшее, опухшее от слез, пятнисто красное лицо:

— Кто он, развратная девка?

И деревянное молчание, и мертвенное равнодушие опухшего лица, и взгляд в сторону затравленных красных глаз. Безобразна и бесчувственна — ни слова в ответ.

Бронзоволосое чудо! Прозрачная молочность кожи, ясная голубизна глаз, неистощимый родник радости... Все, что было, обман. Истинный вид, вот он — безобразна, бесчувственна.

Кто?.. Он неожиданно сам явился ко мне на дом. Крутые плечи, боксерская прическа, до зелени бледное лицо, увиливающий взгляд.

— Я люблю ее. Мы любим... — бессвязная сентиментальная дребедень, взятая напрокат из душеспасительных романов, готов, видите ли, жениться, «благословите, батюшка»!

Учитель физкультуры! Новый удар в спину. Если бы ученик, то к прежнему позору не прибыло бы — моральное разложение как было, так и есть, только до конца выявлено. Но учитель!..

Я представил, каким кипящим фонтаном забрызжет на меня наша директриса. Под ее ногами загорится земля: морально разложились в школе не только ученики, но и

учителя! Директриса постарается выскочить из пламени, сунуть туда меня.

Готов жениться, великовозрастный дурак! Готов, будто не знает, что это вопреки законам, писаным и неписанным. Невесте же всего шестнадцать, ни один загс не оформит брака. Готов, ишь ты, самоотверженность. И увиливающий взгляд, и губы дрожат — знает, кошка блудливая, чье мясо съела, пока не поздно, пришел с повинной.

— Я люблю ее... Мы любим...

Этому Казанове с боксерской прической повезло. С общего согласия роно, директрисы, да и меня тоже решено было не раздувать сыр-бор, а потому Казанову уволили с преподавания физкультуры с нелестной, но, однако, не убийственной формулировкой, предложили исчезнуть из возрождающегося города Карасино. И он решительно и охотно это сделал.

— Я люблю... Мы любим...

Где уж. С тех пор от него ни звука.

Я сам настаивал, чтоб Веру исключили из школы. Да и как иначе? Могла ли она снова сесть за парту? Ученики глядели бы на нее, как на воплощенную непристойность, презрительно и вожделенно. Я же должен был как-то показать, что не мирволю, наоборот, резко осуждаю поведение беспутной дочери. «На том стою и не могу иначе!»

Не мог, да, признаться, и не хотел. Родник счастья... Как я ее любил! В душу плюнула... Я перестал разговаривать с дочерью.

Ребенок прожил два месяца и умер. Вера устроилась учетчицей на автобазу.

Я мечтал о педагогической династии Ечевиных. Одна дочь у меня домашняя хозяйка, другая мне вопреки врач... Автобаза при строительном управлении — грубый мир шоферни, сердитые, с площадным фольклором споры о простоях, постоянно всплывающие истории о «левых» езדках, о махинациях со стройматериалами.

А когда-то она читала Плутарха из моей библиотеки, знала наизусть куски из «Илиады».

Жена снова лежала с примочками, снова в наших стенах едко пахло нашатырным спиртом. Вера не только устроилась на работу, но и получила койку в барачном общежитии. Рыженькая девочка с молочной шейкой...

Десять лет прошло с тех пор. Был ли в этом десятилетии день, не оравленный судьбой Веры?..

Не советуясь ни с кем, она вышла замуж. Муж, шо-

фер, которого милиция эпизодически лишала права садиться за руль, ее бил. И ко всему у них появился сын...

Неудачи Веры никогда не были только ее собственностью, всегда перекидывались под крышу родного дома. Заразно несчастна!

25

Вера частенько навещала мать, старалась делать это, когда я был в школе. В последнее время, похоже, дочь стала приходить не только к матери.

Вот и сейчас... Гладко зачесанные назад волосы стянуты в узелок на затылке, и кажется, кожа лица так туго натянута, что проступают все кости, ни дать ни взять изнуренная страданиями за весь род людской богородица.

И скользкий мимо меня взгляд. И робкий взгляд жены: «Ради бога, Коля!»

— Налить?.. — со вздохом, словно с места на место перевалила тяжкую глыбу, спросила жена.

— Налей.

— Отец!.. — неожиданно с чистым звоном в голосе произнесла Вера.

Полная рука жены, протянувшаяся за чашкой, дрогнула.

— Отец! Ты кругом меня обворовал, не воруй последнюю.

— Верочка... Ну что я тебе говорила?

— Мама, ты все уступаешь, а я уж к стенке прижата, отступать мне некуда.

Куда девалась непробиваемая пустота в глазах — сухие, сирые, горячие, и лицо медное, чеканное. Не смиренница — страстотерпица, от такой покорности не жди.

— Я тебя обворовал? — спросил я. — Может, признаешься: сама себя раба бьет.

— За свое я сполна ответила. Не бей лежащую!

— Ох, Вера, Вера, сук под собой рубишь, — пробормотала мать.

Между нами назрела война. Нам крайне пужно поговорить без крика, без слез. Я хочу глядеть ей в глаза, я хочу слышать ее возражения.

В прошлом году Вера преподнесла пам повенькое.

Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев

она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую.

Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама, и что души праведников не уносятся в небо.

В городе Карасино было два Дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще где-то в тридцатом при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слухом не слыхали. Они тихо выплыли после войны.

Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться — накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи: баптисты собираются и пляшут нагие... Нет, они от военной службы отказываются...

Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих, показывая себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто — молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители города постепенно потеряли к ним интерес, хотя для нормального карасинца баптист все равно оставался темной лошадкой — если он и не пляшет нагишом на сборищах, то все равно живет не по-людски и думает «не по-нашенски», свихнувшийся.

Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жепя горького пьяницы, руганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости: «Люби ближнего своего». И: «Бог есть любовь!»

За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность карасинские баптисты выбрали ее своей старшей, пресвитером — на их языке.

А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О Вере узнали все, узнали тогда и мы с женой.

Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову...

Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды правдивенно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали,

к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом.

Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом. В пьяном виде усиленно убеждал: «Бога нет, сука!»

Но у Веры сын, мой внук...

Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребенка шести лет делают святошей?..

Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца. Но я не имел достаточно веских причин, чтоб с помощью закона отобрать внука. Пил и безобразничал отец — и то поди-ка еще докажи! — а мать внешне вела себя безупречно, нельзя наказывать ее лишением материнства.

Теперь сама мать дает повод.

Я не хотел бы еще раз обижать Веру, заставлять ее страдать.

Не хотел бы, но... Как всегда. Вера выступает в роли врага самой себе. И, как всегда, через мое посредничество!

Вбивать ребенку сказки о божьих куцах, о райских кущах, о бесхитростном бессмертии души!.. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полеты с планеты на планету, когда высоко мыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец то, что извечно приписывалось лишь господу богу: из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь!.. И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхозаветную особь, поклоняющуюся отцу, сыну и духу святому, покорно считающую себя рабом божьим, страшющуюся божьей кары... Не значит ли это пустить в мир духовного уroda?!

И этот урод — мой внук, сын Веры.

Я знаю, он единственная радость в ее отравленной жизни. Она любит сына и калечит его.

Я это вижу. Вижу и не спасу.

Почему?

Потому, что не хочу ранить и без того израненную дочь. Потому, что мне жаль ее. Пусть себе тешится.

Эта утеша стоит человеческой жизни!

Вера — вечный враг сама себе... через мое посредничество.

Сухие синие, мимо глядящие глаза.

Я стараюсь в них заглянуть.

— В чем я повинен, Вера? — спрашиваю я. — В том, что тогда осудил тебя? А мог я не осудить?..

Вера молчала.

— Или, по-твоему, я, учитель, должен был поддерживать столь... ну, безупречное, скажем, поведение школьницы?.. Что, мол, такого — норма. От таких нравственных норм тлен и ржа пойдут по нашему обществу!..

Вера молчала, глядела в сторону.

— Или я должен пренебречь общими интересами?! Лишь бы спасти от позора дочь?! Ради родственности измени всему?

Она медленно заговорила:

— Помнишь, как-то ты мне рассказывал о язычниках, которые для своих богов убивали людей... Задабровали...

— Уж не хочешь ли ты тут найти сходство со мной?

— Те дикари считали: заколем одного человека — всему племени польза. Общая польза требует...

— Да-а... Отец-язычник бросил на заклание родную дочь!..

Вера не отвечала, глядела в сторону.

— А может, ты все-таки согласишься в то, что я охотнее бы бросил себя на заклание, чем тебя?..

Вера молчала.

— Себя ради общего... Неужели не веришь?

Вера скривила губы.

— Верю... И других, и себя. Ты ни к кому не добр, отец. Даже к себе.

— Не добр?.. Страшнее всего, Вера, вредное добро, сладкий яд.

— Разве бывает такое?.. Немасляное масло, безвоздушный воздух, вредное добро?

— А вспомни, как часто калечит детей материнская доброта!

— Не трогай это!

— Ты себе жизнь искалечила, где гарантия, что не искалечишь и сыну?

— Коля... Ради бога, Коля!

— Соня, Вера же наверняка сама не хочет, чтоб жизнь Ленки походила на ее собственную. Или я не прав?

— Ты прав. Не хочу! Потому и должен сын быть со мной, а не с тобой, отец.

— Но что ты можешь ему дать? Покойное детство? Так сама знаешь, что оно не будет покойным с отцом, напивающимся до белой горячки. Знания?.. Так его окружает обстановка невежества. Стремление к большим делам?.. А ваше стремление назад повернуто — к Христу, к его учению двухтысячелетней давности.

Она сидела выпрямившись, лицо ее угрожающе одеревенело, глаза ее поблескивали нездоровым, лихорадочным блеском.

— Не молчи, Вера, скажи: что ты дашь сыну?

— Что?.. — горловым голосом переспросила она. — Свою любовь. От любви несчастными не бывают, отец.

— Пусть я неспособен любить, но тут же сидит твоя мать. Она-то может любить или нет? Неужели и в ней сомневаешься?

— Дышать не падышалась бы на Ленечку, Вера.

— Мама! Ты и на меня падышаться не могла, а что вышло? Твою любовь отец съедает.

Сухие, блестящие, лихорадочные глаза... А я любил Веру, наверное, люблю и сейчас. Это моя единственная большая любовь в жизни. Таню Граубе я любил по-мальчишески, незрело, еще несерьезно. Жену как-то слишком трезво, слишком ровно...

— Ко мне опасно Ленюку подпускать, а к мужу твоему — не опасно, — сказал я почти сварливо.

— Он лучше тебя, отец. Какое сравнение, — убежденно произнесла Вера.

И я задохнулся.

— Вот как... Лучше... Спроси свою мать, помнит ли она, чтоб я валялся пьяным, чтоб когда-нибудь замахнулся на нее...

— Он от любви дерется, а ты душишь... от любви.

Мне стало вдруг все безразлично — добро и зло, праведность и неправедность, любовь и ненависть, все испарилось во вспыхнувшем негодовании. Я безнадежен, я исчадие! Да, господа, думайте все что вам угодно! И я сказал скрежещущим, несмазанным голосом:

— Кончим. Все равно не пойдем. Что смогу, все сделаю, чтоб взять к себе внука.

Минута молчания. Вера на этот раз смотрела мне прямо в переносицу обжигающими глазами. Я любил ее? Люблю сейчас? Ложь! Ненавижу! Столь же сильно, как и она меня.

— Ты сможешь... — голос глухой и какой-то вязкий. — Ты почетный, к тебе прислушаются. Сможешь, но не смей!

— Угроза?

— Да!

— Вера... Ради бога, Вера!

— Мама, я не себя защищаю.

— Ради бога, Верочка...

Вера встала. Она была высока и стройна поджарой, угловатой стройностью больной женщины.

И я понял, чем она мне угрожает! Упало сердце, закололо дыхание — неужели посмеет?.. Замкнутое, ожесточенное лицо — да, посмеет, не так уж и дорога ей своя неудавшаяся жизнь.

— Ве-ра... — с трудом справляюсь с непослушным голосом. — Ты все-таки знаешь, что я тебя люблю, Вера.

Она, сведя челюсти, молчала.

— Знаешь, что и я тогда не выживу... Потому, что люблю, Вера, люблю!..

— Оставь меня в покое, — глухо, в сторону, не шевеля губами, не дрогнув ни одним мускулом.

— То есть не люби, забудь?.. А можно это приказать себе, Вера?

О, опять упрямое, нелюдимое молчание.

— Я, наверно, плох, Вера, но ты хуже меня. На любовь — ненависть! Умру сама, а отомщу...

Молчание. Непробиваемое молчание. И я обессилел.

— Иди... — устало согласился я. — И радуйся — ты победила.

Но все же ждал, ждал от нее слова жалости, хотя бы одного слова — должна же опомниться! Нет...

— Прощай, — неумолимо и беспощадно. — Больше не приду кланяться.

У нее на ногах были тяжелые мужские сапоги, и поступь у них была туповато увесистая, материнская.

Хлопнула дверь, она вышла.

— Коля... Ради бога, Коля!

Жена, издав свой слабый призыв к миру, возвышалась сейчас над неприбранным столом — массивный и беспомощный идол дома.

А я вдруг почему-то припомнил, как мы когда-то хо-

дили по грибы за Жулибинские пожни. Верочке тогда было уже лет десять-одиннадцать.

Деревня Жулибино до сих пор стоит на своем месте, сохранились и пожни за ней, и обширное грибное разнотравье. Только теперь все это — деревню, затянутые кустарниками пожни, леса — перечеркивает новое, раскатанное до синевы шоссе, соединяющее город Карасино с остальным миром. Ныне за грибами ездят уже на автобусах целыми учреждениями, коллективами, с ящиками пива, с проигрывателями и аккордеонами...

Люблю собирать грибы. Люблю душную тишь леса, запах корневой влаги, запах земли и прелой листвы, тонкий, невнятный, какой-то недоказуемый запах самих грибов. Люблю палые желтые листья на жесткой приосенней траве, литую дробь черники на кочках, румяное полыхание брусники, и в моем сердце каждый раз случается легкий обвал, когда глаза нащупывают бархатный затылок затаившегося гриба.

Вере было лет десять-одиннадцать...

Не скажу, чтоб тогда был грибной на отличку год. Не из тех, когда из лесу тянутся вереницы со стопущими от тяжести корзинами. Просто был разгар сезона и нам, наверно, чуть-чуть повезло — попали в лес перед очередной волной грибников. Нам то и дело приходилось вынимать из травы, из-под корней то нахохлившихся, твердо литых, словно развесные гирьки, подростков, то развесистых, с рыхлыми шляпками стариков. Что ни гриб, то физиономия!

Помнится, у меня на душе было не совсем спокойно. Я тогда замещал ушедшего в отпуск директора школы и должен был переслать в районные инстанции какую-то важную заявку. Мне не успели подготовить бумаги, а потому в тихом лесу меня точил червь ответственности.

В тени на прохладной траве мы раскинули скатерку, разложили багровые помидоры, огурцы, копченую, маслянисто потеющую колбасу. Шелестела листва над головой, и где-то в буйной зелени, в глубоком овраге, в чреве земли усердно шевелился ручеек. Жена хмурилась и улыбалась, а Верочка, наоборот, была сурово-сосредоточенна, худа, черна от солнца. В свои десять лет она успела стать страстной до иступления охотницей за грибами, в лесу на ее мордашке всегда появлялось выражение: «Я сюда не шутить пришла».

Как, однако, хорошо, только вот проклятая заявка!..

Мы ели брызжащие соком помидоры, пили пахнущий

березовым веником чай из термоса, а наши глаза, поблуждав по сторонам, возвращались к корзинам. Уж очень они были изобильны — по самый верх заполнены крепкими шляпками! И суетливо жил в чреве земли ручей...

Неожиданно Вера вздернула голову, во всей ее худенькой подобранной фигуре появилось эдакое устремленное выражение, как у собаки, учуявшей дичь. Ничего не говоря, она поднялась, сомнамбулически двинулась к кустам, остановилась, пригнулась и... сдавленно крикнув, упала на колени.

— Глядите! — Вера пружинно вскочила, поднимая над головой обеими руками какой-то предмет. — Глядите!

Ее лицо было искажено. Мы глядели и сами понемногу заражались веселым ужасом.

— Глядите! Вот!

Несколько козлых скачков, Вера приблизилась к нам, протянула тонкие, опаленные солнцем девчоночьи руки... В них было что-то несуразное, до безобразия грубо изматое.

Жена первая воскликнула, в точности повторив сдавленный выкрик Веры. Крикнул от изумления и я.

В тонких немогущих руках девчонки был гриб... Да нет, не гриб, а величественное сооружение природы, модель неведомого мира. Шляпа, словно географический континент с изрезанной береговой линией, с заливами и бухтами, с долинами и наплывами плоскогорий, с бугристыми хребтами и жаждущими влаги озерами, выеденными улитками. Шляпа — континент, а нога — беременный Атлант, коряв, скалист, источен протоками. Извергает же из себя такое мать-земля!

Перед лицом чуда вдруг стали жалкими наши ordinarily внушительные корзины, побледнели все прошлые удачи и даже забылась не поданная своевременно срочная заявка. Извергает же такое!.. Господи! Да все трывтрава!..

Вера несла гриб к дому, как хоругвь. Встречные женщины охали, мужчины провожали нас красноречивой немотностью.

Городской автобус, провозивший нас по развороченным строительством улицам, гудел, как растревоженный улей. Люди никогда не бывают равнодушны к чуду.

На следующий день к Вере нагрянул фотокорреспондент местной газеты, недавно ставшей из мелкоформатной районной большеформатной городской.

Мутненькая фотография девочки с чудовищным до

безобразия грибом была помещена на четвертой странице: «Десятилетняя Вера Ечевина, собирая грибы в лесу, нашла... местные старожилы не помнят такого...»

В ту осень наша Вера подняла на поги добрую часть населения города, воскресенье за воскресеньем в лес двигались полчища. Люди равнодушны к чуду.

Что-то легкое, освежающее жизнь принес тогда этот маленький случай.

А заявка... Ровно ничего не случилось оттого, что я подал ее на два дня позже.

Но, как всегда, что-то все-таки портило нашу легкую радость. Жена почему-то пугалась, суеверно повторяла:

— Ох, не к добру! Ох, удача с грибами всегда к беде!

Почему же я сейчас вдруг вспомнил тот далекий и в общем-то ничтожный случай?

Это, наверное, был самый счастливый день в жизни Веры. В моей тоже...

Она ушла от меня с угрозой.

А может, я неправильно эту угрозу понял...

Верин муж имеет право с полным основанием сказать про себя: «Я алкоголик!» Возможно даже, что он был когда-то и моим учеником, среди тех трех тысяч, что прошли через мои руки...

Вера всегда отличалась неумеренностью, она не остановится ни перед чем, чтоб отстоять от меня своего сына.

А знаменитый чудо-гриб был съеден вместе с другими грибами...

28

Жена возвышалась над неприбранным столом, упрямо и смятенно вглядывалась в меня сквозь очки.

— Коля,— произнесла она негромко.

Я вздрогнул, ее голос слишком спокоен для такой мипуты.

— Да, Соня?

— Скажи, в самом деле, добрый ты человек или злой?

— Величественная, неподвижная, расплывшаяся по стулу — моя жена, мой крест и моя опора. Почти четыре десятилетия мы живем тесно друг с другом. Ни я не изменял ей, ни она мне. Четыре десятилетия взаимной верности — может, это противостоит, может, подвиг тер-

пения, а может, как знать, тут-то и есть истинная родственность душ? Не дай бог, если она умрет раньше. Пустота окажется рядом со мной, страшная, бездонная пропасть, которую уже ничем не смогу заполнить. Сорок лет друг с другом, но я давно полюбил и уединение в стенах своего дома... Она задает мне вопрос. Станный?.. Да нет, обычный, который ей стоило бы задать сорок лет тому назад.

Я вздохнул и ответил.

— Бей уж прямо, Соня, не стесняйся.

— Ошибаешься, не скажу «нет». Ты добрый.

— Тебе идет роль миротворицы. В молодости ты другой была.

— В молодости?.. Вот молодость-то я и вспомнила сейчас. Как ты меня заставлял: не усидчива — переломи себя, легкомысленна — читай серьезные книги, будь такой да будь этакой. А меня, девку, на танцульки тянуло и вместо Маркса и Плеханова «Графа Монте-Кристо» почитать. И скандалила, и сцены устраивала. О господи, как давно это было, не верится даже, было ли... Хотел добра, слов нет. Или не так?..

Я молчал.

— И что получилось, Коля? Стала я умной, начитанной?.. Да нет же, клушей комнатной стала. Книг серьезных так и не осилила, кухонный передник не снимала, жиром вот заплыла...

— Соня, не надо...

— Старших дочерей заставлял учиться, дышать им не давал, не смей от книг головы поднять, и что же?.. А как ты Верочку... Разве можно подумать, что со зла да с ненависти... Нет, конечно...

— Не надо, Соня.

— Всю жизнь целишься сделать хорошее, да дьявол за твоей спиной путает, твой мед дегтем оборачивает. Не виню тебя... Но от твоей-то безвинности другим не легче, Коля.

Она с усилием поднялась, выросла на фоне жаркого, заполненного садящимся солнцем окна — громоздкая, монументально-горделивая. Голос ее был по-прежнему пугающе тих:

— Вот что я тебе скажу, Коля: ты мне добра желал, старшим дочерям желал, Вере желал, не желай его Леньке — хватит! Одного да обереги от своей доброты.

Я закрылся в своей комнате. На моем столе благородно поблескивал кортик лейтенанта Бухалова.

Добрый я человек или злой?

Гриша Бухалов ответил бы, не задумываясь: да, добрый, другого мнения и быть не может. Антон Елькин, столь не похожий на Гришу, неожиданно для меня — тоже!

А Вера иного мнения.

И неизвестный автор письма...

Кто же такой Николай Степанович Ечевин, проживший уже на свете шесть десятков лет?

Я не приспособленец и не карьерист. Большую часть своей жизни я отдал нелегкому труду. Я работал по двенадцать, четырнадцать, а то и по шестнадцать часов в сутки! Я никогда не гнался за длинным рублем, за свои сорок трудовых лет не нажил себе ни палат, ни чинов, ни громкой славы. Меня выделили и обласкали в шестьдесят лет! Несколько раз мне представлялась возможность занять некий командный пост. Я не воспользовался случаем.

Если Гриша Бухалов проявил себя, «смертью смерть поправ», то я всей своей долгой нелегкой жизнью, кажется, доказал, что жил не для себя!

Но все это не дает прямого ответа на вопрос: добрый я или злой?

Лена Шорохова произнесла на уроке недобрые слова, и, увы, мне приходится признать, что и я повинен в ее опасной недоброте. Я, добрый, оказывается, порождал недоброе!

Так что же я за человек?

И как мне стать иным?

Вчера я намерен был написать Лене Шороховой хвалебную характеристику: «Способна сверх всяких похвал, поведение примерное, хороший товарищ». Сегодня у меня открылись на нее глаза, сегодня такую характеристику я писать не хочу.

Может, это и есть первый шаг, чтобы стать иным?

Как просто его сделать. Когда нужно, сядь за стол, положи перед собой бумагу и... «склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся!..»

За окном густо бронзовел закат. Снаружи свершалось обычное космическое действие — одним своим боком наша планета отворачивалась от светила. Одним своим боком, где расположен мой материк, моя страна, мой город, мой дом, я... Из сумеречного кабинета, из тесной соты я, ли-

личинка, слежу за величаво-бездрушным движением вселенной и терзаюсь своим: как мне, личинке, изменить свое поведение?

Хочу стать иным, совершать иные поступки! Я не хожу себе, черт возьми!..

Лена Шорохова сама никого не убьет, но проголосует: «Я за!»

Бронзовел закат за окном, и тревога вползала мне в душу.

Сесть за стол, написать на листе бумаги вместо одних слов другие, вместо ошибочных верные, беспощадно отражающие то, что есть, характеристику: бойтесь ее! И после этого открыть перед ней дверь из школы в жизнь. Жестко же ты наказываешь девушку с гордыми бровями. Только за что? Не за то ли, что ты не сумел научить ее человечности и отзывчивости, не развил чувства самостоятельности, передал ей свое ледяное бесстрашие к истории, к той крови, которая когда-то зло окрашивала века и народы. Передал ей свое, а теперь содрогаешься — бойтесь ее!

Ничего себе — хочу стать иным. Свои мутные грехи собираюсь свалить на девчонку! Педагог с сорокалетним стажем! Ну нет, этого я не сделаю.

Но характеристику-то Лене Шороховой писать придется.

Так заведено, не мне отменять. Такие характеристики пишутся каждый год, я написал их тысячи... Не миновать и теперь! Несколько строк, неполную страницу...

Не свалю на девушку ошибки своей долгой и невнятной жизни. До этого не опускаюсь. Тогда что мне остается? Писать по-старому: «Способна сверх всяких... Хороший товарищ...» Раньше как думал, так и писал, я был искренен, не кривил душой. Но теперь-то думаю иначе...

Бронзовел закат, планета равнодушно загоняла в космическую тень мой материк, меня вместе с ним. В своей уютной, обогретой соте корчилась личинка. Нет, сам я сидел за столом неподвижно, пахохлившись, корчился и стонал во мне мой жалкий дух: хочу быть добрым и честным! Личинка жаждет стать Человеком!

Я всегда охотно протягивал осуждающий перст на своего ближнего: «Ты сподличал! Ты солгал! Дурпой человек, как ты смеешь?!» Я был строг к другим и считал: стоит только этим другим захотеть, как они легко перестанут лгать и подличать. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» Возьми себя в руки и ты станешь хорошим.

Я готов взять себя в руки — хочу быть чистым, всей душой ненавижу ложь! Но мне придется писать характеристику на Лену Шорохову... В твердой памяти, в светлом сознании, при обращении ко лжи я буду лгать.

До сих пор я что думал, то и говорил, как говорил, так и поступал, теперь же буду думать одно, а говорить и поступать иначе. Я чуть поумнел, и правда оказалась противоположенной мне. Никто не заставляет, никто не насилует меня — солги, превознеси недостойную.

Я собираюсь лгать и двурушничать по своей воле.

Хочу быть иным — лучше, чем был! Хочу искренне!

Не могу. И не знаю почему. Никого не упрекнешь, даже себя...

Люди добрые! Гибнет человек, сам видит это и бессилен остановиться — ратуйте!

30

Хотя через окно с улицы доносились голоса и смех, грохот проезжавших мотоциклов, но тишина облепила меня вплотную. Я сидел, оглушенный ею.

В моей жизни происходила очередная катастрофа — в эту минуту я становился менее качественным человеком по сравнению со вчерашним Ечевиным. Тот был более цельной и прямодушной натурой.

Но и тому угрожают. Ученик готов поднять руку на учителя.

В общем-то учепики постоянно поднимались на учителей. «Платон мне друг, но истина дороже!» Коль такое случается, значит, мир не в застое.

Не «убить Вас», а «Платон мне друг...». Тот, кто сказал эти слова, проявил силу своих убеждений, ему не нужно было прибегать к угрозам. Те, кто защищал свои убеждения с помощью ножа или плахи, скорей всего, сами не очень-то верили в них. Пугали и жили в обнимку со страхом.

«Убить Вас...» Мой грозный Робеспьер, какое сжигающее бессилие ты пережил, прежде чем написать эти слова? «Убить Вас!» — отчаяние курицы, бросающейся на лису, зыбкая соломинка утопающего.

Недавно на весенней обогретой улице, под юным весенним солнцем я поборол страх, смеялся над собой: «Потерявший голову заяц, бегущий от самого себя». Прав, уморительно, если картинно представить.

Но не зря же мне не хотелось возвращаться домой, чуял, что там меня сторожит мой преследователь, мое второе беспощадное Я. Снова смятенно беги от него и прячься. Зачем? Можно ли спрятаться от себя?

Кортик Гриши Бухалова на моем столе. Гриша! Гриша! Ты моя удача, ты светлейший момент в жизни. И как мало было таких вот удач, едва ли не единственная.

Антон Елькин считает, что вся моя жизнь состоит из светлых удач. Этот ученик никогда не понимал своего учителя: ни тогда, когда пакостил втихомолку на уроках, ни тогда, когда сторожил с кирпичом на крыше... Не понимает и теперь. Я ничего не сделал Антоше Елькину — ни дурного, чтоб ненавидеть, ни хорошего, чтоб преклоняться. Увы, не я его исправил — исправила жизнь. Мы-то расстались на кирпиче.

Гриша, Гриша... Ты поздравил, и твоё поздравление я принимаю с чистым сердцем. Но что бы ты сказал обо мне, Гриша, если б узнал: Таню Граубе, учившую меня вместе с отцом азбуке человечности, я решил подозревать — «убить Вас»? Сказал бы: спятил старик. Нет, Гриша, скорей, потерялся.

А только что мелькнуло подозрение, уже совсем дикое... Мелькнуло! Было! Не след прятаться! Подозрение против родной дочери — не готовит ли то самое «убить Вас». Она пригрозила, и страх затмил мне разум.

Она всю свою недолгую жизнь страдает от любвеобилия — к парню с боксерской причёсочкой, к беспутному мужу, к сыну... Любвеобилие ещё никогда не толкало на убийство, на отцеубийство тем более, к самоубийству же — ой, нередко!

Гриша! Гриша! Гляжу на твой кортик и верю только тебе. А тебя давно нет на свете. Я наедине сам с собой, не могу сладить, не на кого опереться.

И кто-то послал мне все-таки письмо. С пьяной или трезвой угрозой, какая разница. Кто-то, кому я сделал какое-то зло.

Кто он?

Нет, не помню.

Когда-то кого-то я переехал. Не помню, не обратил внимания.

«Убить Вас!»

Что же ты все-таки за человек, Николай Степанович Ечевин?

— Похоже, я теперь начинаю больше бояться себя, чем убийцу.

За окном навалились сумерки, зажглись фонари, шумел проспект поздно, по-вечернему. Я сидел за столом и искал решения.

Я должен кому-то показать письмо.

Показать не для того, чтоб позвать — спасите! Неведение страшной смерти. Я для себя «terra incognita», а в неизведанные земли в одиночку не ходят. До сих пор я блуждал в самом себе один. Нужен товарищ, нужен сопутчик. Пусть он прочтает письмо, пусть влезает мне в душу. Нужен взгляд со стороны, пусть недружелюбный, но внимательный, все замечающий.

Жене письмо не покажешь. За сорок лет срослись — не отступишь в сторону, не взглянешь со стороны.

У меня достаточно преданных и верных товарищей. Верна, например, Надежда Алексеевна. Ей — письмо?.. Будут ахи и охи, заломленные руки, звонки в милицию. Друзья, лечащие от недугов милицией...

Да мне здесь и не нужен друг. В друзья мы обычно выбираем себе единомышленников, тех, кто видит так же, думает так же, похожих на себя. Но что может тебе подсказать такой друг? Подскажет тот, кто на тебя не похож.

Больше всего со мной не схож Леденев.

Я ценю традиции. Он готов их ломать.

Он юн, а я стар.

Он не выносит меня, я его.

Он резок и прям до грубости.

Уж он-то не станет заламывать руки с ахами и охами, звонить в милицию.

Правда, он недоверчив ко всему, что исходит от меня, может шарахнуться в сторону. Нужно быть уж совсем толстокожим животным, чтоб повернуться спиной, когда шестидесятилетний человек прибежал на ночь глядя. В неизведанные земли в одиночку не ходят...

Телефона у Леденева не было, но, где он живет, я знал. Не столь давно по просьбе директора школы я хлопотал в горисполкоме о получении жилплощади троим нестроенным учителям. Среди них был Леденев. Хлопоты были длительные и упорные, а потому я запомнил адреса.

В темноте, ощупью я натянул в передней пальто, нахлобучил шляпу, открыл дверь, оставив свою тихую и темную семейную крепость, в глубине которой пряталась от меня жена.

Вдоль освещенного проспекта с пулеметным грохотом проносились мотоциклы, плыли по мостовой припаркаженные парочки, в посвежевшем воздухе висел молодой, беспечный смех.

Возможно, что убийца рядом, следит... Мне безразлична его близость, но я уже не паникую, как утром, не спеша шагаю к остановке автобуса, даже с удовольствием представляю себе себя — степенный, прямой, с устремленным носом, само спокойствие. Наверное, я сейчас должен вызывать у убийцы уважение.

Я постоял в очереди, дождался автобуса, нырнул в его жиденький, желтый, как болотная водица, свет, уселся на свободное место, пододвинулся к окну, пуская рядом какого-то раббего в потертом ватнике, с брезентовой сумкой, похоже водопроводчика.

Мокрое окно автобуса прятало плывущий мимо город и показывало в черном зеркале мою застывшую физиономию — твердый крупный нос из-под полей шляпы, незнакомую складку крепко сжатых губ. Незнакомую, с болезненным изгибом, с признаками стоны, рвущегося наружу. Пожалуй, напрасно опасаясь, что Леденев не примет меня всерьез, с такой физиономией нужно скорей бояться излишне серьезной встречи: «Прошу вас, прилягте, высокочу позвонить в больницу!»

Мой сосед устойчиво дремал, утопив на груди небритый подбородок, едва скрывая козырьком мятой кепки серые веки. И, кажется, в уголках его губ притаилась горчинка. Мне теперь у любого и каждого уже чудится болезненный изгиб, запертый стон. У этого человека, покойно сложившего руки на брезентовой сумке с пехитрым инструментом, быть не может той катастрофы, какая случилась со мной. Труд его нагляден, значит, наглядно и его место в жизни. Наверное, он сегодня сменил несколько кухонных кранов, отремонтировал подтекавшие батареи парового отопления, починил неисправную канализацию, которая кому-то отравляла жизнь, — сделал свое, не очень сложное, никак не выдающееся, но можно ли сомневаться, что нужное и полезное дело. Его и завтра в каких-то квартирах будут с нетерпением ждать, ему и в голову, наверно, не придет гордиться своей нужностью. Его труд нагляден и ясен, мой для меня нет. Педагог с сорокалетним стажем, сколько уроков ты посвятил защите Ивана Грозного, не замечая, что проповедуешь снисхождение к убийце?..

Сосед дремал, смежив серые веки, а я завидовал... Осо-

знай, добрый человек, свое счастье! Как бы я хотел сейчас испытать твою честную усталость.

— Вокзал! — объявил кондуктор. — Конечная остановка.

Вокзальная площадь щедро залита огнями. Светятся витрины магазинов, предлагая прохожим хлебные батонны, коробки с геркулесом. В новом кафе — стиль модерн — за стеклом, словно на выставке, пьют и закусывают посетители. Вокзальная площадь, на ней всегдалюдно, всегда полно легковых машин и автобусов. Даже когда сам город спит, здесь жизнь не прекращается.

Но шаг в сторону за первый же угол — и темно, скудно освещенные улицы: Первая Привокзальная, Вторая Привокзальная... Шаг в сторону, и окраина города, редкие прохожие, редкие машины.

Несколько пассажиров автобусов усердно топали сзади меня. Пройдем мы, и стихнет шум шагов, только голоса электровозов будут здесь парусать тишину.

32

Дом был новый, несколько месяцев назад заселенный, но тускло освещенная лестница уже так пахла жареным луком и детскими пеленками, словно через эти стены прошел не один десяток поколений.

В старину лестничным проходам уделяли едва ли не большее внимание, чем внутренним покоям. И в публичные храмы, и в частные дома вели широкие, торжественные ступенчатые марши. Гость, поднимающийся по ним, невольно шаг за шагом настраивался на возвышенный лад, шаг за шагом проникался значительностью предстоящей встречи. Лестница как бы возносила человека над суетной землей. Нынче же лестница — самая прозаическая, самая досадная часть пути, ее пытаются избежать, втискиваясь в еще более прозаический ящик лифта, на современной лестнице приходят или приземленно трезвые мысли, или же тут просто несешь в себе тоскливую скуку будней.

В этом блочном доме лифта не было, шагать же мне пришлось на пятый этаж. И я с каждой ступенькой трезвел, освобождался от угара. «Кому повем печаль мою?» Старик с выпученными от тревоги глазами прибегает к мальчишке. В лучшем случае, ты можешь рассчитывать на вежливое безучастие, в худшем — на откровенную из-

дѣвку. Разве этот мальчишка умнее и опытнее тебя? И какая пища для пересудов. Собираешься всенародно вывести грязное белье...

Ступенька за ступенькой на пятый этаж. Еще на первых ступеньках я понял, что совершаю глупость, но обратно не повернул.

Без энтузиазма я нажал кнопку звонка. Он открыл дверь сразу, без минутного промедления, словно стоял и ждал меня с нетерпением. В дешевом питаном тренировочном костюмчике, мальчишески стройный, недоверчиво подобранный и решительный, словно боксер легкого веса — в стойку не стал, но готов встать.

— Извините, Евгений Сергеевич, но мне пужно... нужно с вами...

— Признаться, я жду сейчас другого человека, — бесцеремонно перебил он меня, сердито отводя глаза в сторону.

— Евгений Сергеевич!

Взгляд мне в лицо, легкое смятение в темных глазах.

— Входите.

Ярко освещенная, повенькая, какая-то безалаберно веселая, звонкая комната. Она по-настоящему не обжита и не обставлена. Смятая кровать, заваленный книгами стол. Венчает пирамиду книг бутылка с коньячной этикеткой, в ее горлышко вставлена пушисто озорная веточка вербы.

— Прошу вас...

Леденев придвинул мне единственный стул, сам сел на смятую койку, задрал острое колено, обхватил его цепкими пальцами, устался на меня поблескивающими черносмородиновыми глазами. Его сухощавое смуглое бровастое лицо от настороженности стало чуть-чуть асимметричным — одна бровь вздернулась, один угол рта поджат, одна скула острее и рельефней.

— Евгений Сергеевич... — мучаясь от неловкости, начал я с тем хмурым упрямством, с каким говорят старики, вынужденные обращаться с просьбой к молодым удачливым пачальникам. — Вопрос в лоб: я похож на преступника? Только честно.

Леденев усиленно выламывал бровь.

— Однако...

— Смиритесь сегодня с моими странностями, Евгений Сергеевич. Так похож ли я?..

— На преступника? Нет.

— Только честно, ради бога, честно, Евгений Сергеевич! Я пришел к вам не за комплиментами.

— Нет.
— Откуда у вас неожиданное снисхождение ко мне?
— Не заставляйте наговаривать на вас того, что не думаю.

— Но, если начистоту, я знаю, что думаете вы обо мне не очень-то лестно.

— Значит, мне нет пужды еще и это валить на вас.

— Ну, спасибо. А я, признаться, готов был услышать самое худшее.

— Самоуничижение... Странно. Кажется, вы всегда гордились собой.

Острое, задранное вверх колено, заломленная бровь, блеск черных ярких глаз. Кажется, стоит мне сделать излишне резкое движение, как он одичавшей кошкой отскочит в сторону.

Он мне не верит, и могу ли я его упрекать за это? Ворвись он ко мне на ночь глядя, я бы, наверное, так же упрямо и нетерпеливо ждал камня из-за пазухи.

И я попытался проломиться сквозь его неприязнь:

— Мне худо, Евгений Сергеевич, худо! Случилось так, что я вдруг стал разглядывать себя с изнанки. Наверное, каждый с изнанки не столь красив, как с фасада... Сегодня на уроке одна из учениц в угоду мне оправдывала убийцу... Понимаете — в угоду мне!

— Николай Степанович, зачем это мне?..

— Зачем?.. Вы спрашиваете?..

— Именно мне, а не кому-то другому, более близкому вам человеку?

— Наверное, затем, что я вам не правлюсь. Теперь для меня ценно, очень ценно услышать неуслужливую оценку своей особы. Я сейчас сам не правлюсь себе.

— Так сказать, вы собираетесь исправиться.

— То есть, на ваш взгляд, не вовремя спохватился, надо бы раньше, а не тогда, когда стукнуло шестьдесят?

— Пожалуй. Впрочем, я полностью согласен с нашей добрейшей Надеждой Алексеевной, которая постоянно твердит: исправиться никогда не поздно.

— Евгений Сергеевич, вы сейчас бьете лежачего.

Леденев решительно повернулся ко мне:

— Простите, Николай Степанович, но я вас не понимаю. Испытываете неуважение к себе, когда вас только что не посят на руках, когда в школе ваш культ, когда ученики преисполнены к вам робкого почтения, их родители — гордости и восторга, администрация — заботы. Наверное, только я один из ваших коллег не испытываю к

вам ревнительного чувства. Иль вы уж столь неумеренны, что на небосклоне своей славы не терпите даже этого жалкого облачка?

Я было потянулся рукой к карману, где лежало письмо, я уже готов был вручить ему то, что скрывал от родных и близких, ему, человеку, неприязненно относящемуся ко мне...

Но тут в коридоре раздался звонок.

Леденев пружинисто вскочил, кинулся за дверь. А я остался наедине с веточкой вербы в коньячной бутылке.

А из-за дверей доносилось:

— Наконец-то!.. Что ты так долго?..

Счастливое освобождение в голосе. Как, однако, я неприятен ему.

В дверях появилась девушка. Нет, мне не знакома. Нет, не из нашей школы. Пальто пелеринкой, блеск крупных пуговиц, круглое разругавшееся, с милыми застенчивыми ямочками лицо. Увидев меня, она застыла: смущена, растеряна, огорчена — третий лишний.

Леденев вытанцовывал вокруг нее.

— Снимай пальто... Ну-ка, ну-ка! Э-э, да не дождь ли на улице?

— Дождь. В этом году первый.— Но ответ, а песня светлым альтом.

Леденев ревниво и решительно обернулся ко мне:

— Прошу извинить... Я говорил вам, что жду... В любое время к вашим услугам. А сейчас прошу извинить...

Мне указывали на дверь.

33

Наверняка, как только я закрыл дверь, произошел разговор:

— Кто это?

— А-а, старый хрыч...— следует мое имя и отчество, возможно с титулами.

Наверняка это не первое вымечтанное свидание — очередное, привычное, иначе Леденев не встречал бы девушку в жевано тренировочном костюмчике, а уж, конечно, приоделся бы чуть попарадней.

Человек пришел к человеку со своей вселенской бсдой!

Фонарь, окруженный облачком влажной радужной пыли, освещал мокрый траурный асфальт. Первый дождь в

этом году. Ранние весенние дожди ничем не отличаются от осенних, они холодны и уныло противны. Киснувшие в пыльной влаге фонари, нефтяной жирный блеск асфальта, осень, ощущение, что у тебя украдено лето.

Я намеревался посвятить его в тайну из тайн, показать письмо, открыть свой смертный приговор. Разговор оборван в самом начале...

«Кому повем печаль мою?» Темно, сыро, украдено лето, украдено последнее.

Я лениво двинулся по пустой неприветливой улице.

Человек к человеку... Старик к мальчишке. От великого отчаяния к последнему прибежищу.

А он сторонник передовых взглядов. Он считает ископаемым Яна Амоса Коменского. Он любит Достоевского и постоянно декларирует его слова: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей!» Его возмущает, что слово «добро», старое, испытанное слово, оружие разнохарактерных религий, постепенно уходит из обихода. Уж он-то за «убить каких-то» по макушку втоптал бы в землю Лену Шорохову.

Человек пришел к тебе с бедой. Ты указал ему на порог — не хочу слушать, сгинь!

В дикое средневековье, прежде чем отнять у преступника жизнь, приводили к нему священника — исповедуйся. Хоть ты и не достоин жить, но твое человеческое достойно внимания — расскажи, излейся, готовы терпеливо слушать.

Указать на порог и бросить с пренебрежением «убить каких-то» — не сходно ли? Как то, так и другое порождено полнейшим безразличием, душевной омертвелостью к ближнему. Прямое убийство, право же, более человеколюбиво. Убийца подымает руку, значит, испытывает злобу, ненависть — сильное чувство. Убийца не равнодушен, по своему внимателен.

Невежественное средневековье изобрело исповедь. Даже инквизиторы старались с возможным вниманием взглянуть в душу тех, кого посылали на костры. Леденеву же на пороге двадцать первого века будет примерно столько же лет, сколько сейчас мне...

Я вяло брел по улице, по обочине нефтянисто-черной реки, под мокро пыльным светом фонарей. Освещенные окна домов глядели поверх моей шляпы равнодушно и неприветливо. Люди ревниво попрыгали от заблудившегося прохожего вместе со своим нехитрым счастьем. Светят наглухо закрытые окна, задернуты занавески, арочные

въезды во дворы заполнены вязким мраком, пустышна улица. Только где-то сзади побухивали чьи-то шаги в такт моим, с леню, без спешки. Похоже, такой же заблудившийся...

Средневековье... Исповедь... Я вспомнил Веру.

Вот кто может меня выслушать. «Бог есть любовь!» Не покажет на порог, будет внимание, паверное, даже дочерние слезы будут. У меня к тому же есть вступительный взнос: «Вера, твой сын останется с тобой». Вступительный взнос живой душой — пусть останется с пьяницей отцом, с матерью-святошей...

«Кому повем печаль мою?»

Шаги за моей спиной заблудшие, ленивые, под стать моим. Но что-то в них настойчивое, неотступное.

И я оглянулся.

Запыленная жидким светом фонарей улица упиралась в ночь. Под глухой стеной черной ночи на окраине света, у побережия нефтянисто-черной асфальтовой реки одинокая фигура. Она споткнулась оттого, что я обернулся. Человек ощутил направленный на него взгляд.

Кепчонка, ватник, руки заняты чем-то... И, еще не разглядев толком, я узнал — он! Тот водопроводчик, что подсел ко мне в автобусе. Всю дорогу он дремал, всю дорогу он не обращал на меня внимания, вспомнились его сомкнутые серые веки. Они слишком добросовестно были сомкнуты! Вспомнились и губы в окружении щетины — болевой изгиб... Я еще тогда завидовал ему...

Улица упиралась в ночь, и мутной влагой засеян воздух.

Он только споткнулся под моим взглядом, но не остановился, не метнулся, чтобы спрятаться. Он продолжал идти на меня.

Ночь в конце улицы, ночь, поглотившая дома и фонари. И шаги по мокрому асфальту: туп-туп, туп-туп!..

Шаг за шагом, ближе, ближе... Туп-туп! Туп-туп!..

И Леденев, Вера, жена, Зыбковец, Лева Бочаров, Лена Шорохова, Антон Елькин, старая церковь, Таня Граубе — вавилонская башня, нараставшая в течение дня, рухнула и рассыпалась. Ничего нет, только: туп-туп, туп-туп!.. Сейчас встретимся с глазу на глаз.

И я вдруг хлебнул воздух, бросился бежать...

Нет прошлого, нет будущего, есть минута, отделяющая его от меня. Жизнью не дорожил, смерти не боялся, страшной смерти ты сам, твоя взбунтовавшаяся совесть...

И нет совести, есть минута, одна неполная минута в какой-нибудь десяток-другой шагов.

Туп-туп-туп!.. Он бежит за мной, он старается проглотить спасительную минуту. Туп-туп-туп — стук рабочих ботинок по асфальту. Он моложе, он выносливей, мой бывший ученик... Только бы не сдало сердце, только бы хватило воздуха!..

Впереди вокзальная площадь. Там люди, много людей...

Туп-туп-туп!.. Он моложе.

Только бы хватило воздуха. К людям! К людям! В гущу людей! Живых, не спрятавшихся за стены, отзывчивых.

Туп-туп-туп!.. Ближе! Спасительная минута... Нет! Он моложе...

Ты храбрился — он не страшен, страшусь суда совести!.. Ты еще не знал, что такое страх. Страх травоядного перед хищником. Туп-туп-туп!

Рвется сердце, не хватает воздуха.

И уже молочный свет люминесцентных фонарей впереди. Уже площадь на виду, и тени прохожих, и машины...

34

Вырвался. Круто завернул за угол.

Шарахнулась от меня какая-то женщина...

Еще немного, еще подальше... Но сил уже нет, и сердце молотит где-то под горлом, и не могу дышать, не хватает воздуха.

Я припал к первому же столбу с раскрытым ртом, с дергающимися коленками, непослушными пальцами суетливо искал, за что бы зацепиться.

Тишина, хотя сердце набатно бьется по всю площадь. Тишина, хотя вижу, как разворачивается автобус, слышу звук его мотора. Тишина и голоса людей, идущих мимо. Тишина, не слышу — туп-туп-туп!

Оглядываюсь на угол дома, из-за которого я только что выскочил. Угол, а за ним сразу темная сырая улица с редкими фонарями, с мрачными арками, без прохожих. Он там притаился, он должен сейчас показаться.

Закричать? Созвать людей?.. Но воздуха не хватает, чтоб дышать, а уж кричать-то и подавно. И поги не держат, любое лишнее усилие сбросит на землю, к подножию столба.

И к чему кричать, когда его нет. Тишина, весь мир за-

глушен моим подержанным сердцем. Но и сквозь набат своего сердца «туп-туп» я слышал бы. Тишина.

Я провел рукой по лбу, вытирая пот. Шляпы нет, потерял...

В черном небе раскаленная надпись над крышей вокзала «КАРАСИНО» — вывеска моего родного города.

Напротив ярко освещенное кафе, оно без окон, просто застеклена вся стена, от мостовой до второго этажа. Там, за стеклом, в медовом свете сидели люди и всенародно, напоказ закусывали.

Мимо прошагал военный, по лаковому козырьку его фуражки рубиновой змейкой скользнула вокзальная надпись. Военный покосился на меня с превосходством и сочувственно: «Ну и нагрузился же ты, папаша!»

Лицо женщины, сменившее лицо военного. Женщине не до меня, углублена, озабочена, как бы скорей добраться до дому...

И где-то за сверкающей огнями широкой грудью вокзального здания, горделиво несущего вывеску моего города, успокоенно покрикивал маневровый паровозик.

Сердце перестало оглушать весь мир, из горла оно опустилось в грудь, колотилось уже в ребра. Я стал ощущать отрезвляюще сырой воздух, но все еще дрожали колени.

Вместе с отрезвляющим воздухом вернулись и трезвые мысли: «Герой. Целый день храбрился, шатался по улицам, в милицию не пошел, а тут откуда такая прыть?..» Даже трудно разобрать, стыд это или укор себе за неосмотрительность. Нет, все-таки стыд, по какой-то ватный, как мое обмякшее, огрузневшее тело. Выходя из дома Леденева, я думал, что у меня отнято все, больше ничего отнять нельзя, только постылую жизнь. Жизнь цела, но что-то все-таки отнято...

Гордость!

Гордился собой, что пренебрегаю смертью, что истина дороже жизни. Хотел даже встречи с ним, надеялся, что не дрогну. И рванул затравленным зайцем... Шляпу потерял... «Ну и нагрузился же ты, папаша...» Отнято, наверное, самое, самое последнее, а жизнь осталась.

— Здравствуйте, Николай Степанович, — тихий голос за спиной.

Я даже не вздрогнул, я, кажется, ждал этот голос. Я медленно, медленно обернулся.

Прижимая локтем брезентовую сумку, стоял он. Брюки с пузырями на коленях, мокрый ватник коробом, потасканное круглое лицо в знакомой щетине, красный, не

впечатляющий нос — не страшен. Под сплюсненной кепочкой смутный и далекий блеск глаз. И я заворожено загляделся в эти глаза.

— Вы шляпу оброшили, возьмите.

— Спасибо.— Я взял шляпу, стал чистить ее рукавом.

Помолчали.

— А вы, оказывается, отчаянный человек. Думал, как сурок, будете в своей норе прятаться. Нет, целый день свежим воздухом дышите, даже в скверике отдыхали.

— Что же не подошли? О вас думал.

— Вспомнить хотели, кто я такой?

— Не сумел.

— И то, каждого не запомнишь, да и лет прошло изрядно.

— Почему только сейчас объявились? Сколько удобных минут было... Хотя бы в сквере, а того лучше в подъезде...

— А вы думаете, мне удобно в затылочек? Не кошелек собираюсь отнять. Я судья вам, дорогой Николай Степанович, судья! Хочу глядеть вам в глаза, хочу услышать ваши оправдания. Оправдывайтесь! Если пожелаете, конечно...

— Пожелаю, отчего же...

— Вот и хорошо. Безнадежным дураком никогда вас не считал. Если не возражаете, то в том кафе... с удобствами и при свете.

Я все еще не мог оторвать плечо от столба.

— Ну, что ж вы? Заело?

— Обождите, дайте отдышаться. Я же не молоденький — такие кроссы устраивать.

35

Кафе называлось «Березка». В городе недавно появилось несколько таких кафе — пластиковая роскошь, шедевры горпитовской лирики: «Березка», «Ласточка», «Ромашка». Они сменили дощато-фаперные безмянные «пивоводы», как пятиэтажные дома сменили покосившиеся бараки.

Здесь было много света и много воздуха и, судя по тому, что полно свободных столиков, мало выпивки.

Перед тем как пересечь дорогу к кафе, мой опекун пропизнес:

— Смотрите, не вздумайте... Шаг вправо, шаг влево, как когда-то наставляли меня...

Мы заняли столик, вовсе не укромный, не у стены в стороне и не в углу, а на самой середине, напротив стеклянной стены. Мы заняли столик и сразу же попали в витрину кафе, в число показательно закусывающих.

По одну сторону за соседним столиком уныло ел яичницу человек командировочно-периферийного вида с тусклым галстучком на несвежей сорочке. По другую — шумная компания молодежи, спиной ко мне девица, одетая в кричаще капареечный свитер, волосы рассыпаны по капареечным плечам.

Много света, и со всех сторон глаза, даже с улицы. Как не походило это место на те места, где, по моим представлениям, должны происходить убийства. Да и сам убийца не производил впечатления. Без своей кепки он оказался совершенно лыс, глазки мелкие, водянисто-серые, нос воробьино задорный, простуженно красный после гуляния под дождем. На вид ему можно дать сорок, а то и все пятьдесят. Нет, не могу узнать, безнадежно. Сколько прошло людей мимо, класс за классом...

Мой убийца деловито прислонил к столу спинки свободных стульев.

— Будет заято.

Столь же деловито вынул из сумки какой-то пакет из толстой серой бумаги (в такие пакеты в булочных отворачивают сушки и вапильные сухари). Пакет лег на стол тяжело и как-то неплотно.

— Так вот, — водянистые глазки в упор, — назначаю вас своим собственным адвокатом.

И я вдруг понял, что наконец-то нашел того, кто выслушает меня со вниманием — можно исповедоваться до конца.

— На суде обычно первое слово дается обвинению.

— Можно начать и с обвинения. Вижу, вы меня так и не узнаете?

Я с настойчивой пытливостью вглядывался в него — плоская лысина, нос стручком, что-то есть в складке губ зыбко знакомое... На эту горькую складочку я обратил внимание еще в автобусе.

— Не вспомню, — со вздохом признался я.

— Моя фамилия Кропотов. Сергей Кропотов, — произнес он сухо.

— Обождите, обождите... Тот самый, у которого отец?..

— Да, тот самый.

— Сережа Кропотов, такой тихий и милый мальчик... Трудно поверить.

Он равнодушно вздохнул.

— Двадцать лет спустя, роман с продолжением...

Я вглядывался в него и всеми силами старался увидеть под одутловатой, тяжело-свинцовой физиономией девочки-акварельное лицо с зачесом русых волос, паренька в выгоревшей байковой куртке с молнией. Кажется, я уловил сходство, смутное, как шум морского прибоя в раковине, поднесенной к уху.

Он был самым обычным из моих учеников: вполне прилично учился, недурно рисовал, оформлял общешкольную стенгазету, выбирался в разные комиссии и комитеты. К нему я не испытывал никогда ни большой любви, ни сильной антипатии. Однажды я спас его от исключения из школы.

— Да, пожалуй... Сережа Кропотов. Но как вы изменились!

Он промолчал с выражением суровой торжественности на небритой физиономии.

— За что же вы меня?.. Право, теряюсь в догадках.

— Вы слишком спешите, Николай Степанович,— с победной небрежностью усмехнулся он и пошевелил громоздкий пакет на столе.

Похоже, он давно готовился к своей праведной роли и сейчас играл ее слишком усердно, потому переигрывал.

Мать его, помнится, служила то ли делопроизводителем, то ли инкассатором. Он был единственным сыном, всегда отутюженный, заштопанный, умытый — эдакий наглядный экспонат материнского усердия: «Мы не хуже других». Впрочем, в те годы «не хуже других» стать было не трудно, только-только прошла война, все жили впроголодь, одевались не форсисто.

Отец его еще в сорок первом пропал без вести. Таких — не живых и не убитых — в те годы было немало. Редко кто из них возвращался, чаще в военкомате переносили их фамилии в списки погибших, чтоб семья могла получать законную пенсию.

Но вдруг полтора года спустя после окончания войны отец Кропотова объявился в Карасино. Он спрятался в доме и не показывался на улице, но досужая молва расписывала его портрет: «Зачервивел, в коросте весь... Стариком выглядит... Из-под Воркуты прибыл, защитничек родины».

Уже не помню, на каком школьном собрании и кто

первый выразил недоверие Сергею Кропотову: «Скрывает, что отец его изменник родины, был полицаем у немцев...» Обычно тихий Сергей тут раскричался со слезами на глазах — отец его не изменник, к немцам он попал раненым, он, Сергей Кропотов, гордится своим отцом...

Наш директор школы, монументально величавый старик, занимавший когда-то высокие должности, был по природе человеком очень добрым, умудренно-покладистым, однако весьма осторожным, любил повторять: «В наше горячее время каждый должен быть немного пожарником».

Сначала он сделал вид, что не замечает разгоревшегося сыр-бора вокруг Кропотова-сына, авось пожар сам по себе погаснет. Но к нему в кабинет явилась делегация из ребят-активистов. Они поставили вопрос ребром: Сергей Кропотов защищает своего отца — изменника родины, если Кропотова не исключат из школы, они через голову директора вынуждены будут обратиться в более высокие инстанции.

Директор их выслушал, похвалил за бдительность, пообещал принять меры, выпроводил и вызвал меня.

— Как по-вашему, следует исключать Кропотова из школы? — спросил он.

— Нет.

— Ну и прекрасно. Постарайтесь спасти его.

— Каким путем?

— Это уж ваше дело. Только боже вас упаси выглядеть защитником отца Кропотова. Кажется, он и на самом деле в поддавки с немцами играл.

Я не стал действовать вслепую, решил навести справки. Оказалось, что дело Кропотова-старшего чрезвычайно запутано: при отступлении наших войск он был взят в плен немцами, установлено — выпущен ими на поселение, а значит, имел перед ними какие-то заслуги или, того хуже, давал им какие-то обещания; но в то же время, есть сведения, был связан с нашим партизанским отрядом, оказывал крупную помощь. Неизвестно кому, немцам или партизанам, служил он не за страх, а за совесть. Но недостаточности улики его освободили из заключения, но не от подозрений — выслан по месту жительства, запрещено выезжать, обязан отмечаться...

Я оставил после уроков Сергея Кропотова... Нет, я сейчас, конечно, не помню, что именно ему говорил. Много мне на веку приходилось вести таких вот душевспасительных бесед, это одна из будничных обязанностей любого

педагога. Дословно не помню, но в общих-то чертах нетрудно догадаться, о чем... Нет, мол, оснований утверждать, что его отца судили несправедливо, не следует кричать и возмущаться, противопоставлять себя коллективу и т. д. и т. п. Осторожно втолковывал, осторожно урезонивал...

Мне искренне хотелось спасти Сережу Кропотова. И, кажется, я преуспел в этом — он благополучно окончил школу.

36

К нам подошла официантка

— Я вас слушаю.

Уставилась поверх наших голов, нацелив заточенный карандашик в блокнот.

— Бутылку минеральной и... яичницу, — поспешно ответил Кропотов.

— А мне чего-нибудь покрепче, — попросил я.

У меня сильно зашибал отец, зато я всю жизнь был примерным трезвенником, выпивал по большим праздникам. Сейчас меня тоже начинало охватывать ощущение если не праздничности, то, во всяком случае, исключительности минуты.

— Водки не держим. Коньяк «Пять звездочек», — сообщила официантка.

«Пять звездочек», наверно, дорого, хватит ли денег? — подумал я и тут же про себя усмехнулся: — А придется ли еще расплачиваться-то?»

Передо мной сияло кафе — травянисто-зеленый пластик пола, белые стены, крапленные черным под бересту, желтые спинки стульев, маслянисто-темная стеклянная стена, кое-где матово отпотевшая. Здесь?! Здесь скоро начнется паника, девица в канареечном свитере, что сидит ко мне спиной, истерично закричит, а сельскому командировочному, вернувшись домой, будет что порассказать. Я почувствовал медный привкус во рту.

— Так берете или нет коньяк? Второй раз спрашиваю.

— Не берет, — вдруг решительно сказал за меня Кропотов. — Сегодня мы, красавица, пьем минеральную. Еще бутылочку боржоу и яичницу.

Я не стал спорить, и официантка, устало покачивая бедрами, удалилась.

— Не рассчитывайте спонть меня. Не выйдет! — запосчиво произнес Кропотов.

— А ежели я собирался пожить напоследок?.. — усмехнулся я. — Вам, наверное, безразлично, какого?..

— Нет, не безразлично! Не хочу иметь дело с невменяемым. Еще раз напоминаю — здесь суд! Суд беспристрастный и праведный!.. — Запальчиво и с пафосом.

— Ладно, не будем ссориться по мелочам, к делу! Начинайте свою обвинительную речь, — я уселся поудобнее и уставился на Кропотова.

Он снова пошевелил пакет на столе, скользнул по мне тусклыми, словно оцинкованными глазами, заговорил:

— Начну с того, что вам, наверное, не обязательно даже знать. Мой отец... Он и в самом деле месяц служил полицаем.

Я пожал плечами. К чему мне теперь эта чужая новость двадцатилетней давности.

— И все это время он был связан со своим партизанским отрядом. Командир отряда жив, недавно выступил в печати, упомянул добрым словом моего отца. Да! Налицо документ! Вот эта газета!.. — Кропотов картинным, отработанным жестом полез во внутренний карман своего замусоленного пиджака.

Я остановил его.

— Верю, что невиновен. Дальше.

Кропотов взвился:

— Не виновен! Ишь как легко! Вы бы тогда так вот пели.

— Ни тогда, ни теперь не брал и не беру на себя судебных полномочий.

— Вот именно, на себя не брали, а меня заставили осудить.

— Не заставлял, скорей, советовал.

— А что такое совет учителя? Не осудишь — погибнешь, осудишь — будешь благоденствовать. Что это, какое своеобразное духовное насилие опытного и искушенного над неопытным?!

И меня взорвало:

— Послушайте, вы! Бывший Сережа Кропотов! Уж если вы взялись судить, то судите, а не занимайтесь художественной подтасовкой. Я насильник? Как же! Я ведь тогда действовал из желания навредить вам, а не принести пользу.

Его глаза вдруг заблестели, щеки затряслись, он захлопал влажным смешком.

— Хе-хе! Вам не стыдно говорить о пользе? Хе-хе!..— И выпятил грудь.— Взгляните на меня! Взгляните внимательней! Не отводите взгляда!.. Видите, я в славе, я в почестях, я в богатстве! Мне пошла на пользу ваша высокая и бескорыстная забота! Вы меня облагодетельствовали!..

Мне начинал действовать на нервы этот краснобай.

Я спросил:

— Хотите взвалить ответственность на меня за свои неудачи? Вы бы и без меня стали тем, кто есть.

Кропотов, бывший мой ученик, будущий мой убийца, минуту пробыл в задумчивости, наконец сказал важно и миролюбиво:

— Вот это-то мы и должны выяснить — стал бы я без вас... Итак, вы уговаривали меня отмежеваться от отца!.. А знаете ли вы, кто вам помогал в этом?

— Знаю, ваша мать.

— И не только! Мой отец тоже! Мой отец был величайшей души человек! Он считал: жизнь его безнадежно изломана войной, ему уже не прибудет и не убудет, самое страшное, если покалечат еще жизнь сыну... Словом, он был ваш верный, ваш горячий союзник!..

— Значит, вы с таким же успехом можете повесить свое обвинение на отца, как и на меня,— заметил я.

И он вдруг бурно восторжествовал:

— Ага! Я этого ждал! Я ждал этого!.. Прячетесь!..

— Прячусь? От кого?

— От своей совести. Ишь как, с моим отцом одинаков!..— Кропотов подавился смехом и расправил плечи, холодно взглянул на меня оцинкованными глазами.— Вы помните то собрание?

— О каком вы говорите?

— Да о том самом, где сын публично каялся за родного отца. Какая была тишина! Какое захватывающее зрелище!.. Я выполнял ваш благой совет, осуждал...

— А без меня вы бы этого не сделали?

— Нет! — ответил Кропотов и повторил с жаром: — Нет, нет! Отец, мать требовали... Я бы их не послушался, я бы не принял жертвы отца... Но вот стал убеждать человек посторонний, авторитетный, умный, бескорыстный... Да, да! Ваше бескорыстие сыграло свою злую роль!.. Я перестал верить своей совести, поверил вам! Какая была тишина, когда я говорил: осуждаю!.. Глядите на меня, глядите!.. Именно с этих слов началось мое «позабыт, позаброшен...». После этих слов я стал сиротеть. Стремительно! Сиротеть и портиться!..

— Обычные жалобы неудачника: меня, хорошего, дурной мир обидел, — произнес я сердито.

Казалось, он не слышал меня, повторял, глядя в сторону.

— С этих слов... С них!.. Я произнес их, а пришел-то домой, к отцу. Я жил рядом с отцом и стыдился смотреть ему в глаза. Я знал, что этим его обижаю, но ничего не мог поделать. Мучительно быть рядом с человеком, о котором недавно принародно говорил ужасные слова. Для отца же единственной наградой за этот позор могла быть лишь моя сыновья близость. А тут еще мать... Она хотела задобрить отца, старалась говорить с ним заискивающе ласково, со мной грубо: «Лешенька, ты таблеточки свои принял?.. Ты, идол, чего стоишь столбом? Беги, принеси отцу водички!» Отца это корбило, а меня, молодого дурака, оскорбляло: я же не хотел, они оба сами меня уламывали, сами же теперь презирают меня. Я первый начал срываться — кричал на мать. Мать ударялась в слезы, воила, что она из себя жилы тянет ради нас. Отец молчал и смотрел волком...

Кронотов не расправлял плеч, не вздергивал подбородка, на этот раз не играл в судью, а рассказывал. Его одутловатое лицо покрывлось легкой красочкой, глаза беспомощно блуждали по столу, а руки беспокойно сжимались и разжимались — черствые руки рабочего. На минуту он поднял покрасневшее лицо, размигченные, почти жалобные глаза, подождал вопрошающе — не возражу ли?.. Я не возражал, мне нечего было сказать. И тогда он снова опустил голову и заговорил. Он, наверное, как и я, давно искал человека, который бы его со вниманием выслушал. Со вниманием, заинтересованно... Он не ошибся, я его слушал затаив дыхание.

— Помните у Чехова в «Трех сестрах»... Помните, там твердили: «В Москву! В Москву!..» У нас в семье появился такой же припев: «Уехать! В Череповец к Соне!..» Сестра отца Соня нас не знала и в нас не нуждалась, но нам казалось, что во всем виновато Карасино, стоит только вырваться из этого гноища, как все станет по-прежнему, мы будем любить друг друга, жертвовать друг для друга собою. Мы уехали, правда, не к тете Соне в Череповец... Э-э, зачем вам подробности?.. Я тогда уже крупно не ладил с матерью, по примеру отца тоже начал пить, впутался в уголовную историю, попал под суд. Какая цепь! Какое гнусное ожерелье! Одно тянуло за собой другое... А началось со слов, которые я произнес на собрании...

Кропотов пригнулся к столу, сжал лысину руками, замолчал.

А за соседним столиком расшумелась молодежь, перестреливалась тугими научно-техническими терминами и громкими именами: «Инвариантность!.. Неэвклидов континуум!.. Де Бройль! Дирак!..»

Звенело у меня в ушах от молодых голосов и рябило в глазах от волос девицы, рассыпанных по канареечным плечам.

Да, так оно и было, я виновен, но, право же, невольно. Сегодня весь день я занимался раскопками, пласт за пластом вскрывал свою совесть, подымал наружу окаменевших уродцев. Знал бы Кропотов, что среди этих уродцев открылись мне куда более неприглядные, чем тот, которым он сейчас тычет мне в нос.

Как, однако, люди зависят друг от друга. Двадцать лет назад я имел несчастье неудачно посоветовать. Я хотел спасти человека этим советом! И вот он передо мной: «Я алкоголик... Представитель человеческих отбросов... Вас убить!» Живой укор, грозное обвинение!

Я спросил его:

— Вы все-таки не отрицаете, что я хотел тогда вам помочь?

Он пошевелился, отнял руки от лысины, ответил устало и вызывающе:

— Не отрицаю. И что из этого?

— Из этого следует новый вопрос: можно ли судить человека за то, что он хотел помочь другому? Помочь!

И он снова вскинулся: небритый, помятый, негодующий, смешной и грозный.

— Да! — выдохнул он. — Да! Помощь Иуды... Скажите, что она неподсудна!

— Помилуйте, какой я Иуда. Я не собирался продавать вас за тридцать сребреников, наоборот...

— Николай Степанович! — торжественно провозгласил мой помятый, простуженно красноносый судья. — Вы не прохвост! Нет! Будь вы обычным прохвостом, я бы и не подумал покушаться на вашу жизнь. Черт с вами, одним прохвостом больше, одним меньше — так ли уж страшно.

— Неужели искренний, пусть заблуждающийся человек страшней беспринципного прохвоста?

— Заблуждающийся — да! Заблуждающийся страшней!

Глаза его потускнели и потяжелели, спина распрямилась, плечи раздвинулись, в голосе послышались прежние

потки судейского превосходства. Кажется, я затронул пужную струну. По всей вероятности, у него давно уже разработано соло на тему заблуждений и преступности, наверное, он много лет исполнял его за кружкой пива. «Заблуждающийся страшней!» — победность в голосе. Похоже, я сейчас услышу философское обоснование приговора: «Убить Вас!»

— Обычный прохвост делает гнусности, скажем, клеветает, но в глубине-то души понимает, что поступает плохо. Он всего-навсего парует правила. А тот, кто искренне убежден, что клевета под каким-то соусом или другое что-то в этом роде необходимо человечеству, этот, извините, уже не просто парует правила, он возводит подлость в правило! Вы, Ечевин, не подлец, вы вредная людям идея!

Он глядел мне в перепосицу холодными матовыми глазами. Одутловатые щетинистые щеки, птичий нос и... горделиво-алчное выражение непримиримости.

Врачу — исцелился сам! Он тоже не человек, а идея, не простой убийца, а жрец, очищающий мир от скверны. Что станется с этим миром, если житейские заблуждения начнут наказываться смертью? Что такое хорошо? Что такое плохо? Кто знает это точно? Кто из нас не заблуждался в жизни, не сбрасывал с себя своих заблуждений, чтоб принять новые? Не смей заблуждаться — смерть! Страшней духовной диктатуры не придумаешь. Матовые глаза, щетинистые щеки, птичий нос — судья суровый и праведный, судья, защищающий мир, не меньше!

Нетрудно опровергнуть этого доморощенного судью вместе с его подозрительной праведностью. Нетрудно кому-то беспристрастному, но только не ему самому. Наверняка не год и не два, а много лет сочинял свое философское кредо, как ни зыбко оно и ни уязвимо, но помогало ему сносить и оскорбительные несчастья, и презрение окружающих — значительным-де занимаюсь, лелею спасение человечества. А спасал-то он сам себя — от самонезаважения. Мне пынче это так понятно. И вину я перед ним все-таки чувствую. Безнадежно опровергать — не услышит, не воспримет, ничего не получится, кроме скадальной склоки. Ну не-ет, не унизюсь до нее, даже если суждено погибнуть, постараюсь быть выше своего судьи. Пусть почувствует, на кого замахивается.

— Итак, — спросил я, — вы меня приговорили за заблуждения?

— Не за случайные и не за малые!

— На основании одного лишь события... двадцатилетней давности?

Судья, охраняющий человечество от меня, надулся от важности.

— Нет, Николай Степанович, не пройдет! Тот двадцатилетний случай только толчок, я давно уже слежу за вами, собираю на вас материал, давно взвешиваю, имеете ли вы право жить на белом свете.

— И что же вы собрали?

— Кое-какие сведения о некоторых ваших учениках.

— Например?

— Например Шапов, ныне директор областного сельхозинститута. Ваш ученик?

— Мой, ну и что?

— Вы помните, на чем он вылез?

— Откуда мне знать, я не слежу за его научными работами.

— А их у него, собственно научных, нет. Он вылез на том, что был одним из экзекуторов профессора Долгова, презренного менделиста-морганиста. После смерти Долгова оправдан и прославлен, имя его присвоено институту, а директором этого института сейчас... Шапов.

— Даже если он, Вася Шапов, и злодей, при чем тут я, его школьный учитель? Он мог стать им и без меня.

— А вспомните, что писал Шапов недавно, во время вашего юбилея: «Наставник, которому я благодарен буду до конца своих дней...» Вы плодите шаповых, шаповы плодят себе подобных — расплозается по миру злоедающая гниль. И вас славят за это!

— Почему вы выбрали из моих учеников Шапова? Наверное, знаете Женею Макарова — довольно известный вирусолог, его-то научные труды вне подозрений. Он тоже откликнулся на юбилей — благодарен... Пусть это пустая вежливость, пусть не я помог стать Жене ученым, но и не испортил же его! А вот Гриша Бухалов... Да, да на моем счету есть и такие...

— А на вашем ли? Неужели вы считаете себя настолько могущественным, что способны вытравить в любом и каждом все то, что вложили природа и общество! Не заноситесь!

Бесстрастность на небритой физиономии, морозом скованные глаза — мессия! Убийством восстаивать справедливость! Могу ручаться, что Шапов, которым он возмущается, ни разу в жизни не помышлял о таком. Глядя прямо в его мелкие зрачки, я заговорил:

— Я выучил Гришу Бухалова не только азбуке и таблице умножения. Я первый ему рассказал, что такое родина, за которую он погиб. Вы можете отнять у меня жизнь, но отнять таких, как Гриша Бухалов, для вас непосильно.

И мой суровый судья отвел глаза, с минуту молчал, потом произнес, как мне показалось, уважительно:

— Знал, что вы будете защищать себя умело. Но...— судья тряхнул лысой головой,— попробуйте развить вашу защиту дальше, скажите, что Щапову вы рассказывали о родине не то, что Бухалову.

— Бухалов Гриша был мне почти сыном, много ближе Щапова! Значит, и получил от меня больше. Так по кому же мерять мое?

— Быть к вам ближе, получить от вас больше... Да вспомните дочь, Ечевин, родную дочь.

И я поспешно оборвал его:

— Не трогайте этого! Ради бога! Прошу!

Он замолчал, разглядывая меня в упор, кажется в его глазах сквозь холодную оцепкованность проступило сочувствие.

Выходит, он еще и добросовестный судья — осведомлен не только о школьных, но и о моих семейных делах. Впрочем, не удивительно — весь город говорит о моей беде с Верой.

— Не буду трогать,— согласился он.— Но тогда и вы уж защищайтесь поосторожнее.

Появилась официантка, поставила перед нами бутылки с боржомом и тарелки с яичницей-глазуньей.

— А так ли уж нужно мне защищать себя перед вами? — спросил я, когда официантка удалилась.

— То есть?.. — насторожился Кропотов.

— У меня есть забота поважней.

— А именно?

— Защищаться перед своей совестью.

Кропотов криво усмехнулся.

— Дешевка. Не купите. Не выйдет!

— Как вы думаете, прочитав ваше письмо, должен был я оглянуться на себя, порыться в прошлом — за что же, собственно, меня так? А?

— Ну-ну, положим.

— А как вы думаете, вспомнил я о вас?..

— Вроде нет.

— То-то и оно, Кропотов. Я увидел у себя грехи по-крупнее, попронзительнее. Почему только ваша история

достойна мучений совести, а не те, что мне вспомнились первыми?.. Право, мне теперь не до вас.

— Хотите растрогать меня кротостью? Не клюну!

— Хотел... Совсем недавно мечтал с вами увидеться, кротчайше заявить: вы можете меня убить, но помните, что убьете другого человека. Я изболелся! Я прозрел. Я переродился. Между мной и моим однофамильцем из вчерашнего дня нет ничего общего. Убейте меня, но это будет убийство без необходимости.

— И вы рассчитывали, что я раскисну, расчувствуюсь, облобызаю вас в медовые уста.

— Я верил — переродился! — и рассчитывал заразить вас своей верой.

— А сейчас?

— Нет.

— Чего так?

— Я недавно понял, что не могу по-иному, по-новому поступать. Не могу, скажем, написать иную характеристику своей ученице! Стать иным рад бы, но нет... Не выношу себя и не могу измениться. Вы понимаете меня, Кропотов?

Он молчал, тревожно таращил на меня глаза. Он, человек, не уважающий себя, бессильный перед собой. Кто-то, а он-то понимал меня.

— Спасибо вам, Кропотов, за письмо и будьте вы за него прокляты! Действуйте и не надейтесь, что стану просить о прощении.

— Самобичевание сопливое! — выдавил он хрипло и неуверенно.

Я рассмеялся ему в лицо.

— Что, судья, опоздал? Я сам себя осудил. Благородная часть дела сделана, осталась лишь грязная работа — будь палачом, дружок, и не гневись, сам затеял.

Его руки, раздавленные руки чернорабочего, лежащие рядом с таинственным пакетом, сжались в кулаки, глаза тлели зло и затравленно.

— Надеешься трещинку дам? Не выйдет!

— Э-э, Кропотов, да не я вас, а вы меня боитесь.

И Кропотов сразу угас, опустил глаза.

— Да... боюсь, — признался он не своим, каким-то глубинно угрюмым голосом. — Провожать на тот свет человека... не привык. Боюсь и не хочу.

— Сочувствую. Могу лишь облегчить вам работу — буду услужливым.

— Лжешь! — передернулся Кропотов. — Лжешь, негодяй! А почему бежал от меня?.. Молодым галопом ударил, о годах забыл! Оттого, что себе опостылел, бежал? Лжешь!

— Тогда бежал, сейчас не хочу. Неужели не понятно, что в человеке живет проклятое самосохранение, не в мозгу, где-то в желудке. Молодой галоп случился прежде, чем успел подумать... И сейчас во мне, что скрывать, сидит эдакий шерстистый чертик. Жив курилка! Не отделаюсь до конца.

— На пушку берете! Не выдержу, мол, дам трещинку...

— Бросьте — на пушку! Почему вы так беспокойны, почему горячитесь? Потому, что верите мне. И как не верить, мы же братья по несчастью...

— Ну вот и до братства договорились.

— Вы тоже неспосны сами себе, потому и игру выдумали: бросить себя постылого, на костер... И прекрасно! Мы, так сказать, друг для друга взаимовыгодны, вы через меня отделяетесь от своего постылого Я, одновременно освобождаете и меня от того же. Для меня самый легкий выход — минутка неприятности, как в зубоврачебном кабинете.

Кропотов молча взял пакет, стал разглядывать его и свои рабочие руки, хмурясь, моргая, то сдвигая в узелок губы, то растягивая их, все усталое лицо первически гримасничало. И я снова почувствовал во рту медный привкус.

— Дозрел, скотина, — сказал оп. — Хочешь отделаться моими руками.

Медный привкус все еще оставался, но ощущение подмывающей опасности исчезло, мне вдруг стало скучно, появилось раздражение против этого нерешительного человека — судья-каратель, тоже мне. Несерьезный птичий нос, тусклая лысина, мешки под глазами, после первого же несчастья так и не сумел встать на ноги, хотел, наверное, много, но ничем не заявил о себе... Жертве по призванию вершить суд не дано.

— Вот... Можешь взять себе.

Пакет тяжело стукнул рядом с моей тарелкой.

— А если я не решусь?..

Кропотов побагровел, глаза его стали белыми.

— Ну и живи! Задыхайся в собственной вонии!

— А дух?.. Мой дух, Кропотов?.. Вы же его собирались прикончить.

— Почему я за твой поганый дух должен больше тебя отвечать?

И я негромко рассыпался не своим, презрительно горьким смешком.

— Но что будет с человечеством, Кропотов, с человечеством, которое вы от меня хотели спасти?.. Как быстро вы о нем забыли!

— Нет вас — были да вышли, дым остался.

— Лжете, Кропотов! Как всегда, себе лжете. Поняли простое — во мне себя увидели. Или я не прав? Родные братья, хотя и не близнецы.

— Ловко выгораживаетесь!

Злое возбуждение слетело с меня, я вздохнул.

— Нет, не выгораживаюсь. И в доказательство готов взять подарок. Что называется, постараюсь оправдать ваши надежды.

Он гнулся к столу, к остывающей яичнице, прятал от меня лицо, выставляя неопрятную лысину.

Ярко освещенное крикливо-цветастое кафе — белое и черное, зеленое и желтое, и за столиками благополучные люди. Небритый, нездоровый, враждебный человек напротив меня. Жаль его, жаль себя. Запрокинуть бы голову до хруста в шее, завывать по-волчьи на тощенькие современные люстры — о пропущенной жизни, от зависти к тем, кому жить предстоит.

Я взял пакет и чуть не выронил его из рук — он оказался тяжелей, чем я думал.

— Кропотов, — сказал я мстительно, — ты напрасно мне это отдаешь. Оно тебе самому нужно.

Он промолчал. Я повернулся, хотел крикнуть официантку, чтоб расплатиться за бутылку минеральной, нетронутую яичницу, и тут Кропотов застонал:

— Да скорей же!.. Не тяни! С глаз долой!

— Будь здоров, Немезида.

Бережно прижимая пакет к животу, я двинулся к выходу.

Известно, что Людовик XVI держался храбро во время казни. Талейран будто бы назвал это «храбростью женщины в момент, когда она рождает». Я испытал угрюмое хмельное удалство, приобщился к отваге висельника.

Этот хмель продолжал кружить мне голову, когда кафе осталось за спиной, когда автобус вез меня к дому.

Нет, я не гордился победой над человеком, который приехал убить меня. Он не стоил того, он из тех, кого в жизни побеждает каждый встречный. Но, похоже, я победил себя. Пакет оттягивал карман моего пальто — военный трофей, вызывающий к действию.

Прозревший крот не в состоянии жить под землей во мраке. Раз он прозрел, то должен видеть солнечный свет. А мир, где светит солнце, не для крота, крот приспособлен к потаенной кротовой жизни. Но все равно будь благодарен прозрению, за минуту яркого света с честью прими расплату!

Автобус вез меня к дому. Он был почти пуст в этот уже довольно поздний час.

Хлыщеватый паренек — брючки слишком узки, полы пальто подрезаны чересчур высоко, головной убор отсутствует — глядится в ночное стекло окна: «Как я хорош». Нарцисс.

Две девицы громко болтают о какой-то Капке, которая «ломается, как копеечный прыжок».

Сейчас я имею право свысока смотреть и снисходительно судить. Ни один из встречных наверняка не пережил такого дня, какой только что пережил я, ни один не прошел через такой пристрастный и жестокий суд совести, через какой прошел я. Навряд ли кто из них когда-либо вынесет себе столь суровый приговор. Пакет оттягивает карман моего пальто, он не просто взят добровольно, он отвоеван мною вместе с высоким правом судить самого себя.

Я сошел на остановке возле своего дома.

Будь благодарен прозрению, крот, слепо проживший жизнь в шестьдесят юбилейных свечей. Другие кроты не поймут.

Мимо меня промчался с грохотом мотоцикл — парень вез за спиной девушку. Это, наверное, самый последний из мотоциклов, несущий на себе досужих отдыхающих.

Закрываются магазины, и то кафе возле вокзала, наверное, уже тоже закрывается, не совсем еще пьяного Кропотова выставляют на улицу. Последние прохожие спешат по мостовой.

Вдоль проспекта застыли молодые липки, прогретые за день на солнце, испытавшие живое шевеление

сока — деревья с налившимися почками. Почки скоро лопнут...

Все еще сеял дождь, фонари вспарывали мокрый асфальт судорожными полосами. Город засыпал, успокоенный и освобожденный. По его улицам уже не ходит убийца, к любому углу приближайся с доверчивостью. Но одной рукой я придерживаю отягощенный пакетом карман.

Что ж...

38

Не снимая пальто, через столовую при неверном свете фонарей с улицы я пришел в свою комнату, плотно прикрыл дверь, прислушался. Жена, похоже, спала... или продолжала от меня прятаться в недрах нашего затемненного жилья.

Возможно, она глядит сейчас в потолок, перебирает в уме нашу с пей жизнь. Она, кажется, и на самом деле была несчастлива со мной, хуже того, как-то однообразно, уныло несчастлива. У меня хоть ежедневная смена: дом — школа — дом, а у нее только: дом — дом — дом — равнина и в ней овраги.

Спит или думает?.. Ждет ли покорно заранее известного утра? «Доброе утро, Коля. Как ты спал?» — лозунг дома. Прости, Соня, утро у тебя будет недобрым, тебе придется перебраться еще через один страшный овраг. Всей душой хочу, чтоб он был у тебя последним. Постарайся набраться сил, одолей.

Включил свет.

На письменном столе среди разложенных книг, тетрадей морской кортик. Гриша Бухалов — светлое пятно моей биографии. Впрочем, кошмарное сегодня подарило мне встречу с Антоном Елькиным. А сколько таких Антонов, искренне считающих меня солью земли. Письма и телеграммы все еще идут со всех концов страны. Письма и телеграммы, искренние и признательные... Может ли быть страшней обвинение, чем восторг, которого ты не заслуживаешь?

У меня есть единственное достоинство — не отымешь! — не злодей, не прохвост, честный человек. Это признал даже мой судья Сергей Кропотков. Останусь честным до конца, признаю: Гриша Бухалов погиб, а Лена Шорохова жива и будет жить!

Я задернул занавеску на окне, спрятался от всего рода.

Что ж... Запустил руку в карман пальто, прорвал пакет. Ладонь сразу же удобно легла на отрезвляюще холодную рукоять. Вытянул, отбросил обрывки бумаги. Наган...

...Старый, пятнистый, маслянисто лоснящийся, хищный и тонкий ствол увенчан крупной мушкой — военный трофей, вызывающий к действию.

Пошевелив пальцем барабан, я заметил, что его глазницы пусты. Неужели не заряжен? Издевка? Шуточка вкупе с письмом? И уже невольно хлынуло в грудь облегчение. Но в эту секунду в глубине гнезда вкрадчивый блеск. Наган заряжен. Всего одним патроном, но заряжен.

Тоже мне мастер — новое презрение к Кропотову. С одной пулей на охоту. А если бы промах?.. Если б осечка?.. Осечка может случиться и в моих руках. Может случиться, может — нет. И откуда он эту допотопную чудовину выкопал?

Я взвешивал в руке старый наган. Он солидно тяжелый, он много раз ржавел, от этого пятнист, его где-то прятали, как прячут преступные мысли, не игрушка, в выброшенном вперед стволе щучья хищность. Я взвешивал его и раздумывал о нем.

Молчаливый, как могила, преданный, как может быть предан не друг, а оружие. Наверняка его биография полна тайн.

Наверняка служил еще в гражданскую, потому что по виду очень стар. Может, его носил за поясом матрос с широкой душой, опьяненный революцией, пускал из него в распыл юнкеров. А может, юнкер, вчерашний барчонок, озверевший от несчастья — у папы содрали генеральские погоны, разорили родовое гнездо, — стрелял по солдатам. Может, таскала его активистка из продотряда, добывавшая у мужиков хлеб для голодных детей, активистка в кулачковом платочке, сама голодная и рваная, окруженная угрюмой мужицкой ненавистью. А может, кулацкий сынок направил из-за угла этот ствол на активистку, и легла на землю девчонка, и кровь мочила красную косыпку... Молчит старый наган, служащий всякому, кто возьмет его в руки.

Скорей всего, служил нечистым рукам, иначе не достался бы Кропотову. Наверняка последние долгие годы он вел подпольную жизнь, отлеживался по застрехам на чер-

даках, в земле, обмотанный промасленными тряпками, в дымоходах, просто в глубине сундуков и чемоданов. Возможно, время от времени выходил он из своего подполья под покровительством ночи, и какими кровавыми преступлениями кончались его короткие прогулки?.. Не найден, не уличен, не арестован, теперь почти беззуб, но еще раз укунить может, вырвать еще одну жизнь...

Кропотов Сергей с бережной заботой привез его в брезентовой сумке — бывший ученик своему учителю.

Молчит старый паган, служивший всякому, верно служивший. Кропотов отказался от его службы.

Медленно, медленно, без щелчка я взвел кlyкастый курок, и барабан послушно пошевелился, мерцающая пуля спряталась, встала напротив ствола. Медленно, медленно я стал поворачивать ствол к себе. В упор — жирная тьма отекающего зрачка. В упор преданный взгляд честного оружия.

Положить палец на собачку, мягко нажать... И та, спрятавшаяся, вкрадчиво поблескивающая, пробьет череп.

Я всей кожей ощущал кричащую тишину заснувшего дома.

Жирный зрачок в упор. В последний раз проверь, так ли ты делаешь. В последний раз спроси: почему не хочешь, чтоб в день твоего рождения зажглась шестьдесят первая свеча?

Тебе вообще не правится жизнь?..

Да нет, жирная тьма, до краев заполнившая хищный ствол, тебя коробит. Хочется видеть, как лопнут почки, хочется ходить под густым пахучим небом, дожидаться, когда деревья отяготятся листвой, пожелтеют, облетят... А светлая праздничность первого снега! А зимний вечер в тепло натопленной комнате с умной книгой наедине!.. Нет, жизнь хороша, и благословен род людской на своей планете. Ты не ненавистник и не мизантроп. Но почему-то ты взвел курок?

От странной несовместимости. Я не должен писать на Лесу Шорохову похвальную характеристику, и в то же время я ее непременно напишу...

Что ты есть?

Ты сегодня много думал над этим вопросом и не ответил себе. Скорей добр, чем зол, честен, а не подл, желаешь быть полезным, но приносишь несчастья другим. Что ты есть и почему ты собой недоволен?

Не потому ли, что всегда тянулся к тому, что попроще, шел туда, где полегче?

Легче согласиться с Иваном Суковым, чем защищать Ивана Семеновича Граубе. Легче бросить Таню «в набежавшую волну», чем сохранить ее на всю жизнь. Мне легче писать похвальные характеристики Лене Шороховой, чем заставить ее задуматься. И осудить Веру было легче, чем разделить с ней ее беду...

Ох, как трудна жизнь — вся из несовместимых противоречий!

Нажми на спуск, но прежде составь эпитафию: «Неудовлетворительно жил и бесполезно умер».

Стоп! Не спеши!

Неудовлетворительно?.. А такая ли это заслуга — быть довольным собой? Во всем хорош, безупречен, в голову не придет судить себя. И не возникнет желание что-либо изменить, что-то создать новое — зачем, когда и так хорошо, удовлетворен. Много ли от довольного пользы?

Неудовлетворительно... Не грехи — вполне удовлетворялся, вот этим-то теперь и не правишься себе. Очнулся, по поздно, ох, поздно! Сгорело шестьдесят свечей! Однако не все прогорело, кое-что осталось... И пугает — в том, что осталось, открылось трудное, непосильное. Действительно, как быть с Леной Шороховой? Да плюнуть на нее и нажать курок. «Бесполезно умер» — пашел чем удивить. Попробуй-ка удивить жизнью...

Я отвернул от себя наган и двумя руками бережно, бережно отпустил курок, положил наган на стол. Подозрительное оружие с темной биографией легло рядом с оружием, чья судьба чиста, ясна, величественна, — с морским кортиком Гриши Бухалова.

А Гриша все-таки мой. И даже Антон Елькин... Нет, нет, не могу похвалиться: я сделал из тебя, Антон, человека. Полностью такое не возьму на себя. Но не зря же ты помнил меня. И я действительно тебя защищал. Но защитил?.. Так казалось мне, но не тебе, Антон. Гриша Бухалов у меня один, Антонов Елькиных много...

Кропотов подумает, что я струсил.

Кропотов Сережа, мой ученик. Он тоже отворачивался от противоречий, тянулся к тому, что попроще. Казалось бы, просто взять в руки наган, совершить очистительный выстрел. Выстрел, после которого на Земле окажется еще один труп.

Старый наган покоился на столе рядом с морским кортиком Гриши Бухалова.

Гриша Бухалов... За его спиной находился экипаж катера и вся страна. Гриша Бухалов умер, «смертию смерть поправ»? Это утверждение жизни, никак не смерть.

Людовик XVI умер бесстрашно, зато жил трусливо. Нет уж, пусть в день моего рождения зажжется шестьдесят первая свеча.

1980

Чистые воды Китежа

- 1

Кто сказал, что славный град Китеж капул в Лету? Он живет и строится, выполняет и перевыполняет планы, берет на себя высокие обязательства, выпускает газету, сидит по вечерам перед экранами телевизоров, неустанно повышает свой культурно-массовый уровень.

Но порой, в особо ненастные дни, град Китеж словно опускается в вековечный покой — с низкого неба сеет мелкий дождичек, большинство китежан прячется по домам, а те, кто по нужде вылезают на мокрые асфальтированные мостовые в непромокаемых синтетических кулках, вызывают невеселые мысли: как не похожи они на своих прославленных предков, которые в оны времена способны были и к братоубийству, и к кровавой удали, к грехам и покаяниям. И недавно реставрированный купол древнего собора скорбно блесит, как лысина самого господа бога, недоумевающего, что за скучный мир он создал! И мокрый от дождя кирпичный фасад редакции местной газеты «Заря Китежа» неуловимо напоминает физиономию страдальца, изнемогающего от зубной боли.

В этом здании, в узком, как обрубленный коридор, кабинете, не зажигая света, сидел в философском столбнячке и взирал на мир божий ответственный секретарь редакции Самсон Попенкин.

О чем может думать в такой тягучий, певызревший осенний день истинный китежанин? Только об одном из двух: эх, а не напиться ли, или же — познай самого себя. И по тому, в каком направлении тут работает мысль, можно определить человека — духовно здоровый он по натуре или же рефлексирующий интеллигент.

Самсон Попенкин, увы, не пил горькую, значит, в ранних сумерках, в унылом одиночестве познавал себя.

Ему скоро должно стукнуть круглых пятьдесят. На заре туманной юности он хотел стать поэтом, мечтал о сла-

ве, писал стихи, насквозь проникнутые жизнеутверждающей бодростью:

Трудности — не горе,
Жизнь крепка, как сирт!
Но колено море,
Разум наш не спит.

Он рано понял, что стихами, пусть даже самыми жизнеутверждающими, не выбьешься в люди... поступил на службу.

Познай самого себя, а это всегда вызывает крайне противоречивое чувство: любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет...

В общем-то, Самсон Попенкин не последняя спица в колеснице, как-никак ответственный секретарь центрального печатного органа града Китежа. Ответственный... отвечает за собранный материал, за сроки выпуска, за качество набора, за разверстку, раскидку, за черт знает что! Казалось бы, давно можно потерять голову и место, но главные редакторы менялись, а он, Самсон Попенкин, — незыблем. Но порой эта незыблемость не столько радует, сколько угнетает, минутами кажется — жизнь не движется, буксует на месте. Вчера была сдача, сверка, выпуск, сегодня, завтра, послезавтра — до гроба ни с места. И как подумаешь, что вот так же в мокрое окно будешь провожать день за днем, то — ох, любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет... И развернутый на столе лист последнего номера газеты вызывает нездоровые ассоциации с небом, до удушья низко висящим сейчас над градом Китежем. Любит — не любит, к черту пошлет...

И вдруг... Нет, нет, ничего не произошло, но Самсон Попенкин вздрогнул. Все так же моросил за окном дождичек, и город по-прежнему был придавлен небом, но невинное настроение — любит — не любит — дало сбой.

Давно в городе Китеже никто не вытаскивал детей из пожара, не побивал производственных рекордов, не справлял юбилеев, не ожидалось завершения какого-либо крупного строительства, даже для футбольных и хоккейных матчей, волнующих души, — не сезон. Время льется, как масло, слишком бесшумно. Спокойствие так давно копится, что оно, словно безобидный воздух, нагнетенный в стальной баллон, становится уже взрывчаткой. Самсон Попенкин вздрогнул от сгустившегося спокойствия. Он вздрогнул и почувствовал себя ясновидящим: грядет нечто! В воздухе пахло взрывчаткой. Разряд, искра и — шум, дым, пламя, вихри враждебные!

И за окном уныло блестел лысый купол собора.

Весь подобравшись, Самсон Попенкин попробовал направить свое ясновиденье в одну точку: разряд, искра — откуда? Но лишь угрожающе плотная тишина сжимала его со всех сторон. Откуда-то должен грянуть гром и разверзнуться хляби небесные. Откуда-то!.. Ясновиденье на этот раз было бессильно.

За стеной хлопнула входная дверь, в коридоре прозвучали знакомые суетливые шаги, — главный редактор Илья Макарович Крышев прогарцевал мимо кабинета Самсона Попенкина своей стеснительной боковой походочкой.

Самсон Попенкин вновь прозрел: искра!.. Кто ее занесет, как не главный! Должно быть, она сейчас уже жжет его ладони.

Попенкин не вскочил, не бросился опрометью к Крышеву. Надлежало выдержать ритуал — сейчас, как всегда, раздастся телефонный звонок и знакомый голос пригласит: «Зайди на минутку».

Сейчас. Вот сейчас!..

Телефон зазвонил:

— Самсон Яковлевич, зайди на минутку.

2

Их обязанности были строго распределены — Самсон Попенкин руководил внутренней жизнью редакции, главный редактор Крышев взвалил на себя бремя внешних сношений. Самсон Попенкин выдавал граду Китежу шесть раз в неделю по четыре газетных полосы, Илья Макарович Крышев шесть раз в неделю — иногда и чаще — выезжал уточнять, утрясать, получать инструктивные указания.

Самсон Попенкин ждал, что главный приехал взъерошенный, как петух, который осмелился стать задом к ветру. Но Илья Макарович трудолюбиво сидел за зеленым полем своего письменного стола, как всегда, гладко причесанный, благодушный, застегнутый на все пуговицы. Не похоже, чтоб его жгла искорка.

Кабинет Крышева никак не походил на узкий кабинетик ответственного секретаря — эдакую щель между забитыми (куча мала!) отделами. Нужно было сделать немало шагов от двери, чтоб приблизиться вплотную к рабочему столу главного редактора. И когда ты, преодолев пространство, в меру насыщенное чем-то особым, трепетно

значительным, приближаешься, усаживаешься на указанный благожелательным кивком головы стул, то замечаешь, что на тебя усталились не одна, а сразу две физиономии — румяная, открыто простецкая Ильи Макаровича и стеклянно-мутная, загадочно-непроницаемая телевизора.

Телевизор в кабинете! Нет, он поставлен не для того, чтоб смотреть увеселительные передачи «Голубого огонька» или хоккейные схватки. Телевизор в кабинете — знак высокой руководящей ответственности. Во всем граде Китеже можно перебрать по пальцам тех товарищей, кто восседает на работе в компании с безмолвствующим телевизором.

Илья Макарович Крышев только-только начал наливать той добротной полнотой, которая означает, что данный товарищ растет уже не вверх, а вширь. Илья Макарович растегнул папочку, неторопливо и уважительно разложил по зеленому полю нужные бумаги — привычный ритуал, завершающий удачную операцию очередных внешних сношений.

— Так вот, считают: неплохо, вовсе неплохо мы освещаем подготовку к зиме...

Привычный ритуал, привычные слова, — неужели ясновиденье подвело? Самсону Попенкину по-прежнему было тошнехонько от навалившейся тишины, душа требовала — шум, дым, вихри враждебные!

— И ничего больше? Никаких замечаний?

— Есть одно...

Самсон Попенкин чуть-чуть подался вперед, но узкое лицо бесстрастно, и взгляд непроницаем.

— Мы, помнишь, как-то давали статейку о загрязнении речки Кержавки...

— И?..

— Нет, нет, все в порядке — прицел верный. Только робко мы кричим об этом. Родная природа уничтожается, а мы с эдакой укоризной, без напора, без запала...

И Самсон Попенкин уныло обмяк: загрязнение речки — тема мелкая, боковая, да к тому же с длинной бородой. А Илья Макарович вдохновенно поблескивал глазами:

— Тут надо, брат, во все колокола бить! Чтоб все услышали да встрепечулись. Набатную статью требуют! Понимаешь — набатную!

Но Самсон Попенкин не разделял воодушевления.

— И это все? — спросил он.

— Что еще?.. Всколыхнуть падлежит массы! Набатом! Тебе мало?

Натуре Ильи Макаровича свойственно: «А оп, мятежный, ищет бури...» Только, чтоб буря была не слишком — ну, не в стакане, конечно, и не в лохани, речка Кержавка как раз подходит.

И дождь, дождь за окнами. И намозоливший глаза купол собора. И небо обложное, беспросветное...

— Так я пойду, Илья Макарович.

— Набатную статью! Набатную! Во всю силу! Во все колокола! В ближайший номер!

— Ладно, набатная так набатная.

..
3

Фоторепортер Тугобыров сунулся было к нему с мокрыми еще снимками передовой силосной башни, но Самсон Попенкин захлопнул перед ним дверь:

— Занят!

Сел за стол и, чтоб не видеть мутного окна, зажег свет, задернул пыльную гардину. Покоя не было в душе, зыбкое чувство ясновиденья — что-то будет, что-то неминуемое! — не рассеялось после разговора с главным редактором. А должно бы рассеяться. Загрязнение речки Кержавки... Из такой завалящей темы искру не высечешь. Шум, дым, вихри враждебные... Неужели стал стареть, чутье откашивает?

Вынь да положь колокольный набат, никак не меньше. Впрочем, это дело привычное: Самсону Попенкину приходилось подымать колокольный трезвон по мясу и молоку, яйценоскости кур и вывозке навоза, холодному выращиванию телят и горячей обработке металлов. Теперь вот о загрязнении речки Кержавки...

Набат? На такую тему?..

И Самсон Попенкин насторожился — тут что-то есть.

Этот набат кому-то не понравится. Кому? Да в первую очередь директору Китежского комбината товарищу Сырцову Каллистрату Поликарповичу. Дядя Каллистрат в граде Китеже ни перед кем не ломает шапку. За спиной дяди Каллистрата всеильные главки крупнейшего в стране министерства, поддержка самой Москвы!

Набат против него?..

Неужели нашелся такой удалец, который решил сразиться с китежским Ильей Муромцем?

Сразиться один на один?.. Э-э, в том-то и дело, что нет. Просит ударить в набат, поднять весь город, всколыхнуть массы!

Каждому китежанину хочется, чтоб речка Кержавка и озеро Светлояр, в которое она впадает, были чисты. Каждый китежанин наверняка откликнется на набатное слово.

Мелкая тема, ой ли? Она-то и способна поднять город. А с целым городом даже могучему Каллистрату Сырцову воевать тяжелько.

Но тогда двинет силы курирующий главк, зашевелится министерство, вступится Москва!

Град Китеж против самой матушки Москвы?!

У Самсона Попенкина по спине побежали холодные мурашки: такого еще на его памяти не бывало. И вспомнилось вдохновенное лицо Ильи Макаровича: «А он, мятежный, ищет бури...» Будет буря тебе, дорогой Илья Макарович, еще какая! Закачаешься на своем стуле.

«Может, предупредить?..» — подумал Самсон Попенкин. Он сработался с главным и, право же, не хотел, чтоб добрейшего Илью Макаровича повыдуло бурей из редакции.

Но тут же представил себе — буря не разразится, завтра будет походить на сегодня, сиди перед заплаканным окном, изучай лысый череп собора... У кого душа не просит бури, кому не хочется порезвиться.

Илья Макарович ищет бурю весьма умеренных размеров, ну а он, Самсон Попенкин, не прочь покачаться и на высоких волнах. Он полегче Ильи Макаровича, а потому понаплавистей.

4

Но кто должен ударить в набат? Любой и каждый на это не способен — нужен лихой человек.

В граде Китеже не перевелись отважные рыцари, умевшие орудовать пером ничуть не хуже, чем их достославные предки копьем и палицей.

Испокон веков по деревням и селам святой Руси встречаются недюжинные натуры, которых почтительно величают ухарами, сторонятся при встрече. Первым ухарем китежской печати по праву можно было назвать критика Петрова-Дробняка. Он пришел в литературу от сырой земли, наделен черноземной силищей, буйством права и

столь выразительной откровенностью неприглаженного стиля — «И-эх, расшибу!» — что вызывал невольное содрогание у слабонервного читателя. Уж кто-кто, а Петров-Дробняк мог оглушить набатом, но все дело в том, что, взобравшись на колокольню, он не любил слезать вниз. Пробив в колокола, собрав народ, Петрову-Дробняку ничего не стоит закричать: «Бей их!» И указать на тех, на кого у него давно горит зуб. Самсон же Попенкин не раз, случалось, перебегал дорогу старому ухарю. Петров-Дробняк не подходил.

Полной противоположностью этому полубылинному Василию Буслаеву был Арсентий Кавычко, чье отточенное мастерство отличалось изяществом, характер — улыбчивостью, а душевной щедростью природа наделила его столь богато, что его натренированное перо умело выводить эпитеты лишь в превосходных степенях — «глубочайший талант», «тончайшее наблюдение», «проникновеннейший взгляд», — так что у читателя от столь изысканной пищи порой появлялись низменные желания: «Селедочки хочца!» Арсентий Кавычко мог, конечно, ударить в колокола, но вместо набата у него наверняка получился бы лирическо-плясовой перезвон: «Ах, милашкин сын, комаринский мужик!..»

Жил в Китеже и небезызвестный Борис Моисеевич Чур — закаленный легионер, преданно служащий своим оружием всякому, кто его позовет. За многолетнюю службу он вытенировал себя в разных стилях и жанрах. Ему ничего не стоило обернуться «серым волком по земли, сильным орлом под облакы», он мог (если буде дозволено) ухарски крушить на манер Петрова-Дробняка и сладкоголосо величать (коль действительно требуют) в духе Арсентия Кавычко. Набат — пожалуйста, Чур и это сумеет. Он и на колокольне не задержится, сразу спустится, скромненько встанет в сторонке. Но сложность в том, что каждому известно — доблестный Чур, как истинный легионер, действует не сам по себе, а по приказу. И конечно же сразу станут искать — кто отдал приказ, по чьему наущению прозвучал набат? Чур первый же и укажет на Самсона Попенкина — он послал, на нем вся вина. Э-э, нет, чур меня! Самсон Попенкин вовсе не хочет, чтоб на него целились указующим перстом.

Град Китеж не беден людьми, умеющими держать перо в руках, но в кого ни взглядишь — каждому рыцарю чего-то не хватает, каждый с изъяном.

Самсон Попенкин начал было уже тихо отчаиваться,

как вдруг его осепила гениальная идея: «А не поставить ли куницу на воротник!» Он даже на минуту-другую впал в столбнячок, сидел и очумело помаргивал.

Вот так находка!..

Впрочем, даже находкой-то пазвать нельзя — лежало на самом виду. Человек, имя которого сейчас пришло в голову Самсону Попенкину и оглушило его, был более известен в Китеже, чем Петров-Дробняк, Арсентий Кавычко и Чур, вместе взятые. Но прежде стоило подумать, и крепко подумать, уже потому, что приходилось просить помощи у того, кто в ней всегда сам нуждался.

В тишине своего тесного кабинета Самсон Попенкин принялся мысленно взвешивать и ощупывать не кого-нибудь, а местного поэта Ивана Лепоту.

Любой поэт, как бы ни было мало его поэтическое поле, старается пожать с него посильные лавры. Иван Лепота умудрялся на своем поле выращивать только шишки. Дитя природы, он влюбленно умилялся всему, что попадалось на глаза. Видел, например, кочки в лесу и сразу же приходил в восторг. Одно то, что кочки не чужие, не занесенные со стороны, а свои, родные, китежские, давало ему право считать — лучшие в мире! Китежская рябина, как бы ни горька она была, — все-таки самая сладкая. Китежские грибы — самые ядреные. Китежские церкви — самые высокие... Казалось бы, честь и слава ему за такое любвеобилие, но... беда в том, что Иван Лепота не умел остановиться вовремя, — начав умиляться всему, что попадает на глаза, он забывался и начинал умиляться, чего и видеть-то никак не мог. Например, ни с того ни с сего со всей своей умильной силой он начал воспевать китежский колокольный звон, тогда как колокола в славном граде Китеже давным-давно были сняты с колоколен. Выходило, звонит то, что звонить уже никак не может. Или вдруг в порыве вдохновения Лепота восклицал: «В табуне горячего выберу копя!» А в то время горячих коней во-круг Китежа на зиму привязывали к потолочным матицам, чтоб не упали от бескормицы. Да и какие табупы коней, когда пашут, боронят, возят поклажу на тракторах да на машинах. Тракторам же Лепота упрямо не хотел умиляться. И потому его постоянно били за искажение китежской действительности, за очернение, а в одно время уличили в антипатриотичности, заклеили как безродного космополита. На что сам Иван Лепота отозвался недоуменными стихами:

Хожу пестриженный, небритый,
Бываю раз в неделю сыт,
Зовут меня космополитом,
Какой же я космополит?!

И конечно же сразу получил по заслугам — за упаднические настроения, за гнилой субъективизм!

Такому-то человеку бить в набат! Казалось бы, мысль по меньшей мере песуразная — сам забит и затюкан. Но чем больше Самсон Попенкин вдумывался да вглядывался, тем сильнее убеждался — лучшего звоняра не найти.

Да, Ивана Лепоту постоянно бьют и приговаривают: «Плохо пишет, бяка, не стоит его читать, дорогие читатели!» И получается что-то вроде запрета. А кому не известно, что запретный плод сладок. И дорогие читатели с жадностью набрасываются на разруганные стихи Лепоты. Давно уже все, что он ни напишет, вызывает острый интерес. Одно его имя достаточно шумно, чтоб способствовать набату. И если даже Лепота, набивший руку на стихах, в статье окажется не на высоте, то все равно читатель будет на его стороне. Не только потому, что читателю хочется купаться в чистой речке, ездить отдыхать на чистое озеро. В Китеже испокон веков симпатизировали блаженным и обиженным, а Лепота — и блаженный, и обиженный, не от мира сего. Если звон его будет слабым, все равно услышат и всколыхнутся.

Но нужно ждать — Лепота справится со статьей. Он не раз славил костры на берегу реки, запах ухи, плакучие ивы, а это-то как раз и загрязняется. Должен же он вознегодовать хотя бы раз в жизни. Скорей всего за набатный колокол возьмутся нужные руки.

Обдумав все, Самсон Попенкин сразу же вышел из столбнячка, накинулся на телефон:

— Редакционная машина свободна?.. Не отпускайте — срочное задание. — Удар по рычагу, новый номер: — Тугобырлева мне... Пушкарь, у подъезда тебя ждет машина. Только ты можешь отыскать в городе Ивана Лепоту. Срочно! Срочно! Пожарное дело! Вылови да сам, смотри, не застрянь. Немедленно сюда — живым или мертвым. Заупрямится — скажи, что утешу.

Ответственный секретарь Попенкин умел поднимать на ноги нужных людей.

Спустя пять минут фоторепортер Тугобырлев уже мчался по городу, а еще через полчаса будущий набатчик был доставлен в редакцию.

Это был высокий, сутулый, пскладный человек с обезьяньими руками, болтающимися ниже колен. В молодецкой потехе — пригнуть к столу руку противника — он считался непобедимым среди кптежских собутыльников. Раньше он часто воспевал свои русые кудри, которые «облетают, как желтый лист», пынче эту тему пришлось оставить, так как процесс облетания кончился — на месте выющейся заросли образовалась мусорная пустошь. Лицо его, массивное, дремотное, могло бы казаться монументально покойным, сильным, если б не мелкие, угрюмые, подозрительные складочки в углах глаз, в углах губ — следы многолетних переживаний за нелнцеприятную критику. Только глаза — зеркало души — глядели на белый свет все еще с голубой наивностью.

— Как жизнь, Иван? — поприветствовал поэта Самсон Попенкин.

— Как в аптеке, на фармацевтических дозах, — хмуро ответил Иван Лепота.

Хожу нестриженным, небритым,
Бываю раз в неделю сьт...

Тут поэт вряд ли был искренним, так как Ивана Лепоту не столько беспокоило всегда — «хлеб наш насущный даждь нам днесь», сколько — «веселне на Руси есть пити». Он даже уровень своей жизни мерил стандартными жидкостными мерами. «Как жизнь, Иван?» — «Нормально, до пробки». Или же: «Так себе, на четвертинку». Или: «На министерскую едва натягиваю» («министерская» — сто пятьдесят граммов). И самый пессимистический вариант: «Как в аптеке, на фармацевтических дозах».

— Есть серьезное дело, нужна твоя помощь, — без лишннх предисловий объявил Самсон Попенкин.

— Стишата к празднику?

— Нет, статья.

— Зарезать начинающего стихоплета? — проявил проинчательность Лепота.

— Ударить в набат, Иван.

— Чего ради?

— Ради святого лозунга: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!»

— Попроси пионеров, они в барабан ударят.

— Дело не пионерское, керосинцем пахнут чистые воды Китежа, не замечал, лирик?..

И Самсон Попенкин сжато, по-деловому объяснил задачу.

— Гм... — ухмыльнулся Лепота. — Одного не сказал: против кого же этот набат?

— А кто, по-твоему, керосинит? Кто тебе и другим портит лирику?

— Да ну-у! — округлил голубые глаза лирик. — Действительно не пионерское дельце — куси Каллистрата!

— Оробел, Пегас, перед крутой горкой?

Иван Лепота уставился на Самсона Попенкина почти с уважением:

— Каллистрат — дядя сердитый, вам от набата штаны того... сунуть не придется?

— За наши штаны страдаешь?

— Ну да, — прозорливо хмыкнул поэт, — на меня же свалите все потом.

— Может, и свалим. Тебе-то не все равно?

— И то верно, я человек отпетый, мне терять нечего.

— Неужели не любопытно, как дядя Каллистрат на стенку полезет от твоего колокольного звона?

— Любопытно.

— Берешься?

— Для милого дружка — сережку из ушка. Выпиши аванс, пока бухгалтерия не закрылась.

— Нет, брат, аванс отразится на твоей работоспособности.

— Ну, хоть пятерку одолжи!

— Ни рубля! Статья пужна завтра, даем зеленую улицу, так что — трезвость и усердие в течение одной ночи. Завтра получишь гонорар полностью: гуляй!

— Зеленая улица на Каллистрата Сырцова! Ну и ну!

Самсон Попенкин уважительно проводил Ивана Лепоту до дверей. У дверей же в коридоре стояла Полина Ивановна Кукушкина, заведующая отделом писем, — строгие очки в железной оправе, чопорная добросовестность в поблекших чертах:

— Самсон Яковлевич, можно взять письма?

Полина Ивановна появлялась в кабинете Попенкина два раза в день — утром, принося пужную (по ее мнению) читательскую корреспонденцию, и вечером, забирая ее. Это был заведенный издавна ритуал, не отражавшийся на редакционных делах. Занятый текучкой Самсон Попенкин обычно читательских писем не просматривал, полностью доверяя Полине Ивановне — читать, отвечать, тасовать, хранить.

— Иван Степанович,— обратилась Полина Ивановна к Лепоте,— есть письмо и вас касающееся.

— Что там? — с величавой небрежностью спросил поэт.

— Ничего особого, обижаются, что наша газета редко печатает ваши стихи.

— Правильно обижаются.

Самсон Попенкин хлопнул поэта по плечу:

— «Лета к суровой прозе клонят!» Твоих почитателей, китежский Орфей, ждет приятная неожиданность!

На том они и расстались.

Точная, как морской хронометр, Полина Ивановна напесла свой вечерний визит, значит, рабочий день кончился, пора отправляться домой.

6

Как всегда, он шел домой не через Новый мост, парадно широкий, шумный, ярко освещенный, а напрямую, через Старый — бревенчатое, одряхлевшее наследие давно вымерших лихачей и ломовых извозчиков,— оставленный теперь только для пешеходов.

Каблуки громко стучали по деревянному настилу. Самсон Попенкин дошел до середины моста и остановился. Под мостом текла речка Кержавка, та самая, чью девственную чистоту обесчестил комбинат, возглавляемый могущественным Каллистратом Сырцовым.

Город кругом был погружен в сырость и тьму. Влажно расплываются уличные фонари, тепло светят сквозь цветные занавески окна домов, этаж над этажом, семья над семьей вокруг вечерних столов. Добрые китежане гоняют чай и беседуют о разном — можно ли ждать премиальные к получке, купить ли старшему сыну ко дню рождения новый костюм, переворот в Чили, израильская агрессия, удержат ли хоккеисты ЦСКА в этом году первенство... Добрые китежане как-то забыли о текущей мимо них речке Кержавке, знать не знают, ведать не ведают, что скоро над ее обесчещенной водой раздается набат, и все, кто сейчас мирно гоняют чай, подымутся... Кто-то, наверное, будет и за Каллистрата Сырцова, но большинство против. Сила на силу — к сечи!

Течет внизу речка, нашептывает обесчещенная вода... Он, Самсон Попенкин, не числится в столпах, подпирающих основы града Китежа,— умеренно ответственный ра-

ботник, сам по себе не семи пядей во лбу, никак не вождь по духу, не великий полководец, но от него сейчас зависит — подымется сила на силу, всколыхнется славный град Китеж или же все останется по-прежнему — тишина и покой, не вихри враждебные... Могуч дядя Каллистрат, но не в его власти двинуть или задержать армию... В эти дни станет командовать он, Самсон Попенкин, умеренно ответственный секретарь редакции.

Течет речка, и стоит над ней человек, ожидающий своего звездного часа. Погромыхая каблуками о настил, прошел прохожий. Он и не подозревает, что в эту минуту был в двух шагах от воплощенного величия, распоряжающегося судьбами города.

Прохожий скрылся в темноте, заглохли его шаги, великий человек перегнулся через перила, чтоб взглянуться в свою союзницу, услышать заговорщический шепот воды. Но в нос ударил погребной, плесневелый запах, показалось, что заглянул в подземелье города, в его преисподнюю.

Самсон Попенкин вздохнул, отвернулся и застучал каблуками по мосту. Чем ближе он подходил к дому, тем меньше он думал о грядущих битвах, тем настойчивей наваливались домашние заботы — жена побаливает, надо ей выхлопотать путевку в Железноводск, дочь кончает десятый класс — ветер в голове у девки, — наклеивается обмен квартиры с доплатой, значит, опять влезать в долги... Шаг за шагом, ближе к дому Самсон Попенкин перерождался — великий вершитель судеб умирал в нем, «смертию смерть поправ», и воскресал тихий семьянин.

7

Быть или не быть эпохальному для града Китежа столкновению — сила на силу! — надо признать, зависело не только от одного Самсона Попенкина, но еще и от главного редактора Крышева. Как бы хорошо Попенкин ни организовал набат, Крышев мог его и не утвердить. Поэтому Самсон Попенкин старался держать до поры до времени в секрете свои приготовления, чтоб не вызвать преждевременный испуг Ильи Макаровича.

Они были почти ровесниками, и первое время Самсон Попенкин шел на шаг впереди Крышева по житейской стезе. Попенкин на год раньше Крышева кончил Китежский пединститут, раньше заявил о себе, напечатав

несколько жизнеутверждающих стихотворений — «Трудности не горе, жизнь крепка, как спирт...» — стал репортером в газете. В это время Илья Крышев только еще начал бегать по широким коридорам одного городского учреждения в качестве самого что ни на есть младшего сотрудника — боковой стеснительной рысцой, в несолидной душегреечке «жил-был у бабушки серенький козлик». Через много лет этот Илья Крышев все той же боковой стеснительной походочкой, но только в строгом костюме вместо душегреечки «бабушкин козлик», прошествовал мимо Самсона Попенкина в кабинет главного редактора газеты.

Судьба — крепость, не мечтай взять ее прямо в лоб. Она сдается лишь тем, в чьем характере от природы заложено нечто боковое, никак не прямолинейное.

Время от времени в кабинете Самсона Попенкина раздавался требовательный телефонный звонок:

— Ну, как наши дела, Самсон Яковлевич?

— Все в порядке.

— Статья уже заказана?

— Будет. Обещаю.

— Набат выдай. Набат!

— Сделаем набат, не беспокойтесь.

— Действуй, брат, действуй. Полностью на тебя полагаюсь. Звонили тут мне, интересовались...

Самсон Попенкин тщательней всего скрывал от главного, кто именно будет автором набатной статьи, — одно имя Ивана Лепоты могло поколебать решимость не терпящего никаких крайностей Ильи Макаровича.

А Иван Лепота в это время сидел перед Самсоном Попенкиным, потел, скорбел, стонал, ругался, время от времени сгребал написанные листы, грозился хлопнуть дверью, — шла творческая работа над набатной статьей.

Нельзя сказать, чтоб Иван Лепота не справился с заданием, вовсе нет. Его статья начиналась величавым запевом о щедрой красоте китежской природы, о земле, гонящей сочные травы, о влаге, собирающейся в родниковые ручьи, о нежной борьбе этих ручьев, о том, как малые ручейки побеждают большими, как разрастаются в реки... И этот запев, насыщенный трепетной лирикой, неприметно переходил в едкое самобичевание: «Не слушайте меня! Не верьте мне, люди!» Оказывается, он, Иван Лепота, жжет, когда славит свежие травы и чистые воды, дымок рыбацкого костра и запах окуновой ухи! Нет этого! Чистые воды отравлены, отравлена рыба, дав-

но развеялся дымок рыбацких костров, не слышно счастливого смеха купающихся детей...

Вот тут-то Иван Лепота и кончил значительным многоточием.

Ничего не скажешь — прошибало прямо-таки до слез, но для набата никак не подходило. Скорей — плач Ярославны «Путивлю городу на забороле», чем зовущий набат.

И Самсон Попенкин властно требовал от поэта Лепоты набатного обличения: Китежский комбинат при попустительстве директора Сырцова в день выпускает столько-то тонн отравленных отходов в реку, в месяц столько-то, в год...

— Пусть звучит мотив неистового нарастания, — убеждал ответственный секретарь строптивного лирика, привыкшего к слезному умилению в творчестве. — Читатель должен быть смят и подавлен цифрами. Читателя должен охватить страх — нет, не только за обреченную речку Кержавку, — страх космический по размерам — вся наша планета в опасности!

Лирик, побуштовав, постолав, сдавался перед железной необходимостью. Но Самсон Попенкин не удовлетворялся победой:

— А теперь ты вызови у читателя негодование: сообщи, что директору Сырцову неоднократно указывала на эту грозную опасность наша газета. Вот номера газет, названия статей. Перечисли их, пусть они звучат, как удары молота, вбивающего гвозди в гроб дяди Каллистрата!

Статья была закончена общими усилиями воплем оскорбленных и обманутых, прорвавшимся в одном лишь слове: «Доколе?!» Воистину титаническое крещендо, обрывающее набат.

Иван Лепота вытер с чела пот:

— Уф-ф!.. — И с опасливой почтительностью поглядел голубым взором на своего редактора. — Ты, брат, еще тот Соловей-разбойничек... Неужели думаешь, что главный тут наложит «петлю на собаку»? Да для него это все равно что на самого себя петлю накинуть.

Вместо ответа Самсон Попенкин вызвал по телефону машинистку.

— Сейчас мы наш набатец перепечатаем по всей форме, — объявил он поэту. — А тебе, лирик, лучше испариться. Прячься подальше, я уж как-нибудь один.

— Ни пуха тебе, ни пера, Соловей-разбойничек.

— К черту! К черту! Сгинь!

Через каких-нибудь полчаса перепечатанная статья лежала перед Самсоном Попенкиным — по всей форме, с «собакой».

«Собакой» на жаргоне газетчиков — столь непочтительно, к сожалению, — именовалось самое важное место любой рукописи, имеющей хождение внутри редакции. «Собака» — это фасад рукописи, ее лицо, ее официальный паспорт, куда записываются все данные: кто редактор, по какому отделу, срок сдачи, исходящий номер и пр. и пр. Без «собаки» всякая рукопись — Иван, не помнящий родства. Но и «собака» без наложенных на нее основополагающих резолюций, скрепленных авторитетными подписями, — пустое место.

Какне-то «собаки» Самсон Попенкин имел право украшать своей подписью — называлось «накидывать петлю», — не согласуясь с главным редактором. К этой же «собаке» он не имел права, да и не хотел, прикасаться — слишком велика ответственность.

Еще раз прочитав сверху вниз и пробежав снизу вверх всю статью, поправив кой-какие опечатки, Самсон Попенкин с минуту мечтательно сидел и наконец решительно поднялся:

— Ну, Илья Макарович! Иду на вы.

8

Едва статья легла на зеленое поле главредакторского стола, как сразу же вызвала замешательство:

— Что-о?.. Автор — Лепота!

Именно на это-то и рассчитывал Самсон Попенкин. Пусть Илья Макарович возмутится с ходу, еще не читая статьи. Проглотит он сразу всю статью вместе с фамилией автора — вряд ли сумеет тогда переварить. Для начала должен принять маленькую пилюлю.

— Лепота — автор!!

Самсон Попенкин и бровью не повел, спокойненько выжидал, когда замешательство главного редактора перерастет в возмущение.

— Поавторитетней человека не мог подыскать? Почему именно этого отпетого? Эту одиозную фигуру!.. — Голос Крышева по своей природе не способен был звенеть гневной медью, он начинал жестяно дребезжать.

А Самсон Попенкин безучастно глядел в мутное, широкое око безмолвствующего телевизора.

— Это же может скомпрометировать столь важную тему!!

— Кого бы вы предложили? — тихим голосом, с невозмутимой вежливостью спросил Попенкин.

— Да любого, любого, кто пользуется у нас авторитетом. Если не Дробняка, так Кавычко. На худой конец, того же Чура. Каждый, кого ни возьми, не столь одиозен, как этот Лепота!

— Вот именно — не одиозны, авторитетны, — согласился Самсон Попенкин.

И Крышев насторожился, как заяц, услышавший скрип шагов. Пора выкладывать аргументы.

— Если эти авторитетные, не одиозные товарищи помещают у нас в газете набатную — да, набатную! — статью, то любому и каждому становится ясно: набат согласован с вами. Вы — заказчик набата, его инициатор. Неужели кто-то поверит, что Чур или Арсентий Кавычко по своей инициативе ударят в колокола, решатся всполошить весь город. Какой дурак поверит, что они столь смелы и решительны? Вы хотите принять всю ответственность на себя, Илья Макарович?

Илья Макарович смутился — он меньше всего хотел выглядеть зачинателем набата. Смутился, но еще не сдавался:

— А Петров-Дробняк способен, так сказать, по собственному желанию. Ему-то пельзя отказать в решительности.

— А вы убеждены, что если этого Дробняка-набатчика возьмут за загривочек и спросят, он не укажет на вас?

Илья Макарович промолчал, полной уверенности он тут отнюдь не чувствовал. Самсон Попенкин продолжал напирать:

— Набат-то может и сорваться. В этом случае я не хочу подставлять ни себя, ни вас.

Главный редактор озадачено кашлянул:

— Кхм!.. Но не поверят и Лепоте, что сам, без нашей помощи...

— Иван Лепота есть Иван Лепота. Не авторитетен, одиозен, больше того — отпетый. От него можно ждать любого, даже набатного, трезвона. Он нам предложил свою статью. Тема назревшая, больная, мы и раньше ее касались. Никого не должно удивлять, что мы приняли статью. А переборы — да, есть. Так это же Иван Лепота звонит. С него и взятки гладки. Мы даже пытались его

причесать, он не соглашался. Словом, мы не зачинщики набата, звонарь сам зазвонил.

— Кхм!.. А знаешь, тут что-то есть...

Самсон Попенкин пожал плечом, предложил с полным равнодушием:

— Впрочем, вы можете связаться с Петровым-Дробняком. Он, пожалуй, охотно согласится.

— Нет, нет! Ты прав — Лепота больше подходит. Он — в набат?.. Да, по собственной инициативе!..

Первое сражение выиграно, Самсон Попенкин бросил вызов ко второму сражению, решающему:

— Да вы, Илья Макарович, статью-то читайте. Там такой набат, что закачаешься.

И Крышев погрузился в чтение.

Вначале он удовлетворенно кивал головой, лик его разгладился, даже вырвался срывающийся от обилия чувств возглас:

— Талантлив сук-кин сын! Ничего не скажешь.

Самсон Попенкин понимал, что Илья Макарович читает сейчас «плач Ярославны» о сочных травах и чистых водах.

Но вот Крышев как-то опечалился, затем весь подобрался, потом окаменел и наконец резко отодвинул от себя рукопись, метнул, словно ядро, веское:

— Нет!

Самсон Попенкин пожал равнодушно плечом:

— Что ж... Набата не будет.

— Помягче! Помягче надо!

— Помягче — обычный трезвон, не набат.

— Набат! Но без указаний на лица. Я не намерен хвататься за грудки с Каллистратом Сырцовым.

— А мне это и подавно не с руки, — охотно согласился Самсон Попенкин.

— Вот, вот! Изыдем, подправим, чтоб и следа не осталось. Ник-какко-го следа!

Снова равнодушное пожатие плечами:

— Пожалуйста. Не мне отвечать, а вам.

— Это как так... отвечать? — Дрогнувший голос, округлившийся неприязненно глаз.

— Мы и раньше не раз трезвонили о Кержавке... Без указаний на лица.

— Ну и что?

— И вам выразили, кажется, недовольство. Не так ли?

— Ну, выразили.

— Вас просили пробить в набат?

— Но никто меня не просил тыкать пальцем в сторону... в сторону товарища Сырцова!

— Тыкать? Пальцем? Что вы!.. Такого богатыря пальцем не свалишь. Потребовали оглушить набатом, поднять против него массы. И должно быть, есть большая необходимость в этом, раз предлагают начать столь решительные действия. Вы, конечно, можете сделать вид, что не поняли этой необходимости, до вас не дошло... Но, Илья Макарович, работать-то нам придется не с дядей Каллистратом, а с теми товарищами, кто вынашивал... вплоть до столь крайних мер, как набат.

Самсон Попенкин счел нужным выразиться: «Нам работать», но Илья-то Макарович прекрасно понимал — работать с теми товарищами придется ему одному. Он, и только он, главный редактор Крышев, занимался в газете внешними сношениями, ему, и только ему, никак не Самсону Попенкину, влетит за недопонимание.

Крышев минуту-другую немотно взирал на своего ответственного секретаря.

— Ты так считаешь?.. — обрел он дар слова.

— Дай-то бог, чтоб я ошибался.

— Н-да-а...

На порозовевшем лице главного редактора отразились те острейшие диалектические противоречия, которые народная мудрость вмещает в два слова: «И хочется, и колется».

— Н-да-а... Мне как-то в голову не ударило.

И вдруг в мгновение ока рукопись оказалась в папке, а Илья Макарович преобразился — взведенно решительный, готовый тотчас окунуться в привычную сферу деятельности.

— Сейчас же съезжу, покажу статью — обсудим, согласуем, поставим точки над «и».

Самсон Попенкин холодно остановил:

— Не делайте этого.

— То есть как так?

— Вы ждете, что вам дадут прямые указания — бейте с размаху заматеревшего дядю Каллистрата по заднице?

— Должен же я получить точные указания!

— Да если б там могли точно указывать, значит, дело пошло в открытую. Тогда, сами посудите, зачем к нам обращаться. Куда проще поставить о Каллистрате вопрос, вынести соответствующее решение и — баста! Нет, набат-то потребовали, а имя Сырцова, по кому набат должен

ударить, даже не упомянули. Спроста это?.. Представьте, как вы будете выглядеть, требуя прямых указаний.

— Нич-чего не пойму!

— А по-моему все ясно: имя Каллистрата Сырцова должно само собою всплыть в грязных водах реки Кер-жавки.

— Само собой... Ишь ты.

— Иван Лепота вынес его наверх.

— И-да-а... Вот ведь задачка.

— Я свое дело сделал — набатная статья готова. Ваше дело — давать ее или выбросить.

— Не дадим — припомним.

— Вот именно.

— Дадим — можем в заваруху попасть.

— Не исключено.

Самсон Попенкин всем своим видом выражал — моя хата с краю, а Илья Макарович поеживался от диалектических противоречий — и хочется, и колется. Он снова расстегнул палку, достал рукопись, оглядел ее и с лица, и с изнанки, со вздохом протянул Самсону Попенкипу.

— Надо давать, — сказал он уныло. — Сдавай в набор.

— Это как — сдавай? — удивился Самсон Попенкин. — Без вашей подписи?

— А ты что, один до конца дело довести не можешь?

Рукопись статьи с «собакой» висела над зеленым столом, протянутая Самсону Попенкину. Господи! До чего наивный расчет: сдай статью, сам поставь на «собаке» подпись, в случае чего могу вытащить из архива и документально доказать — не причастен, не приложил руку, Самсон Попенкин, ответственный секретарь, наколобродил, по шее его! Ну нет, дорогой товарищ Крышев, Самсон Попенкин стреляный воробей, на мякине его не проведешь.

Попенкин поднялся:

— Если вы не можете решить, Илья Макарович, то я и подавно не возьму на себя такую ответственность.

— В кусты прятаться?

— Отнюдь. Вынесем на обсуждение редколлегии, и если там мне поручат довести это дело до конца — доведу. А иначе меня потом упрекнут — превышаю свои обязанности, прыгаю через вашу голову.

Ответ с достоинством, и честный прямой взгляд в глаза Ильи Макаровича, в самые зрачки.

Вынести на редколлегию, обсудить... Да после такого обсуждения дядя Каллистрат через полчаса будет знать

все, подыметесь на дыбы. И тогда... Тогда-то и загремит набат на бедную голову Ильи Макаровича Крышева.

Рука, протягивавшая рукопись с «собакой», опустилась.

— Ладно,— сказал невесело Илья Макарович.— Пусть статья остается у меня. Подумаю.

— Подумайте, Илья Макарович, подумайте. Но дорого яичко к Христову дню.

— Зайди через час.

Через час кончался рабочий день.

Был вечер, обычный осенний, с мелким дождичком за окном. Мокрая тьма скрывала голый купол собора.

Илья Макарович, должно быть, все-таки созвонился кое с кем, должно быть, обиняком выудил подтверждение, что Христово яичко сейчас как нельзя более кстати. Он возвышался над зеленым полем своего стола, озабоченный и недовольный, перед ним лежала злополучная статья.

— Ну так вот...— начал он и не договорил, потянулся к стакану с заточенными карандашами, с привычной трепированностью вытащил толстый красный карандаш, самой фабрикой «Сакко и Ванцетти» нареченный «Деловым».

Рука Крышева сотворила размашистую петлю на «собаке», открыла путь статье Ивана Лепоты в неприступную зону печатного слова.

— Возьми! — подтолкнул Крышев рукопись Самсону Попенкину.

Должно быть, в тишине осеннего вечера раздался неуловимый скрип — колесо китежской истории совершило поворот.

9

Он снова проходит через Старый мост, снова останавливается над шепчущей в темноте речкой Кержавкой.

Сейчас уже крутится верно служащая Китежу ротационная машина, гонит газетные полосы. Остановить ее торопливую работу почти невозможно. Завтра утром почтальоны побегут из дома в дом с сумками, набитыми свежими газетами, со статьей Ивана Лепоты, зовущей в защиту обесчещенной речки Кержавки. И гневный набат обрушится на гордую голову Каллистрата Сырцова.

Могуч дядя Каллистрат, богатырские подвиги творит он в граде Китеже. Это он со своим комбинатом помог

проложить широкое асфальтированное шоссе, соединяющее Китеж с остальным миром. Это он выстроил в центре города просторный, светлый Дворец культуры. И стадион поставил тоже он. А если б не комбинат во главе с Каллистратом Сырцовым, то разве выросли бы целые районы новых жилых домов, с новыми магазинами, новыми кинотеатрами, новыми детскими садами — китежские Черемушки? И отцы города часто с протянутой шапкой идут к дяде Каллистрату: помоги!.. Подбрось на переустройство канализации, подбрось на газификацию, на прокладку теплоцентрали, на ремонт жилья, на озеленение. Без тебя, гой еси Каллистрат свет Поликарпович, совсем бы увязли в нуждишке.

Дядя Каллистрат бросает в шапку от своих щедрот, по иной раз и отказывает: бог подаст, шапка-то, отцы, у вас без донышка. Раз к богу послал, другой — и... Богатырь-то богатырь — спору нет, а помнить должен, под чьим небом живет, в чью землю корни пустил. Славный муж Илья Муромец и тот у Владимира Красное Солнышко в глубоком погребке сиживал.

История показывает, что нет такого богатыря, у которого бы не было слабого места. Греческий добрый молодец Ахиллес, например, в пятке свою слабинку прятал, и то ущупали да свалили. У дяди Каллистрата слабое место — фильтрация. Трубы его комбината распускают по воздуху рыжие «лисий хвосты», от которых скрючиваются листья на деревьях, из цехов в речку стекает такое, что рыбадохнет, вода воняет — и не только в самой речке, но и в озере. А град Китеж испокон веку славился своими чистыми водами, о них сказки складывали, в песнях пели. Получалось: все могущество Каллистрата Сырцова опиралось на ахиллесовы пятки, по ним-то и наносился удар.

Ротационная машина гонит газетные полосы. Шепчет внизу под мостом обесславленная вода Кержавки. Готовится ко сну град Китеж. Стоит на мосту человек, бросающий город в атаку. Вчера он, Самсон Попенкин, еще мог остановить лавину. Мог, но не захотел. Теперь лавина двинулась. Еще никто не слышит ее грозного шевеления, никто не подозревает, что завтра она обрушится — шум, дым, вихри враждебные! Двинулась! И ни Самсон Попенкин, ни кто другой уже не удержит.

Сила на силу! Кто победит в этом вздыбленном городе?

Самсон Попенкин открыл войну дяде Каллистрату, но он вовсе не собирается ринуться с головой в ряды против-

ников директора комбината. Богатырски силен Каллистрат Сырцов, еще не известно, кто победит. Охота ли быть быту.

Самсон Попенкин стоял на мосту, слушая шепот текущей речки, не то чтобы взвешивал и прикидывал, а просто наслаждался минутой — в нем сейчас град Китеж обрел пророка, способного предсказывать скрытое для простых смертных завтра.

На мосту раздались суетливые шажки, из темноты вынырнула шуплая фигура, наткнулась на Самсона Попенкина, созерцающего в отрешенном одиночестве загадочное завтра.

— Ой!

Очки в железной оправе, бледное испуганное лицо.

— Это вы, Самсон Яковлевич! Как вы меня напугали!

Полина Ивановна, хранительница читательских писем, дважды в день навещающая Самсона Попенкина по долгу службы.

И Самсон Попенкин вынырнул из пророческого транса:

— Куда это вы, Полина Ивановна, на ночь глядя?

— Как куда? Домой. Я же здесь рядом живу, на набережной.

— А-а. Покойной ночи, Полина Ивановна.

— Покойной ночи, Самсон Яковлевич.

Они разошлись, чтоб завтра вновь встретиться дважды.

Самсон Попенкин сразу же забыл о Полине Ивановне. Должно быть, пророческий дар в нем исчез в эту минуту, иначе бы он узрел, что эта тихая, незаметная женщина тоже попадет под колесо истории. Самсон Попенкин приближался к своему очагу, к домашним шлепанцам, к остывшему ужину, к озабоченной жене, и великое вновь умирало в нем, «смертью смерть поправ», рождался благонамеренный отец семейства.

Забыла тут же о Самсоне Яковлевиче и Полина Ивановна. У нее-то и вовсе ничего не шевельнулось в душе, не родилось никаких предчувствий. Откуда?.. Она же не обладала пророческим ясновидением.

В давние бесхитростные времена все происходило до умиления просто. Какой-нибудь Иванко Кривой или Мотыка Малый, науськанный «смысленными», лез опрометью на колокольню, повисал на веревках и...— все прыгали с печей в катанки, рвали с гвоздей полушубки, бежали на

площадь. Потом, криком и колыями согласовав поставленный ребром вопрос, шли дружно в подворье какого-нибудь родовитого посадника, вытаскивали его за бороду, рубили ему голову, громили его дом и службы, пускали красного петуха и расплзались по своим печам с сознанием исполненного общественного долга. До нового набата... Оперативно, без какой-либо бюрократической волокиты, а главное, демократично.

Но это было в давние времена...

Стоит глубокая затяжная осень, и новый день начинается не утром, а старой ночью, оставшейся от прожитого «вечера».

В темноте, под фонарями пробежали почтальоны с набитыми сумками, прямые нотомки тех Иванков Кривых и Мотек Малых, что в древности подымали сполох. Они навешают дверь каждого подписчика, втискивают в жестяные щели почтовых ящиков набатное слово. А на площадях и автобусных остановках открылись киоски — сверни, прохожий, на несколько шагов, брось мелкую монету, получи взамен все тот же набатный призыв. Ни звона, ни сплошного крика, ни суеты — всего-навсего газетный шелест.

Газеты шелестят за утренним чаем, шелестят в автобусах, шелестят на работе... Массовый читатель любит входить в печатное слово не с парадного входа, а с черного, — открывает газету с последней страницы, рассчитывая наткнуться на какое-нибудь происшествие. Но в граде Китеже — стоит глухая пора, давно уже никто не вытаскивал детей из пожара, не находил старых кладов, не побивал рекордов, даже футбольные и хоккейные матчи по осеннему времени не проводятся, а значит, и не освещаются. Поэтому массовый читатель с задворочной страницы быстро переходил на внутренние и тут-то натыкался на статью Ивана Лепоты.

Нет, массовый читатель не вздрагивал, не вскрикивал, не вскидывался, не бросал все свои дела, он, сосредоточенно посапывая, прочитывал статью до последней строчки, кончающейся набатным крещендо — «Доколе?!» — тщательно прятал газету и оглядывался кругом в надежде найти собеседника, излить ему свое просвещенное читательское мнение.

В этот день в граде Китеже знакомый, встречая знакомого, после «здравствуйте» (иногда даже вместо) перепеливо спрашивал:

— А вы читали?..

— Как же, как же! Каллистрату — гвоздь по самую шляпку.

— Нет, вы подумайте только!..

— Думай не думай, а, ежели так пойдет, он нас всех эдак годика через три... отравит.

— От Кержавки, простите, теперь, как из сточной канавы...

— Она и есть сточная.

— Помню, пескарей было в ней... Мы ребятишками их штанами ловили.

— Озеро гибнет, летом отдохнуть негде.

— А вы замечали, что лысых стало в городе куда больше, чем прежде?

— Ну, ну, какое отношение имеет Каллистрат Сырцов к лысым?

— Да самое что ни на есть прямое! Вы думаете, он просто так пачкает водичку, он ее — стронцием, стронцием! Первый признак радиоактивности — волосы выпадают. Оглянитесь на Японию, там в Хиросиме и мужчины и женщины — все, как коленка. Сначала волосы долой, потом кровь из красной белой становится и... крышка нам всем, братцы, крышка!

Никто не рвался на площади, не кричал в голос, не хватался за колья, и голову рубить прославленному Каллистрату Сырцову никто не собирался. Но шли разговорчики под газетный шелест, город начинал бродить, словно котел с хмельным пивом. И в этом хмелю незаметно, исподволь начиналось перерождение. Какой-нибудь Петр Петрович, один из массовых читателей, скромный инкассатор или преуспевающий сотрудник системы бытового обслуживания, никогда еще не чувствовал себя дерзким и сильным. И вдруг он во весь голос расправляется — и с кем?! — с самим Каллистратом Сырцовым! Это ли не признак лихой отваги? Это ли не проявление подспудных сил?! В Петре Петровиче проявляется нечто царственно-львиное, он перерождается.

Много значило имя, стоящее под статьей, — Иван Лепота! Одни этого поэта уважали за кроткое умиление перед китежскими брусничными кочками и гроздьями рябины. Другие уважали его за то, что бывал бит чаще, чем кто-либо.

— Как что, так его, аж кровью сердце обливается.

— За битого небось двух небитых дают.

— Раз бьют, значит, за правду стоит, кто ловчит да подлаживается, того ласково гладят.

— От кого нам еще и ждать, как не от него, поддержки!

— Ну, Каллистрат Сырцов, налетел, голубчик!

В захмелевшем Китеже к дяде Каллистрату час от часу растет глухой гнев, к Ивану Лепоте — признательность и восторг. Сырцов чуть ли не отравитель, Лепота — спаситель. Голиаф и Давид, Идолище Поганое и Алеша Попович, страшилище Челубей и Пересвет-инок!

Но в хмельном городе, заполненном преобразившимися царственно-львиными петрами петровичами, продолжали оставаться и трезвые натуры, не затронутые всеобщим сполохом.

Одним из таких был Кукушев Адриан Емельянович, муж Полины Ивановны, верной сотрудницы Самсона Попенкина.

11

Кукушев служил в местном обществе «Знание», так сказать, способствовал распространению научного прогресса. По примеру неунывающих философов прошлых веков он свято верил: все к лучшему в этом лучшем из миров. И когда в этом «лучшем из миров» кто-нибудь не особенно щепетильный выколупывал нечто неприятное, Адриан Емельянович выходил из себя — кричал о нытиках, маловерах, очернителях, порочащих нашу действительность.

Он преклонялся перед Каллистратом Сырцовым, считал его чем-то вроде Прометея, принесшего китежанам огонь индустриализации. И этого-то гиганта хотят связать по рукам и ногам! Разумеется, Иван Лепота в глазах Адриана Емельяновича сразу же превратился в ту легендарно-кроважидную птицу, которая клюет печень героического благодетеля града Китежа.

Досталось от мужа даже Полине Ивановне за то, что она служила беспринципной газете, порочащей Прометея-Каллистрата. Полина Ивановна кротко сносила упреки, а вот сын...

Еще в одном из древнейших египетских манускриптов будто бы сказано: «Нынче дети перестали слушаться своих родителей». И если, шутка сказать, дети не слушались родителей несколько тысячелетий назад, чуть ли не во времена первых фараонов, то можно представить себе, как они, благодаря столь долгой тренировке, преуспели в паши дни.

Кукушев-сын разительно не походил на Кукушева-от-

ца. Отец был юношески гладкошек, сын — дедовски борода, отец франтовато носил отутюженный костюм, сын — поглаженные, нестираемые, с тщательно оберегаемой ровной бахромой джинсы, отец был наивно восторжен, сын — умудренно скептичен, отец уважал авторитеты, сын — только самого себя. И уж конечно, сын не считал, что «все к лучшему», напротив, склонялся, что мир скоро должен полететь в тартарары. Отец не уставал огорчаться сыном, сын без огорчения принимал отца — на то он и предок, чтоб быть отсталым.

После газетной статьи столкновение отца с сыном было неизбежно. И оно произошло в конце дня, когда вся маленькая семья собралась за ужином.

Отец предался неосторожным воспоминаниям, каким заштатным городом был Китеж до того, как в нем построили комбинат, — ни центрального отопления, ни газа, ни телевизора, даже бани хорошей, — а теперь вон плавательный бассейн, и какой-то стихоплет смеет...

— Отец, — непочтительно перебил сын, — Иван Лепота поймал за руку жулика.

— Кто-о?! Кто жулик?!

— А разве не жульничество — сунуть бассейн и отнять реку с озером.

— Хватит вам — сейчас сцепитесь, — попробовала образумить Полина Ивановна, но ее трезвые остережения никогда еще не спасали мира в семье.

— Сырцов обжуливает, Лепота одаривает?! Да твой честный Лепота простой мышеловки не подарил людям!

— Лепота — совесть Китежа! — не без пафоса объявил сын.

— Чья, чья совесть? Таких, как ты! Тебе скоро двадцать один год, я в твоё время...

— Извини, я это уже знаю наизусть: ты в мое время героически спасал своей грудью страну. Прошу не повторяться.

— Да, да! Я в твои годы уже досыта нахлебался фронтовых щей. Я прополз на брюхе через всю Европу! Я глядел смерти в глаза! А тебя сразу из школы сунули в институт — учишься, мальчик, на всем готовеньком. И ты учишься? Да нет, лоботрясничает! Тянешь за собой хвосты! Оглянись, кто ты? Паразит-захребетник! И у таких-то Лепота тревожит совесть. Да он сам паразит по духу! Рука руку моет...

— Адриан! Ради бога! — воскликнула Полина Ивановна, но было уже поздно.

Сын вскочил с места:

— Изумительно! Кол-лос-сально! Я — паразит! Потребляю чужие харчи, просяживаю в институте штаны, купленные на деньги своих благоверных родителей! Да еще смею иметь свое мнение. Не буду, не буду! Тунеядец приносит свои извинения и хочет исправиться. Оревуар и сэнк-ю! Ухожу из дома проводить в жизнь святой лозунг: кто не работает, тот не ест!..

— Владик! Ради бога!

— Не бойся, мать, не бойся. Куда он денется. Голод — не тетка, не таких упрямых козлов делает ручными.

— Вот имеппо, в этом доме уважают только ручных животных. Предпочитаю пастись на свободе.

Сын вышел, хлопнув дверью.

В общем-то, ничего сверхъестественного не случилось, обычная сцена, от какой не гарантирована ни одна семья. «Нынче дети перестали слушаться своих родителей» — во всех землях с древнейших времен до сего дня. Важно лишь отметить, сколь глубоко расколото набатное слово град Китеж — до семейных устоев.

Сын хлопнул дверью, а Адриан Емельянович спустился этажом ниже к своему старому знакомому, персональному пенсионеру Панкрату Панкратовичу Шишкину, которого обычно все называли за глаза Пэпэша, имея при этом в виду не только счастливое сочетание йнициалов, но и некоторые свойства характера.

Нет, Пэпэша не был единомышленником Адриана Емельяновича Кукушева, он вовсе не считал, что живет сейчас в лучшем из миров. Вот в то время, когда он, Пэпэша, был бодр, деятелен и влиятелен, — действительно мир, без дураков, пребывал в наилучшем состоянии. Тогда он имел железного хозяина, железную дисциплину, тогда уважалась сила и презиралась всяческая слабость, нытики молчали, а славословцы вещали.

Пэпэша конечно же был недоволен кутерьмой в городе, недоволен распустившейся прессой, недоволен распоясавшимися болтунами, которые обсасывают злоумышленную статейку, недоволен Каллистратом Сырцовым, на которого нет управы, недоволен Лепотой — знай, сверчок, свой шесток! Как всегда, недоволен всем и вся, Пэпэша сердито выпаливал:

— Стрелять их надо! Стрелять! Не цацкаться!

Когда-то это у него выходило грозно — мороз по коже! — теперь получалось сварливо и невпущительно.

И странно, нисколько не сходясь со своим приятелем

во взглядах, Адриан Емельянович, однако, слушал его негодования и обретал душевное равновесие — всем плохо, не тебе одному.

Главный редактор Крышев усиленно занимался внешними сношениями, исчезал из редакции и возвращался, вновь исчезал и вновь возвращался. Боковая походочка с мелким прискоком, по ней было видно — человек не в себе, хотел бы куда-то удрать, спрятаться, да служебное положение не позволяет.

Самсон Попенкин навещал его после каждого возвращения. В кабинете главного безмолствовал телевизор, сам хозяин был ненамного красноречивее, уныло маячил над зеленым полем своего стола, разводил руками, ронял со вздохом:

— Ничего.

После третьего выезда удалось кое-что выжать.

— Каллистрат Сырцов приезжал, час целый сидел...

— И что?

— И ничего. За закрытыми дверями был разговор.

«Ничего» — результат явно плачевный. Раз уж был заказан набат и он получился на славу, то, наверное, надо было срочно пользоваться им: хватать дядю Каллистрата, обличать по горячим следам. И ничего...

До Самсона Попенкина доходили известия о событиях в городе, взбудораженном набатной статьей.

Некое Общество охраны природы, неприметно существовавшее в Китеже (настолько неприметно, что даже всеведающий Самсон Попенкин и не слышал о нем), собралось на внеочередное собрание, как всегда, в подвальном помещении при здании Охотсоюза. Много лет тишайшее общество заседало здесь, и никто не обращал на него никакого внимания. Сейчас вдруг разнесся слух: общество собирается только за тем, чтобы возбудить судебное дело против Каллистрата Сырцова. И возле Охотсоюза сразу же собрался любопытствующий народ. Обеспокоенный участковый Тришкин — как бы чего не вышло! — вызвал срочно наряд в лице постового Лелюшко, сияв его с соседнего перекрестка.

Студенты биофака Китежского пединститута написали возмущенную петицию в защиту биосферы, с пространной научной аргументацией и не менее пространными

учеными цитатами. Петиция пошла по рукам, стала собирать подписи. Подписывались и те, кто слыхом не слышал о биосфере, не представлял, что это такое.

Кандидат медицинских наук Малышев, приглашенный в студию местного телевидения прочитать очередную лекцию о здоровье, сообщил многим тысячам телезрителей свежую мысль, что здоровье любого и каждого зависит от чистого воздуха и чистой воды. Он, Малышев, показал телезрителям фотографии — отравленные химией леса и заброшенные разной пакостью водоемы... находящиеся в Америке. Град Китеж никогда еще не походил на Америку, но в телестудии начали раздаваться частые телефонные звонки, зрители обличающими голосами указывали на прямое сходство.

Росла час от часа слава Ивана Лепоты. Китежу, оказывается, не хватало своего Кузьмы Минина, он появился — Лепота, поднявший ополчение в защиту чистых вод.

А с Каллистратом Сырцовым — ничего... Руководитель комбината, ведет переговоры при закрытых дверях.

Да было ли намерение свалить этого Илью Муромца китежской промышленности?

Так ли уж можно уязвить его через фильтрацию?

Может, ахиллессова пята дяди Каллистрата вовсе и не тут?

Тогда надо ждать — директор Сырцов со всей своей богатырской размашистостью нанесет ответный удар.

Илья Макарович Крышев поставил свою подпись на «собаке» набатной статьи, его фамилия стоит и под газетой, он дважды виновен перед Каллистратом Сырцовым.

Илья Макарович осунулся, побледнел, глаза затравленно бегают, и голос с ощутимой дрожью:

— Ничего...

Самсон Попенкин тоже встревожен, но не так чтобы очень. Он знал, что после набата подымется сила на силу, но вовсе не был уверен, чья возьмет, а потому вел себя предусмотрительно — поперед батьки в пекло не лез.

Илья Макарович подозревал это, поеживался и смотрел на своего ответственного секретаря с явным недружелюбием.

— Сунул ты меня, братец, в хорошенькую историю.

— Я — вас? — удивился Самсон Попенкин.

— А то кто же?

— Да разве вы от меня указание о набате получили, а не я от вас?

— Ладно, ладно, а все-таки не надейся за мной укрыть-

ся — статью-то ты готовил к печати, я лишь передоверился, подмахнул ее.

Ругаться было и преждевременно, и бессмысленно, поэтому Самсон Попенкин примиряюще сказал:

— Рано паниковать, Илья Макарович. Поживем — увидим.

— Вот-вот, того и хочу, чтоб ты, дружок, тоже глядел в оба, не благодуствовал. Одной веревочкой связаны — помни, — и рубить не пытайся.

Это уже почти угроза — один не утону, с собой потащу. А ведь чем черт не шутит, когда бог спит.

13

Раз тебе угрожают: «Рубить не пытайся!» — значит, руби, особо не мешкай.

Но Самсон Попенкин был не из тех, кто, зажмурившись, с маху рубит. Нет, надо прежде оглядеться — вдруг да рано еще рубить концы. Необходимо точно узнать, как себя чувствует сейчас дядя Каллистрат? Может, и он охвачен паникой?

Необходимо проникнуть в стан противника.

Нет, для этого не нужно ждать темной ночи, вооружаться отмычками, перевоплощаться в разведчика типа неуловимого Исаева-Штирлица, заморозившего своей ловкостью всех китежских телезрителей. И вообще нет нужды покидать свой обжитой, тесный кабинет, стоит снять лишь телефонную трубку, набрать соответствующий номер.

Как любой уважающий себя руководитель, Каллистрат Сырцов держал перед собой заслон в лице секретарши.

— Кто говорит? — сухохато спросил женский голос.

То ли Вольтер, то ли Бисмарк поучал: если не знаешь, что сказать, говори правду. И Самсон Попенкин последовал этому совету:

— Из редакции газеты «Заря Китежа».

Короткое осуждающее молчание.

— Одну минуточку.

Минуты не прошло, как в трубке раздался глубокий баритон самого дяди Каллистрата:

— Чем обязан?

— Я — ответственный секретарь газеты Попенкин.

— Вам поручили высказать покаянные извинения?

— Увы, Каллистрат Поликарпович, газета пока не собирается каяться.

— Так какого лешего вы мне надоедаете?

— А вы думаете, что в газете сидят лишь одни ваши враги, Каллистрат Поликарпович?

— Уж не друзья ли на меня эту разудалую статейку навесили?

— Нет, не друзья. Ваши друзья были против ее опубликования. И можете поверить, я в числе их.

— Предположим. Так что вам нужно от меня, верный друг?

— Твердых данных.

— Каких данных?

— Оправдывающих комбинат в целом и лично вас в частности.

— Оправдывающих?.. А я, друг любезный, оправдываться и не собираюсь. Упрекаете, что речку вашу занюханную пачкаю... Да, пачкаю! Спросите: буду ли продолжать пачкать? Отвечу: буду! Потому что и рад бы не грешить, но нужда заставляет.

— А эту нужду не раскроете мне... поподробней.

— Как вы думаете, друг далекий, во сколько круглых миллиончиков обошелся для государства наш комбинат?

— Не знаю, но полагаю, что очень много.

— Вот именно! А фильтрационные установки, которые бы вернули вашей жалкой речонке ее родниковую чистоту, обойдутся чуть ли не во столько же... Да, да, почти в стоимость всего комбината. И то еще бабка надвое гадала — то ли будет прежняя родниковость, то ли нет. Фильтрация промышленных отходов — должны бы без меня знать, любезные, — слабое место всей современной техники. Все индустриально развитые страны стонут от этой слабинки. Представьте себе, не один Китеж.

— Ну, хотя бы не идеальную фильтрацию, Каллистрат Поликарпович, хотя бы какую-нибудь иметь.

— У нас есть и не какая-нибудь — поля фильтрации на добрых два десятка гектаров. И, как видите, помогают неэффективно.

— И ничего больше нельзя сделать, Каллистрат Поликарпович?

— Почему нельзя... можно — закрыть комбинат.

— Все ясно. Благодарю вас, Каллистрат Поликарпович.

— Не за что. Втолкните это другим моим верным друзьям.

Самсон Попенкин осторожно положила трубку на телефон,

А главный редактор Крышев в эти самые минуты от отчаянья решил тоже действовать. Надо вооружиться на тот случай, если его вызовут и спросят: «Что вас, дорогой товарищ, заставило, какие мотивы?..» Не ответишь же с невинным видом: мол, вы и заставили, от вас пошло — дай статью, и непременно набатную! Не-ет, сразу отрезвлять: «А разве мы это имели в виду? Вольно вам так понимать. С больной головы на здоровую! Не выйдет, товарищ Крышев!» Надо иметь под рукой хоть какую-то оправдывающую документацию, чтоб когда спросят: «Что у вас?..» — открыть папочку и выложить: «Вот что». Факты, сведения, наглядные доказательства, попробуйте-ка закрыть глаза. И чем нагляднее, тем лучше.

Илья Макарович нажал кнопку:

— Тугобырлева ко мне!

Тугобырлев, старейший мастер китежского фоторепортажа, был способен почтенного старца запечатлеть на фотобумаге пылким юношей, какое-нибудь производственное бригадное собрание — героической сценой а-ля Давид «Клятва Горациев».

Он явился, тучный, красный, с синотцой дышащий, вооруженный короткой фотопушкой, готовый ринуться по приказу — одна нога здесь, другая там.

— У вас в ваших запасах есть снимки, по которым бы можно увидеть во всей наглядности нашу гибнущую природу? — с ходу спросил Илья Макарович.

Тугобырлев оскорбился:

— Гибнущее, Илья Макарович? Да что я, бракодел какой! Или я чутья лишен начисто? Если уж я, скажем, лес снимаю, то он у меня — ай-люли! — пышненький, если озеро — так душа радуется. Гибнущее, Илья Макарович, не мое амплуа — только цветущее!

— А надо отобразить.

— Гибнущее?

— Да. И во всей убийственной наглядности!

Тугобырлев озадаченно поскреб лысину:

— Ну, а что именно?

— Ну, леса умирающие, без листвы. Ну, грязную воду речки. Потоки промышленных отходов... Да найдите, найдите! Что я вам, пальцем указывать должен. Вы мастер, а не я.

— Леса без листвы... Гм!.. Так они теперь все без листвы — осень.

- Придумайте что-нибудь, придумайте.
- А грязную воду, да помилуйте!.. Можно в водедох-
лую собаку снять или старую бочку, а грязь...
- Да, грязь! Да, промышленную! Никаких дохлых
собак!
- Абсолютно не фотогенично.
- Добейтесь!
- Не смогу, Илья Макарович.
- И не одну фотографию, а много, много! Чтоб воло-
сы дыбом, чтоб за голову схватились!
- Илья Макарович, я всю жизнь стремился к идеаль-
ному, к прекрасному, а тут грязь... Не невольте!
- Надо, Тугобылев! Надо!
- Да еще чтобы волосы дыбом! Помилуйте!
- Надо, Тугобылев! Надо!
- Всю жизнь стремился воспеть...
- Наступи, Тугобылев, наступи па горло собствен-
ной песне. Слышать не хочу отговорок. Старейший мас-
тер, опытейший и — пасует, руки опускает перед труд-
ностями! Стыд-но!..
- Начался большой главредаторский разнос. Тугобы-
лев клонил долу обширную лысину и слушал.

Без обычной прыти — одна нога здесь, другая там —
выскочил он из кабинета Ильи Макаровича и наткнулся
на озабоченного Самсона Попенкина, не удержался, чтоб
не поплакаться:

— Самсон, ты же меня знаешь, я всю жизнь к пре-
красному лицом. А тут... меня, Тугобылева!.. На грязь!..
Самсон Попенкин выслушал, посочувствовал:

— Ничем тебе не могу помочь, пушкарь... Но ты на
всякий пожарный случай не забудь и комбинат снять —
во всей красе и величии. Пригодится.

— Да это я — с фанфарами! Это я так возвеличу — не
комбинат, а сопата получится! Чтоб дыхание перехваты-
вало!

— Там у них поля фильтрации большие, но много гек-
таров. Их еще никто не снимал. Возьми на прицел, пуш-
карь.

— Без грязи?

— Уж постарайся, чтоб выглядели чистенькими. Кому
приятно на грязь любоваться.

— Эт-то пожалуйста! Эт-то за милую душу. Поля
фильтрации! Да сиять будут, как начищенные!..

Самсон Попенкин с невольной жалостью представил себе Крышева, сгибающегося над зеленым полем своего письменного стола: «Ну и ну, картинками спасти себя хочет. Дошел». Нужно брать управление в свои руки, повернуть круто редакционный корабль — кормой к вздыбленному набатом городу, носом к дяде Каллистрату.

Обычно Полина Ивановна навещала ответственного секретаря Попенкина, сегодня он сам к ней явился.

В конце длинного редакционного коридора — комната, стесненная шкафами. Это сокровищница. Сюда со всех концов китежской земли стекаются вести в проштампованных конвертах. Тут можно познакомиться и с высокими порывами какой-нибудь периферийной поэтической души, и с горячими жалобами на местные не порядки, и с различными предложениями — делового характера, правоучительного, кляузного, просто невразумительного. Вести слетаются, сортируются, нумеруются и в конце концов прячутся в монументальные шкафы, запираются уже на века. На то это и сокровищница, чтоб ревниво хранить, а не пускать по ветру.

Большинство писем адресуется главному редактору Крышеву, но читает их только Полина Ивановна. Наверное, нет на свете скучнее обязанностей, чем по долгу службы читать чужие письма, потому-то на лице Полины Ивановны отпечаталась покорная, непроходящая унылость. И подслеповатые очки в железной оправе, и жидкие волосы, которые, казалось, кто-то с небрежной торопливостью завязал для памяти в узелок на затылке, и общее впечатление — вся Полина Ивановна припорошена пыльной, непроветрена.

Кроме того, у Полины Ивановны — чего Самсон Попенкин не мог знать, — очередные неприятности в семье, отец поносит сына, сын не ночует дома, а этажом ниже кричит пенсионер Пэнэша: «Стрелять! Стрелять!» — и это тоже действует на нервы, усугубляет унылый вид Полины Ивановны.

— Полина Ивановна, покажите мне все читательские отклики на статью Ивана Лепоты, — потребовал Самсон Попенкин.

— Я вам уже показывала.

— Когда?

— И вчера, и сегодня. Каждое утро ношу. Вот еще два письма пришло только что.

— Гм...— Самсон Попенкин за свою многолетнюю практику как-то не привык обращать внимания на то, что приносит ему Полина Ивановна.— А не помните, было что-нибудь интересное? Эдакое боевое против Лепоты?

— Нет,— равнодушно отозвалась Полина Ивановна.— Да и не может быть, я думаю.

— Почему же?

— Да потому, что вот уже пятнадцать лет я пошу вам письма, а вы еще ни одно не напечатали. Ни одно.

— Все-таки соберите сейчас мне все, что касается Лепоты. Еще раз внимательно просмотрю. Читатель — это народ, дорогая Полина Ивановна. На-род! А откуда еще нам и черпать существо дела, как не из народной гущи.

Через пятнадцать минут Самсон Попенкин шагал к себе, унося под мышкой папку.

Стоит задача — развернуть идущий корабль! Набатная статья нацелена против дяди Каллистрата. Так что же — поместить иную статью, подписанную иным автором, нацеленную уже в иную сторону — не «против», а «за». Но тут-то живенько заметят: вчера вы так, сегодня эдак, цели за упокой, теперь за здравие, и нашим и вашим за копейку спляшем — явная беспринципность! Новая статья никак не подходит, а прежним курсом идти дальше опасно. Какой выход? Да самый простой, самый проверенный — читательское письмо! Читателю не возбраняется думать по-всякому — и «за», и «против», соглашаться с редакцией и возражать ей. Почему бы не прийти письму, решительно возражающему Ивану Лепоте,— за дядю Каллистрата, никак не против. Почему бы и не опубликовать его. Выходит, что газета читательским голосом громит то, что прежде утверждала статьей,— курс изменен, корабль развернут! Вчера так, сегодня эдак — беспринципны? Ан нет, наоборот, не зажимаем рот читателю, распахиваем двери перед любым честным мнением — сугубо принципиальны, сверхобъективны. Кто смеет думать иначе?

Самсон Попенкин нес к себе папку с читательскими письмами.

Он сел за стол, с примерным усердием раскрыл папку, взял первое письмо. В нем некая Катя Колбасина, ученица восьмого «А» класса, крупным почерком признавалась в своей любви к стихам Ивана Лепоты: «Лепота — наш китежский Есенин». Самсон Попенкин посидел мечтательно над письмом и со вздохом отодвинул всю папку.

Ворошить все эти бумаги — мартышкин труд. В своей газетной практике Самсону Попенкину еще не удавалось выловить золотую рыбку из почтового потока. Стоит задача сокрушить набатную статью, а она, что ни говори, — своего рода шедевр. Клин вышибается клином, шедевр можно сокрушить только шедевром! Рассчитывать, что нужный шедевр лежит в готовеньком виде в этой папке, — утопия. Не теряй времени зря. Думай, как родить.

Есть старый бесхитростный путь, истоптанный газетчиками, — организовать нужное читательское письмо. Сначала подыскивается подходящий человек, не из литераторов, не из штатных газетчиков — из широкой читательской массы. Потому ему втолковывается, что именно следует написать. Потом это написанное доводится «до кондиции». Хлопотно, трудоемко и ненадежно — можно оскользнуться. Кто гарантирует, что на автора не обрушатся с упреками, он не выдержит напора, не примется оправдываться: я-де тут ни при чем — нажали, заставили. «Кто заставил?» — «Да вот он!» — Перстом на виновника, полный конфуз.

Самсон Попенкин не любил истоптанных дорог, да еще столь скользких. Куда проще самому... Да, да, от лица имярек — все, что нужно, с должным пакалом. Клин вышибается клином, шедевр — шедевром.

Но подтасовка? Подлог?

— Нет, высокое творчество!

Кто осмелится упрекнуть великих писателей, что они подсунули миру никогда не существовавших во плоти Чичиковых, Раскольниковых, Холстомеров, Каштанок? И можно ли упрекать тогда Самсона Попенкина в том, что если он одарит град Китеж вымышленным глубокомысленным читателем с сугубо реальными взглядами и чаяниями.

Готового письма нет, и Самсон Попенкин придвинул к себе лист чистой бумаги, углубился в творчество.

«Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты, кружит сейчас не в меру горячие головы?...» Перо забегало по бумаге.

Обычной жизнью жила редакция — где-то звонили телефоны, шли споры о строчках, не влезающих в колонку, стучали пишущие машинки, галопчиком по коридору пробегали курьеры, а здесь, в тесном, узком кабинете, свершалось великое таинство перевоплощения — ответственный секретарь Попенкин исчез на время, вместо него сидел за столом некто, добропорядочный гражданин города,

— И вчера, и сегодня. Каждое утро ношу. Вот еще два письма пришло только что.

— Гм...— Самсон Попенкин за свою многолетнюю практику как-то не привык обращать внимания на то, что приносит ему Полина Ивановна.— А не помните, было что-нибудь интересное? Эдакое боевое против Лепоты?

— Нет,— равнодушно отозвалась Полина Ивановна.— Да и не может быть, я думаю.

— Почему же?

— Да потому, что вот уже пятнадцать лет я ношу вам письма, а вы еще ни одно не напечатали. Ни одно.

— Все-таки соберите сейчас мне все, что касается Лепоты. Еще раз внимательно просмотрю. Читатель — это народ, дорогая Полина Ивановна. На-род! А откуда еще нам и черпать существо дела, как не из народной гущи.

Через пятнадцать минут Самсон Попенкин шагал к себе, унося под мышкой папку.

Стоит задача — развернуть идущий корабль! Набатная статья нацелена против дяди Каллистрата. Так что же — поместить иную статью, подписанную иным автором, нацеленную уже в иную сторону — не «против», а «за». Но тут-то живенько заметят: вчера вы так, сегодня эдак, цели за упокой, теперь за здравие, и нашим и вашим за копейку спляшем — явная беспринципность! Новая статья никак не подходит, а прежним курсом идти дальше опасно. Какой выход? Да самый простой, самый проверенный — читательское письмо! Читателю не возбраняется думать по-всякому — и «за», и «против», соглашаться с редакцией и возражать ей. Почему бы не прийти письму, решительно возражающему Ивану Лепоте, — за дядю Каллистрата, никак не против. Почему бы и не опубликовать его. Выходит, что газета читательским голосом громит то, что прежде утверждала статьей, — курс изменен, корабль развернут! Вчера так, сегодня эдак — беспринципны? Ан нет, наоборот, не зажимаем рот читателю, распахиваем двери перед любым честным мнением — сугубо принципиальны, сверхобъективны. Кто смеет думать иначе?

Самсон Попенкин нес к себе папку с читательскими письмами.

Он сел за стол, с примерным усердием раскрыл папку, взял первое письмо. В нем некая Катя Колбасина, ученица восьмого «А» класса, крупным почерком признавалась в своей любви к стихам Ивана Лепоты: «Лепота — наш китежский Есенин». Самсон Попенкин посидел мечтательно над письмом и со вздохом отодвинул всю папку.

Ворошить все эти бумаги — мартышкин труд. В своей газетной практике Самсону Попенкину еще не удавалось выловить золотую рыбку из почтового потока. Стоит задача сокрушить набатную статью, а она, что ни говори, — своего рода шедевр. Клин вышибается клином, шедевр можно сокрушить только шедевром! Рассчитывать, что нужный шедевр лежит в готовеньком виде в этой папке, — утопия. Не теряй времени зря. Думай, как родить.

Есть старый бесхитростный путь, истоптанный газетчиками, — организовать нужное читательское письмо. Сначала подыскивается подходящий человек, не из литераторов, не из штатных газетчиков — из широкой читательской массы. Потому ему втолковывается, что именно следует написать. Потом это написанное доводится «до кондиции». Хлопотно, трудоемко и ненадежно — можно оскользнуться. Кто гарантирует, что на автора не обрушатся с упреками, он не выдержит напора, не примется оправдываться: я-де тут ни при чем — нажали, заставили. «Кто заставил?» — «Да вот он!» — Перстом на виновника, полный конфуз.

Самсон Попенкин не любил истоптанных дорог, да еще столь скользких. Куда проще самому... Да, да, от лица имярек — все, что нужно, с должным накалом. Клин вышибается клином, шедевр — шедевром.

Но подтасовка? Подлог?

— Нет, высокое творчество!

Кто осмелится упрекнуть великих писателей, что они подсунули миру никогда не существовавших во плоти Чичиковых, Раскольниковых, Холстомеров, Каштанок? И можно ли упрекать тогда Самсона Попенкина в том, что если он одарит град Китеж вымышленным глубокомысленным читателем с сугубо реальными взглядами и чаяниями.

Готового письма нет, и Самсон Попенкин придвинул к себе лист чистой бумаги, углубился в творчество.

«Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты, кружит сейчас не в меру горячие головы?...» Перо забегало по бумаге.

Обычной жизнью жила редакция — где-то звонили телефоны, шли споры о строчках, не влезающих в колонку, стучали пишущие машинки, галопчиком по коридору пробегали курьеры, а здесь, в тесном, узком кабинете, свершалось великое таинство перевоплощения — ответственный секретарь Попенкин исчез на время, вместо него сидел за столом некто, добропорядочный гражданин города,

скромный труженик, активный подписчик газеты, болеющий за выполнение планов, осуждающий израильскую агрессию, горячо желающий родному городу мира и процветания.

Перо бегало по бумаге:

«Угаром охвачен наш город! Человек, который, как птицу Феникс, поднял из праха величественный промышленный комплекс, оказывается вдруг злоумышленником. Угар столь велик, что вот-вот раздадутся надсадные вопли: «Распни его!» Но во имя чего, спрашивается? Да во имя дыма костров, запаха ухи, которые столь трогательно оплакивает лирик Лепота, получивший в Китеже странную, ничем не оправданную известность...»

Эти строки должны сильно не понравиться Кате Колбасиной, юной читательнице газеты, пребывающей в восьмом «А». И не только Кате — многим, ой многим!

Но перо бегало по бумаге, язвило Ивана Лепоту:

«Очнемся же! Оглянемся! Удивимся на себя! Что на что мы меняем? Величественный комбинат на запах ухи! Промышленный прогресс на слезливые эмоции подозрительного поэта! Назад к первобытным кострам — стремление питекантропов!..»

Перо само вывело разящее слово — пи-те-кан-тро-пы! Многие же взвоят от него — все почитатели Ивана Лепоты, все противники дяди Каллистрата.

И под конец глубокомыслящий читатель решает сразиться с поэтом Лепотой его же оружием. В защиту Каллистрата Сырцова он выдает следующие вдохновенные строки:

Мы вас любим, мы вас ценим,
Нет вопроса — нужен ли?
Так парную ценит бапю
Пропотевший труженик!

Самсон Попенкин отложил перо в сторону. «Были когда-то и мы рысаками!» Как жаль, что ни Иван Лепота, никто из китежан, бескорыстно любящих настоящую поэзию, не узнает истинного автора этих возвышенных строк! По мед, выпитый тайком, не становится менее сладким.

В письме не хватало одного — авторской подписи. Какую поставить фамилию? Нужно нечто обобщающее, масовое — Иванов, Петров, Сидоров? Да будет так — пусть явится миру, скажем, некий Иван Петрович Сидоров.

И Самсон Попенкин снова поднял отложенное перо, подмахнул внизу: «И. Сидоров». И опять, должно быть, в сутолоке дня проскрипело колесо китежской истории.

Как ни прозорлив был Самсон Попенкин — прозорлив временами до ясновиденья! — но все-таки он наивно полагал, что родил всего-навсего честное читательское письмо, подбросил, так сказать, новое полено в костер. Тогда как в эти минуты родился — нет, даже не новая историческая личность, а нечто большее — дух, наделенный таинственной силой!

16

Полина Ивановна с полнейшим невниманием отнеслась к неожиданному интересу ответственного секретаря к читательским письмам, тем более что папка с письмами была ей возвращена, Самсон Попенкин походя бросил:

— Все в порядке. Кое-что выловил.

Ну, выловил так выловил. Полина Ивановна упрятала письма в шкаф — на вечное хранение. Вообще-то она с самозабвенной честностью относилась к своим обязанностям. За многолетнюю службу у нее не пропало ни одного читательского письма. Ни разу она не позволила себе прийти на работу на пять минут позже, уйти на пять минут раньше, даже не могла в служебное время думать о чем-либо, кроме классификации и хранения писем. Но в последние дни мысли ее были заняты семейными неурядицами, — сын по-прежнему не ладил с отцом. Словом, Полина Ивановна в данный момент утратила бдительность.

В тот вечер ее томило какое-то предчувствие, едва дождавшись конца рабочего дня, она заторопилась домой.

И предчувствие не обмануло: семейный очаг походил на огнедышащий вулкан, — явился блудный сын и выяснял отношения с отцом.

Они сошлись. Вода и камень,
Стихи и проза, лед и пламень...

Отец в шлепанцах, в домашней потертой вельветовой курточке, обихоженная лысина нежно розовеет от родительского гнева. Сын, мятый, взъерошенный, в чужом свитере с разодранными локтями.

— Когда?.. Когда я тебя обманывал?! — тенористым петушком наскикивал отец на сына.

— Ты мне всю жизнь обещал лучший из миров, — простуженно сипел сын.

— Обещал? Да я тебе его добыл! Завоевал! Горбом выколотил!

— Спасибо. Только что я имею?

— Ты сыт, ты одет, обут, в тепле живешь, на чистых простынях спишь. Чего еще? Какого рожна?

— Не хочу чистых простыней. И сытости тоже... Свободы хочу!

— Это как понимать?

— А так... Тут даже улицу не перейдешь, где тебе нравится, сразу милиционер засвистит. Кругом запреты — хорош твой мир!

— Ишь чего захотел — улицу в недозволенном месте. Разохотишься на недозволенное, не остановишь тебя.

— И не смей останавливать — уважай мою личность. Требую!

— Хе-хе! А можно ли тебя уважать? Ты ведь такой — палец протяни, руку откусишь. Ты тогда ко мне всякое уважение потеряешь. Нет, братец, тебе доверять нельзя, держать за воротничок надо, чтоб из рамок не вышел.

— Лучше смерть, чем рамки.

— Вот именно, вот именно! Без рамок, без законов и будет тебе смерть. Захочешь перескочить улицу в недозволенном, а тебя шофер — тюк! Без рамок, без законов, без порядка — какая жизнь?

— А я, может, хочу такой мир, где никаких шоферов.

— Это как так?

— А так — без машин, которые воздух портят, без заводов, без никакой техники — самолетов, танков, бомб.

— И что же останется?

— Солнце, воздух и вода да земля зеленая.

— А питаться это — воздухом и водичкой?

— Жили же люди раньше без всякой техники, и ничего...

Отец схватился за дозревшую до апоплексической спелости лысину:

— Слушай, мать! Смотри! Кого мы с тобой вырастили! Рутинера! Консерватора! К обезьянам ему хочется! Назад к обезьянам!

Полина Ивановна, не сняв ни пальто, ни берета, стояла, прислонясь к косяку дверей. Она-то надеялась — сын образумится и все пойдет по-старому. Увы! И в том ли дело, что непослушный сын поскандалил с отцом, нет, тут какое-то сумасшествие, какая-то эпидемия запесена в тихий град Китеж!

Полина Ивановна не читала древних египетских манускриптов: «Нынче дети перестали слушаться своих родителей...» Ей казалось, что все это небывалое, чудовищное — странный мир портит сына...

Самсон Попенкин на этот раз решил не утруждать Илью Макаровича, сам «накинул петлю на собаку», распахнул письму читателя Сидорова дверь в зону печатного слова: «Добро пожаловать!»

Еще не появились из типографии влажные оттиски читательского письма, а уже вся редакция настороженно зашумела:

— Читали?

— Да-а, глубокий вираж.

— Опять паленым запахнет.

— Напротив, напротив — хар-рош-шая бадейка халодной водички на разгоревшийся костер.

— Ну, дыму и треску будет!

Стены редакции, обычные на вид, добротны кирпичные, имели удивительное свойство выпускать наружу каждый более или менее значительный звук. Вечером, до того как новый номер газеты был окончательно сверстан, по улицам и переулкам града Китежа пошел невнятный говорок. Очень невнятный и невразумительный. Сосед бежал к соседу и объявлял:

— Слушок есть, Ивана Лепоту того...

— Что — совсем?..

— Ну, совсем не совсем, а душу повытряхнут.

И осведомленный сосед бежал к другому соседу:

— Ивана Лепоту, слышали... Совсем, похоже, того...

— С милицией?

— Пока не известно, но ясно — Кузьмой Мининым в наши дни долго не разгуляешься.

И ахи, и охи, и глухое возмущение, и — что принято называть — в «зобу дыханье сперло».

Кирпичные стены редакции были звукопроницаемы, а вот дверь кабинета Ильи Макаровича Крышева — нет. Он узнал о рождении честного читательского мнения Сидорова, лишь развернув типографски запашистый номер газеты. Прочитал, посидел оглушенный и накинулся на телефон:

— Попенкин, ты?.. Сейчас же сюда!

И Самсон Попенкин послушно появился в кабинете главного, занял насиженный стул напротив безмолвствующего телевизора — взгляд не виляющий, вдумчивый, узелок галстука туго затянут, пиджак застегнут на все пуговицы,

— Что это значит? — Крышев ткнул рукой в развернутый газетный лист.

— Читательское письмо, как видите.

— Это что, вроде сюрприза на именины? Почему со мной не согласовали?

— Разве о Каллистрате Сырцове есть что-нибудь новенькое?

— При чем тут Каллистрат Сырцов?

— Да при том, Илья Макарович, что вас могут упрекнуть: набат подняли и тут же на попятную.

— Вот именно! Именно! На попятную! Кто вас просил соваться с этим письмом?

— Хочу, чтоб вы в любом случае остались главным редактором — когда Сырцова победят и когда он победит. В первом случае у вас заслуга — набат подымали против Сырцова, во втором случае заслуга у вашей газеты — выступила в защиту.

Илья Макарович разглядывал своего невозмутимого помощника растерянно и подозрительно.

— Ловчишь, братец! Благодетелем прикидываешься. Выходит, я в Каллистрата стрельнул, ты его прикрыл.

Сохраняя невозмутимость, Самсон Попенкин поднялся со стула:

— Да, прикрыл с тылу. Впрочем... снимите письмо. Лежит набранный материал о доярке Капустиной. Не поздно, тираж еще не начали выдавать.

И главный редактор Крышев в одну минуту был обезоружен. Снять читательское письмо, когда оно уже заверстано, — значит вызвать суды и пересуды, значит выставить себя открытым врагом неуязвимого Каллистрата Сырцова. И хочется и колется — ох уж эта диалектика!

Самсон Попенкин, четко отстукивая каблучками, с навешенным затылочком, отмаршировал из кабинета.

Ничто уже не могло остановить входящего в мир читателя с сугубо массовой, народной фамилией — Сидоров.

Устойчиво слякотное утро над градом Китежем. Мокрый от дождя фасад редакции с его неуловимой страдальческой перекошенностью.

Две застекленные витрины сбоку от подъезда.

Одна хранит в себе покоробленные выцветшие фотографии на тему — проведение весеннего сева. Сейчас во-

круг града Китеж глубокая осень, по фотографии отражают весенний сев, возможно не нынешнего, а прошлого года. Скорей всего, они просуществуют благополучно до нового сева, обретут свою актуальность.

Вторая витрина хранит напсвежайший, только что испеченный помер газеты «Заря Китежа».

Из жидкого, но неиссякаемого потока прохожих всегда находятся охотники задержаться у последней витрины. Обычно — три-четыре склоненных головы, сегодня — толкучка. Обычно — академическое спокойствие, каждый из читателей в одиночку переваривает газетные новости и, ни с кем не поделившись, удаляется. Сегодня распахнутые печатные полосы рождают трибунов.

— Эт-то на кого он замахивается? Эт-то он на нас, братцы! Пи-текантропы мы! Чуετε?.. Я, значит, пи-те-кантроп, то есть вроде большой обезьяны... Эт-то что же, братцы, по рылу нас, а мы утирайся! А?!

Витийствует трибун-самовыдвиженец — кепка мокрая, как вынутый из рассола груздь, небритая измятая физиономия, незастегивающееся пальто, руки энергично засунуты в надорванные карманы и голос, словно специально созданный для убеждения случайных встречных на улице, голос, в котором чувствуется глубинная интонация: «Повякай мне!»

Спешившая на работу Полина Ивановна не без робости обошла стороной трибуна, вскользь бросила на него смятенный взгляд. А тот зывал к скопившимся читателям, будил в них совесть:

— На Лепоту, братцы, навалился!.. Я этого Сидорова в гробу видел в белых тапочках, а вот с Лепотой знаком. Удостоился! На троих как-то раздавили. Стихи нам читал. Пронзительной силы человек! А тут Сидоров какой-то...

Трибун раздувал ноздрю, раздвигал плечи, — вот, мол, какой крупный овощ в окрошку рублю!

Полина Ивановна, не дождавшись последнего сокрушительного удара по Сидорову, нырнула в редакционный подъезд, по обшарпанной лестнице вбежала на второй этаж и... попала прямо в объятия старейшего мастера китежского фоторепортажа Тугобылева.

— Полина Ивановна, голубушка! Вас, вас сторожу! Специально пораньше пришел. Адресочек мне, не в службу, а в дружбу.

— Какой адресочек, Осип Осипович?

— Как — какой? Сидорова! Через вас он прошел, через ваши руки!

— Сидоров?.. Ничего не пойму.

— Не темните, Полина Ивановна, голубушка, не темните! Откуда Самсон выудил это письмецо? Могло ли оно — хе-хе! — мимо вас пройти? Уж не темните.

— Не знаю никакого Сидорова, — растерянno ответила Полина Ивановна, вспоминая трибуна, витийствующего у подъезда.

— Полина Иваповна, вы войдите в положение: кто такой Осип Тугобырлев? Стрелок! Тем только и занимается, что знаменитостей на мушку берет. Балерина выше других прыгнет — па мушку ее! Бык-производитель выдвинется — тоже на мушку... Сейчас вот Сидоров! Ба-альшу-ую славу от него жду. Не может же быть, чтоб он при письме адреса не указал, хотя бы на конвертике. Ась?

— Сидоров... Я только сейчaс его имя услышала, когда в редакцию подымалась.

— Ну, Полина Ивановна, ну-у! Шутница вы, право.

— Ничего не знаю, Осип Осипович. Честное слово. Не невольте.

Мелкие продувные глазки на обширной круглой физиономии Тугобырлева по мере возможности распахнулись, обрели пекую квадратность.

— Це-це-це! — процокал наконец мастер фоторепортажа. — Вот, оказывается, какие пироги! Не невольте... Засекретить приказано. Це-це-це! Сидоров-то, он, может, совсем и не Сидоров! Мне, старому дураку, такое и в голову не ударило... Молчу, Полина Ивановна, молчу! Не буду неволить. Нет!..

И лихой мастер фоторепортажа словесным галопчиком ринулся в ближайшую по коридору комнату, где уже собрались, но еще не приступили к своим обязанностям сотрудники.

— Мраком, братцы, покрыто! Мраком! — выкрикнул с порога Тугобырлев.

— Пушкарь что-то принес.

— Читатель — ха! А его личность в тайне держат, не подступись.

— Ты о ком?

— О ком еще, как не о Сидорове. Никаких сведений о нем не выдается. Засекречен.

— Эге, не среднего размера, выходит, фигура.

— Да и видно зверя по следу.

— Не дядя ли Каллистрат под псевдонимчиком?

— Если наши Каллистрата подмочить не испугались, то уж мокренького-то зачем пускать на порог,

— Крупней самого Каллистрата!!

И все на минуту притихли, кто-то подавленно обронил:

— Ну и автор к нам залез, мать честна!

Слух о таинственном величии Сидорова молниеносно распространился по редакции, выплеснулся за ее пределы.

А в это время Полина Ивановна, как всегда тихой отшельницей уединившись в своем отделе писем, развернула свежую газету и впервые познакомилась с письмом читателя Сидорова. Бродившие вчера вечером по редакции разговоры не добрались до тихой отшельницы.

Сидоров... Письмо... Нет, она не помнит такого письма и такого читателя. Не было. Но вот оно палицо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты...» Самсон Яковлевич Попенкин брал письма, вернул их со словами: «Все в порядке. Кое-что выловил». Ничего себе, кое-что... Не могла же она проглядеть.

Полина Ивановна ринулась к нужному шкафу, нужной полке, достала все письма, которые отдавала Самсону Попенкину, и на целый час утонула в них, придирчиво проглядывая каждое. Ничего похожего. Странно. Но — «Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар...»

Ей пришла в голову отрезвляющая мысль: раз письмо Сидорова прошло в печать, то не может оно храниться среди этих, возвращенных за ненадобностью, его наверняка отправили в другие архивы... Мысль трезвая, по не успокаивающая.

Загадка — как она могла его проглядеть? Если б был наплыв писем. Не часто, но на памяти Полины Ивановны случалось — газету захлестывало половодье читательских мнений. В последний раз, дай бог памяти, оно произошло лет семь тому назад, когда все того же Ивана Лешоту ударили за умиление перед несуществующими китежскими колоколами. Читатель ринулся в бой, решая обоюдоострый вопрос — хорошо или дурно поступили в свое время, лишив град Китеж колокольного звона? Но и тогда Полина Ивановна умудрялась проглядывать каждое письмо. Сейчас наплыва не было, читатель не успел раскачаться, со скромным ручейком эпистолярного жанра справиться не представляло никакого труда.

Письма не было — письмо палицо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет...» Год за годом, изо дня в день Полина Ивановна перебирала письма и ждала... Незатухающая искорка надежды из года в год, изо дня в день —

вдруг да среди этой сырой породы наткнется на алмаз, добудет его, покажет всем. И все удивятся, все придут в восторг, заговорят о Полине Ивановне. И вот оно — случилось! Раскрытая на столе газетная полоса, читательское письмо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет...» Говорят, волнуются, Тугобырлев ищет автора письма, видит в нем будущую знаменитость... Тот самый алмаз, о котором мечтала! Единственная во всю жизнь удача!

И как ни напрягает она память, а вспомнить не может. Больна? Невменяема? Старость подходит?..

На Полину Ивановну навалился тревожный страх.

Она больше не могла сидеть в своей тихой комнате, ей, как и Тугобырлеву, захотелось непременно узнать, кто и что этот Сидоров, как его принимают. Полина Ивановна вышла в коридор и через несколько минут узнала, что Сидоров не из простых читателей, что «видно зверя по следу» — за ним кто-то прячется. Полина Ивановна сразу почувствовала облегчение: уж если он не простой читатель, то и его письмо, наверно, попало в редакцию не простым путем, не по почте. Удивительно ли, что оно миновало ее руки.

Каждое утро она заглядывала к ответственному секретарю по долгу службы, заглянула и сегодня, неся пару совсем незначительных писем. Самсон Попенкин находился в обычной запарочке — ворошил какие-то гранки, отчитывал кого-то по телефону за неоперативность. Увидя Полину Ивановну, он сразу же бросил трубку, возбужденно потер руки:

— А наше письмецо, Полина Ивановна, работает. Как еще работает!

— Наше?.. — упавшим голосом переспросила Полина Ивановна.

— Наше, Полина Ивановна! Наше! Золотую рыбку мы с вами нынче выудили.

Полина Ивановна ничего не ответила, постояла, смятенно поблескивая очками, и вышла, даже не положив на стол ответсекретаря приготовленные письма.

Главный редактор Илья Макарович Крышев только тем, собственно, и занимался, что ждал, ждал, ждал чего-то. А результат один — ничего! Угрожающе молчали на его столе телефоны, никто никуда его не вызывал, никто

у него ни о чем не справлялся — полное забвение, никому не нужен. Если бы... Но забвение невозможно. Не настолько мелкая фигура он в городе, чтоб забыть о нем в смутное время. Да и смуту-то эту вызвал он, накинув собственноручно «петлю на собаку». Нет, о нем, конечно, помнят, имя его где-то постоянно повторяют...

Ничто в жизни так не обессиливает и не выматывает, как ожидания. Жизнь в неподвижности — бессмыслица, жизнь — только деятельность, только движение. Ожидание останавливает жизнь. Даже ожидание поезда, приходящего по расписанию, — несносно. А ожидание не зная чего, неведомого и вовсе невыносимая пытка.

Илья Макарович коченел в неподвижности, а вокруг него все бурлило. Письмо Сидорова, беспокойная толкучка прохожих перед газетной витриной у входа в редакцию, охающий, покрякивающий, шушукающийся редакционный коридор. Илья Макарович не выдержал, вышел из окоченелости, поднялся из-за зеленого поля своего рабочего стола, покинул упрямо молчащие телефоны, вылез в коридор...

Боковой стеснительной походочкой он вплотную приблизился к своим сотрудникам. Рядовые сотрудники сперва несколько смутились от этой неожиданной вылазки, но, когда Илья Макарович с наигранной бодростью заговорил с ними — «Как настроение? Что новенького слышно?» — сразу освоились и насели:

— Сидоров, Илья Макарович, это псевдоним?

— Можно ли рассчитывать, что он раскроет свое инкогнито?

Илья Макарович в считанные минуты проникся общим убеждением, что Сидоров вовсе не простая птица. Да и как тут не проникнуться, когда нервы взведены, ждешь, ждешь и не можешь ничего дожидаться. Кроме того, не в натуре Ильи Макаровича Крышева было отрываться от масс — верил всегда в то, во что все верили, думал так, как думают все.

Сидоров — маскировочка под простого читателя! Вот этого-то он и не предполагал, а следовало бы! Обстоятельство — чрезвычайной важности...

Илья Макарович боковой походочкой ринулся было искать Самсона Попенкина, чтоб прижать, дознаться до сути, но он не успел сделать и шагу, как из приемной вырвалась секретарша.

— Илья Макарович!.. — Придушенный крик, свалив-

пийся сразу же к столь же придушенному шепоту: — Вас!..

О нем вспомнили, его звали!

В одно мгновение он оказался в своем кабинете у телефона, прижал потной рукой трубку к уху:

— Слушаю вас.

— Вопросик один возник, товарищ Крышев. Этот Сидоров... Э-э... Кто он, собственно? — Вопрос в лоб без пристрелки. Там тоже интересовались личностью Сидорова, мало верили в его простой читательский облик.

Илья Макарович замаялся. Ответить: не знаю — он не мог, на то мгновенно будет резонное возражение: «А кто должен знать?» И вовремя пришла спасительная идея.

— Минуточку, — ясным, без особой дрожи голосом сказал Илья Макарович. — Я вызову человека, через которого прошел этот материал. Он вам все скажет, кто и что... — Оторвался от трубки, кивнул секретарше: — Попенкина! Живо!

Самсон Попенкин незамедлительно явился, от дверей к столу чеканными шажками, на лице вежливая готовность и никакой растерянности, никакого страха — ну и выдержка у этого сукина сына! Принял из руки Ильи Макаровича отсыревшую трубку, сказал бодро:

— Ответственный секретарь редакции Попенкин слушает... Да, я... Да, через меня... Пришло к нам самым обычным путем — через отдел писем... Извините, но столь важные вопросы, мне кажется, требуют объективного подхода. Мы посчитали нужным опубликовать и такое мнение... Спасибо... Спасибо... Я не сомневался, что вы одобрите... Ах, насчет самого автора... Я уже сказал: Сидоров отрекомендовался нам как читатель, и только... Из окружения Каллистрата Поликарповича, хотите сказать? Возможно, но, на мой взгляд, маловероятно... Почему? Да потому, что мы много раз заказывали работникам комбината разные статьи и, если сравнить, — не тот стиль. Комбинатовцы бы непременно оперировали цифрами, а тут, как вы заметили, несколько иное... Не знаю, не знаю... Возможно, вполне возможно... Да, да, и я склонен считать, что товарищ Сидоров куда более прав, чем Иван Лепота... Рад, что мои взгляды сходятся с вашими. До свидания.

Самсон Попенкин положил трубку, многозначительно поглядел на своего главного редактора, все еще пребывающего в почтительной стойке.

— Выступление Сидорова... одобряют.

Илья Макарович отозвался, как эхо:

— Одобряют...

— Я вам больше не нужен, Илья Макарович?

— Нет... То есть — да. Да, нужен. Сообщите по отделам — созывается срочная летучка. Немедленно все ко мне!

Выступление читателя Сидорова одобряют, значит, ему, Илье Макаровичу Крышеву, тоже надо одобрить. И так, чтобы все слышали. И не медля ни минуты, чтобы никто не успел подумать — он колеблется.

Самсон Попенкин кинул на своего главного понимающий взгляд, кивнул обкатанной головой:

— Хорошо.

20

Ничто в жизнь града Китежа не вошло так широко и прочно, как собрания. Собраниями отмечаются праздники, собраниями переполнены будни. В самом зеленом возрасте, переступив порог школы, еще не получив права гражданства, китежанин уже знает, что вся его жизнь пойдет от собрания к собранию. Собранием же она и закончится: «Спи спокойно, дорогой товарищ...»

Коллектив редакции периодически воодушевлялся тремя видами собраний: летучками, которые созываются по любому поводу и без повода чуть ли не каждый божий день; собственно совещаниями, проводимыми куда реже, и, наконец, редакционными коллегиями — своего рода высоким ареонагом, собирающимся от случая к случаю.

Илья Макарович издал клич — на летучку!

За длинным столом, крытым бильярдным сукном, поближе к главному редактору и безмолвствующему телевизору основательно, с удобствами — одна пепельница на двоих — расположились заведующие отделами, люди степенные, добросовестные, болеющие за газету. Рядовые же сотрудники устраивались в анархическом беспорядке, кому где вздумается, предпочтительно поближе к дверям.

— Я не задержу вас, товарищи, — начал Илья Макарович ритуальной фразой, которая, как правило, не соответствовала действительности. — Кто бы не хотел из нас, товарищи, чтоб наш славный Китеж омывался чистыми водами, шумел листвой густых крон, звенел соловьиными песнями...

Существуют два вида деловых выступлений, которые

можно определить как обличительные и как спасительные. Первые всегда начинаются за здравие и кончаются за упокой, вторые же, наоборот, за упокой начинаются, а за здравие кончаются. В обоих случаях переход из одного состояния в другое происходит с помощью простого, однако весьма содержательного союза «но».

Илья Макарович начал за здравие:

— Но, товарищи! Можем ли мы менять соловьиное пение на промышленный прогресс?..

И добрые четверть часа Илья Макарович волевым голосом доказывал, насколько промышленная индустрия дорожке соловьиного пения. Волевым и воинственным! Ибо застенчивый Крышев, который даже по коридору вверенной ему редакции ходил бочком по стеночке, в своих выступлениях часто был непримиримо агрессивен.

— Мы, товарищи, объективны. Мы не намерены никому зажимать рот. А поэтому наша газета предоставила место и тем, кто защищает сладкоголосых соловьев, и тем, кто отстаивал развитие нашей китежской промышленности. Ивану Лепоте и товарищу Сидорову! И вот теперь, когда обе стороны сказали свое слово, мы должны спросить себя: с кем мы?.. Да, с кем мы, товарищи?! Думается, тут двух мнений быть не может...

Голос Ильи Макаровича стал вдруг неправдоподобно громким и торжественным, потому что в кабинете наступила тишина.

— Мы целиком и полностью... Да, да! Полностью с товарищем Сидоровым!.. Товарищ Сидоров нас учит... Слово товарища Сидорова нам освещает путь... Ценные указания товарища Сидорова...

Тишина придавила все, кроме славящего голоса Ильи Макаровича. Каждый из присутствующих ощутил некий почтительный озноб по коже — вон оно как даже! Все и прежде догадывались, что читатель Сидоров, ошастлививший газету своим письмом, не простой читатель, не массовый, но никто не предполагал, насколько он значителен: он учит, он освещает, он дает ценные указания... Выше некуда. Главный редактор Илья Макарович Крышев, занимающийся в газете внешними сношениями, а значит, широко осведомленный и глубоко чувствующий, открывает сейчас всем глаза на ту пропасть, которая лежит между простыми смертными и тем, кто скромно называл себя рядовым читателем Сидоровым.

Люди втягивали в плечи головы, а голос Ильи Макаровича, как стальной прут, гнулся и распрямлялся, бил по

головам, славя товарища Сидорова. Сам Илья Макарович Крышев был в эти минуты велик его величием.

Самсон Попенкин, сидевший во главе тесной когорты заведующих отделами, уважительно думал: «Однако ловок, умеет выскочить из клещей». Но и он тоже, как все, невольно втягивал голову в плечи.

Наверное, больше всех была поражена Полина Ивановна, скромно примостившаяся возле двери. Вот кто прошел мимо ее рук! Не в потоке, не в потоке — в скудном ручейке проплыла незамеченной столь крупная рыба! И каждое упоминание Сидорова заставляло ее бледнеть и холодеть, сердце срывалось на перебои.

Крышев кончил и опустил в свое кресло:

— Кто хочет высказаться, товарищи?

Конечно, желающие найдутся, будут так же славить товарища Сидорова, будут клеймить Ивана Лепоту, еще вчера возведенного до уровня Кузьмы Мишина, всеобщего китежского ополченца, но это будет уже жалким повторением. Илья Макарович сделал все, что можно в человеческих силах, — никто теперь не усомнится, что главный редактор одобряет позицию Сидорова, целиком и полностью.

Выходили из кабинета главного редактора не шумя, не толкаясь, в степенном молчании, несколько подавленные. Никому и в голову не приходило, что в эту минуту вместе со всеми вышел... Нет, не некая авторитетная личность, а дух. Дух читателя Сидорова, недостижимо великий, наделенный непомерной мощью. Вышел и сквозь стены редакции шагнул на городские улицы — будоражить умы, менять судьбы человеческие.

21

Одну судьбу он, дух, изменил сразу же, не успев даже выбраться из кабинета.

— Осип Осипович! — окликнул Илья Макарович фото-репортера Тугобырена, чуть замешкавшегося из-за своей толщины в дверях. — На минуточку... Тут я в прошлый раз, Осип Осипович, просил вас запечатлеть кое-что...

— Грязь, Илья Макарович. Грязь просили запечатлеть.

Илья Макарович поморщился: не очень-то тактичен этот Тугобырев, должен бы понимать, что сейчас вот так, открытым текстом — не к месту и не ко времени.

— Забудем это дело. Не было такого задания. Грязь... Действительно. Как вы тогда сказали?..

- Не фотогенично, Илья Макарович.
 - Вот именно.
 - Я больше на мотивах прекрасного практикуюсь.
 - И чудесно, Осип Осипович. Нужно во всей красе комбинат... Во всей красе и во всем величии.
 - Будет сделано, Илья Макарович. Там поля фильтрации, говорят, на много гектар. Никак еще не отражены.
 - Только без грязи, Тугобырлев, без всякой нечисти. Ясно?
 - Пальчики оближет читатель.
 - Действуйте.
- И Тугобырлев ринулся к двери действовать.

В это самое время прославленный поэт Иван Лепота был в гостях у не менее прославленного китежского критика Петрова-Дробняка.

Наверное, любому и каждому из многочисленных читателей Лепоты это могло показаться очень странным, ибо чаще других обрушивал критическую дубинку на голову знаменитого поэта именно Петров-Дробняк. И вот нате вам — в гостях, за столом, за раскупоренной бутылочкой, в мирной беседе... Непостижимо!

И не в первый раз они сходились вот так, с глазу на глаз, почти любовно — беспощадный критик и многотерпеливый поэт, сокол и голубь, коварный барс и трепетная лань. Они были связаны друг с другом, увы, давно и самыми тесными узами. Не кто иной, как Петров-Дробняк открыл в свое время поэта Лепоту, разругав его первое стихотворение. Разругав, а значит, заставив читателя обратить на него внимание. Не кто иной, как Петров-Дробняк, обычно начинал усиленно хлопотать об издании нового сборника стихов Ивана Лепоты, вслески помогая, проталкивая сквозь редакционные рогатки. Иначе кого бы он тогда сокрушал и развенчивал. Поэт Иван Лепота давал постоянную пищу критику Петрову-Дробняку. Критик Петров-Дробняк, услуга за услугу, неустанно ковал славу поэту Лепоте. Один без другого не мыслились, а потому можно ли удивляться, что они время от времени сходились за дружеским застольем.

Петров-Дробняк внешне так же мало походил на коварного барса, как и Иван Лепота на трепетную лань. Петров-Дробняк скорей смахивал по облику на ту историческую конягу, которая, как утверждают, была введена когда-то в римский сенат — монументально важен, но в

тоже время нескладен, лицо массивно удлинненное, голос сытый с переливами «Ио-го-го».

— Слушай, колобок! — оглушал переливами своего голоса хозяин немного осоловевшего Ивана Лепоту. — Все это мне очень не нравится, колобок. Прямо говорю. Ты знаешь, я человек прямой.

— Хватит, серый волк, моим телом питаться, попасись на травушке, — с той же похвальной прямоотой отвечал Иван Лепота. — Нынче я высоко закатился, не укусишь.

— Не хвались, еще скатишься. Тебя уже толкают с сотки, колобок, толкают. Вон уже выпустили на тебя собачку. Хе-хе! В сегодняшней-то газетке... Это какой такой Сидоров, чтой-то не слышал?

— Самсон Попенкин крутит то сюда, то туда. Его работа.

— А Самсонку ты бойся — зверек мелкий, но зубастый, живенько жилу прокусит. Я еще никак не разберусь, какого веса он камешек выбрал. Может, и тяжеленьким быть этот Сидоров.

— Поздно. Весь город за меня. С городом любого перевешу.

Петров-Дробняк то ли с сомнением, то ли с уважением покачал лошадиной головой:

— Одноче...

Он не успел договорить, в соседней комнате зазвонил телефон, и Петрову-Дробняку пришлось, кряхтя, подняться со стула.

Минут через десять он вернулся, показывая в улыбке все свои крупные пожелтевшие зубы. Иван Лепота скинул осоловелость, распрямился, — хорошее настроение Петрова-Дробняка никогда не сулило добра.

— Ну, колобок, кончилась твоя песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...»

— Новенькое что-нибудь?

— Га! Еще какое! Сидоров-то, оказывается, не из мелкой породы. Га! Сейчас только в любви и верности ему Крышев клялся перед всеми: товарищ Сидоров учит, товарищ Сидоров указывает!.. Чуешь, колобок, чем это для тебя пахнет?

— Н-да, — огорчился Лепота. — Соловей-разбойничек этот Самсон.

— Похоже, тут не Самсонкино дельце, выше бери... — Петров-Дробняк потер мохлястые красные руки. — Ну, шарахнем по последней — да в разные стороны... Мне работать надо, руки чешутся. Такую кашу заварили, а Пет-

рова-Дробняка в сторонке оставили. Не выйдет! Эх и рас-
трясу я тебя нынче в статье, колобок, посыплется мучка!
Как товарищ Сидоров учит, как он указывает!..

22

Если газета откачнулась от Ивана Лепоты, то в мест-
ной студии телевидения тоже было от кого откачнуться —
от кандидата медицинских наук Малышева, утверждав-
шего перед многотысячным телезрителем, что загрязнение
воздуха и воды пагубно отражается на здоровье. И кан-
дидат медицинских наук, согласно указаниям товарища
Сидорова, был на студии во всеуслышанье объявлен весь-
ма отсталой фигурой, сиречь — питекантропом.

На биофаке Китежского пединститута тоже спохвати-
лись — ходит по рукам петиция, собираются под ней
подписи в защиту биосферы, с обличением Каллистрата
Сырцова. Тут уж питекантропов и вовсе было не трудно
вывести на чистую воду, — всякий, кто поставил свою
подпись, сам себя объявил недостойным звания Homo sa-
piens (здесь пользовались только сугубо научной термино-
логией). Среди питекантропов оказались, увы, даже не-
сколько профессоров.

Дух читателя Сидорова шагал по городу, будоража
умы, меняя взгляды и судьбы.

Но этот могучий дух встретил вдруг достойного про-
тивника. В лице кого бы вы думали?.. В лице все того же
петра петровича, представителя широких масс града Ки-
тежа, подписчика местной газеты, скромного служащего,
кто регулярнейше слушает последние известия, смотрит
телепередачи, выпиливает по вечерам портсигары из плек-
сигласа, любит порассуждать о внутреннем и междуна-
родном положении. Он, массовый петр петрович, только
что с лихой отвагой расправлялся с самим могуществен-
ным Каллистратом Сырцовым, он обрел в своем характе-
ре нечто царственно-львиное, а потому не устранился и
духа читателя Сидорова. Петр петрович рассуждал: он —
читатель, я — тоже, почему его мнение должно быть важ-
ней моего? Какое право имеет Сидоров обзывать меня
питекантропом? И почему я должен молчать, утираться?
Не желаю!

Сосед сходил с соседом, высказывал своё возмуще-
ние беспардонностью Сидорова.

Общество по охране природы, несколько дней назад
микроскопически незаметное, теперь же получившее ши-

рокую известность, вновь собралось на совещание. Был поставлен вопрос: отказаться ли от охраны природы и сохранить общество или по-прежнему настаивать на охране и распустить общество? Дело в том, что товарищи из Охотсоюза, которые милостиво предоставляли помещение обществу, вдруг решительно встали на точку зрения читателя Сидорова и заявили ультиматум: если вы не поддержите нас, будем вас считать питекантропами, выставим из помещения. А какое общество, когда негде заседать.

Члены общества бурно совещались, взвешивали и «за» и «против», а на улице вновь собралась толпа, сплошь состоящая из петров петровичей обоего пола, каждый из которых был недоволен Сидоровым, славил Ивана Лепоту. И разумеется, среди них объявились трибуны — нахлобученные на глаза кепки, небритые подбородки, в голосах глубинные интонации: «Повякай мне!»

И все бы сошло благополучно — общество дозаседало бы до конца, самораспустилось бы или отказалось от охраны природы; толпа бы рассосалась, трибуны бы стушевались, — но, на беду, оказался сторонний прохожий, пенсионер по виду, подвижник по духу. Не испугавшись многочисленной толпы, он начал во весь голос и даже с надрывом всячески корить собравшихся:

— Распоясались! Управы на вас нет! Железную дисциплину забыли! Стрелять вас! Стрелять!

И как только он произнес эти слова, сразу же его тесно обступили. Один из трибунов с внушающим уважение подбородком, похожим на каблук армейского сапога, неосторожно взял подвижника за воротник, с седой головы свалилась шляпа.

— Повякай мне, старый легаш!

Милиционер Лелюшко, наблюдавший за порядком, решительно спас негодующего подвижника вместе с его помятой шляпой от неминуемого самосуда, нескольким разгневанным петрам петровичам во главе с трибуном, внушавшим уважение волевым подбородком, предложил прогуляться до ближайшего отделения, где им твердо пообещали по пятнадцати суток за нарушение общественно-го порядка.

Деятели мирной организации Охотсоюза в благородном негодовании спустились к заседавшему Обществу охраны природы и предложили очистить помещение:

— Где хотите, там и заседайте, только не у нас. Сплошное беспокойство.

... Быть или не быть обществу — решилось само собой, без голосования.

Дух читателя Сидорова шагал по городу.

23

Полина Ивановна пришла из редакции домой раздранная, изнемогающая. Весь день ее преследовал призрак Сидорова. Весь день только и слышно кругом — Сидоров! Сидоров! Сидоров! Особенно поразило Полину Ивановну выступление главного редактора на летучке: поступать так, как учит товарищ Сидоров, как он указывает... А на пути к дому она зашла в магазин купить сыру и колбасы к чаю, и там в очереди в кассу она услышала:

— Сидоров-то не китежский вовсе.

— А чей же?

— Каллистрат Сырцов специального человека из Москвы вызвал.

— Да бросьте вы — из Москвы! Я этого Сидорова знаю, на бывшей живодерне живет, по забегаловкам шляется.

Сидоров! Сидоров! Сидоров!.. Тихий ужас охватывал Полину Ивановну. В глубине души она никак не могла себя заставить поверить, что есть такой Сидоров на свете. А весь город верит, весь город сходит по нему с ума: Сидоров! Сидоров! Сидоров!.. Все кругом сумасшедшие, одна ты — нет. Такого быть не может. Сидоров! Сидоров!.. Жуть!

Она пришла домой и застала торжествующего мужа.

— Наконец-то! — возвестил он, увидев ее на пороге. — Наконец-то в нашем Китеже появилась светлая голова.

И Полина Ивановна сжалась, сразу поняв, о чем речь.

— Светлая голова и неподкупная совесть! Не побоялся сказать всем прямо в глаза: вы угорели, граждане славного Китежа!..

Полина Ивановна молчала.

— Как припечатал! Пи-те-кан-тро-пы, останавливающие прогресс! Сидоров — это явление, скажу тебе! Сидоров — настоящий идеолог!.. Сидоров...

— Перестань! — не выдержала Полина Ивановна.

У них в семье были строго распределены, так сказать, сферы влияний: Адриан Емельянович покорно подчинялся Полине Ивановне во всем, что касалось домашних дел — купить, отремонтировать, как провести отпуск, — зато уж он полностью диктовал в масштабных вопросах

общеполитического характера — осудить ту или иную агрессию, оценить новое постановление, признать, что именно может осчастливить страждущее человечество! Тут уж он возражений не терпел. Только сын в последнее время стал выступать против диктаторства отца, Полина Ивановна всегда молчаливо соглашалась. И вот на резкое непочтительное: «Перестань!» — Адриан Емельянович даже не обиделся, только безмерно удивился:

— Ты... Ты противница Сидорова?

— Сидоров! Сидоров! Сидоров! И дома от него не спрячешься!

— Нет, нет, не верю! Чтоб ты, Поля... Ты — против моих взглядов, против принципов! Или тебе хочется, чтоб в нашем городе разжигали нездоровые страсти разные там недозрелые лирики, вроде Лепоты?.. Тебе хочется того, что противно моим взглядам!

— Мне хочется заткнуть уши и не слышать: Сидоров! Сидоров! Сидоров!

— Не верю! Не верю! Нет!! Моя жена хочет заткнуть уши, не слышать, избавиться!.. От кого?.. По-твоему, Сидоров — демагог, нытик, маловер? Или он борец за прогресс? Кто он? Отвечай!

— Не знаю! Не знаю! Не знаю! Отстань от меня!

— Полина! Мы живем с тобой двадцать три года вместе и до сих пор... Да, да, до сих пор у нас были единые взгляды. Что случилось, Поля?

— Я не хочу ничего слышать о Сидорове!

— Не пойму! Нет, не укладывается в голове: чем он тебе не нравится? Лично в меня он вселяет надежду и уверенность...

— В меня — страх.

— Поч-че-му?!

— Не верю в него. Он мне кажется пустым местом.

— Поли-на! Чудовищно! Пустым местом!.. Даже его противники считаются с ним. Весь город гудит, а ты...

— Весь город, весь город!.. А я не верю! Не верю!

Адриану Емельяновичу стало не по себе — совсем недавно сын восстал против него, сейчас вот жена... Его добрейшая, кроткая Полина Ивановна, с которой он прожил душа в душу двадцать три года! Защитить Сидорова для Адриана Емельяновича стало уже не просто отстаиванием своих принципов — семья раскалывается, катастрофа! — вопрос самоспасения! И Адриан Емельянович в отчаянье закричал на жену:

— Топчи мои взгляды! Уничтожай все, чем я жил

всю жизнь! Уничтожай! Издевайся! Отверпись! Брось меня! Останусь один, забытый, брошенный! Но не отступлюсь! Не отступлюсь!!

— Ради бога, не падо!

— Не падо?.. Молчи! Меня в родном доме пи в грош не ставят! Самые близкие, самые дорогие люди! И сын! И жена! Нету сына! Нету жены! Только враги кругом!

— Ради бога успокойся!.. Я больше пи слова не скажу, только не упоминай о нем. Прошу...

— Вот! Вот! Молчи! Не упоминай! Прячь свое! Скрывай!..

В самый разгар семейного скандала вошел сын — мокрыми косицами висят волосы, лицо тоже мокрое, синюшное, угрюмое. И отец, увидев его, закричал с новым неистовством:

— Вот он — враг мой! Теперь и ты!.. Ты!.. Идеальный противник!..

— Ради бога!..

— Гоните! Выживайте меня на старости лет!

Сын ошеломленно молчал. Он даже забыл, что сам явился домой с дурной вестью: в институте у него неприязни, грозится исключить — ходил с петицией, собирал подписи, восхвалял Ивана Леноту. И все Сидоров со своим письмом...

Велик и вездесущ дух Сидорова. Мой дом — моя крепость. Для Сидорова крепостей нет.

Адриан Емельянович спустился этажом ниже к своему старому знакомому Пэпэша.

Время было раннее, но Пэпэша лежал в постели, тепло укрытый до подбородка одеялом. Он встретил гостя ненавидящим взглядом.

— Вот оно твоё... Вот — все к лучшему! — простонал Пэпэша. — Любуйся. На улицу не выйди, слова не скажи — одичал народ! Чуть не разорвали... Один даже за горло меня... Морда разбойничья... Умирать буду — не забуду!..

И Пэпэша, постанывая в натянутое одеяло, принялся желчно повествовать, как целой толпой на него набросились у здания Охотсоюза. Каждую фразу он перебивал выкриками с горловой спазмой:

— Стрелять сукиных детей! Стрелять всех! Стрелять!..

Стрелять руководителей — отцов города, стрелять интеллигентиков-сочинителей, стрелять заживевших Калли-

стратов, стрелять милицию, — похоже, Пэпэша готов был остаться один на всем белом свете.

Адриан Емельянович понимал: плохо сейчас Пэпэша, совсем сорвался с предохранителя. Но — слаб человек — испытывал невольное успокоение: не только тебе солоно, и другим тоже. На миру и смерть красна.

24

Узкий, словно обрубленный коридор, кабинет, в единственном окне маячит лысый купол собора, моросит осенний беспросветный дождичек, спешат по мокрой мостовой прохожие, уйранные в непромокаемые синтетические кульки. С виду все как было, из окна кабинета кажется, что град Китеж по-прежнему пребывает в тишине и покое. Но Самсон Попенкин знал: покой — видимость, гуляет по городу выпущенный дух Читателя Сидорова, волнует умы, меняет судьбы.

Это Самсон Попенкин породил всесильный дух. Казалось бы, он, Самсон Яковлевич, должен торжествовать, но нет — чувствует, напротив, пекую беспокойную неуютность.

Джинн выпущен из бутылки, у джинна слишком самостоятельный характер. Черт-те что ему вздумается, вдруг да он ненароком шарахнет своего освободителя — чего доброго, останется мокрое место. Неуправляемая силища... Н-да!

Самсон Попенкин правил редакционные дела и ломал голову, как бы приручить слишком вольного джинна.

За дверями в коридоре послышался стук палки, и Самсон Попенкин поднял голову, наострил уши: слишком знакомый звук, давненько не раздавался он в стенах редакции.

Дверь открылась, на пороге вырос Петров-Дробняк с физиономией пожарной лошади, только что попарившейся в бане. Он показывал в улыбке все свои крупные зубы.

— Здорово, зверек бумажный. Как живешь, кого грызешь?

У Петрова-Дробняка хорошее настроение никогда не было признаком благорасположенности. Самсон Попенкин насторожился вдвойне.

— По чью душу пришел, старый Вельзевул? — ответил шуткой на шутку. — Садись.

Петров-Дробняк тяжело опустился на стул, вынул из папки отпечатанные на машинке листы:

— Вот. Хе-хе! Куй железо, пока горячо.

— Новый топорик?

— Секира, братец мой, острая секира, которую поднимаю я во славу принципов товарища Сидорова.

Этого нужно было ждать. Велик дух Читателя Сидорова, должны же к нему кинуться dobroхоты, отпихивая тех, кто не успел подскочить первым. И нет ничего более опасного, если всеильного духа оседлает такой вот рубака. Уж тогда-то он разгуляется, уж примется рубить направо и налево, захрустят черепа, полетят головы — спасайся, пока не поздно! Получается: ты выпустил могучего джинна, а пользоваться им станет этот апробированный ухарь — ради своей славы, на твою же беду. Ну нет, допустить нельзя!

— Посмотрим, посмотрим, что ты тут выковал.

Самсон Попенкин придвинул статью к себе и углубился в чтение.

И в самом деле, топор, выкованный Петровым-Дробняком, на этот раз был тяжел. Статья начиналась в духе старых традиций китежской литературной критики — с осуждения Ивана Лепоты, — но дальше она круто сворачивала с избитой стези.

«Есть два взгляда на животрепещущий вопрос — взгляд поэта Лепоты и мудрый, прозорливый взгляд товарища Сидорова. Два взгляда — два полюса, два противоположных непримиримых лагеря, третьего не дано. Или — или!..»

Столь недвусмысленный вывод давал право автору обрушиться на всех — буквально на всех! — литературных деятелей града Китежа только за то, что они молчат. Молчит Арсентий Кавычко, молчит Борис Чур... И грозный автор патетически вопрошает: «Почему молчат мастера китежской культуры?»

А так как мастера, разумеется, в данную минуту ответить не имеют возможности, на них обрушивается разящая секира:

«Только два лагеря, два полюса, третий противоестествен! Кто не с нами — с кем он?»

Самсон Попенкин распрямился над карающей статьей.

Петров-Дробняк сжимал коленями увесистую палку и открывал от скулы до скулы желтые зубы в застывшей улыбке а-ля «веселый Роджерс».

— Ну как, зверушка?

— Здорово! Одним махом семерых убиваю.

— Гони в набор.

— Не в моей власти, храбрый портняжка. Эти вопросы теперь сам решает.

— Не петляй, зайка, перед старым лисом. Мне ли не знать: сам-то лает так, как ты ему голос поставишь. Или, может, ты хочешь со мной потягаться? Ей-ей, не советую. Я, зверушка, сейчас на пару с товарищем Сидоровым тяну.

Самсону Попенкину грозили Сидоровым. Петров-Дробняк считал могучий дух уже своей собственностью.

Самсон Попенкин не дрогнул бровью:

— Нет, портняжка, на этот раз нам с тобой придется соблюдать табель о рангах. Я скажу о тебе свое похвальное слово не раньше, чем меня попросят об этом.

— Выходит, зря к тебе заходил?

— Мне было приятно видеть старого рыцаря в боевой форме.

Петров-Дробняк подгрел к себе свою рукопись, поднялся:

— Я-то думал, что мы договоримся без посторонних. И застучал палкой к выходу.

Как только он закрыл за собой дверь, как только стук палки известил — сделан первый шаг по коридору, Самсон Попенкин живенько снял трубку с телефона:

— Илья Макарович, к вам идет Петров-Дробняк. Очень опасно! Попытался договориться со мной через вашу голову. Как выпроводите, сразу звоните — буду у вас.

Самсон Попенкин водворил трубку обратно, откинулся на спинку стула, стал терпеливо ждать, когда за дверями вновь простучит палка и главный редактор позовет к себе.

Ну и ну, Петров-Дробняк распоряжается Сидоровым. Вольный дух может стать рабом этого грубого и отнюдь не щепетильного человека. Берегись, Самсон Попенкин, твоё детище сомнет тебя, и очень просто.

Этот Петров-Дробняк, в общем-то, неудачник в жизни. Уж слишком он тяжел на руку, слишком наглядно выпирает из него черноземная силища — берегись, расшибу! — поэтому любого и каждого здравый смысл заставлял его остерегаться. Петрова-Дробняка всегда почтительно обходили, не облачали доверием, не выдвигали в руководство, не выбирали в почетные комиссии. Ему предоставили лишь одно поле деятельности — ухарски расправляться с Иваном Лепотой, уж тот как-нибудь снесет, парень ко всему привычный. Но рассудить, что за противник Лепота для такого отважного бойца. Неизрасходованные силы оставались втуне. Теперь они могут вырваться наружу. И они в стократ будут умножены мощью прирученного

духа. Кровь стынет в жилах при одной мысли, что Петров-Дробняк может стать господином положения. И невольно заранее начинаешь ощущать себя жалким пигмеем...

Самсон Попенкин сидел и ждал стука палки за дверью. Ответственнойшие минуты — от них зависит судьба многих почтенных людей града Китежа.

Наконец палка простучала по коридору, но не мимо. Стук оборвался, двери распахнулись от резкого толчка, Петров-Дробняк преподнес свою улыбку веселого Роджерса:

— Слушай, зверек, мы обо всем договорились.

— Отлично.

— Но ежели Крышев вдруг от ворот поворот сделает, тогда знай: буду считать, что это ты... ты выкрутил. Больше некому. И уж тогда на всю жизнь ты мне враг, уж буду стеречь минутку — в крупу истолку. Помни!

И Самсон Попенкин не успел даже ответить, — дверь захлопнулась, палка застучала к выходу.

Телефонный звонок вывел Попенкина из небытия.

25

— Что я ему мог ответить, сам посуди. Он хотел нести свою статью прямо наверх. Покажет, пожалуется: мол, Крышев зажимает. А Крышев и так уже под прицелом... Зажимает прямых сторонников Сидорова! Ну нет, мне лучше не связываться.

У Ильи Макаровича вылинял румянец с круглого лица и под глазами скорбная просинь, он досадливо морщился, избегал встречаться взглядом с ответственным секретарем.

— Черт с ним, дадим откупного — напечатаем статью. Не нас же с тобой он там прикладывает, пусть чешутся Арсентий Кавычко с Чуром.

Самсон Попенкин поигрывал пальчиками на зеленом сукне.

— Нет, Илья Макарович, Кавычко с Чуром мы не откупимся, — сказал он тихо. — Они ему нужны, чтоб под ноги себе подбросить, повыше подняться. Велика ли с них корысть, сами посудите.

— А кто ему нужен? — Вопрос упавшим голосом.

— Вы!

— Не пугай, не пугай! Нечего там...

— Столкни Кавычко и Чура, что после них останется? Да ничего. Они никаких высоких стульев не занимают. А вот если Петрову-Дробняку вас удастся спихнуть... После вас окажется свободным стульчик. Вот этот, на каком сидите.

— А нельзя ли полегче, дружок? Без выражений!

— Прошу прощения. Приходится говорить открытым текстом.

— Уж так и подставят этому громиле мой стул.

— Он и не рассчитывает, что подставят — силой взберется.

— И взвалит на себя ответственность, хлопоты. Зачем они ему? Так он вольный казак.

— Какой казак не мечтает стать атаманом. А главный редактор газеты — должность атаманская.

— Но каким же манером он меня — за шиворот, что ли, стянет? По рукам дадут...

— Вы забыли старую сказочку о лисе, которую пустили переночевать на приступочку, а она с приступочки-то на прилавочку, с прилавочки на припечечек... Сегодня он указывает, что Кавычко с Чуром из тех, кто не с нами... Завтра он укажет на вас... Старый лис спит и во сне видит теплый припечечек. Берегитесь!

— А ты!.. Ты!.. — В голосе Ильи Макаровича проступила вдруг подозрительная старушечья сварливость. — Ты о моей беде так печалишься, дружок? С какой бы это стати?

Самсон Иопенкин усмехнулся:

— О себе пекусь. Себя спасаю.

— Да тебе-то не все ли равно, кто будет на моем месте сидеть?

— А вы сравните себя с Петровым-Дробняком. С кем, полагаете, мне легче работать?

— М-да-а...

— Петров-Дробняк сапоги себе чистить заставит.

— М-да-а.

— Я боюсь его грубости, он, похоже — моей сноровки.

— Но что же нам делать, Самсон Яковлевич, дорогой?

— Верните ему статью.

— Он же жаловаться побежит. Он же раздует — не расхлебаетесь.

— Выбирайте, что страшнее: его жалобы или приступочка к вашему припечечку?

— А он же назвонить может о моей подписи к статье Лепоты!

— Пока он всего-навсего старый неудачник, к его слову не слишком-то прислушиваются. А вот если ему удастся Кавычко с Чуром уложить, то уже не неудачник, уже — первое лицо среди китежских литераторов, не хочешь, да считайся с его словом. Выбирайте: нынче ему на вас пожаловаться или потом?

— М-да-а... А ведь ты прав, Самсон Яковлевич: нынче без должного эффекта пройдет.

— Нынче он вымаливать будет, потом — требовать.

— Ты прав. Возвращаю статью. Нечего раздувать нездоровые страсти. И почему, почему, спрашивается, мы должны вместе с разудалым автором бить по головам известных литераторов? Кавычко — доктор филологических наук, профессор! Это вам, извиняюсь, не баранчихнул!

Илья Макарович постепенно разогрел себя до такого накала, что в его решительности можно было уже не сомневаться.

Петров-Дробняк придет в бешенство — выкрутил-таки в обратную сторону! — конечно, он будет видеть в Самсоне Попенкине лютого врага. И конечно, нельзя не холодеть от одной мысли: враг рядом — и какой! Смертельный! Но трусы в карты не играют, еще посмотрим, так ли уж страшно твое копыто, старый Пегас, — сами с зубами, можем прокусить жилу.

У Самсона Попенкина не было иного выхода, как принять вызов, и он его принял, не дрогнув. Важно не дать завладеть джинном, вырвавшимся на свободу. Все-таки не Петров же Дробняк, а Самсон Попенкин породил его.

К барьеру!

Ночью на град Китеж выпал первый снег.

Снег покрыл деревья кружевом.

Снег на плечах древних церквей.

По снегу бродят голуби. Снег им по колено.

Снег лежит на карнизах. Дома подпоясаны, у них озабоченно решительный вид. Дома, словно паломники, собрались в дальний путь, стоят и ждут, что кто-то произнесет: «Пора».

Старый город в юном снегу.

Самсон Попенкин, беспокойно спавший, поднявшийся с постели в дурном настроении, почувствовал сейчас, как оттаивает. Его охватила непривычная расслабленность, и странные мысли без усилий забродили в мозгу.

Вот ты сейчас идешь по пуховому, податливому, даже еще не научившемуся хрустеть снежку и несешь в себе решительное, собранное, как бойцовский кулак, желание — подставить ножку Петрову-Дробняку, чтоб тот рухнул, гремя старыми костями. Должен рухнуть, иначе рухнешь ты сам. Ты всегда от кого-то защищался, на кого-то нападал — боролся. «И вся-то наша жизнь есть борьба!» Свято верил в это, гордился этим...

Город в первом снегу, привычный, прискучивший, иногда даже постылый, но и родной, и, право же, любимый, порой вот так, как сейчас, с тихой голубиной нежностью, порой — со стоном, с проклятием, с болью! До чего красив бывает твой город! Старый город в юном снегу. Странные мысли нашептывает он...

«И вся-то наша жизнь есть борьба». А не признак ли это неустроенности жизни? Вместо того чтобы дружно, чувствуя плечо друг друга, взяться: «Эх, дубинушка, ухнем!» — постоянно оглядывайся, постоянно примеряйся, кого бы стукнуть по черепу. А ведь, право, хорошего в этом мало.

Снег на карнизах — перепоясанные снегом дома. Свежий снег — свежие мысли. Да мысли ли? Скорей счастливые мечтания. Хочется наивно верить — вот-вот набредешь на ответ, на извечно недоуменное: что есть истина?.. Вот-вот, уже, кажется, близко, уже под рукой — протяни и возьми!.. Отстаиваешь свою правоту ценой чужого черепа. Не пробьешь — не докажешь. И ты пробивал, пробивали тебе, страдал от обид, обижал сам — жил суетно и нечисто. Хорошо бы стряхнуть с себя весь житейский мусор и понять простое — пробитый череп может испытывать лишь боль, ему трудно родить даже бесхитростную мыслишку, только злобу и ненависть, а уж постичь истину... И найдется ли более важная истина, чем — не следует проламывать, люди, друг другу головы, храните их в целости!

Самсон Попенкин взошел на Старый мост, тоже запорошенный снегом. В молодом снегу, источавшем бодрый свет, были и берега, еще вчера угнетавшие своей неопрятностью. И только речка Кержавка угрюмо черна. Течет речка, кипят в городе страсти. Но странно, все забыли обещенную речку, до нее ли, когда идет борьба, кому

нужда вспоминать о водичке. Кержавка — сама по себе, страсти — сами по себе.

Черная вода среди ослепительных берегов отрезвила Самсона Попенкина. Сладко мечтать о праведности, отмякать душой, но такого-то обмякшего, захмелевшего от благородства и сбивают с ног. Сегодня он столкнется с бешенством обманутого Петрова-Дробняка. Всю долгую жизнь, едва ли не с отрочества до седых волос, первый ухареж китежской печати жаждал вырваться на высокий пригорок, откуда — эх, раззудись, душа, развернись, плечо! — сподручно бить по макушкам — каждого, кто стоит ниже. Всю жизнь рвался и почти дорвался, но Самсон Попенкин ухватил его за погу — стяну! Старый ухареж жаждет крови, твоей крови, прекраснородушный мечтатель! Содрогнись, страхни с себя хмель, собери в кулак всю свою волю, земля горит под твоими ногами! «И вся-то наша жизнь есть борьба!» От этого, видать, никуда не спрячешься.

Самсон Попенкин оторвал взгляд от почерневшей реки, вздернув плечи, чеканными шажочками двинулся к редакции. Он уже не видел юного снега, не замечал омолодившегося города — только опасность впереди. Самсон Попенкин прошел мост, и мечтатель умер в нем, «смертью смерть поправ», родился боец.

27

Если б еще такой боец родился в это светлое утро и в Илье Макаровиче Крышеве. Увы! Увы! Илье Макарович, ходивший по грешной земле боковой походочкой, не создан был для ратных подвигов.

Он панически боялся, что Петров-Дробняк с отвергнутой статьей ринется в соответствующие инстанции, но до этого дело даже не дошло. Петров-Дробняк справился своими силами.

Старый рубака явился утром, без приглашения опустился на стул, принял свою обычную монументальную позу коняги, восседающего в римском сенате, спросил с грубой прямоотой:

— Ты давно клялся, божился, всех призывал — поступать так, как товарищ Сидоров учит, как он указывает?

— Я позиций товарища Сидорова и сейчас придерживаюсь — полностью и неуклонно.

— Полностью и неуклонно... А это что? — Петров-

Дробняк тряхнул злополучной рукописью. — Лепоту поддерживаешь или Сидорова?

— Перегибчики там у тебя, перегибчики. Ты там на Кавычко, на Чура — и за что? За то только, что они молчат пока.

— Молчат, не поддерживают — разве не достойно осуждения. Ну да ты-то парень отважный — не молчишь, действуешь! Да, против трезвых доводов Сидорова! Да, тайком, исподтишка, крича при этом на весь город, что полностью, неуклонно!..

Илья Макарович попробовал было возмутиться, взял на ноту выше:

— Что за голословные упреки, дорогой товарищ Дробняк? Когда, где я против Сидорова?..

— Га!.. — от всей души удивился Петров-Дробняк. — А Лепоту-пташку на публику не ты выпустил? А сейчас кто его спасает? Не ты?.. Линия! Не прикидывайся младенцем и других дураками не считай!

И главный редактор Крышев был прижат к стенке. Петров-Дробняк не страдал великодушием, обычно добивал придавленного со всей беспощадностью.

— Ну, скажи, скажи, что ты сделал в помощь Сидорову? Чем ты его поддержал?

Молчание.

— Нечего сказать. Так какого рожна ты еще дергаешься?

Молчание.

— В руках ты у меня или не в руках? Ась?

Молчание.

— Вот ты где, голубчик! — Петров-Дробняк наглядно показал свои красные мослаковатые лапищи, сжал их в кулак. — Не выпущу, не мечтай. Кавычко с Чуром выгораживаешь — прекрасно! Мне, может, это и надо. Сам себя выводил на чистенькую воду.

Петров-Дробняк стукнул по полу увесистой палкой и поднялся во весь свой внушительный рост.

— Прощай. И помни, что Сидорова и покрупней тебя птицы не клюют.

— Послушай, Василий Спиридоныч...

— Что? Готов по рукам ударить — дай статью и замолкни? Ась?

— Больно уж ты крут, Василий Спиридоныч.

— Прям, братец, прям! Не люблю вилать. И сейчас тебе прямо скажу: статью забираю и просто так не верну, только с выкупом!

— Что за торговля, Василий Спиридонович, полно-ка...

— Я же знаю, кто тебя накручивает — этот хоре́к газетный, Попенкин твой. Вон как запутал, тебя, бедного, хоть голыми руками бери перепелочку.

На растерянное и доброе лицо Ильи Макаровича легла тень. Петров-Дробняк попал в самое сердце. И в самом деле, во всем виноват ответственный секретарь — он подсунул статью Лепоты, он откопал и выпустил письмо Сидорова, он вот столкнул лбами его, Илью Макаровича, с этим громилой. В силках, воистину!

— Ты прав, пожалуй... Опутал кругом, не скрою.

— Так вот — бери статью и давай пораскинем мозгами: как хорька придавить, чтоб не путал — ни тебя, ни меня, ни кого больше. Раз и навсегда!

Петров-Дробняк снова опустился на стул.

А Самсон Попенкин, как всегда, сидел в своем узком кабинете, подгонял текущие дела. Он знал, что Петров-Дробняк сейчас объясняется с главным, подозревал, что у добрейшего Ильи Макаровича не хватит характера выдержать натиск, вовсе не исключал — подымет в панике руки, сдаст позиции. Но Самсон Попенкин твердо рассчитывал — Илья Макарович непременно вызовет его к себе, как только старый ухарь удалится восвояси. Будут, конечно, жалобы и стоны, будут упреки, даже угрозы — не впервой. Самсон Яковлевич верил в свои силы — уж как-нибудь... Слишком очевидна опасность для Ильи Макаровича со стороны рвущегося к власти Петрова-Дробняка, Самсон Попенкин крутил колесо редакционной жизни и терпеливо ждал...

Накопец по коридору прогромыхала палка, неуютный гость промаршировал к выходу. Самсон Попенкин ждал...

Телефон на столе позванивал, но то звонили из отделов — верстка, сверка, правка, сокращения, дела обычные.

Самсон Попенкин ждал...

Телефон зазвонил в очередной раз. Нет, не главный — Сонечка, его секретарша:

— Самсон Яковлевич, Илья Макарович собирает сейчас срочное совещание.

И только тут Самсон Попенкин, всегда ясновидящий, запоздало понял — Иетров-Дробняк одержал победу.

Собраниями отмечаются праздники, собраниями переполнены будни...

Как всегда, все расположились на своих местах — заводами тесной когортой поближе к главному, остальные в анархическом беспорядке.

Сам Петров-Дробняк удалился, дабы никого не смущать и ничему не мешать. Он удалился, значит, уверен: расправа состоится.

Илья Макарович поднялся над зеленым полем своего рабочего стола — лоб прорезает морщина, глаза без блеска, плечи расправлены, грудь вперед. И голос, усиленно спокойный, но прочувствованный, таким голосом напутствуют безвременно ушедшего товарища.

Речь, как и положено, начиналась с общего вступления:

— Должны прислушиваться к голосу масс... Желания и помыслы широкого читателя... Глубокое и яркое читательское письмо товарища Сидорова, взволновавшее и вдохновившее... Кто не с товарищем Сидоровым, тот против масс... Весь наш здоровый коллектив полностью солидаризируется... Но, товарищи!..

Вступительная часть кончилась, панихидные интонации сменились гремюще жестяными, что в голове Ильи Макаровича Крышева заменяло вызывающую медь: «Будь бдителен — враг повсюду!»

— Но, товарищи! Все ли из нас солидарны? Оглянемся попристальней! Вот передо мной рукопись статьи, где говорится, что даже замалчивание взглядов товарища Сидорова — позиция враждебная. Правильно это или нет, я вас спрашиваю? Даже замалчивание!..

По кабинету пронеслось что-то вроде одобрительного мычания, достаточно красноречивого, чтобы служить ответом. И вот тут-то Илья Макарович грудью повернулся к Самсону Попенкину:

— Ну, а ты как считаешь, Самсон Яковлевич?

Нет, боковая походочка не единственное достоинство Ильи Макаровича Крышева, он умел при случае и загонять в угол. Вопрос брошен, десятки глаз впились в твое лицо, десятки ушей ждут ответа. И совсем нужно быть самоубийцей, чтоб ответить: «Нет, неправильно!» Против общего мнения, один против всех! Ответ послушно: «Да». Но именно этого-то ждет от тебя Крышев, тут-то он и приготовил ловушку, нехитрую, но безотказную. Ты ви-

дишь, как она опасна — смертельно опасна! — и все-таки суешь в нее голову.

— Самсон Яковлевич! Мы ждем ответа!

И Самсон Попенкин ответил:

— Да.

— Считаете правильным: замалчивать взгляды товарища Сидорова — враждебный акт?

— Да.

Ловушка захлопнулась. Главный редактор Крышев принялся свежевать пойманного Самсона Попенкина.

— Тогда зачем ты... ты нажимал па меня: зарежь эту статью.

Самсон Попенкин попробовал защищаться:

— Я — противник Сидорова? Помилуйте! Не я ли открыл дорогу его письму?

— А кто открыл дорогу статье Лепоты?

— Вы сами подписали ее в печать, Илья Макарович.

Ох, сидя в ловушке лучше уж не показывать зубы. И Крышев с жестяным скрежетом в голосе обрушился на Попенкина:

— Каюсь, оказался не до конца бдителен! Не раскусил тогда тебя!.. Позавчера ты открыл путь Лепоте, вчера — путь Сидорову, сегодня готов душить честных сторонников Сидорова. А что предпримешь ты завтра?.. Завтра ты начнешь исподтишка кусать самого товарища Сидорова. Да, да, мыш — слона! Не выйдет! Заступимся!

Самсон Попенкин молчал. Показывать зубы, где уж. Любое слово, любой жест будет сейчас понят как выпад — нет, нет, не против главного редактора Крышева, не против Петрова-Дробняка, а против незримого духа Сидорова. Дух ополчился на своего родителя! Самсону Попенкину ничего не оставалось, как мысленно сетовать: «Эх, знал бы я!..» Неслышимый миру стон. «Знал бы, где упасть, подстелил бы соломки!» — Извечный стон человеческой неосмотрительности.

Самсон Попенкин клонил голову, а Илья Макарович упоенно, до жаркого пота, бичевал. И он знал — не мог не знать! — каждое бичующее слово — шаг к собственной гибели! Хоронит Попенкина — вливает убойные силы в Петрова-Дробняка, остается один на один с этим ухарем. Знал и бичевал, был неволею, не принадлежал уже сам себе.

.. Великий дух командовал судьбами.

Вечер. Мост. Шепот речки внизу. Забытой речки...

Самсон Попенкин на мосту в одиночестве.

Давно ли он здесь мыслил двинуть силу на силу, под-
нять на дыбы город... И двинул! И поднял! А теперь вот
не надо быть ясновидящим, чтоб узреть свое ближайшее
будущее. Хорошо, если — «по собственному желанию»...

Трудности — не горе,
Жизнь крепка, как спирт...

А что, собственно, творится? Чем все-таки берет этот
пезаконнорожденный тип?

Откуси себе язык, еретик! Даже в мыслях не смей ко-
щунствовать. Велик дух Читателя Сидорова и славен!

Люди наивно считают, что над ними господствуют
другие люди, более удачливые, более решительные и та-
лантливые. Блажь! Господствуют духи, которых они же и
создают.

Жил ли вообще на свете Христос? Если даже и жил —
допустим, — то был наверняка обычным человеком, слабей
многих. Нищий бродяжка, толкавший простакам речуги,
не способный даже защитить себя. И не стоило труда схва-
тить его, без суда, без особых угрызений совести казнить,
как казнили рабов и всякую мелкую сволочь. Людей ува-
жаемых на кресте не распинали.

Гнусная жизнь, с враждой и злобой, от которой некуда
было деться, заставила людей возвеличить бродячего ни-
щего. «Над вымыслом слезами обольюсь». Вымысел — си-
ла! Он-то и создает всемогущих духов.

Христос-человек позорно умер на кресте, а дух, при-
нявший его имя, начал тысячелетнюю жизнь. И самые мо-
гущественные короли падали перед ним на колени, уни-
женно вымаливая помощи и прощения. Нищие и короли —
одинаково превратились в рабов духа Христова. И те, кто
хоть чуть-чуть осмеливались сомневаться в его могущест-
ве, жарились на кострах. И слуги духа преуспевали, сами
становились господами. И поэты славили его в стихах, и
армии во имя его лили реки крови. Духи господствуют над
людьми, их власть страшна, порой нет ей предела.

«Над вымыслом слезами обольюсь». Самсон Попенкин
вымыслил дух Читателя Сидорова, пришла пора обли-
ваться слезами.

Но почему дух выбрал в жертву родителя, а не кого-

то другого, примазавшегося со стороны? Того же Петрова-Дробняка хотя бы?

Не потому ли, что дух Читателя Сидорова побаивается своего создателя? «Я его породил, я его и убью!» — Эти слова уже звучали в истории, и никто не воспринимал их как нечто аморальное.

Дух побаивается. Он, похоже, еще не окреп, еще не все в городе преклоняют перед ним колени. Если и решаться, то теперь, немедленно, пока он, дух, не совсем заматерел...

Откуси себе язык, еретик! Даже в мыслях не смей!.. Велик дух и славен!

Но он творение твоего ума. Создатель не может быть мельче своего творения...

И обидно же — свое, кровное вышло из повиновения...

И терять тебе уже нечего: повис, как паук на сквозняке, — вот-вот сорвешься.

«Я его породил, я его и убью!» — На минуту перехватило дыхание. Никогда еще Самсон Попенкин не был убийцей.

Ночь. Старый мост над шепчущей речкой. Самсон Попенкин на мосту в одиночестве. И зреющий в душе заговор...

Никогда не был убийцей...

Да и случалось ли кому поднимать руку на духа? За духами слава — они бессмертны!

Ой ли? Все, что рождается, должно рано ли, поздно умереть!

Зреющий в душе заговор... Ночь. Старый мост над шепчущей в темноте, забытой городом, обесчещенной речкой.

В это самое время, неподалеку от моста, в доме на набережной, человек почтенного возраста и незапятнанной биографии занимался как раз тем, что открывал заговоры.

Добрейший Адриан Емельянович Кукушев все-таки жалел своего приятеля. Пэпэша — потерпел за взгляды, за принципы. Жалел... и напрасно.

Говорят, святой подвижник Феодосий Печерский в оны времена выходил из своей кельи на большую дорогу и ругательски ругал встречных за слишком малое усердие в вере, с нетерпением ждал, что из многих встречных хотя бы один не вынесет поношений и воздаст по мордам, а

значит, святой Феодосий удостоится — лишний раз потерпит за веру.

Пэпэша тоже был из святых подвижников. И для него, как и для незабвенного Феодосия Печерского, получить по морде — своего рода награда.

Нельзя сказать, он, Пэпэша, удостоился сполна — по морде чтоб, нет, не дошло, сбили только шляпу. Но и это уже влило свежие силы, повернуло жизнь, открыло, так сказать, новые горизонты.

Сначала он жестоко страдал, даже слег от огорчения, метался в постели, взывал со страстью: «Стрелять! Всех стрелять!» Потом вдруг почувствовал непреодолимое желание действовать. Выйти на улицу и исполнить свое заветнейшее желание — «стрелять всех!» — он, разумеется, не мог, да, кстати, в жизни не держал в руках никакого оружия, кроме — некогда — авторучки. Но в муках и степенаниях скопившийся заряд энергии толкал к действиям.

Вот тут-то Пэпэша и ринулся в бой, схватился отвыкшими пальцами за авторучку.

Нет, нет, Пэпэша при всей своей подвижнической святости не верил в силу слова. «Сначала было Слово. И Слово было Бог». Нет, нет, Пэпэша свято верил в силу бумаги. Ключок бумаги, соответствующим образом заполненный, может стать всепробивающим снарядом. Умей только им выстрелить.

Многие неискушенные сразу же пытаются попасть в яблочко, то есть по самому большому на видимом обозрении начальнику, прилагают все усилия, чтобы выстраданная бумага непременно попала на высокий стол. Наивное заблуждение — бить прямо в яблочко! Могущественный начальник глянет краем глаза на упавшую со стороны бумагу, и наверняка в данную минуту на его высоком столе будет лежать целый ворох более важных, более неотложных бумаг. И начальник, скорей всего, небрежно подмахнет на твоей выстраданной бумаге нежелательную резолюцию: «Не принимать во внимание!» — или отодвинет локтем в сторону, а то и вовсе смахнет ее в мусорную кучу. Могущественному начальнику и такая небрежность прощается.

Никогда не бей прямо в яблочко, не стреляй бумагами по высокому начальству — непременно промахнешься. Бей вообще, с допуском, с охватом — в пужное учреждение.

Да, твоя бумага попадет на самое дно — к делопроизводителю или девице-секретарше с легкомысленными кра-

шенными поготками. Эта девица не доросла, чтобы самостоятельно решать — то-то важно, а то-то нет. Для нее все бумаги одинаково важны, каждую обязапа пронумеровать и занести в книгу. А бумаге со входящим номером, бумаге, оставившей след в учетных книгах, которые бережно хранятся, в которые время от времени запускается взыскательное око ревизора, дана путевка в жизнь. Ее уже не смахнешь небрежно в корзину, не похоронишь, ее надлежит рассмотреть, на нее отреагировать.

И реагируют — передают дальше. Всего чуть дальше, чуть выше секретарши, человеку, наверняка не облеченному большими правами. Он, конечно, нужным образом отреагировать не может, как не может и пренебречь, отмахнуться. Он пишет к твоей бумаге свою и передает еще дальше. Твоя бумага медленно — наберись терпения! — но уверенно ползет вверх, обрастая по пути другими бумагами, пометками, резолюциями, размашистыми подписями.

Дойдет ли она сразу, с первого захода, до того заветного, наибольшего пачальника? Маловероятно. Скорей всего, она наскочит где-то на полпути на некоег споровистого, который возьмет да и отреагирует на свой страх и риск не лучшим образом, но не отмахнется, не похоронит, даст ответ.

Тогда ты пиши новую бумагу, повторяй свое, упрекай, что не разобрались, укажи, где, в каком месте твоей первой бумаге дали обратный поворот, пожалуйся на того, кто это сделал. И твоей бумагой, вновь пронумерованной и занесенной в нужную книгу, будут вынуждены заняться снова, уже более высокий начальник...

В конце концов, всегда можно добиться при долготерпении, что твоя бумага ляжет на самый высокий стол. Но в каком виде! Не жалким клочком, а солидной папкой, со свитой других бумаг, отражающих длинное путешествие по трудным канцелярским дорогам. Кто осмелится смахнуть папку в корзинку для мусора? Не найдется храбреца.

Пэпэша прожил долгую, незапятнанную, службистскую жизнь, сживал и в пачальниках, пусть не в головокружительно высоких, но в достаточных, чтоб познать силу входящей бумаги.

Сейчас он решил использовать эту силу, не хватало дня, сидел ночами, отрывая время от сна, сочинял входящие бумаги: «Считаю своим долгом сообщить...»

...В городское управление милиции — на Охотсоюз: приютил некую организацию, устраиваются подозрительные собрания.

...В редакцию китежской газеты — на милицию: утратила бдительность, бездеятельна, разложилась, покрывает явных нарушителей порядка и тайных заговорщиков.

...В курирующие печать органы — на газету; раздувает в народе нездоровый ажиотаж, сеет идейный разброд и шатания, не злонамеренно ли сие, не попахивает ли идеологическим заговором?

...И на курирующие органы то же — «считаю своим долгом сообщить...» Есть куда! Есть о чем!

С Пэпэша сбили шляпу — вернули жизнь, вернули молодость! Что толку бессильно кричать в пустоту: «Стрелять! Стрелять! Всех стрелять!» Зреют заговоры! Раскрывай! Действуй!..

И что удивительно — Пэпэша не столь уж и ошибался. Один заговор зрел, совсем рядом, в каких-нибудь трехстах шагах от его дома, на Старом мосту. Одиноким человек вынашивал его сам в себе.

31

Пэпэша усиленно бодрствовал, а этажом выше добропорядочное семейство Кукушевых видело первые сны.

И верно, эти сны были не из радужных. Адриан Емельянович беспокойно ворочался, даже постанывал.

Его разбудил среди ночи дикий крик Полины Ивановны:

— А-а-а!!

Адриана Емельяновича выбросило из-под одеяла, дрожащими руками долго шарил по стенке, наконец нашел выключатель, зажег свет.

Полина Ивановна сидела на кровати, лицо, лишенное очков в железной оправе, казалось плоским, безглазым, на нем только раскрытый, черный, хватающий воздух рот.

— Поля! Поля! Что?.. Что случилось?

— О-он!

— Кто — он? Что с тобой?

— Опять он...

— Проснись, Поля!

Она передернулась всем телом и, похоже, пришла в себя.

— Дай мне очки.

— Зачем? Надо спать.

— Дай мне очки, я ничего не вижу.

Очки преобразили Полину Ивановну — тревожные, бе-

гающие глаза, блеклые тонкие губы в ниточку и нет привычно «дневного» выражения уныния.

— Вот и все,— тихо объявила она.

— Что — все, Поля? Что — все?! — Адриан Емельянович начал уже сердиться.

— Я пропала.— Тем же тихим голосом, обреченно, убежденно и даже как-то по-особому вдумчиво.

— Не разводи среди ночи! Спать! — прикрикнул Адриан Емельянович, стараясь показать, что в любое время суток он — глава и повелитель. Но это у него не очень-то получалось — трудно обрести повелительность, будучи облаченным в незабудочно-голубые трикотажные подштанники.

— Я ночью от него пряталась, он и тут меня нашел.

— Кто нашел? Что ты мелешь, Поля?

— Он... Сидоров.

— Ты спишь до сих пор!

— Раньше он только с утра накидывался... толпой на меня.

— Кто толпой?.. Сидоров?

— Да, он. Толпой... Тысячи писем... Китеж взбесился, все пишут, и только о нем: Сидоров! Сидоров! Сидоров! Толпы Сидоровых — и все на меня.

— Так сейчас-то хоть забудь его!

— Забудь?.. Я каждый вечер, уходя с работы, запираю свой кабинет на ключ и говорю себе: Сидоровы под замком, до утра не вырвутся, забудь их. Запираю, прячу ключ, выхожу на улицу и... встречаю его.

— Поля, давай спать.

— В автобусе — Сидоров, Сидоров, Сидоров! В магазине — Сидоров, Сидоров, Сидоров! Я сломя голову бегу домой, чтобы спрятаться от него.

— Поля, ну хватит же! Хватит!

— А дома?.. Он, этот Сидоров, словно горох, сыплется из тебя. Он, как из засады, выскакивает на меня из сына. И только ночью я наконец-то пряталась от него... в сон. Туда он не мог пробраться. И я отдыхала, я отдыхала...

— Поля!

— Он пробрался туда! Слышишь?!

— Поля! Поля! Какая ерунда! Пойми же — тебе приснилось.

— Он всегда был невидимкой, сейчас я увидела его! Он — маленький, тощенький, седой. У него квадратная голова и мешочки под глазами. У него большая печень...

— Очнись, Поля! Ты видишь меня, Поля? Это я! Поля! Это я! Очнись же!

— Он не страшный. Нет! Но с ним так неуютно!.. Я боюсь задохнуться... Мне душно!.. Душно! А утром... О господи! Он там, запертый, толпой... Куда спрятаться?! — Полина Ивановна бормотала, вся дрожа, и вдруг, изламываясь в спине, закричала негодуяще звонким голосом: — Он здесь!.. Он следит!.. Адриан! Адриан! Он здесь, мне душно! Прогони!..

И Адриан Емельянович выплясывал возле жены в незабудочных подштанниках, пытался обнять за плечи, успокаивал:

— Поля! Поленька! Ради бога...

Она выгибалась, кричала:

— Душно! Душно!! Гони его! Го-ни!!

На крик из соседней комнаты выполз сын, всклокоченный, опухший, таращащий сонные глаза.

— Чего она?..

— Поленька! Поля! Успокойся... Ты перебудуешь всех соседей... — Адриан Емельянович обрушился на сына: — Не стой столбом! Матери плохо. Найди в ящичке валерьянку!..

Через полчаса, напоенная валерьянкой Полина Ивановна лежала под одеялом и время от времени сильно вздрагивала.

Сын убрался в кухню, хмурый и озадаченный, курил сигарету за сигаретой.

Отец сидел в своих незабудочных кальсонах над засыпающей женой и сосал таблетку валидола.

Однако утром Полина Ивановна, одетая, как всегда, в костюм со старомодной — слишком длинной для мини, слишком короткой для макси — юбкой, с небрежно завязанным узелком жидких волос на затылке, со строгим блеском подслеповатых очков, отправилась на работу. Только зелень в лице напоминала о ночном происшествии.

А утро над градом Китежем вновь вызрело серенькое, невнятное. Снег, выпавший недавно, сошел весь. Мокрота проникла в глубь асфальта, в стены домов, стволы и ветви деревьев траурно черны, и воздух кисельно густ от

влаги. А небо... Небо настолько ровно и бесцветно, что задирай голову, гляди не гляди, ничего не увидишь — просто отсутствует. И день обещает быть столь же невнятным. Тысячи жителей в окоченевшем от сырости городе проживут его, не заметив, и уж пикогда потом не вспомнят. Такие дни рождаются, чтоб сразу, навсегда спрятаться в складках прошлого. Нельзя и представить даже, что в этот сумеречный кусок времени может полыхнуть озаренная гением мысль или кто-то загорится желанием совершить подвиг.

Но именно в глухоте и невнятности, когда никто не ждет ничего озаряющего, и рождаются преступления.

В это утро Самсон Попенкин выпивал план воистину нечеловеческой дерзости.

Даже волшебные сказки не допускают, что нетленный дух можно убить. Однако нынешняя действительность невероятнее сказок, старый газетчик Попенкин постоянно утверждал это, пришло для него время доказать слова делом.

Он, что называется, исходил из противного. Чтобы убить человека, надо выпустить дух из брэнного тела. А чтобы убить бесплотный дух, следует... втиснуть его в чье-то тело, не иначе.

Легко сказать: дух — в тело! Если вдуматься — задача грандиознейшая, до сих пор она по плечу была лишь самому господа богу. И вот Самсон Попенкин, не пасуя перед масштабами, замахивается на богово!

Правда, всевышний сперва создал тело человека, а уж потом вдохнул в него дух. Самсон Попенкин решил воспользоваться готовым материалом — каким-нибудь здравствующим жителем града Китежа. Нет смысла самому лепить сосуд, когда можно, так сказать, нагнуться, подпять его, использовать по назначению. Самсон Попенкин тут несколько облегчал себе задачу.

Господь бог сотворил человека в один день. В общем-то, Самсон Попенкин всегда осуждал любую поспешность, — не потому ли человечество страдает крупными недостатками, что было состряпано второпях. Но, наверно, у бога были свои веские причины действовать в сжатые сроки. Были они и у Самсона Попенкина, — с Петровым-Дробняком медлить нельзя, чуть заводишься — живо съест. Поэтому Самсон Попенкин решил, по примеру всевышнего, проверить операцию в один день.

В этот самый день, который начинался столь невыразительно.

Какими методами и вспомогательными средствами пользовался бог — священная история умалчивает. К услугам же Самсона Попенкина было испытанное, никогда не подводившее его средство — телефон!

Закрывшись в своем тесном — должностная щель! — кабинетике, Самсон Попенкин, не снимая пальто, набрал номер справочной:

— Барышня, необходим точный адрес некоего Сидорова, проживающего в нашем городе... Что известно о нем? Да ничего, кроме того, что его имя начинается на букву «И»... Мало ли что Сидоров не точный, а адресок-то извольте точнейший отпустить... А вы продиктуйте мне адреса всех И. Сидоровых, а я запишу...

Принято считать, что самая распространенная фамилия на Руси — Ивановы. Петровым принадлежит второе место, Сидоровым — третье. Но статистические, сугубо научные данные опровергают это всеобщее заблуждение. Первенство держат Смирновы, за ними следуют Кузнецовы. Ивановы, дай бог, на третьем, если не дальше. А Сидоровы вообще оттеснены за пределы десятка.

Поэтому улов И. Сидоровых оказался небогатым. Из многонаселенного города были выужены всего три адреса. Один Сидоров с инициалом «И» жил рядом с редакцией — в Старо-Соборном тупике. Второй не близко и не далеко — на Конармейской улице, бывшей Живодерке. Третий — у черта на куличках, на Девичьем полустанке, в китежских Черемушках.

Самсон Попенкин скорбно вздохнул над коротеньким списочком, сунул его в карман, надел шляпу и вышел на охоту за богосозданным Сидоровым. Бренное тело Сидорова должно стать усыпальницей великого духа Читателя Сидорова.

33

Он побывал по всем трем адресам, даже на Девичьем полустанке, в китежских Черемушках.

Один И. Сидоров оказался чем-то вроде номинальной штатной единицы — в списках числился, на деле отсутствовал. Он давно уже учился в Москве, в Китеж, похоже, даже и не собирался наезжать.

Другому И. Сидорову на днях должно исполниться девяносто лет — лежал пластом, не мог двигаться, был почти слеп и совершенно глух, к тому же он и в годы моло-

дости не отличался грамотностью — умел выводить лишь свою фамилию. Явно не тот.

Пришлось остановиться на И. Сидорове, который проживал на бывшей Живодерке.

Нельзя сказать, чтоб и этот идеально походил для высокой усыпальницы. Не могло же не насторожить Самсона Попенкина, что отыскал-то он свою жертву не дома, не по месту работы (автотранспортная контора номер пять), а в пивном баре напротив, где Сидоров Иннокентий Павлович, по прозвищу Кешка Гусь, проводил большую часть рабочего дня.

В старом пальто с надорванными карманами, в кепке, надвинутой на глаза, не то чтобы с хмурым, но несколько недоверчивым, себе на уме лицом, отягощенным излишне твердым, как каблук армейского сапога, подбородком, с сутуловатой выправочкой, красноречиво выражавшей: «Ну, чего тебе?»

Другой бы на месте Самсона Попенкина, пожалуй впал в панику — уломать такого громилу, прячущего в надорванных карманах увесистые кулаки! Да еще каких взглядов придерживается этот Сидоров-Гусь? Скорей всего, его идейные убеждения крайне противоположны тем, которые собирается внушить ему Самсон Попенкин.

Но Самсон Попенкин еще в молодые годы, в бытность репортером, умел, как пикто, мастерски совершать так называемые, «интервью со взломом». Его направляли на самые неприступные, на самые замкнутые объекты, к подозрительным личностям с двойным дном, кому было что прятать. И всегда Самсон Попенкин находил отмычку, вскрывал, раскалывал, вламывался в тайпики человеческой души, заставляя показывать скрытое.

И сейчас он наметанным глазом уловил трещинку в монолитном объекте с излишне волевым подбородком. Этот Сидоров-Гусь боится его, представителя известной газеты, за ним — можно поручиться — существуют грешки, которыми интересовалась даже милиция. Трещинка есть, а уж расколоть ее дальше — зависит целиком от умения. Самсону Попенкину нравились рискованные операции, больше того — они вызывали у него трепетное вдохновение. Эх, если б не подпирало время, он, Самсон Попенкин, провел бы предварительную разведочку, уточнил, чем именно грешил этот Гусь, сколько раз попадал на прицел блюстителей порядка. Но времени, увы, нет, действуя без подготовки.

И Самсон Попенкин начал действовать — с располагающей улыбкой, воплощенная любезность,

— Иннокентий Павлович, я нисколько не сомневаюсь, что вы внимательно следите за нашей газетой.

— Не безграмотный. И газетки почитываем, и все прочее.

Не столь опытный репортер непременно поставил бы под сомнение ответ Сидорова-Гуся: «Заливай, сукин сын, так, мол, я тебе и поверил. По морде видать, как ты начитан». Но Самсон Попенкин хорошо знал, сколь обманчива бывает человеческая внешность. Этот Сидоров-Гусь свои духовные силы растрачивал вовсе не на слесарно-ремонтные работы в автотранспортной конторе помер пять, а вот в таких, более чем скромных, забегах за кружкой пива. А нельзя проводить целые дни напролет за пивной кружкой и молчать. Без приятной беседы — известно всякому — не тот вкус пива и никакого удовольствия от проведенного времени. А беседа приятна только тогда, когда ты оглушаешь собеседников своими знаниями, своей осведомленностью. Их черпают в первую очередь — из газет, и не только из газет.

Никто не подсчитал, сколько по забегам скрывается незримых миру знатоков? Кто не сталкивался с заведомыми, со стопом читающими не только «Русь кабацкую» Сергея Есенина, но и всего этого поэта «насквозь». Но бывают и уникалы. Например, года три назад в китежских пивных еще можно было столкнуться с человеком неприметной наружности и неопределенных занятий, который шарил наизусть не Есенина и не старозаветного «Луку», а солидного философа-идеалиста Шопенгауэра, познавшего секреты «Житейской мудрости», — где он только такого выкопал? Его — от корки до корки! Из слова в слово! Ну, а знатоков международного положения, кладущих на лопатки и Никсона, и Помпиду, и Голду Мейер — господи! — да чуть ли не каждый такой, кто сдувает на пол пивную пену. Это уж, так сказать, тот политминимум, без которого за версту обходи места, откуда тянет бражным духом. А Иннокентий Сидоров-Гусь наверняка по-забежовски образован. Скорей всего, даже высоко.

— И о письме читателя Сидорова вы, конечно, многое можете сообщить.

— Свое мнение имею.

— А именно?

— Ну да, так я его вам и выложил.

— Э-э, я пива заказать забыл. Пропустим по кружечке?

— Не в пиве дело — в принципах! У вас она загнулись не на ту сторону.

Как и следовало ожидать, Сидоров-Гусь оказался закаленным бойцом забегаловок.

— Неужели ваши личные взгляды, Иннокентий Павлович, отличаются от тех, что высказаны в письме? — Вопрос с изумлением и смиренностью.

— Сравнили «московскую» с квасом.

Настало время нанести удар.

— Иннокентий Павлович! — с пужной торжественностью произнес Самсон Попенкин. — Что заставляет вас быть столь двуличным?

У Сидорова-Гуся дрогнул излишне волевой подбородок.

— Виляете, Иннокентий Павлович! Не знаю только — зачем?

Но Сидоров-Гусь быстро пришел в себя:

— Вы меня на понт не берите! Не из таковских, не испугаюсь!

— У нас есть веские основания считать, что ваши взгляды, Иннокентий Павлович, полностью... полностью!.. совпадают с письмом, опубликованным нашей газетой.

— Эва!

— И вы прекрасно знаете — почему!

— Чего вы со мной в жмурки играете? Говорите уж напрямки.

— Нет, Иннокентий Павлович! Нет! Ваша очередь говорить прямо.

— Ишь, ловчило. Сам чегой-то выплясывает, а на меня пальцем кажет. Разберись, поди.

— Вспомните, Иннокентий Павлович, кто автор того напумевшего письма?

— Ну, помню. Тоже какой-то Сидоров. С нашей фамилией только только собаки по городу не бегают.

— Ошибаетесь. В нашем городе всего три И. Сидорова.

— Ну и что? Мне-то какое дело.

— Один из этих Сидоровых живет в Москве, здесь только числится. Второй — древний старик, второй год не подымается с постели, грамоты почти не знает, газет не читает...

— Мне-то какое...

— А третий И. Сидоров — это вы! — с металлом в голосе объявил Самсон Попенкин.

— Слушай, ловчило,— рассердился Сидоров-Гусь.— Что ты от меня хочешь?

— Истины!

— Чего-о?..

— Иннокентий Павлович, у нас есть все основания подозревать, что вы автор знаменитого письма.

Сидоров-Гусь минуту-другую стоял с отвалившейся — столь волевой! — челюстью, стоял и заворуженно помаргивал, наконец подал слабые признаки жизни:

— Н-ну, дела-а!

— Учтите, Иннокентий Павлович, мы пользуемся только проверенными сведениями.

— Я, как его... автор! Н-ну, забавники...

— Может, вы укажете нам на другого, скрывающегося Сидорова?

— Да идите вы!.. Не знаю и знать не хочу никаких скрывающихся!

— Вот и мы так считаем — других нет, вы единственно возможный Сидоров.

— Считайте. Только не писал я... В жизни не случилось. Эва, навесили!

— Отказываетесь?

— Отказываюсь!

— Решительно?

— Да уж само собой.

— Тогда... — Самсон Попенкин посуровел. — Нам придется кой-кого попросить, чтоб выяснили.

— И выясняйте себе... Без меня.

— В первую очередь выяснять будут, Иннокентий Павлович, кто вы такой, чем вы дышите?

Самсон Попенкин не ошибся — Сидоров-Гусь послал в себе трещинку, сейчас она с хрустом подалась, раскалывая этот кряжистый характер. Некоторое время Сидоров-Гусь темнел лицом и молчал, затем попробовал вильнуть в сторону:

— Да может, вовсе никакой не Сидоров написал вам, может, кто-то Сидоровым подписался?..

— Тем более следует выяснить.

Что можно на это возразить? И так — выяснение, и — эдак. А именно их-то и хотел избежать Сидоров-Гусь.

— Но не писал же!.. Не писал ничего!.. Не наговаривать же на себя, когда не было!

Самсон Попенкин, поскучнев лицом, взял шляпу со столика:

— Упрямы вы, однако... Всего хорошего.

— Стойте!

Сидоров-Гусь окончательно треспул — и вдоль, и поперек.

— Да или нет? В последний раз!.. — сердито спросил Самсон Попенкин, держа на весу шляпу.

— Вот и знай, где влипнешь...

— Я спрашиваю вас: да или нет? Мне некогда, товарищ Сидоров, толочь воду в ступе.

— Ну, скажу — да, тогда что?

— Ничего. Покажетесь вместе со мной в редакции, вернетесь обратно целым и невредимым. Важно знать, что вы есть вы. Больше нам от вас ничего не надо.

— А вдруг да тот Сидоров объявится?..

— Какой — тот? — Самсон Попенкин охладил строгим взглядом. — О чем вы?

И Сидоров-Гусь увял. Собственно, «интервью со взломом» на этом победно закончилось.

Самсон Попенкин вежливо приказал:

— Зайдем сейчас к вам домой. Вы побреетесь, наденете свежую сорочку, галстук. Неудобно в таком непотребном виде знакомиться с главным редактором.

34

А тем временем главный редактор Крышев, как это ни невероятно, занимался примерно тем же, что и Самсон Попенкин, — готовил бомбу... да, да, чтоб убить дух Читателя Сидорова! Правда, добрейший Илья Макарович и не подозревал, что собирается свершить убийство.

Он был охвачен паническим ужасом, — Петров-Дробняк с его помощью становился хозяином положения. С приступочки на прилавочек, с прилавочки на припечечек... Старый ухарь, размахивая именем Сидорова, как дубиной, уже сейчас держит его в страхе божьем, станет держать до тех пор, пока он, Илья Макарович Крышев, не освободит хозяйское место. С приступочки на прилавочек...

Сидоров... До сих пор Илья Макарович старательно прятал от самого себя лезущие сомнения. Сидоров... Он как-то вдруг выплыл из небытия, подозрительно неожиданно и подозрительно вовремя; его письмо появилось, как по заказу, в нужный момент, написано хлестко и сноровисто, не каждый-то газетчик, набивший руку на сочи-

нительстве, такое выдаст. И подлинника письма никто и в глаза не видел,— перед Ильей Макаровичем это письмо легло уже в оформленном виде, с редакционной «собакой»...

Сидоров... Подозревать его — можно обжечься. Он с ходу стал авторитетен, а тут уж сомневаться и вовсе опасно, наоборот — спеши превознести, успеи поклясться в верности. Но сейчас Илья Макарович затравлен, терять ему нечего, и, как красный зверь, обложенный со всех сторон, он почувствовал прилив безумной храбрости, решил броситься на охотника. Сидоров... Им размахивает Петров-Дробняк. Надо доказать — помыслить жутко! — нет Сидорова, пустота, подлог!..

Это бомба, взрыв которой сотрясет весь Китеж сверху донизу, контузит Петрова-Дробняка.

Конечно, в другое время Илья Макарович поостерегся бы,— бомба не игрушка, сам можешь оказаться под обломками. Но — с приступочки на прилавочек, с прилавочка на припечечек... — не смей медлить!

Илья Макарович решил на террористический акт — бросить бомбу!

Он снял трубку, набрал нужный номер:

— Полина Ивиповна, Крышев говорит... Да, Крышев. Зайдите ко мне сейчас... Да, да, вы! Да, да, сейчас, немедленно!

Измученная Полина Ивановна воевала с Сидоровым, утопая в читательских письмах.

И вот звонок... Она пятнадцать лет трудилась в отделе писем, за эти годы сменилось немало главных редакторов, и никому из них не приходило в голову пригласить ее к себе на беседу. Не на совещание через секретаршу, не в компании с другими сотрудниками — персональное приглашение: «Сейчас! Немедленно!»

С красными пятнами на помятых щеках, с остекленевшими под железными дужками очков глазами Полина Ивановна предстала пред Крышевым.

— Садитесь,— вежливое, по настораживающее.

На нее уставились сразу две физиономии — невеселая, с подсиненными подглазницами Крышева и широкая, мутно гладкая, таинственно невозмутимая, никогда не загорающегося телевизора.

— Мне срочно нужен оригинал письма товарища Сидорова,— с ходу, без обиняков, с устрашающей простотой и любезностью заявил Илья Макарович.

Полина Ивановна молчала, цвела красными пятнами,

слышала каждое слово и не смела верить тому, что слышит. Мутное око-физиономия угрожающе бесстрастно взидало на нее из-за плеча любезного до сердечности Ильи Макаровича Крышева.

— Вы слышите, Полина Ивановна? Оригинал...

— Слышу.

— Он у вас?

— Нет.

— Где же?

— Не знаю.

— А кто должен знать?..

Полина Ивановна не глядела на Илью Макаровича, ее топил своим взглядом, дымчатым до угара, телевизор. И тяжело дышалось, и стул под ней слегка покачивался, словно лодка на морской волне.

— Может, он у Попенкина? — подсказал Илья Макарович.

— Не знаю.

— Вы его видели, это письмо?

— Не знаю.

— Как это понять?

— Не помню никакого письма.

— У вас ведется учет приходящих писем?

— Да.

— Принесите мне книгу регистраций приходящих писем и укажите, где оно зарегистрировано.

— Нет...

— То есть как это нет?

— Нет этого письма...

Чадный взор телевизора окутывал ее, и легонько качало, словно в море на малой волне.

— Прекрасно. Не помните, нет, не зарегистрировано! Вы сейчас напишите мне подробное объяснение: письмо Сидорова вам в отдел не приходило, приложите к объяснению соответствующие выписки из регистрационной книги. И к концу рабочего дня вы мне... Мне! Не через секретаршу!.. Из рук в руки!.. Идите, Полина Ивановна.

А Полине Ивановне не хотелось вставать, от чадного взгляда телевизора у нее начала болеть голова, болеть и кружиться.

— Полина Ивановна! Время не ждет. Идите!

И она с усилием поднялась, пошатнулась, но удержалась, волоча ноги, послушно двинулась к двери. У дверей она задумчиво обернулась:

— Илья Макарович...

1

— Что? — подобрался Крышев.

— Вы не замечали — письма похожи на людей...

— Н-не понимаю.

— Я знаю, как выглядит письмо Сидорова. Честное слово. Хотя в жизни его ни разу не видела. Маленького роста, с квадратной головой, мешочки под глазами... У него больная печень, Илья Макарович.

— О чем вы, право? Н-не пойму.

— Он даже стал приходить ко мне ночью, Илья Макарович...

— Полина Ивановна, на вас лица нет. Что с вами?

— Я устала... Я так устала...

Полина Ивановна толкнула дверь и вышла.

Илья Макарович не успел еще прийти в себя, как из коридора донесся дикий вопль.

35

Самсон Попенкин ввел в стены редакции побритого, повязанного галстуком, конфетно пахнущего туалетным мылом «Земляничное» Сидорова-Гуся в тот самый момент, когда Илья Макарович Крышев вызвал к себе Полину Ивановну.

Нет, Самсон Попенкин не повел новоявленного автора сразу в кабинет главного редактора — рано! Для начала высокий гость должен был посетить одну из самых больших достопримечательностей редакции — окошечко кассы при бухгалтерии.

— Вам выписан скромный гонорар за вашу публикацию, — пояснил Самсон Попенкин.

— Но... — начал Сидоров-Гусь, давно уже лишившийся былой самоуверенности.

— Опять — но? — ледяным голосом оборвал Самсон Попенкин. — В вашем распоряжении две минуты. Выкладывают! И не советую повторяться.

Однако и этих двух жалких минут уже не имел Сидоров-Гусь. Он уже стоял перед окошечком кассы. За ним сидела почтенного вида женщина, широко известная среди китежских журналистов Зоя Митрофановна — многолетний кассир газеты.

— Паспорт разрешите, — коротко потребовала она.

Зоя Митрофановна — живое олицетворение законности и порядка. Зоя Митрофановна, никогда и никому не верящая на слово, — только документам. Зоя Митрофановна,

никогда не ошибалась, ибо кассир, как сапер, ошибается в жизни только один раз.

Она взгляделась в протянутый паспорт, доверчиво протянула чек, изрекла:

— Распишитесь: сумма прописью, число, фамилия.

И перед товарищем Сидоровым, в чьей подлинности ни на йоту не усомнилась сама Зоя Митрофановна, легли деньги. Нет, нет, очень скромные — тринадцать рублей и тридцать две копейки.

Сидоров-Гусь всю жизнь жестоко страдал самой распространенной в мире болезнью — хроническим безденежьем. Вся жизнь его была заполнена одним стремлением, одним неизменным и страстным желанием — сорвать лишний рубль, выколотить лишний гривенник. Даже прозорливый Самсон Попенкин, похоже, не догадывался, что эта неистребимая страсть толкала порой Сидорова-Гуся — увы, не на подвиги — на попрошайничество: «Эй, парень, одолжи пяточок на автобус, на мели оказался!» К прохожим на улице, к тем, у кого рожа попроще, глаза добрей. С четырех лопухов по пяточку, да две копейки свои — кружка пива! И вот даже этот Сидоров-Гусь, не брезговавший пяточками, невольно отклонился от предложенных денег:

— Но...

Сидоров-Гусь отклонился и встретил чистый, открытый, вопрошающий взгляд Зои Митрофановны.

— Что-нибудь не так? — спросила она.

— Нет! — хрипло ответил Сидоров-Гусь. — Все верно, мамаша. — И дрогнувшей рукой вынужден был подгрести деньги.

А как можно от них отказаться? Подойти к кассе, вынуть паспорт, расписаться в получении и... не взять деньги. Возможна ли вообще такая нелогичность поведения? Бывал ли на свете когда подобный случай? Поступи так Сидоров-Гусь, честнейшую Зою Митрофановну, наверное, хватил бы апоплексический удар.

Сидоров послушно спрятал деньги и понял: дело вовсе не в тринадцати рублях с копеечками, а в его подписи. Своей подписью он сейчас удостоверил — не только настырному газетчику Попенкину, не только пожилую симпатичную кассиршу, — а всю великую державу, что он — не кто иной, как тот самый Сидоров, автор нашумевшего по городу читательского письма.

Свершилось! Великий дух Читателя Сидорова окончательно сросся с брэнной, весьма заурядной по размерам и

достоинству человеческой плотью. Беспристрастнейшее лицо, исполняющее государственную службу, кассир Зоя Митрофановна, документально скрепила это знаменательное бракосочетание. Самсон Попенкин был заинтересованным свидетелем. Поздравления и торжественные речи отсутствовали.

В вековой бурной истории града Китежа постоянно происходили убийства — на плахах, на дыбах, в каменных мешках, ножом от руки брата, кистенем на темной дороге, подушкой в княжеских палатах — несть числа их многообразию! Но никогда еще не случалось столь чистенького, никоем образом не кровавого, изящного убийства. Погиб могучий дух; остался всего-навсего читатель Сидоров, несколько не таинственный, отнюдь не могучий — слесарь-ремонтник из пятой автотранспортной конторы, увлекающийся посещением заведений «Росглавпиво». Кому теперь придет желание размахивать столь ординарным именем. У грозного рыцаря Петрова-Дробняка выбито из рук оружие.

Но духи, как и люди, погибают не сразу, а в корчах и конвульсиях.

Новоявленный автор спрятал в карман полученные деньги...

А в это время Полина Ивановна, толкнув дверь, вышла из кабинета главного редактора...

А по редакционной лестнице ступенька за ступенькой подымался с одышкой человек, почтенно пенсионного вида, с лицом самосожженца, — Пәпәша, несший в редакцию одно из своих заявлений: «Считаю своим долгом сообщить...»

36

Полина Ивановна вышла из кабинета, вся натянутая, с очками, нацеленными в некую даль, с горячечными пятнами по всему лицу. Она вышла и наткнулась на Самсона Попенкина.

— Полина Ивановна, познакомьтесь, — с тонкой победоносной улыбкой остановил ее Самсон Попенкин. — Это товарищ... Сидоров. Да, да, тот самый.

Полина Ивановна споткнулась, Полина Ивановна замерла, она странно вспыхнула, затем начала бледнеть, распахнутые глаза за стеклами очков стали медленно наливаясь тяжелым погребным мраком. Перед ней стоял

дюжий муж с навешенным квадратным подбородком, слегка подзадушенный коротким галстуком, карамельно благоухающий земляничным мылом. И Полина Ивановна откачнулась, издала вопль:

— Н-не-ет!! Н-не-ет!!

Вопль потряс стены редакции, и все двери отделов пришли в движение.

— Н-не-ет!! Не-ет!! Спасите меня!!

Самсон Попенкин кинулся к Полине Ивановне, но та с силой оттолкнула его, закричала надрывнее:

— Н-не под-хо-ди-те!! Не он!! Не похож-ж!!

Из всех дверей выскакивали люди и застывали немотпо-недоуменными вопросительными знаками вдоль коридора. Маленький, верткий Самсон Попенкин насккивал на Полину Ивановну, но каждый раз отлетал в сторону. Полина Ивановна продолжала кричать:

— Вы подменили-и!.. Подмени-ли-и!.. Не он!! Не Сидоров!!

Выполз из своего кабинета и сам Крышев Илья Макарович, прижался бочком к спасительной стеночке.

— Ищите Сидорова!.. Не он!!

На помощь к отчаянно насккивающему Самсону Попенкину двинулись молодые, дюжие литсотрудники, стиснули Полину Ивановну, а та вырывалась и вопила:

— Не он!.. Тот прячется!.. Берегитесь!! Берегитесь!! Берегитесь!!

А Сидоров-Гусь, только что ставший читателем Сидоровым, багровый и потный, полузадушенный галстучком, с отвалившимся волевым подбородком, убито сутулился, навесив к коленям тяжелые руки.

И тут открылась входная дверь... Дверь открылась, и в переполошенный коридор вступил Пэпэша, скромный пенсионер, жаждущий подвижничества. Никем не замеченный он сделал несколько шагов и остановился, узрев сутулящегося Сидорова. На морщинистом челе страсто-тернца Пэпэша угрожающе набухла вена, темная старческая кровь ударила в лицо, оно стало сине-багровым, глаза яростно побелели. Он вскинул узловатый палец на Сидорова, и в крики обезумевшей Полины Ивановны врезался его визгливый вопль:

— Вот о-он!! Во-от!!

— Не тот! Не тот! Не он!!— билась в крепких литсотруднических руках Полина Ивановна.

— О-он!! — надрывался Пэпэша.— О-он!! Хулиган! Бандит!..

— Пустите меня!! Пустите!! Ищите настоящего!!
— Здесь не место!.. Не место хулигану! Прочь! Прочь гоните!!
— Это не тот!! Настоящий прячется! Ищите! Ищите!
— Он настоящий!.. Да, да, бандит!! Рукоприкладствует на улицах!!
— Спасайтесь от Сидорова!! Спасайтесь все!!
— Он меня чуть не задушил! Свидетельствую!! Гоните его!!

Два голоса одинаково надрывных — дружный дуэт сумасшедшей и подвижника.

Духи, как и люди, умирают в конвульсиях...

И среди раздававшихся воплей никто не смог услышать, как вновь вкрадчиво скрипнуло колесо китежской истории.

37

На этот раз колесо истории, похоже, крутануло в обратную сторону.

Полипу Иванову увезли на вызванной по телефону машине «скорой помощи». Сгоряча хотели туда же впихнуть и впавшего в подвижнический раж Пэпэша, но он успел прорваться в кабинет к главному редактору и стал самозабвенно доказывать, что Сидоров — известный хулиган, недавно получивший пятнадцать суток за рукоприкладство... Пэпэша успокоили и выпроводили подобра-поздорову.

После этого наступила удивительная, освобождающая тишина. Все начало мало-помалу становиться на прежние места.

Сидоров-Гусь, с таким шумом ставший читателем Сидоровым, раньше всех смылся из редакции... в ближайшую пивную, чтоб там перевести дух и философски осмыслить пережитое.

О нем навели справки в милиции и выяснили, что действительно — был призывом, и не единожды, получал по пятнадцать суток. А уж после этого упоминать имя Сидорова в любом виде просто даже неприлично, следовало делать вид — такого вообще нет и не было. Не было Сидорова, значит, не было и проблемы загрязнения реки, не существовало и статьи Лепоты на эту тему.

Петров-Дробняк, так лихо вскочивший на приступочку, целившийся скакать и дальше, должен был отступить.

Колесо истории крутануло вспять...

Кто знает, получил ли Илья Макарович Крышев нарекания и выговоры, если и получил, то строго конфиденциально, и это не отразилось на его служебном положении. Он с прежним усердием несет в газете нелегкое бремя внешних сношений, а колесо внутренней жизни, как и раньше, крутит Самсон Попенкин. Если надлежит забыть Сидорова, то логично предать забвению заблуждения и опрометчивые поступки всех, кто был с ним как-то связан.

Кто старое вспомянет — тому глаз вон! Воистину так.

Дым, шум, вихри враждебные — все развеялось, улеглось. Жизнь потекла в прежнем русле, как течет по-прежнему и речка Кержавка через славный град Китеж к озеру Светлояру.

1977

Покушение на миражи

РОМАН

Из непроглядных временных далей течет поток рода людского, именуемый Историей. Он песет нас через наше сегодня дальше, в неведомое.

В неведомое? Ой пет, не совсем! Далекое проступает уже сейчас, только надо уметь его видеть — великое через малое, в падающем яблоке — закон всемирного тяготения.

Кто в 1820 году обратил внимание на сообщение Эрстеда, что стрелка компаса резко отклонилась к проволоке, по которой пропущен ток?.. Людей тогда волновала судьба Наполеона, доживавшего последние дни на острове Святой Елены, убийство герцога Беррийского. А стрелка компаса... экая, прости господи, чепуха. Но от нее вздрогнула История, началась новая промышленная эра, электричество вошло в жизнь и изменило ее, изменился мир, изменились мы сами.

А щепотка урановой соли, случайно засветившая фотопластинку Беккереля... А «безумные» прожекты скромного учителя из Калуги — вырваться из объятия Земли!..

Течет поток рода людского. Куда? Какие силы гонят его? Безвольные ли мы рабы этих фатальных сил, или у нас есть возможность как-то их обуздать? Мучительные вопросы бытия всегда вызывали страх перед будущим. Он прорывался в легендах о всемирном потопе, хоронящем под собой человечество, в кошмарах откровения от Иоанна, в жестоких расчетах Мальтуса. И хотя активная жизнедеятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судьбы не исчезала и загадки бытия не становились менее мучительными.

Чем дальше, тем меньше человек зависел от внешних сил, тем сильнее он ощущал — опасность кроется в нем самом. Не кто-то и не что-то со стороны больше всего мешает жить, а непреходящая лютая взаимонесовместимость.

И мы теперь острее, чем прежде, осознаем, что между обыденно житейскими конфликтами иванов ивановичей с иванами никифоровичами и глобальными катаклизмами мировых войн существует глубинная связь, то и другое — нарушение общности.

Разобщенности же во все времена противопоставлялась нравственность. Испокон веков на нее рассчитывали, к ней неистово призывали. Но мы уже устали от громогласных призывов, по-прежнему не уверены ни в себе, ни в своем будущем. Куда занесет нас бурное, все ускоряющееся течение Истории, в какие кипучие пороги, в какие гибельные омуты?..

Грядущее проступает уже сейчас: в малом — великое! Как разглядеть его неброские приметы? Приметы надвигающейся опасности, приметы обнадеживающие и спасительные. И прежде всего приметы возрождающейся нравственности, без нее немыслима жизнь.

Будущее проступает уже сейчас — такова особенность развития. Чтобы уловить робкие приметы этого будущего, надо, как ни парадоксально, вглядываться назад, в истоки нынешнего. Только тогда можно понять, как оно изменчиво и куда эта изменчивость приведет. Грядущее проглядывается через прошлое.

Несет время род людской, позади, по реке Прошлого, в фарватере Истории, остаются человеческие маяки. Каждый что-то собой отмечает. По ним легче всего ориентироваться. И следует ли отворачиваться от их архаического света, если даже он и кажется нам иллюзорным?

СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ

О несвоевременно погибшем Христе

Перед вечером море Галилейское замирает: волны отбегают от оглаженных валунов, обессиленно лежат на гальке, лишь бесшумно вздыхают. По берегу красные, прокаленные скалы рвутся из сочной зелени, над ними сведенные судорогой сосенки обнимаются с жирными олеандрами.

Вспыхивают весла на солище, гонят неуклюжую рыбацью барку. Путь недалек, в ближайший городишко Вифсаиду, он уже виден впереди — по склону лепятся друг над другом плоские крыши и клочковатые садики. В барке десяток мужчин, рыбаков из Капернаума. На носу в

прямой посадочке человек — тщедушен, опален солнцем, закутан в длинный выгоревший плащ. Он недавно появился в этих местах и вызвал шум. Мария из Магдалы, которую он вылечил от бесноватости, бегала по побережью и громко славila его имя.

По земле Палестинской издавна бродили пророки, вещающие надежды, грозящие гибелью. Теперь их едва ли не больше, чем в старину. Тетрарх Ирод-Антипас только что отрубил голову пророку из Иудеи Иоанну, жившему в пустыне, носившему верблюжью власяницу, крестившему водою из Иордана. Во всех концах страны ропщут на Антипаса. А рядом в беспокойной Самарии объявил себя мессией некто Досифей, столь свято соблюдавший благочестие, что совсем отказался от пищи, ходят слухи — то ли помер от голода, то ли все-таки еще нетленно жив. Досифей много, и все они шумно славят учителя. И вот новый пророк — пришел сейчас из Иудеи, встречался там с Иоанном, родом же, однако, из Назарета.

Назарет близко, день пути и того не будет. И вошел он в поговорку: «Не жди из Кесарии привета, а путного из Назарета». В богатой языческой Кесарии сидит римский прокуратор, а в Назарете живут крикуны и путаники. В Капернаум этот назаретянин вошел тем не менее с толпой, ребяташки бежали впереди и кричали петушиными голосами:

— Осанна! Осанна!..

Пророк шел по берегу легким, прыгучим шагом и неожиданно остановился. В воде выбирали сеть в лодку братья Иоповы — Симон и Андрей. Запутавшаяся рыба жгуче вспыхивала под низким солнцем.

— Идите со мной, — сказал пришелец, — ловцами человек веков сделаю вас.

Старший из братьев, Симон, сурово посмотрел на пророка, стоящего на берегу. Тот был неказист на вид, мал ростом, длинная одежда мешковато спадала с узких плеч и лицо худое, темное, с перекошенным носом, но красила его улыбка и взгляд черных блестящих глаз был прям и весел.

— Кто ты? — непочтительно спросил Симон.

— Сын Человеческий.

Симон молча взялся за весла, подгреб к берегу.

Теща Симона в тот вечер болела, жаловалась на голову. Гость паложил ей на темя руки, поговорил, снял боль, та сразу повеселела, стала собирать на стол.

Братья Иоповы совсем недавно перебрались сюда из Бетсаиды, привезли с собой педобрую славу — согрешили в субботу. Пророк не только сел с ними за стол, но и посадил еще подобранного на дороге мытаря Матфея-Левия сына Алфеева. Нет презренней службы, чем мытарь — сборщик податей: бродячие псы, они охраняют Иродовы законы, нарушают Моисеевы — дерут мзду со всякого, степенного и богатого не пропускают, бедного не милуют.

Бен-Рувим, человек благочестивейший и очень ученый, пе переступив порога, укоризненно заговорил в распахнутую дверь:

— Разве ты не знаешь — не сядят фиговое дерево среди лозы и злак среди осота? Что они родят тогда?

— Тебе не правится, с кем я сижу? — спросил пророк.

— Зовешь себя Сыном Человеческим, а сидишь с грешниками и мытарями, ешь с ними хлеб, пьешь вино!

Сын Человеческий усмехнулся:

— Не здоровые имеют пужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников.

И пе только сидящие за столом удивились, в толпе, стоящей за спиной Бен-Рувима, раздалось:

— Авва!..

А в стороне от всех несмелой тенью качался под звездами убогий Маной. У него плетью висела правая рука, и был он кожевник и давно уже не занимался своей работой. Он слышал, что назаретянин исцеляет, об этом кричала бесноватая Мария из Магдалы. Маной хотел просить исцеления, но пе смел тревожить пророка.

В конце субботнего дня, как всегда, собирались в синагоге. И Бен-Рувим решил здесь уличить нового пророка. В синагоге он был хозяином, даже хазан, престарелый Манасий, сильно робел перед ним. Кроме того, Бен-Рувиму донесли: утром пришелец, называющий себя Сыном Человеческим, ходил с учениками по полям, и заметили — кой-кто из них походя срывал колоски. Да, да, в день субботний!

Для сынов израилевых нет более святой, более вечной заповеди, чем четвертая заповедь из тех, что переданы Моисею Иеговой: «А день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Антиох Енифаа — да будет проклято имя его! — запретил евреям

праздновать субботу, грозил лютыми казнями. И евреи уходили в пещеры, там праздновали. Однажды отряд, посланный Епифаном, наткнулся в пустыне на идущих отметить день покоя. Многие из евреев были вооружены, но ни один даже не коснулся меча — подставляли головы и умирали, лишь бы не осквернить субботу. Меч, поднятый в защиту, — тоже работа, а потому все до единого полегли, остались верны Закону.

Сорвать колосок в поле, пусть даже и невзначай, — малый, но труд, грех перед благочестием. И в синагоге Бет-Рувим напомнил перед всеми слова Моисеевы:

— Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти.

Он устремил взгляд в сторону, где в окружении учеников сидел назаретянин, посмевавший называть себя Сыном Человеческим.

— Ответь нам, прохожий: правда ли, те, кого ты учил, нарушили сегодня субботу, рвали на поле колосья? Ответь, но остерегись спасти себя ложью!

Назаретянин встал, и тишина нависла над ним. Не все глядели на него с враждой. Кто не без греха: сорвать колосок — малость, случится, и не заметишь, но с субботой не шутят. Малое может обернуться большой бедой. Назаретянин медленно двинулся к кафедре, невысокий, большоголовый, в тяжело обвисшем, собравшем пыль иудейских дорог плаще, босые ноги мягко ступают по каменным плитам.

Он не дошел до кафедры, развернулся лицом к людям. И люди затаились, лишь задние тянули шеи. Лицо пророка было спокойно и строго, глаза блуждали по собравшимся, и те, на ком они задерживались, смущенно отворачивались.

На самом заднем ряду сбоку на скамье пристроился Маной, здоровой рукой покоил на коленях мертвую руку, взгляд его был тоскующе влажен, как у овцы, отбившейся от стада. Назаретянин кивнул ему, позвал внятно:

— Иди сюда!

Маной вздрогнул и не посмел двинуться.

— Иди!.. Стань на середину.

Тогда Маной зашевелился. Он давно уже не мог подыматься с легкостью, всегда с лишними движениями, всегда с натугой. Но поднялся, двинулся вперед с опаской, волоча непослушные ноги, и рука бескостно болталась вдоль тела.

Он встал рядом с гостем и уронил голову. А гость словно забыл о нем — снова вглядывался в людей.

— Должно ли в субботу добро делать? Или зло делать? — громко спросил назаретянин. — Вот он, видите?.. — указал на Маноя. — Спасти в субботу его или погубить?

Молчание в ответ, только настороженно скрипели синагогские скамьи.

— Суббота для человека или человек для субботы?.. Несмелая тишина.

— Руку! — Маноя резко, окриком. — Протяни руку!

Бескостная рука Маноя шевельнулась и поднялась... Никто почему-то не ахнул, не удивился. Похоже, сам Маной тоже.

Гость взял его ладонь.

— Мне подал руку — подашь теперь каждому. Только надо сильно желать. Что богу до тех, кто ничего не желает, даже здоровья себе... — Он оттолкнул от себя Маноя. — Иди!.. Смелей, смелей! Ты человек, как и все!

И Маной пошел, его качало от изумления, и руку он нес приподнятой, боялся опустить.

— Посему Сын Человеческий есть господин субботы! — возвестил гость и двинулся вслед за Маноем.

Капернаум славил пророка, а Бен-Рувим был посрамлен. Симон гордился, что назаретянин остановился в его доме. Женщины сходились к источнику с кувшинами и толковали о том, что Сын Человеческий — тот самый, кого выжидали евреи многие века. Он послан Иеговой вернуть величие дому Давидову...

И все знали: пророк двинется дальше, сначала в соседнюю Вифсаиду — с закатом солнца, подгадывая к вечеру, чтоб под новым кровом собрать новых слушателей.

Но еще днем Бен-Рувим послал в Вифсаиду своего человека к знакомому фарисею Садоку...

Вифсаида ничем не отличалась от других глухих галилейских городишек — кремнистые тропинки сбегают от одной плоской хижины к другой, обрываются на берегу просторном и каменистом. Но жила Вифсаида наособицу. Неширокий здесь Иордан отделяет ее от всех, за спиной громоздятся спаленные горы, земля обетованная кончается тут, а потому каждый житель Вифсаиды с особым рвением старался хранить Закон,

Из этого упрятанного в дальний угол городка если и уходили в Иудею, то не пророки, а секарии, презиравшие слово, действовавшие кинжалом. Наказав смертью отступников благочестия, они спешили возвратиться сюда. Вифсаида укроет и от римлян и от слуг первосвященника — горы здесь дики, в них полно незримых расщелин и потаенных пещер.

Самый благочестивый в Вифсаиде — фарисей Садок, не похожий на всех других фарисеев, покрытых жиром и гордыней. Он жилистый, обгоревший на солнце, как головешка, ходит во вретище, ест что придется, не ищет себе ни выгоды, ни славы. Его боялись по всему побережью вплоть до суетной и спесивой Тивериады. И шепотом поговаривали — Садок может протянуть руку даже к Иерусалиму.

Слух о новом пророке долетел и сюда, судили, гадали и ждали, как отзовется о нем Садок. И тот заговорил словами Иезекииля:

— Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Они видят пустое и предотвращают ложь, говоря «Господь сказал», а Господь не посылал их... И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь...

После полудня, когда жара стала спадать, из всех домов начали стягиваться к берегу. Виноградари забыли о своих виноградниках, кожевники бросили свои замоченные кожи, рыбаки не собирали сети к вечернему лову — топтались па берегу, переговаривались, вглядывались в море, ждали — не покажется ли лодка.

Она показалась, когда за далекими отсюда Кармельскими горами солнце стало погружаться в зеленые воды великого моря.

Весла, вырываясь из воды, тревожно отсвечивали на закате. С каждым взмахом барка приближалась к берегу. Сосредоточенное молчание нарушил Иоанн, младший из сыновей Зеведеевых, которых за неумеренную восторженность и шумливость Сын Человеческий назвал недавно «сыновья громавы».

— Весь город высыпал! — выкрикнул Иоанн радостно.

Серьезный Симон, радовавшийся и огорчавшийся только про себя, обронил:

— Не нравится мне.

— Не правится, что встречаются учителя? — возмутился Иоанн.

— Слишком дружно встречаются.

Толпа на берегу была пастораживающе неподвижна — ни одного взмаха руки, никто не бежит к воде, чтоб первому встретить нового пророка, — сплоченно стоят. И Симона поддерживали:

— Вифсаида не любит гостей.

— В ней никому не верят.

— Даже друг дружке только по праздникам.

— Разбойный город.

И юный Иоанн, «сын громовый», растерянно промолчал.

— Учитель наш, — сказал Симон, — похоже, недоброе там затеяли.

Учитель из Назарета, сидевший на носу, оглянулся с блуждающей улыбкой. Он не боялся толпы, он верил в свою силу над ней.

— Берег близко, — ответил он. — Высадите меня и поверните прочь, если боитесь.

— Я останусь с тобой, учитель! — воскликнул Иоанн.

Симон недовольно помолчал и сдержанно возразил:

— Куда нам поворачивать? Глаголы жизни вечной у тебя.

Под носом барки заскрипела галька.

От толпы отделилось десятка два мужчин. Впереди, настрuppenно прямой, несущий на своих плечах рубище, как Аарон червленые ризы, выступал Садок. Он подошел к самой воде.

— Тот, кто называет себя Сыном Человеческим, пусть выйдет на берег. Остальные останутся в лодке.

За спиной усохшего Садока стояли рослые и хмурые вифсаидцы, а дальше сплоченная толпа...

— Нас очень мало, учитель, — тихо обронил Симон.

— Кто может спасти того, кто пришел спасать других? — возразил Сын Человеческий и полез из барки.

Симон поспешно выпрыгнул в воду, подхватил на руки учителя, перенес на берег. За ним перемахнул через борт Иоанн.

— Ты слышал, Симон сын Ионы!.. Ты знаешь, что Садок из Вифсаиды не любит повторять дважды!

— Разве я одип могу помешать вам? — спросил Симон.

— Ты нам просто не нужен, как и тот безбородый, который поспешил за тобой.

Учитель кивнул Симону на лодку:

— Уходите... Им легче иметь дело с одним.

— Каждый может взять камень, учитель...

— Для этого еще надо нагнуться. Уходите в лодку оба!

И Симон повиновался, подтолкнув Иоанна к барке, сам следом вскарабкался через борт.

— Лучше будет, если вы отплывете подальше. И совсем хорошо, когда вернетесь назад, — посоветовал Садок.

Но барка не двинулась с места.

Садок тронул за рукав пророка, и они направились к толпе, оба низкорослые, неторопливые, одинаково преисполненные достоинства. За ними, с хрустом давя гальку, вышагивали сопровождавшие.

Толпа при приближении зашевелилась, раздвинулась и вновь сомкнулась, скрыв учителя от учеников.

Вплотную тугая пустота, ее сжимает плотный круг лиц, безбородых и бородатых, мужских и женских, старчески немощных и налитых угрюмой силой, родственно схожих нелюдимой настороженностью. Много ли тут счастливых? Есть ли хоть один в этом слитном круге? У каждого наверняка своя беда, свои горести, большие или малые. Беды разные, а страдания у всех одинаковы, одни и надежды — о благополучии, о справедливости. Он дерзнул прийти к ним, позвать в вымечтанное царство, где нет несчастных, нет ни обидчиков, ни обиженных, но вот обложен со всех сторон, как опасный зверь.

И Садок окружен вместе с ним — толпа предоставила ему право судить. Садок понимает — ежели не осудит, не справится, сам будет судим.

Толпу да, похоже, и Садока озадачивает спокойствие гостя — стоит в пустоте, маленький, нелепый, в тяжело обвисшей одежде, беззащитно жалкий, по глаз не прячет, затравленно не озирается и не храбрится вызывающе. Прост до оторопи, до смущения.

— Ты называешь себя Сыном Человеческим? — Слова Садока, как железные, скрежещут друг о друга.

— А чьим сыном я могу быть? Или ты сам не из рода человеческого? Или я не похож на тебя? — Он отвечал по напрягая голоса, однако вятно, слышно всем.

— Правда ли, что ты говорил — послан от Бога?

— Правда.

— И после этого считаешь — я похожу на тебя? Кто

из нас посмеет сказать людям: меня послал Бог?! Таким был один Моисей.

— Ты ошибаешься. Каждый из нас послан на землю Богом.

Толпа заворожено замерла, а Садок озадаченно промолчал. Но он ничуть не смутился, он еще только прощупывал приездего, не наносил удара. Теперь пришло время...

— Называл ли ты себя господином субботы? — спросил он.

Ответ сразу, без запинки, без раздумья:

— Называл.

Общий гневный выдох, за ним перекатом угрожающий гул по толпе. Садок поднял руку, темную, со скрюченными пальцами, как птичья лапа.

— Разве ты дал нам субботу, что считаешь себя господином ее?

— Дал ее Бог мне и вам.

— Ты присвоил себе Богово. Берегись, прохожий!

— Смерть ему! — режущий визг из толпы. Самый нетерпеливый, самый неистовый объявил о себе.

Но птичья лапа Садока властно заставила умолкнуть.

— Как я мог присвоить то, что мне дано? — по-прежнему негромко и внятен голос гостя. — Раз Бог дал нам субботу, то она уже наша. Суббота для человека, а мы ее господа.

Визг не повторился, толпа молчала, сотни глаз обеспокоенно разглядывали отчаянного. И Садок взмыл над молчащей толпой:

— Значит, всякий может распоряжаться субботой как хочет?!

Летучие мыши пронеслись над толпой, бесшумны и бесплотны в застойном воздухе, словно клочья нарождающейся черной бури среди обмершей природы. В насыщенной ожиданием тишине спокойные и обидно будничные слова:

— Если ты дашь мне динарий, то кто будет распоряжаться им после этого — ты или я?

— Суббота не динарий, прохожий!

— Как и ты не Бог. Но даже ты не станешь настолько мелочным, чтобы дать и не разрешать пользоваться. Неужели Бог мелочнее тебя, человек?

Теснящиеся вокруг недружно зашевелились, заоглядывались. Лица, лица, но они уже утратили родственную схожесть, они все выражали разное — изумление, страх,

озадаченность, колебание (вот-вот согласятся с прохожим) и прежние ожесточенное недоверие. Толпа перестала быть единым телом, распалась на людей — разных, предоставленных самим себе.

Садок стоял гневно-прямой, тянул шею, обжигал взглядом странного пророка, не изрыгающего проклятия, не грозящего всевышними карами, не возвышающего даже голоса — роняющего лишь тихие и такие обычные, понятные всем фразы.

— Ты опасней чумы, прохожий! — скрежещущий голос. — Куда ты зовешь нас? Поступай как хочешь, как хочешь проводи субботу, как хочешь живи! Ничто не запрещено, все дозволено — можешь убить, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать с чужой женой... Каждому все разрешено!

Начавшая было распадаться толпа всплеснулась в едином негодующем ропоте, вновь монолитно слилась, задние начали давить на передних, упругое кольцо дрогнуло, заколебалось, стало сжиматься. И в этом враждебно неустойчивом, конвульсивно живом кольце скрежещуще гремел Садок:

— Зачем людям Закон?! Зачем людям единый Бог, если каждый сам по себе — как хочет? Каждый для себя вместо Бога! Вот к чему ты зовешь, прохожий!

И врезался визг того неистово-нетерпеливого:

— Смерть ему!.. Смерть!!

Казалось бы он, неистовый, наконец-то дождался момента, по нет — рано. Снова вскинулась птичья лапа Садока.

— Пусть ответит!

— Пу-у-усть отве-е-ети-ит!!! — грозным обвалом из сотен грудей.

Обрушившийся обвал долго рокотал, раскатывался, не мог утихнуть. Молчал пророк, ничтожно жалкий перед вздыбленной яростью, молчал, с покорным терпением ждал тишины. И она наконец наступила — неустойчивая, обжигающая, дышащая гневом.

— Если каждый примет в себя Бога, как тогда можно будет обидеть кого-то? В каждом человеке — Бог, каждого уважай, как Бога! — Он выкрикнул на этот раз громче обычного, боясь, что не успеет, не будет услышан.

Его услышали, толпа угрожающе ахнула — оскорблены за Бога: впустить его, великого, в себя, ничтожных, — да как он смеет! Угрожающее изумление всплеснулось и

не опало, а уже Садок, напрягая жилы на тощей шее, заблаговестил:

— Слушай, Израиль!!! Он хочет, чтобы мы имели — сколько людей, столько и богов! Посрами язычников, Израиль! Откажись от единого Бога! Не сам ли сатана перед нами?!

— О-он!.. О-он!! Вельзевул!!! — Толпа закипела, ломая круг, стеная и давя друг друга.

И тряс над головой немощными кулаками Садок — судья, призванный народом:

— Спасай, Израиль, веру свою!!

— Сме-е-рть!!! — режущий визг, захлебывающийся от счастья.

— Сме-е-рть!! — громово отозвалась на него толпа.

Сын Человеческий, стоявший внутри яростной кипения, впервые опустил голову. Он не хотел видеть, как люди нагибаются, подбирают камни.

Никто не должен касаться руками нечестивого. Для таких преступников против веры у евреев была лишь одна казнь. Камни полетели со всех сторон. Сын Человеческий упал...

...Он уже перестал шевелиться, а камни все еще летели в него. Камни отцов, камни матерей, камни детей... Садок тоже бросил свой камень. Никто не смей остаться в стороне!

При такой казни виновников нет. Гнев народный — гнев Божий.

Сидевшие в барке и видели и слышали, но не посмели заступиться. Их кучка, а расправлялся народ. В каждого вместе с ужасом прокрадывалось и сомнение — а праведным ли был их учитель, собравшийся спасти других, но не спасший себя? Сам Господь допустил...

Симон оттолкнулся веслом, сникнул барку с галечника. Тихо отплыли. Никто их не окликнул, никто о них не вспомнил.

Южная почва не вкрадывается, а бесшумно обрушивается. Она скрыла лепящийся к скалам жалкий городишко, каменистый берег, забросанный камнями изувеченный труп.

Убийство вопреки Истории.

Он должен был прожить еще три года, взбудоражить Галилею, сказать свою Нагорную проповедь, зовущую —

«люби ближнего своего и врага своего», появиться в Иерусалиме, испытать предательство одного из учеников и уже только тут мученически погибнуть, как презренный раб,— на кресте. Затем воскреснуть в своих продолжателях, «смертию смерть поправ».

Ничего этого не случилось — пророк из суетного Назарета не стал Иисусом Христом, не прошел из поколения в поколение по тысячелетиям, не возвеличен людьми до бога. Как много подвижников, не успевших доказать свое, ныне напрочь забыто!

Убийство противу всей Истории, какую мы знаем. И нет, не жители далекой Вифсаиды повинны в нем. Непредусмотренное убийство совершено из XX века, из наших дней. Причем людьми вовсе не враждебно-злыми к его памяти и, право же, не мстительно-жестокими по натуре.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Однажды вы заметили седину на своих висках и не очень тому удивились — как-никак возраст. Седина не пропадет, морщины не разгладятся — это идет необратимое Время.

...На месте том,
Где в гору юдымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко...

Пушкинских сосен уже нет возле села Михайловского, как нет там скривившейся мельницы, нет извозчичьих лошадей, гусаров, фельдъегерей, крепостных мужиков, дворян, царей, нет и самого Александра Сергеевича, его детей... Идет необратимое Время.

Идет и оставляет следы: египетские пирамиды, холм Гиссарлык, камни римского Колизея... — памятники былого честолюбия, геройства, страданий, возвышенных и низменных страстей, бурлившей и остывшей жизни. Идет необратимое Время.

Я принадлежу к тому разряду людей, которых противопоставляют лирикам. Тридцать два года назад, не успев снять лейтенантские погоны, с вызывающей независимостью выдавшего виды фронтовика на физиономии и трусливым смущением пригостишки в душе я вступил в свя-

тая святых — известный московский вуз, стал студентом физико-математического факультета. Физика тогда уже подарила не очнувшемуся от ужасов войны миру первую из своих безобразных дочерей — атомную бомбу, вторую, водородную, вынашивала. К этому родовспоможению я прямого касательства не имел, в дальнейшем занимался только чистой теорией, был одним из многих избранных, кто пытался объять необъятное — призрачные элементарные частицы и необозримую Вселенную мечтал заключить в едином охвате. Было всякое, и восторги, граничащие с безумием, перед непостижимой гармонией сущего, и приступы отчаяния перед бессилием и обмирания перед зыбкой надеждой. Сильных эмоций в моей жизни было куда больше, чем расчетливых прозрений. Не только у поэтов чувственное получает перевес над рассудочным.

Мне постоянно приходилось оперировать временем, символ « t » был составной частью едва ли не всех формул, какие создавал сам и заимствовал у других. Оно, время, непостоянно и богато сюрпризами. Протон и электрон не подвержены его влиянию, практически вечны, а, скажем, пион существует невообразимо короткий миг — долю секунды с шестнадцатую нулями после запятой. Но и эта супермгновенная жизнь столь же нужна мирозданию, как и жизнь вечных частиц. Космонавт в полете живет чуть-чуть медленнее, чем его товарищ на Земле. И в просторах Вселенной есть колодцы — черные дыры, куда время как бы проваливается и застывает в бесконечности.

Относительность времени вне нас, вокруг нас, внутри нас. Миллион лет или много более того понадобилось нашим далеким праотцам, чтоб создать себе грубое рубило, несколько сотен тысячелетий — чтоб вооружиться луком и стрелами, а за какой-нибудь неполный десяток тысяч лет в бурном темпе промчались к теории относительности, к космическим ракетам! Природа подарила нам разум и получила взамен динамичность.

Наше время... Насколько известно, люди почти никогда не бывали довольны своим временем, с завистью вглядывались или в прошлое — мол, вот тогда-то была жизнь, не чета нынешней, золотой век, — или с надеждой в будущее. Проницательный Белинский с неосторожной восторженностью заявил: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которые станут жить в 1940 году...» А в том году уже шла самая жесточайшая из человеческих войн — вторая мировая.

Я тоже хотел бы знать, что станется с нашими правнуками через сто лет, но ошибка Белинского остерегает от оптимистических прогнозов. Чтоб хоть как-то понять будущее, следует обратиться к прошлому, уловить в нем особенности развития. Ньютон к концу жизни обратился к богословию, Эйнштейн увлекался игрой на скрипке, сочинял бесхитростные стихи, Оппенгеймер изучал санскрит, ну а я кинулся с головой в историю, искал в ней счастливые моменты.

В некоторых солидных работах я циткнулся на многозначительные слова «золотой век энеолита». Еще не возникло рабство, еще не произошло резкого разделения на богатых и бедных, а распространившееся земледелие — хорошо ли, плохо — кормило людей. Но кто из нас удовлетворится таким ненадежным благополучием, которое добывается мотыгой, зависит от малейших капризов природы — дождя не вовремя, случайного града, свалившейся засухи. Золотой век — ой ли?..

Счастливейшими в истории считаются четырнадцать лет Перикла в Афинах. Да, но это счастье казначея, прибравшего к рукам общую кассу. Афины возглавляли союз эллинов, бесконтрольно распоряжались стекавшимися со всех городов взносами. А Сократ в это время был приговорен к смерти, а великий Фидий брошен в тюрьму...

Ни одно время, если пристальней взглядеться, не счастливей нашего. Я так и не отыскал в истории мгновения, про которое можно бы сказать: остановись, ты прекрасно!

Однако жалкое же утешение — мы-де столь же несчастливы, как и наши прадеды, ничуть не добрей, не отзывчивей друг к другу. Человечество всегда отказывало себе в лишнем куске хлеба, чтоб получить смертоносное оружие. И теперь танк обходится в десятки раз дороже трактора, работающего в поле. По самомнительности и недоразумению мы продолжаем относить себя к виду *homo sapiens* — человек разумный, но, право же, нам куда больше подходит название, которым мы наградили своих далеких предшественников: *homo habilis*, человек умелый. Мы умелы, мы удивительно сноровисты, изобретательно создаем с помощью одних вещей другие, но поразительно неразумны, сами себе ужасаемся.

Привычно любить родину, кусок пространства, где ты появился на свет. И почему-то никогда не говорят о любви к своему времени. Люблю наше время, удивляюсь ему, страдаю за него, страдаю от него и хочу, хочу счастливых в нем перемен.

А возможно ли повлиять на время? Да, вмешавшись в естественный ход развития. Да, внося элемент искусственности в стихийные события. Да, усилиями разума! Меня теперь жестоко мучает этот вопрос.

После такой неоригинальной филиппики, боюсь, может создаться впечатление: эге, не болен ли он манией мессианства? Недуг, право же, не столь редкий и в наш рационалистический век.

Мессианством?.. Нет! Страдаю весьма распространенной ныне болезнью — непреходящей тревогой за день грядущий. Я, некий Георгий Петрович Гребин, пятьдесят шесть лет назад родившийся в глухом районном селе Яровое, в семье неприметного даже по районным масштабам служащего, со школьной скамьи попавший в окопы, раненый на Курской дуге, контуженный в Карпатах, ныне обладающий степенью доктора, званием профессора, числящийся в штате известного всему научному миру НИИ, умеренно удачливый семьянин, я хочу, чтоб жизнь и дальше процветала на Земле. Хочу! Не осудите за тривиальность.

2

Вряд ли кому удастся уберечь себя в напористом течении времени от ударов, от случайных травм.

Незгоды войны, ранение и контузию я как-то не привык ставить в счет, скорей даже благодарен, «что в двадцати сражениях я был, а не убит». И путь от студентика, не успевшего скинуть военную шинель, до признанного профессора тоже должен считать гладким. Неизбежные шероховатости, досадные препятствия были, однако, не настолько значительные, чтоб сетовать на них.

Лет пятнадцать или более того назад я попал в Лондон на международную встречу физиков, взбудораженных тогда теорией кварков. В нескольких шагах от сверкающей рекламой Пикадилли под аркой дома, выходящей на людную мостовую, я увидел группу юнцов, длинноволосых, в цветных кофтах, увешанных бусами, с подведенными глазами, крашеными губами, с зазывным выражением панельных девиц. Прохожие не обращали на них внимания — привычно, — а я выдал себя брезгливым содроганием.

— У вас такого нет, мистер Гребин? — осведомился мой попутчик, известный в Англии научный обозреватель.

И я решительно, с чистой совестью ответил:

— Нет.

Сокрушенный вздох:

— В таком случае верю — будущее за вами, ибо молодость многих развитых наций в прокате.

Я был наказан за самомнение.

К тому времени у меня уже подросток сын. Он увлекался собиранием марок, научной фантастикой, фотографией, среди школьников шестых — седьмых классов занял по лыжам второе место на районных соревнованиях, учился неровно, порывчиками, пятёрки и двойки часто соседствовали в дневнике. Оглядываясь назад, я вижу его в счастливые летние дни на даче в Абрамцеве, которую мы снимали у вдовы художника, — выгоревшие волосы, чистое, тронутое загаром лицо, глаза, доверчиво отражающие небо, тесные потертые шорты и сбитые коленки... Щемит сердце, хоть кричи.

Сева — единственный сын в благополучной семье. Но для подростка наступает такое время, когда каждая семья начинает казаться ему неблагополучной. Каждая, даже самая идеальная! В ее рамках становится тесно, внешний мир манит к себе, опека матери и отца угнетает, хочется свободы и самостоятельности. Становление человека неизбежно создает этот неисклнучительный кризис, у одних он проходит незаметно, у других перерастает в трагедию. Сева стал чаще пропадать из дома...

Он отпустил волосы, наотрез отказался стричься, сразу утратил ухоженный домашний вид, эдакий одичавший послушничек. Он наткнулся на старую кофту матери с широкими рукавами, его только не устроили обычные пуговицы, где-то раздобыл медные бубенчики, сам их пришил. В женской кофте с бубенчиками, в потертых, с чужого зада (выменянных), с бахромой внизу джинсах, с неопрятными жиденькими косицами, падающими на плечи, — странная, однако, забота о собственной внешности: стараться не правиться другим, походить на огородное пугало. Наш сын...

Навряд ли он ждал, что мы станем умиляться, но наше недоумение, досаду, презрительность воспринимал болезненно, стал повышенно раздражительным. Теперь любая мелочь выводила его из себя: неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моем лице, просьба матери вынести мусорное ведро — все воспринималось как посягательство на его достоинство. И самые простенькие вопросы для него вырастали в мучительнейшие проблемы — праздно-

вать или не праздновать дома день рождения, ехать ли вместе с классом на экскурсию в Коломенское, просить ли у матери денег на покупку новой пластинки?.. На его физиономии все чаще и чаще возникало вселенски кислое выражение, пока не застыло в постоянную мину и окончательно не обезобразило его. Мы чувствовали — чем дальше, тем больше он уже сам себя не уважал.

А я вспоминал случаи в Лондоне и раскаивался в браваде — у нас нет того, не в пример другим безупречны... То, что свойственно временам и народам, в том или ином виде не может миновать и нас.

Сакраментальный конфликт отцов и детей родился не вчера. «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». Эти слова произнес Гесиод еще в VII веке до нашей эры. Но отцам последующих поколений от столь древнего признания легче не становилось.

3

Уж если мне не по себе — постоянно на грани отчаянья, — то, казалось бы, как должна чувствовать себя мать? Но странно, она не срывалась на упреки, не заводила душеспасительные разговоры, молчала и приглядывалась. Но я-то видел, чего ей это стоило: осунулась, запали глаза, взгляд их стал беспокойным, словно она постоянно ждала — вот-вот ударят сзади.

Мы поженились, когда я был аспирантом, а она студенткой четвертого курса Катенькой Востровой — акварельное лицо, светлые косы. Мог ли тогда я думать, что это эфемерное существо станет моей незыблемой опорой. Не я — ее, она — моей, на всю жизнь... Правда, очень скоро Катя утратила эфемерность, раздалась, приобрела решительную стать. И надо ли говорить, что светлые косы были отрезаны... Я занимался неуловимыми нейтрино, размышлял, седловидной или сферической является форма Вселенной, и не способен был думать о плитке, отвалившейся в ванной комнате, о пальто для Севочки, о том, наконец, что «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Над этим думала только она, Катя, я лишь покорно преклонялся перед ее предусмотрительной мудростью, теперь вот с надеждой ждал ее решения. И она решила:

— Это бунт, Георгий. Против нас, против всего мира. Ты собираешься его подавить?

Я ничего не ответил.

— Нет,— горько проговорила она,— ты хочешь, чтоб это сделала я.

И я снова промолчал, так как она угадала. Добавить мне было нечего.

— Так вот, Георгий, нам лучше отвернуться от его мальчишеского бунта, сделать вид — не заслуживает внимания. Не будем подбрасывать дров в огонь. Само погаснет.

Лишний раз Катя доказала свою непостижимую для меня мудрость — действительно, Сева скоро забросил кофту с бубенчиками, подстригся, смыл с лица кислое выражение, взялся тянуть школьную лямку, а она нынче тяжела. Давно исчезли альбом с марками, детские фотоаппараты, учебники вытеснили книги научной фантастики, даже выскочить в кино не хватало времени, постоянные заботы об отметках и синяки под глазами от усердия. Но пора же выбирать то, чему хочешь посвятить себя! Надо чем-то увлекаться, что-то искать, пусть даже за счет успеваемости, отнимая время от домашних заданий, иначе — полная растерянность в начале пути, случайный институт, случайная профессия, бремя до самой могилы, судьба несчастливца. Я ударил тревогу, и Сева охотно на нее отозвался — стал увлекаться... гитарой! Целыми вечерами он брэнчал с проникновенной занудливостью:

Трутся спиной медведи
О земную ось...

Из четверочников свалился в троечники и уже не подпался. Мать не попрекала меня за оплошность, лишь глядела порой осуждающим оком.

Он подал на биофак, хотя с таким же успехом мог подать на физический или юридический, был отсеян после первого же экзамена по математике. Тут-то вот и появилась на его еще мальчишески пухлых губах слабая улыбочка, ироническая и беззащитная одновременно. Улыбочка бывалого человека, который во всем разуверился, его уже не удивит и не сразит неудачей. Это вам не прежнее кислое выражение недоросля, не подавленность, не растерянность, а обретенная решимость после поражения. Сева не стал держать нас в неведении.

— Больше не буду никуда подавать. Зачем? В школе

была каторга, в институте — снова!.. Хочу жить. Просто. Без патуги. На хлеб себе как-нибудь заработаю.

Решение беспронимательное уже потому, что для его осуществления не надо прилагать никаких усилий. Я подавленно глядел на улыбочку бывшего человека, приклеенную к мальчишескому лицу.

А мать тихо произнесла:

— Ты меня обкрадываешь, Сева.

— Чем?

— Какая мать не мечтает подарить миру значительно-го человека.

По он с ходу отпарировал:

— Что для тебя важнее, мама: быть мне значительным, по несчастным или же счастливым, по незначительным?

Я крикнул, а мать с тоскливым удивлением долго разглядывала его.

— Кто тебя так напугал, сын? — спросила она. — Не мы же.

Сева упрямо опустил голову:

— Хочу быть свободным... от лишних забот. Вот и все!

Его быстро освободили от забот о своем будущем — призвали в армию. Там за него думали, им распоряжались, никаких хлопот...

4

Война родственно связала меня с одним человеком — Голенковым Иваном Трофимовичем, командиром дивизиона, с которым я прошел от Калача-на-Дону до Сталинграда, от Сталинграда до Праги. Еще до фронта, на подготовительных учениях под Серпуховом грозный майор Голенков случайно обратил внимание, что мальчишка-разведчик батарейного взвода управления мгновенно, не заглядывая в таблицы, делает нужные расчеты для наводки орудий. Сам майор Голенков пришел из запаса, стрелял в гражданскую из трехдюймовок, дальность обстрела которых четыре версты, баллистику знал слабовато. Он удивился моим способностям, пообещал, что сделает из меня командира, стал называть сыном, и это, право, не было просто ласковым обращением — я оказался под отцовской опекой.

Иван Трофимович поражал костистой громоздкостью

нескладного тела, густым басом, суровой угловатостью лица. Житейская мудрость, которую он изрекал мимоходом, по сей день для меня неустаревшее руководство: «Береги свою голову, но помни, что твой горшок не дороже других... Никогда не горячись, ушат воды тушит костер... Не смей быть сытым, когда подчиненный голоден...» Несу через жизнь бесхитростные отеческие наставления и если не всегда следую им, то потому только, что не обладаю ни силой воли, ни моральными качествами своего наставника.

На Курцино в наступлении немецкая батарея, которую мы пытались подавить, накрыла наш НН, осколком перебило мне левое предплечье. Иван Трофимович приполз к нам с дивизионными разведчиками, собственноручно тащил меня на плащ-палатке через зону обстрела. Я этого не помню, из-за плохо наложенного жгута потерял много крови, был в беспамятстве. Он упросил, чтоб меня не эвакуировали, оставили при санбате, боялся потерять. Этого боялся и я, а потому с незатынувшейся раной вернулся в дивизион.

Конец войны застал нас под Прагой, Иван Трофимович сам добился моей быстрой демобилизации: «Не всю же жизнь торчать тебе возле пушек».

А спустя десять лет утром меня поднял с постели телефонный звонок.

— Прошу великодушно простить, не здесь ли живет Георгий Гребин? — Неповторимый бас, который нельзя ни забыть, ни спутать.

— Иван Трофимович!!

— Узнал, голубчик! Помнит старика! — В басовых руладах непривычное дребезжание.

Он демобилизовался в чине подполковника, жил в Москве, работал в каком-то отраслевом главке инспектором.

Одно время мы встречались часто, я нес к нему свои радости и печали, теперь видимся куда реже, по раз в году я обязательно его навещаю.

Он никогда не праздновал своих дней рождений, отмечал лишь один особый день. Ваньке Голенкову, круглому сироте, деревня определила быть пастухом — кормиться по дворам, ночевать по чужим углам. И вот однажды, когда он под осенним дождичком пас стадо на приречной пожне, из редколесья выехали двое конников, у одного за плечом торчала винтовка, у другого на поясе висела кобура с наганом. Они искали брод через реку, «где дно покренче, тяжелое потащим, как бы не застрять». Иван бро-

сил стадо на мальчонку-подпaska, повел конников на перекат, дно там плотное, песок с галькой, любой воз выдержит. Но тяжелыми оказались не возы, а пушки... В деревню он не вернулся, остался при артиллерийском соединении отдельной ревбригады под командованием товарища Пестуна-Гроздецкого. Через год неграмотный пастух уже командовал батареей, под хутором Михайловским его батарея разметала наступающих казаков, решила исход боя. Иван Голенков был отмечен в приказе, подписанном Фрунзе, награжден именными часами. После освобождения Крыма от Врангеля его направили на курсы комсостава, но кадровым командиром он оставался недолго. Армия шефствовала над деревней, Иван Голенков возглавлял шефские бригады, выступал с докладами, организовывал ликбезы, был послан для ознакомления в знаменитый тогда совхоз имени Тараса Шевченко, где создавался первый тракторный отряд. Кончилось его шефство тем, что гимнастерку с черными петлицами Иван сменил на пиджак ответственного районного работника, а позднее и областного... Однако не все шло гладко, похоже, что у Ивана Трофимовича были крупные неприятности, о которых он не любил вспоминать. Их разрешила война...

День, когда «от коров ушел к людям», он считал самым важным днем в своей жизни, отмечал его в кругу близких людей.

Когда-то в этот день рядом со мной за столом сидели сверстники Ивана Трофимовича. Пренебрегая артритами, колитами, катарами, которыми они все были обременены, старички налегали на водочку и, отрываясь от воспоминаний, глухими басами и вибрирующими дискантами запевали:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...

Теперь никого из них уже нет в живых, а сам Иван Трофимович, последний из могикан, едва себя носит. Он на год старше нашего катящегося к концу века. Он трудно ворочает своими крупноблочными суставами, складки пористой серой кожи дрябло висят, только нос по-прежнему тверд да ржавые брови кустисты и грозны, но под ними размытая младенческая голубизна. И со свистом дышит, с усилием говорит — страдает астмой, — но ум сохранил, достоинство тоже.

Не считая хозяина, ныне я самый старший за столом.

Дочери Ивана Трофимовича и их мужья тоже не молоды, но уже для них «Вставай, страна огромная...» столь же экзотична, как для меня «Белая армия, черный барон...». Иван Трофимович каждый раз уводит меня от семейного собрания в свою спартанскую комнатку, садится напротив — напряженно прям, плечи подняты, лопатисто-широкие, узловато-венозные руки прикрывают острые колени.

— Меня, отживающего, съедает тревога, мой друг... — сиплым голосом, превозмогая одышку.

— Что-нибудь случилось, Иван Трофимович?

— Да, голубчик, да. Старая развалина, видите ли, стала думать.

Я не считаю нужным ни возражать, ни торопить вопросом — сам скажет, для того и вырвал из-за стола, привел сюда. Он возвышается в позе каменного фараона, глядит молочным взором в окно поверх шумящего города, поверх мятущегося сегодня — в бесконечность.

— Я всегда был заносчиво доволен собой... — Глухо, не мне, а в пространство. — Да, весь свой долгий век считал — звезд с неба, конечно, не хватаю, зато совесть чиста, как слезинка. Прожил восемь десятков, а взглянуть в себя все было некогда, спешил вперед, заре навстречу. Только теперь догадался оглянуться, и...

Натужный прерывистый вздох, долгое молчание, взгляд в дальнее.

— И ударило в старую башку: столько прожил — а что сделал? Кирпича в стену не положил. Кто-то другой дома строил, заводы возводил, землю пахал, а я... Я, голубчик, или стрелял, или покрикивал: «Давай-давай!»

— Как вы знаете, я тоже стрелял и, право, ничуть не раскаиваюсь, а горжусь даже, — возразил я.

Иван Трофимович хмыкнул и не пошевелился.

— Не трать пороха, дружок, не доказывай, я и без тебя знаю, что пушка тоже может служить жизни. Да, именно из таких пушек я и стрелял. Да, ради жизни! Но ты вот отстрелялся и занялся совсем другим — науку копаешь, забыл о прицеле, пушка в душе у тебя не сидит. А та трехдюймовочка, с которой я в молодости тесно познакомился, мне характер испортила — не мог глядеть не прицеливаясь, не мог действовать не сокрушая, даже когда говорил, то изо всех сил старался, чтобы мои слова имели пробойную силу. «Давай-давай!» — штучка взрывчатая...

— Обстановка была взрывчатой, Иван Трофимович. Снова хмыканье.

— Пробовал, дружок, пробовал свалить на обстановку. Получалось, но... через раз. Я сам и накалял обстановочку, а потом боялся, как бы не взорвалась, беды не наделала...

Замолчал, темнея лицом, дыша со свистом, отводя от меня взгляд. Отдышался, заговорил глухо, как в шубу:

— Никто меня не неволил в селе Старожилове храм ликвидировать, сам додумался. И обстановка к этому никак не располагала. Товарищество по совместной обработке земли тогда создавали, старались людям глаза раскрыть на лучшую жизнь, в доверие войти. Зачем, казалось бы, на конфликт нарываться, наоборот, стоило бы с батюшкой по душам потолковать. Попик был ветхий, но неслепой — поддерживал бы, не на дурное толкаю, бабы ему верили во всем, а бабы и мужиков помогли б уломать. Так нет, от ненавистного бога помощь принимать! Лучше его выкорчевать, чтоб под ногами не путался. К начальству оездил, кулаком стучал, доказывал — мол, корчевать нужно, и немедленно! Выстучал разрешение — бога сместить, церковь закрыть, колокола снять! Веревками — эх, дубинушка, ухнем! — колокола стаскивали. Большой грянул вниз — мороз по коже. Плач, вой, стоны, бабы остервенились, толпой на нас с кирпичами. Двоим активистам головы пробили... Обстановочка-то до белого накала дошла... — Иван Трофимович задохнулся, выждал, тускло обронил: — Лопнул наш ТОЗ.

Я подавленно его разглядывал — широкий напрягшийся костяк, седина в желтизну, темное изрезанное лицо. Я знаю его четверть века, видел в минуты смертельной опасности, он человек кристальной честности и самоотверженного благородства, он из тех, кто не может быть сытым, когда голодны другие, никогда не жил для себя, но вот кончает жизнь самосудом. Быть может, сейчас он ждет от меня защиты, но можно ли опровергнуть выстраданное? Тут так легко сорваться на благостную фальшь. Оскорбить фальшью не посмею. Я молчал.

И он снова заговорил — с угрюмым раздражением, с одышкой:

— Не оттого ли, что я жизнь перекалил, мои дети холодны, как ледышки?.. Да, и дочери и зятя! Пробовал исповедоваться — пожимают плечами: мол, известно, нас не удивишь. Спрашиваю о будущем: каким вы хотели бы его видеть? Снова пожимают плечами... Да черт возьми, меня, считай, уж нет на свете! За вас же, живых, страшусь. Камо грядеши, человецы?.. Н-да-а...

Я молчал. Наверно, и мое молчание он принимал как пожатие плечами.

Вчерашний школьник Сева Гребин, не поняжавший жизни, уже панически страшится ее. Отживающий свой век Иван Голенков тоже охвачен страхом. И я, стоящий между ними, я, представитель зрелого поколения, могу только пожать плечами — не пребывать же в постоянной панике, ко всему привыкаешь.

Камо грядеши? — во все века люди задавались этим вопросом. Куда двигаешься ты, человек? Что ждет тебя впереди? И сколько раз случались эпидемии ужаса перед грядущим — люди бросали работу, забывали о хлебе насущном, ждали, что вот-вот развернется земля, подымутся мертвые, трубы архангелов возвестят о страшном суде, о вселенской кончине. Апокалипсисы никогда не выходили из моды.

Но теперь-то угрожает не некий гипотетический гнев божий, мы губельно опасны сами себе своим возросшим могуществом, своей необузданной энергией, своим неуправляемым поведением.

Если ставится врачом диагноз: такой-то не может управлять своим поведением, — то, значит, данная личность психически непорядочна.

Не дай мне бог сойти с ума,
Пусть лучше посох и сума...

Ну а как аттестовать вкупе все человечество, неспособное отвечать за свои действия?

Пожмем плечами?..

5

Мы славим выдающихся людей, олицетворяющих собой наиболее активную человеческую деятельность. Они — носители идей, они — источники сигналов, приводящих в движение массы. Через них-то, казалось бы, легче всего подобраться к самому заповедному — каково же все-таки значение осознанной деятельности человека, что совершается по его воле, а что самопроизвольно?

В прошлом веке на эту тему яростно спорили, бросались в крайности вплоть до безапелляционных утверждений — историю делают герои! И народники шли в народ,

рассчитывая героическим подвижничеством изменить многострадальную народную жизнь. И наиболее решительные из народников вооружались самодельными бомбами, стремились ценой самопожертвования убрать тех, кто, по их мнению, мешает истории. Столь отважная практика не помогла найти ответ, решение вопроса так и не вышло за пределы гадательности.

В других науках свои гадательные предположения ученые проверяют экспериментом. История же экспериментированию не поддается. Сама по себе она наиболее динамический процесс в природе. Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из всех наук.

Вот если б можно было изъять из истории какую-нибудь известную историческую личность, а потом понаблюдать — как без нее дальше развернутся события...

Если бы да кабы... Сие явно невозможно.

Однако как зыбка в наш поразительный век грань между возможным и невозможным! Давно ли было бредово-невозможным достать Луну в небе...

Листая на сон грядущий популярный журнал, я случайно наткнулся на статью...

Группа биологов, возглавляемая доктором биологических наук В. В. Меншуткиным, задалась целью промоделировать — ни больше ни меньше! — эволюцию позвоночных начиная с праланцетника. Это примитивное существо жило на нашей Земле в теплых морях около миллиарда лет назад, было десяти сантиметров длины, имело скорей всего полупрозрачное тело и спинную струну без каких-либо намеков на головной мозг. Оно стало предком всего плавающего, ползающего, летающего, бегающего населения планеты, плоть которых держится на скелете. Предком и самого человека.

Промоделировать, как произошло такое многоликое преобразование праланцетника, схематически воссоздать многообразно изменчивый путь длиной в миллиард лет... Легко сказать!

Но биологи под руководством доктора Меншуткина и раньше моделировали с помощью электронно-вычислительной машины не столь масштабные отрезки эволюции. И теперь они разработали исходную программу, которая содержала в себе отличительные особенности праланцетника, учитывала внешние условия. Закодированный праланцетник, как и живой, наделен был способностью да-

вать потомство, в равной степени умеющее приспособляться к окружающим условиям и не умеющее. Эволюция должна идти по Дарвину — путем отбора случайных изменений.

Программу вложили в М-4030, далеко не самую быстродействующую счетно-решающую машину. Она молниеносно начала выдавать в периодических распечатках наборы символов, из которых экспериментаторы без особого труда стали реконструировать животных, так сказать, уже в «плотском виде». То, что в природе проходило за десятки и сотни миллионов лет, машина прокручивала за минуты...

Если природа выбрала тот путь развития, который имеем мы на своей планете, то кто может гарантировать, что он единственный? А вдруг да эволюционных путей множество, неизвестно, какой еще выпадет... Меншуткин загадывал: а не возникнет ли некое шарообразное существо, которое станет перекатываться по земле? Его помощник кандидат наук Б. Медников мечтал, что разовьются шестиногие — наподобие насекомых — млекопитающие, которым в дальнейшем почему бы и не превратиться в кентавров.

Но никаких чудес не произошло. Из праланцетника в машинной эволюции образовались различные рыбы, они обрастали панцирем и теряли его, становились гигантами и вновь мельчали. Наконец одна из них выползла на плавниках из воды на сушу, превратилась в ящера... В конце концов возникло существо с высокоорганизованной нервной системой, передвигающееся на задних конечностях. Машина честно повторила ту великую торную дорогу, какую прошли мы, — от праланцетника к человеку!

Прочитав об этом, я взволновался и устыдился. Уже кому-кому, а мне-то постоянно приходилось и самому сочинять экзерсисы и участвовать в коллективном создании симфонических композиций, которые затем проигрывались на таких вот гармошках, воспроизводя некие физические картины мира. Поэтам не свойственно «алгеброй гармонию поверить», но лингвисты, изучающие этих поэтов, теперь куда как часто прибегают к математическим расчетам столь сложным, что с ними справляются только компьютеры. Историки же и здесь оказались рутинерами. Уже если биологи решились проиграть на машине миллиардолетнее развитие, то почему то же самое нельзя совершить с человеческими веками и тысячелетиями? Следует взять реальный исторический период, где действует некая

выдающаяся личность, запрограммировать его, проверить через счетно-решающее устройство — совпадет ли программное развитие с ходом истории? Совпадает — прекрасно! Тогда уберем-ка из программы великую личность, посмотрим, как смоделированная история развернется без нее. Будут конкретные результаты, никак не гадательные. Оказывается, с неподвластно-величавой историей тоже можно проводить эксперименты.

Но легко сказать — запрограммировать кусок истории. Это значит расчлени целый пласт многообразной, запутанной жизни на простейшие составные части, представив их в виде отдельных задачек с таким расчетом, чтоб они решались односложно — да или нет. Именно так только и способна отвечать машина, действующая по принципу — прошел или не прошел электрический импульс, оперирующая набором единиц и нулей, из бесчисленности которых и создаются некие сложные выражения, как из сочетаний точек и пробелов на газетном листе получаются тональные оттиски фотографий.

Я зажегся было, но тут же остыл — неподъемно, не зря же никто еще не брался за такой подвиг. Однако заноза глубоко вошла, вызывала воспаление, я ни на минуту не переставал думать. Собственно, меня интересует не широкий фронт исторического прошлого, а лишь участок, на котором действует какая-нибудь выдающаяся личность, тот же, к примеру, Христос. Это уже несколько облегчает мое положение. Мне следует уяснить границы влияния Христа.

Когда-то у нас безоговорочно отвергали его историческую реальность — мифическая фигура, плод воображения многих поколений. Сейчас же, насколько мне известно, все наши историки раскололись на два лагеря, одни по-прежнему считают: такового в действительности не было, другие утверждают: был, существуют скупые свидетельства.

Я склопен верить последним, и вовсе не потому только, что существуют отрывочные упоминания о нем в древних источниках. Нет, не мимолетно брошенные оговорки Тацита, Плиния Младшего, Светония убеждают меня, а объективное обстоятельство: коль возникло мощное движение — христианство, то у истоков его непременно должна находиться и выдающаяся среди других личность. Как правило, лишь в чьей-то одной голове высекается изначальная искра будущего духовного пожара. Человеческая память указывает на галилейского проповедника: Иисус

Христос, ни кто иной! Нет смысла отвергать это, ставить вместо известной величины безликий икс. Важно разглядеть в Христе под многовековыми напластованиями божественного — человека. И я принялся пристрасно вглядываться...

6

Его туманная биография в каком-то смысле результат биографий всего человечества. А его духовное зарождение вообще началось в непроглядных далях бытия, еще в мире животных, где сильный уже начинает подчинять слабого.

Но знаменательно: неравноправная война сильного со слабым у животных до крайней жестокости не доходит. Схватки за высокое положение большей частью непродолжительны и бескровны, скорей символичны: воинственные звуки, показательные выпады, демонстрация агрессии, борьба характеров, в которой нерешительный отступает, не ввязываясь в драку. Смертельный исход в такой войне — исключительная редкость. Характерно: хищников природа наградила орудиями убийства, но вместе с ними вложила инстинкт, препятствующий беспощадно расправляться со своими «соплеменниками». Волк, побежденный сильнейшим, падает на спину и подставляет самое уязвимое место — шею. Победитель, как бы ни был разъярен, не вцепляется зубами в незащитное горло. Сдерживающий инстинкт оказывается сильнее ненависти.

Если у современных человекообразных обезьян драки за первенство почти никогда не кончаются смертью, то, должно быть, убийство было несвойственно и тем приматам, которым предстояло превратиться в людей. Да наверно и сами перволюди не низколобые, зверообразные дикари, одно представление о которых у нас вызывает невольное содрогание, скорей всего жестоки друг к другу не были. Однако уже синантроп, дальневосточный собрат питекантропа, достаточно далеко шагнул вверх по эволюционной лестнице, чтоб преодолеть в себе охранительные инстинкты, — его череп археологи обнаружили в «кухонных отбросах». А уж коль они лакомились друг другом, то, значит, и сражались между собой с лютой беспощадностью.

Человек головокружительно быстро набрал силу — что прежде было недоступным, становилось доступно, а осознание своих возросших возможностей заставляло желать

все большего и большего. Звери, обладающие могучими мускулами, устрашающими клыками, в страхе отступали перед ним. Единственным существом, способным воспрепятствовать исполнению неутолимых человеческих желаний, оказался другой человек, столь же ненасытный и столь же вооруженный. Есть ли сейчас па нашей планете хоть одно место, обжитое человеком, не политое его кровью, не вымощенное его костями в самоутверждающих битвах?.. Ради своей жизни отыми жизнь у другого!

Но вот открылось — отнять жизнь можно и не убивая, а присваивая ее. Живи, но не для себя, а для меня! Жестокое насилие стало способом существования, без побоев и надругательств не вырастал колос на поле, не появлялся хлеб на столе.

Ненавистничество настолько заражает сознание людей, что даже богов-покровителей они представляют себе не иначе как злобно-коварными, жестокими до мелочной мстительности. Великому Зевсу кажется, что его обделили при жертвоприношениях, и он через ящик Пандоры насылает на род людской болезни и бедствия. Сиятельный Аполлон сдирает кожу с силена Марсия за то только, что тот посмел соперничать с ним в игре на флейте. Яхве, всемогущий, единодержавный бог евреев, постоянно суетно озабочен: бояться ли его люди, а вдруг как нет? От Авраама он требует невозможной жертвы — зарежь для меня своего единственного сына. И когда послушный Авраам заносит нож, бог удовлетворенно останавливает: «Ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога...»

Тем не менее среди всеобщей жестокости раздаются предостерегающие голоса. «Не следуй за большинством на зло...» — поучает Моисей. А пламенный Исайя прямо требует: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу...» Нет, это не атавистическое проявление заложенного природой охранительного инстинкта, человек начинает делать робкие выводы, его разум восстает против отравленного бытия.

Пока эти голоса случайны и непоследовательны. Сам Моисей жестокосерден, следует правилу: «Око за око, зуб за зуб!» И все тот же правдолюбивый Исайя без содрогания страшит врагов: «И младенцы их будут разбиты перед глазами их; дома их будут разгромлены, а жены обещены...»

Среди изнемогающего человечества должен был возникнуть бескомпромиссный, решительно отвергающий всякую жестокость голос. Мир начал ждать глашатая, и он

появляется — из глубины подавленного народа, из самых низов, из отверженных.

Он не вопит и не устрашает, как это делали до него многочисленные пророки-правдолюбцы. Кто отзовется на пугающий вопль, когда вопят всюду? К устрашениям все давно привыкли. Он негромко убеждает: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Мир без врагов, мир, живущий взаимной любовью, — новое безрассудное желание, противоречащее самой природе, которая даже у животных установила: сильный подавляет слабого, позаботившись лишь об ограничениях. Воистину неугасим человек! Он и тут замахивается на невозможное, что не предусмотрено матерью-природой.

Но мать-природа непредусмотрительно обделила нас крыльями, а мы все-таки летаем. Разве поднялись бы мы в воздух, если б в глубине веков неподготовленный человек с безрассудной страстью, вопреки природе не пожелал заведомо невозможного — хочу летать! Хочу, и все тут, без всяких на то оснований.

И основания были добыты позднее.

Слава тем, кто заражает род людской неисполнимыми желаниями! Через них невозможное становится возможным.

7

Те, кто пользуется автобусами, поездами, самолетами, сами их не водят. Так и те, кто прибегает к помощи вычислительных машин, чаще всего непосредственно с ними не общаются. Существует все время растущая армия специальных толмачей между человеческим и электронным интеллектом. В обыденности их именуют программами.

Я имел дело со многими из них, одни в моей жизни занимали не более места, чем случайные водители такси — провезли да высадили, — с другими меня связывала тесная дружба, а для программистки Ирины Сушко я был еще и крестным отцом.

Нильс Бор как-то мимоходом бросил, что недостаточ-

но сумасшедшая идея в физике имеет меньше шансов быть правильной. Каждый уважающий себя физик пробовал сумасшествовать, я тоже в том грешен. Одну шатко-ненормальную идею, которую я вынашивал, необходимо было подпереть расчетами, для этого нужен программист, а в них тогда ощущался острый недостаток. Мне посоветовали взять студентку последнего курса мехмата: «Исключительно способна!»

Миловидно носатенькая, но с густыми, суровыми, недевическими бровями, Ирина, казалось, вся состояла из несовместимых противоречий: надменно-самолюбива и в то же время пристрастно к себе недоверчива, порывиста и крайне осторожна — из тех, кто семь раз дотошно отмерит, прежде чем один раз отрезать, — страстная убежденность у нее могла внезапно смениться горячим отрицанием, упрямство — раскаянием. Словом, еще тот характер — скачущий. Однако мы с ней прекрасно сработались, совместно получили убедительное доказательство, что моя идея, вне всякого сомнения сумасшедшая, ничего не имеет общего с реальной действительностью. Для меня — неудача, если не конфуз, для Ирины — содержательная дипломная работа. Ей пророчили большое будущее. Но скачущий характер, подстегнутый самомнением, кинул ее в сторону от физики:

— Георгий Петрович, на исхоженном вдоль и поперек континенте Экономики должны быть тайные тропы, ведущие под неприступные стены Нравственности. Хочу поискать.

Я уже хорошо знал ее, а потому не спорил и не отговаривал, только сказал на прощание:

— Если упрешься в тупичок, возвращайся назад к нам.

Можно не сомневаться, никаких заветных троп она не нашла, но к нам не вернулась, продолжала программировать хозяйственные операции. Здесь новое слово сказать трудно, эту жилу разрабатывают многие, особенно активно американцы.

Ирина изредка мне звонила просто так, по старой памяти — узнать, как я живу, — еще реже мы встречались у общих знакомых. Из носатенькой поровистой девочки она превратилась в несколько угловатую, не очень-то придиричиво следящую за собой женщину, однако по-своему привлекательную, пожалуй, даже красивую — с темным загадочным взглядом из-под пугающе густых бровей. Уже она успела развестись с мужем, совсем недавно вышла во

второй раз за человека много ее старше, ответственного руководителя какого-то ведомства.

Сейчас Ирипа пужна мне — для совета.

— Приду! — отозвалась она в телефонную трубку и с присущей ей решительностью продиктовала время и место встречи: — В час у вас в институте. Не встречайте — дорогу помню.

Два скромных здания — старый и новый корпуса — можно назвать постпредством нашего института в столице. Здесь широко расположилась администрация, имеются актовые залы разных размеров, для разных случаев, две библиотеки и несколько лабораторий, имеющих скорей музейное, чем рабочее значение — в них в свое время тихо свершались впоследствии получившие громкую известность события. Основные силы института давно перенесены в академгородок, прячущийся в лесах за пределами Московской области. Там у нас, по существу, многоцеховая, технически оснащенная фабрика, на которой сотни сотрудников с учеными степенями и без оных добывают (или, по крайней мере, пытаются) уникальную информацию.

В Москве у нас тесно, далеко не все заслуженно уважаемые профессора имеют пристанище в стенах своей альма-матер. Теоретики вообще поставлены в положение падающих. На меня же некогда возложили весьма расплывчатые обязанности главного консультанта по научной периодике и выделили в старом корпусе под самой крышей пространство в пятнадцать квадратных метров, с широким арочным окном на шумную улицу. Возложенные обязанности как-то незаметно слиняли с меня, словно зимняя шерсть с зайца, а кабинет вместе с несолидным канцелярским столом и солидным шкафом, забитым старыми журналами и монографиями, остался за мной. Единственный мой вклад в него — большая, почти плакат, фотография спиральной галактики M51, смахивающей на растрепанный знак вопроса. Фотографию эту подарил мне автор, один американский астроном из Паломарской обсерватории. Вместе с ним я пытался объяснить, почему закрученность галактик не размазывается, когда должна бы, казалось. Интерес к завиткам данной галактики у меня давно исчез, а ее портрет остался.

Под этим-то космическим портретом и расположилась Ирина Сушко. Она закурила сигарету и забыла о ней,

слушала, и на скулах проступал исподволь легонький румянец...

Заряд мой был выпущен быстро — замысел и проторанный вопрос: не располагает ли она какой-нибудь забытой идеейкой создания математической модели истории?

Я кончил, Ирина порывисто встала, подошла к окну, долго стояла ко мне спиной, напряженно вытянутая, осино-тонкая в талии.

— Вы безумец, Георгий Петрович, — произнесла она наконец и обернулась. — Восхищаюсь вами.

— Как прикажете понять, Ирочка, — похвала это или осуждение?

— Да вам-то не все ли равно! В похвале моей не нуждается, осуждения моего не боитесь.

— Боюсь осуждений, хочу вам нравиться, так как пуждаюсь в вашей помощи.

Она откатнулась от окна, рывком придвинула кресло, села напротив, скрывая под насупленностью волнение, сурово потребовала:

— Покажите мне кончик надежды — сломя голову кинусь за вами!

— То-то и оно — самому бы за что ухватиться.

— Не пытайтесь стать историком, Георгий Петрович, тем рыбаком, который лишь выуживает признаки прошлого.

— В кого же мне советуете переквалифицироваться?

— В мыслителя-анатома!

— А это еще что за гибрид?

Ирина разглядывала меня требовательно блесевшими глазами.

— Ах, вы столь наивны, что не догадываетесь, что вам придется рассекать на части, раскладывать по полочкам запутанную историю. Не догадываетесь, но предлагаете — не возьмете ли на себя учет и систематику? Возьму, Георгий Петрович, возьму, если буду иметь что учитывать, что приводить в систему!

Я молчал, прикидывал — на что сам иду и какие обещания могу дать этой женщине? Иду, в общем-то, на авантюру, пообещать же ничего определенного не решусь. А подозрительная затея наверняка будет стоить немалых трудов, и компенсировать их ничем, кроме добрых отношений, не сумею. Не следует ли вовремя схватить себя за шиворот?..

Ирина приглядывалась, выжидала и не дождалась, сама мягко заговорила:

— Трусые в карты не играют, Георгий Петрович. Готова с вами идти ва-банк. С вами, Георгий Петрович, только с вами! И не по старой дружбе, и не потому, что рассчитываю на триумф, а потому, что знаю — вы на бессмысленное не позовете. Не вам объяснять: машина — дура, умеет перемалывать только чужое. А я у этой дуры прислужница. Мы всего-навсего ваш костыль, Георгий Петрович.

— То есть, не зная броду, не суйся в воду, — очнулся я. — Что ж, буду искать этот брод. Пока не найду, не потащу вас за собой.

— Нет, Георгий Петрович! Нет! Вместе полезем. Костыль, которым станете нащупывать твердое дно, будет с вами. Иначе зачем же мы нужны, когда брод открыт?

— Найдем ли брод, переберемся ли — все равно заранее спасибо, Ирина.

Она норовисто дернула головой.

— Не за что, Георгий Петрович. Грешна! Не ради вашей славы, ради корысти своей... Закисла я в стороне от вас. Черт те чем теперь занимаюсь, технологические процессы хлебопекарного комбината программирую. Да с ними любой более менее математически грамотный дьячок справится. Подвигов жажду! Чтوب — раззудись, рука, развернись, плечо! Василия Буслая в себе чую!

Я вздохнул:

— Подвиги-то по столбовой дороге растут, а я тяну в околесную чашу. Заблудимся, Василий Буслай, в незнакомых местах...

— Ну и заблудимся, кто нас за это попрекнет? Не задание плановое выполняем, токмо любопытства ради... А вдруг — да!... Нелюбопытные жар-птицу не ловят.

Она ушла. Я подошел к окну. Внизу за окном, разминая мокрый снег на асфальте, стадно неслись машины; промозглая дымка над озабоченно суетливой улицей, слаясь на мостовых, давящее серое небо над высокими прозрачными домами — тусклый будничный денек, не обещающий надежд, не располагающий к мечтам, не вызывающий к дерзости.

Над миром неспешно катится очередной март, ощущается ранняя весна, рычат на московских улицах машины, расплескивают талый снег. И где-то за сухопным небом, в солнечной пустоте плавает вокруг Земли космическая станция «Салют-6», соединившаяся недавно с кораблем, который доставил двух новых добровольных узников

во славу науки. А я уныло торчу в окне, без особого воодушевления строю, однако, странные планы — как прорваться на две тысячи лет назад, в незапамятную древность, чтоб убить там того, кого люди чаще всех, шумнее всех славили в веках.

Потом я часто вспоминал этот тусклый оттепельный день. Забыл даже его число, а оно бы должно быть в моем календаре выведено красным. С него началось, до тех пор были только мечтания. В тот день я завербовал штурмана в плавание по реке Времени. С того дня я стал отбирать из истории необходимый мне багаж. Тут начало!..

СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ

Откровения возле философской бочки

Это случилось за триста лет до Христа.

В богатый и славный Коринф вновь съехались люди со всех городов Греции, и только упрямая Спарта, которая рядом — рукой подать, — опять никого не прислала.

В прошлом году царь полуварварской Македонии Филипп заставил здесь признать себя предводителем эллинов. Грозны были его фаланги, вооруженные македонскими сариссами — копьями в пятнадцать локтей в длину. Но зимой он праздновал свадьбу своей дочери Клеопатры, выходил из театра, и один из его телохранителей, юный Павсаний, всадил ему в бок свой меч.

Ни Фивы, ни Афины, ни другие города Эллады не успели прийти в себя, как сын Филиппа Александр повернул отцовские фаланги на юг. Никто не решился сопротивляться. Коринф торжественно встретил двадцатилетнего властелина, и отовсюду спешили посланники, чтоб выразить ему свою покорность и преданность.

Его сопровождала пышная свита — восточная цветистость и эллинское изящество нарядов, горящие на солнце доспехи воинов. В Коринфе, где мрамор колонн превращали в затейливое переплетение пальмовых листьев, а бронзу в фантастические цветы, любили изысканную пышность. Но всех ослеплял юный царь. Коринф, стоящий сразу на двух морях, принимавший людей со всего света, еще не видел в своих степях такого человека. Красив, как Дионис, мужествен, как Аполлон, Александр с шестнадцати лет начал командовать войсками, в восемнадцать в страшной битве при Херонее увлек за собой дрогнувшую

фалангу па Священный отряд фиванцев, считавшийся непобедным. Священный отряд весь полег — воин на воине, ни одного не осталось в живых... Из уст в уста по всему городу с трепетным страхом передавали, как Александр недавно посетил Дельфийский храм. Был «черный день», когда оракул молчит, никому не выдает предсказаний — ни царям, ни простолюдинам. Но не Александру... Он подхватил пифию, силой повлек ее к храму. И пифия воскликнула: «Юноша! Тебе пельзя не покориться!» «Этого изречения мне довольно», — сказал Александр и отпустил ее. Готов спорить с богами, укрощать судьбу, недоброжелатели старались высмеять его непомерное честолюбие: будто бы он плакал при виде полной луны, что не может завладеть ею. Но это ни у кого не вызывало смеха, а изумляло.

И сейчас в переполненном Коринфе все, все спешили хоть одним глазом, хоть издалека, из толпы, через головы других увидеть похожего на молодого бога господина Эллады. Спесивые аристократы и рабы, мужественные воины и суетные женщины, дряхлые старцы и дети, коренные жители и приезжие — все, все сгорали от любопытства.

Только один человек в городе не пошевелился, чтоб взглянуть на Александра, царя македонского. Он и сам был известен и в Коринфе и далеко за его пределами — Диоген из Синопа, странный мудрец. Он угрюмо презирал богатство, ел что придется, облакал немывое тело в рваные тряпки, жил в бочке. Его побайвались, к нему испытывали жгучее любопытство, охотно слушали его гневные обличения, но, выслушав, шли, однако, домой, подходящую бочку для жилья искать еще никто не пытался. Кой-кто за грязный вид называл его собакой, а покойный Платон в свое время окрестил «беснующийся Сократ».

Александр не мог не слышать о Диогене, ему еще не доводилось видеть человека, который оставался бы к нему равнодушен. Такого следовало завоевать. И предводитель эллинов в сопровождении торжественной свиты и теснящейся толпы горожан направился к бочке.

Диоген лежал на мусорной земле, грелся на солнце — сивая от пыли борода, копотно-черное, пропаханное морщинами лицо, костляво-крючковатые руки, усохшее тело, укрытое бурым от грязи, ветхим гиматием, из-под которого торчали босые, узловато-старческие ноги с обломанными погтями. Он не пошевелился, лишь приподнял мятое

веко, глянул дремотно темным глазом на юного властелина, на остолбенело-величественных вельмож, на толпу, сдерживаемую воинами в начищенных латах. На поклон и вежливое приветствие царя он небрежно кивнул нечесаной головой.

У Александра персиковый румянец на щеках, влажные глаза, в смелом разбросе густые брови, плечи широки, певучими складками с них стекает легкий, из заморской «древесной шерсти», хитон, перехваченный золотым поясом. В кроткие минуты он обычно клонил голову влево, глядел сейчас с серьезным — почти детским — любопытством на лежащего во прахе прославленного философа.

А свита позади, полыхающая пурпуром, сверкающая серебром и золотом, недоуменно взидала на встречу людей, схожих друг с другом ровно столько же, как солнце в небе с придорожным булыжником. Один равен богам, а в другом нет человеческого, даже не раб, почти животное. Но на этот раз господином держится не богоподобный — царь почтительно стоит перед возлежащим нищим.

И Александр почувствовал — победить не в силах, любая победа тут окажется смешной в глазах всех. Но в его силах осластливить.

— Что могу для тебя сделать? Проси! — произнес он в порыве.

Диоген повел темным взглядом и смежил мятые веки.

— Посторонись немного. Ты закрываешь мне солнце.

Свита замерла, а толпа пришла в движение. Не все слышали ответ, но все хотели его знать.

— Клянусь Зевсом! — воскликнул царь с молодой запальчивостью. — Если б я не был Александром, то стал бы Диогеном!

Он кинул последний взгляд на дремлющего черноногого философа, и свита почтительно расступилась перед ним.

Все схлынуло, остался один — невысок, худощав, на скуластом лице в подстриженной бородке прячется насмешливая улыбочка. Он подошел и, осторожно подвернув белую хламиду, опустил на землю.

— Ты узнаешь меня, Диоген?

Сумрачный глаз блеснул настороженно и недоброжелательно. Диоген не ответил.

— Не притворяйся, что не помнишь меня, — с усмешкой продолжал подсевший.

— Хорошо помню,— сипло объявил хозяин.— Этот ребенок возит тебя с собой, Аристотель Стагирит, как дорожную игрушку.

— Он перестал играть в логику и этику, Диоген. Он теперь собирается играть народами и царствами. Я больше ему не нужен.

— Однако ты все еще с ним.

— В последний раз. Возвращаюсь в Афины, там ждут меня ученики попроще.

Диоген сердито фыркнул:

— Будешь снова учить — принимайте этот гнусный мир, и он примет с объятиями вас.

Аристотель по-прежнему таил в бороде усмешечку.

— Из твоей бочки мир действительно выглядит непривлекательно.

— Я спрятался от него в бочку потому, что досыта нагляделся, как люди испакостили его. Больше не хочу видеть.

— Испортили мир? Значит, он когда-то был хорош?

— Он и сейчас еще хорош там, куда люди не могут добраться.

— А как ты мог видеть такие места, Диоген, куда люди не добрались?

— Подыми голову, Аристотель,— сердито сказал хозяин бочки.— И делай это почаще. Видишь небо? Оно чисто, не затоптано и не заплевано. Сравни его с грязной землей. А ласточек видишь?.. Они свободны и счастливы. Такой чистой когда-то была и земля. И на ней жили свободные люди, которые, как ласточки, не желали себе много.

— Их наказали боги?.. Ох, это старая сказка, Диоген.

— Не лукавь со мной, Аристотель. Я же знаю — ты не из тех, кто кивает на богов. И я не глупей тебя. Люди сами наказали себя.

— Кто и когда это сделал?

— Не все ли равно — когда. Давно! Стерлось из памяти... А кто первый начал портить жизнь — догадаться можно.

— И кто же? — поинтересовался Аристотель.— Наверное, такой же жадный до власти, как Александр Македонский, почтивший тебя сейчас?

Диоген презрительно хмыкнул:

— Плоды созревают после того, как из семени вырастет дерево. Александры появились потом.

— Кто же тот злодей, бросивший дурное семя?

— Усердный земледелец! — своим сильным голосом возвестил Диоген.

Аристотель с прищуром уставился на него — пыльная борода, хмурый лоб, мятые веки, под ними беспокойные глаза. Прячась в бочке, этот старый почитатель Сократа, похоже, слышит все, о чем говорят его собраты. Совсем недавно Аристотель высказал мнение, что наилучший из всех людских слоев — земледельцы, бесхитростно делающие свое дело, всех кормящие, ни во что не сующиеся, не стремящиеся править другими людьми. Они никому не приносят вреда — только пользу. Воистину соль земли. Диоген делает выпад.

Аристотель посерьезнел и спросил наивежливейше:

— Объясни мне, чем земледелец, да еще усердный, мог испортить счастливый мир.

— Он понял, что мотыга плохо кормит его, догадался построить себе соху, запряг в нее вола...

— Разве это преступление, о Диоген?!

— Самое большое. Такого преступления никогда не сделает твой Александр, как бы он со своими войсками ни старался убивать, разрушать, сжигать. Александр — кроткий агнец, если сравнить его с первым погоняльщиком вола на поле.

— Темны мне твои слова, Диоген.

— А ты поднапрягись, чтобы понять: пока есть мотыга, не может быть зла! — с сердитой сипотцой, торжествующе. — Если ты даже очень сильный, то все равно не заставишь меня, слабого: бери мотыгу, добывай мне хлеб. Меня же придется кормить, чтоб я мог работать. А мотыгой, хоть надорвись, много не добудешь, едва-едва хватит быть сыту одному. Какой же расчет, посуди сам, Аристотель, тебе применять силу ко мне — все, что ни сделаю мотыгой, уйдет на меня же, тебе достанется совсем ничего. Уж выгоднее тебе самому ковырять землю, чем возиться со мной.

— Но ведь если я силен и бессовестен, — возразил Аристотель, — то почему бы мне не использовать тебя, слабого, на самой тяжелой работе — взрыхлении земли? В это время я могу даже кормить тебя, чтоб совсем не обессилел. Использовать, а потом выгнать. Зачем содержать тебя весь год, если самое тяжелое сделано? Урожай я уж как-нибудь сам сыму. Это легче. Мотыга не избавляет от зла, Диоген.

Диоген приподнялся, глаза его теперь сверкали среди спеченных морщин.

— Ты выгонишь меня вон — иди куда хочешь! Ты дашь мне свободу! Ну так на следующий раз я уж постараюсь не попасть тебе под руку. Да и другие тоже будут обходить тебя стороной. При мотыге ты со своей силой не разгуляешься — ни меня, ни кого другого рабом своим быть не заставишь. Сам ворочай. Жадность твоя обуздана! Бесстыдная сила твоя связана! Ты не можешь никому сказать: я твой господин! И жестокость свою над кем ты покажешь?.. Или я не верно говорю?

Аристотель задумался.

— Продолжай, Диоген, — наконец попросил он. — И вот усердный земледелец догадался соорудить соху...

— И не только соху! — запальчиво возразил Диоген. — Он и выкормил вола. Мотыгой! А это не каждому по силам. Только самому усердному.

— Пусть так, — согласился Аристотель. — Что соха без вола...

— Я не кляну этого земледельца, Аристотель, нет! Он и не знал, что открывает злую дверь в мир. Он хотел только больше обработать земли, больше получить хлеба, чтоб не голодать с детьми. И получил... Да, да, соха не только накормила его досыта, но стал оставаться лишний хлеб. Лиш-ний, Аристотель! Тогда-то все и случилось. Тогда слабого уже можно заставить — ходи за сохой, добывай мне, сильному, хлеб, а я стану кормить тебя, как кормлю вола. Кормить и погонять, чтоб — больше, больше! Чтoб я смог держать новых волов, новых рабов и еще больше, больше получить себе с них. Не насытятся уж никогда! В мире родилась жадность, Аристотель. От жадности — жестокость. От жестокости — ненависть! Мир испортился...

— И все началось с сохи... — Прежняя усмешка вернулась к Аристотелю. — Заставим земледельцев разбить свои сохи. Возьмем снова в руки мотыги. Ты этого хочешь, Диоген?

— Теперь уже надо разбивать не только соху, а все, что она нажила, — дворцы и богатые дома, театры и рестораны, даже храмы... Пусть даже боги не смущают нас богатством! Надо собрать все золото какое есть и утопить его в море. Надо заставить скинуть богатые одежды и сжечь их на площадях. Тех, кто посмеет противиться, предавать смерти. Человек должен вернуться к самому себе!

— То есть должен походить на тебя, Диоген?

— Я показываю, как можно быть счастливым, когда ничего не хочешь.

— Жаль, что ты не видишь себя со стороны, счастливый человек.

— И все-таки не позавидовал даже он, сын могущественного Филиппа, юный царь македонский!

Всклощенный, одно тощее плечо выше другого, лицо темное, иссеченное, что кусок выветренной скалы, и безумием горящие глаза, и черные искривленные ноги из-под грязного гиматия — «беснующийся Сократ».

Аристотель рассмеялся:

— Он умен, этот юный царь. Ты своим безобразием сейчас украсил его, сам того не заметив. Позавидовал... Да слава о его странной зависти разнесется по всей Элладе. Все станут повторять его слова, удивляться им. Неужели ты мог хоть на миг поверить, что он... он, владыка эллинов, собирающийся сокрушить спесивых Ахеменидов, уляжется вместе с тобой в бочке? Не смеши, Диоген!

И Диоген приосанился, вздернул вверх пыльную бородку:

— Ты прав — признаю, его слова лживы. Он всегда будет всех только обманывать — обещать славу, а приносить кровь, даровать счастье, а вызывать ужас и слезы, щедро бросать богатства и превращать хватающих царские подачки в своих рабов. И в благодарность за все это чей-то меч поразит его, как недавно поразил его отца. Ты так не считаешь, Аристотель?

— Все возможно, Диоген, — согласился Аристотель.

— А-а! — восторжествовал тогда Диоген. — Признал это, признай и дальше: не лучше ли всем вести себя так, как веду себя я! Не рваться ни к славе, ни к богатству, не завидовать другим, не надрываться на работе, чтоб получить лишнюю гроздь винограда. Кому тогда придет в голову замахнуться на тебя, обидеть, отнять твою жизнь?

— Все, как ты, Диоген?

— Все, как я! И это так просто!

— А позволь тебя спросить: почему ты не завел в своей бочке семью, не вырастил детей?.. Не падо, не отвечай, без того ясно. Тот, кто довольствуется бочкой, не хочет себе лучшего, вряд ли сумеет хорошо заботиться о детях. Им возле бочки придется недоедать, зарастать грязью, мерзнуть от холода. И если они не умрут, то вырастут слабыми и болезненными, дадут хилое потомство. Все, как

ты, готовые иметь самое малое, лишь бы не осложнять жизнь. Да люди вырождаются тогда, Диоген! На земле будут выть волки в одичавших виноградниках.

— А не получится ли иначе, Аристотель: люди, соперничая в жадности, так ожесточатся, что перегрызут друг друга? И тогда волки в одичавших виноградниках все равно будут выть.

— Оглянись, Диоген, кругом. Оглянись повнимательней! Лев в пустыне грызет газель, коршун в небе хватает ласточку, лисица жрет мышь, а все живое, однако, не оскудевает. Так повелевают боги. Или кто-то выше богов. И не тебе, Диоген, сокрушать это.

Напряженно скособоченный Диоген устало обмяк, отвел глаза, долго угрюмо молчал.

— Ты прав, всезнающий Аристотель,— глухо согласился он.— Боги жестоки... Вот потому-то я и прячусь от них в бочке. Ничего не прошу у богов себе, но и помогать им не хочу. Иди, угодный богам Аристотель из Стагира, иди, тебя ждут новые ученики. Одного уже ты вырастил для мира, кажется, он щедро напоит его кровью. Готовь других, говори им, чтоб не стеснялись душить друг друга и не стонали, если кто-то станет душить их. Так уж заведено в нашем мире. Иди, Аристотель, я хочу спать.

И Диоген полез в свою бочку.

Аристотель поднялся, стряхнул мусор со своего белого хитона, улыбнулся в подрубленную бородку:

— Пожалуй, ты нашел способ быть счастливым — проспать жизнь. Таких не следует будить. Прости меня, Диоген, больше не потревожу.

Диоген не ответил.

Он прожил в своей бочке еще тринадцать лет и умер на восемьдесят первом году. В тот год в далеком Вавилоне от загадочной болезни скончался полный сил грозный завоеватель мира Александр Македонский. Он избежал меча, но избежал ли яда?..

Аристотель пережил их обоих только на год. Он что-то плохо ладил с афинскими богами и афинскими правителями, ему пришлось удалиться на остров Эвбею, жить последние дни в изгнании. Из всех языческих философов христианство приняло только его, много веков прикрывалось его могучим авторитетом.

Сноровистый земледелец, вырастивший вола, приспособивший его к сохе,— незаметное событие в истории. Столь же незаметное, как в огромной плотине, запрудившей большую реку, просочившаяся первая капля. Но за этой первой каплей, проложившей себе путь, пойдет вторая, третья, капля за каплей, и вот уже слабенькая струйка, жалкий ручеек, который крепнет, ширится, превращается в большой поток, прорывающий плотину. Зная напор воды, толщину плотины, плотность грунта, инженер может рассчитать скорость размыва, то есть математически выразить совершающийся процесс.

Но на этот процесс могут повлиять некие случайности, предусмотреть которые невозможно: в верховьях реки вдруг выпадут проливные дожди, увеличат напор воды, некоторые неуловимые неравномерности в насыпи облегчат размыв или, напротив, вызовут осадку плотины и размыв задержат...

История загромождена фатальными случайностями... Случайно солдат, защищавший Тулон, ранил капитана Бонапарта в ногу, а не нанес ему смертельную рану, скажем, в живот или грудь. Тогда бы не было Наполеона, не было бы тех побед, какие одержала Франция в Европе, не было бы в России войны 1812 года, и Лев Толстой не написал бы свой великий роман «Война и мир». И вообще, что было бы и не было в нашей жизни и как бы сейчас она выглядела? Если случай фатален, то чего стоят закономерности, которые мы пытаемся улавливать в окружающем мире?..

Я вглядывался в далекие времена, пытался вывести общий показатель в развитии условного рабовладельческого хозяйства.

Раб, наверное, работал ленивее стародавнего земледельца: не для себя старался. Но хозяйственный механизм, составленный из таких рабов, способен был совершить то, что патриархальному хозяйству и не снилось, а значит, интенсивней шел рост и развитие.

В маленьком неразвитом хозяйстве господин сам хозяйским глазом наблюдал за своими немногочисленными рабами, собственноручно палкой подгонял нерадивых. Но вот хозяйство разрастается настолько, что хозяйский глаз уже не может углядеть за всеми рабами, до каждого не дотянешься палкой — ставь надсмотрщиков.

Надсмотрщик ничего не производит, но обеспечивать его надо не в пример лучше, чем раба, иначе не станет усердствовать, блюсти хозяйские интересы.

Хозяйство растет, и хозяин уже не успевает следить за многочисленными надсмотрщиками, приходится и над ними ставить старших надзирателей. Чем дальше, тем больше — прибегай к услугам управляющих...

Получается: количество рабов увеличивается лишь в одном измерении, а надзирателей за ними, штат непроизводительный, — в двух, так сказать, и вширь и вверх, значит, и расходы на него возрастают в удвоенном темпе.

А рабский труд не очень-то продуктивен, неизбежно приходит момент, когда доходы расширяющегося хозяйства начинают съедаться управлением.

Экономь на рабах! И без того голодные, обессиленные, они снижают работоспособность. Погоняй их сильнее! Но как?.. Еще больше увеличивай число надсмотрщиков, еще больше отрывай от изможденного раба?.. Порочный круг, полная безысходность, агония истребления.

Этот процесс, где несоразмерный количественный рост приводил к несовместимым противоречиям, — первое, что удалось мне выразить математической зависимостью.

Представить процесс, так сказать, в чистом виде, освобожденным от случайностей...

Именно этот процесс и породил движение, которое мы именуем христианством. В агонии ожесточения призыв к любви, как крещендо избавления, должен был дорасти до предела — люби не только ближнего своего, но и врага своего! Даже врага! Дальше некуда.

Казалось бы, так ли уж нужен математический подход, чтоб доказать неизбежность Христа? И без математики мне с успехом доказывается. Ой ли?.. Появление именно такой, а никак не иной индивидуальности в ходе человеческого развития есть случайность. Индивидуальности неповторимы! И если допустить, что родился не Христос с его уникальными особенностями, а кто-то другой, на него не похожий, то как это отразится на истории — темна вода во облаках.

Но для того чтобы умозрительно отобрать Христа у истории, необходимо то и другое представить себе не иначе как в виде связанных между собой признаков. Признаков незаурядной личности и признаков эпохи. Своими собственными силами и математической споровкой такое море я не расхлебаю. Раз уж решил бросить перчатку

господину Случаю, значит, должен быть и вооружен надлежащим образом.

Мы с Ириной Сушко усиленно готовились принять в свои руки интеллектуальное оружие — электронно-счетную машину,

2

Раньше новые знания получали «вручную». Галилей сам смастерил первый телескоп и открыл с его помощью четыре спутника Юпитера. Левенгук собственноручно шлифовал линзы для своих микроскопов и узрел невидимый до тех пор мир микробов. Даже Резерфорд в начале нашего века ремесленнически изготавливал необходимую для научных экспериментов аппаратуру.

Сейчас ученым приходится отказываться от кустарщины. Синхрофазотроны физиков, оптические и радиотелескопы астрономов — технические установки, сравнимые с промышленными объектами. Все большая часть государственного бюджета в развитых странах идет нынче на то, чтобы обеспечить добычу неощутимого, нематериального продукта — знаний.

Давно вошедшее в обиход устройство, хозяйственникам помогающее решать сложные производственные задачи, физикам — раскрывать таинственные взаимодействия элементарных частиц, космическому центру — рассчитывать траектории аппаратов, летящих к Венере и Марсу, мы собираемся превратить в заветную Машину Времени.

В академгородке, где расположен наш филиал, есть свой вычислительный центр, гордостью и украшением которого является стоящая в отдельном зале Большая электронно-счетная машина последней модели — БЭСМ-6. Таких машин не так-то много по стране. Но помимо нее существуют и другие, поменьше, попроще, помедлительней. Все они не стоят без дела, так как вычислительным центром пользуется не один наш институт, а и все прочие, расположенные в том же утопающем в зелени городке. Обслуживаются иногда и клиенты со стороны. Рабочее время машин стоит дорого, особенно Большой, быстродействующей. Я же не настолько богат, чтобы мог оплачивать его из своего кармана. Да если б и смог, все равно сунуться в наш вычислительный центр не осмелился бы. С какой стати физик-теоретик является вдруг с программой... убийства Иисуса Христа в глубине истории? Это ни-

как не вяжется с теми задачами, которые разрабатывает наш институт.

И я уныло философствовал перед Ириной:

— Академик Арцимович как-то сказал, что наука есть лучший способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства. Но, во-первых, можно ли еще называть нашу затею наукой? Пока она только дилетантское увлечение. Кроме того, государственное учреждение, в котором я служу, явно не разделит моего личного любопытства.

Ирина Сушко, затягиваясь сигаретой, щуря от дыма длинные жесткие ресницы, ленивенько осведомилась:

— Что, совесть мучает — зря получаете свой профессорский оклад?

— Ну, до мучений мне дойти, положим, не дадут, ляжку тянуть заставят — консультации, рефераты, совещания разные... Однако и афишировать пока желания нет, что душой влез в другую упряжку.

— А я, похоже, и душой и телом с вами — от всех предложений теперь отказываюсь.

— Ценю такую преданность и казню себя, что не могу обеспечить вас, Ирочка, достойным орудием труда. Пам, наверное, не следует мечтать о высокопроизводительном комбайне, нам бы жаточку-лобогреечку попроще. Не высоковельможную БЭСМ, а какую-нибудь скромную, но безотказную М-4030.

— У меня есть намерение оседлать ЕС-1065.

Мне ровным счетом ничего не говорил этот буквенно-цифровой код, мог только догадываться, что под ним скрывается вычислительная машина определенной марки.

— Что-то не слыхал о такой.

— Неудивительно. ЕС — последнее слово третьего компьютерного поколения.

— Третьего! Выше рангом БЭСМ-6?!

— БЭСМ, как вам известно, второе поколение. Выше у нас пока ничего нет.

— И сколько же таких машин в Москве?

— Возможно, всего одна.

Я уставился на Ирину, словно мальчишка на фокусника, только что вынувшего из шляпы живого зайца.

— Кто нас к ней допустит, Ирочка?

— Ребята, которые с пей сейчас возятся. Я с ними кемножко знакома.

— Понимаю, знакомство — сила, но не настолько же великая, чтобы пробить нам проход к такому уникально-

му оракулу. Вокруг него наверняка стоят плотной стеной жаждущие от самых влиятельных организаций, не помня, жалким гуманитариям.

— В том-то и дело — никто еще не стоит. Заявок пока не принимают.

— Ну?..

— Ну а опробовать-то на чем-то поворожденного оракула надо. Пусть его обкатают на нашей задаче. Жрецам оракула, наверно, самим будет интересно приложить руку к покушению на Христа.

Я склонил голову перед дерзостью Ирины, хотя и не очень-то верил в успех ее авантюры.

Однако как плохо я себе представлял, в какого делового человека выросла бывшая студенточка мехмата. Через несколько дней Ирина объявила:

— Замечано. Вам придется нанести визит вежливости жрецам. Постарайтесь быть обаятельным.

В самом центре Москвы есть глухие, сохранившие дух старины уголки, куда лишь доносится сторонний шум больших улиц, где прохожие редки, а всезнающие шоферы такси чешут в затылке, вспоминая, где же находится такая набережная. А с этой тихой набережной не видно Кремля потому только, что его закрывают стены вовсе не высотных зданий.

Когда-то здесь были соляные склады, потом подсобные помещения одной из самых первых электростанций столицы, ныне давно бездействующей, теперь же тут вычислительный центр, один из крупнейших в городе. И обслуживает он главным образом энергетиков, помогает им управлять энергосистемами, раскинувшимися по всей нашей обширной стране с ее тысячекилометровыми высоковольтными линиями, уникально гигантскими и типовыми станциями, с ее разноликим потребителем в виде промышленных городов и периферийных деревенок с животноводческими комбинатами.

До сих пор я бывал в вычислительных центрах, где высокие окна, обильно пропускающие солнце, пластиковая роскошь, шаткая современная мебель, парадная современность, выпирающая из всех углов. Здесь же сумрачная величавость, присущая только старым московским домам, затертые лестницы, узкие окна, пробитые в толстых стенах, к тому же загроможденные объемистыми кондиционерами. В бывших соляных складах теперь рев-

ниво поддерживается пужная температура: интеллектуальные машины капризны — отзываются на малейшее охлаждение и потепление. Сами машины работают беззвучно, зато постоянно гудят вентиляторы, создавая впечатление — попал в производственный цех. Да так оно и есть, здесь обрабатывают, причем в массовом масштабе, поточным способом, информацию. И комнаты на этажах, освещенные лампами дневного света, действительно очень напоминают цехи каких-то фабрик местного значения. Вокруг машин, смахивающих скорей на холодильные шкафы, обычно толчется много народу, озабоченного и далеко не всегда занятого делом, — большей частью это программисты, терпеливо ждущие своей очереди (или рассчитывающие протиснуться без очереди). У всех нерешенные срочные вопросы, каждый надеется, что машина объяснит их.

Заветная ЕС-1065 стояла в одной из таких тесных комнат. Теснота здесь вызвана не только тем, что в бывших соляных складах не хватает помещений — оно так и есть, — но еще и тем, что аппаратура должна быть расположена на определенном, достаточно близком расстоянии друг от друга. Оказывается, нам придется иметь дело не с одной машиной. ЕС означает — единая система, система нескольких машин. Ее основной, центральной частью является электронный мозг, состоящий из сотен тысяч ячеек. Именно в нем и возникает вихрь импульсов — да и нет, единица или ноль в строго заданном порядке, миллионы раз в секунду. К нему подключено оперативное запоминающее устройство, устройство, считывающее перфокарты, устройство, считывающее с дисков, которые подаются сразу целым пакетом, устройство печатающее и пр. и пр. Все они объединены в одно целое. ЕС — компактный комбинат вычисления. С его помощью, например, можно за неуловимое мгновение — пять миллисекунд — отыскать пужную цифру в справочной библиотеке, состоящей из тридцати двух томов объемом в двести страниц каждый. Проворность и мудрость оракула здесь почти равнозначны.

Жрецы и пифии окружали его — бойкие ребята в потасканных свитерах, резковатые, самостоятельного вида девицы. Они все, даже те, кто очень молод, сталкивались со всяким — с трагическими авариями величественных энергосистем, каких даже не случалось в действительности (но могут случиться!), им наверняка приходилось пырять в глубь атомного ядра, тасовать народонаселение земного

шара, прорываться в просторы Вселенной, а потому наша подготовка к убийству Христа в глубине веков для них, конечно, любопытна, но не более того.

По совету Ирины я изо всех сил старался быть обаятельным — держался запросто, но в простачка не играл, удивлялся совершенству машины, но дал понять, что смыслю в компьютерах, не стеснялся расспрашивать, сам рассказывал, почему вдруг изменил физике, какие именно секреты пытаюсь прощупать в истории. И, по-моему, добился, что досужее любопытство жрецов превратилось в явную заинтересованность... Затем мы спустились вниз к руководителю вычислительного центра — без его разрешения доступ к заветной ЕС получить нельзя. Ирина заранее уже переговорила обо всем с ним. Главный жрец был лишь немногим старше подведомственных ему жрецов, не успел обрести начальственные замашки, был улыбочив и доброжелателен... Словом, все устроилось как нельзя лучше.

В приподнятом настроении я вышел вместе с Ириной через проходную на набережную. В канале, идущем параллельно Москве-реке, среди разводьев черной воды доглевал серый лед, в воздухе ощущался пресный, подмывающе свежий запах весны. И я, счастливый авантюрист, с пафосом продекламировал бессмертные слова Остапа Бендера:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!

Ирина повела на меня своим агасферовским глазом:

— Георгий Петрович, вы отслужили свою мессу в этом храме, больше в нем вам делать нечего. Будете только путаться у меня под ногами. Сама без вас со всем справлюсь.

Меня бесцеремонно отшивали от оракула, я лишь поставщик продукции для его интеллектуального чрева. Что ж, согласен, вполне устраивает.

3

Но как бы хотелось пережить святую минуту! Заложил со всеми подобающими ритуалами внутрь машины запрограммированный кусок истории, нажал соответствующую кнопку и... нате вам, сотворил Время. Стрелки твоих часов отмеряют твою секунду за секундой, секунду за секундой всего сущего на Земле: привычные шажочки из прошлого в будущее, торжествующее шествие материи

природы, крестный путь неумного человечества — всепокоряющее, неумолимое Время. А вот ткнул пальцем в кнопку, и... рядом, в электронных недрах, за пластиковым покрытием возникает время другое, скопированное с нашего, но уже независимое, не схожее своим бешеным темпом. На твоих часах секундная стрелка проскакивает одно деление, но в машинном организме проходят десятилетия, за наши минуты минуют многие века, умирают и нарождаются поколения, появляются и сходят на нет народы, вырастают и рушатся государства, выдающиеся герои вершат свои дела, остаются в памяти. Прошлое неистово повторяется, то, что давно умерло, восстает из праха. И ты не успеваешь даже пошевелиться. Ты бог, вновь возродивший былую жизнь!

Увы и ах, такой светлой минуты пережить не дано. Проигрывание времени, как и всего прочего, оказывается, утомительно тяжелое, длительное, прозаическое дело.

Ирина Сушко выстроила тот материал, который мы с ней успели подготовить, в алгоритмы, таинственные для неведущего, понятные для машин. Я принялся разрабатывать дальше, а она с пачкой бумаг в тисненном портфельчике направилась в вычислительный центр. Там она получила броское (но весьма, однако, условное) название для нашей программы — «Апостол», пакет дисков для записи, место для него на полке и занялась для начала, в общем-то, несложной операцией — набивкой. Всю кропотливо созданную программу, окрещенную «Апостолом», надлежало перенести на картонные карточки величиною с ладонь — перфокарты. Это совершается с помощью особого механизма — перфоратора, электрифицированного собрата пишущей машинки. В результате весь наш вымученный труд предстал в виде дырочек, рассыпанных по многочисленным карточкам. Это, так сказать, черновик рукописи, предлагаемой машине. В ней наверняка будет много ошибок и досадных неточностей, а значит, много раз придется перебирать карточки, перебивать их заново, вносить исправления.

Этим делом Ирине суждено заниматься едва ли не на протяжении всей работы — и до и после того, как ее допустят к машине. Допускают... Дают всего лишь три — пять минут. Стопка карточек придавлена увесистой крышкой — утюгом на жаргоне программистов, — машина начинает поспешно слизывать их, стопка тает... Вот тут-то, казалось, почему бы и не наступить святой минуте. Но нет...

Даже скупо выделенные три минуты Ирина не использует. Слизав все карточки, машина в первую же минуту выдает результат. Волшебно оживает стоящая рядом пишущая машинка, сама по себе начинает с победной бойкостью стучать, оракул вещает строчками на листе и... несет какой-нибудь несусветный бред. Почти всегда! Не случается, чтоб с первого же раза он сообщил что-нибудь вразумительное.

С этого момента начинается длительная борьба программиста с машиной, она тянется не день, не два — многими месяцами, порой годами. Ищется взаимопонимание, вскрывается ошибка за ошибкой, подгоняется, видоизменяется программа, какие-то логические ходы в ней оказываются произвольными, какие-то понятия — недоступными машинному восприятию, требуют углубленной расшифровки, мельчайшие упущения вырастают в гротесковые искажения. Программист должен проникнуться педантичным машинным характером, сам стать педантом, быть пристрастным к любой запятой, интуитивно чувствовать, в каких именно местах программы машина может споткнуться, с какой стороны обойти ее косное упрямство. Опытный программист — тоже провидец, иначе он не обуздает оракула, станет получать от него только галиматью. Такой тяжкий период работы называется будничным словом «отладка».

Капризы неукротенного оракула подразделяются на два вида — сбой и заикливание. И того и другого за время своей битвы с ЕС-1065 Ирина получила в избытке.

В начале отладки машина однажды выступала безапелляционный вывод: рабство принципиально невозможно. И поставила точку, отказываясь вникать в дальнейшую часть программы. Оказалось, что виноват я, слишком категорически указавший — с помощью мотыги человек способен лишь прокормить себя и детей. Машина это приняла за исходную аксиому и сделала из нее заключение — раз способен обеспечить едой только себя и детей, то выкормить вола, крупное и прожорливое животное, и вовсе недопустимо. Без вола же не будет интенсивной запашки, не окажется и тех излишков, которые дают возможность содержать рабов, рабство исключено... Пришлось разубедить электронного оракула, внося поправки в доходность мотыжного земледелия. Обычный сбой по нашему упущению — недостаточно точны были в посылках.

В другой раз высокомудрый оракул, дойдя до кризиса господского хозяйства, когда штат надсмотрщиков стал

пожирать доходы, пришел к решению простому, как колумбово яйцо. Нет же прямого запрета избавляться от лишних рабов, и электронный прозорливец в погоне за доходом бестрепетно уничтожил их, заодно сократил и господские земли, избавил господина от необходимости держать обременительных надсмотрщиков. Но на этом оракул не остановился, продолжал работать — господское хозяйство у него снова разрасталось, снова в нем стало слишком много рабов, пришлось ставить над ними многоэтажный штат надсмотрщиков, пожирающих доход, что вновь привело к экзекуции... Оракул намеревался крутить так до бесконечности, случилось заикливание.

Сама Ирина устраняла лишь мелкие погрешности, но там, где требовалось внести что-то в программу, бежала к нам, в наш штаб «террористической группы» с арочным окном на шумную улицу на пятом этаже институтского корпуса. А в нем ее встречал уже не я один. Нашего полку прибыло, у меня появились еще два помощника.

4

Мимо меня прошло немало молодых людей, которых могу с полным правом назвать учениками. Кой-кто из них тоже стали уже докторами, сами теперь имеют учеников. Вот уже три года как я покровительствую Мише Копылову. Он самоотверженно предал мне, я отношусь к нему с тем отцовским чувством, с каким когда-то относился ко мне командир дивизиона Голенков. Однако должен признаться, что сей родственный союз приносит весьма скромные результаты для науки — более бесшабашного ученика у меня не было.

Нельзя сказать, что Миша не даровит. Он поразительно легко усваивает знания, способен отличить главное от второстепенного, интуитивно найти красивый ход конем в сложившейся ситуации, но... тут же забыть о ней, метнуться к другому. Поразительное жизнелюбие не дает ему сосредоточиться на чем-то одном, он из тех, кто вопреки предостережению Козьмы Пруtkова пытается объять необъятное.

Миша невысок, неширок даже в плечах, но плотно сбит, грудь круто выпирает вперед, голова без шеи, но горделиво посаженная, носит рыже-пегую окладистую бородку, за что в обиходе зовется Дедом — Миша Дедушка, — нос пуговицей, глаза светлые, быстрые, веселые, все-

гда отутюжен, щеголеват, пружипист. Он мастер спорта по шахматам, у него первый разряд по каратэ — ребром ладони разбивает кирпичи — и этим выдвинулся до заметной фигуры в институте, где едва ли не каждый второй чем-то славен и знаменит. Миша кипуче деятелен — ведет секцию каратистов, организует встречи с артистами и литераторами, участвует в праздничных капустниках и вообще — «Фигаро здесь, Фигаро там». Он лишь временами ныряет в науку увлеченно, с головой, но, увы, чаще всего эти увлечения не деловые, а романтические.

Рассказывают, Александр Твардовский как-то бросил фразу: «В каждой науке существует свой снежный человек». Наш XX век падок на сенсации, склонен к мифотворчеству. Физика, пожалуй, грешит этим больше других наук. В ней подчас даже невозможно отличить, что бредовый вымысел, а что серьезная научная гипотеза, то и другое выглядит одинаково невероятно. Миша Дедушка поочередно загорался идеями: Вселенной, сокращающейся до элементарной частицы, фридмона; некими фантастическими прорехами в пространстве; вакуумом, рождающим частицы, то есть появлением из ничего нечто. Мир для Миши прежде всего интересен чудесами и фантазмагориями. Я смертельно обидел бы его, если б не привлек к заговору покушения на Христа. Ирина Сушко после первой же встречи окрестила Мишу Манилушкой, но я-то знал — он способен не только на маниловские проекты.

Нам, дилетантам в истории, нужна была помощь профессионального историка, но такого, который без предубеждений принял бы нашу затею. Миша сразу же сообщил:

— Нам необязательно иметь дело с маститым доктором наук?

— С маститым необязательно, а сведующим — да.

— Аспирант, подающий большие надежды, подойдет?

— Подойдет.

— Будет. Приведу.

И привел — весьма молод, мягок, сдобен, глуповато круглолиц, по первому взгляду доверия не вызывает.

— Зыбков Анатолий. — Без излишней застенчивости первый протянул мне руку, румяные щеки раздвинуты в обезоруживающую улыбку, эдакий юный Стива Облонский.

Я начал разговор издалека: нас интересует влияние

человека на собственное развитие; первая палка, использованная приматом, внесла усовершенствование в его природу; от палки к скребку, от скребка к рубилу, к каменному топору и дальше вплоть до современных машин — непрерывная цепь влияний человека на жизнь, на свою судьбу связана с акциями, совершаемыми отдельными личностями...

Наш гость, молодое дарование, удобно расположившись на шатком стуле, слушал и по-кошачьи ласково жмурился на меня.

— Вы хотели бы знать, может ли быть управляемо это влияние? — спросил он вкрадчиво, и я сразу же почувствовал: эге, не так-то прост, как кажется, в его подбитом легким жирком теле, ей-ей, прячется каверзный характер.

— Хотел бы... — ответил я. — Но не смею рассчитывать. Самое большое — надеюсь уловить конкретные признаки влияния. Как вам уже известно, собираемся провести операцию с конкретной исторической личностью и посмотреть, чем мы ей обязаны.

— Да-а, от отдельных личностей зависят судьбы рода людского... Да-а...

— От отдельных личностей исходят толчки общего развития, — поправил я.

— Но если б Уатт не изобрел паровую машину, это сделал бы кто-то другой. Неизбежно.

— Верно, — согласился я. — Другая личность! Вот и разберемся, легко ли они взаимозаменяемы.

— Ага, понял. Потому вы и на Христа замахнулись, что он кажется наиболее трудно заменяемым.

— Или очень легко. Стоит проверить.

И молодое дарование Толя Зыбков приоткрыл на меня зеленый, вовсе не дремотный, а пронизательный глаз.

— Стоит, — согласился он. — Если вы не против, я с удовольствием в вашей компании поиграю с историей в поддавки.

Так создалась моя маленькая команда — «флибустьеры и авантюристы по крови горячеей и густой», решившиеся пробиться в I век нашей эры, чтоб совершить там убийство, которого быть не должно.

В штабной комнате с арочным окном каждый день совещания. Ирина измучена единоборством с бестолковой машиной, без того узкое ее лицо сильно осунулось, торчит

только внушительный нос да пугающие брови в грозном разлете. Она делает сейчас самое трудное — пробивает нам брешь из настоящего в прошлое. Я страдаю из-за того, что бессилен ей помочь, а Толя Зыбков, уютно угнездившийся в креслице сбоку от меня, подбадривает:

— Ничего, Ирипа Михайловна, справитесь. Вы интеллектуально жилистая женщина.

Ирипа поводит в его сторону посом.

— Ты, сурочек, скрытый хам.

Толя обезоруживающе улыбается, не возражает.

Мы не можем ждать, когда Ирипа взнудает своего оракула, идем дальше, прокладывая трассу. Если оракул начнет понимать Ирину, прорыв совершится, тогда они непременно понесутся галопом, мгновенно нас нагонят. Сейчас мы прощупываем то время, когда выплеснулось наружу христианство. Рабство в агонии, но оно продлится еще долго, несколько веков. Оплот рабства Рим пока что велик и могуч, все трепещут перед ним...

Мне даже моментами грезятся картинки. Вижу пыльную дорогу в опаленной бурой степи. Вдоль нее столбы с перекладинами, на которых распяты рабы. (Такие природные украшения с истлевающими смрадными трупами и усохшими костяками порой тянулись на многие сотни стадий, на десятки километров, не прерываясь, от селения к селению.) И важно кружатся над ними стаи оживших птиц.

По дороге вдоль мрачного парада смерти петоропливо — шаг легионера отмерен — двигаются римские когорты. Блестит солнце на шлемах, качаются вскинутые на древках значки, щетинятся жгучими остриями пилумы, верное Риму страшное оружие, — копы с чудовищными наконечниками в два локтя отточенной стали. Идут когорты, оседает за ними ленивая пыль. Куда идут?.. Не все ли равно? Но там, где им назначено появиться, прольется кровь, нагромолятся новые трупы. Иначе зачем же им шагать под палящим солнцем, в пыли, нести свои пилумы?

Страхом и ненавистью охвачен мир. Никто на земле не чувствует себя в безопасности. Никто — ни обожествленный при жизни владыка вселенной римский император, ни самый ничтожнейший из презренных рабов. У каждого хронический страх за себя, у каждого непроходящая ненависть к другому. В кошмарном мире только отчаянной отвагой можно подавить ужас и ненависть — только предельной любовью...

— Рим — мировой центр жестокости и насилия, а христианство возникло не в нем, а в провинциальной Иудее. Почему? — Трезвый Толя Зыбков стреляет в меня очередным вопросом.

И я пытаюсь найти объяснение:

— Рим не был бы эпицентром насилия, если б не создал внутри себя мощного механизма, охраняющего сложившийся насильнический порядок. Проповедники любви душились бы в Риме при первом же изданном ими звуке...

— Это очень важно учесть, — озабоченно вставляет Ирина. — Иначе машина споткнется, выкинет нам колесо.

Но дотошный Толя не удовлетворен:

— «Люби»-то выступало в религиозной одежке, а ведь римлян того времени религиозными фанатиками называть было пельзя. И у них там всякие идеи бродили, а вот Христа миру не они выдали. Почему?

И взрывается Миша Дедушка:

— Все не так! Все не то! Еврейский народ не поразил мир ни шедеврами искусства, ни научными открытиями, только своей воспаленной совестью — он выдал человечеству Христа. Предопределенность!

— Кем? — спросил вкрадчиво Толя.

— Природой! Она не абы как шалтай-болтай движется — целенаправленно, тоже свою программу выполняет!

— Прикажешь мне вложить предопределенность в машину? — осведомилась Ирина.

— А как ты смеешь этого не учитывать?

— И ты знаешь, Манилушка, что тогда получится?

— У твоей машины схема перегорит. Не переварит великого?

— Нет, лапушка. Она довольна будет, ухватится за твою предопределенность, ко всякому вопросу станет ее приклеивать. Почему возникло рабство? Предопределено. Почему оно стало закисать? Предопределено. Электронный ханжа ничем не лучше ханжи двуногого.

— Ирина Михайловна, нельзя ли без намеков! — Толя Зыбков с наигранной обидой.

— Что ты, сурочек, не имела тебя в виду.

— Не себя, не себя — друга защищаю! — На круглой физиономии Толи невинное простодушное огорчение.

Миша Дедушка рассвирепел:

— Ну вас к черту!

Почти каждый день такие громогласные споры.

Нам надо отчетливо представить того, на кого мы покушаемся. И не только его прославленную в веках деятельность, но и сам человеческий облик. Очень важно выяснить, как отражаются на ходе истории индивидуальные особенности выдающихся личностей, даже самые незначительные.

Реальный Христос, разумеется, несколько не походил на того богочеловека, каким создала его человеческая фантазия множества поколений. Но и образ того же Александра Македонского, в существовании которого не смеет никто усомниться, для нас теперь тоже ведь покрыт толстым слоем легенд, скрывающим реальные черты. Тем не менее мы довольно легко прокапываемся сквозь этот слой, достаточно отчетливо представляем себе конкретный облик великого полководца.

При некотором усилии и Христа можно очистить от напластований, воссоздать — пусть относительно — в живом виде. Но при этом не следует забывать, что не случайно он возведен в бога...

А напластования начались сразу же после его трагической смерти. Слава о нем стала распространяться по странам, им жадно интересовались, о нем рассказывали не только были, но и небылицы. Жизнеописания его появились позднее, их составляли люди, вряд ли лично знавшие Христа. Установлено, что самое раннее из канонических Евангелий — от Марка, в нем сквозь легендарность отчетливо проглядывают реальные черты. Последующие евангелисты домыслили даже то, что нищий проповедник оказался потомком царя Давида. Но и у них можно выявить следы действительности.

И верующие Лев Толстой и Достоевский, и неверующий Максим Горький отмечали высокие литературные достоинства Евангелий. Не потому ли, что эти легенды написаны выдающимися мастерами? Ой нет, на наш изощренный вкус, их мастерство, право, далеко не безупречно — частые назойливые повторы и многословие, где требуется скупость, скупость там, где необходима развернутость, порой невнятность изложения, позволяющая трактовать текст произвольно, наконец, и образность не всегда-то зрима — из всех четырех Евангелий, увы, нельзя даже приблизительно представить себе внешний облик Иисуса. И тем не менее это сильная литература, спустя тысячелетия продолжающая воздействовать на нас. В чем

секрет ее силы? Может быть, в том, что она повествует об исключительно яркой, обаятельной личности.

Иисус Христос — поэт, никак не строгий мыслитель. Только поэт мог проповедовать с такой беспечной безответственностью перед логикой. В одном месте с покоряющей страстью призывать: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас!» В другом с той же страстью заявить прямо противоположное: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч».

И сам Христос не считает наличие ума исключительным достоинством человека — мешает безоглядно предаваться вере: «Блаженны нищие духом...»

«В то время, — повествует Евангелие от Матфея, — ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».

По-детски наивный и доверчивый человек, по мнению Христа, не должен ни о чем задумываться, обременять себя никакими заботами. Чем поддержать свое существование? Каким способом добыть себе пропитание? Самые насущные, самые проклятые вопросы, которые испокон веков висели над людьми, Христос разрешает с умильной простотой:

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело — одежды? Взгляните на птиц небесных — они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец Ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

О последствиях такого прекраснодушного наставления Христос беспечно не думает.

Его почитали спасителем всего страждущего человечества, верили — не кто иной, как Иисус Христос, сокрушил тесные национальные рамки. Однако исследователи теперь уже не сомневаются, что очищенный от мифологических наслоений Христос вовсе не столь широк. Он был озабочен судьбой лишь одних евреев и не собирался осчастливить другие народы. В Евангелии от Марка есть одна красноречивая сцена:

«Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, пришедши, припала к но-

гам Его; а женщина та была язычница, родом сифофиниянка; и просила Его, чтобы он изгнал беса из ее дочери.

Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям; ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей.

И сказал ей: за это слово пойдя; бес вышел из твоей дочери».

Евреи — дети, все остальные — псы. Лишь смиренный ответ заставил сострадательного Иисуса поступиться своими убеждениями, помочь иноплеменнице.

Он откровенно осуждает имущих, тех, кто «служит Богу и мамоне»: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Но тем не менее Христос не решается призвать к возмущению, уклончиво наставляет: «Отдай кесарево кесарю, а Божие Богу». Опять чисто поэтическая непоследовательность!

Евангелисты ни словом не обмолвились о его облике, по какие-то скупые сведения к нам все-таки пробились.

Теперь при упоминании его имени любой и каждый невольно видит перед собой несколько инфантильного красавца с кротким лицом, короткой бородкой, ниспадающими волосами. Однако враг христианства Цельс, философ-стоик, друг императора Марка Аврелия, пишет: «Между тем люди рассказывают, будто Иисус был мизерного роста и с таким некрасивым лицом, что оно вызывало отвращение». Цельс, яростный противник христианства, мог поговорить всякого. Но дело в том, что этого не отрицает и Тертуллиан, неистовый сторонник Христа. «Облик его был лишен какой-либо красоты и обаяния», — отмечает он.

Непримиримый враг и горячий последователь, один в Риме, другой в Карфагене, независимо друг от друга примерно столетие спустя после смерти Иисуса высказывают одну и ту же версию. Значит, эта версия была широко распространена, ни у кого не вызвала сомнения. Если б Христос был даже не прекрасен, а просто заурядно нормален по внешнему виду, то такого единодушия уж наверняка бы не существовало. Его сторонники упреки в некрасивости воспринимали бы как оскорбительный поклеп. Однако и позже даже Ориген, запальчиво критикующий во всем Цельса, не возражает, что Христос уродлив. Он лишь старается оправдать уродливость, увидеть в

этом его божественную сущность — дух, мол, возвышается над бренным телом.

Внешность — не досужий вопрос. Мысленно представим себе первых слушателей Христа, бесхитростных жителей Галилеи. В их неискушенном понимании все, что от бога, должно быть непременно совершенным, поражать воображение. Препрежние пророки это учитывали, старались привлечь к себе внимание людей необычным видом — Иеремия, например, проповедовал с ярмом на шее, Иоанн Креститель «имел одежду из верблюжьего волоса», жил в пустыне, питался акридами, был истощен постом.

Иисус Христос не прибегал к таким традиционным приемам, акрид не ел, постом себя не изнурил, садился вместе со всеми за стол, пил вино и одевался, должно быть, неплохо, если римские солдаты во время казни бросали жребий — кому достанется его одежда. Ничем внешне не поражал, более того — был некрасив, а значит, ему приходилось преодолевать не только косность сознания своих слушателей, но и невыгодное впечатление, которое поначалу он у них вызывал.

Конечно, легче всего объяснить: такова, мол, была покоряющая сила его слова — гений устного творчества! И, казалось бы, Евангелия, своеобразные литературные шедевры, подтверждают это. Высказывания, приписываемые ими Иисусу, разошлись по миру в крылатых поговорах.

Но даже самое пропикновенное слово бессильно, когда оно противоречит вековым привычкам и традициям. А именно их-то, традиции ортодоксального еврейства, рискованно ломал Иисус из Назарета. Выступить против субботы, назвать себя ее господином, когда малейший, даже самый безобидный проступок против нее строго — вплоть до смерти — наказывался. Нет, тут мало одного красноречия, оно должно подкрепляться еще чем-то более убедительным.

Все четыре канонических Евангелия едва ли не в каждой главе повествуют о чудесах, которыми Христос подкреплял свои слова, — исцелял неизлечимых больных, оживлял мертвых, пятью хлебами накормил досыта пять тысяч голодных людей, по воде ходил, яко посуху... Казалось бы, нам ли принимать во внимание эти наивные пелылицы?

Однако над ними-то я и задумался...

Современники Иисуса воспринимали мир совсем не так, как мы. Для нас свет не может возникнуть сам по

себе, из ничего, обязательно должен быть его источник. А их несколько не смущало, что бог в первый день творения приказал: «Да будет свет!» — и лишь на четвертый сотворил светила «на тверди небсоной». Для нас весь мир тесно взаимосвязан, одно не в состоянии существовать без другого, любое явление — некий процесс, для них же все сущее — результат чьей-то воли. И если изнемогающий от жажды путник не выбивал ударом посоха из скалы родниковую струю, то вовсе не считал — это вообще невозможно. Возможно, только не каждому посылно. Чудо тогда представлялось реальностью, чудотворец — искусником, а потому и прослыть чудотворцем было нетрудно.

Особенно в исцелении. Больных в те времена было наверняка подавляюще много. Напряженная и неустойчивая жизнь Палестины с ее тройной властью — Рима, тетрархов, первосвященника, — с враждующими многочисленными сектами, с беснующимися пророками, пугающими божьими карами, концом мира, способствовала массовому психозу. Припадочные, паралитики, покрытые паршой на нервной почве (их могли принимать и за прокаженных), встречались на каждом шагу. Все они с неистовой страстью жаждали чудесного излечения. Современные психотерапевты могут лишь мечтать о такой клиентуре.

И тот, кто обладал талантом словесного внушения, легко мог превратиться в чудотворца-исцелителя. Было бы скорей странно, если б Иисус Христос избежал этой роли, не использовал столь мощное оружие для утверждения своих идей. Он, разумеется, не кормил пятью хлебами тысячи голодных, по воде, яко посуху, не ходил, мертвых не оживлял, но возратить способность двигаться парализованной руке, наверное, ему было под силу, как и избавить от припадков «одержимого бесами», как и очистить от нерзной экземы тело... А этого вполне достаточно, чтобы поверили в его сверхъестественную силу, простили ему неказистую внешность.

Загадочное для исследователей обстоятельство — отношение Иисуса к своей матери и семейству. В Евангелии от Марка Иисус проповедует в одном доме... «И пришли Мать и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот Мать Твоя и братья Твои вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто Мать Моя и братья Мои? И, обзрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот Мать Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и Мать».

Отзывчивый и доброжелательный ко всем вплоть до случайных встречных, Христос тут проявляет холодную сдержанность, если не пастораживающую суровость, его ответ звучит почти как отречение от родных.

Что кроется за этим ответом, какая семейная драма? Биографических данных о частной жизни Христа совсем нет. Загадку представляет даже его отец — плотник Иосиф. Евангелие от Марка совсем не упоминает о нем, лишь у Матфея и Луки появляется вскользь имя этого человека.

Конечно же, мое представление об этой жившей две тысячи лет назад личности, столь сильно поразившей воображение человечества, далеко не полно. Но ведь и прапанцетник, существовавший в непроглядно крошечном прошлом, за миллиард лет до нас, оставивший в память о себе лишь жалкие отпечатки в осадочных породах, тоже наверняка чем-то не соответствует воссозданному палеонтологами облику. Однако характерные признаки все же сохранились, их оказалось достаточно, чтоб использовать в моделировании эволюционного процесса.

6

К моим соображениям о личности Христа каждый из участников флибустьерской группы отнесся по-своему.

Миша Дедушка возликовал:

— Это вы здорово сказали, Георгий Петрович: «Чудо тогда представлялось реальностью»! А я скажу больше — чудо и сейчас реальность! Да! Только оно не влезает в наш косный детерминистический образ мышления... Ирина Михайловна, как вы концепцию чуда трезвой машине преподнесете?

— Не беспокойся, деточка. Психотерапия давно уже пользуется вычислительными машинами, — охладила Ирина.

— Психотерапия... Эх! Эмпирики заскорузлые!

Толя Зыбков на этот раз не сказал своего обычного «нет», поворочавшись в креслице, задумчиво произнес:

— «Кто Матерь Моя и братья Мои?..» Георгий Петрович, а мне кажется, эту загадочку все-таки тронуть можно.

— Как?

— Цельс, если помните, между прочим, упоминает...

— Ты хочешь сказать о Панфере?..

— О нем, Георгий Петрович.

Вот тот же враждебный христианству Цельс поведал о ходившем в его время слухе, будто бы мать Иисуса Мария отличалась легким поведением, изменяла мужу с римским солдатом, греком по национальности, Папферой, была выгнана из дома, родила внебрачного сына в чужой конюшне. Та же история изложена и в талмудистском трактате «Авода Зара».

— Поздний и нечистоплотный навет,— возразил я.— Кто из ученых принимает это всерьез?

— Ну а если на минуту принять?..

— Мешает, Толя.

— Что, Георгий Петрович?

— Ты это должен знать не хуже меня — лютая еврейская ортодоксальность тех лет. Самый последний нищий из евреев считал тогда себя выше иноплемennого вельможи. А уж женщину-еврейку, уличенную в прелюбодеянии с необрезанным, в живых бы не оставили. И сын ее, если б уцелел, нес на себе проклятие до конца дней. С такой славой пророком не станешь — плевались бы в его сторону, шарахались, как от прокаженного.

Из-под крутого надлбья на меня взирали ясные, с весенней прозеленью глаза.

— Все так, Георгий Петрович,— осторожно согласился Толя.— Все так, если б Мария была уличена...

Миша Дедушка не выдержал:

— Тогда не уличили, сейчас собираешься?!

Но Толя упрямо гнул свое:

— Но в таких деликатных делах редко налицо оказываются прямые улики, куда чаще смутные подозреньица, а с ними и наветики... Только не задним числом, как у Цельса, сто с лишним лет спустя после смерти Иисуса, а еще до его рождения, когда у мамы Марии живот замечен стал: мол, с солдатом видели; шепоток подлый. Могло так случиться?

— Что за удовольствие ворошить вонючие пеленки тысячелетней давности! — проворчал в бороду Миша.

— И в самом деле, к чему нам бытовые мелочи? — подержала Ирина.

— Злые шепотки не такая уж мелочь, Ирина Михайловна. Если бы они были, то ох сильно отравляли жизнь матери Христа. Сын-то для нее — сплошное проклятие! Удивительно ли, что она любила его меньше других детей. А сам Иисус разве не страдал от грязных подозрений?.. Горькое у него получается детство. Не оттого ли

он рано уходит из дома, не оттого ли к матери и братьям прохладен?..

На безмятежно круглом лице Толи сквозь смирение проступает торжество. Ирина Сушко рассердилась:

— Из домислов шубу шьешь, мальчик! Гляди — платьем голого короля обернется!

Толя вкрадчиво улынулся:

— А вы, Ирина Михайловна, в математических доказательствах никогда не прибегаете к допущениям?.. Ну так чем мы хуже вас, математиков? И как только допустим существование раннего навета, нам открывается — Иисусу еще в детстве пришлось отстаивать человеческое достоинство. Еще в детстве! Знаменательно, Ирина Михайловна! Знаменательно!

Наступило озадаченное молчание. Три пары глаз уставились на меня.

Действительно, стоит только нам принять эту вовсе не исключительную, а напротив, весьма обыденную житейскую коллизию, как она, вместо того чтобы ложиться на Иисуса компрометирующим пятном, начинает освещать формирование его необычного характера. Именно еще в ранней юности Иисус должен был уже обрести и свои нравственные позиции и ту силу убеждения, которые впоследствии поразят мир. Ничтожные натуры озлобляются от враждебного окружения, значительные преодолевают его. Испытывая постоянно необходимость в человеческом уважении, в человеческой доброте, они становятся их глашатаями. Набившая оскомину истина: несчастье калечит слабых и закаляет сильных. Иисус, прежде чем стать Христом, должен был пройти нелегкую школу жизни.

Недели две мы занимались анатомированием Иисуса Христа, разбивали его на отдельные признаки. Ирина Сушко кодировала их, выстраивала соответствующим порядком. Не такое, оказывается, уж и фантастическое дело — представить человека, даже сложного, глубокого, противоречивого, в виде некой формулы. Впрочем, нет, не самого человека, а всего-навсего свое представление о нем, сложившийся в наших головах образ.

И однажды Ирина, как всегда, стремительно ворвалась ко мне, бросила на стол тисненый портфель.

— Откройте и посмотрите!

В портфеле лежала небрежно завернутая в бумагу толстая пачка перфокарт.

— Чувствуете, что вы сейчас держите в руках?

— Иисуса Христа?..

— Имен-но!

Иисус Христос, в виде стойки тонких картопок, испещренных дырочками.

— М-да-а...

7

Казалось бы, мне подлежало перенести свой флибустьерский штаб домой — за чашкой чая спорь на разные голоса хоть до полуночи, жена будет только рада. В последнее время она работала по договору с одним ведомственным издательством, сверяла технические расчеты — работа утомительная и нудная, но с уходом сына в армию Катя просто не могла заполнить образовавшуюся в ее жизни пустоту. Наши встречи разогнали бы застойную тишину, а кроме того, я всегда мечтал, чтоб жена прониклась теми увлечениями, которым я отдавал себя без остатка. Раньше это было невозможно, с багажом институтской физики, приобретенным тридцать лет назад, она даже подступиться не могла к проблемам, какими я жил. Самый близкий мне человек и одновременно далекий. Сейчас не так трудно и понять, и принять, и стать соучастницей, но...

Это «но» для меня было полной неожиданностью. Оказывается, где-то под спудом, на самом дне моей души таился невнятный страх — осудит! За что?! За то, что хочу «алгеброй гармонию поверить», за то, что подменяю чувство холодными расчетами. Осудит, погасит пламя, вместо поддержки найду в ней противника... Подспудное, неосознанное ощущение, которое давил в себе и не мог от него отделаться.

Я никогда ничего не скрывал от Кати и теперь сообщил ей свой замысел, но в общих чертах, в виде набежавших предположений. Она выслушала, пожала плечами, даже не особо удивилась, не выказала желания узнать подробнее. Я это принял как разрешение — действуй по-прежнему, в стороне от меня. Потому-то и собирал свой штаб под крышей института, хотя при случае это могло вызвать и справедливые нарекания: чем занимаетесь, профессор Гребин?..

Пришло очередное письмо от сына. Сева довольно часто писал нам, но, право же, каждое письмо мы распечатывали с душевным замиранием. Хотя, казалось бы, чего

тревожиться — сыт, одет, под надзором, служит себе в глубине Сибири, никакой опасности. Но Сева из тех, кто спотыкается и на ровном месте.

И в самом деле — вот письмо... Оно длинное, путаное. «Дорогие мои, долго колебался — сообщить вам или промолчать...» Суть же сообщения, лежащая под нагромождением оправданий и путаных отступлений, проста: сошелся с женщиной, которая рассталась с мужем-пьяницей, имеет десятилетнюю дочь, после окончания службы намеревается остаться у нее, вести простую трудовую жизнь в глухом таежном крае... Возраст женщины стеснительно не упомянут, зато многословно перечислены ее достоинства — добрая, чуткая, самоотверженная и так далее.

Первый порыв матери — немедленно собираться и ехать к сыну. Я остановил:

— Хватит думать и решать за него. Пусть сам разберется.

— Разберется, да будет поздно.

— До конца службы почти полгода. Есть время опомниться.

— А если не опомнится?

— Тогда отнесемся внимательней к его желанию. Вдруг да это не увлечение и не блажь, может, он действительно не представляет себе без нее жизни.

Катя сидела передо мной — высоко вскинута голова, жаром охвачены скулы.

— Послушай!.. — Возглас, словно хруст жести под каблуком. — Да любишь ли ты сына?

И я даже растерялся.

— Ты из тех, у кого большая голова и маленькое сердце. Ты отравлен абстрактной любовью...

— Не понимаю, Катя.

— Ты можешь помочь человеку — просто помочь мне, сыну, соседу, приятелю?.. Нет! Если только походя, невзначай. И то — любить кого-то, какая малость, стоит ли ею себя утруждать. Всех людей, все человечество, никак не меньше! Тут уж и сам готов сгореть дотла, и все горы вокруг... А вокруг-то тебя мы — я и Сева!..

— Да неужели я настолько бесполезен, даже вреден для окружающих?

На секунду она замаялась, бегающий взгляд замер:

— Разве о пользе идет речь, Георгий?.. О любви! Твои слова близки к тривиальной отповеди всех бессердечных отцов: зарабатываю на жизнь, приношу пользу — что еще вам от меня надо? Любви, дорогой мой! Любви! Которую

никакой пользой не купишь. А для таких, как ты, любовь лишь предмет изучения — нельзя ли из нее извлечь нечто. Раскраиваете на части, суммируете, обобщаете — подопытная собака на лабораторном столе...

— Что же! Будем смиренно повторять вслед за Христом: люби ближнего, люби врага своего... Не смей над ней задумываться — запрещено!

Презрительно дернула подбородком.

— Вслед за Христом?! Не я, это ты вслед за ним... Христос из вас первый, кто любовь омертвил.

— Даже так? — удивился я.

— Люби ближнего... Для Христа ближние все, даже первый встречный. Не знаю его, случайно встретила, впервые вижу — любить его? А для меня любовь — это готовность собой жертвовать. Ради первого встречного? Нет, как бы ни насильовала себя, а не смогу. Противоестественно! А вот тебя знаю, с тобой сроднилась, срослась, а уж сын и вовсе — самая дорогая часть меня самой... Любить вас, жертвовать собой для вас — да, да! Самое естественное состояние, иначе и жить не смогу... И если я буду сына своего любить больше самой себя, а сын так же своего сына, свою жену, то, как молекулы, цепляясь одна за другую, создают неделимое вещество, так и люди, любя только самых najbliżших, свяжутся воедино. Не надо от человека требовать невозможного — люби всякого. Люби того, с кем тебя жизнь тесно переплела, — вот тогда-то любовь свяжет всех, от меня протянется прочная спайка через najbliżших к самым далеким. Тогда мир охватит не условная любовь, не выдуманная, а обычная, жертвенная... Разум — великое благо? Может быть. Только за всякое благо непременно чем-то платить приходится. И за разум тоже. Сомнениями, недоверчивостью, подозрительностью... Человек разум получил, а вместе с ним и порчу... Разъединенные сомнениями люди не способны любить даже самых najbliżших: родители — детей, дети — родителей...

Катя замолчала и отвернулась. Молчал и я. Во мне росло тяжелое изумление. Оказывается, она любила меня и не верила в мою любовь, служила мне и осуждала меня. И давно ли так?.. Не всю ли совместную жизнь?.. Жили рядом и были в одиночестве — у нее свое, у меня свое! И не заметил, как она наедине с собой пришла к выводам, с которыми я не просто не согласен, не совместим с ними — иначе думаю, иначе живу. Как нам слиться воедино? Друг же без друга существовать не можем!

— Катя, не клевети на себя, — сказал я.

Она отвела за ухо мешавшую прядь, и лицо ее, усталое лицо с вкрадчивой текучестью скул, с выпуклым лбом, тропутым морщинками, верхней губой, сурово попирающей нижнюю, щемяще знакомое, до стопа родное лицо, выражало сейчас привычную покорность — говори, слушаю, возражать не буду, но знай, что останусь при своем.

— Ты считаешь, что только любовь к самым ближайшим свяжет людей воедино... Но разве люди никогда не грабили, не насиловали, с ожесточением не истребляли друг друга ради того только, чтоб их горячо любимые дети жили лучше других? Любовь к близким! Да она постоянно оборачивается слепой ненавистью ко всему миру. И мир таким отвечает той же лютой ненавистью. Не разновидность ли самовлюбленности эта ограниченная любовь — мое, не посягай, горло перегрызу! Всемирная прочная спайка эгоистически любящих? Ну нет, не мечтай! Чем они любвеобильней, тем разобщенней... Ты любишь Севу, Катя... Да, знаю, ради него готова пожертвовать собой. Но скажи: припесешь ли ты ради Севы в жертву другого, хотя бы первого встречного?.. А! Молчишь!.. Проповедуешь то, чему сама никогда не следовала.

Склоненное лицо Кати по-прежнему выражало покорную усталость. Она не собиралась возражать мне, и потребуй — признает мою правоту, сознается в своей ошибке, но от этого ей легче не станет. И своего мнения обо мне она не изменит, по-прежнему будет любить меня и не верить в мою любовь, служить и осуждать...

8

Спор с Катей продолжал жить во мне и на другой день. Я не смел обвинять ее, но себя не щадил.

А ведь действительно большую часть своей жизни ты вкладываешь в дело, для жены, для сына — какие-то остатки...

Но замкнись на семье, не отдавай себя делу и станешь выглядеть ничтожным в своих и чужих глазах, даже в глазах близких.

И все же стоит ли твое дело такой отдачи — жизнь оптом, семье остатки? Оглянись трезво: что значительного ты сделал? Никак не корифей в физике, твой вклад в науку весьма умеренный. И от этого вклада, право же, счастья на земле не прибавилось. А сейчас вот ухватился за то,

что другие благоразумно обходят. Не случайно обходят, не рассчитывают на результаты. Почему ты должен оказаться счастливее их?

Не кажется ли, что тебе просто интересна деятельность ради деятельности, пахота ради пахоты?.. А сыну по занятости не успел передать своего...

За арочным окном моего институтского скворечника бежал переменчивый денек, то хмурился, крошил дождичком, то брызгал горячим солнышком, и город улыбался голубым многоэтажьем.

В самый разгар саморазоблачений на лестнице, ведущей к моей двери, раздался суматошный перестук каблучков. Дверь толчком распахнулась — мокрые от случайного дождя кудри, взметнувшиеся брови, сверкнувшая улыбочка — Ирина Сушко шагнула вперед и подбоченилась. Что-то принесла.

— Ну! Можете поздравить!

— С чем?

— Переписала на диски...

Мне не надо объяснять, что это значит. Если перфокарты — черновая рукопись, которую следует беспощадно править и переделывать, то запись на дисках в данном случае означает — программа переписана начисто. Правда, при пужде и тут еще можно что-то изменить. Можно, но нежелательно.

Ирина уселась нога на ногу, сапожок с высоким каблучком покачивается над полом, темный глухой свитер обтягивает грудь, тонкая рука с сигаретой на отлете и капризные женственные губы.

— Теперь — под горку с песнями. Спешите, спешите, иначе потопчу!.. Э-э, а что вы меня так внимательно разглядываете? Давно не видели?

— То-то и оно, что вижу часто, Ирина, а вот поймал себя на том, что знаю вас только с фасада.

— Здравствуйте! А зачем вам мои задворочки?

— Открылось вдруг — никак не пойму себя. Не потому ли, что плохо знаю тех, кто со мной рядом?

Склонив голову, Ирина, как птица, боковым взглядом разглядывала меня.

— У вас что-то стряслось, Георгий Петрович?

— Ничего особенного. Просто обвинили — глядишь по-верх голов людей.

Она отвела глаза, секунду-другую молчала, наконец обронила:

— Что ж, верно.

Кающийся жаждет возражений, а потому согласие Ирины больно меня царапнуло.

— Разве и вас я обидел невниманием, Ирина?

Вздых и ответ:

— О да.

— Напомните — когда именно?

— С тех самых пор как мы познакомились.

Ирина — жесткие локоны, вздернутая бровь — глядела в стену на респектабельное изображение космического чудовища, галактики М51.

— Эта бабушка мой свидетель. — Ирина кивнула на растрепанную галактику. — Вы только что получили ее в подарок, не знали, куда повесить, так как еще не имели не только своего кабинета с подходящей стенкой, но и своего стола... Вы меня вальяжно принимали в вестибюле, бабушка была прислонена к стулу, мы оба любовались ею — вы искренне, я из вежливости. Пришла к вам девочка, пуждавшаяся во всем: в деньгах, в идеях, во внимании, — а оттого вызывающе заносчивая. А вы и не заметили моей заносчивости... Вы с ходу бросились излагать мне суть дела... Помните ли?

— Помню, что вы ходили тогда на общипанного грачонка.

— Ну а вы, разумеется, были самим собой, то есть ни на кого не похожи, уникальны. Вы никогда не замечали, что вам удивляются, вами любят?.. Ах нет! Потому-то и не знаете самого себя...

— Смилуйтесь, Ирина, кончим об этом.

— Прошу прощения, прорвалось наружу, не удержу... Столкнувшись с вами, я, глупая девочка, загорелась... Не поеживайтесь, не вами загорелась, нет, а кем-то, на вас похожим, которого должна встретить, вместе с ним сотворить головокружительное... Вот теперь вы имеете право ухмыляться... Было ли тогда вам сорок? Пожалуй, еще не исполнилось. Но зеленой дурочке вы казались недостижимым стариком. Не кинулась вам на шею, не вцепилась в вас мертвой хваткой. Я и тогда уже была с характером — добилась бы, не устояли бы...

Ирина зажгла новую сигарету, отбросила спичку, криво усмехнулась:

— И, право, чего я раскудаhtалась? Какая же я вам пара! Одноименные заряды при тесном сближении оттапливаются. Сойдись мы, кто б из нас вел хозяйство, кто следил за детьми?.. А вот то, что нас снова схлестнуло дело, считаю подарком судьбы. Серый мир для меня вновь

расцвел, не барахтаюсь в кислом тумане... Но хватит! — Ирина резко встала. — Кончим эту лирическую щекотку. Поухаживайте за мной, подайте плащ.

Уже в натянутом плаще, качнувшись к двери, она обернулась с веселым проблеском из-под бровей.

— Хотите, удивлю признанием?.. Я бабушка!

— К-как?

— Приемная, правда. Впучка, собственно, не моя, а мужа. Но когда мы видимся, малышка чинно, как и положено, зовет меня бабушкой... Так-то вот, Георгий Петрович.

Однако броской концовки под прихлоп двери у Ирины не получилось, уйти она не успела, на пороге появились Миша Дедушка с Толей Зыковым.

Я сообщил им новость:

— Ирина переписала программу на диски.

— Отметить! — решительно потребовал Миша. — И у меня есть повод для праздника. Сообщу не иначе как за столом.

В полуподвальном кафе подавали жиденькую солянку, яичницу-глазунью и выдержанный, не пользовавшийся большим спросом ввиду кусачей цены вкрадчиво-мягкий молдавский коньяк. Мы кутили. Ирина Сушко горела в румянце, сняла глазами и заливисто смеялась.

Похохатывавший Миша Дедушка вдруг посерьезнел, решил открыться:

— Ты нашел... Нет уж, братцы, на этот раз безошибочно! Если б вы знали, какая она... Легкая, как стрекоза. Когда я жду ее, мне не верится, что придет. А когда вижу ее, всегда вздрагиваю. И она не болтлива, вот уж нет — всегда очень внимательно молчит. Но уж зато если скажет... Одно слово, а у меня целый день все поет внутри... За нее! Очень прошу!

Раскисавший в блаженной улыбочке Толя Зыков вдруг запел. Подперев толстую щеку, пригорюнившись, завел по-бабьи страдающе:

Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?..

И, право, у него был приятный, чисто женский голосок, эдакое меццо-сопрано для домашнего употребления. Книжник и заумный спорщик, Обломов по обличью и многообещающий аспирант — и пате вам: «Зачем тебя я, ми-

лый мой, узнала...» с бабьими интонациями, бабьим голоском. Как нам не прийти в восторг. И тронутый этим восторгом Толя старался всю продать себя подороже:

— Меня в детстве насиловали классической музыкой, а усвоил только пошлые романы, учили рафинированного ребенка на скрипке, а играю лишь на балалайке: «Ах вы, сени, мои сени!..» Я человек способный, обождите, когда-нибудь отколю вам концерт...

Возвращался я домой навеселе. А дома ждала меня обеспокоенная судьбой сына жена, и стены нашей квартиры никак не располагали к легкомысленному веселью. Но... маленькая, однако пужная и долгожданная победа над электронным оракулом, неожиданно ошеломляющее признание вовсе не сентиментальной Ирины Сушко, светлое счастье Миши Дедушки, вовсе не стороннего для меня человека, оборотная сторона ученого мальчика (надо же, балалаечник!), прекрасный копылок, к которому, оказывается, не так уж я и равнодушен, а тут еще семейные осложнения — господи, до чего же, однако, полна моя жизнь! Ей-ей, из таких вот суетно заполненных одиночных жизней и складывается перенасыщенная событиями буйпо-деятельная жизнь рода людского. Страдаем, стонем, скорбим, проливаем кровь, насильничаем, коснеем в невежестве, думаем, создаем, открываем и несемся победно через века и тысячелетия. Куда?..

9

Поверх портрета вселенской «бабушки» мы растянули по всей свободной стене карту Средиземноморья и Малой Азии — мир первых веков до и после рождения Христа. На карте скупо помечено: тут-то и тут-то пребывали такие-то народы. За именами одних встают из небытия целые эпохи, любой школьник может рассказать о них. Другие же народы даже специалистам известны только по названиям — мелькнули в письменных источниках, не оставили заметного следа. Какие-то народы и просто не помечены на этой карте — жили да исчезли, неведомы совсем.

Карта — тоже своего рода модель прошлого, но крайне схематичная, застывшая. Мы намерены создать модель действующую, которая должна развиваться по образу и подобию существовавшего мира.

Но как ни схематична карта, мы и ее не в силах использовать целиком, запрограммировать все те государст-

ва, какие изображены на развернутом на стене полотнище. Из всего лоскутно-пестрого многообразия мы выбрали лишь несколько стран в качестве определенных образцов. И как из отдельных закодированных характеристик мы составили относительно целостный образ Христа, так, разобрав сначала по частям, а потом вновь сложив воедино, мы получили некое подобие Римской империи, Иудеи, Греции, Египта. Наша модель мира намеренно сжата, предельно упрощена, сведена до минимума, но и в таком виде она стояла нам больших, кропотливых трудов в течение двух месяцев.

Однако и это не все. Модель наша должна быть населена. Известные поэты, художники, философы, полководцы, императоры, политические деятели, просто чем-то выдвинувшиеся из общей среды личности стали предметом нашего исследования. Если мы сумели Иисуса Христа вложить в машину, то в принципе ничто не мешало то же самое совершить со многими историческими личностями, нужны для этого лишь труд и время, время и труд.

А можем ли мы свою модель мира заселить только выдающимися людьми? Наш схематический мир делится на господ и рабов, но такое деление далеко еще не отражает характер населения.

Среди рабов одни забиты до тупости — рабочий скот, не более. Другие же таят в себе взрывную силу, постоянно прорывающуюся наружу. Восстание Спартака — самый мощный из прорвавшихся взрывов, но далеко не единственный. Были рабы-поэты, были рабы-философы.

Господа тоже не единообразны. Многие из них болезненно ощущают развал рабовладения, пытаются приспособиться, предоставляют рабам относительную свободу, наделяя их клочками земли. Кази, или казати, звали таких рабов в Риме. С ними смыкаются мелкие землевладельцы — колоны...

Нет ничего пестрее, чем масса свободнорожденного плебса. Среди них огромное количество пребывающих в нищете бездельников — тягостный балласт общества. Но свободнорожденный плебс вмещает в себя и кустарей-ремесленников и ремесленников-предпринимателей, содержащих мастерские, ведущих торговлю, обладающих зачастую крупным богатством, а значит, и определенным весом в стране.

А различие среди аристократической верхушки, а обособленная каста военных, а жреческое сословие...

Компактная модель обширного мира, заполненного

пестрым населением... Мы изымаем из нее пророка из Назарета, по нашему произволу он, не успев проявить себя, погибнет в какой-нибудь ожесточившейся Вифсаиде. Скорей всего машине придется кого-то подобрать на выбор из тех, кого мы предлагаем на освободившееся место Христа. Но наша программа тут предусматривает даже и самотворчество машины, из отдельных закодированных характеристик она может сама создать некую условную личность, наиболее подходящую на роль Христа. И только одно запрещено машине — повторять код, который соответствует Христу. Нет смысла менять Христа на Христа. Должен быть кто-то иной, не идентичный.

И больше всего мы боялись утонуть в подробностях, наши усилия в основном были направлены на то, чтоб многоцветный исторический калейдоскоп свести к скуному колориту, к принципиальной схеме. Мы заранее должны смириться с тем, что наша модель станет походить на действительность, как модель авиалюбителя на сверхзвуковой воздушный лайнер. Но все-таки та и другая модель способна повторять действия оригинала — авиалюбительская летать, наша развиваться.

В трудах, в неудачах и посильных победах, в огорчениях и радостях прошла зима, вновь наступила весна. Полностью готовую программу, где Христос занимал свое место, Ирина Сушко прокрутила на машине, добилась полной отладки, а машина вынесла приговор: модель — действующая, все в порядке, пора приступить к самому главному акту — акту уничтожения Христа.

Собственно, его совершила одна Ирина — просто стерла из программы «Апостол» воплощенный в символы образ Христа, пришла к нам, села пога на ногу, закурила сигарету и, щурясь сквозь дым, сообщила:

— Все готово. Завтра запускаю.

Был вечер, институт уже опустел, внизу под нами — пустые лаборатории, безлюдные коридоры, за арочным окном сыпал мелкий тоскливый дождичек, шумела улица. На улицах час пик, люди набиваются в троллейбусы, переполняют подземные переходы в метро, разъезжаются по домам, усаживаются перед телевизорами, собираются идти в театры и кино, никто не подозревает, что в этот уходящий день совершается странное убийство, какого еще не случалось во все существование человечества. Самое странное и самое бескровное!

И мы четверо в тесной комнатке на верхнем этаже здания со скромной, но почтенной вывеской Научно-исследовательского института физики, мы, группа террористов, не возбуждены, не насторожены, а скорей просто растеряны. Целый год ждали этот момент, напряженно готовились. Должны бы торжествовать, но... как-то все слишком буднично — и дождь за окном, и привычная тишина опустившегося института, и слишком уж знакомые, слишком обычные слова: «Все готово. Завтра запускаю». Сколько раз мы их слышали от Ирины Сушко. Не верится, что час пробил.

Миша Дедушка первый подал голос:

— Помните бабочку Брэдбери?.. — с замогильной ноткой.

Мы молчали, вспоминая незатейливый рассказ американского фантаста.

— Иисус Христос, знаете ли, не бабочка... Что же будет?..

Ирина небрежно ответила:

— Свято место пусто не останется. Будет другой, совершит то же самое.

— Другой — он и есть другой. Непохожий явит себя миру сему, Ирина Михайловна. — Толя Зыбков, уютно угнездившись в креслице, жмурился в грозные брови Ирины.

Она снисходительно хмыкнула:

— Он, другой, будет иметь другой нос, другой цвет бороды, по не другие идеи.

— Оглянитесь на нас, Ирина Михайловна. — Толя Зыбков сладенько вежлив. — Вот здесь собрались четверо, учителя, единомышленников. Но я и Миша Дедушка не только же волосистостью подбородков отличаемся. И вы образом мышления на меня не похожи, и Георгий Петрович на нас, грешных... Только четверо, а какие различия.

— Не стоит, детишки, толочь воду в ступе, — дернула плечом Ирина. — Завтра выяснится, кто вместо Христа.

— Может, никого! — с прежней замогильной ноткой возвестил Миша. — Может, Христос действительно уникален и незаменим!

И молчал, не вступал в гадания, по Толя Зыбков повернулся ко мне всем телом.

— Георгий Петрович, мы царевубийцы, освобождаем трон. Так позвольте задать законный вопрос: кого бы вы хотели возвести на него?

Я ответил уклончиво:

- Самого вероятного.
- Тогда кто же, по-нашему, наиболее вероятен?
- Я не оригинал. Почти все считают второй фигурой в христианстве Павла. Я тоже.

СКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ

О Павле, не ведающем Христа

Какой-то племенной вождь в какие-то безвестно далекие времена среди угрюмой пустыни, неприветливых темных скал, возле художочной речушки, на горе Сион соорудил пехитрое укрепление, чтоб обороняться от назойливых соседей. В египетских манускриптах сохранилось письмо фараону Аменофису III от подвластного царька Урсалимму, а в Книге Бытия упоминается город Салим с его правителем Мельхиседеком. Иерусалим не евреями создан, не ими назван, он древнее из древнейшей истории.

Иисус Навин разбил хананеев, среди них Адониседека, царя иерусалимского. Город вошел во владения колена Иудина, вошел, но власти над собой еще не признавал, был крепостью независимого горного племени иевусеев. И лишь Давид наконец захватил город, поселился на Сионе, укрепил его, перенес туда ковчег завета. Иерусалим стал столицей евреев, не только тех, кто проживал на земле обетованной, но и тех, кто был рассеян по чужим землям. Сион, град Давидов в нем — духовный центр, хранитель святынь, сам святыня.

Выросший из спаленной пустыни Иерусалим одноцветно сер, угнетающе безрадостен — глина и камень, среди сбившихся хижин редко можно увидеть пыльную, тяжелую зелень померанцевого дерева. Только в Нижнем городе дворцы Ирода и Асмонеев утопают в садах. Улочки, лезущие в глубь оврагов и ползущие наверх, кривы и столь тесны, что едущий на осле порой поджигает колени, чтоб не зацепиться за стены. Пластается угарный дым от очагов, запахи варева, помоек, густой кислый смрад перенаселенности.

В послезакатный час, когда суeta сменяется зыбким покоем, кто-то уже спит, забыв заботы и огорчения, кто-то, прячась в своих стенах, вполголоса устало судит день про-

идущий или наедине с самим собой с надеждой ли, без надежды размышляет о дне грядущем, когда просиненный воздух замирает перед обвалом темноты,— в этот час по узким улочкам двигался отряд парней. На молодых лицах грозная деловитость, устремленная решительность в каждой фигуре. И кой у кого из-под войлочного плаща торчит короткий меч. Запоздавшие прохожие или шарахаются в сторону, или жмутся к стене.

Идут те, кто называет себя слугами синедрионовыми. Сейчас их время вылавливать врагов первосвященника.

Никогда не было спокойно в Иерусалиме, пынче его лихорадит едва ли не сильнее, чем прежде. Сюда едут евреи из Рима и Александрии, из Коринфа и Филиппи Македонского, из недалекой Аптиохии и дальнего царства Парфянского, где они осели еще со времени Навуходоносорова пленения. Едут, чтобы укрепиться в вере, а находят сомнения. Здесь, в Иерусалиме, каждый благовестит во что горазд, на свой лад толкует законы, стон и гам стоит от многоголосья. Нужен один голос, чтоб его слушались, и этот голос должен принадлежать первосвященнику, иначе зачем же он поставлен над всеми храниль древние святыни?

Нынешний первосвященник Иосиф Каиафа имеет осяпку царя Соломона, но во всем послушен своему тестю Ганану. И в синедрионе среди семидеяти одного избранного сидят помимо самого Ганана еще пятеро его сыновей, им подчиняются остальные. Царствующие потомки Ирода Великого не смеют им перечить, римский прокуратор вынужден с ними считаться. Синедрион — высшая власть Иудеи и Израиля! А в народе непокорность, разброд. Можно ли такое терпеть?

На помощь высокому синедриону из гуци народной, из числа тех, кто хочет порядка, спокойствия и благочестия,— молодые силы!

Это сыновья разных семейств, выросшие ли в богатстве, вырвавшиеся ли из нищеты, родом ли из Иерусалима, из соседних ли городов или пришедшие издалека, знающие назубок святое писание или бесхитростно невежественные,— все они горят неистовым желанием служить вере отцов.

Они ни в чем не сомневаются сами, не терпят сомнений в других.

Они не хотят ни о чем думать, так как знают, что за них думают избранные из избранных в синедрионе.

Они не терпят молчания, когда сами громко славят, не терпят крика, когда им наказано молчать.

Они всегда держатся сплоченной кучкой, у них молодые, крепкие мускулы, горячая кровь, а потому — берегись, не стой на пути!

Они за синедрион и синедрион за них, им дозволено то, что не дозволено другим. Могут жестоко избить, могут убить — дело святое, суд на их стороне.

Пусть каждый трепещет, если они идут в свой назначенный час! Любой может вызвать у них подозрение, любой встречный может оказаться тем самым врагом, которого они ищут в жертву синедриону.

И случайные прохожие стараются сейчас исчезнуть с их глаз, а те, кто не успевает, сторонятся, клонят головы, глядят в землю, обмирают.

Впереди отряда — мягким шагом на выгнутых ногах, голова без шеи на перекошенных плечах, крепкий гнутый нос, угрожающие брови и жгучий взгляд из-под них — некто Савл. Он недавно появился в Иерусалиме, не могуч телом, не знатен происхождением, но сразу стал главарем среди слуг синедрионовых, и молодые головорезы подчиняются его пенствову.

За два полнолуния перед тем высокий синедрион судил Стефана из Антиохии, бесноватого языческого города, где и евреи заражались бесноватостью. Стефан говорил, что еврей, который одевается в индийские шелка, забывает о вдовах и сиротах, хуже бедного язычника, ломающего свой хлеб с другим таким же бедным. В Иерусалиме полно нагих и голодных, они толпами ходили за Стефаном.

В святом храме перед грозным синедрионом Стефан вел себя дерзко. Когда сам Каиафа со своего первосвященнического места важно сказал: «Перед тобою богоизбранные, презренный. Одно может спасти тебя — покаяние», — Стефан отрезал:

— Богоизбранные ли те, кто печется о чреве своем и забывает душу свою? Кого вы спасли и кому помогли?

И не понять было, кто кого судил — синедрион ли его, он ли синедрион. Гордеца приговорили к смерти, но перед храмом собралась большая толпа и неизвестно было — так ли уж смиренно согласится она с судом?

Толпу расколол молодой Савл. Как только стража вывела Стефана в рваной одежде, с обнаженной мускулистой грудью, через головы толпы Савл крикнул ему:

— Забыл, что завещал нам господь: «Судей не злословь и начальника в народе твоём не поноси!»

И товарищи Савла с молодой яростью подхватили:

— Смерть тому, кто против господ нашего!

Толпа вздрогнула, колыхнулась, толпа вознегодовала, спасая веру свою:

— Смерть! Смерть отступнику!

Наверняка тут были сторонники Стефана — как не быть! — но затаились, ибо гнев толпы, защищающей веру, страшен.

Через весь город вели Стефана, кликушествуя, извергая проклятия, славя всемилостивейшего Иегову. Медники откладывали в сторону свои молотки, плотники и гончары снимали свои фартуки, торговцы сворачивали свой товар — присоединялись к толпе, заражались ее ненавистью, даже не успев узнать, в чем же провинился осужденный. Толпа росла и жаждала стать палачом.

Любой и каждый мог схватить камень, но должен помнить: здесь не самосуд, прежде соблюди древний обычай — выйди, сними одежду с себя, положи ее у ног обвинителя: тебе преданы, твою волю исполняем, не свою.

За городом, спустившись в Тиропеонскую долину, толпа остановилась, угрожающе сбилась вокруг преступника. И перед Савлом, утопившим голову в плечах, прячущим под густыми бровями горящие глаза, стала расти куча войлочных плащей, кафтанов, хламид. Охотники готовились исполнить его волю.

Стефан умер безмолвно, даже не издав стога.

Ночью его изуродованный труп исчез.

Сейчас Савл нес себя на полусогнутых, увлекая рослых молчаливых парней. В последние дни он внал в неистовство, днем не знал покоя, метался по городу, встречался с десятками людей — нищими и увечными, торчащими возле храма, менялами и торговцами, старшинами общины, — выспрашивал, выскинул: кто, что, где, когда, — а ночью уверенно вел свой отряд, врвался... Ни слезы, ни мольбы не могли разжалобить его, самых безвинных устрасал плетми, тех, кого подозревали, тащил в подвалы крепости Антония. Глаза его запали, лишь жесткий нос угрожающе торчал на усохшем лице. Савл вызывал страх даже у товарищей.

Ныне тайные соглядатаи донесли, что казненный Стефан часто посещал одного плетельщика циновок, жившего возле Дамасских ворот. Сам старый Ганан от имени первосвященника приказал хватать всякого, кто подозрева-

ется в знакомстве с богодержким антиохийцем. Многие скрылись, немногие схвачены, но на этот раз Савл послал человека доглядывать, не уйдет ли зверь. Ничего не сообщали, значит, спешат не зря — зверь в своем логове.

Свернули в узкий тупичок, упирающийся в стену дворца Ирода, и впереди в сумраке выросла тень. Савл, еще не успев подойти к ней вплотную, выдохнул:

— Ну?..

— Здесь... — кивнула тень.

В щель из-под двери сочился слабенький свет, за дверью ни звука, ни шороха — затаились. И дверь легкая, без особого труда любой может выдавить ее плечом. Савл осторожно тронул ее, она подалась, тогда толчком распахнул, шагнул в душное жилье.

Крохотный огонек светильника мигнул, но устоял под напором ворвавшегося воздуха, два лица уставились на Савла, одно косматое, темное, изрезанное морщинами, глаза топули в глубоких провалах, другое бледное, невнятно сглаженное, обмерше-глазастое. Старик и девочка лет шести, если не меньше.

— Ты ли хозяин дома сего? — спросил Савл старика.

— Теперь хозяин ты — и моего жалкого дома и меня... Ждал, что придешь.

У старика тихий, с одышкой голос, пропаханное лицо спокойно, а в круглых глазах девочки застывший ужас. И за спиной Савла дыхание сбившихся у распахнутых дверей ребят. Их два десятка, и они вооружены.

— Не тебя ли звать Ахая? Не плетение ли циповок твоё занятие?

— Зачем лишние вопросы — я тот, за кем ты пришел.

— И ты помогал богопротивному Стефану?

У старика дрогнули морщины, он покачал косматой головой:

— Тебе лучше моего известно, что ничем я не мог помочь Стефану.

— А если б мог?

— Все бы сделал, чтоб его снасти.

Савл глядел на старика — у него были узкие плечи и впалая грудь, тонкая сморщенная шея, казалось, с трудом держит бородатую голову, и обнаженные, в дряблой коже руки до локости тонки. Сколь слаб и немощен этот враг высокого синедриона.

— Мне жаль тебя, по я должен...

Старик не дал договорить, удивился:

— Тебе доступна жалость, почной гость?

И Савл даже не смог оскорбиться.

— Ты не видишь себя,— сказал он с досадой.— Тебя пожалеет всякий.

— Меня жалеть поздно. Пожалей ее.

Старик слабым кизком указал на девочку.

В ее распахнутых глазах тлели отраженные огоньки слабешького светильника. Савл смутился, а потому спросил раздраженно:

— Ты хочешь, чтоб я взял ее себе... вместо дочери?

— Дочерью человека, кого все боятся и тайно клянут в сердце своем? Стать самой клятой? Нет! — Старик потряс космами, посидел с опущенной головой, наконец поднял запавшие глаза на Савла.— Убей ее, когда меня выведешь отсюда, и ты сделаешь доброе дело.

За спиной Савла кто-то удивленно обронил:

-- Авва!

Кто-то сдвленно выругался. Старик издевался. Савл, сжав кулаки, качнулся на него.

— Я вырву твой поганый язык!

— Вырви...— согласился старик.— Но сначала открой на нее глаза — что ее ждет?.. Ее отца распяли на кресте римляне, он висел много дней на площади и гнил... Ее мать схватили солдаты и надругались, она перерезала себе горло, потому что знала — все у нас благочестивы, все станут считать ее нечистой... Гляди на нее, воин синедриона: она только пачала жить, а уж тонет в крови. И ты хочешь, чтоб она жила и дальше — в крови, в злобе, в голоде, в этом страшном мире, где хорошо только тем, кто убивает и насилует? Вроде тебя, ворвавшийся почью в чужой дом! Она похожей на тебя стать не сможет, ей лучше не жить. У меня не подыметя рука, а твоя рука привычна. Сделай доброе дело раз в жизни, по прежде выведи меня, чтоб я не видел...

Савл с размаху пнул старика, тот опрокинулся, а девочка с неожиданным проворством шарахнулась в темный угол, затаилась там. Она не вскрикнула, не заплакала. Савл не видел ее, лишь кожей чувствовал, как жметя она в темном углу, пытается исчезнуть.

Пинок Савла был принят как команда. Парни ворвались, схватили старика, вытащили наружу. Кто-то сбил светильник, и в доме стало темно. Савл стоял в этой темноте, пытаясь сдержать дрожь в руках и коленях, и всей кожей чувствовал — рядом прячется девочка, не смеет вскрикнуть и шевельнуться. Похоже, она уже не раз в

своей коротенькой жизни вот так пряталась и все происшедшее сейчас для нее не ново.

Бросить ее здесь одну?.. Разве это не все равно что убить? Медленно станет умирать с голоду. Но, может, кто-то даст ей место в своем доме?.. Кто-то — не ты! Тебе доступна жалость?.. Доступна! Доступна! Старик лгал!.. Но тогда куда девать тебе девочку, когда нет у тебя ни дома, ни семьи, сам почувешь где придется?.. И что скажут ребята, если увидят — Савл подобрал богопротивное отренье?.. Что скажут, что подумают, не будут ли смеяться?..

Девочка пряталась от него, а за распахнутой дверью голоса, шевеленье, зажгли факелы, ожидали его.

Савл окликнул:

— Эй, где ты?..

Молчание. Стучала кровь в голове.

— Э-эй, — громче.

Тихо. Она боится. И скорей всего она уже научилась ненавидеть. Зачем она ему?..

Он рассердился, и сразу стало легче. Резко повернулся и вышел.

Два десятка рослых парней, вооруженных палками, пожами и мечами, при свете факелов деловито, почти торжественно вели одного с трудом переставляющего ноги старика. Савл шагал позади всех, радовался, что факелы горят впереди, никто не видит в темноте его лицо.

«Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ!» — эти слова постоянно провозглашались в синагоге. Он, Савл, убил Стефана. Да, да, все сделал для этого: позвал толпу, привел ее к месту казни, и добровольцы-палачи к его ногам сбрасывали одежду — твою волю выполняем, не свою! Чтоб спасти народ богоизбранный, праведных детей Авраамовых, не каких-нибудь проклятых язычников, которые поклоняются идолам! Убил Стефана и был горд собой — угоден богу, сделал добро своему народу!

Стефан умер молча, не молил о пощаде. И перед грозным синагогом — цари не смеют перечить! — бросил: «Жестоковыйные!» Он не мог не догадываться, что после таких слов в живых не останется. Синагога не прощает обидчиков.

Не думал о себе. Так о ком же он думал? Ради чего, ради кого он готов был принять смерть?

Знал ли Стефан о девочке? О том, что не начала жить,

а уже утонула в крови отца и матери... Не мог не знать, потому что был знаком со стариком. «Жестокосердый!» — кажется понятным, отчего Стефан не устрасился синедрона.

Просил ли старик Стефана: «Убей девочку, и ты сделаешь доброе дело»?.. Просить о таком можно только убийцу. Стефан не убийца — сам жертва. Убийца ты, Савл!

«Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ!» Еще одного, что за малость, еще раз пролить лишнюю кровь, сделать кровавый мир более кровавым. Ты верил, верил, можно спасти, нужно спасти народ убийством! Звал к этому толпу. И толпа слушалась тебя, медники откладывали в сторону свои молотки, плотники и гончары бросали работу, шли, чтоб убить того, кто хотел, чтоб они не убивали друг друга, не страшась жили.

Старик сказал: «В этом страшном мире хорошо только тем, кто убивает...» Ты, Савл, стал известен в Иерусалиме, тебя боятся, тебе при встрече уступают дорогу, синедрон ценит тебя, Гапани, всемогущий Гапани, кого безропотно слушается сам первосвященник, нуждается в твоей помощи. Плохо ли тебе, Савл? Со временем ты окажешься в числе семидесяти одного, которые заседают в синедроне.

Старика вели с зажженными факелами по пустым улочкам. Двадцать парней с решительными физиономиями. Старика бросят в подвалы крепости, он уже не вернется оттуда. Еще одна смерть, еще одно убийство. Савл шагал сзади, верный слуга, который рано или поздно станет господином. Никто не видел в темноте его лица.

А позади в пустом, темном, нищенском доме забилась в угол маленькая девочка — одна перед залитым кровью миром.

Утром Савл кинулся к Дамасским воротам, в тупичок, упирающийся в городскую стену. Он по-прежнему не знал, что делать с девочкой, куда ее пристроить, сможет ли заменить ей отца или старшего брата. Но знал: если не отыщет, не возьмет к себе, то каждый день его будет начинаться с мысли — бросил!.. Не смей радоваться, что живешь на свете, не смей напоминать о себе богу! И в конце концов проклянешь себя. Не девочку бежал спасать Савл — себя самого!

При свете дня дом старика был так же дряхл, как и

его хозяин, — неровные выпирающие камни, обмазанные рыжей глиной, дверь распахнута, внутри пусто: просиженные циновки, куча тряпья в углу, глиняный светильник на полу, опрокинутый почью. Савл бросился к соседям — должны же они знать, где девочка!..

Соседи прятали глаза, отвечали неохотно:

— Не знаем. Ничего не видели.

Он упрашивал, он молил...

— Не видели. Откуда нам знать.

Робеющие лица, опущенные глаза, неискренние голоса. Знают, что перед ними тот, кто вчера в ночь ворвался в этот нищенский дом. Знают и о том, что это он, Савл, казнил Стефана, который здесь часто бывал, говорил им свои проповеди.

Люди старательно прятали глаза, но Савлу и не нужно было в них заглядывать, чтоб понять, что они о нем думают: «Мало тебе расправиться со Стефаном, мало схватить едва живого старика, тебе нужен еще и безвишый ребенок». Савл содрогнулся от потайной к себе ненависти, не посмел дальше расспрашивать.

А хочешь не хочешь — надо жить. В последнее же время его жизнь заполнена одним — вслушивайся, вглядывайся, выискивай врагов синедриона, хватай их. От тебя ждут только этого и ничего другого. Ждет могущественное вельможное семейство Ганаанов вместе с первосвященником Иосифом Канафой, ждут старосты общин, ждут товарищи по ночным вылазкам, признающие тебя старшим, ждут начатые и незаконченные дела, и на сегодняшней вечер намечены уже новые жертвы.

Отказаться? Спросят — почему? Тверд ли сам в вере?.. Синедрион отступников не жалуется.

В полдень Савлу сообщили — его требует к себе не кто-нибудь, а сам Ганаан.

Он усох и сморщился от многолетних высоких забот — беззубый рот под костлявым посом, слезящиеся глазки, затейливая вязь бескровных морщинок, темные немощные старческие руки. После Ирода Великого в Иудее не было более могущественного человека. Он верно служил Риму и заставлял служить себе Рим. Он ставил первосвященников и снимал их. Он мог вызвать на суд царствующих тетрархов и заставить их вымаливать прощение. Он даже пытался влиять на судьбы мира, ибо евреи всюду, а где евреи, там должна ощущаться и власть Ганаана.

Савл почтительно стоял перед ним, а тот ощупывал слезящимися глазами его приземистую нахохленную фигуру.

— Богу угодно твое усердие,— произнес Ганан дребезжащим голосом.

Не раз Савл слышал эту милостивую фразу, но впервые ей удивился — говорят за бога, убеждены, что богу желательно именно то, что им самим.

Ганан, однако, никогда не был слишком щедр на похвалу, сразу же перешел к делу:

— Нам принесли весть из Дамаска. Там община ждет помощи — кой-кто утратил крепость веры. Отправляйся туда и покажи, как надо защищать благочестие. Действуй решительно, но не спеши, присмотришься, не открывай сразу себя. Сперва подбери себе верных людей. И моего имени не упоминай. Действуй, а уж мы не забудем твои заслуги перед богом.

Дамаск для Ганана дверь на восток — в Сирию, в Каппадокию, в Азию,— а потому возле этих дверей должны находиться верные ему слуги. В Дамаске у Ганана жили тайные соглядатаи, и часто ходили туда столь же тайные посланцы. Савл должен стать одним из них, из тайных.

Сейчас ему трудно в Иерусалиме. Савл ни на минуту не забывает об исчезнувшей девочке, еще вчера верил — все, что ни сделает, во благо; теперь веры нет. Врываться по почам в чужие дома, видеть испуганные бледные лица, грозить, хватать, заламывать руки — богу угодно твое усердие! Чем могла прогневить всевышнего девочка? Нет опоры, па что ни оглянись — все шатко... Ганан заставляет исчезнуть из Иерусалима, забыть на время — хотя бы на время! — то, чем занимался...

И впервые с прошлого вечера Савл облегченно выдохнул:

— Когда отправляться, господин?

— Завтра. На рассвете.

Да благословенно на этот раз нетерпение сильных мира сего, он исполнит приказ Ганана — оставит Иерусалим как можно раньше, еще до рассвета.

До Дамаска восемь дней пути. В одиночку не ходили — по дороге грабили, особенно в Самарии. Веками презирали евреи самаритян — та же вера, но не тот народ, дальше от бога, нечисты, грешно даже с ними заговари-

вать. Самаритяне мстили евреям при случае. В глухой час, в глухом углу лучше с ними не встречаться.

Путники первые дни держались двух римских солдат, направлявшихся в Кесарию. Да, они чужой веры, да, молятся идолам, но презрения к ним не покажешь, сами смотрят на иудеев свысока — скандальное племя. Рим — хозяйин вселенной, даже благочестивые евреи желали называться римлянами, конечно, не отказываясь при этом от своей веры.

Дед Савла еще при Помпее получил звание римского гражданина — чем услужил, за сколько купил, этого уже узнать теперь нельзя. Но и отец и сам Савл носили такое звание. Потому-то солдаты сразу отличили Савла от других путников, вступали в беседу, называли его на латинский лад Павлом. Павлом он стал и для остальных... Выйдя за стены Иерусалима, он получил новое имя, которое потом понесет история.

Миновали одно селение за другим, чаще стесненные горами, реже рассыпанные по каменистым долинам. Жители ковырялись в виноградниках, мотыжили черствую землю, в тесных дворах гоняли по кругу ослов, обмолачивали полбу, рыжий княжечный дымок путался в ветвях старых смоков. Что еще надо людям — добывай пищу на день свой грядущий, дорожи покоем соседа, и он не нарушит твой покой. Как проста вообще-то жизнь!

И нет, нет покоя на земле обетованной! Тот, кто копается в винограднике, гоняет осла по сжатому хлебу, не знает, будет ли он пить свое вино, есть хлеба досыта. Мытари сторожат его — отдай римскому кесарю, отдай тетрарху, отдай первосвященнику! Сильный рвет кусок у слабого. Плач и угрозы, стоны и проклятья — не могут поделить люди то, что отпущено им богом. Не могут поделить даже самого бога единого, всяк его видит по-своему, считает себя перед ним чище других, славит законы, данные богом, и бесстыдно нарушает их. Только одному закону усердно подчиняются все: око за око, зуб за зуб!

Савл, ставший Павлом, шагал по Израилю, жадно глядел на все вокруг и ни на минуту не забывал об исчезнувшей девочке. Она, обреченная, научила его страдать. Не за себя, за других, не сознающих, что каждый сирота в мире сем, каждый пуждается в защите и помощи. Страдания вызывали даже жалкие самаритяне, встречающиеся на пути. Се тоже люди и еще большие сироты, чем он сам, — разве им не нужна защита и помощь?..

Один ли он сострадает и хочет помочь? Сколько проро-

ков ходит по земле, любого встречают с надеждой, любой щедр на обещания, но ни одно пока не сбылось.

А нужно ли обещать? Не лучше ли сказать: не ждите от других, сами давайте чем богаты. Если есть у тебя кусок хлеба, преломи его с тем, кто голоден. Если нет хлеба, голоден сам, пайди доброе слово для такого же голодного. И тогда не око за око, не зуб на зуб, а благодарность за благодарность, спасение за спасение — кто тогда почувствует себя сиротой?..

Все люди станут одной семьей, не о том ли говорил пророк Михей: «И перекуют они мечи свои на орала и копыя свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча и не будет учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и пикто не будет устрашать их...»

После Самарии шли по Галилее, здесь не столь суровы скалы, не так испечена земля, зелень ярче и народ приветливее. Казалось Павлу: мир улыбается тому светлomu, что росло внутри его.

Берегов моря Галилейского они лишь коснулись, пройдя кусок пути по прибрежным селениям. Капернаум остался в стороне, Вифсаиде тоже. Павел не знал, что в этой стороне Вифсаиде несколько лет назад побили камнями захожего пророка по имени Иисус, называвшего себя Сыном Человеческим. Лишь жалкая кучка рыбаков вспоминает теперь о нем, да в Назарете все еще живет его мать, живут его братья и сестры. И куда-то исчезла Мария из Магдалы, вылеченная им от бесноватости.

Через три дня, «пройдя Итурию, Павел вступил на большую Дамасскую долину»...

Об этом событии позднее будет рассказывать и сам Павел и многие, многие — в разное время, трактуя на свой лад. В XIX веке его попытается реалистически представить Эрнест Ренан, известный французский писатель и выдающийся семитолог. Вот его описание:

«...Павел вступил на большую Дамасскую долину. Он подошел к городу и находился, должно быть, уже около окружающих город садов. Был полдень. С Павлом было несколько товарищей, и он, по всей вероятности, шел пешком.

Долина эта принадлежит к плодороднейшим и живописнейшим местностям земного шара, и с самых древних времен и доныне она называется «Раем Господним»... По

всей вероятности, глаза его были воспалены, может быть, начиналась офтальмия. При подобной продолжительной ходьбе последние часы самые опасные. Нервное напряжение проходит, начинается реакция. Может быть, что внезапный переход из налящей пустыни в прохладную тень садов вызвал удар в болезненном и сильно потрясенном организме. В этих местностях человеком внезапно овладевает опасная лихорадка, сопровождающаяся приливом крови к голове. В несколько мгновений человек как бы поражается молнией. После того как проходит припадок, остается впечатление темной, прорезываемой молнией ночи, на черном фоне которой являются какие-то смутные картины. (Подобный припадок был со мной в Библосе; будь у меня другие взгляды, я принял бы бывшую тогда у меня галлюцинацию за чудесные явления.)

Несомненно, что страшный удар лишил Павла в одно мгновение сознания...

Вероятно, что внезапно разразилась буря на отрогах Гермона, центре скопления электричества, с силой которого ничто не может сравниться. Не нужно также забывать того, что в древности подобные явления считались божественными откровениями, что они согласно тогдашним представлениям о судьбе не заключали в себе ничего случайного, что каждый имел обыкновение рассматривать все происходившие вокруг него явления природы по отношению к самому себе. В особенности у евреев гром всегда считался гласом божьим, молния огнем божьим. Павел находился в необычном волнении. Естественно, что он слышал в голосе грозы то, что именно волновало его. Овладело ли им внезапное помрачение рассудка, вызванное солнечным ударом или офтальмией, или ослепила его на довольно продолжительное время молния, или молния и гром повергли его на землю и вызвали потрясение мозга — все это имеет мало значения. Воспоминания самого апостола, по-видимому, довольно смутны, он был убежден, что имело место сверхъестественное явление... При подобных потрясениях человек иногда совершенно теряет представление о моментах кризиса...»

Эрнест Ренап следовал реальной истории, его Павел знал об Иисусе Христе, был гонителем христианства, а потому и галлюцинации, вызванные шоковым состоянием, связаны у него с Христом:

«Он увидел образ, преследовавший его уже несколько дней, он увидел призрак, о котором носилось столько рас-

сказов, он увидел самого Иисуса, который говорил ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?»...»

Наш Павел находится в истории, где совершилось событие — в Вифсаиде. Нашему Павлу не мог явиться Христос со скорбным упреком. Удар перед Дамаском он мог воспринять лишь как грозное божье остережение — не смей жить, как жил, творить, что творил, вступай на новый путь, который тебе открылся.

Событие в Вифсаиде убрало из истории Христа. Но история сразу же предложила готового подвижника.

Машина выбрала наиболее вероятного. И мы без лишних эмоций приняли его и вплотную занялись Павлом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Последователи, как правило, разительно не похожи на зачинателей. Павел громко славит Христа и постоянно противоречит ему.

Христос не ценит достоинство ума в человеке, напротив, считает — «блаженны нищие духом», им, бездушным, легче уверовать в бога, а потому умиленно увещевает: «Будьте как дети». Неистовый глашатай Христа Павел взывает к иному: «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Он убежден, что божеское постигается, «соображая духовное с духовным». Соображая! Не бездумная доверчивость, а наличие ума — вот достоинство человека, по Павлу.

Христос беспечно наставляет: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут... Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?»... Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». А Павел и помыслить не может, что «все приложится» само собой, он настойчиво призывает трудиться, именно ему приписываются знаменитые слова: кто не трудится, тот не ест! И он, Павел, уже озабочен распределением продуктов труда. «Ибо в Моисеевом законе написано, — напоминает он, — «не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с падеж-

дою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое».

Христа в веках умиленно почитали спасителем всего человечества, а он был из иудейских пророков, для кого евреи — дети, все остальные псы... И только Павел дерзко ломает тесные национальные рамки, вызывая бросает миру: «Я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам... Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников». Пожалуй, его можно считать первым интернационалистом в мировой истории.

Накопец, и в самом главном, в основе основ учения — в любви к ближнему, — Павел вовсе не такой уж покорный последователь Христа. Он не повторяет безрассудного: «Любите врагов ваших». «Если враг твой голоден, — говорит он, — накорми его; если жаждет, напои его; ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». От «люби врага» такая позиция — «горящие уголья на голову» — далека, враг для Павла остается врагом.

Как любить и что, собственно, такое любовь? — для Христа пелепа сама постановка вопроса. Просто люби и не рассуждай лишку, так указано господом богом.

Для Павла же любовь здраво осознанная — необходимость, нуждающаяся в точном объяснении. И он объясняет: «Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убий», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя»...» Выходит, что любовь не божественное паитие, а всего-навсего исполнение моральных законов.

Пожар христианства уже вспыхнул, а этот недюжинный человек еще не успел сформироваться. И пламя было слишком велико, слишком много людей уже грелось возле него, бессмысленно разжигать рядом новый костер, пришлось стать раздувающим. Павел раздувал, но при этом подкидывал свои дрова.

В нашей модели Христа нет, Павлу предоставлена самостоятельность. Можно ли сомневаться, что павлианство окажется столь же отличающимся от привычного христианства, как сам Павел отличен от Иисуса Христа? Говоря словами Миши Дедушки, «это вам не бабочка Брэдбери».

Какие сюрпризы ждут нас?..

Но у дерзновенного Павла был враг, с каким часто сталкиваются недюжинные люди,— он сам! Павел отрицал Павла, да так, что вызывал полное недоумение — изумляться ему или негодовать, оправдывать его или отвергать? Возникало даже сомнение: а существовала ли эта историческая фигура, не перепутались ли под одним именем в течение веков противоречащие друг другу взгляды и мнения?

Для того чтоб как-то выяснить, мы решили устроить судилище. Прокурорские обязанности взял на себя Толя Зыбков. Адвокатом мог стать каждый...

Мы, как истые террористы, хранили в тайне свой заговор. Мне не нужно было предупреждать своих флибустьеров о молчании, каждый понимал, что если паша затея вырвется наружу, сразу обрушатся досадные осложнения: полезут любопытные, пойдут досужие разговоры, и я окажусь в двусмысленном положении — почтенный физик-теоретик стал подозрительным теологом! Помимо нас о криминальной вылазке в глубину истории знали лишь в вычислительном центре те самые доброжелательные жрецы и пифии, которые обкатывали на нашей программе своего нового электронного оракула. Но опито никак не были связаны с нашим окружением, с их стороны разоблачение не грозило.

И все-таки к нам проник один посторонний, виной тому стал Миша Дедушка.

Перед началом назначенного судилища он явился ко мне горделивый до заносчивости, отутюженный до умопомрачения — белоснежные полоски манжет из рукавов, бордовый с прожилками галстук, значок мастера спорта на лацкане, цветной копчик платочка из нагрудного кармашка и обихоженная борода, распространяющая благоухание, и петушиная осаночка.

— Георгий Петрович, хочу представить... — Обернувшись к распахнутой двери, провозгласил: — Прошу, Настя!..

Она всплыла несмело, бочком, с беззащитной улыбочкой: ломко-долговязая, пунцовеющее личико маячит над тщательно расчесанной макушкой Миши, с высоты стынут обморочно-голубые, кукольно-наивные, обильно реснитчатые глаза.

— Знакомьтесь... — выдохнул Миша. — И предупреж-

даю: меня хватит паралич, ежели вы друг другу не поправитесь.

И бережно подержал тепленькую ладошку Насти:

— Смирение паче гордости, Миша. Тебе никак не грозит паралич.

— Георгий Петрович, я, верный пес, свирепо охранял от посторонних наш высокий ареонаг. Георгий Петрович, за преданность прошу награды...

— Проси!

— Разрешите ей время от времени находиться среди нас.

Ну мог ли я отказать?

И Настя, примостившись рядом с Мишей на подоконнике, стала представлять в своем лице публику...

Толя Зыбков деловито нахохлен, на коленях раскрытый блокнот — для торжественности, не для памяти. Память у парня отменная, пужные цитаты безошибочно выдает наизусть, и голос его на сей раз без насмешки, щекастое лицо насуплено.

— Я утверждаю: Павел постоянно предавал самого себя. И доказать это большого труда не составляет...

Я рисую ромашки и бакенбардисто-усатые физиономии, Ирина дымит сигаретой, прицельно щурится сквозь дым на неподкупного Толю, Миша Дедушка, плечо в плечо с замороженной Настей, в картинном внимании задрал тугую бородку.

А Толя не торопясь ставливает Павла с Павлом:

— В «Послании к Римлянам», глава двенадцатая, брошен призыв: «И не сообразуйтесь с веком сим!» С одним из самых, можно сказать, безобразных веков в истории, породившим чудовищ вроде Калигулы и Нерона. «Не сообразуйтесь!» — вполне достойный повтора призыв...

Толя опускает глаза к непорочно чистой странице блокнота, давая нам возможность проникнуться значительностью сообщения.

— После такого призыва, наверное, следует ждать совета — как же изменить несообразный век? И совет Павел дает в том же «Послании к Римлянам»: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван...» То есть раб оставайся рабом, а господин господином. «Не сообразуйтесь с веком сим», стремитесь к иному, но пусть остается все как было, не пужно ничего менять. Странное совмещение несовместимого!

И не выдерживает Ирина:

— Да он же хотел изменить не социальное устройство, а нравы. Только нравы, голубчик!

И рисую гусара с усами и кожей чувствую — Толя Зыбков собирается для выпада. Говорит он противным посто-назидательным тоном:

— Нельзя изменить нравы, Ирина Михайловна, не меняя социального устройства.

Искушенный брестер делает ложный фланг, и отважно-прямолинейная Ирина попадает на него.

— Это тебе, умный мальчик, известно и мне, — раздражается она, — а Павел не изучал марксизма, он-то ведь искренне считал — можно нравы изменить, так сказать, напрямую.

И Толя с леппой, медлительно тянется к блокнотику, перелистнул его с чистой странички па чистую, заговорил с явным наслаждением:

— А вот в «Первом послании к Коринфянам», глава пятнадцатая, Павел провозглашает: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы». Не правда ли знаменательные слова? Даже для нас с вами, Ирина Михайловна... Нет, он не хуже нас, просвещенных, понимал, что нравы зависят от сообществ. Знал это и... «Каждый оставайся в том звании, в котором призван».

— Гм... Черт возьми!

Математик Ирина Сушко слабо сведуща в Новом завете, сообщение Толи для нее — ошеломляющее открытие. А Толя не спешит до торжества, двигается дальше уже победным маршем, без выжидательных остановок:

— Павел отстаивает: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Отстаивает не только страстно, но и бесстрашно. В раболепстве его никак не обвинишь. И тем не менее усиленно внушает: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинаяте». Имеете право, Ирина Михайловна, заметить — гонители для него не имели, мол, классовой подоплеки, просто дурные люди, заблудшие души. Увы, Павел тут не оставляет двусмысленности, объясняет без околичностей: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Гонителями-то высшие власти оказываются. Павел признает это, но объясняет: «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч... И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Каковы наставленьица, Ирина Михайловна? А между прочим, в другом месте Павел настойчиво утверждает, что вовсе не проповедует мудрость «властей

века сего предрежащих». Вот и гадай, чему из того, что говорил, он сам верил, чему нет...

— Верил и в то и в другое — гениальный путаник! — авторитетно объявляет от окна Миша Дедушка.

Ирина с досадой морщится:

— Сказал — что рублем одарил.

— Скажи иначе. — Миша петушипо-воипствен при Насте, однако с остросточкой: Ирина может и припечатать. — Он бесстрашен, с этим ты согласна?

— Положим.

— И бесчестным его тоже не назовешь. Остается одно — путаник! Если не гениальный, то уж паверпяка дерзкий, чего не отымешь, того не отымешь. — Миша торжественно повел бородой в мою сторону: оцените, каков я, Георгий Петрович.

Я не отозвался, в эту минуту я, право, знал не больше него.

Заговорила Ирина:

— А кто был тогда не путаник, позволь тебя спросить? Просвещенный Сенека красиво откровенничал о справедливости, а служил Нерону. Тот же Христос убеждал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», по призывал — отдай кесарю кесарево. Тоже ведь не очень-то логично с нашей точки зрения.

— Не забывайте, Ирина Михайловна, — вежливо вмешался Толя Зыбков. — Христос проповедовал «любви врага своего». С такой позиции «кесарево — кесарю» вполне оправдано — купи себе независимость, но не враждуй. А Павел-то, как мы знаем, «любви врага» боком обходил — насыпь врагу горячие уголья на голову и покорись сильнейшему, тому, кто с мечом. От недомыслия это? Путаник?.. Сомневаюсь!..

Все взгляды повернулись ко мне — слово за судьей! Но я лишь утвердился сейчас в одном: суд наш преждевременен, предварительное следствие не закончено, возможно, даже и обвинение предъявлено не по адресу.

— Скорей всего это загадка не Павла, — сказал я.

— А чья же? — насторожился Толя.

— Его времени.

— Время нелогично?

— Нелогичными могут быть люди, но не время.

— Так что, что тогда?..

— Нам ничего другого не остается, как дальше копать вокруг Павла.

Неудовлетворенное молчание. Еще бы, я, похоже, и сам скис от своих ответов.

И вдруг раздалось мелодичное сопрано:

— Можно мне спросить?

Мы не сразу сообразили, что обрела дар речи повоявленная подруга Миши Дедушки. До сих пор Настя прилежно слушала, прилежно молчала, даже неведомо было, какой по звуку ее голос. Оказывается — ангельский. Она по-школьному поднимала вверх розовую ладонку, доверчиво глядела на меня кукольно-рисованными глазами.

— А зачем нужно судить человека, который так давно умер? Не все ли равно нам, как он там вел себя?

Миша Дедушка нацелился на Толю Зыбкова взглядом заклинателя змей — только попробуй сострить! А я озадаченно почесывал лысину — вопросик-то хотя и девичий, но не простой. И я ответил как мог:

— Мы выросли из него, Настя.

Настя на минуту задумалась с голубым недоумением во взоре, но тут же счастливо озарилась:

— Ага! Мы должны знать Павла, чтоб не походить на него в своих поступках.

Толя Зыбков честно выдержал, не издал ни звука, зато сам Миша негромко крикнул.

Я же счел нужным согласиться:

— Почти угадала.

3

Рассеянно молчавшая Ирина Сушко негромко произнесла:

— Устами младенца глаголет истина... Признаться честно, я тоже смутно представляю себе, чего мы хотим от Павла.

Миша Дедушка удивился:

— Эва, опять двадцать пять! Сколько раз мы это колесо крутили — роль личности в истории.

— Буксует наше колесо, друг бесценный, не двигаемся с места.

— Гоняла, гоняла машину — и ни с места! — У Миши даже скулы над бородой возмущенно порозовели. — А не кажется ли, что сейчас, в эту вот не вдохновенную минуту оглядываемся на пройденный путь и — эхма! — признать вынуждены, что для госпожи истории незаменимых личностей нет.

Ирина презрительно фыркнула:

— Вот именно, доехали до открытия. Стоило ради него машину пасивать, легко можно было самим соорудить.

— А что ты ждала? Жар-птицу красоты невиданной? Истина-то, мамочка, в скромных перьях, оказывается.

— Ждала откровения, мудрый Дед. А наткнулась на старого знакомого — традиционного путапика, который заветных секретов, не жди, не откроет. Мне цель пужна!

У Толи Зыбова появилось на физиономии просто-дураковатое выражение:

— Позвали девочку в лес за лисичками...— начал он мечтательным голосом.

Ирина свела брови, перебила:

— Давай без паясничанья, сурочек. О самом важном говорим.

Толя скорбно вздохнул:

— Не надо плакать, Ирина Михайловна, лисички рядом, лисички всюду, только они не на четырех ногах и не с хвостами. Мы добытчики знаний, Ирина Михайловна! Значит, знания и есть наша цель!

— Нет, яблочко паливное, знания не цель, как и кирпич еще не дом. Могу я поинтересоваться: для чего пригодятся те знания, которые мы добудем?

— Кто мог сказать Герцу — для чего пригодятся его электромагнитные волны? Дело Герца и нас с вами — поймать новые знания, выпустить их в мир: летите, голуби! А уж кто и когда голубей приручит, к чему приспособит — не наша забота.

Головастый румяный мальчик, пожалуй, один из лучших представителей современного поколения духовных акселератов. Такие мальчики родились тогда, когда их напы и мамы со вздохом вспоминали войну: «Тяжелое было время». Было да прошло, мальчикам не пришлось мерзнуть в окопах, ползать на брюхе под пулями, видеть трупы, есть лепешки из гнилого картофеля. Они всегда спали на чистых простынях, ели досыта, не знали, что такое заплаты на штанах, а потому снисходительно презирают грубый утилитаризм. Вот абстрактные знания — другое дело, увлекательное занятие вылавливать их, любоваться ими, а потом отбрасывать — авось подберут, приспособят. Мир для этих мальчиков вроде кроссворда — загадка пересекается с загадкой, любопытно, стоит поломать голову. Такое любопытство доступно только особо подготовленным, только избранным — аристократам духа. Лю-

дям нужен хлеб пасущий, людям нужна правдивость — да, да, конечно! Готовы признать, но не способны поверить, что когда-нибудь не станет обиженных и униженных, обманщиков и корыстолюбцев, — противоречия неистребимы, рай земной такая же наивная выдумка для простаков, как и рай небесный. Раздираемый страстями мир весьма ненадежен, по тем более торопись насладиться им. Нет, такие мальчики не собираются услаждать свою плоть, для многих из них действительно, кроме «свежевымытой сорочки», ничего не надо, аристократы духа жаждут истины. Самой разнообразной, касающейся нейтринно или квазаров, формы ДНК или наличия биополя, — изощренными приемами добыть ее, потешиться и выпустить: летите, голуби! Вдуматься — странный интеллектуальный снобизм... Он корбит не только меня, Ирина внимательно разглядывает Толю матовыми, не пускающими в себя глазами.

— Не клевети на Герца, сурочек, — заговорила она. — Герц в отличие от тебя наверняка тайл в душе святую корысть: мол, открою неизвестное явление, узнаю лучший мир, значит, если не я сам, то дети и внуки сумеют лучше в нем устроиться.

— А так ли уж наверняка, Ирина Михайловна, достопочтенный Герц держал про себя этот расчет? — усомнился Толя.

— Достопочтенный Герц жил в то время, когда никто не сомневался, что всякое знание людям во благо. Достопочтенному Герцу и в голову не могло прийти, что когда-нибудь научные знания через водородные бомбы и прочих технических монстров станут глобальной угрозой. Да и сейчас, деточка, далеко не все освободились от святой корысти, лелеют надежду через новые знания принести пользу, а не вред. Только мой электронный олух, с которым я роман кручу, корыстного расчетца в душе не держит по той причине, что души-то у него нет. Стала бы я ковыряться в жизни Павла, покрытой вековой пылью, если б не рассчитывала что-то выковырять для нашей пыльной жизни. Хочу, хочу что-то внести в нее, что-то поправить. Не сомневаюсь, Георгий Петрович того же хочет.

На широком простецком лице Толи гуляла ироническая улыбочка.

— Хотеть-то и я хочу. Кто не хочет... — Прокипковелым голосом, примиряюще: — Только как мое, так и ваше, Ирина Михайловна, хотение, признайтесь, дешево стоит.

Оно равноценно мечтанию: эх если бы да кабы... Я же не поэтом стремлюсь быть — ученым, для меня, простите, беспредметные мечтания неприемлемы.

Тут не выдержал я:

— Без мечты, голубчик, невозможна никакая деятельность, в том числе и научная. Мечта — освободиться от изнурительного труда, мечта — летать по воздуху, мечта — добраться до Луны... Каждой научной победе предшествовало иступленное мечтание. Ты собираешься подавить в себе эту способность — чего же от тебя тогда ждать, каких свершений?

Толя распрямился, его рыхлое тело обрело упругость, а щекастое лицо достоинство, на чистое чело набежала морщинка.

— Георгий Петрович, — произнес он почти сурово, — вы не хуже меня знаете, что на крыльях мечты можно залететь черт-те куда. Мечтать умеют все, а вот в узде держать мечту, как ею править — не каждому-то дано. Вы в этом нас куда опытнее, научите.

— Могу посоветовать: правь туда, куда зовет мечта. Вот только дорогу, дружок, выбирай уж сам. Прямые дороги к цели бывают крайне редко.

— К цели? — воспрянул Толя. — К какой? Вы же слышали, как Ирина Михайловна убивалась: в тупичок уперлись, нет цели! А она мечтала о большой да светлой, за какую жизнь отдать не жалко. Увяли у мечты крылья. Как быть?..

— Так-таки и увяли?.. — Я повернулся к Ирине. — Ты в тупичке щель не заметила. Если ее расширить, чую я — на большие просторы выйти можно.

Ирина уставилась на меня провально темными глазами.

— Вспомни — Павел обронил: «Дурные сообщества развращают добрые нравы».

— Ну и что? — осторожно спросила Ирина.

— А то, что уже тогда мелькала мысль, которая противоречит религиозному пониманию нравственности.

В глазах Ирины недоуменный мрак. Миша Дедушка целится на меня задранный бородкой. А Толя Зыбков, проскрипев креслицем, подался вперед, морщинка на лбу стала глубже, — похоже, он уже учуял запах дичи.

— Начиная с Христа до сего дня, — продолжал я, — живет убеждение: быть или не быть тебе нравственным человеком, целиком зависит от тебя самого, от твоей воли, от твоего желания. Поступай так, как требуют догматы

веры,— и добро восторжествует над злом. Религиозных паставников не интересовало, в каких условиях находится человек...

— А ведь верно! — удивился Толя. — Павел уловил нешуточное: нравы зависят не от воли отдельных лиц — от того, в каких общественных устройствах эти лица паходятся. Диалектик две тысячи лет пазад!

— Уловил, но, как часто бывает, не придал этому значения.

— И до Павла бродило, Георгий Петрович. Ессеп, па-пример, пытались же создать сообщества, которые не раз-вращали бы добрые нравы.

— Пытались до Павла и многие после Павла.

— И?.. — колыхнулся Толя.

— И что-то мешало им.

— Что-то не зависящее от самих людей? — сколов-шимся голосом спросил Толя.

И все уставились на меня. С минуту стояла тишина. Я выдержал ее и произнес:

— Вот па это-то и хотелось бы получить ответ.

— Нич-чего себе задачка! — вышла из недоуменного столбнячка Ирина.

— Во всяком случае, не тупик, как казалось тебе, — напомнил я.

И Миша Дедушка возликовал:

— Долой пытиков и маловеров! «Наш паровоз, вперед лети!..»

— Люблю бодрящие лозунги, — ухмыльнулся Толя.

— А можно еще вопросик? — Снова по-школьному розовая ладошка вверх. — Ну никак не могу понять — этот Павел... он вредный для нас сейчас или полезный?

— Нас-тя! — опасливо выдохнул Миша.

— Но интересно же!..

— Интересно, — согласился я. — Вот мы и разбираемся.

— И еще не разобрались?

— Пока нет. И сегодня навряд ли...

Я поднялся.

— Так что ж, до следующей встречи, друзья.

Все зашевелились, подымаясь, а Настя взидала на меня изумленно и озабоченно, и в ее распахнутых глазах явно зрел новый сокрушительный вопрос. Но Миша Дедушка постарался заглушить его в самом зародыше:

— Я тебе потом все объясню. Все!

И Толя Зыбков не удержался:

— Даже все! Хотел бы я это послушать.

Что-то случилось у Ивана Трофимовича Голепкова. Утром раздался от него телефонный звонок:

— Самоедством занимаюсь, мой друг, небо с овчинку кажется. Выбери свободный часок, заскочи утолить мои печали. Очень тебя прошу.

Старик никогда еще не обращался ко мне с просьбами. Я быстро оделся и поехал.

Встретил он меня с чопорной торжественностью, даже припарядился — громоздкий костюм упрятан в просторный порыжевший пиджак, морщинистую шею облегает жестко накрахмаленный воротник сорочки, и галстук по моде сороковых годов — узел в кулак, а в пропаханных складках землистого лица смущение.

— Старый ворон в одиночку с ума помаленьку сходит. Сядем-ка рядком, поговорим ладком. Не осуди, ежели мое карканье тебе непутевым покажется.

Иван Трофимович сам выглядел сейчас гостем в своей голой, неуютной комнате с узкой железной койкой, над которой висело несколько больших фотографий — делегаты каких-то давным-давно состоявшихся конференций, лежащие на земле, сидящие тесно на скамьях, стоящие в несколько рядов друг над другом. Ивана Трофимовича отыскать среди них теперь невозможно — фотографии безнадежно выцвели, хозяин на них молод, совсем не схож с нынешним. Мослаковатые руки на острых коленях, ключковатые брови над твердым посом, взгляд в пол, синящее натужное дыхание.

— Добрые люди в смущение ввели, покою нет...

Выдавленное признание и тягостная пауза. Самое неразумное подгонять старика вопросами, ему нужно раскачаться, взять разгон, а уж тогда выложит все — затем и позвал.

— Подвернулся тут один молодец... Да-а. Приятель зятя, из молодых да ранних. Как их зовут, которые костями умерших животных занимаются?

— Палеонтологи?

— Во-во! Он тут, так сказать, от имепи науки заявленьце преподнес, коротенькое, в два слова. Никто и внимания на него не обратил, а меня ошпарило. Да-а...

Слова тягучая пауза, крупная голова нависла над полом, седина на шей желта, как старая слоновая кость.

— И что же он сказал такого? — спросил я.

— Направленная эволюция!

Я озадаченно молчал.

— Наука-де утверждает — существует направлеппая эволюция! Ты об этом слыхал?

— Да. Но почему должно волновать такое, Иван Трофимович?

— Тебя ничуть не волнует?

— Нисколько.

Старик крикнул.

— Эх! А что такое эволюция? Жизни развитие, не так ли?

— В общем, так.

— Выходит, жизнь-то не сама по себе, вольпой речкой течет — направлена. Кем направлена? Сверху, богом?.. А ты знаешь, что бога я и от себя и от людей в шею гнал?

Из кустистых бровей в упор — зрачки, плавающие в голубой старческой влаге. Я удержался от улыбки.

— Смешно?.. Что ж, смейся, но только объясни: неужели наука к богу повернулась?..

— Представь себе, — начал я осторожно, — что с горы сорвался камень, катится вниз. И не просто катится, а направление имеет, которое даже вычислить можно: мол, по такому-то месту проскачет, раздавит, если не посторопишься. Кем задано это направление? Неужели же богом? Да нет, силой земного притяжения, профилем самой горы, случайными препятствиями, быть может...

— Гм, верно... Тут бог ни при чем. Но жизнь, дружок, не камешек. Откуда она образовалась, почему так хитро плетется — от мокрицы какой-нибудь к маящему человеку Голенкову Ивану?.. Откуда и зачем, Георгий? Твоя наука может сказать?

— Увы, нет.

— Пока нет или даже не надеетесь и узнать?

— Надеемся, Иван Трофимович. И пока мы живы — будем надеяться.

— А если надежды не исполнятся? Или такого даже не допускаете?

— Допускаем. Не исключено.

— Тэ-эк! — дрогнув отеками лица, протянул Иван Трофимович, словно уличал меня в преступлении. — Уж коль допускаете, что может быть непостижимое, чего никому знать не дано, то самое начальное, самое недоступное — бог, творец всего, и вовсе уму людскому непосилен!

— Да бог ли тебя волнует, Иван Трофимович? Сдается мне — что-то другое.

— Волнует меня, голубь, все тот же Иван Голешков, топтавший землю восемь десятков лет и много на ней наследивший. Ошибка я или не ошибка богова?

— Ошибок природа не терпит — выбраковывает, — сказал я. — А тебе она разрешила полный срок прожить, значит, за ошибку не посчитала.

Старик замолчал, разглядывал свои узловатые руки на коленях, хмурился, соображал про себя, наконец не весело усмехнулся:

— Когда-то, рассказывают, ящеры пелепые на свете жили, природа их похерила — мол, ошибочка вышла, дай исправлюсь. Вот и я, похоже, из доживающих ящеров. Как ни оглянусь кругом — все на меня непохожи. Даже ты, голубчик. А уж дети и подавно не в отца. На мой взгляд, нынешние ничуть не лучше нас, ошибочных. Но это на мой взгляд, ящерный.

— Никогда еще одно поколение не походило на другое, Иван Трофимович, — возразил я. — И в этом не только мать природа виновата — сами люди тоже. Ты менял круто жизнь, было бы странно, чтоб твои дети никак не менялись вместе с жизнью.

— Менял... Да, круто... Ну так пусть хоть это вас поостережет — полегче на поворотах, сами видите, черт-те куда мир заносит.

— Полегче не получится, развитие не притормозишь.

И старик поднял склоненную голову, строго уставился на меня.

— Вот и проговорился, дружок. Не притормозишь, даже если видишь, что оно, осатанелое, в пропасть несет. Что же это как не старая песня на иной манер — все мы в руце божьей?!

— Все мы подчиняемся объективным, то есть от нас не зависящим, законам. Законам, Иван Трофимович, не богу! Их путать нельзя.

— Почему же нельзя? Почему обязательно считать — они, мол, законы, такие-сякие, сами по себе, откуда-то появились? А что ежели предположить: они им спущены, чтоб порядок был? Чем ты докажешь, что твой взгляд верней моего?

— Доказать нельзя ни тебе, ни мне. Но если предположить, что законы от бога, то нам с таким законодателем не так уж и трудно поладить, а при случае и поправить его.

— Эй-эй, не бахвалься! Много на себя берешь, мил друг!

— Не я беру, человеку дано. Природой или тем же богом, если тебе это название больше нравится.

— Дано богом — «поправляйте меня, люди»?!

— Первая же палка, которую наш обезьяний предок подхватил, — что это как не поправка природы: мало возможностей ты мне отпустила, ну так я сам увеличил их, вооружившись палкой. Природа позаботилась, чтоб люди поправляли ее, совершенствовали себя. Бог предполагает, а человек располагает... по-своему.

— Дорасполагались, хвастливое племя! — грудным сильным голосом, с темной кровью, бросившейся в лицо. — Сами себе стали страшны, друг для друга пироги с начинкой стрянаем... Себя поправьте, не бога!

— То-то и оно, Иван Трофимович, что себя-то мы, оказывается, еще плохо знаем. Человек куда более сложная материя, чем атомное ядро, а человечество трудней для понимания, чем вселенная.

— Ага, бодливой корове бог рогов не дает. Если люди еще и в себя полезут, то они такое патворят, что, как Библия обещает, смерти будут искать все, но и ее даже не найдут.

Открыться ему или утаить? Сейчас он и без меня травмирован, боюсь нанести новую рану — последний из друзей запялся сомнительным делом. Но если вдруг он узнает стороной, что я не доверился, скрыл, был с ним неискренним, то прямолинейный Иван Трофимович с презрением отвернется от меня. Не хочу, чтоб наши многолетние добрые отношения завершились враждой, не могу играть с ним в прятки. Решился открыться:

— Иван Трофимович, а ведь я та самая комолая корова, которая пытается бодаться...

Недоуменный взгляд и пастороженное молчание, похоже, что он ждал от меня какого-то колена.

Нет, он не возмутился, он слушал меня, не выражая ни недовольства, ни интереса, в его крупных одряблых морщинах — отрешенность монумента, не очень-то располагающая к красноречию, уже не принадлежит ни к этому миру, ни к этому времени. После моей непродолжительной исповеди вновь наступило неуютное молчание.

— Рассчитываешь получить ответ... от игрушки? — спросил он бесцветно.

— От модели, — поправил я.

— Модель, игрушка — не постоянное.

— А разве модель самолета не помогает авиаконструк-

тору понять, как станет вести себя его будущий, вовсе не игрушечный самолет?

Он трудно вздохнул и натужно стал подыматься, разогнулся медленно во весь рост — прямая спина ломается у лопаток, — передохнул и заговорил:

— Да, сынок, да, я из тех, кто ломал историю. Как трудно мне было понять, что история — это нажитый опыт человечества. Сынок, неужели мой опыт для тебя ничего не значит? Ты видишь, как под конец жизни мне трудно... Поверь в простое и не мудрствуй лукаво, принимай, что нажито тем, кто жил до тебя, береги опыт прошлого, не вноси отсебятины!..

Как некогда на фронте, он называл меня сынком, но это теперь не сближало нас, а походило на прощание. Он ждал от меня успокоения, а я не принес его, вызывает ко мне и уже не верит, что пойму... Глядит мимо, в беспредельное — сжимается сердце.

Умные мысли приходят на лестнице.

Береги опыт и не вноси отсебятины... Если бы только одним нажитым опытом люди руководствовались в жизни, то они наверняка никогда не совершили бы ничего нового. Аналога колеса не существовало в природе, никакой опыт — только опыт! — не заставил бы служить нам колесо. Лук и стрелы, соха и ткацкий станок — все это не просто суммирование человеческих наблюдений, но и отстраивание от них, прорыв в небывалое, никогда прежде не существовавшее. Я, грешный человек, должен уразуметь и то, до чего всемогущий господь не додумался!

Должен! Но ю силам ли?..

5

Был вечер, но не настолько поздний, чтоб собираться ко сну. Я сидел за столом, пытался читать, но больше блуждал мыслью поверх строчек. Лампа освещала толстую книгу, стаканчик с карандашами и неказистую статуэтку — грубо вылепленного, нескладного, как краб, человечка, сидящего на низенькой скамейке. Он высоко выставил колени, подпер руками срезанную голову — думает. Гость из непроглядного, какой-то скульптор каменного века вылепил его из глины, а засохшая глина способна сохраняться в земле вечно.

Сидящего человечка раскопали румынские археологи,

сделали с пего копии, одну из них привез мне приятель. В пелепом облике человечка, в его позе было то отрешенно-трагическое, которое через много тысячелетий вновь мощно повторит Роден. Историки так и назвали гостя из неолита — «Мыслитель».

В свое время я полюбовался па подарок, поставил его возле стакачика с карапдашами и... перестал замечать. Так и существовали мы долгое время рядом, он — занятый своими мыслями, я — своими.

Но однажды, когда я пытался безуспешно охватить какой-то слишком общий вопрос, он бросился мне в глаза, меня поразила догадка: если он пытался размышлять (а сомнений в том быть не может), то в своем каменном веке его мучало в принципе то же, что мучает меня в моем веке атомном. Как повлиять па жизнь — наверняка уже зрело и в его темном мозгу.

Велико разделяющее нас время, какими только событиями и переворотами оно не было.заполнено, но ни капризы бытия, ни прах бесчисленных поколений не в состоянии отрезать нас друг от друга. Он, из крошечной тьмы веков, и я, нынешний, связаны единой заботой, которая возникла вместе с человеком, вместе с ним и исчезнет.

Досужие мысли прервал телефонный звонок.

— Чепе, Георгий Петрович! — голос Ирины Сушко.

Этого еще не хватало.

— С машиной что-нибудь?

— И я так поначалу думала... С машиной, Георгий Петрович, все в порядке. Могу за нее ручаться!

— Так что же?

— В той жизни случилось странное...

— В той жизни?

— Там явился... Только не падайте в обморок!

— Хватит скоморошничать, Ирина! — крикнул я.

— Но-но! Не так сердито. Иначе ничего не скажу, заставлю терпеть до завтра.

— Ладно. Готов стать кротким. Выкладывайте!

— Явился Христос.

Молчание. Ирина не спешила с разъяснениями.

— И это все? — поинтересовался я.

— Говорю: там явился Христос.

— Мне неинтересны ваши розыгрыши, Ирочка!

— Ах да, мы его убили!.. Ну так он восстал из мертвых. Докладываю официально: Иисус Христос воскрес, смертью смерть поправ.

— Что это значит?

— Это вы меня спрашиваете?.. Ладно. Георгий Петрович, время позднее для гаданий. Завтра в десять ноль-ноль буду на вашем чердаке.

Она положила трубку. Я ничего не понимал.

Завтра в десять ноль-ноль... Но через десять минут телефон снова заблаговестил. На этот раз баритон Миши Дедушки:

— Георгий Петрович, чего это Ирка лепит? Какого Христа?

— Не больше твоего знаю, Миша.

А через полчаса звонок Толи Зыбова. И я взорвался:

— Звони Михаилу — и ко мне! Оба! Не задерживаясь!.. Да, да, ко мне домой. Ирина через час будет здесь.

Катя на скорую руку собрала на кухне чай, присоединилась к нам, мы тесно впятером обсели маленький столик.

По дошедшим до нас преданиям первой возвестила о воскрешении Христа Мария Магдалина, пришедшая проститься с упрятанным в пещеру телом учителя. Одержимая «царица идеалистов», как называет ее Эрнест Ренан, Мария издала восторженный крик, пронесшийся по векам: «Он воскрес!»

Ирина Сушко для нас исполняла сейчас роль Марии Магдалины. Она — нет, не восклицала в бурной экзальтации, да и волнения особого не выказывала — успела в одиночку пережить невероятное событие, — отхлебнула из чашки, поставила ее на стол, выудила пачку сигарет из сумочки.

— Если позволите, я закурю...

Затянулась, прищурилась на дымок.

— Ну так слушайте...

И стала трезвенько рассказывать.

Машина по запущенной в нее программе двигала нашу модель — вместо исчезнувшего Христа действовал Павел. И тут отпала необходимость в наложенном на машину запрете — не повторять сочетания символов, которые в своей совокупности означали в нашей модели Христа. Но Ирина, поверное, не стала бы специально снимать этот запрет, если б пришлось прилагать какие-то усилия, стирать с диска запись, нарушать цельность программы. Никто из нас не придавал большого значения побочному запрету. Однако случилось досадное. Ирина должна была снять свой пакет дисков, освободить место для другой программы, но замешкалась, оператор начал манипулировать

с машиной... Спихнулись сразу, по часть нашей записи пострадала. И, оказывается, как раз в том именно месте, где паходился запрет на Иисуса. Ирипа не стала его восстанавливать — зачем, когда уже самостоятельно действует Навел, историческое место занято, — стерла окончательно.

Ученые постоянно парываются на случайности. У Эрстеда случайно компас оказался рядом с проводом, подключенным к батарее... Случайно Беккерель положил кусочки урановой соли на обернутую в черную бумагу фотографическую пластинку... Ирипа случайно, не придавая тому значения, выбросила запрет из нашей программы...

И освобожденная от запрета машина породила Христа. Она не ведала о его прежнем существовании, всякие следы об основателе христианства были стерты из ее машинной памяти, существовал лишь разрозненный набор многочисленных символов, означающих отдельные черты человеческих характеров. И то, что из этих частичек сложился облик Христа, случайностью уже быть не могло!

Отнюдь не экзальтированная, никак не идеалистка, по-своему одержимая, Ирипа несколько дней гоняла машину, ловила ее на ошибке...

Убитый нами Иисус воскрес, самая фантастическая из всех евангельских легенд повторялась бесстрастной машиной. И не повторялась даже, нет — машина ничего знать не знала о легенде, она ее вновь сотворила. Невольно испытываешь знобящий холодок — не на сверхъестественное ли наткнулись?

Ирипа Сушко, новаявленная Магдалина, придавила в блюдецке окуроч, поставила точку в рассказе. Мы все молчим. Даже Миша Дедушка, всегда готовый приветствовать чудо, сейчас смущен и растерян, исподтишка поглядывает то на меня, то на Ирипу. Круглая физиономия Толи Зыбокова покрылась розовой испариной, глаза распахнулись, стали обостренными, рысьими. И сбоку вглядывается в меня пытливо поблескивающим глазом Катя — хотел бы я сам взглянуть на свою физиономию.

Катя в своей обычной горделивой посадочке, белые руки прилегли отдохнуть на скатерть. Она первая парушила тишину:

— Кто хочет еще чаю?

Никто не ответил. Пустота в моей голове и переполненность в моей грудной клетке. А все-таки почему не торжествует Миша Дедушка, пропускает для себя столь редкий момент?

Снова Катин голос, уравнивающий, слегка насмешливый:

— Сами себя, выходит, перепугали... Выпейте еще по чашечке.

Осунувшееся лицо Ирины устало, она говорит в пространство, ни на кого не глядя:

— Мы — себя?.. Да нет, со стороны свалилось. Что-то там есть.

И Миша шумно выдохнул из бороды:

— Оно!..

Все шевельнулись, охотно повернулись в его сторону. — Пусть хоть Мишины необузданные фантазии, уже кое-что.

— Оно. Предопределение. Возразите теперь, что его не существует.

Не слышном-то необузданные и не очень новые для нас фантазии, слышал их не раз. Толя Зыбков без энтузиазма фыркает: "

— Ну да, конечно, перст божий!

Он успел потушить рысий блеск в глазах, но взволнованный румянец все еще держится на его толстых щеках.

— У тебя короткая память, забыл, что я всегда толковывал: и без бога природа божественна! — Хмель sensationности наконец ударил в голову Миши, выправочка его обретает осанность, а голос заносчивость: — Предопределенность в природе во всем — рыбы должны были создать пресмыкающихся, пресмыкающиеся в свою очередь...

Ирина Сушко досадливо перебивает:

— Слышали, Манилушка. Твоим предопределением, Гордый мудрый, любой узел не распутывая можно разрубить. Рубанем — предопределен Христос, и все тут! Закрывай тогда пашу лавочку.

Миша всецело пожимает плечами.

— Что ж, объясни по-иному. Я послушаю.

— Сейчас не могу. Придется набраться терпения.

— Чему вы удивляетесь? Могло ли быть иначе? — заговорила Катя, краем глаза ловя выражение моего лица. — Любой из вас должен знать, как трудно изменить ход событий даже в том крошечном уголке жизни, где мы сидим пленниками. В той же семье, скажем... Пам постоянно кажется: стоит только поднажать — и наша жизнь станет на пужные рельсы, покатится себе ровнехонько... А кто из нас не желал ровнехонького наката и кто может похва-

литься, что его добился? Всегда-то пас запосит на сторону, туда, где трясет да качает, набивает синяки и шишки. Это в семье, в малом масштабе, а вы хотите историю подправить — плыви, голубушка, иначе! Комары своим писком ветер изменить вознамерились, не смешно ли!..

— Историю? — возразил я. — Слишком сильно сказано. Простенькой, весьма простенькой ее моделью пытаемся манипулировать. И вот — сюрприз! Н-да-а, впечатляющий.

— Что ж... — спокойненько согласилась жена. — Честь вам и слава, модель-то ваша получилась нешуточной, настоящее повторяет.

— То есть учит: не лезьте вы со своими сукопными рылами в калашный ряд. Не так ли? — без обычной агрессии, скорей тоскливо произнесла Ирина.

Катя с грустной улыбочкой пожала плечом, ничего не ответила.

— Честь пам и слава! — подхватил бодро Миша. — Похоже, уловили самое потаенное — наличие заданности в природе. Из атомов конструировала молекулы, из молекул живые клетки, из клеток организмы возрастающей степени сложности — по существу, природа работает на разум! А что мы сделали! Мы же бесцеремонно вырвали у нее дискретную частицу добытого разума. Нет, шалишь, не смей, не отдам! Модель сработала, возвратила свое...

Ерзавший Толя Зыбков вскочил с места, прокатился по тесной кухне от стула к двери, от двери к стулу, выпятив пухлую грудь, остановился, светло оглядел всех.

— Я... Я в растерянности! Не стыжусь признаться... Если хотите знать, даже счастлив этим! Вы вот тоже растерялись, так радуйтесь — есть над чем поломать голову, обозначилось, дух захватывает!.. Часто ли вам удастся пережить такое? У меня, может быть, это чувство впервые. Да! Но ждал его, ждал! Верил — появится.

И я вдруг ощутил прилив благодарности к этому бескорыстному ловцу знаний. «Летите, голуби!» — пусть так. Но не кто другой, а он, Толя Зыбков, со своим интеллектуальным спобизмом споровистей других поможет расставить мне силки на голубя. А уж я потом из рук не выпущу — лети, мол, — да нет, постараюсь заставить служить. На других ловчих, на Мишу Дедушку, даже на Ирину Сушко я так не рассчитываю. Миша мне станет извергать вулканические эмоции (еще пахлабаемся), а Ирина Сушко отстранится: «Я нитурвальный, Георгий Петрович, а вы капнтац, путь вы прокладываете».

Дух захватывает... Толя счастлив, а я разве — нет?..

Впрочем, следует помнить, что самые духозахватывающие тайны, раскрывшись, куда как часто оказываются разочаровывающе скучны: наш праотец Адам отнюдь не идеал человека, а всего-навсего полуобезьяна, легендарный потоп — просто паводнение, а Вавилонская башня — не столь уж и высокий храм... И надо ждать: мистическое чудо, воскрешение Христа, скорей всего объяснится до обидного просто, до конфуза обыденно. Но дух захватывает — ничего не могу с собой поделать. Невьясненное есть чудо!

Со стороны поглядывала на меня верная жена Катя с сочувственной усмешкой, которую уловить мог лишь я один. Она лучше всех понимала, что творится со мной. Понимала и, как всегда, не разделяла настроения, не припимала его всерьез.

В эту ночь я не мог уснуть, лежал в темноте и уносился в смутные времена, когда новое учение лишь слабо тлело под спудом событий, раздиравших великую Римскую империю.

СКАЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Страсти о ближнем

Рано утром по спящей Аквилее разнесся тупой звук копыт. Нескладно-долговязый всадник, пеловко взмахивая локтями, проскакал к улице, где жила знать города, остановился у калитки в каменной стене, через которую переваливалась тяжелая зелень. Морщась и постанывая, он сполз с низкорослой лошаденки, размял одеревеневшие ноги, постучал.

Долго не отвечали, наконец за калиткой раздались лепивые шаркающие шаги, выглянула сонная, изрытая оспой физиономия раба. Увидев приезжего, раб послушно отступил.

— Возьми лошадь! — коротко бросил приезжий и, твердо ступая, двинулся через дышащий росной свежестью сад к колонной галерее господского дома.

Хозяин дома, один из видных людей города, Статилий Аппий был худ, мелковат ростом, на горбоносом, со впалыми щеками и висками лице несходящая утомленная брезгливость. Сейчас брезгливость держалась только в складке запавшего рта, глаза же, прикрытые веками, тре-

можно бежали. Его сорвали с постели, а он и без того плохо спал по ночам, всем известно — каждая минута утреннего сна для господина драгоценна.

— Говори,— обронил он, опускаясь на шкуру медведя, накинутую на сиденье.

— В Трех Птицах бупт!

У хозяина дрогнули веки и бегающие глаза замерли, но в мягкой складке бескровных губ прежняя брезгливость и усохшее желтое лицо бесстрастно.

Три Птицы — местность в сторону гор, в двухстах стадиях от Аквилеи, обширные земли владетельного Аппия. Там господская вилла, там хранилище зерна, загоны для скота, там свыше тысячи рабов и сотня вооруженных охранников.

— Ты ждал этого,— произнес хозяин.

— И ты тоже, господин! — с вызовом ответил приезжий.

Аппий впервые поднял на него взгляд, темный, недобрый.

— Твои слова о любви сделали свое дело...

— Мои слова без твоих благодеяний, господин, пусты. Бог их не слышит, а люди злобятся.

Стабий Аппий не спускал налитых тьмою глаз с говорившего. Этот человек имел над ним странную власть. Плебей — с длинными руками, сутулой спиной, с истощенным, неутоленным лицом. Он без малого четыре года заменял управляющего, запутывал хозяйство. До него у Аппия было много разных управляющих, вытасканных из рабов и взятых со стороны, все они усердно разваливали хозяйство — пресмыкались и нагличали, льстили и бесстыдно воровали, клялись в верности и быстро обрастали жиром. А этот так и не отъелся — иссушен страстями, не угодищает, ничего не просит для себя, но постоянно надоедал просьбами о других. И прогнать его Аппий не мог — в тяжелую минуту свела их жизнь. Тогда все рушилось и смерть стояла над головой аквилейского всадника Стабия Аппия.

Он был не из тех, кто гордился древностью и знатностью своего рода. Скорей всего его прапрадед из простых солдат, которые добывали Риму Цизальпийскую Галлию. Оставшись в живых, он вместе с другими такими же освобожденными от службы получил клочок земли на далекой окраине возле вновь заложенной крепости против варваров.

У военных крепостей, как и у людей, судьбы разные — одни хиреют и гибнут, другие живут и процветают. Крепость, построенная между речками Саициусом и Назито, оказалась на счастливом месте, через нее потекли товары в Паннонию и Норикум, Истрию и Далмацию. Опа быстро населялась, отстраивалась, своими палаццо, театром, форумом старательно копировала Рим. И знаменитая Виа Эмилия соединила новый шумный город Аквилею с Вечным городом. Земли здесь обильно рожали, рабы стоили дешево, а потому Статилии разбогатели в Аквилее, но только дед Аппия незадолго до своей смерти получил от божественного Августа золотое кольцо всадника.

Вот тут-то неприметно проступила потаенная болезнь, как корневая гниль у крепкого дерева. Само богатство ее породило — тучные земли до самых гор и тысячи рабов на них. Рабов тысячи, надсмотрщиков сотни. Раба можно не кормить, надсмотрщика ублажи во всем. Надсмотрщики усердствовали — рабы гибли...

А земли Аппия лежали на окраине империи — за горами текла большая река Данувий, за ней кончалась власть всемогущего Рима, там жили дикие свободные племена язигов и сарматов. Каждый раб знал об этом. Знал он и о том, что путь к свободе лежит через покоренную Паннонию, где стоят многочисленные легионы, все дороги перекрыты, все селения под надзором. Но выбора у раба нет, не все ли равно ему, где умереть — на поле под палкой надсмотрщика или на кресте за побег. Бежали группами и поодиночке, их ловили, казнили в устрашение другим, но снова бежали, и редким счастливым все же удавалось перебраться за Данувий.

Аппий знал, что кое-кто из хозяев решился — подумать только! — довериться своим рабам. Они раскраивали свои земли на клочки, садили на них рабов — обрабатывайте, сейте, снимайте урожай, обзаводитесь семьей, никто не будет стоять над вами с палкой, заставлять: работай! За это только отдай половину своего урожая господину!

Статилий Аппий был из тех новых всадников, которые неохотно садились на коня, не знали, с какого конца братья за меч, зато хорошо знали, сколько медими зерна даст поле и где это зерно выгоднее сбыть. Он понимал выгоду — приручить рабов, освободиться от прожорливых надсмотрщиков, — но его прапрадед, римский легионер, был свободнорожденным, презирал рабов, считал — с ними нужно договариваться только кулаком или дубиной, даже

использовать меч недостойно. Никто из Статилиев аквилейских, более двухсот лет сколачивавших себе богатство руками рабов, представить не мог, что раб способен трудиться сам — без угроз, без палки. Нельзя же вообразить, что волю вдруг придет желание пахать пашню! Раб та же рабочая скотина, только говорящая. И этой-то словесной скотине доверить то, чем сам живешь, — свою землю! Поставить себя в зависимость от рабов! Въевшееся веками недоверие сразу не изгонишь.

Аппий видел, как заускаются поля, как редуют стада на пойменных лугах, как лстывые прислужники с жадной поспешностью рвут из его хиреющего хозяйства жирные куски и не могут насытиться. Видел — и ничего не мог поделать, ни на что не решался.

Он страшился за свою старость и все чаще и чаще стал думать о службе: неплохо бы получить здесь, в Аквилее, должность главного наблюдателя за товарами, приходившими морем... Должности же раздавались в Риме.

Распутный Рим ужасал провинциальную знать, которая все еще робко держалась за суровые нравы италийской старины. Недавно приицепс Нерон, чьи статуи стояли рядом с изваяниями богов по всем городам империи, приказал умертвить свою властительную мать Агриппину. Говорят, она подставила под меч живот, выносивший сына: «Поражай в чрево!» Приказано дни, когда случилось убийство, ежегодно отмечать веселыми играми, а день рождения Агриппины считать в числе несчастливых. И ходили тревожные слухи о знамениях: одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе поражена молнией, и солнце будто бы затмевалось над Римом...

Аппий все же отправился в Рим и попал на учрежденные Нероном пятилетние игры, проводившиеся уже второй раз. Коль прибыл в Вечный город, то не пойти на игрища просто нельзя — сразу же донесут, а это для провинциального гостя верная казнь. И входить в ристалище пужпо с веселым лицом, так как множество соглядатаев напоминают тех, кто является с дурным настроением.

Хотя по всадническим привилегиям Аппий имел право занимать место в первых четырнадцати рядах, но пробиваться к ним он должен через тесные проходы, куда ломился буйный, наглый, жадный до зрелищ римский плебс.

Вместе со знакомым веронцем, почтенным старцем тоже из всаднического сословия, Аппий оказался в ревущей

толпе. Кругом остервенело веселые физиономии, грубый смех, злобная ругань, истошные вопли, жалобные стоны. Старца опрокинули, Аппий ничем не мог ему помочь, его несло в потном, дурно пахнущем, рычащем потоке, он уловил ломкий старческий крик, видел, как в том месте в пружей вперед толпе образовалась волна, понял — веронец погиб, тысячи ног втопчут его старые кости в каменные плиты.

Раздавленный, побитый, в располосованной тоге, в измятой истерзанной тунике, на которой всадническая узкая пурпурная полоса выглядела непристойно, Аппий, не способный ни ужасаться, ни радоваться, что остался цел, оказался на жесткой скамье в четырнадцатом, самом последнем для избранных ряду. Над его головой все еще буйствовал, заполняя цирк, римский народ, пробывавшийся на представление по трупам своих сограждан.

Выступление кифаредов и декламаторов сбившаяся публика слушала с каким-то первым невниманием — до них ли, когда сам божественный император собирается сейчас лицедействовать перед всеми.

Наконец народ замер в ожидании...

И вышел он. Аппий впервые видел Нерона.

В пестрой, расшитой по-восточному тунике, в легкой, скромно отделанной золотом лацерьне, приоткрывавшей несколько отяжелевшие ляжки, он выглядел слегка приземистым, недостаточно величавым в сравнении со своими многочисленными статуями. Его лицо, нежнопухлое, как у нездорового младенца, было осенено светлым пимбом легких кудрей. И все ж таки он выглядел молодым и красивым. Густой гул одобрения хлынул сверху, с мест плебса. Хлынул, заполнил чашу цирка и медленно растворился, литая тишина сковала людей, каждый невольно затаил дыхание.

Наверно, не только Аппий, не соприкасавшийся с высоким искусством у себя в Аквилее, но и самые искушенные слушатели привередливого Рима не смогли бы честно себе ответить, хорошо или плохо под звуки кифары декламирует Нерон, хороши или плохи его стихи. Ни для кого не было существенным, что исполняется и как исполняется, подавляюще важным было для всех — кто исполняет: всемогущий властитель мира, перед которым трепещут сильные и слабые, самые знатные и презренно подлые. Все внимание каждого с болезненным напряжением

направлено только на то, как он выглядит, как держится.

А Нерон со смиренным старанием исполнял все, что принято у лицедеев, то, чего требовала от них пристрастная публика: не сметь присаживаться для отдыха, не сметь отирать пот ничем кроме одежды, в которую облачен, не сметь брызгать слюной или выделять что-либо посом, чтоб заметили зрители... Скромность и безупречность лицедействующего императора вызывали неистовые рукоплескания и грозовой одобрительный гул, прорезанный истерическими всплесками голосов, требовавших: еще, еще, не насытились!

Наконец-то Нерон кончил, преклонил колено, опустив осененную светлыми кудрями голову, повел рукой — униженно-почтительнейший жест, выражающий уважение к зрителям, готовность принять их суд.

И зрители, притиснутые друг к другу, взорвались сначала хаотическими криками и рукоплесканиями, но крики постепенно упорядочились в дружные, нарастающие и спадающие валы восторга. Им в такт аккомпанементом хлопки тысяч ладоней. Римская публика сейчас сама давала представление одному-единственному зрителю, стоящему со смиренно опущенной головой на сцене. Римская публика была искусна, так как на постоянно устраиваемых зрелищах имела возможность освоить свои обязанности — хулить или восторгаться. Сейчас хулить запрещено — она тысячеустно восторгалась.

Аний же у себя в Аквиле такой школы не прошел, он был разбит, чувствовал себя неуютно в рваной тоге, устал от шума толпы, от напряжения, с каким следил за императором, от собственного усердия, с каким бил в ладоши. И он никак не мог попасть в такт, хлопал вразнобой со всеми. Ходивший между рядами центурион нагнулся к нему, без слов — ржавое лицо под начищенным шлемом равнодушно — ударил древком дротика раз, другой... С безразличием, как раба. А из-за его плеча выпрыгнула лисья физиономия, бросила острый взгляд, повела многозначительно посом.

Ания в жизни никто никогда не бил, всегда он был окружен почтением, но странно: сейчас он не чувствовал ни обиды, ни гнева, а только боль в плече от удара. И страх... Столь внушительна удаляющаяся спина центуриона, такая каменная уверенность в ней — честно исполненное возложенное дело, — что Аний не смел сомневаться: провинился, получил по заслугам. Однако почувствовал себя жалким, низким, ничтожным, затерянным во враж-

деблой толпе — каждый должен презирать его, каждый волен оскорбить.

— Да хлопай же! Хлопай! — не глядя в его сторону, внятно сказал сосед, немолодой и осанистый, тоже с одной всаднической полосой на мятой тунике. — Домой не вернешься.

И Аппий усердно захлопал, стараясь попасть в такт. Он хлопал, а страх в нем рос. Он вспоминал брошенный из-за плеча центуриона острый взгляд лисьей физиономии. Его приметили, его должны вывести. За неуважение к императору. Домой не вернешься. С такими, как он, в Риме не церемонятся...

Сосед старательно не смотрел в его сторону, ел глазами смиренного Нерона, бил в ладоши.

Аппий хлопал и — падо же! — попадал в такт.

Представление длилось весь день и всю ночь. Были недолгие перерывы, во время которых разрешалось выйти. Всем разрешалось, но он-то, Аппий, на примете. И Аппий не смел покинуть свое место. Зрители прямо на скамьях закусывали, доставая хлеб и вино из корзин. Раба, который должен принести еду Аппию, не пустили. Следовало бы разыскать у входа...

Он сидел и смотрел на представление, ничего уже не видел, ничего не слышал, но изо всех сил рукоплескал, когда рукоплескали все. Целый день, и ночь, и еще часть дня...

Он не помнит, как выбрался из ристалища. Раб, верно ждавший с корзиной еды у входа, оттащил его до дома, где Аппий всегда останавливался, когда приезжал в Рим.

Его заботливо уложили, и началась горячка...

Он очнулся и увидел над собой нависшее узкое смуглое лицо, внимательные темные глаза.

— Благодать божья спизошла к нам — ты глядишь и взгляд твой осмыслен, — объявил незнакомец.

— Кто ты? — слабо спросил Аппий.

— Я врач, имя мое Лукас.

Так состоялось знакомство — еще в полубреду.

Хозяин дома — богатый купец-иудей — был связан торговыми делами с Аппием уже много лет. Аппий через свое влияние в Аквилее помог ему получить римское гражданство, а потому сейчас больному — лучшие покои, внимательный уход и верный врач.

Лукас был грек из Антиохии, там он сошелся с проповедником поной веры. Проповедник этот страдал тайным недугом, Лукас его лечил, ездил с ним и по Галатии и по Македонии, прибыл в Рим.

В прошлом году страшный пожар опустошил Рим, Нерон посчитал, что в нем повинны те, кто исповедует подлую веру, неугодную богам, приказал хватать и казнить. И казни были страшны, о них говорили по всей империи — несчастных одевали в шкуры диких зверей, травили собаками, их жгли на кострах в таком количестве, что почвами в садах Нерона было светло, словно в праздник. Сам Нерон сидел в толпе в одежде возничего и любовался...

В эти дни Лукас потерял проповедника Павла: погиб ли тот, схваченный на улицах среди сотен других, или успел с немногими счастливыми прорваться в Остию, где их ждал корабль, отправлявшийся в Испанию, — неизвестно. Сам Лукас уцелел потому, что врачевал богатого патриция в загородной вилле.

Он был вольноотпущенником, но не из тех, кто добился свободы собачьей преданностью хозяину, изворотливостью и помыкательством над другими рабами. Он заслужил благодарность знаниями, которые щедро применял с пользой. И слабый и сильный одинаково в нем нуждались. Угловато-нескладный, не скрывающий своей плебейской простоты, он словно исчезал, становился незаметен, когда не пужен, и возникал, оказывался незамечен, если случалась беда. От его мягкого голоса, от внимательного молчания, от прямого, чего-то ждущего взгляда усталых темных глаз исходил обволакивающий покой, столь редкостный в этом издерганном, ненадежном мире, где каждого сторожит незримая опасность.

Не настойки из трав и не резко пахнущие притирания лечили Аппия, а этот неожиданно свалившийся покой. Его страх, что могли заподозрить в неуважении к божественному Нерону, стал мало-помалу казаться пелепым. Да и сам коварный Нерон в этом тихом убежище был далек и призрачен, неправдоподобен, как минувший кошмарный сон. О нем просто не хотелось вспоминать, и начинало верить, что есть еще на свете доброта, есть надежные люди, возможна неторопливая — без недомолвок, без утайваний — беседа.

— Бог установил, чтоб на земле были рабы и были господа, — тихо говорил склонившийся над лежащим Аппием Лукас. — Но это не значит, что бог больше любит вас, господ. Рабу он поручил самое тяжелое — носить бремя по-

корности. Что может быть тягостнее этого? Так неужели бог не должен любить раба? И господин, спесиво презирающий покорность, не идет ли против бога, не наказывает ли тем сам себя?

Тихий голос, но уязвляющий. Аппий пытался возмутиться:

— Но разве раб не ленив, не лжив, разве он не с бременем, которое взвалил на него бог, если б его не заставляли силой? Найди мне такого раба, который смиренно покорялся бы, и я буду любить его!

— Я сам был рабом,— напоминал Лукас с кроткой прямою,— и меня любили... Да, такие, как ты, господа. Иначе я не получил бы свободу.

— У меня не было похожих на тебя рабов.

— Ты просто их не замечал,— спокойно возражал врач.— Их мало. Да. Большинство рабов не несут богово, потому-то бог и наказывает их вашими руками. Ну а скажи, господин, многие ли из вас поступают так, как завещал бог? Он завещал — не убий, а вы убиваете не жалея, даже гордитесь своим правом убивать. Завещал — не кради, а вы крадете...

— Я ни разу в жизни ни у кого не украл! — возмутился Аппий.

— Ой ли?.. — усомнился Лукас.— Ты крал, сам того не зная, у своего раба — вместо полной горсти олив давал половину. Ты кормил досыта своих волов, но только не рабов, которые на тебя трудятся. Или я лгу, благородный Статилий Аппий, твои рабы всегда были сыты?..

И Статилий Аппий молчал.

— Вот я и хочу сказать, что угодных богу господ так же мало, как угодных богу рабов. Никто из них не любит ближнего своего, как самого себя.

Узко посаженные внимательные глаза в упор. Аппий молчал и вспоминал, как на его плантациях остервенелые надсмотрщики рвут себе его именем у голодных рабов последний кусок хлеба. И рабы бегут от него, чтобы быть пойманными и распятыми на кресте... Оп, честный Статилий Аппий, негодует на жестокий мир, где люто господствует злобный Нерон, а как должен чувствовать себя его раб в том мире, господином которого является сам Аппий?..

И Лукас, словно угадывая его мысли, начинал рассказывать об учителе — в Антиохии, Галатии, Фракии он создавал общины, где есть бедные, есть богатые, есть господа и есть рабы, но все друг другу братья; господа постоянно

помнит — «трудящийся достоин награды своей», а раб, ставший братом господина, не забывает, что тем более должен усердно служить ему.

День изо дня шли разговоры, день ото дня крепло решение у Аппия — создать у себя общину, в которой он станет любящим отцом своих рабов. Но ему пужен верный помощник... Аппий стал уговаривать Лукаса ехать с ним.

Обоим было опасно оставаться в распаленном злобою суетном Риме. Они выехали, как только Аппий почувствовал себя достаточно здоровым.

Ехали ясными осенними днями по Эмилиевой дороге, идущей сквозь холмы Этрурии, по низким долинам лениво текущего Падуса. И продолжали вести неторопливые разговоры. И Аппию тогда казалось — все ясно и просто, впереди новая жизнь, впереди перерождение.

Эмилиева дорога кончилась в Аквиле, а вместе с ней кончилась и ясность и простота. Аппий сразу же протрезвел. Он собирался почти всех рабов посадить на землю. И это должно быть только началом будущего братства... Но как все оказывается сложно и запутано, когда приглядишься попристальнее!

Среди самых сильных и здоровых рабов полно неисправимо испорченных. Всю жизнь их били, чтоб работали, не смели передохнуть, не жалели себя. И вбили в них такую ненависть к труду, что охотней сдохнут с голоду, чем добровольно пошевелият пальцем. Никакими уговорами, обещаниями их не проймешь. Таким — землю?..

Большинство рабов еле себя таскают — истощены. Эти просто с землей не справятся, если даже и захотят...

Выходит, только горстку рабов, сохранивших силу и какую-то добросовестность, можно наделить землей.

Но и тут сомнение — давать им хорошую землю или ту, что похуже? С плохой земли эти лучшие работники будут получать и плохой урожай — много ли с них возьмешь тогда? А отдать им лучшие поля, а самому возиться с плохими работниками на плохой земле — уж совсем глупо.

Аппий колебался и ничего не предпринимал.

Зато Лукас действовал. Он требовал, чтоб надсмотрщики не свирепствовали без нужды. Каждый раб мог теперь пожаловаться на них хозяину.

— Бог требует — хозяин, любя своих рабов, рабы обязаны любить своего хозяина! — внушал новый управляющий.

Жалобы рабов до Аппия не доходили, от имени хозяи-

на их разбирал Лукас. Он помнил, что сам когда-то был рабом, каждую жалобу разбирал по совести, обидчиков не щадил. И надсмотрщики начали остерегаться, не пускали в ход палки и просмоленные веревки, не подгоняли рабов. А рабы вместо благодарности стали хуже работать, все чаще и чаще вели себя нагло.

Лукас, хороший врач, горячий проповедник слова божия, оказался плохим хозяином. Еще немного — и все начнет трещать и разваливаться. Аппий очнулся и решил вмешаться, пока не поздно.

Он отобрал молодых рабов, выделил им землю, разрешил брать в жены рабынь. Для остальных он вернул прежние строгости — палки и просмоленные веревки снова заработали по тощим согнутым спинам.

Аппий ждал, что Лукас возмутится, готовился к крупному разговору:

— Согласен слушать твои советы, но от помощи уволь...

Лукас, бывший раб, был бестолковым хозяином, но никак не глупым человеком, он и сам понял, что заигрался с рабами. Аппию не пришлось убеждать его, напротив, опомнившийся Лукас вознегодовал:

— Неблагодарные! Вы забыли, что всякая власть от бога! Кто не слышит слова божия, того вразумит палка!

И странно, Лукас упал в глазах Аппия — не столь уж и мудр на поверку, он, Аппий, прозорливее.

Среди полей стали расти хижинки, покрытые камышом. В них жили те, над которыми не висела палка надсмотрщика. Каждый из рабов теперь мог заслужить такую свободу — стоит лишь войти в доверие к хозяину. А через несколько лет большинство осядут на землю, обзаведутся семьями. Надсмотрщики будут не нужны, крики избиваемых умолкнут, ни у кого не появится желание бежать, кресты с распятыми телами не вырастут больше вдоль дорог. Это ли не новая жизнь?..

В те дни Аппий тихо торжествовал и как никогда верил в «любви ближнего своего».

По это покойное торжество длилось недолго. Земля, переданная рабам, стала рожать куда меньше, чем прежде. Не получалось ли, что раб без палки — плохой работник? Нет, рабы-надельщики трудились, не жалея сил. Однако большинство ковыряло землю мотыгой — нельзя же вместе с землей подарить каждому еще пару волов. Да и какой смысл при малом поле держать волов, они просто

сожрут жалкое хозяйство раба. Земля словно рубище нищего, заплата к заплате, в нее вколачивалось много сил, а половина, которую получал с земли Аппий, была тоща.

И, как всегда, ожидались купцы, с которыми торговали еще отец и дед Аппия. Отказать им — значит, признать себя разоренным. Дед и отец Аппия снабжали хлебом и мясом римские легионы, стоящие в Паннонии. Тут хоть сам умри с голоду, а выдай сполна — Рим отговорок слушать не станет. Один выход: не жалеть посаженных на землю рабов, забрать у них все что имеют.

На этот раз всегда сговорчивый миротворец Лукас не выдержал, начал упрямо возражать:

— Господин! Дал слово и не держишь его. Самый последний раб будет презирать тебя.

Аппий сурово и холодно ответил:

— Когда бегут от опасности, коня не жалеют. Ты спасаешь коня и хочешь гибели всадника. Выбери, кому служить!

— Я давно выбрал, благородный Аппий, — служу богу, а перед богом все равны, всадники и кони, господа и рабы.

— А кто недавно говорил, что бог требует от рабов покорности? — напомнил Аппий.

— Так же как и от господ — милосердия.

И Аппий вспыхнул.

— Хочу быть милосердным! Хочу! — С гневом, с болью, со страстью. — Но тогда кто-то должен быть милосерден и ко мне. Кто меня спасет от кораблей, которые осенью придут из Далмации, чтоб забрать обещанную шерсть и оливковое масло? Кто меня спасет от римских закупщиков, от гнева легатов? Спаси ты, и я поступлю, как ты скажешь.

Лукас поднял усталые из-под серых век глаза.

— Ты привык торговать, Статилий Аппий. И сейчас готов продать свое милосердие подороже. Оплаченное милосердие — просто корысть, как купленная совесть — уже бессовестность.

Аппий долго разглядывал сутулящегося перед ним мощника — узкое лицо поражает худобой, глаза темные и больные. Как ни странно, сейчас всем нехорошо — ему, хозяину, его рабам и этому вклинившемуся страстотерпцу. Кто ж тогда счастлив на этом свете?

— Кто ты, чтоб оскорблять меня? — с глухой угрозой спросил Аппий.

— Твой брат.

— Нет — враг!

Лукас невесело улыбнулся:

— В наше время все друг другу враги — брат брату, сын родной матери. Вспомни Нерона, Аппий, и поступи со мной так, как всегда поступал он, — прикажи убить.

Аппий не хотел походить на Нерона, он проглотил обиду и постарался подавить в себе гнев.

— Ты будешь жить, — сказал он. — Ты будешь служить мне. Я стану действовать, и тебе придется меня оправдывать. Мы — братья. Ты и я. Рабы давно уже так считают. Они никогда не поверят, что ты спасаешь их, а не меня. Самое удобное в твоём положении — не подавать голоса.

Лукас опустил голову. Куда ему деться? Велик белый свет, но всюду в нем одни порядки, одна жизнь — богатые и обездоленные, властные и подвластные, и нет между ними такого пространства, где можно бы спрятаться. Любвеобильному вольноотпущеннику Лукасу не найти иного места как быть при хозяине.

Свою верную домашнюю челядь Аппий облачил в панцири, вооружил тупыми гладиаторскими мечами, послал к рабам-надельщикам. Возле крытых камышом хижин раздались вопли, там били палками тех, кто утаивал от хозяина свои жалкие запасы.

Все, что отбиралось, свозилось на усадьбу Три Птицы, за высокий частокол, за крепкие стены. Охранники с длинными сарматскими копьями сторожили собранное добро.

Лукас молчал, возражать не мог, знал, что его возмущение будет встречено всеми с подозрением и со злобой. А слова о любви сейчас и вовсе прозвучат издевкой. Наиболее упрямых рабов-надельщиков забивали до смерти. Там и сям горели камышовые крыши. Несколько матерей задушили своих детей, так как решили, что им все равно суждено умереть от голода. Лукас молчал, а все вокруг накалялось.

И вот — бунт. В Трех Птицах. Рабы перебили охрану, подожгли господскую виллу и склады с зерном. Статилий Аппий был готов к этому, заранее договорился с городскими властями — выделить ему манипулу из охранных когорт. И сейчас поднять ее на ноги не требовалось много времени.

С первыми лучами солнца от Аквилей ускоренным шагом двинулся отряд легионеров — поблескивали латы, игриво вспыхивали лезвия вознесенных пилумов, начался започок манипулы.

Аппий в торжествепо белой тоге, открывающей тунику с пурпурной всаднической полосой, ехал позади отряда. За ним сплоченной кучкой попевали облаченные в гладиаторские доспехи домашние рабы, его личная охрана.

Аппий ни на шаг не отпускал от себя трясущегося на неоседланной лошаденке Лукаса, щурясь, вглядывался вдаль, мстительно говорил тихим, ровным голосом:

— Ты лжец, Лукас. Всего-навсего лжец. Ты лгал мне, себе, рабам, своему богу. Не может человек любить человека. На земле слишком тесно, Лукас, люди мешают друг другу. Так было и так будет.

Лукас встряхнулся, распрямился, повел блуждающим затуманенным взглядом, с вызовом произнес:

— Оглядишь, господин, раскрой глаза. Разве ты не видишь, какой простор кругом?

А оглянуться стоило. Они ехали однообразной равниной, ее конец означался в запредельной дали зыбкими, как облака, горами. Пока еще низкое солнце освещало сутулые опаленные горбы, между ними лежали низинки, до краев заполненные влажной тенью. В глубине неба плавали два ястреба, им нетрудно было окинуть с высоты степную бескрайность. И, должно быть, свободные птицы презирали ползущих по узкой дороге ничтожно маленьких людей, закованных в металл.

— Земля обширна, господин, и это ты видишь сам. На ней всем хватает места. Но человеческая алчность больше необъятной земли. Мы сейчас войдем в тот край, который ты зовешь своим. И будем идти и идти, не раз отдыхать, поить коней, а твое все не кончится. Зачем тебе столько земли, благородный Аппий? Ты так же мал, как и другие, тебе не под силу проглотить все, что на ней родится. И все-таки тебе тесно, тебе мешают, не даешь жить другим. Не безумен ли ты, Статилий Аппий? Если так, то достоин жалости.

А Аппий щурился на далекие синие горы.

— Ты уже достаточно жалел меня, Лукас, не пора ли тебе пожалеть и себя?

— Не пугай меня, Аппий. Что ты можешь мне сделать? Только одно — отнять жизнь. Но неужели ты еще не понял — мне тяжело жить на этом свете, в котором тесно от алчности. Отними и живи сам, страдай от тесноты, дрожи от страха перед более алчными. Не позавидую тебе.

Обдуваемый ветерком, покойно покачивался на коне

Аппий, покачивался и болезненно щурился в освещенную солнцем даль, не спешил с ответом.

— Я проверю, Лукас,— наконец сказал он.— Проверю, хочешь или нет ты жить дальше. Я предложу тебе выкупить жизнь. И цена, наверно, не будет очень большой.

Лукас огорченно вздохнул:

— Ты и тут остаешься торгашом, Аппий. А вот я никогда не торговал... жизнью. Ни своей, ни чужой.

Они продолжали ехать бок о бок.

Подымалось солнце, низинки, заполненные влажными тенями, исчезали, степь стала ровней и казалась теперь еще обширней. Два ястреба продолжали кружить в синеве над упрямо ползущими людьми.

Удушливый чад окутывал обломанные ветлы, истоптанную усадьбу, насыль с выщербленным частоколом. Сквозь нечистый дым зловеще багровело оседающее солнце, и слепо метались выгнанные из загонов овцы. Их жалобное блеяние походило на капризный женский плач. Утробно мычали волы, пахло паленой шерстью, горелым мясом и едкой кислотой разлитого вина.

Были взломаны вишние погребя, и нельзя сразу распознать, кто из валяющихся среди уксусной грязи рабов мертв, а кто мертвецки пьян.

К дымящемуся пепелищу виллы, от которой почти целиком осталась колоннада галереи, сгоняли схваченных женщин, детей, стариков. Мужчин было немного, большинство ушло в горы, их начнут ловить позднее, а пока хватает хлопот и с теми, кто есть. Только один рослый раб связан, он был пьян, крутил медно-гривастой головой, скалил белые зубы, рычал и рвался из веревок. Всех остальных тут же заставляли рыть ямы, подтаскивать столбы, набивать на них перекладины. Стучали топоры, лязгали лопаты, раздавались сдавленные выкрики, маячили в угарном тумане рослые фигуры легионеров — шла работа, виновники готовили для себя место казни.

Аппий с темным лицом, провалившимися глазами, но в белой, лишь чуть потускневшей от копоты тоге сидел на уцелевшей садовой скамье, и к нему кучками подгоняли рабов, ставили на колени. Лицо Аппия было темно не только от сажи — все запасы зерна уничтожены, скот разбежался, неизвестно, удастся ли собрать половину... Он бросал лишь скользкий взгляд на припавших к земле рабов, вялым движением руки указывал наугад. Рука часто попадала на детей. Воины выхватывали указанных —

вопли, стоны, женский плач, бляение овец, стук топоров, угарный дым и низкое кровавое солнце.

Лукас торчал за скамьей позади Аппия, смотрел в землю, старался ничего не видеть. За его спиной переминались двое охранников, бородатых, остро пахнущих потом. Им приказано не отпускать управляющего.

Ночь прошла в угарной толчее. К рассвету потянуло свежим ветерком, согнавшим дым, открывшим унылое безобразие земли. И все было готово для казни — столбы, напоминающие какую-то редкую, мертвенно голую рощу, и стиснутая рослыми воинами тесная толпа обреченных. Сколько столбов, столько голов.

Но один столб стоял на отшибе, казался лишним.

Рабы распинали рабов. Те, кому вялый жест руки Аппия даровал жизнь, трудились в поте лица, казнили жуткой казнью своих товарищей. Легионеры безговали этой грязной работой, стояли в стороне, наблюдали, величественные и невозмутимые.

Солнца, вырвавшегося из-за гор, хлынувшего через степь, никто не заметил. На сожженном, истоптанном, загаженном кусочке земли метался вой, надсадный, рвущийся, гортанный, режущий, звериное рычание, сдавленные стоны, истошные проклятия, раздирающая бессловесная мольба. Кипит воздух, мир до небес отравлен бешенством. И корчились вознесённые на столбах тела, и с ожесточенной неумелостью суетились возле них палачествующие. И закутанный в тогу, немощно маленький Статилий Аппий замороженно взирал запавшими глазами. За ним теснилась трусливо сбившаяся челядь.

На ближайшем столбе, напрягая мощные мускулы, хохотал рослый раб, пышные волосы ярой меди, сам весь ковано-бронзовый, только оскал на безглазом лице сверкающе белый. Он уже раз сорвался вниз, раскидал троих палачей, вцепился четвертому в горло, подоспевший легионер опустил плащом меч на медную голову, оглушил. Его вновь подтянули, прикрутили к столбу. Сейчас буйный раб очнулся, изгибаясь, рвался и дико хохотал, заглушая вопли и стоны. Раба этого звали Фортунат, то есть счастливый.

Уже тогда только, когда солнце поднялось высоко, накалило землю, вздернули на столб последнего — золотушного мальчишку. С ним справился в одиночку некто Кривой Силап, громивший винные погребки, возле них и схва-

ченый спящим. Силан старался изо всех сил, выслуживал прощение.

Посреди разгромленной усадьбы разноголоса выла и стонала обремененная плодами роща, хохотал в корчах Фортунат, отдыхали под столбами рабы-палачи, честно исполнившие господскую волю. Сверкая на солнце шлемами, на равном расстоянии друг от друга стояли неподвижные воины.

Аппий, спеленатый тогой, словно дремал, лицо темно и безглазо, лишь прокаленный лоб таил жизнь — прорезан напряженной морщиной. Все оглядывались на него, ждали повелений. Аппий слабо пошевелился, чуть слышно в бушующем вое слышно позвал:

— Лукас.

Лукас был рядом, старался ничего не видеть, но слышал все — и смех обезумевшего Фортуната, и тоненький, еле-еле уловимый среди общей бесноватости плач только что распятого золотушного мальчика. Лукас не откликнулся, но двое охранников грубо подхватили его под руки, выволокли на глаза господина.

— Кривого Силана сюда, — приказал вяло Аппий.

Кривой Силан сам услужливо двинулся волочащейся от страха походкой, встал раскорякой — на шерстистой физиономии собачья преданность.

— Лукас, подыми глаза, погляди на своего ближнего. — Осипший голос Аппия не гневен, скорей устал, равнодушно тускл.

Лукас смотрел в землю.

— Подыми глаза на Силана, Лукас!

И Лукас поднял глаза. Только низкий покатым лоб не зарос волосней, две вывороченные ноздри да мутный глаз в красном мокром веке проглядывают сквозь шерстистые заросли. Мутный глаз, таящий тупой страх и покорное ожидание. И жилистая сморщенная шея и выпирающие голодные ключицы.

— Один столб еще свободен, Лукас. Сам выбери, кому висеть на нем. Тебе или ему? — Аппий кивнул на Силана.

Мутный глаз в красном веке лишь смигнул, но тупой страх в нем не стал ни больше, ни тревожней, путаная волосня скрывала лицо и душу, если только она, душа, была в этом искореженном теле.

— Перед тобой твой ближний, Лукас. Вглядись в него повнимательней. Он умеет жрать и пить да еще ковырять землю под палкой. Только под палкой, Лукас. Он никого

не любит, никого никогда не жалеет, ни о чем никогда не думает, кроме как о своем брюхе. Ты так много, Лукас, говорил о любви к ближнему, так вот тебе ближний, докажи, что его любишь, что слова твои не обман. Согласись вместо него висеть на столбе. А он распнет тебя, он охотно это сделает, потому что хочет жить... Силан, ты хочешь жить?

— Хочу, господин,— смигнув красным веком, ответил Силан.

— Решай, Лукас, а я подожду. Не стану тебя торопить — обдумай, хорошо обдумай. Нам некуда спешить.

И Лукас, обмирая, разглядывал своего ближнего — дика его заросшая физиономия, под низким черепом не рождаются мысли, тело его раздавлено тяжелой работой, изувечено постоянными побоями, он рожден в рабстве, не слышал доброго слова, только ругань, только угрозы, даже мать наверняка никогда не ласкала его. И сам он, можно не сомневаться, ни разу в жизни не произнес доброго слова, зато постоянно грубые проклятия, не умеет жалеть, пожалуй, даже и ненавидеть не умеет. Без ненависти он сейчас распял на столбе золотушного мальчишку, не дрогнув, без несправедливости распнет и его, Лукаса. Вместо себя, чтоб жить дальше своей проклятой, безрадостной жизнью. Он не скрывает — хочет жить!

Аппий удачно выбрал ближнего — полюби, сменяй себя на это выросшее в жестокости животное. Себя, который способен страдать за других, себя, который тонко чувствует, много знает. Нет! Нет!..

— Ну и что же, Лукас? — спросил Аппий.

Мутный глаз в красном веке сверлил Лукаса. Кривой, заросший Силан ничего не понимал, как не понимали, наверное, и другие. Силан просто боялся и ждал развязки, как ждет баран, приведенный к убийце.

А спеченно-темное лицо Аппия ожило, на нем проступила брезгливая усмешечка. Аппий не сомневался в ответе.

Лукас молчал... Для всех ясно — не равноценен обмен! А уж для Аппия в первую очередь. Лукас молчал.

Он скажет «нет», и тогда Аппий окажется прав: он, Лукас, гнал — любил ближнего, как самого себя. Себя любит куда больше, чем Кривого Силана. И Аппий восторгается: он выторговал все-таки себе оправдание, станет жить как жил, услаждать свою алчность, считать — нельзя иначе, чиста совесть. Его совесть будет чиста, а совесть Лукаса не даст ему покоя — продал, что свято, предал,

чем жил! Люби ближнего? Но даже самого себя любить перестанешь — лжив, нестойк, продажен. Из года в год презрение к себе, из года в год к себе ненависть! Аппий предлагает — спаси жизнь, пошли па смерть другого. Но ведь жизни-то не будет, будут мучения...

— Столб свободен, Лукас,— все с тою же безразличной усмешечкой напомнил Аппий.— Кого же ты выберешь для него?

Лукас распрямился, и безразличная усмешечка слилась с лица Аппия.

— Скажи ему,— повел Лукас острым подбородком в сторону Кривого Силана,— пусть делает свое дело.

И медленно побрел к столбу.

Аппий растерянно молчал, Кривой Силан не двигался, стрелял единственным глазом то в спину Лукаса, то в господина — ничего не понимая, он ждал знака, не заросшей физиономией, а всем телом выражая готовность.

Лукас дошел до столба, развернулся к людям — серое узкое лицо, горящие глаза, расправленные плечи. А по соседству с ним корчился в жутком хохоте кроваво-бронзовый Фортунат. И многоустьый стон рвался к небу.

С минуту Лукас стоял, обводя взглядом взъерошенного, как больная птица, Аппия, раскоряченного возле него Кривого Силана, тесно сбившуюся, настороженную толпу позади них, хоронящуюся под столбами кучку рабов-палачей, сурово-неподвижных, парадно сверкающих латами легионеров в оцеплении.

— Лю-ди!

Голос Лукаса был неожиданно режуще звонок, в сбившейся толпе произошло некое содрогание.

— Лю-ди! — Лукас вскинул длинную тощую руку к стонавшим столбам.— Вам нравится это?! Очнитесь, люди,— вы затравите друг друга! Вам и теперь неумоготу жить. Одно спасение, люди,— лю-бить! Перед смертью зову вас — любите! Мудрый блаженного, богатый нищего, сильный слабого! Любите, как братья! Жертвуйте всем ради любви, как я сейчас жертвую жизнью!

Лукас кричал, а рядом в корчах изнемогал от хохота Фортунат. И нескладная, тощая фигура Лукаса, его срывающийся, резкий, заглушаемый громкими воплями голос, взывающий к любви, был столь нелепо неуместен, что все стали недоуменно переглядываться. Никто, кроме Аппия, не понимал, что, собственно, происходит, почему этот длинный человек оказался у столба и о чем он кричит — о какой-то любви. Возле столбов с казненными!

Недоумение должно было как-то разрядиться. Хохотал Фортунат, и его издевательский смех заражал недоумевающих. Кто-то за спиной нахохлившегося Аппия в тесной толпе истерически взвизгнул, кто-то рассыпался мелким смешком, и все зашевелились, заколыхались — прорвалось! Смеялись, раскачиваясь, в толпе. Приседали, хлопая себя по коленкам, рабы-палачи. Тряслись в своих латах невозмутимые легионеры. Ощерился в путаной бороде беззубый рот Кривого Силана, выдавил кашляющие звуки. А громче всех по-прежнему хохотал Фортунат. И стонали распятые на столбах.

Лукас, взведенно вытянувшийся, ставший, казалось, еще длиннее и нескладнее, с гримасой ужаса озирался. Наконец он пошатнулся, схватился за голову, медленно осел. А все глядели на него и покатывались...

Не смеялся только Аппий, взирал провалившимися глазами на скорченного под столбом Лукаса. Все вторили обезумевшему Фортунату. С явным усилием Аппий шагнул вперед, волоча по земле свалившуюся тогу, подошел, постоял над согнувшимся Лукасом, тронул его за плечо.

— Живи... И не будь шутом.

Резко отвернулся, дергающимся шагом, таща за собой конец тоги, двинулся прочь, скупно кивнул на ходу, чтоб собирались в дорогу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Профессор-востоковед Ю. Я. Перепелкин, открывший тайну древнеегипетского золотого гроба (в нем лежала соперница Нефертити), писал впоследствии: «По необходимости расследования ведутся способами, напоминающими те, что описываются в так называемых детективных романах, с тою особенностью, что предмет расследования отстоит от нас более чем на тридцать три столетия».

Вот и я, чтоб уличить святого апостола Павла, тоже пытаюсь превратиться в Шерлока Холмса.

Рассмотрим версию, которая напрашивается сама собой: Павел сочувствует гонимым и угнетенным, но пасует перед силой власть имущих — «всякая душа да будет покорна...».

Однако скудные свидетельства говорят не в пользу этой версии.

В Дамаске правитель царя Ареты хотел схватить его. Ученики спустили Павла в корзине на веревке с городской стены.

В Антиохии толпа взбешенных евреев напала на Павла и его спутника Варнаву, вытащила за город, забросала камнями. Их посчитали убитыми, бросили посреди поля и разошлись. К утру они очнулись.

«От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного», — повесело вспоминает он.

Помимо этого его еще трижды били палками.

Не раз заковывали в кандалы.

Трижды он терпел кораблекрушение — «ночь и день пробыл во глубине морской».

«Много раз был я в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне... в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, в стуже и наготе».

Даже отрывочные сведения о жизни Павла доказывают — он был фанатично неуступчивым, бескомпромиссным человеком. Нет, не приспособленец, и в напористости и дерзости ему не откажешь.

Нельзя объяснить его поведение и кастовой принадлежностью. Сын шатрового мастера, должно быть, не бедного, если уж дед его был настолько замечен в процветающем Тарсе, что сумел приобрести себе и своим потомкам римское гражданство. Но Павел-то оторвался от дома еще в ранней юности, жил «в голоде и жажде... стуже и наготе», его окружение — друзья и ученики — не из привилегированных слоев, отнюдь не властители.

Был нищ, был гоним, никогда не отличался угодливой кротостью — воинственно страстен, лишен какой-либо изворотливости, всем его посланиям присуща напористая прямолинейность, он из тех, которые что думают, то и говорят. Значит, он был искренне убежден, когда настойчиво повторял: «Рабы, повинуйтесь господам своим». И всего лишь несколько раз у него стеснительно прорывается: «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть в небесах Господь, у которого нет лицепрятия». К рабам требовательно, к господам просительно. «Люби ближнего своего» у Павла получается с перекосом.

Христос обещал царство небесное обездоленным и не собиравшимся пускаться в него богатым — «удобнее верблюду

пройти сквозь игольные уши». И потому рабы принимали его; но какой интерес им был идти за Павлом?.. Пожалуй, даже и самим господам трудно верилось, что па их жестокое насилие им смогут ответить беззаветной любовью. Не рабы, не господа — тогда кто же следовал за Павлом?..

И я ухватился за трубку, набрал номер...

— Ирочка, простите за поздний звонок. Срочно нужна справка: как в нашей модели прививается павлианство?

Секундное молчание, вздох.

— Не хотела огорчать вас, Георгий Петрович, — туго прививается, буксует.

— Прекрасно!

— Не нахожу. Модель наша стала вялой, недопошенная какая-то. И тут еще Христос из небытия выплыл...

— Прекрасно! Так и должно быть.

— Эге! Что-то вы у себя наколдовали. Похвастайтесь.

— Хвастаться рано. Пока смутное. К утру, думается, яспей будет. Потерпите.

Я положил трубку. Мыслитель со стола взирал на меня доисторическими глазами. К черту прославленный дедуктивный метод! Плох тот криминалист, который не становится на точку зрения преступника. Шерлок Холмс должен влезть в шкуру Павла.

2

И снова, снова я вижу пыльную дорогу в бурой степи. Столбы вдоль нее от селения к селению, на них висят смрадные трупы, кружится воронье... Мертвый оскал на каждом шагу, крики и стоны, бряцанье лат, сверканье отточенных пилумов — и я, гонимый последователь того, кто призывал любить врагов, отказаться от забот: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня заботы». То есть закрой глаза на то, что делается вокруг, живи себе, как живут птицы небесные — «они не сеют, не жнут, не собирают в житницы». Мы бы теперь это назвали «внутренняя эмиграция».

И не падо быть семи пядей во лбу, чтоб понять элементарное: если все станут жить наподобие птиц небесных, не засеивать поля, не выращивать скот, то впереди

ждет всеобщий голод, оскудение, смерть! Любой здраво-мыслящий содрогнется от такой перспективы. Разве я, находясь на месте Павла, не противопоставил бы легкомысленной беззаботности жестокое условие: «Если кто не хочет трудиться, тот не ешь»? Условие по сути своей благонамеренное и никак не новое, господа издавна им пользовались — пе кормили тех, кто не хотел или уже не мог работать. Должно пройти много веков, когда восставшие труженики отточат его до лозунга и направят против господ: «Кто не работает, тот не ест!»

«Если кто не хочет трудиться...» Но смрадные трупы с оскалом потому и висят на столбах, что несчастные уже не могли больше вынести... да, труда! Он страшнее смерти. На положении птиц небесных не проживешь — трудись! Но как?..

В одиночку? Каждый обеспечивая лишь сам себя?..

В одиночку не осушишь болота, не выкорчуеть лесной массив, не проведешь оросительный канал, какие-то земли, которые уже кормят человечество, придется забросить. В одиночку затруднительно даже пользоваться силой вола — обходись мотыгой. А тут уж о хорошей жизни и не мечтай. История повернет тогда вспять — регресс, деградация...

Работать сообща, сообща делить между собой без лишних ухищрений — всем поровну?..

Но не получится ли тогда, что сильный и добросовестный работник будет кормить лодыря? Мускульный труд нелегко, добросовестный в конце концов начнет снижать усердие до бездельника. Тут уж и работающим и неработающим одинаковая нищета.

Распределять же по заслугам — больше усердному, меньше бездельнику... Значит, появятся привилегированные и парии, которые со временем должны превратиться в тех же господ и рабов...

Павел не знал о существовании производительных сил, их диктаторском влиянии на общественные отношения, он просто интуитивно чувствовал: господство, увы, неизбежно для его времени, от него не избавишься.

«Люби ближнего своего...»

Я мысленно пытаюсь действовать за Павла. К кому обратиться в первую очередь с увещающим словом — к господам или рабам? Элементарная логика подсказывает — к господам. Они хозяева положения, в их власти миловать и наказывать, проявлять доброту и творить зло.

А вот на подневольных рабов рассчитывать просто бессмысленно, их возможности ничтожны.

Но почему же тогда Павел обращается главным образом к рабам с настойчивостью и даже с пламенной надеждой? К господам же — нехотя, через силу, без всякого энтузиазма?

Попробуем поступить вопреки Павлу. Со всей силой и страстью, на какую только способен, я обращаюсь к господину — люби! И, предположим, он примет благоговейно это «люби», отбросит палку, повернется участливым ликом к рабу. А раб?.. До сих пор он надрывался под палкой из последних сил, ну а теперь, без палки, станет надрываться еще сильнее — уже от умиления. Ой ли? Скорей всего захочет отдохнуть, снизит усердие. Любящему господину придется вновь пустить в ход свою палку.

А вот ежели убедить раба: будь послушен, чти господина, усердствуй для него, — тогда в идеале палка, возможно, и не подымется, если даже ее станут держать не любящие руки. Только от раба может исходить инициатива любви, от господина ждать ее нечего. А потому: «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее».

Сколько угодно можно с высоты нашего времени и не соглашаться возмущенно с Павлом, и удивляться его простодушной утопичности, но нельзя отрицать его сообразную с веком логику. Вовсе не такой уж он на поверку непоследовательный.

За Христом, наставляющим любить врага, не обременять себя заботами, поднимались обезличенно забитые, беспомощные, не способные постоять за себя, мечтающие сбросить извечное проклятие ненавистного труда. Эти люди не привыкли думать, за них это делали хозяева, а потому последствия обещанной беззаботности их не смущали — «птицы небесные...». И к таким относилось большинство населения. Массовость движения была обеспечена.

Но это движение неизбежно сразу бы столкнулось с самой жизнью, требующей забот и усердия. И если б оно не было задумано силой, то со временем навверняка само угасло бы, как угасли многочисленные религиозные волнения, которые постоянно сотрясали Иудею.

Спасти движение могли иные взгляды и настроения. Один Христос еще не делал христианства, появившийся за ним Павел — столь же необходимая фигура.

Однако и Павел, возникни он со своим учением без

Христа, как в нашей модели, имел бы тоже сомнительный и недолговечный успех. Проповедь покорности и неизменности — «каждый оставайся в том звании, в котором признан», — вряд ли бы приняли обездоленные массы. А то учение, которое не принимает раб, бесполезно и для господина. На рабов оно никак не влияет, а на господина — кой-какие обязанности все же накладывает: «не заграждай рта у вола молотящего», проявляй заботу, даже люби... Да зачем же господину столь обременительное и безвыгодное учение?

Парадоксально — для того чтобы учение жило, оно должно объединять в себе крайне несходные, противоречивые утверждения. Различие взглядов в массовом движении — явление обычное. Кому было выгодно верить Христу, тот продолжал верить. Кого Христос не устраивал — обращались к Павлу. А так как помимо несходства в учениях Христа и Павла существовали и общая непримиримость к жестокости, и общий мотив любви к ближнему, то это создавало впечатление единства. Резко несходные по образу жизни, взглядам, интересам люди, каждый цепляясь за наиболее приемлемое для него, вливались в общее течение, ширили его. И все же забитый раб вылавливал утешающее — «трудно богатому войти в Царство Небесное», а владетельный господин тащил себе — «каждая власть от Бога».

Как для дела Христа нужен был Павел, так и для дела Павла — Христос. Друг без друга они оказались бы всего-навсего временщиками, каких множество в истории, и почти все забыты.

Машину запрограммировали на развитие возникшего движения, а сохранить его с одним Павлом было невозможно, потому-то убитый нами Иисус Христос должен был воскреснуть вновь.

Нет, не мистика: смертию смерть поправ... Ход развития того требовал.

3

На следующий день наша четверка должна была собраться у меня в институте. Хотя мои размышления были пока, так сказать, прикидочными, «не промешанными», но кой-чем поделиться можно. И где-то под спудом я ощущал и угрожающие толчки новых проблем...

Однако очередной наш «совет четырех» сорвался — в

семь утра раздался звонок в дверь: «Примите телеграмму!» Телеграмма от сына:

«Буду двенадцатого девятичасовым поездом, встречать не надо. Сева».

О его приезде шли разговоры давно, еще до демобилизации. То мы начинали ждать со дня на день такой телеграммы, то смирялись: осел на стороне, вот-вот сообщит о женитьбе, придется или самим ехать, или зазывать к себе — уже в гости. А затем снова период невнятных, недомолвок в письмах, намеков на возвращение в отчий дом. За периодом невнятных начиналась неустойчивая пора горячих желаний, тоска по дому... Мы ждали и теперь, да, но все же сообщение — «буду» — нас застало врасплох. Господи! Двенадцатое-то — сегодня! И поезд-то прибывает через два часа. И номер вагона не указан — «встречать не надо». Три года не виделись, столько разочаровывались, а когда пришло вымечтанное «буду» — встречать не надо. Сева! Сева!..

После долгих и бестолковых обсуждений мы согласились: мчаться на вокзал, рассчитывать на удачу — авось столкнемся — глупо, лучше уж здесь ждать и готовиться.

И ждать нам пришлось не два часа, а целых четыре. Катя слепо толкалась по углам, что-то прибирала, что-то налаживала в кухне, роняла кастрюли. Я метался, висел на телефоне, разузнал, что поезд опоздал всего на пятнадцать минут, с отчаянья хватался даже за книги и бросал их. Четыре часа!..

Мы не просто ждали сына после долгой разлуки. Нетерпением наше состояние никак не назовешь. Все последние годы судьба сына висела над нами, как горный снег над путниками, как пресловутый дамоклов меч. Мы ждали затянувшейся развязки. Мы ждали приговора. Куда мог исчезнуть наш блудный сын, в какую свернул сторону?..

Оказывается, Сева галантно решил отвезти не знавшую Москвы попутчицу в Ясенево...

Но он предстал перед нами, и мы вмиг все забыли — и прошлые раны и нынешнюю пытку. Катя ожила, принялась накрывать на стол, а я завел с сыном мужской разговор пока что так, ни о чем — о духоте в вагонах, о возросшей в Москве суетности, о зелени новоотстроенного периферийного Ясенева. Для Севы отец наверняка — «каким ты был, таким остался», три года мало изменили меня. Передо мной же сидел пугающе незнакомый человек.

Он чуть-чуть подвытянулся, а вширь не раздался, вместо прежней юношеской угловатости обрел вкрадчивую гибкость. Раньше глядел букой, наверно, поэтому не замечались широко расставленные прозрачные глаза — прятал их. Теперь же, напротив, они как бы подставлялись — взглядишь, пожалуйста, у меня для тебя на дне спрята-на эдакая легкомысленная, но приятная улыбочка. Вид здоровый и уверенный, а по одежде не разгадаешь — бедствовал или преуспевал в последнее время: помятая в дороге сорочка с небрежно закатанными рукавами и не слишком заношенные, ладно сидящие джинсы, да на вешалке — выдавшая виды кожаная куртка. Я вглядывался и испытывал тихое счастье оттого, что приятно смотреть, ничего не оскорбляет — нравится парень!

И весь день прошел в этом тихом созерцательном счастье, в необязательных разговорах, в расспрашивании, приглядывании, вспоминании анекдотических случаев нашего далекого семейного прошлого. Но за вечерним чаем Катя, более решительная, чем я, начала...

— Что ж, пора открыть свои козыри, сынок, — сказала она.

Сева, должно, давно ждал этого, ответил с ходу, без колебаний:

— Москва. Только Москва! Из нее ни ногой.

— Учиться? — спросил я.

Он улыбочиво встретил мой взгляд и тряхнул головой.

— Я крепок в своих убеждениях, папа.

— Как это понять?

— Учиться и потом торговать своими знаниями считаю по-прежнему.... Ну как бы тебе сказать?..

— Невыгодным? — подсказал я.

— Да нет, того больше — опасным!

— Да-а, — произнес я. — Да-а... Торговля вообще рискованное дело. Особенно торговля знаниями. Приобрел их, кусок жизни тратил, а вдруг спросу не будет.

Новый, не похожий на прежнего Севу разглядывал меня широко расставленными улыбочивыми глазами.

— Ты хочешь сказать, папа: следует отдавать себя безвозмездно — стране, народу, грядущим потомкам?

— Тебе это совсем кажется диким?

— Старомодным.

— Прости. Отстал. Как же выглядит новая мода?

— Живи и жить давай другим, папа.

— Не такое это уж и новое.

— Но со времен моего деда — забытое.

— Наверяд ли. Всегда хватало тех, кто старался жить тихой сапой.

— Вот-вот. Тихой, прячась. Потому что наши деды установили: не смей жить для себя, живи для будущего, для далеких потомков. Ну так я уже тот самый потомок, папа. А разве оттого, что мой дед себе во всем отказывал, мне жить стало лучше?.. Я и решил, папа, жить для себя, тогда мой внук, может, и в самом деле станет счастливее меня.

— Отчего, собственно, ему быть счастливее? Оттого ли, что его дед Всеволод что добыл, то сам и прожил, ничего не оставил после себя?

— А я бы хотел, чтоб предки мои забыли кое-чего мне оставить. Очень хотел! Например, термоядерную бомбу, папа...

— Вместе с ней мы оставляем тебе еще и много полезного.

— Автомобиль «Жигули», пилу «Дружба» и всякую всячину, зато отнимаете чистые реки, свежий воздух, зеленые леса.

Он сильно вырос за эти годы, наш мальчик, стал не только самостоятельней, а явно умнее — за словом в карман не лезет, не дуется на родителей, как прежде, глядит с открытой улыбочкой и... пожалуй, откровенней, чем прежде, презирует отца вместе с его обветшалыми упованиями на прогресс.

— Если мода «живи для себя» утвердится, — заговорил я, стараясь быть спокойным, — то еще неизвестно, сын, есть ли смысл нам говорить о твоих внуках. Вы, того гляди, откажетесь иметь детей, так как для них нужно постоянно отрывать от себя. И немало! Как бы род людской не прекратил существование.

— Ты забыл, папа, что я сказал: живи и жить давай другим. Уж ежели я буду делать все возможное, чтобы не заедать жизнь чужому дяде, то неужели я не постараюсь для своего сына?

Сева сидел перед нами свежий после принятой ванны, в белой майке, открывавшей смуглые мускулистые плечи — жизнь на сторопе не потрепала парня, а выпестовала и отшлифовала, — красив, невольно любишься. Но мне не по себе возле него, стесняет, не прилажусь.

Я повернулся к Кате.

— Тебе это нравится, мать?

И осекся: Катя долго молчала, чужевато разглядывая сына, наконец произнесла:

— За что, Сева?..

— Разве я что сказал обидное, мама?

— Ты ударил меня.

— Я? Тебя?!

— Ты же знаешь, что я никогда не жила для себя, только для тебя. И еще для отца. Для вас двоих... И вот слышу сейчас: а зачем?.. Оказывается, надо было жить себе просто, давать другим жить, но особо для них не надрываться... Награды, право, себе я и не ждала, но зачем же осуждать меня? И еще свысока...

— Ма-ма! — Сева вскочил, обнял мать. — Мама! Осуждаю?.. Нет, нет! Всегда помнил, мама! Любил, жалел, думал о тебе постоянно... С нежностью, мама!

— Ты хорошо научился обманывать себя, но не меня, Сева.

— Как мне доказать тебе?!

— Ты уже доказал.

— Что?

— Любишь, постоянно думаешь, а за два года службы не постарался вырваться к матери. И после службы не спешил ее увидеть. Наконец приехал — любишь мать, кинулся опрометью, зная, что она ждет, волнуется... Да ничего страшного, если поволнуется и еще подождет, — девочку-попутчицу отвезу на край Москвы, лишнюю минутку с ней побуду... Не надо оправдываться, Сева. Я же не тебя упрекаю — себя. Тратила себя — все тебе, себе ничего, а в ответ — люблю. Я почему-то не очень верю — слова и ничего больше. Не научила отзывчивости. А кто как не мать должна учить этому.

На секунду в лице Севы колыхнулось смятение, щеки вспыхнули, глаза остекленели, он растерянно оглянулся на меня, уставился снова на мать и... освобожденно рассмеялся:

— И правда хорош!.. Все в точности, все так и было. И с девчонкой этой... Зачем мне перед ней перья распускать? Нравилась-то умеренно. Чемодан у нее тяжелый, ну как не помочь. Возле такси очередь, ну как не усадить. А когда в машине дверка распахнута и на тебя благодарно смотрят, ну как не сесть рядом: жми, шеф! Всегда у меня черт карты путает. Помню, скукаю по дому, Москву во сне вижу, жду не дожусь отпуска, наконец оформляют, и... несет меня в другую сторону. И ведь помню же, скукаю, да себе не хозяин. Пообещать бы вам сейчас: ис-

правляюсь, мама, исправляюсь, папа! Но честно — слаб против черта, все равно же попутает...

Маленькая рисовочка — любуйтесь, такой уж есть, иным не буду! — право, не мешала искренности, глаза глядели прямо, с недоуменной над собой насмешечкой. И я почувствовал угрызение совести — в первый же день вьелся в парня. И не глупо ли ждать рассудочности в неполных двадцать три года, не бессмысленно ли огорчаться — ветер, мол, в голове. Он сейчас смеется над нашей серьезностью.

Катя конфузливо кинула на меня потеплевший взгляд, ища сочувствия.

Возвращение блудного сына не обошлось без столкновения. И победителями в нем были не мы.

Он быстро успул на своем детском диванчике под ковриком с изображением фантастического оленя в фантастическом лесу. А мы с Катей засиделись на кухне.

— А не кажется ли тебе странным, — спросил я, — у нашего Севы вдруг легкий характер?

Долгое молчание.

— Он что-то пережил... — сказала она. — Очень тяжелое.

— Но почему очень?

— Иначе бы так резко не изменился. Он меня пугает, сам на себя не похож.

— Бодр, весел, неглуп, конечно, с заносами и, что важно, сам это осознает... Нет оснований пугаться, Катя.

— Он не такой, Георгий, каким кажется...

И мы затихли.

Какими тайнами заполнены эти три года в жизни сына? Что он испытал, что открыл, что понял — узнаем ли мы, или же так и останется от нас скрытым? Вместе с житейскими тайнами он и сам для нас сейчас тайна. Может, у всех так? Был ли я тайной для своего отца?.. Пожалуй, нет. Отец мой, инспектор райзо по коню (существовала и такая должность), многого не понимал из того, что увлекало меня, но кто я, «в каких щах варюсь», он себе достаточно отчетливо представлял.

Я открываю связи, которые тянутся к нам через тысячелетия, а вот связь с родным сыном для меня остается проблематичной.

Наша модель, не удовлетворившись одним Павлом, вновь возродив Христа, подсказывала нам: эти личности не случайны, сложившиеся в течение веков обстоятельства должны были породить именно таких, а не каких-то иных персонажей истории. Христос и Павел — выдающиеся фигуры, ну а не выдающиеся, заурядные — они случайны, разве история не создает их по определенным образцам?..

Некий предположительный Статилий Аппий — личность самая что ни на есть заурядная. Он, пожалуй, не прочь бы стать добрым, да обстоятельства вынуждают — приходится изуверствовать. В патриархальные времена он скорей бы всего мирно пас скот, возделывал своими руками поле, а где-нибудь в середине XIX столетия был бы добропорядочным буржуа. Христос и Павел, Калигула и Нерон, Статилий Аппий и Кривой Силан — любой и каждый без исключения продукт времени, его одухотворенно-вещественная молекула.

Историю делают люди?.. Но ведь история сама куёт людей, как гигантов, так и пигмеев, героев и обывателей. Мы не созидатели всеохватного человеческого процесса, лишь участники его.

За широким арочным окном в зное городского полдня варилась улица — урчала, шипела, выплескивала через край машинным ревом. За окном очередной день, к нему некогда медлительно сотнями тысячелетий шел с корявой палицей сутулый неандерталец, продвигался облаченный в шкуры кроманьонец, родовые кланы объединялись в племена, племена сливались с племенами, строили города, создавали государства, бушевали войны, возникали и исчезали народы, менялся способ добывания хлеба насущного и всего прочего, что поддерживало жизнь, — движение вперед, к этому проходному дню! Он рубеж между прошлым и будущим. Он зыбкий гребень времени, который зовем настоящим, чтоб с новым поворотом планеты проститься с ним навсегда...

Проститься? Да нет, понести его дальше, дальше... Каждый текущий день — финиш неведомо когда начавшегося пути. Он ли несет в себе нас, или мы несем его на своих плечах?

Этот день наблюдает и старый Иван Трофимович Голенков. Всю свою долгую жизнь он действовал во имя этого дня, а сегодня вот недоволен собой — получилось

не совсем то, что хотел. Мой же сын Сева не озабочен, чтоб что-то вложить в день текущий, просто намерен прожить его, как и все остальные отпущенные ему дни. Но и Сева, однако, не желая того, что-то все-таки оставит сегодня. Не зря же мы с матерью гадаем — обрадует он нас или огорчит? И огорчение и радость — след, и не такой уж поверхностный, если способен тревожить меня, менять мои мысли и мои поступки. Бесследных людей не существует на свете. Бесследных людей — в истории. А тогда верен ли вывод — не люди делают историю?

Наш маленький штаб собрался на совещание. Все противоречивое, что варилось во мне, я, разумеется, не смел выплескивать наружу. Но от этого проклятый вопрос о роли личности имел недоношенный вид, выглядел неутешительно.

Ирина туго сводила свои сумрачные брови, и глаза под ними поблескивали с выжидательностью затаившегося хищника. Миша Дедушка усиленно мигал, тербил бороду — вот-вот хмель прозрения ударит ему в голову. А Толя Зыбков неловко вывернулся в креслице, одно плечо выше другого, круглое лицо, словно луна над речным туманом, то подергивается тенью, то светлеет.

— Уж не достигли ли мы конечной истины? — первой негромко нарушила молчание Ирина. — Уныло же она выглядит, однако.

Миша встрепенулся.

— Свят, свят! Что с тобой, Ирочка? «Истина конечная»!

— Нам, человекам, не дано взнuzдать историю, напротив, она нас кует себе на потребу. Тогда зачем же нам ковыряться в жизни, зачем мучительно въедаться мыслью, открывать неведомое? Лишний раз можем только напомнить себе — несамостоятельны, рабы стихии. Выходит, сейчас мы набрали на такие знания, которые отвергают необходимость знаний вообще. Разве это не конечная истина? Смертельно конечная для разума!

— Мать, дай пощупать твой лобик. Ты температуришь. У тебя бред.

Ирина даже не повернула головы в сторону Дедушки, досадливо повела плечом.

— Дерни себя за бороду, Манилушка. Проснись! Нам сейчас нужно или отречься от эксперимента — к абсурду пришли, ерупдовиной занимались, — или во всеуслышание объявить: дорогие собраты, мы со своим хваленым сознанием добрались до черты, дальше ехать некуда.

— Не пугайте, Ирина,— сказал я.— Вы же сами не верите своему максимализму.

Она скорбно вздохнула.

— Еще бы. Поверь в такое — и надо вешаться.

— Ну то-то,— воспрянул Миша Дедушка.— В следующий раз будь осторожней — может родимчик хватить.

— «А все-таки она вертится!..» — Толя Зыбков обвел нас немигающим рысьим взглядом.— Все-таки от «история кует» легко не отмахнешься.

— Внимание! — объявил Миша.— Искусник сейчас выпечет крендель.

— Несамостоятельны, рабы стихии... Ирина Михайловна, вы стихию-то видите эдаким богом-погонялой. А ведь стихия — это же мы и есть.

— Неуправляемые,— вставила Ирина.

— Сами собой — да!.. А вообще — как сказать.

— Эй-эй! — подхватился Миша.— Ты у меня сейчас предопределение украдешь.

— Одолжу на время. Не возражаешь?

— Бери насовсем, не жалко.

— Что ты хотел сказать своим «вообще»? — спросила Ирина.

— Вообще, Ирина Михайловна, что такое управляемость? Управляем ли процесс распада радия? Или синтез гелия в солнечном чреве? Или фотосинтез зеленого листа?.. Тут, наверное, не об управлении говорить надо — об упорядоченности...

— Заданной, старичок, заданной! — напомнил Миша.

— Кем?

— Этого, извини, не скажу.

— А раз не скажешь, то и о заданности не имеешь права заикаться. Упорядоченность просто неотъемлемое свойство стихии, как многоцветность радуги. И почему эта строго упорядоченная стихия — та же история — должна нуждаться в управлении, нашем или боговом?.. Дед, возвращаю тебе твое предопределение, больше не понадобится...

— Куда гнешь, лукавый?

— На перехват Ирины Михайловны, мудрый Дед. Она, прошу прощения, сильно разогналась — «бесполезно мыслить»... К необъятной природе мы лезем со своим куцым утилитаризмом — полезно нам или бесполезно? Словно природе до этого есть дело. Нам выделена роль мыслящих существ, и хотим мы того или не хотим, а мыслить придется — сомневаться, ошибаться, страдать от бессилия,

совершать весь джентльменский набор гомо сапиенса. Поэтому не спрашивай никогда себя, что даст тебе новая мысль, а радуйся, что она явилась, мысли дальше.

И снова в который раз меня охватило возмущение этим умным мальчиком. Сейчас сильнее прежнего, потому что в Толе Зыбкове увидел я Севу Гребина с его неоригинальной мудростью — живи и жить давай другим. У этих двух столь разительно несхожих представителей молодого поколения одна движущая пружина, заведенная на себя. Сева способен удовлетвориться малым — работка повольней, зарплатка покрупней, не исключено даже левый доходец сорвать при случае, но дальше не пойдет. А вот лобастый Толя Зыбков собирается использовать торжествующую науку. Мне в удовольствие тешить свою любознательность, искушать свою мысль, постараюсь заручиться для этого помощью государства, а что касается того, буду или нет «тем любезен я народу», меня, право, не волнует — можете пользоваться, если сумеете, а сам я до ваших низменных нужд не опускаюсь. Супермены в джинсах!

Я перед Севой чувствую родительскую вину — не приложил усилий в воспитании, — потому сейчас пасую перед его улыбочкой, мои доказательства отскакивают, как горох от стенки. Ну а перед Толей-то моя совесть чиста, пасовать не собираюсь. И я повернулся к Толе всем телом.

— Ты, кажется, забыл, какими вопросами мы занимаемся?

— Помню, Георгий Петрович. — Невиннейшим голосом, с ласковой кошачьей прижмуркой.

— Помнишь, что были распяты на крестах, сожженные на кострах, погибшие па баррикадах, расстрелянные в застенках ради решения этих проклятых вопросов? Ну так они и теперь висят над нами проклятием. И ради чего же ты предлагаешь нам заниматься ими? Ради того, оказывается, чтоб доставить себе удовольствие, свои способности испытать, свои силы потешить. То, что, мол, мучительно для других, мне в наслаждение. Черт знает, какая-то патология! На садизм похоже. Тебе это не кажется?

— На садизм?.. Георгий Петрович, уж так-то зачем?.. Плотная физиономия Толи порозовела, прижмурка исчезла, круглые глаза зелено цвели.

— Пусть не садизм, а безнравственность. Тебя устроит?

— Нет, Георгий Петрович, не устроит. Всего-навсего

смею лишь не согласиться с вами: вы считаете — будем управлять стихией, я говорю — нет. Так неужели это безнравственно?

— Э-э, голубчик, не отказывайся от того, что сказал: не спрашивайте, мол, себя, что даст новая мысль, просто радуйтесь и мыслите себе дальше.

— Не вижу тут никакой безнравственности.

— Что ж, объясню поподробней... Ты считаешь — природа нам выделила особую роль мыслящих существ, ну так будем играть ее с душой, наслаждаться изощренным искусством. Разум для наслаждения!.. Это ложь, голубчик! Неоправданная и вредная ложь! Разум и появился — от нужды, от безвыходности. Чем еще наш праотец мог спасти себя как не счастливой догадкой использовать палку? Будь он вооружен острыми зубами, когтями, сокрушающими мускулами — не пытался бы задумываться. И мы сейчас бегали бы беспечно нагишом, носили бы под твердыми черепами недоразвито-гладкий мозг. А теперь вот во всеуслышание заявляем и не краснеем: играть роль мыслящих готовы, но до нужды нам дела нет. И это тогда, когда подпирают глобальные опасности, гамлетовское быть или не быть миру заставляет содрогаться всех. Дела нет, плевать, будем наслаждаться, а там хоть трава не расти... нравственна такая позиция?

Добрейший Миша Дедушка со смущением гнул к полу, избегал глядеть на друга. Ирина же прицельно установилась на Толю, забыв о дымящейся сигарете. Толя подобрался в своем креслице, совино нахохлился, круглые глаза стынут на круглом лице.

— Георгий Петрович, — заговорил он после недолгого молчания холодно и с достоинством, — убедите меня, что есть... есть реальные возможности взнуздать неподвластную стихию — да, силой разума, да, подчинив управлению! — и я признаю себя иудой, повешусь от стыда на первой же осине.

— Ну, милый мой!.. — Я развел руками. — Осадил! И с какой напыщенностью, с трагедийным пафосом: повешусь, торжественно обещаю, но прежде убедите меня в том, в чем пока никто на свете не убежден. Много же ты хочешь для доказательства своей неправоты.

Зеленые глаза повело в сторону, на выпуклый лоб набежала морщина. Толя ничего не ответил, опустил голову — по-прежнему нахохлен.

Ирина вонзила в пепельницу потухшую сигарету, закурила повую.

— Мальчику ясно! — возвестила она. — А мне пока нет!.. Помните ли, Георгий Петрович, наш разговор о том, что дурные сообщества развращают добрые нравы?..

— Конечно.

— А я-то думала — запомнили. Вы, если не ошибаюсь, сказали тогда, Георгий Петрович: что-то мешало людям создавать хорошие сообщества, не исключено — что-то не зависящее от самих людей.

— И еще сказал, Ирочка, — это «что-то» нам следует выяснить. Сейчас беру на себя смелость заявить: подбираемся к выяснению... окольными дорожками, но, надеюсь, они приведут от Павла в наш день.

— Верно. Привели, — с холодной бесстрастностью согласилась Ирина. — К тому, что люди не влияют на историю. Получается: дурные сообщества возникают сами, а хорошие создать нам не дано — невлиятельны, стихии, видите ли, подчинены. Но тогда есть ли смысл, Георгий Петрович, упрекать в безнравственности нашего милого ученого сурочка? Помочь себе мы не можем, предаваться отчаянно бессмысленно, так не лучше ли принять мудрый совет — предаться доступным наслаждениям, как это делали в средние века во время повальных эпидемий? К черту самоистязания, да здравствует пир во время чумы! Прошу прощения, наши экспериментальные выводы толкают на это.

— Ну и ну! — возмутился Миша Дедушка. — Доигрались...

— Обождем пировать. Рано, — сказал я.

— Готова ждать сколько угодно. Знать бы — чего?

— Конца расследования, Ирочка. Надо же нам понять, что именно мешает людям творить доброе, нравственное.

— Предположим, пойдем. И что же?

— Вот те раз! — удивился я. — Понять объективный закон — не значит ли им пользоваться? Не закон ли всемирного тяготения указал нам, как его преодолеть, вырваться из объятий планеты?

И Миша облегченно хохотнул:

— Точно! Закон что телеграфный столб — перепрыгнуть нельзя, а обойти можно.

— Гм... — Ирина украсила пепельницу новым окурком. — Что ж, подождем. Чумной пир на время откладывается.

Толя Зыбков усиленно заворочался, заскрипел креслицем, обратил ко мне свое круглое обиженное красное лицо.

— Ладно, Георгий Петрович, кто старое помянет, тому

глаз вон. Буду с вами до конца... пока не упрямся в глухую стенку.

— В стенку, Толя?.. В глухую?.. Или ты забыл, что таковой не существует в природе? Вспомни-ка: «Самое непостижимое в этом мире то, что он постижим».

Толя смутился. Автор этих слов Альберт Эйнштейн свят даже для суперменов в джинсах.

5

К селу Яровому, где прошло мое детство и не успела пачаться моя юность, подступали запущенные — с вырубками, болотами, мокрыми пожнями — леса. Зимой они были густо истоптаны зайцами, и подростки, мои приятели, промышляли ими. Не ружьями, ружей не было, да и кто на зайца тратит дробь и порох? Из балалаечной струны, а то и просто из топкой проволоки делались петли и развешивались по лесу на заячьих тропах.

Уже в начале зимы 1941 года у нас дома было голодно, не хватало хлеба, берегли скудные запасы картошки, а сестренке исполнялось двенадцать лет, хотелось устроить ей маленький праздник. Я решил добыть зайца. И хоть этим заниматься мне как-то не приходилось, но теоретически я знал все до тонкости: петли сделал из струны, ставил их в выветренных (то есть полежавших на улице, не пахнувших человеческим жильем) рукавицах, и места выбрал ходовые, и подвесил надежно, чтоб если даже вскочит матерый самец, то уж, шалишь, не сорвется.

Прилежному — награда. Черным утром, когда снега лишь начинают натужно синеть, а в небе все еще утомленно помаргивают звезды, я спешил по немотному, околелому лесу к своим наставникам. И где-то на подходе к ним из мрака, из глубины смерзшегося лесного молчания раздался взрывчатый треск, словно незыблемая чащоба тронулась от толчка, начала валиться. Есть!!

Нас еще разделяла плотная толща величественных, как заснеженные горы, елей, но я уже улавливал на слух — он не похож на обычного зайца, это не робкое, а яростное существо. И набатно колотилось в груди сердце, и безумное нетерпение хищника несло меня сквозь обвалы снега, колючую хвою, жесткие ветки — к жертве, к нему! А он метался впереди в эпилептическом ужасе передо мной.

Мутная просинь, прокравшаяся сквозь чащу, и среди многоэтажной, фантастической заснеженности подпрыги-

вала, дергалась голая елочка, словно пыталась выдрать корни из смерзшейся земли и бежать от меня опрометью. А рядом с ней вихрящийся сгусток... Да, сгусток серого предрассветного воздуха в пасквось промороженном лесу.

Наверное, это был именно тот, о каком я и мечтал, — матерый самец. Но разглядеть его я не мог, видел лишь тугое движение — бестелесная сила, мятущаяся страсть, неистовость.

Я стоял, увязнув в глубоком снегу, не смел дышать, колотилось в грудную клетку сердце. Но мало-помалу, как мороз сквозь рукава шубы, стала проникать отрезвляющая мысль: «Он сможет прыгать в петле весь день, даже больше... Бывает, живут и по трое суток. Ты долго собираешься стоять?..»

И продолжал стоять в снегу, не двигался. Мне повезло — попал крупный самец, сильный заяц, у сестренки праздник... Надо его добить, как это делают все. Выломать потяжелей палку и... День рождения сестры завтра. Уж коль затеял, то доведи до конца...

Я выломал ольховый сук, кривой, как рог матерого лоса. Я двинулся на рвущуюся от меня жертву. И уже совсем развиднелось, и мятущийся сгусток обрел плоть. Но даже теперь, отчетливо видный, он мало походил на зайца — не смиренный зверек, а зверь агрессивный, пружинисто-прекрасный. Не зря, оказывается, мне рассказывали — матерые самцы иногда ударом лапы распарывали живот неосторожным охотникам. За свой живот мне можно было не опасаться, до него прежде пришлось бы распороть толстый ватник. Мой кривой ольховый сук не подымался...

Ты жалкая размазня! Кисляй! Даже пойманного зайца взять не можешь! Зачем было тогда ставить петлю! Ну! Бей! Так делают все!.. В голодном доме должен быть праздник..

Я шагнул вперед, вплотную к трепещущей елочке, но мой кривой сук не подымался. И тогда я нагнулся, освободил из-под елочки держалку, переломил ее. В лесу раздался тонкий, как всхлип, звук: то ринувшийся от меня беляк задел концом струны за ветку...

А каких-нибудь восемь месяцев спустя я убил человека. Я и раньше корректировал с НП огонь своей батареи, направлял тяжелые снаряды на окопы противника и радовался, когда над ними вспухали взрывы, знал — там остаются лежать трупы.

Ночью пешая разведка запоролась в траншею противника, ей на помощь подняли две роты, и неожиданно для

себя наши вышибли немца с высоты, продвинулись вперед. А значит, и нам, артиллерийским наблюдателям, надо было искать новый НП.

Пехота еще не начала окапываться, толкались в отбитых траншеях, нас же манила гривка кустов по самому гребню — укрыться можно и обзор хорош. По росной травке я полз с автоматом следом за младшим лейтенантом Горбиной, командиром нашего взвода управления, за мной тащился телефонист с катушкой.

Кусты были не слишком густы и не слишком высоки — Горбина прилег, стал выпрастывать из-под себя бинокль, телефонист приткнулся шагах в пяти, облокотясь на катушку. И тут в стороне из кустов вырвался человек, ринутся вниз по склону — всклокоченная волосья, непривычная глазу зелень мундира. Немец! Автомат сам взметнулся и забился в моих руках. Я не целился, лупил наобум, но удиравший споткнулся, с усилием встал, сделал шаг, упал ничком.

— Похоже, достал, — удивился Горбина и припал к биноклю. — Лежит куманек. Полюбоваться хочешь?

— Дай, — сказал я, чувствуя, как недоумение сменяется хмельком удачи.

В бинокль хорошо были видны густо подбитые блестящими гвоздями подметки немецких сапог, а дальше за короткими голенищами — невнятная смятость солдатской одежды. Ни жалости, ни раскаянья я не испытывал, а гордость — пожалуй.

Не странно ли: не мог убить зайца, в жизни не убивал ни курицы, ни даже мыши, а вот человека — со спокойной совестью, без всякой к нему пенависти в ту минуту...

На этой же высоте через три дня младшему лейтенанту Горбине перебило обе ноги, взводом управления батареи стал командовать я — выслеживал противника, а четыре тяжелых орудия расстреливали его. Два с лишним года война была моей профессией.

Во дворе нашего дома идет небойкое строительство — шумливая торговая база наконец-то отделяется от нас глухой стеной. В окно кухни можно наблюдать, как время от времени к куче кирпича в глубине базы выстраивается цепочка, и слева направо, слева направо — ручеек кирпичей, впадающий в ровный, растущий на глазах штабелек. Для этой несложной операции, должно быть, приглашаются все, кто свободен, — грузчики в синих халатах, жен-

щина из проходной, хромой мужик, хлыщеватый юнец, ремонтник в замасленной спецовке, сам рабочий-каменщик, выводящий стену. И как только выстраивались, как только начиналось — слева направо, слева направо, — все они, разноликие, становились похожи друг на друга. Попал в цепочку — сам себе уже не хозяин. Слева направо — норма твоего поведения.

Каждого из нас окружают люди. И эти люди никогда не бывают хаотичной массой, всегда определенным образом выстроены в некий действующий механизм — локально маленький, временный, как цепочка, перебрасывающая кирпичи, или же необъятно великий, непостижимо сложный, который мы привыкли называть словом «общество».

Люди не способны жить неупорядоченно. Никто не посмеет сказать про себя: я независим, сам себе полный хозяин, что хочу, то и ворочу. И меньше всего имели право на это царствующие особы, они являлись наиболее важной частью сложившихся механизмов, а потому свое личное «хочу» должны были обуздывать больше других. Не сам себе, а принадлежность системы! Механизм крутится соответственно своему устройству — крутись вместе с ним и ты, в рабочей цепочке поворачивайся слева направо, находясь в обществе, участвуй в общественных функциях.

В юности я стал мельчайшей молекулой грандиознейшей гиперобщественной системы — второй мировой войны. По своей природе я никак не был убийцей, ни по природе, ни по воспитанию, пушкинское «и милость к падшим призывал» всегда отзывалось во мне. Но вопреки себе я был вынужден убивать и делал это без содрогания, без каких-либо угрызений совести. Даже гуманнейший из людей — Пушкин, оказавшись на моем месте, поступал бы так же.

Цепочка перекидывающих кирпичи за окном — слева направо, слева направо... Делают нехитрое полезное дело. Тревожит душу тривиальная мысль...

Если стихийные людские системы способны заставить гуманнейшего убивать, сострадательного совершать жестокости, честного кривить душой, то должно быть принципиально возможно и обратное — некие общественные механизмы, принуждающие жестокосердного проявлять сострадание, эгоиста — творить великодушные поступки. Слева направо, слева направо — против настроенного движения пе поперешь. Вся суть в том, куда направить движение механизма.

Из века в век эпизодически предлагались проекты идеальных общественных устройств, при которых должны

отсутствовать насилие и вельможное тунеядство, побуждения для зависти и корыстолюбия, необузданная роскошь и унижительная нищета. Платон, Ян Гус, Томас Мор, Кампанелла — сколько таких благородных проектировщиков прошло по земле, не все получили широкую огласку. Скорей всего и у апостола Павла существовал свой проект, основанный на принципе «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

И ни один не принят жизнью. Отвергнуты все.

Почему?

Возьмем едва ли не самый известный из таких проектов, взглянемся в него и представим, что произошло бы, если б он был осуществлен...

СКАЗАНИЕ ПЯТОЕ

Прощание с градом Оссиянным

На улице Сент-Оноре экипажи уже обдавали прохожих летней пылью, но за стеной монастыря деревья хранили еще майскую праздничность листвы, кругом лежала влажная тень, было прохладно, было тихо. Из распахнутых дверей хмурого гостиничного дома доносились вкрадчивые звуки лютни. Монахи, бесплотные, как тени, поспешно проплывали, оглядываясь на гостиничные двери, осеняли себя крестом, исчезали...

В своей келье умирал фра Томмазо.

Этот оплывший старик с иссиня-темным, иссеченным лицом, сатанинскими провально черными глазами, с трудом носивший себя, всегда пугал братию. Две самые могущественные силы в мире — испанская монархия и святая служба — держали его за толстыми стенами и тяжелыми запорами, страшно подумать, тридцать три года! И все это долгое время он боролся с ними в одиночку. И победил — сквозь стены и замки вырвался на волю, околдовал самого папу Урбана, наконец, появился в Париже.

Первый министр Ришелье обласкал его, сам король милостиво назначил ему пенсию. В благодарность фра Томмазо пообещал королю, чего тот больше всего желал и уже отчаялся получить — наследника. Случилось чудо: Анна Австрийская, остававшаяся бездетной все двадцать два года замужества, в прошлом году разродилась мальчиком. Фра Томмазо по расположению звезд предсказал — новый Людовик будет царствовать долго и счастливо.

Монастырская братия сторонилась страшного старика, шепталась по углам о его нечеловеческой сущности.

Сейчас он умирал под нежную светскую музыку, не под святые песнопения. И он загодя знал день своей смерти — 1 июня. В тот день, обещал он, закроется солнце, мрак окутает землю... Ждать недолго, еще двенадцать суток, но уж очень плох, едва ли дотянет...

Он весь раздулся, лицо пошло зелеными пятнами, не мог шевелиться, натужно дышал, но мысль по-прежнему была ясной.

К близости смерти он привык, она постоянно сторожила его и совсем вплотную подходила уже тридцать восемь лет назад, много дней и почей дежурила над его соломенным матрацем в камере Кастель Нуово. Святая инквизиция применяла в своих застенках множество пыток — от простой дыбы, выворачивающей суставы, до избительного станка полледро — жеребенка. Но самой страшной была знаменитая велья — человека в течение сорока часов постепенно насаживали на заостренный кол, который медленно входил в тело, рвал внутренности. Фра Томмазо просидел на острие кола тридцать четыре часа — день, почь, еще день — и... выдержал. Не выдержали палачи — сдались.

Он потерял много крови, началось воспаление, жар, тюремный хирург Шипионе Камарделла ждал гангрены — тогда уж спасения нет. Фра Томмазо захлестнула тревога — умрет, не сказав главного... О городе, который ему открылся, о городе, никому не ведомом, где нет несчастных, счастливы все! Не успел поведать исстрадавшимся, изуверившимся людям — даже смерть не искупит такую оплошность.

В полубреду, не смеющий шевельнуться, чтоб не потревожить разорванные внутренности, он в очередной раз шел к своему заветному городу. Он издалека видел его белые, одна над другой возвышающиеся стены, плавящийся на солнце купол — двойной, большой венчается малым. А перед городом зеленые поля и цветущие сады, в них с песнями работает народ в одинаковой одежде, с одинаковыми веселыми лицами. Население города работает все, только старость и болезнь освобождают от труда. И здесь нет ни своих полей, ни чужих — общие...

Окованные железом городские ворота подняты — входит каждый, кто песет в себе добрые чувства. Они опуска-

ются только перед врагом, и тогда — семь стен, одна выше другой, неприступны.

Внутри эти стены расписаны превосходной живописью — геометрические фигуры и карты разных земель, алфавиты стран и виды деревьев, трав, животных, минералов, портреты великих людей и орудия труда... Вдоль красочных стен ходят группами дети в сопровождении ученых старцев. Весь город, школа, дети, глядя па стены, играючи постигают науки. Невежественных в городе нет.

По мраморным лестницам, по крытым галереям, пересекая улицы, гость подымается к широкой центральной площади, к величественному круглому храму. Внутри он просторен и прохладен, освещен светом, падающим из отверстия купола. В алтаре два глобуса — Неба и Земли. И семь золотых лампад, знаменующих собой семь планет, освещают плитчатый пол редкостного камня.

Гостя выходят встречать правители города. Впереди старший, он же высший священник, — Сол, то есть Солнце. За ним три его помощника — Поп, Син и Мор, или иначе Мощь, Мудрость и Любовь.

— Приветствуем того, кто узрел нас сквозь тщету и жестокость суетной жизни!

Сол не завоевал себе свое высокое место, не получил его по наследству. Избран народом?.. Да нет, не совсем... Звание Сола может получить лишь тот, кто окажется настолько учен, что будет знать все. Он сам собой должен выделиться среди прочих своей непомерной мудростью. «Пусть он даже будет совершенно неопытен в деле управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном именно потому, что столь мудр», — считают граждане города.

Три его соправителя необязательно всеведущи, а осведомлены лишь в тех науках, какие им помогают управлять назначенными делами. Мощь — воинскими, защитой города. Мудрость — обучением. Любовь наблюдает за деторождением. В счастливом городе все общее — и жены тоже. Какому мужчине с какой женщиной сходиться, у них не решается по желанию, это вопрос государственной важности. Здесь издеваются над тем, что в других странах, забывая усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегают породой человеческой. «Женщины статные и красивые соединяются только со статными и крепкими мужами; полные же — с худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с пользою уравновешивали друг друга».

Изуродованный пыткой, валяясь в душном каземате на грязном, жестком матраце, Томмазо Кампанелла, ученый монах-доминиканец, уличаемый в ереси и бунте, на грани бреда и сознания пребывал в счастливом Городе Солнца, вел тихую беседу под прохладными сводами храма о любви и всеобщем благе с мудрыми правителями.

И одновременно он страдал — нет, не от мучений плоти, а от жестоких мук совести: не успел никому поведать! Люди должны знать, как выглядит их всеобщее счастье, они должны разрушить свои греховные грады и построить грады новые.

Страдания совести и несокрушимое здоровье тогда победили смерть — гангрены не случилось. Он заставил свои затекшие, изувеченные руки держать перо, пользуясь тем, что за больным не слишком строго следили, описал свой Город Солнца. Подвиг, едва ли еще повторенный в истории.

А сейчас, изгнанный с родины, переживший застенки, выпесший пытки, вопреки всему переваливший за седьмой десяток, фра Томмазо знал: на этот раз уже не выживет, — сам себе назначил день, в который его смерть, как высчитал он, ознаменуется солнечным затмением. Его первый ученик Филиппо Борелли, сын испанского тюремного солдата, родившийся в той самой проклятой Кастиль Нуово, где долго страдал Кампанелла, нанял на последние деньги музыкантов, чтоб учителю было не столь тяжело умирать.

Нежно цела лютня, и с хрипом дышал фра Томмазо. Этот неистовый человек, удивлявший всех умом, трезвым расчетом, хитростью, сатанинской изворотливостью, благодаря чему победивший испанский суд, Святую инквизицию, недоверчивого, отнюдь не глупого папу, был просто-душно наивен, когда возникали надежды.

В последнее время он горячо верил... в младенца. В того, что лежал сейчас в роскошных покоях королевского дворца, окруженный в своей колыбели вельможными няньками, охраняемый brave королевскими мушкетерами. Томмазо Кампанелла надеялся — этот будущий правитель Франции непременно вспомнит, что он, фра Томмазо, предсказал по звездам и его появление на свет, и его удачливое долгое правление. Вспомнит предсказателя — и прочтет его «Город Солнца» и возжаждет построить свое государство по вымечтанному образцу. Да будет счастлива Франция, если ему, Кампанелле, не удалось сделать счастливой свою родину!

Удивительно, но почти все сбывалось по его предсказаниям. Высокородный младенец не успевает подрасти и в самом нежном возрасте становится королем Людовиком XIV. Его правление оказывается редкостно долгим и счастливым тоже. Для него, Людовика XIV, счастливым, ни для кого боле. И не сбывается только самое главное — счастливейший монарх ни разу не вспомнил об опальном провидце-монахе, книг его никогда не читал и всю жизнь поступал вопреки тому, что советовал Кампапелла. Ему приписывают спесивую фразу: «Государство — это я!» И словно в насмешку над автором «Города Солнца» придворные льстецы величают спесивого владыку: «Король Солнце». История щедра на издевки.

Нежно пела лютия, и хрипло дышал ффра Томмазо. Даже верный Филиппо Борелли не догадывался, что его задыхающийся учитель отправился сейчас в свое последнее путешествие, в исхоженный, знакомый, более родной, чем родина, более дорогой, чем собственная мученическая и героическая жизнь, Город Солнца.

Снова он видит среди спеченной равнины под глубоким небом зеленый холм, семистепный белоснежный город на нем, венчаемый двойным храмовым куполом. Он спешит к нему, спешит, так как времени осталось в обрез — намеченный путь может оборваться в любую секунду.

Знакомый путь в счастливый город — через тучные поля, через цветущие сады, через красочное обилие и улыбки работающего народа. Но нынче почему-то пусто кругом, никто не встречает его улыбками. И поля вытоптаны и заброшены, сплошь в лебеде, и сады не цветут, не плодоносят, затянуты колючим кустарником, торчат в стороны засохшие ветви.

Мост ведет к городским воротам. Ворота подняты, но никто не входит и не выходит из них. Печально звучат на мосту шаги одинокого гостя.

За воротами стража, раньше ее не было. У солдат дикой шерстью заросшие лица, сквозь шерсть видно: чему-то дивятся, словно не человека видят, привидение.

— Кто таков?

— Я Кампапелла. Тот самый, кто издаেকে прозрел этот город.

Переглянулись, хмыкнули:

— Кой бес тебя гонит к нам?

— Пришел проститься... В последний раз.

— Раз пришел — иди, а проститься — шалишь! Пускать сюда дозволено, а выйти — нет.

И толкнули в спину, чтоб не вздумал, чего доброго, попытаться.

Не успел даже оскорбиться, как бросилось в глаза... Казалось бы, пустое, не стоит внимания — просто трава густо пробилась сквозь камень на мостовой. Но такое, знал Кампанелла, бывает, когда по городу проходит чума или моровая язва!

Пришибленный, растерянный стоял он посреди заросшей пустынной мостовой и озирался. Взгляд упал на городскую стену, и фра Томмазо вздрогнул... На стене знакомая ученая роспись — геометрические фигуры — облезла и потрескалась. А поперек нее — истлевший повешенный, лицо черно и безглазо, рваное тряпье не прикрывает темное мясо, и тянет смрадным запахом. Вверху же на выступающей балке, к которой привязана веревка, сидит важный ворон, лениво косит агатовым глазом на пришельца — сыт, мрачная бестия, перо жирно лоснится.

Никогда и ни перед чем не отступал Томмазо Кампанелла, и сейчас он двинулся в глубь города: не все же в нем повымерли, кто-то наверняка остался, встречу — распрошу о беде...

И верно: на пустых улицах раза три промаячили люди в черном (а прежде считалось — «черный цвет ненавистен солариям»), они жались к стенам домов, исчезали при приближении, словно проваливались сквозь землю.

За четвертой стеной на мраморной лестнице он увидел нищих. Нищие в Городе Солнца!

Во всем мире эти людские изгои схожи друг с другом — нечистые рубища, уродливые лица, выставленные напоказ гнойные язвы, култышки ног, скрюченные руки, протянутые за подаяннием, гнусавые голоса. Нищие в Городе Солнца!..

Кампанелла знал: таким терять нечего, они только прикидываются робкими и забитыми, на самом деле — самый дерзкий народ. И действительно, нищие не отказались говорить с ним.

— Откуда ты взял, пришелец, что в нашем благословенном городе стряслась беда? — просипел один с красными вывернутыми веками и белыми, как отсыятое молоко, глазами. — Мы радуемся жизни, славим бога за это. Разве ты не видишь?

— Я видел, как ты протягиваешь ко мне за подаяннием руку.

— Выполняю приказ наших мудрейших из мудрых правителей счастливого города.

— Они приказали тебе просить милостыню?

— Они приказали мне радоваться. А чтоб радоваться жизни, я должен есть. Порадуй меня из своего кошелька, иначе доложу, что ты помешал мне исполнить приказ.

— И все радуются так, как ты?

— Все. Нерадостных в нашем городе нет.

— И все по приказу?

— А разве можно делать что-либо без приказа?

Горбун с утопленной в плечах пыльной, печесаной головой хихикнул:

— Ясноглазый ошибся, в нашем городе нерадостные есть.

По нищей братии прошло шевеление. Ясноглазый смигнул воспаленными веками, сердито сказал:

— Ты всегда плохо шутишь, Прямая Спина.

— Хи-хи! Они есть, они висят по стенам, украшают наш город. Мы глядим на них и еще больше радуемся. Или это неправда, Ясноглазик?

— Но прежде вы радовались без приказа,— напомнил Кампанелла.

— Никогда этого не было! Ты лжешь, странник!

— Я знаю. У вас что-то случилось. Что-то страшное. Прошла чума? Власть захватил тиран? Что?..

И Ясноглазый закрутился, визгливо закричал:

— Вы слышали?! Вы слышали?.. Это сказал не я! Это сказал он! Вы все это подтвердите!

А Прямая Спина довольно хихикнул:

— Мы слышали, Ясноглазик, все хорошо слышали, к чему ты вел разговор с чужеземцем. Тебе хотелось, чтобы он сказал то, чего тебе не дозволено. Висеть тебе, Ясноглазый, на стене. Хи-хи! И тебе, чужеземец, тоже.

Кампанелла презрительно бросил:

— Что мне может грозить в моем городе? Я разузнаю, что с вами стряслось, и верну все как было. Вы снова станете радоваться не по приказу.

Переступая через костыли, через целые и обрубленные ноги, он двинулся вверх по лестнице. А вслед ему хихикал горбун:

— Не успеешь! Хи-хи!.. Не успеешь! Ясноглазик обернется быстрее тебя.

Каким образом обернется Ясноглазик, Кампанелле, в общем-то, было ясно. Он сам в свое время определил, что все увечные в счастливом Городе Солнца не должны без-

дельничать, никакой телесный недостаток по повод для праздности. «Ежели,— убеждал он,— кто-нибудь владеет всего одним каким-нибудь членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит». Здесь все с телесными недостатками — безногие, безрукие, слепые, горбатые,— должно быть, все пристроились доносчиками: работа не тяжелая, был бы только спрос на нее. А спрос, похоже, есть, и большой, если государство вешает своих граждан за нерадостное настроение.

Кампанелла спешил к храму, чтобы встретиться с правителями.

У входа на Храмовую площадь его ждали солдаты с мундекетами и алебардами, капитан в начищенной кирасе восседал на копе.

— Взять!

— Я Томмазо Кампанелла — создатель нашего города!

— Тебя-то пам и падо!

Подвал, куда повели его, был, должно быть, столь же глубок, как знаменитая «Крокодилья яма» в Кастель Нуово, витой каменной лестнице не было конца.

С силой втокнули в низкую дверь, в затхлый мрак.

— Вались! Встретишь старого знакомого...

Он упал на скользкий каменный пол.

В темноте зашуршала солома и раздался то ли всхлип, то ли смешок. Кампанелла сел.

— Кто ты, друг? — спросил он.

Смешок в ответ. Теперь уже явственно — не всхлип.

— Я Кампанелла. Я породил этот город, а меня схватили в нем как врага.

Снова торжествующий тихий смех и шуршание соломы.

— Ах да,— рассердился Кампанелла,— здесь теперь радуются по приказу. Тебе-то что за нужда, несчастный, в этой яме исполнять подлейший приказ?

Придушенный ликующий голос:

— Не по приказу веселюсь — от души.

— Тогда уж совсем гнусно — жертва зла радуется злу.

— Справедливости радуюсь, Кампанелла. Справедливости! Она свершилась!

— Впервые слышу, чтоб тюремщики совершали справедливость.

— Бог не очень разборчив, Кампанелла. Он творит свое руками и тюремщиков и героев.

Спрессованная подземная темнота, за толщей земли не слышно мира, слышно дыхание собрата по несчастью и недоброжелателя.

— Кто ты, чудовище? — спросил Кампанелла. — Жаль, что не могу видеть тебя.

— Действительно жаль... Я не чудовище, я жалок, Кампанелла, — лысый череп, свалывшаяся борода, беззубый рот, лохмотья не прикрывают уже тот скелет, который все еще приходится считать своим телом. И у меня переломаны обе ноги... Жаль, что не можешь увидеть, ты бы сравнил с тем, каким я был.

— Значит, верпо... Ты мой старый знакомый?!

Смешок, смахивающий на всхлип:

— Я — Сол, верховный правитель Города Солнца. Сейчас я счастлив — создатель вместе со мной. Ты чувствуешь, как на нас давит наш город? Мы на дне его.

Спрессованный мрак, спрессованная тишина, где-то далеко над ними гора камня в виде вознесенной к небу башни. Погребены под тем, что усердно создавали.

— Сол... — срывающийся тихий голос. — Что?... Чума? Злобный враг?.. Какое несчастье?

— Заблуждения порой страшней чумы, создатель.

— Ты совершил роковую ошибку, мудрый Сол?

— Ха-ха! Я?.. Нет, почтенный фра Томмазо, ошибался ты.

— В чем?

Торжествующий ответ:

— Грешил простотой!

— Разве это такой уж большой грех, Сол?

— Простота хуже воровства, хуже разбоя. Простота — недомыслие, Кампанелла. Если недомыслие начинает руководить людьми, то люди становятся сами себе врагами.

И Кампанелла рассердился:

— Хватит словоблудствовать, Сол!

— Что ж... — Сол замолчал.

Тишина каменного склепа. Она столь монолитна, что кажется: время бессильно пробиться сквозь нее, останавливается где-то рядом. Ничто уже не может продвинуться вперед, все застывает, и умолкнувший голос никогда не возобновится, жди, жди его до скопчения — не дождешься. Но Кампанелла не проявил нетерпеливости, не подхлестнул невидимого собеседника. За тридцать три года в темницах он научился терпению.

И Сол заговорил из темноты:

— «Все, в чем они нуждаются, они получают от об-

щины...» Твои слова, Томмазо, о нас. Ты предлагал именно так и жить: сообща работать, складывать все в один общий котел, из него сообща черпать.

— Разве это не верно, Сол?

— «Все, в чем они нуждаются...» И-да-а... А в чем?.. Скажи про себя: что тебе нужно для жизни?

— Я никогда не желал иметь многого — хлеб, вино, свечи для работы по вечерам, бумага, чтоб писать, ну и самая скромная одежда, чтоб прикрыть наготу.

— И книги...

— И книги, конечно.

— И у тебя еще собрана небольшая коллекция старинных монет. Ты о ней почему-то не упомянул. Так ли уж она необходима для жизни?

— Единственное, чем я тешил себя в часы отдыха.

— И тебя в последнее время не носят больные ноги. Хотел бы ты иметь экипаж? Как бы, наверное, он облегчил твою жизнь...

Кампанелла промолчал.

— Вот видишь, — тихо продолжал Сол, — даже ты про себя не скажешь точно, что тебе нужно, где твой рубеж желаний. А почему другие должны себя ограничивать? Наверное, лишь мертвый перестает желать себе большего.

— На этот счет, если помнишь, я говорил: «И должностные лица тщательно следят, чтобы никто не получал больше, чем следует».

— Кому сколько следует?.. Как это определить?

Кампанелла решительно ответил:

— Только уравнив аппетиты, Сол. До необходимого! Простая, здоровая пища, добротная, но не роскошная одежда, крыша над головой...

— Мы так и поступили, Томмазо. Установили давать всем только самое необходимое. Конечно, уж никаких ценных коллекций иметь не полагалось...

— Это справедливо, Сол.

— Нет, Томмазо, это оказалось ужасной несправедливостью. С нее-то и началась та чума, которая погубила город.

И Кампанелла тяжело колыхнулся в темноте.

— Не верю, Сол! Какая же несправедливость, когда все у всех одинаково, нет повода кому-то завидовать, на что-то обижаться.

— Увы, повод есть — и серьезный.

— Только у ненасытно жадных, Сол, у отпетых негодяев!

— Наоборот, Томмазо, у самых достойных граждан, у тех, кто способен лучше других, самоотверженнее других трудиться.

— Ты смеешься надо мной, Сол!

— До смеха ли мне, когда сижу здесь. Вдумайся, Томмазо: способный труженик, не жалеющий себя на работе, дает общине много, а рядом с ним другой по неумелости или по лени еле-еле пошевеливается, от него мало пользы. Но получали-то они одинаково необходимое — пищу, одежду, крышу над головой. Поставь себя на место добросовестного гражданина, надрывающегося на работе. Как ему не задуматься: я добываю, а за мой счет живет бездельник. И справедливо ли это, Томмазо?

Томмазо озадаченно промолчал.

— И вот наши лучшие труженики перестали надрываться, начали подравниваться под тех, кто работал из рук вон плохо. День за днем незаметно падало уважение к труду. Наши поля и виноградники стали дурно обрабатываться, мы все меньше и меньше получали хлеба и вина, наши стада хирели, наши ткацкие мастерские выпускали недобротную ткань, и ее не хватало на одежду. В наш город пришла нищета. Мы уже не могли ни накормить людей, ни одеть, ни отремонтировать их жилища. Город превратился в сборище бездельников.

Кампанелла взорвался:

— Нерадивых следовало бы наказывать, а усердных поощрять! Должны же вовремя сообразить.

— Ты наивен, Томмазо Кампанелла. Тебе все кажется простым и легким, — бесстрастно возразил из темноты Сол. — Подскажи: как отличить нерадивого от усердного? Кто это должен делать? Надсмотрщик с илетью? Пусть он следит и подгоняет? Пусть он распределяет, кому за работу пожирней кусок, а кому наказание? Чем тогда этот надсмотрщик лучше хозяина? Можно ли после этого говорить: у нас все общее?

— Надо было сделать так, чтоб каждый следил за своим товарищем, сообщал выбранному лицу, сколько его сосед сделал. Сделал мало — хлеб и вода, не слишком много — не слишком хороший обед, много — ешь досыта. Проще простого!

— Очень просто, Томмазо. И мы тоже, как и ты, клюнули на эту простоту... Следи за своим товарищем по работе! Доноси на него! Я уж не говорю, что все стали работать плохо, — на каждого можно было донести, испортить ему существование. Но теперь еще для каждого

гражданина Города Солнца товарищ по труду становился врагом, которого надо уличить раньше, чем он уличит тебя. Спеши обогнать, иначе обогнет он, постарайся запугать, не то сам станешь жить в страхе перед ним. Мы превратили наш город в кипящую ненавистью клоаку, по не получили взамен ничего. Из того, что нам доносили, нельзя было понять, где наглая и бесстыдная ложь, а где правда, где злостные наветы, а где возмущение честного труженика. Лгали чаще на тех, кто старательно работал, своим трудом мог подвести бездельников, а потому нам чаще приходилось наказывать достойнейших людей. Мы добились, что их совсем не стало. Ужасающая нищета, ненависть и ложь!.. Чума набирала силу, благородный Томмазо. И виной тому был слишком простой взгляд на жизнь.

Сол умолк. Вновь спрессованная подземная тишина. Кампанелла сквозь толщу земли ощущал тяжесть раскинувшегося наверху города, где на мостовых растет трава, а по расписанным стенам висят казненные.

Шуршание соломы, вздох со стороны Сола.

— Ну так вот... — его тихий голос.

И Кампанелла закричал:

— Хватит! Не хочу! Еще слово — и я придушу тебя!

— Меня, мудрый Томмазо? Почему не себя?

Крик Кампанеллы захлебнулся, он застонал:

— Прокляни, разбей мне голову, но не рассказывай, не рассказывай больше!

— Ого! Железный Кампанелла сдал. Правда, выходит, страшной вельи...

— Умоляю, Сол...

— Нет, Томмазо, не жди от меня пощады. Ты должен знать все до конца... Так вот — нищета, ненависть, ложь и впереди никакой надежды, что все это когда-то кончится. Кого не охватит ужас перед будущим, кому захочется дальше жить! А если ужас станет расти... Он рос, Томмазо, он грозно рос! И надо было любым путем прекратить его... Мы не в силах изменить жизнь, но мы научились принуждать. Приказ вызрел сам собой: те граждане, которые поддаются ложному ужасу, а не радуются цветущей жизни, совершают самое тяжкое преступление и подлежат смертной казни через повешенье. Не я придумал этот приказ, но я... Да, Томмазо, как верховный правитель города я обязан был его подписать... Ты слышишь меня?

Ответа не последовало.

— Я подписал его. Ты слышишь?.. Что ж ты не возмущаешься? Что ж не обливаешь меня презрением?

Молчание.

— Подписал потому, что ничего не мог предложить другого. Подписал, но заставить себя радоваться не мог — сверх моих сил. И я молчал... Всех таких молчащих, не восторгающихся, не смеющихся шумно при народе хватали и вешали. А тут молчащий верховный правитель. Ему следовало бы выступать с жизнерадостными речами, призывать к бодрости и всеобщему веселью, а он... он молчит. Сам понимаешь, такого правителя должны убрать...

Кампанелла безмолвствовал. Сол вздохнул.

— Меня не повесили на стене. Нет, не из жалости, не из уважения, не за прошлые заслуги. Просто это могло вызвать у граждан самое удручающее настроение. Висящий на стене верховный правитель... Меня бросили сюда, в самый глубокий подвал города...

Кампанелла не отзывался.

— А твоего прихода мы ждали, Кампанелла. Ждали и боялись. Кто знает, что еще ты натворишь, увидя нашу жизнь. Мы-то живем по твоему слову, старательно выполняем все, что ты сказал, но теперь ты нам страшен, учитель. Ты можешь объявить, что это не твое, что надо начинать все сначала, все сызнова. Переживать еще раз снова то, что было!.. Нет! Нет! Будь что будет, но только не прежнее. Потому-то наши молодцы и поспешили затолкать тебя в этот склеп... Ты слышишь меня?.. Ты жив, Кампанелла?..

Тишина.

Смерть наступила в четыре часа утра 21 мая 1639 года. Над Парижем разливалась застенчивая заря, башня монастыря на улице Сент-Оноре робко румянилась.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

На моем столе Мыслитель из неолита и стопкой тяжелые тома Маркса и Энгельса. Под бесстрастное молчание Мыслителя ищу ответы.

Маркс говорит: «Способ производства материальной

жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще». Я без удивления принял знаменитое высказывание еще за школьной партой.

Сейчас запоздало удивился прозрению. Многоликая, путаная жизнь человеческая, собственно, есть не прекращающаяся деятельность — сугубо личная и внутрисемейная, групповая и сословная, народная и международная. Великое разнообразие деятельности учету не поддается, но существует самая главная, основополагающая, в равной степени присущая и отдельным лицам и общественным объединениям, — деятельность трудовая. Она источник нашего бытия, она кинетическая основа нашего развития, от того, как мы станем трудиться, так будем и жить, обуславливает, утверждает Маркс и добавляет: «Вся... *история* есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом...»

«Кто этого не знает...» Любая истина, коль она признана и общедоступна, становится банальной, в нее уж нет необходимости вникать, стараются не упоминать о ней лишний раз, досадливо отмахиваются от нее как от назойливой очевидности и в конце концов тихо предают забвению. Многие ли нынешние апологеты нравственности связывают падение нравов со спецификой труда в наш папористый век научно-технической революции? Обуславливает? Да нет, забыли о том.

Павел, Кампанелла и иже с ними, кого мы называем утопистами, считали: надо заставить трудиться всех — кто не работает, тот не ест! — и тогда справедливость торжествует, правы обогородятся. Какая наивность! — говорим теперь мы со вздохом и красноречиво умолкаем, считая, что этим все сказано.

А вот Маркс и Энгельс на наивность, на личное человеческое недомыслие утопичность проектов таких мыслителей, как Кампанелла и иже с ним, не списывали. Они утверждали: «Значение критически-утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию».

Сколько прошло по земле людей глубочайшего ума, проразительной проницательности, но как только они предлагали конкретно-наглядные картины идеального общества, так оказывалось — историческое развитие не совмещается с ними. И не случайно сам Маркс идилических картин будущего не рисовал. Открывать политические формы этого будущего Маркс не брался, — отмечал в свое время Ленин.

Чтоб разобраться, почему попытки наглядно представить социально справедливое общество оказались «в обратном отношении к историческому развитию», наверно, следует обратиться все к тому же, что «обуславливает все процессы жизни вообще», — к меняющемуся характеру труда, который образует человека.

Труд немыслим без вложения сил... Мыслитель каменного века торчит перед моими глазами. К его времени человек приобрел уже немалые силы. Приобрел, а не получил — мускулы его не стали крепче, рост выше, плечи шире, зубы острее. Когда-то дикий бык с его природной мощью был для него устрашающ, но вооружился копьем с каменным наконечником и стал сокрушать быка, добывая мясо для себя и детей. Когда-то человек не способен был свалить дерево, но соорудил каменный топор, и деревья стали валиться к его ногам. Создавались силы, небывалые досель в природе, где живое совмещалось с вещью, одухотворенное с неодухотворенным. Эти новоявленные силы получили название производительных, они росли из поколения в поколение, из века в век.

Они росли, непосильное прежде становилось посильным, человек получал все больше и больше необходимых продуктов. Казалось бы, рано или поздно должно наступить изобилие, а вместе с ним и благоденствие — умеренно трудись, пребывая в полном достатке. Рано или поздно — неуклонно растущие производительные силы тому гарантия. И если даже сородичи Мыслителя не особенно бедствовали — даже находил время лепить скульптурки, — то изобилие должно бы давно уже наступить. Но шло тысячелетие за тысячелетием, производительные силы росли и росли, а заветное изобилие — где оно?

Продолжалось ожесточенное насилие над тружеником. Рабочий трудился по 11—14 часов в сутки, получая жалкие гроши: давай, давай, надрывайся, мало, не хватает! Да куда же уходило, в какую прорву?

Считалось и по сей день считается: пожирает выделившийся слой господ-хозяев, им мало, никак не насытятся. Нет, мол, предела жадности человеческой — растут доходы, растут и аппетиты. Я и сам так считал вместе со всеми, а сейчас зреет сомнение...

Если предположить, что прожорливость господ растет пропорционально производительности труда, то XIX век должен бы поражать беспрецедентным изощренным сибаритством, иначе как еще можно переварить небывалые

по обилию доходы — бифштексами не питаюсь, ем только рагу из соловьиных языков. Однако промышленные и финансовые магнаты, как правило, безрассудным сибаритством не отличались. Более того, выделяясь своим богатством, они, как это ни странно, часто нуждались в средствах, прибегали постоянно к кредитам, к помощи мелких акционеров. Для личных нужд?.. Да нет, чтоб вложить в Дело, чтоб получить еще большие доходы, и опять же, не ради траты на личные нужды — для нового, еще более доходного дела. Аппетиты их, да, не знали предела, но назвать их только потребительскими вряд ли можно...

Угловатый Мыслитель подпирал мощными руками маленькую деформированную голову, таил свою замогильно древнюю мысль. Его глиняное бесстрашие несокрушимо. А мне вдруг стало жарко, — я, кажется, понял, в какую именно прорву уходил надсадный человеческий труд.

Великое Божество пожирало его. В каменный век Мыслителя оно было младенчески незрело, вяло, нетребовательно. Да и взять тогда с людей много было нельзя — только научились ковырять землю мотыгой. Прарправнуки Мыслителя запрягли вола в соху. Человек стал обладать большей производительной силой, — так что же, — лучше жил, легче жил?.. Как сказать. Силы-то возросли, но возросли заботы и возросли расходы. Прежде выламывал человек в лесу кривой сук — вот тебе и орудие труда, мотыга, выбирай клочок земли поудобней, добывай себе хлеб насущный, никаких затрат. Теперь же мотыгой себя не прокормишь, удобные земли давно все распаханы, остались такие, которые деревянным суком не возьмешь, обзаводись волом и сохой. А чтоб поднять вола, нужно в течение нескольких лет на него работать, отрывать от себя — сам не съешь, а его накорми. Трудности жизни не уменьшились, а возросли, не каждый-то способен их преодолеть, многие не справлялись, оказывались в самом незавидном положении. Парадокс: причина этих трудностей — развитие производительных сил, которые, казалось бы, наоборот, должны облегчить жизнь, повысить благополучие.

Растут производительные силы, растут, но без употребления не остаются, вместе с ними растет и деятельность человека, открываются новые возможности, возникают новые запросы, а в результате — нехватка сил, нехватка средств, стремление их увеличить. Как только уве-

личение произойдет, все начинается сначала на более высоком уровне, в убыстренном темпе...

Выходит, что во все времена, доисторические и исторические, люди подчинялись одному бескомпромиссному закону — чем выше производительные силы, тем выше темп развития, их пожираящий.

Провозвестница машинной эры — примитивная «джеппи» — уже заменяла усилия шестнадцати — восемнадцати ткачей. В начале XIX столетия машины распространяются по миру, происходит взрывообразный рост производительных сил, и сразу же набирает бешеный темп развитие человечества: лавинообразно множатся заводы и фабрики, буйно поднимаются города, осуществляются небывало грандиозные замыслы, такие, например, как прокладка трансконтинентальных железнодорожных магистралей. Никогда еще не требовалось столь колоссальных вложений. Движимые паром, поражающие воображение современников, машины не способны их покрыть целиком. Недостаточную производительность таких машин приходится компенсировать жестокой эксплуатацией рабочего — не мечтай об отдыхе, вкалывай от зари до зари, за труд на износ получай жалкие гроши. Темп развития требует жертв!

Стоит только пожалеть труженика, сократить убийственно непосильный рабочий день, увеличить заработную плату — и... темп затормозится. Сокращай тогда расходы на расширение производства — не строй новые заводы и фабрики, не выпускай машины в пущем количестве, сократи получение необходимых продуктов, а это значит: обнищание общества, чудовищное усиление безработицы, пауперизм, голод, преступность, в конце концов катастрофический развал. С темпом развития шутки плохи...

«Вся история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом...» Но над трудовым человечеством извечное проклятие — оно обречено кормить никогда не насыщающийся Молох. И чем больше человечество вкладывало сил, тем прожорливей становился Молох. Собственно, люди жили для него, для себя оставляли жалкие крохи, чтоб, надрываясь, могли трудиться и трудиться, иначе движение вперед застынет, жизнь остановится, начнется умирание.

Молох — сверхсущая эманация, не имеет ни лица, ни плоти, его нельзя было уловить несовершенными органами чувств, а потому люди долго не подозревали о его существовании, а значит, и о его фатальной прожорливости.

сти. Божество оставалось вне подозрений. Ненасытность Молоха люди приписывали людям. А господа насильники, сами того не подозревая, были, оказывается, лишь жрецами незримого Молоха, не всегда сноровистыми, весьма часто по-человечески и бестолковыми и несправедливыми. Молох требовал: мало, не утолен! И жрецы свирепствовали. Как тут не подозревать, что жестокая эксплуатация исходит от них. Тем более что они, жрецы Молоха, все-таки пользовались своим привилегированным положением, рвали от жертвенных кусков, общей нужды не разделяли, в общей лямке не надрывались.

Молоху всегда будет не хватать, всегда услужливые жрецы станут выжимать последние соки из труженика, останутся эксплуататоры и эксплуатируемые, останется антагонизм, не иссякнет никогда междоусобное ненавистничество. Нечего и мечтать о нравственных отношениях. Каждого мечтателя ждет участь Кампанеллы. Не хочется жить...

За окном стороной прошумела ранняя машина.

Ночь прошла. Я встал, выключил лампу, отдернул занавеску. Воздух в комнате призрачно дымчат, но вещи уже обретали вещественность, а Мыслитель на столе утратил одухотворенность — сидит растопыркой нечто отдаленно похожее на человека, чуждое пластике творение еще несовершеннолетних рук.

И опять напористая машина как дальний буревой порыв ветра. Кто-то спешил из одного дня в другой. Он перед порогом, очередной день. Он вырос из дня ушедшего. В нем люди будут есть хлеб, испеченный вчера, переживать беду, вчера случившуюся, исполнять надежды, вчера возникшие. А наше вчера выросло из позавчера, позавчера — из третьего дня... И так далее — тянется пуповина в пережитое, ко временам Мыслителя и дальше, дальше...

Прошное сидит в нас, оно наша плоть и наш дух, без него нас нет, мы — концентрат прошлого.

Концентрат всего, что выстрадано нашими предками?.. Мы — вместилище всечеловечьего несчастья?.. Но ведь этого нет! Рабочий теперь работает по восемь часов в сутки, имеет в неделю два выходных дня, не надывается и в нищете не прозябает... Молох подобрел?..

Э-э, нет! Не все сразу. Рождался новый всплеск, но я его решительно подавил — надо лечь и постараться уснуть. Продолжение следует, но уже на свежую голову. Посторожи мой сон, недремлющий друг Мыслитель.

Проснулся я с подмывающим ощущением — впереди у меня что-то значительное, незавершенное, словно вернулся в молодость, в те годы, когда вдохновленная собственными успехами физика с часу на час ждала завершающих триумфов, а я, в числе многих подающих надежды, самонадеянно тешил себя — вдруг да, чем черт не шутит... вдруг да я первым — на заветную тропку, ведущую к святой святых, к легендарному Единому Полю! Физика успокоилась и до сих пор терпеливо ждет, а мы, подававшие надежды, позастревали где-то на обходных путях... Но какие, однако, были волнующие дни! И сегодня день солнечно ярок, и захлебывающийся детский смех доносится со двора...

Правда, день предстоял суетный, в институте накопились дела, которые я беспечно откладывал на потом. Откладывать дальше уже просто непорядочно, меня и так не особенно перегружали обязанностями — присутствовал на ученых советах, на деловых совещаниях, знакомился с работами молодых коллег, изредка опционировал на защитах, если даже и продолжить этот список, то все равно окажется — нахожусь в легкой пристяжке. Надрывные усилия, когда я впрягал себя то в одну нерешенную проблему, то в другую, давно миновали. Новое поколение физиков с ухмылкой оглядывается на меня: чудит профессор Гребин...

Теперь в нашем институте очередное оживление — намечается широковещательный симпозиум, в каких-то отделах дым коромыслом, подбивают бабки, теоретики на этот раз в стороне, но и их не оставляют в покое. Вспомнили и обо мне, наш директор просил сегодня к себе — «конфиденциально, Георгий Петрович, на пару слов».

Солнце ломится в окна, и со двора детский смех... Занятость дня меня не угнетает, напротив — мне нужна разрядка. Окунусь с головой в привычные воды, смою с себя паросшие обязанности и обросту наверняка новыми, хлебну свежей информации, да и встреча с директором весьма любопытна — куда засватает? Директор любит взнуздывать тех лошадок, которые уже не кидаются брать барьеры, они обычно хорошо тянут администраторские постромки. День занят, так отдадимся ему, по вчерашнее незавершенное будет таинственно жить во мне, пропесу, не расплескаю, а уж вечер и ночь мои на пару с терпеливым Мыслителем.

Выбритый, наодеколоненный, в свежей сорочке, при галстуке, я вышел завтракать.

— Доброе утро, Катя. Доброе утро, Сева.

Да, и Сева тут, за столом. Далеко не каждое утро нам удается встретиться — встаем в разное время, в разное время разбегаемся, он оперативнее меня, я из числа «сов», люблю полупочинять. Днем Сева домой залетает редко. И я и мать едва ли не с первых дней поняли — сын не собирается прирастать к нам, сейчас живет в стороне, со временем улетит. Жизнь его явно деятельная, но какие в ней заботы, какие радости и огорчения — от нас скрыто. Он приучил нас не волноваться из-за слишком поздних возвращений, иногда звонил: «Срываюсь с товарищем к нему на дачу, там и заночую в тепле и уюте. Прошу не поднимать паники. Завтра вечером увидимся». А когда-то мы не верили в самостоятельность нашего сына. Норой мне влезала в голову дикая мысль: «Удивимся ли, если вдруг откроется, что Сева замешан в воровстве или бандитизме?» Каждый раз я оскорблялся сам на себя — такое подумать! — но от этого веры в сына не прибавлялось.

Он вырос среди книг и прежде полосами увлекался литературой, доступной для его возраста. Но после возвращения Сева ни разу не протянул руку к полкам. И когда ему читать? Он не оставался наедине с собой — в деятельности, в общении. Право же, надо быть увлеченным человеком, чтоб вести такую непоседливую жизнь. Но никакие науки его не увлекали, никаких особых пристрастий не замечалось, напротив, мою увлеченность историей он считал безобидной слабостью — у папы хобби. И, наверно, на любого, кто к чему-то равнодушен, он смотрел с превосходством — человек со слабинкой, вот я не таков.

Сева охотно (даже очень охотно!) соглашался — мир не идеален, ненадежен, неустроен и вообще, по его выражению, «лажа кругом», но соглашался без беспокойства, без возмущения. С высоты своих умудренных двадцати трех неполных лет он покровительственно охлаждал меня неунывающим советом: «Не фонтанируй, папа. Береги адреналинчик».

И при всем том у него были свои понятия чести и совести. Нельзя оставаться в долгу, если кто-то тебе услужил, старайся побыстрее услужить ему. Но это правило, похоже, не распространялось на женщин, тем можно и не отвечать услугой за услугу, от их попреков можно от-

махнуться, им можно солгать. Одалживаться у родителей он считал для себя унижительным, и хотя поначалу ему приходилось брать у матери на карманные расходы, но делал он это явно со стесненным сердцем, от крайней нужды. Щепетильность, для нас удручающая.

Дикие мысли, вызванные у меня таинственностью Севиной жизни вне дома, были не более как абстрактным допущением — невероятно, но в принципе даже и такое возможно. Однако придирчивые наблюдения чем дальше, тем больше доказывали мне обратное. Скорей всего записному моралисту было бы трудно упрекнуть Севу в безнравственности. Он меньше всего думал о десяти заповедях Моисея, но, кажется, выполнял их с безупречностью пуританина, кроме, быть может, одной — «не пожелай жены ближнего своего». Тут бы я не поручился за безгрешность своего сына.

Для нас оставалось загадкой, что произошло у Севы с той женщиной, которая так и не стала его женой. Все наши расспросы он со свойственной теперь непринужденностью решительно пресекал:

— Мама, папа! Это была глупая ошибка. Я теперь поумнел, мои дорогие родители. Такого больше не повторится. Все! Точка!

Мы смущенно молчали, зато нас осаждали по телефону колоратурные голоса:

— Простите, можно позвать Севу?..

— Его нет дома. Что ему передать?

В ответ раздавались короткие гудки.

Сева — наш семейный сфинкс, неразгаданная загадка. Сейчас он, как и я, собранный на выход, в белоснежной рубашке, при галстукe, сидел за столом, встретил меня благожелательным взглядом.

— Привет, папа. Сегодня мы вместе берем старт.

— Как твои дела, сын?

— Двигаются в заданном направлении.

— Значит, работой доволен?

— Будем считать, что работа больше довольна мной.

Он недавно устроился в телеателье. В армии ему приходилось иметь дело с аппаратурой наблюдения, а потому... «Начинка гражданских ящиков, папа, для меня — семечки».

— А в институт радиоэлектроники по-прежнему не тянет?

— Я уже говорил, что в мой генеральный план это не входит.

— И всю жизнь намереваешься просидеть в телеателье?

Сева скорчил привычную гримасу, неизменно означающую: сколь неизобретательны шаблонные отцовские вопросы.

— Совершив некоторые вариации, папа.

— А именно?

— В шарашкиной конторе, где я бросил якорь, сидят, пригревшись, маленькие бонзы, которые нуждаются в рабсиле. О'кей! Полгода буду на них ишачить, но за это получу клиентуру, стану свободным художником. Года через три моя клиентура разрастется по Москве, принесет мне прочные связи. И тогда... Вот тогда снова вернусь в родную шарагу.

— Зачем? — удивился я.

— Чтоб тоже стать там маленьким бонзой. Маленьким, папа, большим не хочу. Ты же знаешь, у меня скромные запросы.

— Не перестаю удивляться тебе: кто ты — просто ципик или всего лишь мелкий проходимец?

— Ни то, ни другое, папа, — трезвый человек, который хочет иметь приличный шалап в кооперативном доме и «Жигули» цвета «коррида» у подъезда. И учти — ни у кого ничего не вырывая изо рта и никому ничего чтоб не должен. Это, папа, и есть свобода. Иной не представляю.

И в который раз снова вырвался один из вечных, самых неизобретательных моих вопросов:

— Так кто же все-таки научил тебя этой мудрости, сын?!

Знал, что парвусь, — на столь привычный замах у сына существует отработанный хук.

— Ты, папа. Твой личный пример. — У Севы под чистым лбом опасно ласковый блеск светлых глаз.

Катя, возившаяся у плиты, резко обернулась, шагнула к столу, решительно села — готова защищать меня от сына.

Сева подобрался, но не смутился, начал решительно:

— Человек как гора, вблизи его не разглядишь, надо уехать подальше, чтоб всего как есть увидеть. Я почти три года вглядывался в тебя, папа, издалека... Понял, какой ты умный, не сравнить с другими, каких встречал. Но ты, папа, беспомощнее самых глупых. Дураки вовсе не беспомощны, они не мудрствуют, они действуют. Что, например, стоит дурному отцу справиться с непослушным

сыном — выпорот раз, выпорот два, сын станет таким, как надо. А вот вы с мамой меня изменить не сумели. Побились-побились да отступили — пусть идет в армию, авось там изменят... Другие люди, не такие умные, никак не профессора... И что ж, можно считать, у них получилось — изменился, как видите. Только, папа, пожалуйста, не обижайся, от твоего неумения я любить тебя меньше не стал, даже теперь больше люблю...

— Не извиняйся,— сказал я.— Спасибо за то, что наконец-то заговорил откровенно.

— Я же не из скрытности молчал. Да если б я полез к вам с такой откровенностью, что б получилось?.. Получилось бы, что вас виню, себя несчастенькимставляю. А я вовсе не несчастенький и вам благодарен — не держали возле себя, в мир выпустили... Но вот могу ли я теперь жить по твоему образцу, папа? И по твоим советам... Ты мне постоянно повторял и теперь повторяешь: не стремись подлаживаться, стремись влиять на жизнь! Вдумайся, папа: что получится, если каждый — да, каждый — станет стремиться влиять на жизнь? Сколько людей есть — и все влияют. Все, умные и недоумки, честные и прохвосты, каждый на свой лад — влияет! Да жизнь и так запутана больше некуда, а тогда и совсем каша перемешанная получится, сам господь бог ее не расхлебает. Иль я не прав, папа?

И я согласился:

— Ты прав... Если каждый в одиночку... Да-а, если друг с другом не сообразуясь влиять, то каша...

— Не сообразуясь?! — с горечью удивился Сева.— Неужто, папа, ты веришь, что люди могут сообразоваться?.. Да они всегда будут тянуть — каждый к себе. И всегда стнимать друг у друга, и всегда друг друга за горло хватать — отдай, мое!

— Удивительно, как еще они не передушили друг друга... А?! Давно бы пора.

— Отвечу, отвечу, к этому и веду!.. Не передушили потому только, что приспособливались. Да, к жизни! Да, друг к дружке! При-спо-саб-ливались!.. Ах, слово дурное! Ах, стыдно слышать такое!.. Но почему, папа? Почему, мама?.. Заяц должен приспособливаться, а человеку не положено. О приспособляемости зайца даже природа заботится — линять научила, обрастай к зиме белой шерсткой, к лету — серой, — а люди не смей, запрещено?! Кем?.. Да теми же людьми. Запрещать-то запрещают, но каждый по-своему приспособливается, только не признается в

том... Ну так вот, папа-мама, ваш сын приспособленец и ничуть этого не стесняется. Приспособленец — да, но не захребетник и не насильник, из горла ни у кого не рву. Живи и жить давай другим — считаю, святей лозунга быть не может... Вот все как на духу.

Сева, розовый от возбуждения, умолк, вызываясь в нас вглядываясь.

Я молчал, молча клонила к столу лицо Катя, ей так и не удалось встать на мою защиту. И сам я защитить себя не сумел. Не так-то просто доказать очевидное: что естественно для зайца, противоестественно для человека. Любой спор сейчас выльется в путаные пререкания. Я молчал.

Сева, видать, строил свою систему не один год, ею защищался и ею гордился, сейчас тихо торжествовал победу — сработала, оглушила. Он вежливо выждал, явно жажда возражений, их не было, тогда решительно поднялся, стянув со спинки стула свой пиджак, не спеша падел его, расправил плечи, — легкая ткань пиджака плавно облегает талию, статен, ясноглаз, счастлив своей перастраченной молодостью, своей неуступчивой самостоятельностью, снисходителен к нам, пропитанным пылью ветхих мнений.

— Ключ у меня, так что не беспокойтесь, если задержусь.

Он явно чувствовал за спиной мой провожающий взгляд, взгляд этот смущал его, поигрывал лопатками эдакое безмятежное «ты ушла, и твои плечики»...

Катя подняла голову — над переносом резкая морщинка, глаза темны, скользят мимо. Я не выдержал ее молчания, заговорил:

— А может, он и прав. Что еще делать как не приспособливаться, если на большее не способен?

Ответила не сразу.

— Я думаю... — голос глух, — не разменять ли нам нашу квартиру на двухкомнатную и однокомнатную?..

Я растерялся:

— Не глупи...

— Пусть это будет нашим последним родительским взносом.

— Хочешь, чтоб уже сейчас?..

— Мы сейчас, Георгий, живем с ним на разных этажах. Ну так будем жить в разных районах.

Она всю себя отдала сыну — единственное в ее жизни. И — «в разных районах», подальше! Ну и ну...

Телефонный звонок спас меня от ответа.

— Это Алевтина говорит... Алевтина Ивановна, дочь Ивана Трофимовича. Я хочу, чтоб вы сегодня пришли к нам. Очень нужно. Где-то в полпятого, не позже...

— Что случилось, Аля?

— Нелепое, Георгий Петрович, не хочу объяснять...

День по-прежнему ярок и горяч, но он уже не радовал меня. Казалось — значительное впереди, незавершенное выгорело, остался лишь след его, пепел. Но день только начинается, нужно пройти его до конца...

Как это так получается, что я постоянно оказываюсь безоружным перед сыном?!

3

Кто-то из наших институтских острословов сказал: «Теоретик — это гусь в журавлиной стае, летит вместе, но держится наособицу». Четверть века я лечу с институтом, сжился с косяком физиков-экспериментаторов, одна цель, один маршрут, без них истощился бы, сгинул безвестно, меня всегда считали своим, но предоставляли летать как хочу — гусь по-журавлиному не может. Сегодня после разговора с Севой наплыло тоскливое одиночество — все дружно летят дальше, а меня уносит в сторону.

Я ходил по этажам, встречался с нужными людьми, вел с ними не очень нужные разговоры, решал несложные вопросы, без которых одинаково легко могли обойтись как институт, так и я сам. И всюду я чувствовал: вклиниваюсь не ко времени, в эту минуту не до меня, но мной занимались доброжелательно и... на скорую руку.

Однако директор-то меня хочет видеть навряд ли просто так, скуки ради, зачем-то я ему нужен. Зачем?.. Острое желание убедиться: чего-то еще ждут от тебя, — породило нетерпение. Но директора срочно вызвали, должен вернуться с минуты на минуту. Минуты шли, день перевалил за половину, а я еще обещал дочери Ивана Трофимовича... Со стариком что-то стряслось.

Возвращение директора я проглядел, кто-то более проворный проскочил раньше, пришлось пережидать...

Наш директор любил повторять: «Только та кошка, которая сама по себе ходит по нашей теоретической крыше, способна ловить мышей». Он добился славы и высоких званий не столько личными подвигами в науке, сколь-

ко организаторским умением — безошибочно угадывал таланты, делал на них рискованные ставки, напористо выбивал средства, проявлял оборотистость, если средств не хватало. Наука теперь становится индустрией, и организаторские способности приносят едва ли не больше, чем счастливые озарения гениев. Экспериментаторами директор умело правил, теоретиков лишь изредка ласкал, чтоб не дичали, не забывали хозяина, и ненавязчиво следил — каких мышей посят. Моя добычливость резко снизилась, и он, конечно, уж это заметил...

Директор из-за стола вышел мне навстречу, прям, подтянут, седые волосы, моложавое, чуть тронутое увядающим загаром лицо, глаза в лучистых морщинках. В свои шестьдесят с хвостиком он все еще отменный горцополыжник, отпуск проводит на Чегете, бьет на скоростных спусках не только молодых физиков, но и лавинщиков с горной станции.

— А ну, поворотись-ка, сынку!.. Редкий же вы гость у меня, Георгий Петрович.

— Непадоедливость подчиненного — его капитал перед начальством.

Вежливая пикировочка входила в ритуал наших встреч.

Мы уселись в стороне от директорского кресла, за круглый столик, а это означало — я не сразу узнаю о цели вызова, разговор будет блуждать вокруг да около.

— Как живете, Георгий Петрович?

— Не обременяя себя заботами, Константин Николаевич.

— Ой ли?..

Ага, от меня ждут первого шага, и я его сделал:

— Вам что-то хочется узнать, Константин Николаевич. Спрашивайте, не стесняйтесь.

Директор рассмеялся:

— Люблю дипломатов... Может, за меня и вопрос проинесете?

— Хотите знать, что за тайные совещания я провожу в своей келье?

— Вы телепат, Георгий Петрович.

— Должен сразу покаяться: они не имеют отношения к физике.

— Ну, это-то я знаю. Имей они отношение к физике, на мой стол легла бы бумажка с неоригинальной просьбой: отпустить денег.

— Ну так, не кичась своим бескорыстием, сразу

раскроюсь: не занимаюсь ни горным спортом, ни альпинизмом, ни станковой живописью, ни игрой на флейте...

— Вы хотите сказать, что наконец-то выбрали себе увлечение?

— И прошу к этому отнестись списходительно.

Иронические складки в углах тонкого рта, прищур в упор.

— Ай-ай, дорогой Георгий Петрович! Пытаетесь провести на мякине старого воробья.

— Считаю подозрения безосновательными.

— Видите ли, в нашем возрасте, Георгий Петрович, хобби — это самоуглубленность, это самоутешение, это интимное занятие, а вы собрали вокруг себя маленький каганат...

— А разве вы па горнолыжные вылазки не ездите компанией?

— Одно дело — компанейская поездка в горы, другое — многомесячный труд в тесной келье. Труд, насколько мне известно, не освященный бухгалтерскими сметами, труд на энтузиазме! И вы хотите убедить меня — оп спаян досужим увлечением? Нет, Георгий Петрович, не поверю! Должны быть зажигательные замыслы, высокие идеи... Ах, они не относятся к физике, ну так тем мне любопытней. И не понимаю вашей девичьей стеснительности — сколько серьезных физиков ушло в биологию... И в геологию подались, и даже в психологию... Вас то куда бросило, Георгий Петрович? Готов хранить тайну исповеди, если прикажете.

— В террористический заговор.

Наш директор был не из тех, кого легко можно было огоршить. На мою серьезную мину он ответил тонкой улыбочкой:

— Против кого же?.. Учтите, я не люблю экстремистов.

— Против Христа.

— Совсем интересно. И что же, получилось? Или пока только готовитесь?

— Получилось.

— Каким образом? Сгораю от любопытства.

— Забрались в первый век и прикончили там еще до того, как Христос стал Христом.

— Но поделитесь — как вам удалось попасть в первый век?.. И, простите, зачем вам такие хлопоты?

— Удалось общепринятым теперь способом — зало-

жили в машину запрограммированную модель нужного нам отрезка истории...

— Модель истории?! — ужаснулся директор.

— Разумеется, схематически упрощенную.

И он облегченно вздохнул:

— Уф! Задали загадочку... Теперь, кажется, понимаю. История, но без Христа. Хотелось узнать, как поведет она себя без этой фигуры... И что же получилось?

Я пожал плечами.

— То-то и оно, что ничего. Христос снова воскрес.

Директор ничуть не удивился, удовлетворенно кивнул седой головой.

— А вы ждали конвульсий, апокалипсических потрясений?.. И если выдающаяся личность столь влиятельна, то нельзя ли этим воспользоваться — сделать героев истории инструментом доводки, направить жизнь в райские кущи? Правильно ли я вас понял, Георгий Петрович?

Разве можно было объяснить накоротке, чего я ждал? Мне и теперь-то это далеко не совсем ясно.

— Вы очень догадливы, Константин Николаевич. — Что я еще мог ему ответить?

Он помолчал, оценивающе разглядывая меня, наконец заговорил:

— Увы, ваш результат подтверждает сермяжное правило — знай, сверчок, свой шесток. К великому сожалению, Георгий Петрович, мы не ведущие, а ведомые. И зачем вы так далеко забирались — аж в первый век? Пробрались бы поближе, в прошлый век, в самый его конец, в лабораторию Апри Беккереля. Что вам стоило выкрасть у него ту самую роковую пластинку, засвеченную урановой солью! От нее же все началось — и раскупорка ядра, п взрыв над Хиросимой, и нынешние термоядерные кошмары. Не-ет, вы знали, что такой дешевый криминалистический трюк ничего не даст: не наткнись Беккерель на радиоакцию, было бы то же самое — тот же уровень развитости ядерной физики, тот же запас бомб, мешающих нам спать. Эволюция, наверное, не устояла бы перед энтропией, если б не застраховала себя от случайностей... Христа убили — Христос возродился. Оч-чень, оч-чень интересный результат. Многозначительный!.. — Директор распрямился и сразу стал озабоченно деловит. — Однако я вас пригласил не для того, чтобы уличать. Каждый волеп тешить себя чем хочет. Расчетец на вас имею. И заранее

скажу: буду очень огорчен, если вы не пойдете мне навстречу.

Я пасторожился — наконец-то увертюра окончена, началась ария.

— Выдвинули мы в свое время Калмыкова и надеялись — молодость не порок. А ведь слаб, мелко пашет. Вы не находите?..

Калмыков, тоже физик-теоретик, но не успевший еще проявить себя, был выдвинут ученым секретарем, должность ответственная и хлопотливая, где приходилось быть и дотошным канцеляристом.

— Не нахожу, Константин Николаевич, — ответил я. — Возможно, Калмыков и неглубоко пашет, но борозды не портит.

— С вашего чердачка, Георгий Петрович, не видно, а вот мне постоянно приходится подправлять огрехи... Да особенно и вишнить парня нельзя, трудно без имени, без авторитета, ординарному кандидату наук ладить с нашими мастодонтами. Тут нужен человек с опытом и заслугами.

Мне сразу открылось все. Вовсе не ради досужего любопытства расспрашивал директор о моих чердачных бдениях, ему позарез было нужно знать — насколько они серьезны. Я занимался не физикой — это его несколько не смущало, при случае мог даже взять под покровительство. Сейчас все ждут открытий на стыке наук, заройся я в биологию или психологию — директор не стал бы взваливать на меня должностную ношу. Вдруг да пробьет брешь, куда Макар телят не гонял, — новое направление, новые перспективы, новое в активе института! Теперь вот выяснил — «каждый волен тешить себя чем хочет», — но за блажь денег не платят, изволь-ка заняться делом: Калмыков не пашет, паши ты! Я знал своего директора — намеченную дичь из поля зрения не выпустит.

Он поднялся.

— Я не требую, Георгий Петрович, немедленного ответа. Не к спеху. Взвесьте, обдумайте, выдвиньте мне условия, какие найдете нужными. Обещаю быть покладистым. Не сомневаюсь — мы с вами сработаемся.

Ох, мягко стелет, да жестко спать. И полное пренебрежение к тому, что влекло меня. Я тоже встал и пожал доброжелательно протянутую руку.

У дверей внезапно вызрел вопрос.

— Константин Николаевич, — обернулся я, — вот вы сказали: мы не ведущие, а ведомые... Не значит ли это,

что в основе нашей деятельности лежит приспособляемость?

Он, не успевший опуститься за свой стол, задержался, задумался на секунду, ответил:

— Одно из свойств живого — способность адаптироваться. Почему мы должны быть исключением?

Поразительно: у моего легкомысленного сына оказался столь могучий сторонник.

4

Дверь открыла Алевтина Ивановна, младшая из дочерей Ивана Трофимовича. Я ее знал еще восьмилетней девочкой, худенькой, конопатой, патлато-белесой, тихой, как мышка. Сейчас это плотная молодая женщина с жаркой шапкой крашенных хной волос, с тяжелой, решительной поступью.

— Вы опоздали, — осуждающе сказала она. — Этот уже у него.

— Кто — этот? — не понял я.

— Ну поп! Батюшка! Святой отец! — Она не могла сдержать своего раздражения.

— Аля, я ничего не понимаю.

— Не могла же я пускаться в объяснения по телефону — мол, мой отец совсем свихнулся, потребовал... как там у них называется?.. святое причастие или просто исповедь, уж не знаю... До сих пор в голове не укладывается: он, Иван Голенков, из тех, кого раньше называли гранитными, твердокаменными, сейчас вот спрашивает у попа прощение!

Алевтина Ивановна порывисто вынула платочек, но к глазам не поднесла, скомкала его в кулаке — глаза сердитые, но сухие.

— Пойдемте, Аля, сядем где-нибудь, — попросил я. — Целый день на ногах.

Вскинув рыжую копну волос, тяжело и прочно ступая, она провела меня в столовую, первая устало опустилась на стул, кивнула.

— Там...

Дверь, ведущая в столь знакомую мне угловую комнату Ивана Трофимовича, плотно прикрыта, ни шороха, ни голосов не пропускает — непривычный гость действует в тишине.

— Годной дочери запретили даже заглядывать! —

Алевтина Ивановна не боится, что ее раздражение будет услышано. — Таинство, видите ли. Душу открывает... Кому?! Не мне, не вам — чужому человеку!

Именно это-то у меня сейчас вызывает никак не раздражение, а вину. Иван Трофимович пытался мне исповедоваться, да, и настойчиво, по в последнее время полного понимания у нас не получалось. Я упустил огорчение — эх, старость не радость, а Иван Трофимович оставался со своим — кому повем печаль мою? Как было ему, однако, нестерпимо плохо, если решился пригласить со стороны, пусть даже не враждебного уже теперь, а все равно чужого человека, своего рода должностное лицо. Ему повем сокровенное, больше некому... Обиженно-раздраженный голос дочери мне неприятен: тебе-то, голубушка, наверняка тоже пытался исповедоваться, хоть бы чуть устыдилась, что не смогла понять отца.

— Вы, конечно, думаете — должна бы наотрез отказаться... Впрочем, отца вы моего хорошо знаете, никогда он ни перед чем не останавливался. Отказала бы — умер, да еще и проклял перед смертью... Вот мне и хотелось, чтобы вы... вы пораньше, до прихода попа встретились. Вы один имеете на отца влияние. Просила же — не опаздывайте!..

— Вряд ли я что-нибудь бы изменил, Аля.

— Но тогда — кто, кто как не вы?..

— Кто поможет человеку, который сам в себе запутался?

— Ах, вам-то что! Пожмете плечами: мол, старый знакомый с ума спятил. А нам каково? На нашу семью пятном ляжет, не сразу отмоемся. Муж лекции о дарвинизме читает, издательство «Знание» договор на книгу с ним заключило. А теперь станут трубить кому не лень: в семье дарвиниста поповщина гнездо вьет!..

У нее пенасто-серые глаза, какие когда-то были у отца, но в них злой, колющий зрачок, и в лице ее, пухлом, утратившем скудную отцовскую рубленость, проглядывает что-то дрябло-бульдожье.

— Послушайте, Аля, отцу сейчас куда хуже, чем вам. На вашем месте я все-таки думал бы о нем, а не о себе.

И она задохнулась.

— Вы!.. Вы смеете — мне!.. Я — о себе, о нем — нет?!

— Да, и не только сейчас, а уже давно. Давно отец для вас — досадная обязанность, житейский долг, который полагается выплачивать.

Я знал, на что иду: с этой минуты мы враги, по мно-

того не теряю — друзьями мы никогда и не были. А я бы презирал себя, если б перед надвигающейся смертью предал своего командира, своего названного отца. Не от трусости, не от ханжества этот мужественный и честный человек изменял теперь сам себе — от отчаянья. Кому дано понять глубину отчаянья ближнего? Не дочери же, страшащейся за судьбу мужниной расхожей книжонки. Не решусь сказать: понимаю, но подозреваю — отчаянье бездонно.

Мы глядели друг на друга. У нее наливалось кровью лицо, розовел лоб, а глаза яростно светлели...

Скандал не успел разразиться, за дверью раздался придушенно-сиплый выкрик, грохот падающего стула. Дверь распахнулась, из нее не выскочил, а скорей вывалился, путаясь в рясе, долговязый батюшка — молод, бородат, гневно румян, на узкой груди в вольных складках поблескивает крест.

— Вам... Ах, бож-ж мой! — Он налетел на угол дивана. — Вам следует пригласить врача-психиатра, а не священника!

Возвышаясь посреди комнаты, Алевтина встретила его пасмурным взглядом, не ответила. И батюшка обиженно приосанился, траурно колыхаясь, на ходу обретая должное достоинство, двинулся к выходу.

— Сто-ой!..

В дверях, держась за косяк, вырос Иван Трофимович — тяжелая, темная, как кусок мореного дуба, голова с устремленным вперед полированным надлобьем и плоско висящая на перекошенном костяке пижама игривой расцветки в белую и розовую полосу.

— Стой! Не беги! — сипло, с клетотом.

Священник передернул плечиками, остановился, досадиво обернулся.

— Бож-ж мой! Сами позвали — и раздражаетесь... Зачем вам святое причастие?

— Я много ненавидел, хочу любить... Любить!.. Вы ж обещаете это...

— Так проникнитесь кротостью, подготовьте себя к любви.

— Кротостью?! Мальчишку прислали. Что ты мне можешь сказать?

— Слово божье. С ним пришел.

— Пришел поучать... По какому праву?.. Больше видел? Больше пережил?.. Что ты знаешь о жизни, молодкосос?

Батюшка всплеснул траурными рукавами.

— Я к вам с утешением, а вы оскорбляете!

— Утешение? Умирающему?! Экие вы балбесы!

— О господи! Чего же вы хотите?

— Любить напоследки! Ее!.. — Иван Трофимович дернул подбородком в сторону стоящей с запрокинутым лицом дочери. — Его!.. — Кивок в мою сторону. — Любить их! Страдать за них!.. Да!.. А ты, уте-ше-ние... Повесь его себе... вместо креста...

Он задыхался, изрытое лицо стало угрожающе черным, корявая рука в нарядном бело-розовом рукаве дрожала, цепляясь за косяк дверей. Сейчас рухнет. И я кинулся к нему.

— Хватит! Пойдем!

Он обмяк, навалился на мое плечо — пугающе легкий, по-детски беспомощный.

В знакомой сумеречной комнате держался неистребимый берложий запах. Я уложил бывшего командира на смятую постель, укрыл одеялом. Запрокинутая тяжелая голова на тонкой скрученной шее, острый кадык, мятые веки опущены, каждый вдох сопровождается клекотом, а в запавший висок бьется наружу неуспокоенная жизнь.

— Слушай, что я тебе скажу, — заговорил я, склонившись над черным, пугающе чужим сейчас лицом. — Ты зря терзаешься — ты не из последних могикан на земле. Младая жизнь будет играть. Будет! Не прервется!

Он поднял веки — мерцающий взгляд из бездны, — и натужно прерывистое:

— Ладно уж... Прощай...

Не последние ли это слова? Я постоял над ним. Мы часто были сердечны друг с другом, но никогда не проявляли нежности. И сейчас я осторожно пожал лежащую на одеяле руку. Она была холодна — словно коснулся водопроводного крана.

Под дверями, уткнувшись рыжими волосами в резную спинку старого узенького дивана, беззвучно плакала Алевтина, спина согнута, полные плечи вздрагивают. И меня прожгло — хищница? Да протри глаза!

Пройти мимо я теперь уже не мог.

— Аля, простите... Какой же я дурак, однако.

Она пошевелилась, приподнялась, вытерла лицо ладонью крепко, с нажимом — простонародный жест бабы, которой некогда убиваться, надо хвататься за дело.

— Идите, Георгий Петрович. — Устало и недружелюбно, в сторону.

— Чем мне вам помочь?

— Уже помогли. Спасибо.— Она повернулась — лицо в пятнах, сквозь непролившиеся слезы кипящее презрение: — «Чем помочь?» — ножкой шаркнули. Да кто мне поможет?! Это я всем помогаю, все на себе волоку! Сестры откололись — одна на край света в Хабаровск сбежала, другая хоть и в Москве, да в стороне, тоже порой расшаркивается: чем помочь тебе, Аленька? У Аленьки и дети на шее, и муж рохля, которого в спину надо толкать, сам себя не подхлестнет — приятели, шахматистки, разговорчики пустопорожние... А отец... Ох, отец!.. Даже когда здоров был — к нему не подладишься. Теперь ему и вовсе весь мир нехорош с собой в придачу. Миру плевать на выжившего из ума старика. Над собой поизмываешься да перестанешь. А я всегда у него под боком, меня можно не жалеть — снесет, двужилная!.. Гос-спо-ди! Доколе еще?! Н-не мо-гу! Не мо-гу! Выдохлась! А тут еще радетели подкатывают — не смей думать о себе! Кто б за меня о нем подумал?.. Из многих лет хоть на один день груз снял, дыхание бы перевести...

Она потухла, вяло махнула рукой.

— Ох, чего ради доказывать?.. Идите, Георгий Петрович, да побыстрей. Здесь все лишние, кроме меня..

Вечер. День кончился. Я вошел в этот день с ношей, ее мне подарил день вчерашний. Что в этой ноше, я толком еще не дознался — может, это ящик Пандоры, который бы лучше и не раскрывать, а может, сокровища. Нет ничего соблазнительней неразгаданного! Я собирался развязать свою ношу вечером, ждал этого часа. Пусть даже ящик Пандоры, но устоять не смогу — незнание для людей страшнее, чем явные бедствия.

Вечер. Я тупо смотрю на древнего Мыслителя. День нанес мне несколько сокрушительных ударов, и я разбит, оглушен, ничто уже не соблазняет, ничего не хочется — калека. Не сумел одарить своего сына тем немногим, что имел сам. Директор института указал мое место — на должность мессии не подходишь, займись более доступным делом... А старик Голенков добавил: все бrenно — высокие мечты, кипучие страсти,— и уйдешь в мир иной неудовлетворенным.

— Георгий, что с тобой?

От Кати не скроешь и от нее не отделаешься случайным ответом: мол, нездоровится что-то. Рад бы открыться, но как? «На должность мессии не подхожу, Катенька». Она-то это бедой не считает. Самый близкий мне человек на свете.

— Моей вере сегодня ноги переломали. Но это пройдет, Катя.

— Вере? — удивляется она. — Ты же из неверующих, живешь сомнениями.

— Да сомнения-то начинаются с веры, Катя.

— А я считала — наоборот. Сначала сомневаешься, затем опровергаешь сомнения, только потом уж вера. Истина и вера не едины ли?

— Вера — старт к истине, Катя. Сначала я должен поверить, поверить просто, без достаточных оснований: в падающем яблоке есть что-то сверх того, что видишь. А уж потом и сомнения и опровержение сомнений — полный набор, который сопровождает процесс мышления.

— Ты сегодня ходил по Москве и указывал людям на падающее яблоко — тут что-то есть?..

— Нет, просто приглядывался к людям и понял — мне не открыть им глаза на «верую». И неизвестно, удастся ли это кому-либо.

— А твои юные апостолы?.. Ты веруешь, они — нет?

— Я еще не успел им всего сказать...

— Так скажи!

Я уныло молчал, а Катя решила действовать:

— Сейчас еще не поздно. Позвони, пригласи на чашку чая.

— Устал, Катя. Не стоит.

— Я тебя знаю — не уснешь, завтра будет испорченный день. И хорошо бы завтра, того гляди, неделя окажется испорченной. Зови, но не всех, чтоб не разводить шабаш на ночь.

И я решил позвонить Фоме неверующему из апостолов — Толе Зыбкову. Он жаден до знаний, но разборчив — подозрительное съесть не заставишь. И он безжалостен, этот мальчик, ложь во спасение ему чужда.

Через час Толя был у меня. Катя собрала в моей комнате на журнальном столике чай, оставила нас одних. Я рассказывал, а Толя ерзал, чесался, хмыкал, однако слушал внимательно. Он слушал, а я ожидал. Мыслитель забыто сидел на письменном столе к нам спиной.

Свободы сеятель пустынный,
 Я вышел рано, до звезды;
 Рукою чистой и безвинной
 В порабощенные бразды
 Бросал живительное семя —
 Но потерял я только время,
 Благие мысли и труды...

Наверное, все, кто олицетворял собой совесть человечества, кто бросал живительные семена добра и справедливости, испытывали, как и Пушкин, бессильное отчаянье. Многие из них теряли не только «благие мысли и труды», но и жизнь.

Пушкин считал — всему виной косность, равнодушие людей:

Паситесь, мирные народы!
 Вас не разбудит чести клич.
 К чему стадам дары свободы?
 Их должно резать или стричь.

Подавляющее большинство подвижников разделяли этот взгляд.

Самому раннему изображению колеса — неуклюжему, еще без спиц, на так называемом штандарте Ура — нет и пяти тысяч лет. На свете произрастают деревья и постарше возрастом. Эволюционное мгновение, в которое укладывается вся наша буйная цивилизация.

Ничто в природе не находится в покое, движение — одно из условий существования от элементарной частицы до Вселенной в целом. Характер движения определяет специфику природных модификаций. Планеты Солнечной системы не могут вращаться быстрее или медленней — система развалится.

Человечество на данном этапе может пребывать лишь в состоянии возрастающего ускорения. И такое состояние вовсе не исключительно, через него проходит и штамм развивающихся бактерий, и разрастающаяся популяция животных; и взрыв научной информации, какой мы сейчас переживаем, — явление того же порядка. Математики это называют экспонентным развитием.

Растущая скорость не дается даром, за нее приходится дорого платить — силой и благополучием многих и многих поколений безымянных рабов, крепостных, фабричных рабочих, потом и кровью своей смазывавших несущееся вперед колесо истории. И как следствие — притеснение,

вражда, обоюдная ненависть, унижения, пресмыкательство... Совершаются завоевания, осваиваются новые стихии, но...

На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Пушкин с поэтической силой провозглашал традиционный взгляд — люди ответственны за свою порочность. Маркс вскрывает объективные причины. Бурно развивающиеся производительные силы, считал он, не приносили и не принесут, если не изменить существующие порядки, благополучия труженику. Он выдвигает теорию относительного и абсолютного обнищания рабочего класса. Если господин был вынужден как-то заботиться о своем рабе — собственности, потеря которой для него прямой урон, — то капиталист нанимает рабочего: не собственность, беречь нечего, умрет от непосильного труда — туда ему и дорога, легко заменить другим. Машины освободили от работы столько тружеников, что всегда найдутся желающие продать себя за черствый кусок хлеба. Чем дальше, тем больше станет машин, они будут совершенствоваться, все больше и больше окажется безработных, готовых наняться за жалкие гроши, заработная плата рабочих неудержимо покатится вниз. Производительные силы растут, вместе с ними растет обнищание трудящихся масс, в той же пропорции растет богатство хозяев, растет к ним озлобление, существовавший прежде антагонизм беспрдельно обостряется, сильным мира сего придется прибегать к столь жестоким мерам, каких прежде и не знало человечество. Кошмар впереди!

Но не прошло и семидесяти лет с тех пор, как Маркс впервые опубликовал свою теорию обнищания, а уже один из его сторонников, Франц Меринг (по определению Ленина, не только желающий, но и умеющий быть марксистом), сообщает, что «широкие слои рабочего класса обеспечили себе на почве капиталистического строя условия существования, стоящие даже выше жизненных условий мелкобуржуазных слоев населения».

К нашему времени эти жизненные условия рабочих еще больше повысились — восемь часов рабочий день, два выходных дня в неделю и материальная обеспеченность, о какой прежде только могли мечтать простые труженики.

Что же случилось?.. Не значит ли, что закон — чем выше производительные силы, тем выше и темп развития, их пожирающий, — оказался ошибочным? Или этот необуз-

данный темп стал спадать. Молох начал утрачивать аппетит?.. Беспристрастные математические расчеты предсказывают именно такой исход — ускоренное возрастание до бесконечности продолжаться не может, спад неизбежен.

Но не случайно мы говорим о разразившейся научно-технической революции. Мы наблюдаем, как мир заполняется машинами, их неиссякаемый поток ширится, проникает во все уголки нашей жизни. И сами машины с каждым днем становятся производительней и производительней, с каждым днем они сказочно совершенствуются... Нет, производительные силы сейчас возрастают с фантастической мощностью, вызывая феноменальный темп развития, который не на шутку начинает пугать нас.

Закон возрастания не только остался в силе, но проявляет теперь себя с наглядностью ошеломляющей. Извечный Молох растет как никогда, как никогда прожорлив. Но что теперь для его непомерно возросших appetitов та жалкая надбавка, которая выжималась из труженика жестокой эксплуатацией! Физические ресурсы человека практически неощутимы для вымахавшего колосса. Лишь усиленная эксплуатация сверхмощных машин способна его насытить.

В мире идет процесс — эксплуатация человека подменяется эксплуатацией машин! Значит, исчезнет и повод для антагонизма, для ненавистничества, добро восторжествует над злом.

Наступит вымечтанное?..

Ой ли?..

Жена легла спать. В полночь пришел Сева, просунул к нам голову, сказал: «Пардон», исчез в своей комнате и, повозившись за стеной, тоже уснул. Мы с Толей сидели за неприбраемым столиком голова к голове, говорили вполголоса.

Все, что я накопил в бдениях с Мыслителем, выплеснул сейчас на Толю, и это вывело его из привычного самоуверенного равновесия — ни уютной посадочки, ни загадочной улыбки, поглядывает исподлобья, и даже физиономия его, кажется, обрела некую удлиненность от серьезности.

— Сытый человек необязательно должен быть добрей и отзывчивей. Это давным-давно замечено, Георгий Петрович... — Но своей кошачьей вкрадчивости Толя не утра-

тил, осторожно подкрадывается, чтобы совершить прыжок.— Теперь многие страны живут сытно, но ни одна, Георгий Петрович, ни одна не может похвастаться, что нравственность стала выше. Напротив, сытые-то и стопнут о падении нравов.

Я предупреждаю прыжок, спрашиваю:

— Что ты хочешь сказать?

Толя вздыхает.

— Думается, вы и сами это хорошо понимаете, Георгий Петрович. Способ производства изменился, благоприятно изменился, а люди лучше относиться друг к другу не стали. Выходит, Пушкин и прочие страдавшие за народ поэты и моралисты правы — не в способе производства беда, а в самом человеке сидит ущербность. Как ее выкорчевать? Проповедью «люби ближнего» не получается, стихами — тоже...

Он ищуще вглядывается в меня. Сейчас это уже не самовлюбленный суперменчик — лишь бы потешить себя знаниями, «летите голуби»... В голосе его не иронические, а страстные нотки: как выкорчевать?.. Ищуще вглядывается, ждет ответа. Похоже, какую-то победу над независимым мальчиком я все-таки одержал.

— Ты считаешь, что способ производства изменился? — спросил я.

И Толя опешил:

— К-как?! Вы только что говорили...

— Говорил: изменилось производство, но не его способ.

— Разве это не одно и то же?

— Нет.

Его подбитое жирком тело напряглось.

— Виноват, Георгий Петрович, туп, не сску — какая разница?

— Какая разница между плаванием и стилем, действием и способом его осуществления?.. Пловец вырос из детского возраста, стал мощным мужчиной, мощно и плавает, но... собачьим стилем, как в детстве. Сколько неудобств он от этого испытывает! Вот и производство развилось, приобрело размах — дедам не снилось! — а осуществляется оно тем же дедовски-капиталистическим способом: по найму.

— Так и что же?

— А то, что акт найма — своего рода диктаторство: исполняй то-то и то-то, получай столько-то, сам себе не принадлежишь, за тебя решают другие.

— Но диктаторство-то уже не прежнее, Георгий Петрович, заметно смягчилось — соки не выжимает, страдать от него сильно не приходится.

— Увы, заставляет страдать.

— Труженика?..

— Его в первую очередь.

Толя зябко поежился.

— Не вяжется у меня что-то, Георгий Петрович. Прежде давили юшку — страдали, понятно, теперь юшку не давят, и нате — острее страдания.

— Прежде все силы труженика, все его время без остатка уходили на то, чтоб прокормиться, удовлетворить свои чисто физиологические потребности, ни на что другое уже не хватало. Теперь же «быть сыту» все силы не съедает, остается избыток. А избыточные силы выхода требуют, в покое оставаться не могут. Достаточно малейшего повода, чтоб человек стал проявлять себя. Да, соответственно поводу, да, толчку, который он получил извне. А толчки-то труженик ежедневно испытывает раздражающие, каждый день его ставят в незавидное положение — подчиняться без возражений, сам себе не принадлежащий, не свободен...

— Далеко в не столь незавидное, в каком был раньше.

— Так ли? Раньше чувство неполноценности у него заглушалось животным чувством голода, но теперь-то, при сытости, оно должно стать нестерпимым. И все потому, что остался старый способ производства. Маркс, выходит, все-таки прав, Толя.

Толя клонил лоб, посапывал озадаченно.

— Рабочие должны написать на своем знамени революционный девиз: «Уничтожение системы наемного труда»! — произнес он подчеркнуто размеренно, как обычно выдавал цитаты. — Если помните, это слова Маркса из доклада на Генеральном совете Интернационала... Но вот я никак не припомню, Георгий Петрович, чтобы Маркс предлагал что-то взамен, какую-то новую систему.

Я развел руками.

— Ну, Толя!.. Плавали мы, плавали по времени, вглядывались в него с разных сторон, а главного ты так и не увидел... Да мог ли Маркс предложить новый способ — не по найму, скажем, а на каких-то рабочих коллективных началах? Мы только что говорили: во времена Маркса темп развития требовал усиленной эксплуатации рабочего. И не считаться с темпом развития нельзя. Задайся Маркс тогда целью превратить рабочих в коллективных хозяев, полу-

чалось бы, что они, рабочие, должны стать эксплуататорами... самих себя, не иначе. Такую нелепицу и вообразить трудно. Пустопорожним прожектором Маркс не был. Время не приспело, друг мой.

— Но тогда чем же мы займемся, Георгий Петрович? — спросил Толя. — Выяснением новых закономерностей?

— Без них не обойтись.

— Прощу прощения — «летите, голуби»?..

Мальчик менялся на глазах — теперь уже он кидал мой камень в мою голову.

— Нельзя изобрести способ производства, Толя.

— Но?.. Ведь есть же у вас в запасе «но», Георгий Петрович?

— Но можно уловить его появление.

— Где?

— В жизни, разумеется. Первые робкие росточки.

— И вы считаете, Георгий Петрович, что росточки уже появились?

— Должны.

— И в нашей стране?

— И в нашей стране.

Толя замолчал. За окном стояла глубокая ночь.

6

От Христа и Павла мы вышли на наше время. В моем институтском скворечнике с арочным окном на шумную улицу два дня подряд мы подбивали итоги, выясняли, как действовать дальше.

Ирина Сушко принесла огорчительное известие, которое, впрочем, мы давно уже ждали, — нам закрыли доступ к электронному оракулу: хватит, потешились, пора и честь знать, нас и так слишком долго терпели. Ирина сердечно поблагодарила участливых жрецов и с миром рассталась...

Я находился под прицелом — директор института не торопился с ответом, но ждал его. Он умел и ждать и дожимать. Если я скажу ему «да», то витать в эмпиреях мне будет некогда, захлестнет текучка.

Но теперь-то, собственно, для нас все и начинается. До сих пор мы вели авантюрную, неупорядоченную разведку, шарили в тумане. Туман рассеивался. Мало набрести на догадку о незримом пожирающем Молохе, надо обосновать эту догадку, установить зависимости. Каждое яв-

ление мы рассматриваем во времени, которое не стоит на месте — движется то замедленно, то напористо, — придется делать сложные количественные расчеты...

Казалось бы, обилие и сложность задач должны пугать, но я почувствовал себя в своей стихии. В самом начале нашего флибустьерского плаванья я уже подозревал: какие бы шальные ветры ни носили наш корабль, его рано или поздно должно занести в открытые воды физики. Они так широко разлились, что экспедиции под разными научными флагами ныне не могут их миновать. Математический аппарат исследования физических явлений применим и к человеческой природе. Теория случайных процессов объясняет не только движение взвешенных частиц в жидкости, но и некие исторические неожиданности; кривой экспоненты можно выразить и возрастание напряжения в конденсаторе, и развитие нашей цивилизации... Я перестаю быть увлеченным дилетантом, тридцатилетний профессиональный опыт теоретика — мой взнос в новое дело. Чувствую себя полномочным представителем от физики, науки, которая в наш век двумя революционными скачками вырвалась вперед в познании мира.

А раз так, то сейчас я могу уже без смущения, в полный голос разговаривать с директором:

«У вас создалось впечатление — я увлечен потехой. Каюсь, я сам ввел вас в заблуждение, не смел еще раскрыть карты, не знал, достаточно ли сильны мои козыри. Теперь готов ходить в открытую, бить любое ваше сомнение. А вы не из тех, кто хватается за широкорот своих сотрудников — не лезь на неосвоенную целину, топчись в отведенном загоне. Смею рассчитывать — не станете задерживать, а благословите в путь. Но тогда Калмыкова вам придется заменить не мной, а кем-то другим, а мне оказывать носильную помощь. Вам, например, не стоит большого труда узаконить двух моих сотрудников — историка и программиста, — пробейте для них две ставки. И, разумеется, вы не допустите, чтоб мы заводили интрижку с чужими оракулами — в нашем институте и своих хватает...»

Однако такой разговор, верно, произойдет не скоро, к нему нужно подготовиться, «нодпабрать козырей». Но уже и теперь из подвешенного состояния я опускался на твердую почву, радужные надежды переполняли меня.

Мы вышли на наше время и это событие решили торжественно отпраздновать.

— Время плакать — и время смеяться: время сето-

вать — и время плясать! — Охота на Христа даром не прошла для Миши Дедушки, он стал знатоком Ветхого завета, цитировал Екклезиаста. — Чур, Георгий Петрович, на праздник я приду с Настей.

— А я с балалайкой, — вернул Толя.

Торжественный обед давал я, и веское слово тут принадлежало не мне, а Кате:

— Никаких ресторанов! Жареных лебедей не обещаю, а сыты и веселы будете.

Такой праздник не мог пройти мимо Севы, хотя мы и жили с ним «на разных этажах». Мне даже хотелось столкнуть его с моими флибустьерами — взгляни на отца с лицевой стороны!..

Первой явилась Ирина Сушко с гвоздикой, рдеющей в черных волосах, и букетом гвоздик в руках, лучащиеся глаза под бровями умиротворенны, почти благостны, никакой колючести в них. Ирина сейчас, похоже, переживала то внутреннее победное удовлетворение, какое, наверное, должен испытывать приземлившийся парашютист — совершил, что пугало, готов теперь совершить большее.

Ирина пристроила в вазе гвоздики, освободилась от кофточки, ринулась на кухню помогать Кате. Сева, шатавшийся по квартире с миной показательного терпения, встряхнулся, изрек многозначительное: «Эге!» И скрылся в своей комнате.

Через десять минут он возник при параде — накрашенная сорочка, широкий галстук с павлиньим глазом, желветовые брючки в обтяжку.

С коротким звонком в дверь ввалился Толя Зыбков, растрепанный, распаренный, блаженно жмурающийся, тоже с цветами, изрядно помятыми в автобусной давке, и... с балалайкой.

— Наш Дед, он же Копылов Михаил Александрович, задержится, — объявил он с порога. — Невесту на вокзал провожает.

— Как на вокзал?! Он же обещал быть здесь вместе с Настей.

— Настя, Георгий Петрович, было бы вам известно, — шкатулочка с сюрпризом. Когда договаривались, она, видите ли, забыла, что именно в этот вечер ее троюродная тетка в Звенигороде справляет... не помню только что — день ангела или серебряную свадьбу... Конечно, очень жаль, что Настя не украсит наше общество, ну а Мишка

быстр на ногу, моментально обернется... Цветочки вот... Извиняюсь, подарочного вида они уже не имеют. Приходилось оберегать от внешней агрессии инструмент, гордость маэстро.

Балалайка — гордость маэстро — была без футляра, дешевешкая, неказисто-облезлая. Толя непочтительно сунул ее в угол возле входных дверей, прямо на мои ботинки.

— Маэстро лучшего места для инструмента не нашел? — заметил я.

— Не балую, Георгий Петрович. Не привередлива...

Мужчинам, чтоб они не попадались под ноги, не мешали накрывать на стол, приказано было не вылезать из моего кабинета. Толя вооружился парой бутылок минеральной воды, пил, отдуваясь, и лоснился. Сева с любопытством на него поглядывал.

— Папа, у тебя обаятельные помощницы, — сказал он. Толя хмыкнул.

— Вы не согласны? — повернулся к нему Сева.

— Согласен, — пропыхтел Толя, набулькивая себе второй стакан. — Волчица тоже выглядит обаятельной... когда не рычит.

— Рычит?..

— А вы думаете — людоедством занимаются молча?

— Она — людоедка?!

— Пусть это вас не пугает — мальчиков она переваривает с трудом, а потому за ними и не охотится.

Сева попытался дать сдачи:

— Но для вас она, конечно, делает исключение?

— Приходится. Раз нет других — хватай тех, кто рядом. Терпим.

— Кого это вы терпите? — Сама Ирина с накаленными у плиты щеками ворвалась к нам.

— Вас, Ирина Михайловна. Ваше обаяние нам приходится терпеть. — Толя раздвинул в улыбочке круглую физиономию.

Ирина повернулась к Севе.

— «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде...»

— Представляете себе, и я примерно то же подумал, только, конечно, другими словами, — обрадованно подхватил Сева.

— Раз уж вы столь проникательны, то догадайтесь — зачем я сюда пожаловала?

— Наверное, чтоб пригласить нас к столу.

— Не угадали! Во-первых, наша компания еще не в полном составе, во-вторых, пирог с капустой пока не дошел, а в-третьих... Вот ради этого третьего я и пожаловала: считаю, что крепкой настойки, которую приготовила Екатерина Ивановна, может и не хватить. Надо учитывать — четверо мужчин! Неплохо бы срочно купить бутылочку или две коньяка. А теперь еще раз проявите свою проникновенность, молодой человек, скажите мне: кто должен совершить сей подвиг?

— Берегитесь лжепророков и берегитесь пророчествовать! — торжествующе возвестил Толя Зыбков.

Сева смиренно принял:

— Понимаю. Этот подвиг должен совершить я.

— Умница. И не медлите!

Сева ушел, Ирина выкурила с нами сигарету, скрылась на кухне. Толя Зыбков узрел Мыслителя на столе, взял его в руки, долго вертел, наконец непочтительно перевернул его вверх ногами, присвистнул.

— А скамеечка-то!

Низенькая скамеечка, на которой восседал Мыслитель, была с украшением — по нижнему краю шел простенький ступенчатый узор. Я как-то не обратил на него внимания.

— Это поразительно, Георгий Петрович! Недостаточно, видите ли, сидеть на удобной скамеечке, желаем еще и на красивой... Откуда эта страшная потребность в красоте? Бабушка обезьяна, похоже, ею совсем не грешила.

И мы, склоняясь над перевернутым Мыслителем, заговорили о необходимости искусства...

Тема наша не скоро иссякла, а Миша все еще не появлялся. Вошла Катя, уже без передника, без кухонного румянца на лице, тщательно причесанная, со следами косметики, в светлом праздничном платье.

— Все готово. Может, начнем, чтоб не томиться?.. Да, а где же Сева?

— Послан за коньяком.

— Он давно уже вернулся. Сунул коньяк и мгновенно исчез. Я думала, он поспешил к вам... Ну-ка, ну-ка, пойду взгляну, что он там?..

Минут через десять Сева появился. Он был почему-то без своего ультрамодного галстука, лицо чуть бледно и как-то асимметрично. Я не успел его спросить, что с ним, как на столе зазвонил телефон.

Совсем незнакомый мужской голос:

— Товарища профессора Гребина Георгия Петровича мне, если можно.

— Слушаю вас.

— Из отделения милиции беспокоят. Капитан Кумушкин. Вопрос один к вам, если разрешите.

— Из милиции?.. Да, прошу.

— Вам известен такой гражданин... Копылов Михаил Александрович?

— Что с ним?

— Да вот задержан...

Через пять минут я уже бежал вниз по лестнице.

Довольно просторная, не слишком светлая комната милиции, перегороженная барьером, вызвала ощущение суровой отрешенности, даже заброшенности, словно находилась не рядом с шумной, залитой вечерним солнцем московской улицей, а где-то на глухой железнодорожной периферии.

У входа скучающе подпирал косяк дверей дюжий милиционер, за барьером маячили красные околыши, а у стены на скамье под плакатом, уныло призывающим к борьбе с пьянством, четверо — нахохленный Миша Дедушка и длинноволосые долговязые парни. У двоих оскорбленно постные физиономии праведников, у третьего же физиономия деформирована, безобразно распухли губы — тут уж не до праведности, углублен в себя.

Миша встряхнулся, поспешно вскочил навстречу мне, придавленный, ставший, казалось, ниже ростом, жалко улыбнулся:

— Не дошел до вас, Георгий Петрович. Вот... свернуть пришлось.

— Прощу прощения.

Офицер милиции, крепенький, ладный, с приветливо-официальным лицом, живыми оценивающими глазами.

— Капитан Кумушкин. А вы, если не ошибаюсь, профессор Гребин. — С осуждающей властью в сторону Миши: — Прощу оставаться на месте. Если понадобится, позовем... Пройдете в кабинет, товарищ Гребин, там все выясним.

— З-зб-бы, гад, выб-бил... — престоная парня с деформированной физиономией.

Кумушкин не обратил внимания на стон.

В тесном кабинетике с канцелярским столом, с окном на дворовую детскую площадку с качелями Кумушкин сменил официальную приветливость на начальственную озабоченность.

— Произошло следующее...— без предисловий начал он.— Магазин «Гастроном» по нашей улице, тот самый, что напротив скверика, думаю, вам хорошо известен... Ну так вот, некий молодой человек вышел из него с авоськой там или пакетиком, откуда торчали горлышки бутылок. За ним сразу увязалось трое молодцов... Вы их только что имели честь лицезреть, правда, не в том геройском уже обличье, какое они обычно имеют на улице... В скверике они обступают этого молодого человека, происходит очень знакомая для нас картина — хваткая лапа на авоську, разумеется, с увещанием: мол, алкоголь вреден для здоровья!.. При этом, учтите, сквер вовсе не безлюден — и прохожие, как всегда, и старушки с колясочками, и отдыхающие на скамейках пенсионеры, девочка собачонку на поводке прогуливает... Конечно, хозяин бутылок пытается негодовать — тычок в живот, а может, и в челюсть, парень оседает на землю, а молодцы, прихватив авоську с бутылками, резвым галопчиком... Да наткнулись. На него. На Копылова... Он действительно у вас работает?..

— Он мой ассистент. Знал его еще студентом. Могу со всей ответственностью...

— Да, да, товарищ Гребин! — с некоторым энтузиазмом, не дав даже договорить, соглашается со мной Кумушкин.— Нет никакой необходимости убеждать меня в порядочности вашего ассистента. Вам верю и ему верю! Он не напал на них с кулаками, а предложил вернуть отнятое и, должно быть, потребовал извиниться. Но это же уличные герои, их трое на одного... Первыми с кулаками набросились, конечно, они...

— М-да-а. Опрометчиво.

— То-то что опрометчиво. Двое сразу легли, а вот третий бросился бежать, по, должно быть, со страху забыл, что уносит украденную авоську. Ваш ассистент нагнал его и... в спешке неосторожно сработал — до крови, и похоже, зубы выбил.

— И вы это ему вменяете в вину?

— Лично я — нет.

— Ну тогда большая просьба — побыстрей отпустить его. Нас ждут.

Капитан Кумушкин с минуту сочувственно разглядывал меня, вздохнул.

— Вам придется все-таки выслушать меня до конца... Значит, герои валяются по газончикам, потерпевший сидит, съездившись, на дорожке, а в скверике, разумеется, переполох. И, конечно же, недобрыми словами нас вспоминают, милицию: мол, когда нужно, ее нет! Девочка с собачкой самой разумной оказалась — добежала до постового. Десяти минут не прошло, молодцы даже очнуться не успели, как лежали, так и лежат. И ваш ассистент честно показывает — так-то и так, напали, сбили с ног того вон товарища. А потерпевший товарищ, когда постовой повернулся к нему, в глаза заявляет: «Никто на меня не нападал, ничего не знаю, сами сцепились, а постороннего втягиваете». И покупочку свою с бутылочками уже в руках держит...

— Как? — изумился я. — Почему?

Снова на меня сочувственный взгляд капитана Кумушкина.

— Испугался, — просто объяснил он. — Эти копеечные разбойнички могут потом припомнить. И другие молчали по той же причине — от греха подальше. Не каждый же может постоять за себя против троих, как ваш ассистент... Словом, народу много, а свидетелей-то нет.

— Ну-ну, тем более должны принять решительные меры — терроризируют население.

— Э-эх! — с досадой выдохнул капитан Кумушкин. — Меры? Какие?.. Может, прикажете собственными силами молодцов проучить?

— Да боже упаси!

— Вот именно, упаси нас от всякого своеволия, мы первые подчинены закону. А господин закон от нас требует: выкладывай доказательства на стол! И что же можем положить? Первое — заявление благородного заступника, которое отвергается даже тем, за кого он заступился. Второе — следы жестоких побоев, нанесенные всем троим, вплоть до выбитых зубов. Третье — пояснительная справка к делу: Копылов Михаил Александрович — мастер по каратэ, а пользоваться этим опасным мастерством равносильно применению холодного оружия... И как вы считаете, что скажет после этого закон?..

Я с минуту подавленно молчал.

— Но почему же потерпевшего не пригласили в отделение милиции? — неожиданно удивился я. — Почему

здесь внимательно не побеседовали с ним?.. Почему из-за труса должен страдать порядочный человек? Из-за подлого труса!

Кумушкин огорченно покрутил фуражкой.

— То-то и оно. Пока разваливающихся на части молодцов собирали с газонов, потерпевший словно сквозь землю провалился. Да, постовой допустил промашку. Он не наш — из ГАИ. Спасибо ему на том, что согласился пост покинуть.

— Странные фокусы выкидывает жизнь, — заговорил я подавленно, — очевидное недоказуемо, подлость ненаказуема, а самоотверженность непростительна. Да неужели это вас не ужасает, товарищ Кумушкин?

— А я себя, товарищ Гребин, в рукавичках держу. На нашей работе возмущаться да кипеть — быстро испарисься, на дело тебя не останется.

— И как же вы нынешнее дело решите? Каким холодным способом?

— В три этапа, товарищ Гребин, в три этапа. Первый этап, можно считать, уже совершен — обратил пристальное внимание на этих подонков. Им мое внимание — пожар острый, за каждым из них наверняка хвост тянется. А сейчас — второе: прощу их великодушно...

— К-как?!

— А вы хотите, чтобы я их к скамье подсудимых пригнул? Они-то сядут, да рядом с собой усадят Анику-воина. И кому закон больше отвалит — этот вопрос мы с вами уже рассматривали. Так не лучше ли прохвостов отпустить, чтобы самоотверженного парня спасти? Или вы думаете иначе, товарищ Гребин?

— М-да! Двойная бухгалтерия.

— К сожалению, еще третий пункт есть. И очень неприятный. Благородный Аника переусердствовал — высадил одному зубы. Вот этот не успокоится, потребует медицинского освидетельствования, получит соответствующую справку, вместе с заявлением подсунет ее мне или кому-то выше. Тогда уж я бессилен остановить разбирательство.

Я молчал, я покорно ждал, когда капитан Кумушкин сообщит новый спасительный ход конем.

— Ради страховки, — продолжал он деловито, — в протокол придется внести пункт — вставить зубы за счет Копылова. И предвижу — начинающий уголовничек станет торговаться, потребует золотые...

— М-да-а...

— Советую согласиться, иначе за зубы Копылов может заплатить не только деньгами.

Капитан Кумушкин поднялся, плечистый, грудастый, серьезный, явно довольный собой. Я молчал.

8

Миша шагал вместе со мной в угрюмом молчании. Отравленным чувствовал себя и я, однако сказал:

— Не самоедствуй, Михаил. В жизни случается и похуже.

— И в самом деле,— выдавил Миша,— дешево отделался. Всего-навсего — золотые зубы в поганый рот. Впредь будь умней — когда бьют да грабят, ходи спокойно сторонкой... — И его прорвало: — Этот хлюст сломал меня сейчас, Георгий Петрович. Парни что, они издали показательно видны — обычные подонки. Даже в родниковой воде грязь оседает, в людях — тоже. Отфильтровать ее несложно. Но вот когда ядовитая соль растворяется, она неразличима. чистая-то вода отравой становится. Со стороны — нормальный человек, культурный, на вид даже приятный, мухи не обидит, старушке место в автобусе уступит. Лапушка! Ну как к такому с сочувствием не отнестись, плечо не подставить, в разговоре душу не открыть. И, конечно же, ждешь, что и он тебе — плечо, душу, сочувствие... А ты-то для него пустое место, так себе. невзаправдашний. Зачем ему считаться с тобой... Стою перед ним, у него и галстук помят, и физиономия набок, поди, и коленки дрожать не перестали, а глядит на меня эдак холодно и прозрачно: «Никто меня не трогал, знать не знаю, сами сцепились»... В руках-то держит авоську с бутылками, которую я ему отвоевал и вернул... Сам выворачивайся, а я в сторону уйду, и совесть у меня спокойнее. Георгий Петрович, тридцать с лишним лет живу на свете, а такого бесстыдства еще не встречал...

— За всю жизнь одного встретил... Значит, не так и много на свете таких прохвостов.

— Уж не хотите ли сказать, Георгий Петрович: радоваться я должен?.. Не могу! Один такой сотни людей заразить может. Вот и я себя теперь чувствую уже не тем, каким к вам бежал.

— Эй, Миша! Истерикой пахнет.

— Нет, Георгий Петрович, все думаться будет: кто из людей меня не скаплянув продаст? Ну а если я с подо-

зрением к людям, то они ко мне с распростертыми объяснениями, что ли? Нет! Тоже станут подозревать. И от меня пойдет эдакая проказа во все стороны.

— Не лги на себя, Миша! Или я не знаю тебя? Того быть не может, чтобы случайный подлец твою веру в людей сломал.

— А вдруг да, Георгий Петрович?

— В тебе талант сидит, Миша. Не к наукам, уж прости, а к вере в людей. Насколько знаю, ты тут всех превосходишь.

— Спасибо на добром слове, но только кто быстро бежит, тому лучше не спотыкаться — скорей других калечкой окажется. Вот и я с разгончику сильно споткнулся...

Мы подошли к нашему подъезду. Миша замолчал. У него сейчас в лице явственно проступал костячок — выперли лобные бугры, провалились виски, в скулах какая-то мослаковатая жесткость и несолидный птичий нос из неухоженной бороды.

У входа висели почтовые ящики с номерами квартир, из нашего торчала вечерняя газета я захватил ее по пути. Вместе с газетой пришло письмо. Не мне — Гребинной Екатерине Ивановне.

Встревоженная Катя встретила нас у дверей.

— Ну наконец-то!.. Что произошло?

За ее спиной в моем кабинете слышался тенористый голос Толи Зыбкова.

— Досадная случайность. Зови всех к столу. Нам с Мишей срочно надо хватить по большой стопке... Да, вот тебе какое-то письмо...

Катя взяла письмо, озадаченно повертела, нахмурилась, спрятала, громко и строго возвестила:

— К столу, гости дорогие! К столу! Просим...

Полубняв Мишу за плечи, я ввел его в столовую. Косой луч солнца из окна ломался в стекле графинов, разбивался на брызги на ребрах фужеров. Вдруг я почувствовал, как окаменели под моей рукой плечи Миши. И словно выпрыгнуло на меня лицо Севы — брови на известковом лбу, остекленевшие, широко расставленные глаза. Двиганье стульев, шарканье ног, будничные реплики...

Я снял руку с Мишиных плеч, шагнул вперед. Оборвался нутряной хохоток Толи Зыбкова, все замерли, и только звенел на столе кем-то задетый фужер.

Судорогу стиснутого рта Миши не укрывает даже борода, а взгляд темный, плавающий, уходящий от стеклянно выкатившихся глаз Севы.

— Он?.. — выдохнул я Мише.

Миша молчал, убежал взглядом от меня.

— Это он, Миша?!

— Георгий Петрович...— с сипотцой, через силу.— Извините, мне лучше уйти...

— Нет, зачем же...— Голос Севы был неестественно высок, тонок, вот-вот сорвется.— Зачем же... Уйду лучше я. И, собственно, зачем я вам на вашем вечере?

Однако не двинулся, ожидая, что ему возразят. И не ошибся. Ирина повела туго сведенными бровями в мою сторону.

— Что случилось?

Я не ответил ей, бросил Севе:

— Да, тебе лучше уйти.

Сева встряхнулся, деланно повеселел, двинулся к двери легким, с прискоком шагом. На пути его стоял Миша — глядел мимо Севы, не шевелился. Сева запнулся и остановился перед ним. С минуту стояли друг перед другом — подобранный, чуть сутулящийся, глядящий мертвым, касательным взглядом Миша бледный, с вежливой виноватой улыбочкой Севы.

— Вы же должны понять, мне приходилось выбирать: быть благородным, но изувеченным или неблагородным, да целым,— произнес Сева уже не срывающимся, просто тихим, с искренней вкрадчивостью голосом.

Миша не ответил, не пошевелился.

Острый, словно заточенный профиль Ирины Сушко, рысья прозелень в прищуре Толи Зыбкова и обморочно бескровное, с разлившимися зрачками лицо матери.

Сева поспешно скользнул мимо Миши. Я увидел легкий перепляс его спины: «Ты ушла, и твои плечики...»

9

Я помог Кате собрать со стола. Невеселым же получился наш обед, гости не засиделись... И балалайка Толи Зыбкова простояла в углу у дверей на моих ботинках, никто о ней и не вспомнил.

Мы сели друг против друга в кухне и стали ждать — его, выгнанного сына, которого стыдились. Он мог и не прийти в эту ночь — обидеться, испугаться предстоящего разговора, решиться на разрыв. Но это была бы уж слишком большая жестокость к нам.

Катя перебирала на коленях вязанье, а я глядел в

глухое ночное окно. Почему-то вспомнилась рабочая цепочка за ним, цепочка людей, перекидывающих кирпичи — слева направо, слева направо... Стена, отделяющая наш двор от торговой базы, на днях была закончена.

— Георгий... — произнесла Катя.

И я вздрогнул.

— Мне очень бы не хотелось добавлять, Георгий... Но письмо... То самое, что ты принес...

Должно быть, мой взгляд был совсем затравленным, так как Катя стала виновато оправдываться:

— Не сейчас, так завтра ты все равно же узнаешь. Такое не спрячешь, Георгий...

— Говори, все вытерплю, — сказал я. — В полный сосуд долить нельзя.

— Письмо от той женщины, Георгий...

— Из Сибири?

— У нее — сын. От него. Сыну уже почти год.

— Почему же она сообщила нам только сейчас?

— Ждала, что Сева сам подаст голос. Ну а он, похоже, прятался от нее. Потому и к нам не сразу приехал, что здесь отыскать его легче всего... Выждал, убедился, что нас она не тревожит, решил — пронесло.

Я долго молчал, а Катя продолжала перебирать вязанье на коленях, выжидающе косилась на меня.

— Когда-то ты его спросила: «Кто тебя так напугал, сын?..»

И Катя вздрогнула.

— Ты считаешь...

— Да, Катя, считаю — страх стал его натурой.

— А от страха и бессовестность?

— Ты только что слышала, Катя: «Быть благородным, по изувеченным или неблагородным, да целым!» Его крепко. Страшится всего — даже собственного сына.

— Тогда снова тот же вопрос, Георгий: кто?.. Кто его так напугал? Неужели мы?

— Боюсь, что так, Катя.

Это было жестоко, но нельзя же без конца спасаться педомолвками.

— Чем же мы его напугали, Георгий?

— Наверное, тем, что слишком старательно оберегали его от житейских сквозняков.

Катя задумалась.

Он вернулся в самую глухую пору ночи — шелкнул замок, чмокнула дверь. Катя вздрогнула, вскинула голову,

вспыхнула — деревянное выражение сменилось суровым.

Вялый, не прикрытый своей защитной улыбочкой, не снимая кожаной куртки, Сева опустился на стул, бесконечно ссутулился.

Мать не выдержала тягостного молчания:

— Сева, я боялась, что ты не придешь.

Он дернул головой, как заеденная слепнями лошадь.

— Я пришел... Чтобы услышать, как вы скажете: ты подлец, Сева! А мне это известно... Да! И лучше вас. Я не люблю себя, а временами просто ненавижу. Как сейчас! И до того, как выгнали, ненавидел себя. С той минуты, когда папин каратист, как его... Миша, раскидывал шестерят. Сижу жабой на дорожке, а он за меня управляет. Если бы вы видели, как красиво! Эти здоровенные лбы кидаются на него, а он даже и не размахивается, касается — и дубина падает. Почему я его продал?.. Да потому что я подонок, мама и папа, ловчу да выгадываю, а потом мучаюсь, ненавижу себя... Вот пришел к вам, знаю, что вы простите. Оклемаюсь, повыветрится — и сам прощу себя... О-о, до чего все гадко!..

— Ты ошибаешься, — сурово произнесла мать. — На этот раз я не прощу. Ни тебя, ни себя!

Сева поднял голову, взгляделся ей в глаза, холодные, недружелюбные, стылые, вяло удивился:

— А себя-то тебе за что... не прощать?

— Испортила тебя я!

— Н-ну, мама... Виновата ли ты, что я такой уродился... бракованный?

— Ты несносно капризничал в детстве, а я любила. Малодушно отступал — я любила. Грубил мне, уродовал себя кофтой с бубенчиками, тешил себя тупым самомнением — любила! Да, любила со всей материнской силой и портила тебя с безжалостностью врага!

— Разве ты должна была меня ненавидеть, мама?

— Не тебя, Сева! — с прежней резкостью, с прежним вызовом и с прежним осуждающе-вдохновенным лицом. — Не тебя, нет, а дурное в тебе — да, должна была, да, ненавидеть! С той же силой, с какой любила. Как поздно мне открылось, что любовь без ненависти столь же опасна, как и оголтелая ненависть без любви.

Я крикнул, а Сева сник.

— Мне надо куда-то уехать... — выдавил он.

— Меня мало заботит, Сева, уедешь ты или останешься. Меня заботит другое — твои долги!

— Какие долги, мама?

— Уж не собираешься ли ты и сейчас мне повторить: «Никому ничего не должен»? Должен мне и отцу за все наши муки и разочарования. Должен таким, как Миша Копылов, которых ты продавал. Ты успел задолжать своему сыну, хотя тот недавно появился на свет...

— Сыну?.. А я и не знал...

— Врешь! Ты прятался от него!

— От нее, мама! Она почти на десять лет старше меня.

— От нее, от людей, от собственной совести! Спрятаться? Куда? В какую щель ты забьешься?

И Сева надолго замолчал, уныло горбился, наконец устало ответил:

— Куда?.. Не знаю. Я сам себе не нужен, мама. А другим уж и подавно.

— Негодяй! Никому не нужен!.. Да зачем же мы столько лет колотимся под тобой?

Снова долгое молчание. Сева беспомощно взглянул на мать.

— Мама, ты веришь?.. Еще веришь, что выкарабкаюсь из бракованных?.. Что могу?..

— Верю, сын. Любая мать неизлечима в этом.

— Мама, а что, если я снова... снова подведу?

И Катя взорвалась:

— Тогда ухватись крепче за мою юбку! Пока смогу, пока ноги носят, поведу тебя по жизни. Что делать, когда родила ненормального! Что делать?!

Все это время я молчал, мать расправлялась в одиночку.

Через два дня Сева уехал в Среднюю Азию: «В городе Навои живет приятель, говорит — у них легко устроиться мастером по электрооборудованию». Слабый человек, хочет сбежать сам от себя и верит, что это возможно.

А после Севы стала собираться Катя — в Сибирь, к женщине, обманутой нашим сыном, к внуку.

— Кому как не матери отвечать за сына, Георгий.

— Мы можем предложить ей только помощь, Катя. Для этого не нужно ехать так далеко.

— Я должна ее видеть.

И я проводил Катю в аэропорт, остался один в опустевшем доме.

Однако ни от пустоты, ни от одиночества мне страдать

не приходилось. Мой штаб заседал теперь у меня — составляли план будущих работ, и тут вновь выступила Ирина Сушко. Пространные рассуждения, случайные домыслы, произвольная пикировка, которыми мы так дружно угощали друг друга, сменились озабоченным пересмотром математического багажа: чем выразить такую-то зависимость, применимо ли конструктивное направление к общественной структуре, какими уравнениями может быть описан тот или иной процесс...

Ирина Сушко деловито — с учетом использования в будущем электронного оракула — наводила порядок, а вот Толя Зыбков оставался в стороне, потерянно сидел, в обсуждениях не участвовал. Математику он изучал лишь за школьной партой, да и то, по его признанию, «взаимности не наблюдалось». Математика становилась способом нашего мышления, башковитый пареп мог выпасть из нашей упряжки.

— Придется изучать, — сказал я ему.

Толя поспеел, покряхтел, согласился:

— Придется... Ирина Михайловна, что, если я постараюсь быть примерным учеником?..

— Я плохой педагог, сурочек. Толку не получится, а врагами станем.

— Старик! — неожиданно подал голос Миша Дедушка. — Зачем лезть на рога бешеной антилопе? Я возьму над тобой опеку.

Все эти дни Миша был подавлен и молчалив, ни разу не пошутил, не улыбнулся. Я же переживал приступы саднящей любви к нему, столь же сильной, как сильно было мое презрение к сыну. Не только при встречах, но и оставаясь один, я постоянно помнил Мишу, думал о нем, поражался своей слепоте. Я знал, что люди улыбались при виде его, улыбался сам и не догадывался — он исключителен, от природы наделен редчайшим даром доброты, какого нет ни у меня, ни у моих знакомых, быть может, только у Кати. Я считал его легкомысленным и несобранным — вертопрах, прости господи, — а он разбрасывался потому, что каждый встречный был для него не безразличен, каждому стремился помочь.

Сейчас нам трудно друг с другом. Против воли Миша должен быть насторожен и ко мне. Я не могу избавиться от вины, не смею открыться — моя страдающая нежность вдруг да покажется ему оскорбительной компенсацией за травму.

Миша раньше всех нас понял, в каком незавидном по-

ложеении оказался Толя Зыбков. Ирина отмахнулась: «Толку не получится», а он сразу пришел на помощь, бессознательно, не задумываясь, как кинулся тогда спасать незнакомого парня. И никто этого сейчас не оценил. Кто удивится щедрости плодоносящей яблони — для того же она и существует на свете, чтобы одаривать яблоками.

— Что ж, давай сомкнемся, — согласился Толя не слишком воодушевленно: Ирина Сушко для него куда более знающий и авторитетный человек.

А Миша Дедушка вдруг раздвинул бороду в улыбке:

: — Держись — сяду верхом.

И я возликовал про себя: эге! Такой человек травмированным долго оставаться не сможет, всегда кто-то будет нуждаться в его помощи, а оказать помощь — для него органическое счастье.

Катя не пробыла в отъезде и недели. Я не очень-то удивился, когда в дверях аэропорта увидел ее с мальчиком в красной шапочке на руках.

— Знакомься. Твой внук Сережа.

Бледное личико, насупленный взгляд, надутые губы. Мой внук Сережа, по всему виду, был недавно разбужен, а потому недоволен и миром и сконфуженным дедом. Предложить ему перейти ко мне на руки я не посмел, только спросил:

— Как получилось?... Или ты чувствовала, что отдаст?

— Чувствовала. По письму...

— У нее беда?

— Нет, просто славная, но неудачливая женщина, которая все еще надеется выйти замуж. Эта-то надежда и помогла убедить... Будет к нам приезжать, будем встречать ее как родную.

— Будем, Катя, будем... Пошли, такси ждет.

Он сразу же показал мне все, на что способен. Он уже пробовал держаться на ногах, но еще не осмеливался сделать свой первый шаг в жизни. Он с неубедительной отчетливостью произносил лишь одно слово «ма-ма»; по несколько раз обратился ко мне с речью, смысл которой остался для меня непостижим. Он оказался крайне непоследовательным — гневно возмущался, что мы опускаем его в теплую ванну, и столь же гневно, что вынимаем оттуда.

Я отнес его, розового и негодующего, в Катину комнату, уложил в простыни на диван, попробовал спеть:

Мне не удалось придать своему фальшивому баритону те ангельские интонации, которые каждый вечер изливает на малышей телевизор. Сережа долго крутился и не засыпал...

Он уснул, выкинув из-под одеяла ручонку. Катя гремела на кухне, готовила плацдарм для будущего дня. За окном над грузной грядой сумеречных многоэтажных домов прорезалась одинокая, самая настойчивая звезда.

Внук спал, слабенькая ручонка лежала поверх одеяла. Ему не исполнится и двадцати лет, когда закончится наш пресыщенный событиями век. К тому времени внук еще не успеет ничего совершить, свершить ему суждено уже в веке грядущем, — и только где-то в середине нового века этот человек станет оглядываться на свой пройденный путь.

Моя жизнь показалась бы колдовской моему деду Феодосию Степановичу Гребину, по-уличному Федоско Квасичу, не слишком удачливому мужику из деревни Прислон. Мой дед не видывал домов выше двух этажей, хотя и слышал, что бывают даже и четырехэтажные. Мой дед гонял на саях по зимнему накату до пятнадцати верст в час, летал он только во сне, а чтоб, не выходя из избы, устроившись перед ящиком, следить, как гоняют шайбу хоккеисты на той стороне планеты, этого он уже и помыслить не мог. Наверное, столь же фантастичной должна выглядеть и для меня жизнь моего внука. Нисколько не удивлюсь, если он окажется небожителем, на Землю станет спускаться только в гости.

Глядит в окно звезда. Впрочем, это Юпитер притворился робкой звездой. Лишь он смог пробиться на закате сквозь мутный воздух великого города..

Местожителство моего внука, возможно, будет выглядеть примерно так же — звезда да и только. Но при взгляде в бинокль она должна превратиться в золотого мотылька, парящего в траурной пустоте. А в солидные телескопы — в полыхающего многокрылого дракона, устрашающее исчадие космоса. Рано или поздно люди выберут за пределами Земли симпатичную планету и облекут ее в металл, керамику, пластик, раскинут в сторону Солнца драконовы крылья...

Зазвонил телефон. Я бережно накрыл одеялом выброшенную ручонку, встал.

— Слушаю вас.

Голос Алевтины, дочери Голенкова. Ни боли, ни отчаянья в нем — лишь мертвенная усталость.

— Иван Трофимович... час назад.

Я остолбенело молчал.

Светил в окно застенчивый Юпитер.

Час назад... Иван был на год старше нашего идущего на убыль века.

1979—1982

Повести «Затмение», «Расплата», «Шестьдесят свечей», «Чистые воды Китежа» и роман «Покушение на миражи», включенные в 5-й том Собрания сочинений, хронологически не укладываются в определенный период, они создавались в разные годы, а опубликованы в последнее десятилетие — в 1977—1987 гг. Так, первые подробные наброски повести «Чистые воды Китежа» были сделаны еще в 60-х годах. А над романом «Покушение на миражи» писатель работал в течение последних двух десятилетий — «следы» романа мы находим практически во всех произведениях этой поры.

Каждая вновь написанная вещь с трудом пробивала себе дорогу. Так, повесть «Шестьдесят свечей» была напечатана спустя десять лет после написания. А «Чистые воды Китежа» и «Покушение на миражи» автор так и не увидел опубликованными. Чем мучительнее и обнаженнее были вопросы, которые предлагал автор себе и читателю, тем настойчивее приходилось доказывать их жизненную необходимость для общества.

«Расшевелить общественную мысль, вызвать тревогу, заставить задуматься. Литература должна ставить вопросы, решать которые обществу» (Тендряков В., 1976, архив писателя).

Писатель все большее внимание сосредотачивал на человеке. «Сейчас у человека на планете нет врагов — силы природы не представляют для нас главной опасности. Самый грозный враг человека — он сам, его разобщенность и непонимание... Мне нужно понять Вас. Вам меня. Без этого немисливо наше общее будущее» (Тендряков В. Выступление. Лейпциг, 1975, архив писателя).

Проза этого периода становится более усложненной, философски насыщенной, открыто публицистической. «Вл. Тендряков — сегодня, пожалуй, один из самых видных представителей правственно-философского направления в нашей прозе...» (Эльясевич Арк. Горизонталы и вертикали. Л., Сов. пис., 1984).

Писатель все дальше уходит от однозначных решений, причинно-следственные связи делаются многомернее, характеры — более противоречивыми. Тендряков все требовательнее вовлекает читателя в нравственный поиск, соединяя конкретность злободневных проблем с «вечными» вопросами бытия. Имея своего широкого читателя и «прекрасно сложившуюся писательскую репутацию», он оставляет освоенные площадки и, по выражению критика, начинает «эксперименты с величинами, современной литературе почти неизвестными...» (Сердюченко В. В кругу «вечных» вопросов. — Октябрь, 1983, № 11).

Повести «Затмение», «Расплата» и «Шестьдесят свечей» — «трудные» повести, повести-задачи, призывающие читателя к предельной активности и соучастию. Тема личности становится в них центральной и объединяющей. Любая вспышка разума — по Тендрякову — это вспышка всего мироздания. Он рассматривает человека как частицу вселенной со всеми его сложными связями — с самим собой, друг с другом, с миром, поэтому нет в повестях стереотипных ответов.

Несмотря на то, что сатирическая острогротесковская повесть «Чистые воды Китежа» стоит особняком в творчестве Тендрякова, она не является случайной. Брать из жизни наиболее характерное и доводить до исключительного — этот принцип лежит в основе творческой манеры писателя. И в жанре «фантастико-сатирическом» Тендряков оставался верен своим привязанностям идти вглубь человеческой природы, исследуя ее социальные деформации. Под этим углом зрения повесть «Чистые воды Китежа» может рассматриваться как предтеча романа «Покушение на миражи», который явился духовным завещанием В. Ф. Тендрякова.

«Ты писатель, не только не боящийся ошибок, стрессовых положений и состояний, но словно ищущий их. В этом плане за тобой, расхрабравшись, многие захотят пойти, — как пехота за танком. Какая плотность мысли, чувства, самого письма. Острое ощущение жизни», — писал друг Тендрякова поэт Константин Ваншендин (20.8.1981).

Характеристика этого периода была бы неполной, если не отметить, что в последние годы жизни Тендряков почти перестает писать художественную прозу, сосредотачивая свое внимание на проблемах экономики и социологии, убежденный, что эти проблемы нельзя решить, отрывая их от проблем нравственности.

«Нравственный призыв столь же важен, как и преобразование общественного устройства. Ни о каком преобразовании не может быть и речи, если люди не проникнутся страстным желанием его. А желание, да еще страстное, не возникнет у того, кто пребывает в анабиозе. Кто-то должен будить людей!» (Тендряков В., письмо к Г. А. Медынскому, 1981, 21 апр.).

В. Тендряков верил, что наступает время, когда эти проблемы смогут быть решены в их триединстве: экономика — социология — нравственность.

Его творчество все отчетливее обозначалось системой координат «прошлое — настоящее — будущее» и «экономика — социология — нравственность», но неизменно в центре находилась личность, поиск более совершенной социальной структуры общества. Поиск этот обязывал подвергать сомнению все, казалось бы, самые устоявшиеся истины.

«Имей я возможность, я даже аксиому о двух точках и прямой постарался бы доказать или опровергнуть» (Тендряков В., письмо к Е. Л. Фейнбергу, 1978, архив писателя).

Начинался качественно новый этап творчества.

Тексты произведений, вошедших в 5-й том, печатаются по последним прижизненным изданиям В. Ф. Тендрякова и книжным публикациям 1986—1988 гг.

З а т м е н и е.— Впервые в журн. «Дружба народов», 1977, № 5.

«Случайно я наблюдал затмение луны, именно то, которое и описал в повести. И лягушек при этом слышал. Постепенно все стало разматываться, обростать, в конце концов, с мучениями, получилась повесть» (Тендряков В. Не ждать вдохновения.— Лит. газ., 1979, 18 апреля).

По неоднократным высказываниям автора можно достаточно точно определить момент возникновения замысла повести. «К новой повести я пробовал подступиться давно, еще до «Весенних перевертышей», но вплотную занялся лишь в последнее время» (Тендряков В. Открыть еще не открытое.— Лит. газ., 1976, 19 мая). Первые наброски повести относятся к началу 70-х годов.

Обычно Тендряков очень сдержанно высказывался о вещах, которые находились на его рабочем столе, тем более не любил говорить о замыслах новых произведений. Подробный пересказ «Затмения», пожалуй, исключение из правила. Писатель говорит о содержании, акцентируя внимание на наиболее существенном:

«...Двое живут в одном из уральских городов. Молодой ученый и студентка педагогического института. Они впервые увидели затмение луны. И поразились. Ощутили себя в этот момент как бы частицей огромного мироздания. Они были полны добрых надежд, верили в себя, в свое будущее... Временные рамки повести ограничены двумя лунными затмениями. И вся повесть пока условно называется «Затмение». За этот период строится, рушится и вновь создается жизнь моих молодых героев» (там же).

Так же подробно разбирает Тендряков и замысел повести.

В интервью, в газетных анкетах, выступлениях перед читателями — в разных вариантах он говорил об одном и том же:

«Исходным толчком к созданию произведения было размышление о связи между людьми. Я решил взять самую, казалось бы, простую, самую элементарную связь, можно сказать, ядро человеческих отношений: он и она. Меньше, подробнее связи не бывает. Я хотел посмотреть, как она сложна, трудна, как порой неустойчива. Почему?.. Я сам пытался думать и заставить думать читателя. Человеческие отношения — область сложнейших вопросов. Потому что от одной молекулы таких отношений тянется ниточка к более сложным взаимоотношениям: личность и коллектив, коллектив и личность (это ниточки разные). Кончаются эти отношения всечеловеческими. И я уверен, что где-то есть общие законы таких отношений. Вот только как их найти?» (Лит. учеба, 1979, № 3).

В. Тендряков видит, как «зыбка и прихотлива» эта самая простейшая человеческая связь, сколько неразрешимых вопросов несет она в себе. Он ищет то сокровенное, что сохраняет эту связь, и то тайное, что разрушает. «И Павел, и Майя, и Гоша посят в самих себе затмение». Писатель предупреждает, что «нравственное затмение может случиться с каждым. И мы должны быть бдительными к самим себе» (выступление в пед. ин-те им. В. И. Ленина, 1982).

«Конечно, хочется открыть еще не открытое, разглядеть те закономерности, по которым строятся человеческие отношения», — признавался писатель (Лит. газ., 1976, 19 мая).

Прочтение повести критиками оказалось чрезвычайно многогранным. Одни рассматривали ее как повесть о «вере и религии», другие считали, что Тендряков исследует «благополучны ли благополучные», или как проходят люди «испытание недостатком», третьи однозначно утверждали, что это повесть о любви, доказывали, что в центре внимания писателя «духовный вакуум» и «треугольные страсти» героев... Решался вопрос, удалась ли писателю «деревенщину» «городская» тема.

«Непослушный автор шагнул еще дальше, в третий этап, уже не столько социально-нравственной, сколько социально-духовной», — считал А. Бочаров (Сб. «Чем жива литература?..». М., Сов. пис., 1986).

Размежевание мнений было столь значительным, что обсуждение повести пошло в форме дискуссий.

Критик В. Камянов в «Литературной газете» пишет: «Городским персонажам В. Тендрякова не хватает живого «теплообмена» со средой, и они парят в сфере отвлеченностей, формально-логических выкладок, декоративно-торжественных фраз. Место недоосвоенной органики городского мира заступают «модели, синте-

тика чувств и отношений...» Приговор критика определен: «Эмоции, попав в тесную колбу, затребовали искусственного питания и подогрева. Началось взвинчивание тона, пагнетание той самой «холодной горячности», которая весьма точно сигнализирует, что дело у автора не заладилось» («Страсти напоказ?». — Лит. газ., 1977, 10 авг.).

Мнение критика А. Горловского иное: «Писатель романтической, публицистической манеры, В. Тендряков спокойно говорить не может: если крик, то во весь голос, если шепот, то оглушительный. Все на пределе, все на краю пропасти... Тревожная душа писателя бьет в набат, когда встречается с человеческим неблагополучием... Все чаще Тендряков выходит за рамки своих сюжетов, потому что сами сюжеты для него всего-навсего частные случаи всемирных проблем» (там же).

Еще одна дискуссия развернулась на страницах «Литературного обозрения» — между прозаиками В. Дудинцевым и К. Икрамовым. В. Дудинцев рассматривает повесть с точки зрения столкновения религиозного и атеистического мироздания и считает, что «стихия художественного образа и система рассуждений, схватившись, прямо-таки вонзили друг в друга мечи». Главную героиню повести Майю В. Дудинцев хочет поздравить не с затмением, ибо оно не доказано, «а с Прозрением к ее плоскому, пона мой взгляд, все же высоко чтимому автором мужу» (Дудинцев в В. В. лабиринте противоречий. — Лит. обозр., 1977, № 12).

У К. Икрамова свой подход к повести. «Тут дело в затмениях и прозрениях, которые суждено испытать каждому, кто живет жизнью духовной, кто чист перед самими собой... Новая повесть диалектична по сути своей, но пафос ее в утверждении абсолютных нравственных ценностей». Вывод К. Икрамова прямо противоположен выводу В. Дудинцева: Икрамов считает, что повесть помогает вырабатывать основные жизненные координаты. «Все происходящее в повести выражает закономерности сознания, а не случай из жизни. Закономерности эти найдены методом художественного исследования, а не сконструированы на основе рационального прогнозирования» (Икрамов К. Духовный предел Крохаева. — Там же).

Спор продолжался на страницах газет и журналов. Критики все так же придерживались крайних оценок.

«Вместо философической трагедии получилась риторическая мелодрама» (Панков А. Современник на randevu. — Новый мир, 1978, № 6). Н. Машовец, полагаящий, что писатель должен уподобиться врачу, сомневался, «сумеет ли молодой читатель извлечь из повести В. Тендрякова нравственный урок, обрести опору, так необходимую идущему сквозь семейные тернии» (Горький вкус вольности. — «Правда», 1978, 21 мая). «Автор написал повесть об

идеалах, потерпевших первое поражение при столкновении с жизнью. Через горькие сомнения и ошибки движутся герои к истине...» (Ульяшов П. Будьте романтиком, но оставайтесь реалистом. — Октябрь, 1978, № 5).

Некоторые литераторы ставили под сомнение и саму авторскую позицию. С одной стороны — «мораль, торчащая как жало» (И. Золотусский), с другой — писатель «прячет свою точку зрения на то, о чем он пишет. Если не любишь «разжевывать» — изволь, выложи одни лишь аргументы» (В. Дудинцев).

В интервью корреспонденту «Литературной газеты» В. Тендряков отвечает на эти упреки так: «Да ничуть я не завуалировал. Если есть вопросы, раскрывая которые я не могу быть полностью откровенным, то мне лучше за них не браться... Скорее, меня упрекают в том, что я разжевываю, декларирую какие-то вещи. А что делать? Разве я могу оставлять недомолвки, полупамятки. Иной читатель может вывернуть все шиворот навыворот. И сделать выводы, против которых я, может быть, пытаюсь бороться всю свою жизнь...» (Лит. газ., 1979, 18 апр.).

«Нравственные оценки расставляются писателем неукоснительно — он чужд какого-либо объективизма, — но их постижение и составляет главную трудность чтения книг Тендрякова и, одновременно, едва ли не главное их обаяние» (Эльшиевич Арк. Горизонталы и вертикали. Л., Сов. пис., 1984).

И в последующие годы критика продолжала возвращаться к повести, но тон ее становился спокойнее, подход — историчнее, оценки — объективнее.

«Тендряков заражает читателя нравственно-философским напряжением за счет повышенного «достоевско-шекспировского» строя мыслей и чувств своих героев. Своеобразной вершиной этого стала повесть «Затмение», где философский корень извлекается из любого, сколь угодно обыденного факта жизни, где даже любовь превращена в изощренный интеллектуальный поединок...

Вообще говоря, повесть «Затмение» представляется наиболее «тендряковской» из всего написанного писателем, вобравшей в себя все предыдущие и последующие особенности его прозы, со всеми ее достоинствами и недостатками. Автор блеснул здесь несомненным изобразительным мастерством...

Задумав ее, судя по интервью, опубликованному в «Литературной учебе», как монографическое исследование «простейшей», элементарной человеческой связи между «он» и «она», Тендряков устремляется с этого плацдарма на энциклопедическое осмысление связи «всего со всеми...» (Сердюченко В. В кругу «вечных» вопросов. — Октябрь, 1983, № 11).

Читательская почта по «Затмению» тоже говорит о сложности прочтения повести. Это разговор, как правило, не только о по-

вести, а пампого шире. От личных проблем читатели переходят на общественные. Порой письма напоминают не отзывы, а раздумья единомышленников.

«Нахожусь под впечатлением Вашего «Затмения»... Читая, чувствуешь себя учеником. И нет в этом никакого уничижения не только потому, что переживаемое чувство — какое-то ублаговорящее, но и потому, что учителя воспринимаешь как сверстника, обремененного рядом слабостей, таких же, как и у тебя, грешного...

«Затмение» — не обычная повесть, а роман (как я убежден) с обильными рассудительскими вкраплениями... Давно не перечитывал Достоевского и Толстого. Они писатели тоже рассудительского толка... Не исключено, что сегодня они, как и Вы, оставили бы у меня, уже пожилого читателя, чувство незавершенности... Мно кажется, что Ваша завершенность будет завтра, что сегодня читатель обладает счастьем черпать из бурной и богатой реки, но куда течет река, куда она ведет, это мы вычитаем завтра.

Вряд ли надо писать, как я признателен за обильное «сегодня» (Попелянский Я. 4.9. 1978).

«Затмение» — взаимное непонимание, происходящее от разности мироощущений, жизненных позиций, от разности того, что я назвал бы иллюзиями. Проблема вырисовывается достаточно ясно, а ответа нет...

Другие поймут «Затмение» по-другому. Каждый ищет в художественном произведении свое, и чем больше находит, тем, по-моему, лучше...

Те многочисленные характеры и сюжеты, сравнительно узкие, локальные в своей сути, которыми так насыщено предыдущее Ваше творчество, в результате каких-то сложных внутренних превращений, сдвигов, синтеза, вылились в вещь, на мой взгляд, этапную, в некотором смысле итоговую, когда писатель, доселе активно исследующий мир современников в его, так сказать, данности, руководимый в этом исследовании лишь направленностью собственного таланта, сделал попытку взяться за проблему глобального, общечеловеческого масштаба...» (Сидоров И. 18.12.1978).

Повесть требовала сосредоточенного прочтения, не каждому удавалось сразу разобраться в авторском замысле.

Читатели библиотеки далекого Онохая открыто признаются, что растерялись, не могут разобраться в сложности судеб героев, и просят автора разъяснений и подсказки.

Тендряков неоднократно говорил, что «искусство — это синтез художника и зрителя, писателя и читателя». Мечта автора о включенности читателя в раздумья над жизнью осуществляется.

Строители гидростанции на Нуреко учредили свою премию

«За выдающиеся произведения советской литературы». Повесть «Затмение» в 1977 г. удостоилась «Рабочей премии Нурека».

«Повесть я ориентировал не на рабочую аудиторию. Случилось самое прекрасное для меня, как писателя: «Затмение» приняли близко к сердцу проходчики, монтажники, взрывники Нурека. Тема женской жертвенности вызвала здесь настоящую дискуссию. «Мою» Майю, оказывается, видели в Нуреке. Взрывник Валерий Шипулин вдруг открыл в характере моего главного героя Павла Крохалева душевный «жирок». (Комс. правда, 1977, 22 дек.).

Повесть «Затмение» многократно переиздавалась в СССР и была переведена в Венгрии, ГДР и ФРГ.

Текст печатается по сб. «Расплата», М., «Сов. пис.», 1982.

Р а с п л а т а.— Впервые в журн. «Новый мир», 1979, № 3.

«Один из моих очень близких знакомых, медик по профессии, однажды рассказал мне, что по просьбе следственных органов ему пришлось освидетельствовать мальчика, убившего своего отца. Он должен был решить, вменяем этот мальчик или невменяем. Факт поразил меня. Думаю, что он поразил бы любого и каждого. Прошло время. Я помнил об этом случае, но он оставался у меня где-то в стороне. А потом неожиданно сам собой пришел ко мне снова. Я вновь встретился со своим знакомым и потребовал, чтоб он рассказал мне все подробности. «Я тебе рассказывал все, что знал,— ответил он мне.— Но если тебе нужно, позвоню следователю». Ответ следователя поразил меня еще больше: «Мальчик убил отца? Это когда? У меня ведь таких случаев очень много» (Тендряков В. Выступление в пед. ин-те им. В. И. Ленина, 1982).

Жизненный импульс становится предметом всестороннего писательского исследования и превращается в повесть о коллективной ответственности всех за каждого. Частный случай вырастает до широкого обобщения, конкретность реальной жизни поднимается Тендряковым до уровня «вечных» вопросов, которые, по мнению автора, каждым «новым» временем решаются заново. Сын убил отца — не эпизод уголовной хроники, а так же, как и в произведениях мировой классики, повод для возникновения напряженно-философского спора» (Э л ь я ш е в и ч Арк. Горизонтали и вертикали. Л., Сов. пис., 1984).

У писателя на рабочем столе всегда находилось несколько пачатых вещей. Над одними он работал, другие «дозревали», ждали своего часа. Его творческой манере не была свойственна документальность, подробность факта, он не занимался специальным сбором материалов к своим вещам, не работал в архивах, реальные прототипы героев редки. Редко прибегал он к документу или к

«фотографиям с натуры». Образная память и творческое воображение — основные инструменты Тендрякова-писателя.

«Я никогда заранее не знаю конфликты. Я их ищу. А когда нахожу, то пытаюсь для себя разобраться. Иногда конфликт ведет к нехитрому выводу. Я его специально не вставляю в повесть. Иногда моих сил не хватает. Тогда я останавливаюсь и призываю читателей дорешить этот конфликт вместе со мной... В этой многообразной, противоречивой жизни нельзя жить по трафарету. Жизнь порой опрокидывает даже такие безусловно нравственные правила как «Не убий»... Наука бессильна обучить умению жить в обществе, а искусство — да, может, в том числе и литература, которая постоянно ищет путей нравственного воспитания... Я не пророк, давайте думать вместе» (Тендряков В. Читательская конференция, 1979, архив пис.).

«Расплата» продолжает форму повести-диспута, своим «открытым» финалом призывая читателя к ответу на поставленные писателем вопросы.

По стечению обстоятельств почти одновременно с повестью в прессе появились документальные очерки, в которых рассказывалось о подобных же трагедиях. Писатель разглядел что-то существенное, тревожное, деформированное в жизни общества.

«Тендряков ведь не только человек взыскующей совести и справедливости, он и один из самых честных и отлично знающих жизнь современных прозаиков. И причудливое, далеко не всегда гармоническое сплетение «апостольства» и «обличения» сказывается, как водяной знак его личности, в любой повести» (Бочаров А. Бесконечность поиска. М., Сов. пис., 1982).

Критики, признавая общественную значимость повести, расходились в оценках ее художественных особенностей.

«Жанр колеблется между умозрительным философским пазидацием и бытовой драмой. И все же груз реальных жизненных проблем оказывается тяжелее» (Яхонтов А. На пути к истине. — Лит. Россия, 1979, 14 сент.).

«Конфликт «Расплаты» не приобретает по ходу повести качественного развития, и после многократных повторений одной и той же позиции, как в шахматной игре, следует ничья. Все виноваты — никто не виноват...» (Новиков Вл. Уча — учимся. — Лит. обзор, 1981, № 7).

Н. Машовец понимает «Расплату» как расплату за «примиренческое отношение к алкоголю» (О трезвости. М., Совр., 1981).

Некоторые критики считают позицию автора «несколько расплывчатой и абстрактной». А. Бочаров полагает, что «Тендряков ведет диспут бесстрашно, позиции его благородны, но выхода он все-таки не знает» (Бесконечность поиска. М., Сов. пис., 1982). М. Синельников, напротив, отмечая гражданское беспокойство

писателя, видит в финале повести «особый художественный эффект, одно из выражений оптимистического авторского взгляда, оптимистической перспективы» (Характеры и обстоятельства.— Правда, 1979, 12 июля).

Критики ждут от автора определенности, более точного адресата для предъявления обвинения: на кого автор возлагал главную вину — на школу? На учителя? На окружение? Автор сам расшифровывает название повести: «По-моему, я согрешил в притче. Боясь, что меня поймут неправильно, я сделал вывод: расплата всем героям, все в какой-то степени виноваты в том событии. Всем нам расплата. Мне хотелось, чтобы читатель вдруг тоже почувствовал себя ответственным за такие трагедии» (Выступление в пед. ин те им. В. И. Ленина, 1982).

Повесть быстро нашла читателя: школьники, учителя, юристы, врачи, студенты, преподаватели, рабочие... В писательской почте по «Расплате» есть письма из Болгарии, ГДР, Австрии, США. Писателю сообщали о спорах и дискуссиях вокруг повести из далеких таежных поселков и из колледжа штата Пенсильвания.

«Недавно я получил из Ангарска, из клуба книголюбов «Свеча», стенографический отчет об обсуждении моей повести «Расплата». Этот отчет едва ли не более драматичен, чем сама повесть...» (Тендряков В. Ради этого стоит жить и работать.— Кн. обзор, 1980, 3 окт.).

В архиве сохранилась стенограмма этого обсуждения «Расплаты». Заседание длилось несколько часов, выступило более 30 человек. Мнения выступающих резко разделились. Одни оправдывали Колю, другие восставали против убийства: «Даже в Рафаиле сын убил хорошее». Участники старались добраться до корней случившегося, одни винили школу, другие — мать, «общество, в котором жил Рафаил Корякин».

«Рафаила могла спасти любовь, прежде всего любовь матери... Ведь «в каждом нерастратенные запасы доброты»... «Я прочитала повесть за ночь и еще не все пересварила. Расплата — за что? За нашу равнодушие, за отсутствие острой боли, за бездумную жизнь»... «Расплата за перегибы в раскулачивании, за всю жестокость 20—30-х годов, рождающих ответную жестокость: нелюбовь матери к своему сыну! Расплата за покорность, за то, что разучились даже чуть-чуть задумываться. Расплата за ошибки в обучении детей, за неверное толкование истории, за «простые формулы»: «Убить ради жизни!..» «Если мы и сейчас не поймем этого, то не сумеем честно жить, и для нас будет явной угрозой — «наследить в будущем...» «Сейчас у меня пульс 120, так действует повесть...» «И еще раз мы чувствуем, как действительно сильно воздействует Владимир Тендряков на нас, читателей. И, слава богу, что наша совесть так откликаема!..»

Через все обсуждение проходят лейтмотивом слова Джона Донна: «Нет человека, который был бы как остров. Каждый человек — часть материка».

В. Тендряков откликнулся на это обсуждение письмом. В частности, он подчеркивал: «Еще раз убеждаюсь в том, что искусство создается не только художником, но и зрителем. Тот же Джон Донн был одним из несчастнейших авторов, так как для него в его время не нашелся читатель. Ощути он читательский огонь, наверняка и сам разгорелся бы ярче. Мир имел бы еще более грандиозного поэта. Нельзя говорить со страстью, когда слушатели равнодушно внимают и не понимают, певольно спикаешь. Вот потому-то я и благодарен вам за то, что не только услышали меня, не только поняли, но и что-то по-своему переосмыслили, мне открыли!» (19 сент. 1980, архив писателя).

На «Расплату» отозвались письмами-исповедями, глубоко личными, исполненными болью. К таким письмам Тендряков относился особенно бережно. Он был открыт человеческому горю, ответы были продиктованы желанием помочь людям.

«...После Вашего письма я почувствовал себя больным и растерянным,— признавался он, отвечая на письмо М. из Горького.— Долго, долго я не решался Вам ответить. Да, из-за растерянности, да, из-за того, что не знал, какой же дать совет. Дежурные успокоительные слова тут звучали бы оскорбительно, все это время я искал в себе слова помощи, слова, которые бы могли влить в Вас силы и надежды. Но вот прошли месяцы, а я по-прежнему в растерянности. Не могу подсказать даже — кто или что повинно в Вашей трагедии...

Знаю, что мои слова Вам ничего не откроют, хотелось, чтоб Вы поняли — они не равнодушны» (1980, 27 ноября).

«Расплата» ставилась во многих театрах страны, а также на телевидении.

Повесть многократно переиздавалась в СССР и была переведена в Болгарии, Венгрии, ГДР, Норвегии и ФРГ.

Текст печатается по сб. «Расплата», М., Сов. пис., 1982.

Шестьдесят свечей.— Впервые в журп. «Дружба народов», 1980, № 9.

Повесть создавалась во второй половине 60-х годов, в 1967 г. была впервые предложена «Новому миру».

«В «Новый мир» сдал «Шестьдесят свечей». Тема повести — нравственный суд человека над самим собой. Герой наедине со своей совестью» (Тендряков В.— Лит. обзор. 1967, 20 янв.). Позднее повесть была передана автором в журнал «Дружба народов». Она имела многочисленных единомышленников в редколлегии журнала, но публикация стала возможной только в 1980 г.

Все эти годы автор продолжал над пей работать. Среди повестей «есть одна, которую я тянул в течение пятнадцати лет, похоже, что вытянул» (Тендряков В.—Лит. газ., 1979, 18 апр.).

Известно несколько редакций повести. В первой редакции Ечевин кончал жизнь самоубийством. Автор отошел от этого решения, считая его слишком прямолинейным и однозначным. «Вначале я был к Ечевину беспощаден, но потом понял, что важнее показать иное: через прозрение своего героя мне хотелось, чтоб прозрели многие. А когда прозрение будет не только у литературного героя, но и у массы читателей,—возможно (возможно!), мы сумеем кое-что изменить в жизни» (ответы на вопросы читателей, 1980, архив писателя).

В окончательном варианте Тендряков выбрал излюбленную форму «открытого» финала.

«Хотелось осознать некоторые противоречия в нашем обществе, как они проходили через душу людей... Мне интересен человек помолодой, немало переживший, прошедший по нашей истории. Показать, как общество влияло на людей, переламинало их, противоречия сталкивались в душе человека» (Тендряков В. Выступление в пед. ин-те им. В. И. Ленина, 1982).

Героем повести становится не просто учитель, а, что знаменательно, учитель истории, а само произведение перерастает в повесть-исповедь. Драма разворачивается в душе человека. Это объединяет «Шестьдесят свечей» с «Затмением» и «Расплатой». Повести складываются в единый цикл, связанные не только общей идеей, но и сквозными героями. Повесть «Шестьдесят свечей», написанная задолго до «Затмения» и «Расплаты», по времени публикации оказалась замыкающей.

Почти каждую новую вещь Тендрякова критики и читатели определяли как «не совсем обычную» — первые отклики на «Шестьдесят свечей» подтвердили, что и эта повесть не является исключением.

При обсуждении повести в клубе «Диспут» «Литературной газеты» подчеркивалось, что «читатели и профессиональные критики единодушны лишь в одном — читать Тендрякова всегда интересно. А далее... Далее полное несоответствие мнений» (Пока горит свеча.—Лит. газ., 1982, 7 июля).

«Об иных книгах говорят: богата, как жизнь, сложна, как жизнь. Об этой так сказать нельзя. О ней правильно сказать — богата, как мысль, сложна, как мысль... Все его вещи — это всегда спор идей...» (Ковский В.—Там же).

«Читая Тендрякова, я думал над парадоксом: переживания персонажей меня совсем не задевают, а интерес нарастает. В чем дело? В том, наверное, что писатель — очень интересный собесед-

ник... Надо быть читателем-гроссмейстером, чтобы разобраться в путанице бесконечных вопросов» (Цейтлин Ю.— Там же).

Критик Ю. Томашевский был в своем мнении достаточно категоричен: «Шестьдесят свечей» — это самая объемная вещь из всего, что пока сделано Тендряковым. Ее еще будут осмыслять и осмыслять. Сквозь поведение Ечевина, сквозь образ его мышления и его жизнь просвечивается целый пласт людей схожей с Ечевинской формации. Они хотели сеять добро, но приносили зло» (там же).

Обсуждение продолжалось более трех часов. Отмечая противоречие между содержанием читательской почты по повести и содержанием критики, В. Помазнева, ведущая клуба «Диспут», говорила: «...Может, дело просто в том, что критика «не поспевает» за писателем в решении всех нравственно-психологических задач, которые волнуют его сегодня и которые В. Тендряков предлагает для общественного осмысления?» (там же).

Судя по письмам, повесть получила признание и за пределами страны.

Откликаясь на повесть, вышедшую в ГДР в серии «Спектрум», читательница Кристель Фихнер пишет: «На передний план своей повой повести Тендряков выдвигает ответственность учителя и воспитателя. Воспитание нравственности, человечности, а не привычки жить по формуле «Все мы люди»... Книги Тендрякова не делают, как и любая литература, человека лучше, но они — огромная поддержка людям, которые ведут борьбу за победу добра. Это литература, которая заставляет творить добро и противостоять злу» (8.1.1983).

По повести «Шестьдесят свечей» создан кинофильм «Черный коридор» и сделано несколько театральных инсценировок.

Повесть издавалась в Болгарии, ГДР, Польше, Чехословакии, Японии.

Текст печатается по сб. «Расплата», М., Сов. пис., 1982.

Чистые воды Китежа.— Впервые в журн. «Дружба народов», 1986, № 8.

«Чистые воды Китежа» — повесть сложной судьбы. Первый вариант повести автор читал в кругу друзей в 1960 г. Местом действия был град Китеж, но населен он был еще другими персонажами — действие происходило в книжном издательстве.

Первый вариант не устроил автора, и он надолго отложил повесть. Однако замысел не оставлял его, ему было интересно исследовать феномен власти некоего фантома, вторгшегося в сегодняшнюю реальность.

В архиве писателя сохранились черновые наброски пового ва-

рианта повести, относящегося к 1971—1972 гг. Этот вариант мало чем отличается от окончательной редакции. Местом действия стала газета «Заря Китежа», и все главные герои определились.

Повесть трудно давалась Тендрякову. Она перерастала рамки реалистической прозы и диктовала свою стилистику. Сам автор определил жанр повести как «фантастико-сатирический».

«В «Дружбу народов» сдал повесть «Чистые воды Китежа», где я выступаю в несколько новом для меня качестве» (Тендряков в В. Храню столь бережно.— Сов. Россия, 1983, 16 дек.).

Автор так и не увидел повесть напечатанной. Она несколько лет пролежала в редакции журнала.

Только в 1986 г. главный редактор журнала «Дружба народов» С. Баруздин сообщал: «Будем публиковать из литературного наследия В. Тендрякова повесть «Чистые воды Китежа», которую, к сожалению, не могли напечатать много лет...» (Время диктует.— Кн. обзор., 1986, 18 июля).

Особенности авторского видения сделали повесть остросовременной и сегодня.

«При всей конкретности, узнаваемости жизненного рисунка недавних лет повесть — тонкое исследование таких губительных явлений социальной психологии, как стадность поведения, отсутствие собственного мнения, стереотипное мышление, демагогическая манипуляция опорой на народ, привычка к непрямым путям в жизни и т. п. Это и попытка определить их истоки» (Барташевич Л. Миражи и действительность.— Октябрь, 1988, № 1).

Критика подчеркивала социальную остроту повести.

«С присущей ему социальной чуткостью В. Тендряков вывел в своей сатирической повести тип человека-фантома, весьма распространенный в реальной действительности, суть которого — угодливое «чего изволите?»... Писатель прекрасно понимал, как опасны подобные люди-фантомы, особенно те, в чьих руках сосредоточена хоть какая-то, пусть мало-мальская власть. И что особенно тревожило его, так это заразительность подобной призрачности, сообщающейся от них всему окружающему, стирающей, размывающей границы между добром и злом, правдой и ложью. И становящейся в конечном счете серьезным препятствием для обновления жизни» (Шкловский Е. Зеркало для призраков.— Лит. обзор., 1987, № 6).

И. Золотусский определяет жанр повести как «очерк-фельетон», в котором автор «описал эпоху упадка в маленьком провинциальном городке» (Отчет в пути.— Знамя, 1987, № 1).

Возражая И. Золотусскому, Л. Барташевич отмечает: «С моей точки зрения, перед нами сатирическая повесть отнюдь не очеркового и не фельетонного характера. Тендрякова интересуют не столько знакомые читателю частности нашей жизни, достойные

осмеяния, а общая постановка вопросов» (Б а р т а ш е в и ч Л. Миражи и действительность.— Октябрь, 1988, № 1).

В повести «Чистые воды Китежа» автор впервые вводит в систему художественных образов тему миражей.

«Чистые воды Китежа» — выражение гражданской боли писателя, критический взгляд на застойное существование общества (там же).

«Чистые воды Китежа» нашли свое театральное воплощение.

Повесть издана миллионным тиражом в СССР и переведена в Италии.

Текст печатается по сб. «Повесть 86», М., Совр., 1988.

Покушение на мираж п.— Впервые в журп. «Новый мир», 1987, № 4, 5.

«Покушение на миражи» — роман итоговый, отразивший весь длинный и сложный путь нравственных исканий писателя. Тендряков готовился к нему исподволь. Мысли, фрагменты, заготовки, относящиеся к роману, встречаются в записных книжках, рабочих тетрадах, черновиках.

Первое упоминание в печати о «Миражах» появилось в 1980 г.

«Кончил одну вещь, которая давным-давно обещана журналу «Новый мир»... Вы спрашиваете, из какой это области. Даже об этом затрудняюсь сказать, так как это не какая-то одна сфера, а размышления о жизни вообще» (Тендряков В. Ради этого стоит жить и работать.— Кн. обзор., 1980, 3 окт.).

Роман имел не одну редакцию. Его рабочим названием было «Евангелие от компьютера». Первоначальный вариант был более обширным. Повествование, вытекая из архаических пластов, уходило в будущее, передавая груз проблем следующему поколению героев, осваивающих вселенную. Роман имел более сложную структуру. Автор подробнее рассматривал те ростки нового, что находил в реальной практике жизни (например, «калужский вариант»), считая их прообразом будущих социальных отношений. Публицистические отступления были объемнее, напоминали самостоятельные социологические исследования внутри романа. Художественное и публицистическое существовали как два равноправных начала. Роман вбирал в себя несколько коллизий, каждая из которых могла претендовать на самостоятельное произведение. Главным героем был историк.

Доработка романа велась по пути строгого отбора материала и создания более цельной структуры.

В 1979 г. сложился вариант, который был предложен автором «Новому миру», но и он оказался не окончательным.

В процессе дальнейшей работы Тендряков изменил профессию

главного героя, сделав его не историком, а физиком, человеком, который в истории искал подтверждение своим научным гипотезам.

В 1982 г. уже под названием «Покушение на миражи», которое, как считал автор, точнее выражало концепцию романа, рукопись была подготовлена к печати. Однако роман так и не был опубликован при жизни писателя.

«Миражи» надо рассматривать в историческом контексте. Опираясь на дневниковую запись Л. Н. Толстого, Тендряков пишет: «Едва ли не каждому человеку хоть раз в жизни приходилось задумываться: куда едет странный всадник и к какой высшей цели стремится человечество, какой смысл заложен в его существовании?» (Нравственность и религия.— Наука и религия, 1987, № 6). Эта мысль проходит через весь роман.

«Он мучается вечным вопросом: как повлиять на время, куда стремится поток истории, какие силы определяют его движение, есть ли возможность управлять ими? Можно ли вообще познать закономерности развивающегося мира?.. Почему ни один из проектов идеального устройства общества не принят жизнью? Присущи ли человеку нравственность и безнравственность изначально, или они являются следствием здоровья или болезни общества?» (Барташевич Л. Миражи и действительность.— Октябрь, 1988, № 1).

Исследуя духовный опыт человечества, Тендряков подчеркивает связь экономики с нравственностью. Он считает экономику тем камнем преткновения, о который разбилась не одна социальная утопия.

«До недавнего времени мы трусливо отворачивались от естественных противоречий нашего развития, теперь обрели мужество и повернулись к ним лицом... Разумеется, было бы прекраснодушным преувеличением заявлять: наша победа полная. Мы еще все что-то стыдливо не договариваем, от чего-то старательно отворачиваемся, перед чем-то смятенно пасуем. Но глаза уже открылись, проблемы признаны, противоречия во всеуслышанье названы: противоречие способа производства, противоречие между производством и потреблением, противоречие между демократией и централизмом...» (Тендряков В. Социальное колесо будущего, 1984, архив писателя).

Писатель пристально вглядывается в прошлое, призывает бережно относиться к нему ради осмысления настоящего и сохранения будущего. Он предостерегает против «враждебного отношения ко всему старому, бойцовского стремления сокрушить его до основания...».

«Новое-то, как известно, рождается в недрах старого. Старое — материнское начало. И то, от чего мы сейчас жаждали бы избавиться — от привычки рабочего варварски разгружать кирпич

на строительной площадке, от равнодушия колхозника к неубранным полям, от тупого чиновного безразличия, заставляющего бестрепетно подмахивать акт приема несуществующего завода, — все это есть единственный исходный материал для построения нового мира. Другого нет, а потому необходимо с ним обращаться предельно бережно. Обломки — плохой строительный материал...» (Тендряков В. — Там же).

Исследование миражей в общественной жизни — не просто одно из направлений нравственно-философского поиска Тендрякова, а главное, может быть самое главное, что занимало его многие годы.

«Искусство всегда будет пользоваться мотивом «снов золотых» и люди всегда будут в них окупаться. Но это вовсе не означает, что «сны золотые» становятся нормой жизни» (Тендряков В. Нравственность и религия. — Наука и религия, 1987, № 6).

«Почему Тендряков покусился на мираж? Ведь цену утопическим воззрениям мы сейчас знаем. А знаем ли?! Как часто прекрасное будущее объявлялось завтрашним днем. День приходил — и прекрасное завтра откладывалось на послезавтра. История человеческих заблуждений проанализирована писателем и с современной точки зрения...

Тендряков утверждает, что «далекое проступает уже сейчас», но его нужно уметь видеть, и предлагает путь познания времени: «по реке Прошлого», по «человеческим маякам», находящимся «в фарватере Истории»... (Барташевич Л. — Там же).

В предисловии к журнальной публикации романа Д. Тевекеляп пишет:

«Всю свою творческую жизнь он мучился вопросами бытия, видел и старался писать бескомпромиссную правду, его социальный анализ поражает точностью, а мысль — упорством и бесстрашием... Может быть, впервые вслед русской классике художественному анализу подвергается сама всемирная идея гуманизма» (Новый мир, 1987, № 4).

Немецкий исследователь творчества Тендрякова Ральф Шредер, анализируя «Миражи», отмечает:

«Тендрякову-художнику, как Фаусту, подвластны метаморфозы, свободные переходы во времени, перемещения из прошлого в будущее. Как историк, он воссоздает прошедшие эпохи, как реформатор, готовит будущее» (комментарии к немецкому изданию романа).

Роман вышел миллионным тиражом в СССР и переведен в ГДР, Японии и Италии.

Текст печатается по книге «Покушение на миражи», М., Сов. пис., 1988.

Объем данного Собрания сочинений В. Ф. Тендрякова не позволил включить целый ряд известных произведений писателя, не представлена драматургия, публицистика, работы по социологии, эпистолярий. Не вошли многие публикации из обширного литературного наследия. Однако это издание отражает 35-летний писательский путь, помогает воссоздать мир Тендрякова-художника.

«Каждый человек должен стремиться оставить после себя наиболее яркий и глубокий след в жизни. Не хватает у него сил, что ж делать! Но стремиться к этому он обязан» (Тендряков В. Выступление в пед. ин-те им. В. И. Ленина, 1982).

В своем последнем интервью писатель говорил:

«Художник творит, исходя из требований только своего времени. Ничто не может быть глупее заведомого расчета на признание потомков. Для этого нужно предугадать тех, кто еще не родился. Это уже сродни пророчеству, ничего не имеет общего с предвидением.

И если художник не считается со своим временем, не улавливает и не отражает его интересов, то, скорее всего, он будет не интересен и далеким потомкам» (Лит. газ., 1984, 8 авг.).

Действительность подтверждает верность авторской позиции.

«Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы жили в середине XX века, то без книг Тендрякова они этого не поймут» (Икрамов К. Время Владимира Тендрякова.— Известия, 1985).

Н. Асмолова-Тендрякова

**Алфавитный указатель произведений
В. Тендрякова, вошедших в 1—5 тома
Собрания сочинений**

	том	стр.	стр. примеч.
Апостольская командировка. <i>Повесть</i>	4	335	651
Божеское и человеческое Льва Толстого. <i>Очерк</i>	3	444	609
Весенние перевертыши. <i>Повесть</i>	4	494	651
День, вытеснивший жизнь. <i>Рассказ</i>	3	531	609
День седьмой. <i>Рассказ</i>	3	586	609
За бегущим днем. <i>Роман</i> †	2	225	585
Затмение. <i>Повесть</i>	5	7	762
Кончина. <i>Повесть</i>	4	7	651
Костры на снегу. <i>Рассказ</i>	3	516	609
Находка. <i>Повесть</i>	1	434	565
Не ко двору. <i>Повесть</i>	1	25	565
Ночь после выпуска. <i>Повесть</i>	4	575	651
Письмо, запоздавшее на двадцать лет. <i>Рассказ</i>	3	500	609
Плоть искусства. Разговор с читателем. <i>Очерк</i>	3	393	609
Подёнка — век короткий. <i>Повесть</i>	1	492	565
Покушение на миражи. <i>Роман</i>	5	553	762
Проселочные беседы. <i>Очерк</i>	3	467	609
Путешествие длиною в век. <i>Научно-фантастическая повесть</i>	1	349	565
Расплата. <i>Повесть</i>	5	205	762
Рассказы радиста	3	479	609
Свидание с Нефертити. <i>Роман</i>	3	7	609
Суд. <i>Повесть</i>	1	279	565
Три мешка сорной пшеницы. <i>Повесть</i>	4	221	651

Тройка, семерка, туз. <i>Повесть</i>	1	234	565
Тугой узел. <i>Роман</i>	2	7	585
Ухабы. <i>Повесть</i>	1	105	565
Чистые воды Китежа. <i>Повесть</i>	5	459	762
Чудотворная. <i>Повесть</i>	1	151	565
Шестьдесят свечей. <i>Повесть</i>	5	346	762
«Я на горку шла...» <i>Рассказ</i>	3	479	609

Содержание

ПОВЕСТИ

Затмение , ...	7
Расплата , ...	205
Шестьдесят свечей	343
Чистые воды Китежа , ...	459

ПОКУШЕНИЕ НА МИРАЖИ. Роман	553

Примечания , ...	762

<i>Алфавитный указатель произведений В. Тендрякова, вошедших в I—5 тома Собрания сочинений</i>	780

ТЗЗ

Тендряков В. Ф.

Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 5. Повести; Покушение на миражи: Роман/Сост., примеч. и подгот. текста Н. Асмоловой-Тендряковой.— М.: Худож. лит., 1989.— 782 с.

ISBN 5—280—00158—9 (Т. 5)

ISBN 5—280—00155—4

В 5 том, завершающий Собрание сочинений В. Тендрякова (1923—1984), вошли повести «Расплата», «Затмение», «Шестьдесят свечей», написанные в последние годы жизни, а также произведения из его литературного наследия: «Чистые воды Китежа» и роман «Покушение на миражи».

4702010201—210
Т—028(01)—89—подписное

ББК 84Р7

**Владимир Федорович
Тендряков**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том 5

Редактор Н. Иванова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор М. Гришина

ИБ № 4951

Сдано в набор 01.09.88. Подписано к печати 10.04.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 41,16. Усл. кр.-отт. 41,16. Уч.-изд. л. 45,92. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3147. Заказ 4102. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16